Мартовские дни 1917 года
Сергей Петрович Мельгунов

Предисловие П. Мельгуновой

Предисловие П. Мельгуновой

Работа С.П. Мельгунова «Мартовские дни «полностью выходит ныне впервые. Законченная в годы последней мировой войны, книга эта была проредактирована самим автором. Только часть ея появилась в тетрадях «Возрождения» (1950–1954 г.)

Книга печатается по старой орфографии, так как вышедшия раньше в издательстве «'Возрождение» последующия части тетралогии были напечатаны по старой орфографии.

П. Мельгунова.

1961 г.

Глава первая. Решающая ночь[1]

Днем 2-го марта, на перманентном митинге в Екатерининском зале Таврическаго дворца лидер думскаго прогрессивнаго блока и идейный руководитель образовавшагося 27-го февраля Временнаго Комитета членов Гос. Думы, Милюков сказал: «старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен». Почти в тот же час в Пскове, под давлением верховнаго командования в Ставке, «старый деспот» подписал своё отречение от престола, окончательно оформленное вечером того же дня в момент приезда «думской» делегации в лице Гучкова и Шульгина. Таким образом отречение Государя «формально» не было «вынужденным» – устанавливает в своих воспоминаниях Набоков, выдающийся русский юрист, которому суждено было сделаться первым управляющим делами революционнаго Временнаго Правительства.

Насколько, однако, формальная юридическая сторона соответствовала реальной обстановке, создавшейся в Петербурге и являвшейся решающим фактором в ходе революции? Это совсем не праздный вопрос, ибо ответ на него определяет собою две совершенно отличныя друг от друга психологии в круге лиц, объединившихся около Временнаго Комитета Г. Д. и одновременно появившагося на ряду с ним Совета Р. и С. Д., т. е. тех учреждений, которыя обстоятельства поставили в те дни как бы «во главе» политической жизни страны. Для одних Николай II добровольно отрекся от престола, для других он был низложен – его отречение было «вынуждено», и добровольный отказ от власти, затушеванный в сознании современников, означал лишь то, что Император фактически не был свергнут насильственным путем, т. е. революционным актом возставшаго народа. Формально добровольное отречение неизбежно накладывало известныя моральныя обязательства на тех, кто стремился добиться этого отречения и кто его принял; такого моральнаго обязательства могли не ощущать те, кто не принимал участия в реализации плана сохранения династии путем устранения лично дискредитированнаго монарха: для них исходным пунктом мог быть только вопрос о целесообразности – так, как он представлялся тогда в понимании действовавших лиц.

Для того, чтобы уяснить себе роковыя противоречия, которыя выявились в первые дни революции в силу недостаточно продуманных и ad hoc осуществленных политических замыслов, необходимо проанализировать всю сложную и запутанную обстановку того времени.

Никто как-то не отдавал себе яснаго отчета в этих противоречиях тогда, когда закладывался фундамент строительства новой России.

Нам нет необходимости в хронологической последовательности воспроизводить события первых февральско-мартовских дней, что сделано уже с достаточной полнотой и отчетливостью в «Хронике февральской революции», составленной Заславским и Канюровичем (1924 г.) и в работе ген. Мартынова[2] «Царская армия в февральском перевороте» (1927 г.) К этим фактам мы будем обращаться лишь попутно, комментируя то или иное создавшееся положение. Прежде всего попытаемся возстановить картину ответственных переговоров, которые в ночь с 1-го на 2-е марта происходили между Временным Комитетом Гос. Д. – «цензовой» общественностью по тогдашней терминологии, и делегатами Исп. Ком. Совета, заявившаго «претензию» представлять демократию[3]. Эта была поистине решающая ночь, и здесь завязался узел последующей трагедии русской революции. Между тем возстановить более или менее точно то, что происходило в указанную ночь, историку очень трудно. В нашем распоряжении нет почти никаких документальных данных. В суматохе первых дней и ночей никто никаких протоколов не вел: отсутствует и газетный репортаж, подчас заменяющий своим суррогатом протокольную запись – в «Известиях», которыя издавал Комитет думских журналистов, нельзя отыскать никаких намеков на суть переговоров. Остаются воспоминания, т. е. показания современников, которыя должны помочь историку в данном случае не только в «оценке подробностей» (Маклаков), но и в установке первооснов. Значение этого субъективнаго самаго по себе источника познания прошлаго в данном случае безконечно преуменьшается не только привнесением последующих настроений, весьма отличных от подлинных авторских настроений первых дней революции, но и тем, что пелена тумана безсознательно для мемуариста застилает его память о том, что происходило в безсонныя ночи и сумбурные февральские и мартовские дни.

Несколько мемуаристов уже коснулись исторической ночи с 1-го на 2-е марта. Казалось, можно было положиться на текст Милюкова, так как первый том его «Истории», приближающейся к воспоминаниям, написан был в Киеве в 18-ом году в период политическаго полубезделия автора. Память мемуариста не застлана была еще его позднейшей политической эволюцией, и, таким образом, ему нетрудно было по сравнительно свежим впечатлениям воспроизвести историю переговоров между членами Думы и советскими делегатами, в которых автор принимал самое непосредственное участие – тем более, что в показаниях перед

Чрезвычайной Сл. Комиссией (7 августа 17 г.) Милюков засвидетельствовал, что им были проредактированы и исправлены «неточности», имеющияся в готовившейся Временным Комитетом Г. Д. к изданию книге, где было дано «точное описание день за днем, как происходило». (Я никогда не видел этой книги и нигде не встречал ссылок на нее – надо думать, что она в действительности не была издана). И, тем не менее, суммарное изложение Милюкова с большими фактическими ошибками не дает нужных ответов...

Имеются и воспоминания Керенскаго, но только во французском издании его «Революции 17 г.». Внешне мемуарист хочет быть очень точным. Им указываются даже часы ответственных решений в эти дни. Но это только внешняя точность, ибо даты безнадежно спутаны (выпустив книгу в 28 году, автор, следуя установившимся плохим традициям многих мемуаристов, не потрудился навести соответствующия справки и повествует исключительно по памяти). Память Керенскаго так же сумбурна, как сумбурны сами события, в которых ему пришлось играть активнейшую роль, когда он падал в обморок от напряжения и усталости и когда, по его собственным словам, он действовал как бы в тумане и руководствовался больше инстинктом, нежели разумом. При таких условиях не могла получиться фотография того, что было в 17 г. (на это Керенский претендовал в своих парижских докладах). Нет ничего удивительнаго, что тогда у него не было ни времени, ни возможности вдумываться в происходившия события. В воспоминаниях он пытается объяснить свое равнодушие к программным вопросам тем, что никакия программы не могли изменить ход событий, что академические споры не представляли никакого интереса, и что в силу этого «Он не принимал в них участия... Поэтому все самое существенное прошло мимо сознания мемуариста, самоутешающагося тем, что события не могли идти другим путем, и даже издевающагося над несчастными смертными (« Pauvres êtres humains »), которые думают по иному.

Еще меньше можно извлечь из воспоминаний Шульгина «Дни», которым повезло в литературе, и на которыя так часто ссылаются. Воспоминания Шульгина – «живая фотография тех бурных дней» (отзыв Тхоржевскаго) – надо отнести к числу полу-беллетристических произведений, не могущих служить канвой для историческаго повествования: вымысел от действительности не всегда у него можно отделить, к тому же такого вымысла, сознательнаго и безсознательнаго, слишком много – автор сам признается, что впечатления от пережитого смешались у него в какую-то «кошмарную кашу». Воспоминания

Шульгина могли бы служить для характеристики психологических переживаний момента, если бы только на них не сказывалась так определенно дата – 1925 год. Тенденциозность автора просачивается через все поры[4].

Более надежными являются «Записки о революции» Суханова, где наиболее подробно и в хронологической последовательности изложены перипетии, связанныя с переговорами в ночь на 2-ое марта. Большая точность изложения объясняется не только свойствами мемуариста, игравшаго первенствующую роль со стороны Исп. Ком. в переговорах, но и тем, что еще 23 марта ему было поручено Исп. Ком. составить очерк переговоров. Суханов поручения не выполнил, но, очевидно, подобрал предварительно соответствующий материал: поэтому он так отчетливо запомнил «все» до пятаго дня – это была «сплошная цепь воспоминаний, когда в голове запечатлевался чуть ли не каждый час незабвенных дней». И совершенно неизбежно в основу разсказа надо положить изложение Суханова, хотя и слишком очевидно, что иногда автор теоретическия обоснования подводит post factum и себе приписывает более действенную, провидящую роль, нежели она была в действительности.

I. Среди советской демократии

1. Тактическое банкротство

По чьей инициативе начались переговоры. Представитель крайняго течения, большевик Шляпников, определенно утверждает, что Исп. Ком. стал обсуждать вопрос о конструкции власти по «официальному предложению» со стороны Комитета Гос. Думы. Противоположную версию устанавливает другой представитель «революционной демократии», Суханов, не принадлежавший к группе лиц, входящих в ленинскую фалангу; понимая, что «проблема власти» – основная в революции, именно он настаивал на обсуждении ея в Исп. Ком., и по его инициативе возникла мысль о необходимости вступить в переговоры с представителями «цензовой общественности». Версия Суханова, как увидим, более достоверна[5], хотя Стеклов, официальный докладчик Исп. Ком. на Совещании Советов 30 марта, дававший через месяц отчет перед собранием и разсказавший историю «переговоров», развивал то же положение, что и Шляпников: думский де Комитет начал переговоры «по собственной инициативе» и вел их с советскими представвителями, как с «равноправной политической стороной».

Так или иначе вопрос об организации власти подвергся обсуждению в Исп. Комитете днем 1 марта – вернее урывками происходил довольно случайный и безсистемный обмен мнений по этому поводу, так как текущие вопросы («куча вермишели», по выражению Суханова) постоянно отвлекали внимание. Беседы происходили, как утверждает Шляпников, в связи с сообщением Чхеидзе, что Врем. Комитет, взяв на себя почин организации власти, не может составить правительство без вхождения в него «представителей левых партий». Намечались три течения: одно из них (согласно традиционной догме) отвергало участие социалистов во власти в период так называемой « буржуазной» революции; другое (крайнее) требовало взять управление в свои руки; третье настаивало на соглашении с «цензовыми элементами», т. е. споры шли по схеме: власть буржуазная, коалиционная или демократическая (социалистическая). В 6-м часу И. К. вплотную подошел к разрешению проблемы власти и даже подверг вопрос баллотировке, при чем 13 голосами против 7 или 8 постановил не входить в цензовое правительство.

Впоследствии была выдвинута стройная теоретическая схема аргументаций, объяснявшая почему демократия, которой яко бы фактически принадлежала власть в первые дни революции в Петербурге, отказалась от выполнения павшей на нее миссии. Такую попытку сделал

Суханов в «Записках о революции». Другой представитель «советской демократии» Чернов, непосредственно не участвовавший еще в то время в революционных событиях, касаясь в своей исторической работе «Рождение революционной России» решения передать власть «цензовой» демократии, не без основания замечает, что в данном случае победила «не теория, не доктрина», а «непосредственное ощущение *обузы власти* » и желание свалить эту обузу под соусом теоретическаго обоснования на «плечи цензовиков». Пять причин, побуждавших к такому действию и свидетельствовавших об отсутствии «политической зрелости» и о «тактическом банкротстве» руководящаго) ядра, исчисляет Чернов:

1. Не хватало программнаго единодушия.

2. Цензовая демократия была на лицо «во всеоружии всех своих духовных и политических ресурсов», революционная же демократия была представлена на месте действия случайными элементами, «силами далеко не перваго, часто даже и не второго, а третьяго, четвертаго и пятаго калибра». Самыя квалифицированныя силы революционной демократии находились в далекой ссылке или в еще более далеком изгнании.

3. У цензовиков были «всероссийския имена», руководители же революционной демократии за немногими исключениями являлись «для широкаго общественнаго мнения загадочными незнакомцами», о которых враги могли «распространять какия угодно легенды».

4. Крупнейшие деятели рев. демократии были «абсолютно незнакомы с техникою государственнаго управления и аппаратом его» и «прыжок из заброшеннаго сибирскаго улуса или колонии изгнанников в Женеве на скамьи правительства был для них сходен – с переселением на другую планету».

5. «Буржуазныя партии» имели за собой свыше десяти лет открытаго существования и устойчивой, гласной организации трудовыя, социалистическия и революционныя партий держались почти всегда лишь на голом скелете кадров «профессиональных революционеров».

Пространную аргументацию несколько кичливых представителей эмигрантских «штабов»[6] – подобную же аргументацию развивает и Троцкий в «Истории русской революции» – можно было бы кратко подытожить словами Милюкова на упомянутом митинге 2-го марта в Екатерининском зале Таврическаго дворца, когда бывший лидер думской оппозиции с большим преувеличением говорил о единственно организованной «цензовой общественности». Во всех этих соображениях имеется, конечно, доля истины, но все они анулировались в тот момент аргументом, который представляло собой настроение масс и сочувствие

последних революционным партиям. «Престиж Думы» был огромен, несравним с вожаками левых, известных лишь в узком круге, – усиленно подчеркивает и Маклаков, а между тем для успокоения революционной стихии имело огромное значение вхождение именно Керенскаго в состав Временнаго Правительства, при чем играло роль само по себе не имя депутата, а его принадлежность к революционной демократии. Оспаривать этот факт не приходится, так как сама военная власть с мест, где разбушевалась стихия, систематически взывала в первые дни к новой власти и требовала прибытия Керенскаго. Неоспоримо, что правительство, составленное из наличных членов Исп. Ком., было бы весьма неавторитетно, но почти столь же неоспоримо, что революционная общественность могла бы составить такое правительство из имен более или менее «всероссийских», которое имело бы в те дни, быть может, больше влияния, чем случайно составленное и не соответствовавшее моменту «Временное Правительство», которое приняло бразды правления в революционное время[7].

Основная причина «передачи» власти цензовым элементам или вернее отказ от каких-либо самостоятельных попыток создать однородное демократическо-социалистическое правительство лежала не в сознании непосильной для демократии «обузы власти», а в полной еще неуверенности в завтрашнем дне. В этом откровенно признавался впоследствии в совещании советов докладчик о «временном правительстве», Стеклов – один из тех, кто непосредственно участвовал в ночных переговорах 1–2 марта: «...когда намечалось... соглашение, было совсем неясно, восторжествует ли революция не только в форме революционно-демократической, но даже в форме умеренно-буржуазной. вы, ...которые не были здесь, в Петрограде, и не переживали этой революционной горячки, представить себе не можете, как мы жили: окруженные вокруг думы отдельными солдатскими взводами, не имеющими даже унтер-офицеров, не успевши еще сформировать никакой политической программы движения... нам не было известно настроение войск вообще, настроение Царскосельскаго гарнизона, и имелись сведения, что они идут на нас. Мы получали слухи, что с севера идут пять полков, что ген. Иванов ведет 26 эшелонов, на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что эта слабая группа, окружавшая дворец, будет разбита, и с минуты на минуту ждали, что вот придут, и если не разстреляют, то заберут нас. Мы же, как древние римляне, важно сидели и заседали, но полной уверенности в успехе революции в этот момент совершенно не было»

Слишком легко после того, как события произошли, отвергнуть этот психологический момент и утверждать, что «царизм» распался, как карточный домик, что режим, сгнивший на корню, никакого сопротивления не мог оказать, что «военный разгром революции был немыслим». Дело, конечно, было не так. Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления. Это почти «социологический» закон. У революции 17 года не было организованной реальной военной силы. Все участники революции согласны с тем, что цитадель революции – Таврический дворец, была в первые дни беззащитна. В ночь на 28 февраля, находившиеся в Гос. Думе фактически не располагали ни одним ружьем – признает Керенский (La Verité). Имевшееся артиллерийское орудие было без снарядов, бездейственны были и пулеметы (Мстиславский). Потому так легко возникала паника в стенах Таврическаго дворца – и не только в первый день, как о том свидетельствуют мемуаристы; достаточно было дойти неверному слуху о сосредоточении в Академии Генеральнаго Штаба 300 офицеров, вооруженных пулеметами, с целью нападения на революционную цитадель. Казалось, что небольшая организованная воинская часть без труда ликвидирует возстание или по крайней мере его внешний центр[8]. И если такой части не нашлось, то эхо объясняется не одной растерянностью разложившейся власти, а и тем, что уличное неорганизованное движение в критический момент оказалось сцеплено с Государственной Думой – поднять вооруженную руку против народнаго представительства психологически было уже труднее, учитывая то обстоятельство, что во время войны армия превратилась в сущности в «вооруженный народ», как то неоднократно признавалось в самом правительстве (см., напр., суждения в Совете Министров в 15 году). Война парализовала в значительной степени волю к противодействию, и Суханов совершенно прав, утверждая, что Комитет Гос. Думы служил «довольно надежным прикрытием от царистской контр-революции», отсюда рождалось впечатление, что власть «явно запускала движение» и подтверждалась распространенная легенда о «провокации».

Если в Петербурге 1-го марта, когда решался вопрос о власти, переворот закончился уже победоносно, то оставалось еще неизвестным, как на столичныя события реагирует страна и фронт. Керенский, не очень следящий за своими словами, в одной из последних книг (La Verité) писал, что к ночи 28-го вся страна с армией присоединилась, к революции. Это можно еще с оговоркой сказать о второй столице Империи где ночью 28-го было уже принято обращение Городской Думы, к населению, говорившее,

что «ради победы и спасения России Госуд. Дума вступила на путь решительной борьбы со старым и пагубным для нашей родины строем». Но народ, который должен был фактически устранить «от власти тех, кто защищал старый порядок, постыдное дело измены», 1 марта в сущности стал лишь «готовиться к бою», как выражается в своих воспоминаниях непосредственный наблюдатель событий, будущий комиссар градоначальства с.-р. Вознесенский. Полное бездействие власти под начальством ген. Мрозовскаго определило успех революции и ея безкровность: три солдата и рабочий – такова цифра жертв возстания в Москве... В матери русских городов – Киеве, где узнали о перевороте лишь 3-го, и где в этот день газеты все же вышли с обычными «белыми местами», еще перваго был арестован по ордеру губ. жанд. управления старый народоволец, отставн. полковник Оберучев, вернувшийся из эмиграции в середине февраля «на родину». Во многих губерниях центра России (Ярославль, Тула и др.) движение началось 3-го. Жители Херсона даже 5 марта могли читать воззвание губернатора Червинскаго о народных безпорядках в Петербурге, прекращенных Родзянко в «пользу армии, Государя и отечества». На фронт весть о революции естественно пришла еще позже – во многих местах 5–6 марта; об отречении Императора на некоторых отдельных участках узнали лишь в середине месяца. Местечковый еврей, задавший в это время одному из мемуаристов (Квашко) вопрос: «а царя, действительно, больше нет, или это только выдумка», – вероятно, не был одинок. В захолустье сведения о происшедших событиях кое где проникли лишь к концу месяца. Для иностранных читателей может быть убедительно свидетельство Керенскаго, что на всем протяжении Империи не нашлось ни одной части, которую фактически можно было двинуть против мятежной столицы, то же, конечно, говорит и Троцкий в своей «Истории революции». Но это мало убедительно для русскаго современника, знающаго, что фронтовая масса и значительная часть провинции о событиях были осведомлены лишь после их завершения.

Чернов делает поправку (то же утверждение найдем мы и в воспоминаниях Гучкова): войсковую часть можно было отыскать на фронте, но посылка ея не достигла бы цели, ибо войска, приходившия в Петербург, переходили на сторону народа. Но это только предположение, весьма вероятное в создавшейся обстановке, но все-таки фактически неверное, вопреки установившейся версии, даже в отношении того немногочисленнаго отряда, который дошел до Царскаго Села во главе с ген. Ивановым к вечеру 1 марта[9]. Большевицкие историки желают

доказать, что «демократия», из которой они себя выделяют, отступила на вторыя позиции не из страха возможности разгрома революции, а в силу паники перед стихийной революционностью масс: в первые дни – вспоминает большевизанствующий с.-р. Мстиславский – «до гадливости» чувствовалось, как «верховники» из Исп. Ком. боялись толпы[10]. Безспорно, страх перед неорганизованной стихией должен был охватывать людей, хоть сколько-нибудь ответственных за свои действия и не принадлежавших к лагерю безоговорочных «пораженцев», ибо неорганизованная стихия, безголовая революция, легко могла перейти в анархию, которая не только увеличила бы силу сопротивления режима, но и неизбежно порождала бы контр-революционное движение страны во имя сохранения государственности и во избежание разгрома на внешнем фронте»

Керенский, быть может, несколько преувеличивая свои личныя ощущения первых дней революции, объективно прав, указывая, что никто не ожидал произошедшаго хаоса, и у всех была только одна мысль, как спасти страну от быстро наступающей анархии. Элементарный здравый смысл заставлял демократию приветствовать решение Временнаго Комитета взять на себя ответственную роль в происходивших событиях и придать стихийному движению характер «революции», ибо история устанавливала и другой «социологический закон», в свое время в таких словах формулированный никем иным, как Лениным: «для наступления революции недостаточно, чтобы «низы не хотели», требуется, чтобы и «верхи не могли» жить по старому, т. е. «революционное опьянение», как выразился Витте в воспоминаниях, должно охватить и командующий класс. Витте довольно цинично называл это «умственной чесоткой» и либеральным «ожирением» интеллигентной части общества, доказывая, что «революционное опьянение» вызывает отнюдь не «голод, холод, нищета», которыми сопровождается жизнь 100 миллионнаго непривилегированнаго русскаго народа. В одном старый бюрократ был прав: «главным диктатором» революции не является «голодный желудок» – этот традиционный предразсудок, как нежизненный постулат, пора давно отбросить. Голод порождает лишь бунт, которому, действительно, обычно уготован один конец: «самоистребление». Алданов справедливо заметил, что о «продовольственных затруднениях» в Петербурге, в качестве «причин революции» историку после 1920 г. писать «будет неловко».

Мотив этот выдвигался экономистами в начале революции (напр., доклад Громана в Исп. Ком. 16 марта); в позднейшей литературе, пожалуй,

один только Чернов все еще поддерживает версию, что на улицу рабочих вывел «Царь-Голод», – впрочем весьма относительный: сообщение градоначальника командующему войсками 23 февраля считало причиной безпорядков еще только слух, что будут отпускать 1 ф. хлеба взрослому и полфунта на малолетних.

Ленин, который все всегда знал заранее на девять десятых, утверждал после революции, еще в дни пребывания за границей, что буржуазия нужна была лишь для того, чтобы «революция победила в 8 дней»[11].

Мемуаристы противоположнаго лагеря с той же убедительностью доказывают легкую возможность разгрома революции при наличности некоторых условий, в действительности по тем или другим причинам не оказалось. «Революция победила в 8 дней» потому, что страна как бы слилась в едином порыве и общности настроений, – столичный бунт превратился во «всенародное движение», показавшее, что старый порядок был уже для России политическим анахронизмом и тогда (после завершения переворота) в стихийности революции начали усматривать гарантии незыблемой ея прочности (речь Гучкова 8 марта у промышленников).

В историческом аспекте можно признать, что современники в предреволюционные дни недооценивали сдвига, который произошел в стране за годы войны под воздействием оппозиционной критики Гос. Думы, привившей мысль, что национальной судьбе России при старом режиме грозит опасность, что старая власть «безучастная к судьбе родины и погрязшая в позоре порока... безповоротно отгородилась от интересов народа, на каждом шагу принося их в жертву безумным порывам произвола и самовластия» (из передовой статьи «Рус. Вед.» 7 марта). В политической близорукости, быть может, повинны все общественныя группировки, но от признания этого факта нисколько не изменяется суть дела: февральския события в Петербурге, их размах, отклик на них и итог оказались решительно для всех неожиданными – «девятый вал», по признанию Мякотина (в первом публичном выступлении после революции), пришел тогда, «когда о нем думали меньше всего». Теоретически о грядущей революции всегда говорили много – и в левых, и в правых, и в промежуточных, либеральных кругах. Предреволюционныя донесения агентуры департамента полиции и записи современников полны таких предвидений и пророчеств – некоторым из них нельзя отказать в прозорливости, настолько они совпали с тем, что фактически произошло. В действительности же подобныя предвидения не выходили за пределы абстрактных разсчетов и субъективных ощущений того, что

Россия должна стоять «на пороге великих событий». Это одинаково касается, как предсказаний в 16 г. некоего писца Александро-Невской Лавры, зарегистрированных в показаниях филеров, которые опекали Распутина, так и предвидений политиков и социологов. Если циммервальдец Суханов был убежден, что «мировая социальная революция не может не увенчать собой мировой империалистической войны», то его прогнозы в сущности лежали в той же плоскости, что и размышления в часы безсонницы в августе 14 г. вел. кн. Ник. Мих., записавшаго в дневник: «к чему затеяли эту убийственную войну, каковы будут ея конечные результаты? Одно для меня ясно, что во всех странах произойдут громадные перевороты, мне мнится конец многих монархий и триумф всемирнаго социализма, который должен взять верх, ибо всегда высказывался против войны». Писательница Гиппиус занесла в дневник 3 октября 16 г.: «никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и не ужасно ли? – никто не думает об этом». (Предусмотрительность часто появляется в опубликованных дневниках post factum). Во всяком случае не думали потому, что вопрос этот в конкретной постановке в сознании огромнаго большинства современников не был актуален, – и близость революции исчислялась не днями и даже не месяцами, а может быть, «годами». Говорили о «революции» после войны (Шкловский). Даже всевидящий Ленин, считавший, что «всемирная империалистическая война» является «всесветным режиссером, который может ускорить революцию» («Письма издалека»), за два месяца до революции в одном из своих докладов в Цюрихе сделал обмолвку: «Мы, старики, быть может, до грядущей революции не доживем». По наблюдениям французскаго журналиста Анэ, каждый русский предсказывал революцию на следующий год, в сущности не веря своим предсказаниям. Эти общественные толки, поднимавшиеся до аристократических и придворных кругов, надо отнести в область простой разговорной словесности, конечно, показательной для общественных настроений и создавшей психологию ожидания чего-то фатально неизбежнаго через какой-то неопределенный промежуток времени.

Ожидание новаго катаклизма являлось доминирующим настроением в самых различных общественных кругах – и «левых» и «правых , после завершения «великой русской революции», как «сгоряча» окрестили 1905 год, Россию ждет «революция безповоротная и ужасная» – положение это красной нитью проходит через перлюстрированную департаментом полиции частную переписку (мы имеем опубликованный отчет, напр., за

1908 г.). Человек весьма консервативных политических убеждений, харьковский проф. Вязигин писал: «Самые черные дни у нас еще впереди, а мы быстрыми шагами несемся к пропасти». Ему вторит политик умеренных взглядов, член Гос. Сов. Шипов: «родина приближается к пропасти»... «предстоящая неизбежная революция легко может вылиться в форму пугачевщины». И все-таки Шипов, путем размышления, готов признать, что «теперь чем хуже, тем лучше», ибо «чем скорее грянет этот гром, тем менее он будет страшен и опасен». И более левый Петрункевич хоть и признает, что наступила «полная агония» правительственной власти, что «теперь борьба демократизировалась в самом дурном смысле», что «выступили на арену борьбы необузданный и дикия силы», однако, все это, по его мнению, свидетельствует, что «мы живем не на кладбище». «Будущее в наших руках, если не впадет в прострацию само общество», успокаивает редактор «Рус. Вед.» Соболевский сомневающагося своего товарища по работе проф. Анучина и т. д. И очень часто в переписке государственных деятелей, ученых и простых обывателей, с которой ознакамливались перлюстраторы, звучит мотив: «вряд ли без внешняго толчка что-нибудь будет». В кругах той либерально-консервативной интеллигенции, которая под водительством думскаго прогрессивнаго блока претендовала на преемственность власти при новых парламентских комбинациях, ожидание революции, вышедшей из недр народной толщи и рисовавшейся своим радикальным разрешением накопившихся социальных противоречий какой-то новой «пугачевщиной», «русским бунтом, безсмысленным и безпощадным», по выражению еще Пушкина, носило еще менее реалистическия формы. Революционный жупел, посколько он выявлялся с кафедры Гос. Думы, здесь был приемом своего рода педагогическаго воздействия на верховную власть в целях принудить ее капитулировать перед общественными требованиями. В действительности мало кто верил, что то, «чего все опасаются», может случиться, и в интимных разговорах, отмечаемых агентами деп. полиции (и не только ими), ожидаемая революция заменялась «почти безкровным» дворцовым переворотом – до него в представлении оппозиционных думских политиков оставалось «всего лишь несколько месяцев» даже, может быть, несколько недель.

2. Неожиданность революции

«Революция застала врасплох только в смысле момента», утверждает Троцкий. Но в этом и была сущность реальнаго положения, предшествовавшаго 27 февраля. Несомненен факт, устанавливаемый Сухановым, что ни одна партия непосредственно не готовилась к перевороту. Будущий левый с.-р. Мстиславский выразился еще резче: «революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими». Большевики не представляли собой исключения – накануне революции, по образному выражению Покровскаго, они были «в десяти верстах от вооруженнаго возстания». Правда, накануне созыва Думы они звали рабочую массу на улицу, на Невский, противопоставляя свою демонстрацию в годовщину дня суда над с.-д. депутатами 10 февраля проекту оборонческих групп"хождения к Думе» 14 февраля, но фактически это революционное действие не выходит из сферы обычной пропаганды стачек.

Нельзя обманываться лозунгами: «Долой царскую монархию» и «Да здравствует Временное Революционное Правительство» и т. д. – то были лишь традиционныя присказки всякой прокламации, выходившей из революционнаго подполья. Рабочие не вышли на улицу. Быть может, свою роль сыграла агитация думских кругов, выступавших с предупреждением о провокационном характере призывов[12], но еще в большей степени полная раздробленность и политическое расхождение революционных штабов. Характерно, что близкие большевикам так называемые «междурайонцы» в особом листке, выпущенном 14 февраля, «признавали нецелесообразным общее революционное выступление пролетариата в момент не изжитаго тяжелаго внутренняго кризиса социалистических партий и в момент, когда не было основания разсчитывать «на активную поддержку армии». «Обычное», конечно, шло своим чередом, ибо революционные штабы готовили массы к «грядущему выступлению». И тот же петербургский междурайонный комитет с.-дем, в международный день работниц 23 февраля (женское «первое мая») выпускает листовку с призывом протестовать против войны и правительства, которое «начало войну и не может ее окончить». Трудно поэтому уличное выступление 23 февраля, которое вливалось в наростающую волну стачек, имевших всегда не только экономический, но и политический оттенок, назвать «самочинным». Военные представители иностранных миссий в телеграмме в Ставку движение, начавшееся 23-го, с самаго начала

определили, как манифестацию экономическую по виду, и революционную по существу (Легра). Самочинность его заключалась лишь в том, что оно возникло без обсуждения «предварительнаго плана», как утверждали донесения Охр. Отд. 26 февраля. Дело касается партийных комитетов, которые были далеки от мысли, что «женский день» может оказаться началом революции и не видели в данный момент «цели и повода» для забастовок (свидетельство рабочаго Ветрова, состоявшаго членом выборгскаго районнаго комитета большевицкой партии).

Уличная демонстрация, если не вызванная, то сплетавшаяся с обострившимся правительственным кризисом, была тем не менее поддержана революционными организациями (на совещании большевиков с меньшевиками и эсерами) – правда «скрепя сердце», как свидетельствует Каюров, при чем в « тот момент никто не предполагал, во что оно (это движение) выльется». В смысле этой поддержки и надо понимать позднейшия (25–26 февр.) донесения агентов Охр. Отд., отмечавшия что «революционные круги стали реагировать на вторые сутки», и что «наметился и руководящий центр, откуда получались директивы». В этих донесениях агентура явно старалась преувеличивать значение подпольнаго замаскированнаго центра. (Преувеличенныя донесения и послужили поводом для ареста руководителей «рабочей группы» при Цен. Воен. Пр. Ком., осложнившаго и обострившаго положение). Если о Совете Раб. Деп., который должен «начать действия к вечеру 27-го», говорили, напр., на рабочем совещании 25-го, созванном по инициативе Союза рабочих потребительских обществ и по соглашению с соц.-дем. фракцией Гос. Думы, если на отдельных заводах происходили уже даже выборы делегатов, как о том гласила больше, правда, городская молва, то этот вопрос стоял в связи с продовольственным планом, который одновременно обсуждался на совещании в городской Думе, а не с задуманным политическим переворотом, в котором Совет должен был играть роль какого-то «рабочаго парламента». Реальный Совет Р. Д. возник 27-го «самочинно», как и все в эти дни, вне связи с только что отмеченными разговорами и предположениями – инициаторами его явились освобожденные толпой из предварительнаго) заключения лидеры «рабочей группы», взявшие полученную по наследству от 1905 г. традиционную форму объединения рабочих организаций, которая сохранила престиж в рабочей среде и силу действеннаго лозунга пропаганды социал-демократии. Поэтому приходится сделать очень большую оговорку к утверждению Милюкова-историка, что «социалистическия партии решили немедленно возродить Совет рабочих депутатов».

Как ни расценивать роль революционных партийных организаций в стихийно нараставших событиях в связи с расширявшейся забастовкой, массовыми уличными выступлениями и обнаруживавшимся настроением запасных воинских частей[13], все же остается несомненным, что до перваго официальнаго дня революции «никто не думал о такой близкой, возможной революции» (восп. раб. больш. Каюрова). «То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял за начало революции,– вспоминает Суханов: «казалось, что движение, возникшее в этот день, мало чем отличалось от движения в предыдущее месяцы. Такие безпорядки проходили перед глазами современников многие десятки раз». мало того, в момент, когда обнаружилось колебание в войсках, когда агенты охраны докладывали, что масса «после двух дней безпрепятственнаго хождения по улицам уверилась в мысли, что «началась революция», и «власть безсильна подавить движение , что, если войска перейдут «на сторону пролетариата, тогда ничто не спасет от революционнаго переворота», – тогда именно под влиянием кровавых уличных эпизодов, имевших место 26-го, в большевицком подполье был поднят вопрос о прекращении забастовок и демонстраций. В свою очередь Керенский в книге «Experiences» вспоминает, что вечером 26-го у него собралось «информационное бюро» социалистических партий – это отнюдь не был центр действия, а лишь обмен мнениями «за чашкой чая». Представитель большевиков Юренев категорически заявил, что нет и не будет никакой революции, что движение в войсках сходит на нет, и надо готовиться на долгий период реакции... Слова Юренева (их приводил раньше Станкевич в воспоминаниях) были сказаны в ответ на указание хозяина квартиры, что необходимо приготовиться к важным событиям, так как мы вступили в революцию. Были ли такия предчувствия у Керенскаго? В другой своей книге, изданной в том же 36-ом году, он по иному определял положение: даже 26 февраля, – пишет он в «La Verité », никто не ждал революции и не думал о республике. Соратник Керенскаго по партии, участник того же инф. бюро, Зензинов в воспоминаниях, набросанных еще в первые дни революции («Дело Народа» 15 марта), подтверждал второе, а не первое заключение Керенскаго: он писал, что «революция ударила, как гром с неба, и застала врасплох не только правительство, но и Думу и существующия общественныя организации. Она явилась великой и радостной неожиданностью и для нас революционеров». Упоминал об информационных собраниях тех дней, на которых присутствовали представители всех существовавших в Петербурге революционных течений и организаций, он говорил, что

события разсматривались, как нечто «обычное» – «никто не предчувствовал в этом движении веяния грядущей революции». Не показательно ли, что в упомянутой прокламации, изданной Междурайонным Комитетом 27 февраля, рабочая масса призывалась к организаций «всеобщей политической стачки протеста» против «безсмысленнаго», «чудовищнаго» преступления, совершившагося накануне, когда «Царь свинцом накормил поднявшихся на борьбу голодных людей», и когда в «безсильной злобе сжимались наши кулаки», – здесь не было призыва к вооруженному возстанию. Также, очевидно, надо понимать и заявление представителя рабочих, большевика Самодурова, в заседании Городской Думы 25 февраля требовавшаго не «заплат», а совершеннаго уничтожения режима.

3. Спор о власти

Обстановка первых двух дней революции (она будет обрисована в последующих главах), обнаруживавшая несомненную организационную слабость центров[14], которые вынуждены были пасовать перед стихией, отнюдь не могла еще внушить демократии непоколебимую уверенность в то, что «разгром был немыслим». Пешехонов вспоминал, что «на другой день после революции», при повышенном и ликующем настроении '"не только отдельных людей, но и большия группы вдруг охватывал пароксизм сомнений, тревоги и страха». О «страшном конце» говорил временами и Керенский, как свидетельствует Суханов; пессимизм Скобелева отмечает Милюков, проводивший с ним на одном столе первую ночь в Таврическом дворце, о своей панике разсказывает сам Станкевич; Чхеидзе был в настроении, что «все пропало» и спасти может только «чудо!» – утверждает Шульгин. О том, что Чхеидзе был «страшно напуган» солдатским возстанием, засвидетельствовал и Милюков. Завадский разсказывает о сомнениях в благополучном исходе революции, возникших у Горькаго, когда ему пришлось наблюдать «панику» в Таврическом дворце 28-го, но еще большая неуверенность у него была в победе революции за пределами Петербурга. Противоречия эти были жизненны и неизбежны.

О том необычайном «парадоксе февральской революции», который открыл Троцкий и который заключался в том, что демократия, после переворота обладавшая всей властью (ей вручена была эта власть «победоносной массой народа»), «сознательно отказалась от власти и превратила 1 марта легенду о призвании варягов в действительность XX века», приходится говорить с очень большими оговорками. В сущности, этого парадокса не было, и поэтому естественно, что на совещании Исп. Ком., о котором идет речь, никто, по воспоминанию Суханова, не заикался даже о советском демократическом правительстве. Большевики в своей среде решали этот вопрос, как утверждает Шляпников, но во вне не вступали в борьбу за свои принципы – только слегка «поговаривали», по выражению Суханова[15]. Споры возникли около предположения, высказаннаго «правой частью» совещания, о необходимости коалиционнаго правительства. Идея была выдвинута представителем «Бунда». Очевидно, большой настойчивости не проявляли и защитники коалиции, тем более, что самые видные и авторитетные ея сторонники (меньшевик Богданов и нар. соц. Пешехонов) в заседании не

присутствовали[16].

Совершенно ясно, что 1-го вообще никаких окончательных решений не было принято, несмотря на произведенное голосование. Это была как бы предварительная дискуссия. намечавшая лишь некоторые пункты для переговоров с Вр. Ком. Гос. Думы и выяснявшая условия, при которых демократия могла бы поддержать власть, долженствовавшую создаться в результате революционной вспышки. Стеклов, как разсказывает Суханов, – записывал пункты по мере развивавшихся прений. Они были впоследствии на Совещании Советов оглашены докладчиком по сохранившемуся черновику, который передан был затем в «Музей истории». Эти 9 пунктов, записанных на клочке плохой писчей бумаги, были формулированы так:

«1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям.

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих.

3. Воздержание от всех действий, предрешающих форму будущаго правления.

4. Принятие немедленных мер к созыву Учредительнаго Собрания на основах всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосования.

5. Замена полиции пародной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местнаго самоуправления.

6. Выборы в органы местнаго самоуправления на основе всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосования.

7. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.

8. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.

9. Самоуправление армий.»

В этих пунктах не было намека на социально-экономические вопросы, которые должны встать перед Временным Правительством с перваго дня его существования: в них не было самаго существеннаго в данный момент – отношения к войне.

Большинство Исп. Ком., по мнению Суханова, принадлежало к циммервальдскому объединению, но, поясняет мемуарист – надо было временно снять с очереди лозунги против войны, если разсчитывать на присоединение буржуазии к революции. Свернуть «циммервальдское знамя» приходилось однако и для того, чтобы договориться в собственной «советской среде». Совет с циммервальдскими лозунгами в то время не

был бы поддержан солдатской массой, представители которой составляли большинство пленума. Равным образом те же тактическия соображения побуждали не выдвигать и социально-экономические лозунги. Как пояснял вышедший через несколько дней меньшевицкий орган – «Рабочая Газета», для рабочаго класса «сейчас непосредственно социальные вопросы не стоят на первом плане», надо напрячь «все силы, чтобы создать свободную и демократическую Россию», т. е. добыть «политическую свободу» – единственное «средство, при помощи котораго можно бороться за социализм». Вспоминая «урок» 1905 г., «Рабочая Газета» указывала на невозможность для пролетариата вести борьбу на «два фронта» – с «реакцией» и «капиталистами». Следовательно, не столько книжная мудрость, заимствованная из «учебников», не столько догматика, определяющая мартовския события, как «буржуазную революцию в классическом смысле слова» и развитая в последующем идеологическом осмысливании событий, сколько ощущение реальной действительности определяло позиции и тактику «верховников» из среды Исп. Ком. в смутные дни, когда, говоря словами того же доклада Стеклова, «нельзя было с уверенностью сказать, что переворот завершен, и что старый режим действительно уничтожен».

Житейская логика требовала следующаго шага – непосредственнаго участия представителей социалистической демократии в той власти, которая пока существовала еще только в «потенции»: во время войны и продовольственной разрухи приходится выбирать между правительством буржуазии и правительством из своей среды, как выразился один из делегатов на Совещании Советов, не считаясь с «резолюциями конгресса международнаго социализма». Этого шага в полной мере не было сделано. Был создан чреватый своими последствиями ублюдочный компромисс, который никак нельзя разсматривать, как нечто, последовательно вытекавшее из априорно установленных в те дни постулатов. Бундовец Рафес, один из тех, кто отстаивал в дневном совещании Исп. Ком. принцип коалиционной власти, совершенно определенно свидетельствует в воспоминаниях, что в ночном заседании организационнаго Комитета партии с.-д. вопреки мнению Батуринскаго, представлявшаго линию Исп. Ком., принято было решение об участии членов партии в образовании правительства. Отсюда вывод, что партия не считала для себя обязательным случайное голосование происходившаго днем советскаго совещания. Столь же знаменательно было появление на другой день в официальных советских «Известиях» статьи меньшевика Богданова, отстаивавшаго участие демократии в образовании правительства и

мотивировавшаго необходимость такого участия тем соображением, что думское крыло революции не только склоняется к конституционной монархии, но и готово сохранить престол за прежним носителем верховной власти.

В бурные моменты самочинное действие играет нередко роль решающаго фактора. Такое своевольное действие от имени разнородная спектора социалистической общественности и совершила группа деятелей Исп. Ком., в сущности организационно никого не представлявшая и персонально даже довольно случайно кооптированная в руководящий орган советской демократии. Их политическая позиция была неопределенна и неясна. В конце концов фактически неважно – был ли лично инициатором начала переговоров с думцами заносчивый и самомнительный Гиммер (Суханов), разыгрывавший роль какого-то «советскаго Макиавели», или другая случайность (приглашение во Врем. Ком. для обсуждения вопроса об организации власти) превратила Суханова и его коллег Стеклова и Соколова в единственных представителей революционной демократии в ночь на 2-ое марта при обсуждении кардинальнаго вопроса революции. Интересен факт, что формальной советской делегации не было, и что лица, действительно самочинно составившия эту делегацию, никем не были уполномочены, на свой риск вели переговоры и выдвигали программу, никем в сущности не утвержденную.

II. В рядах цензовой общественности

1. Легенда о Государственной Думе

Каково же было умонастроение в том крыле Таврическаго дворца, где заседали представители «единственно организованной цензовой общественности», для переговоров с которыми направились делегаты Совета? В представлении Суханова они шли для того, чтобы убедить «цензовиков» взять власть в свои руки. Убеждать надо было в сущности Милюкова, который в изображении мемуариста безраздельно царил в «цензовой общественности». Но Милюкова, конечно, убеждать не приходилось с момента, как Врем. Комитет высказался «в полном сознании ответственности» за то, чтобы «взять в свои руки власть, выпавшую из рук правительства –уступать кому-либо дававшуюся в руки власть, лидер прогрессивнаго блока отнюдь не собирался. Для него никаких сомнений, отмеченных в предшествующей главе, не было. Довольно меткую характеристику Милюкова дал в своих воспоминаниях принадлежавший к фракции к. д. кн. Мансырев. Вот его отзыв: «человек книги, а не жизни, мыслящий по определенным, заранее схемам, исходящий из надуманных предпосылок, лишенный темперамента чувств, неспособный к непосредственным переживаниям. Революция произошла не так, как ее ожидали в кругах прогрессивнаго блока. И тем не менее лидер блока твердо и неуклонно держался в первые дни революции за схему, ранее установленную и связанную с подготовлявшимся дворцовым переворотом, когда кружок лиц, заранее, по его собственным словам, обсудил меры, которыя должны быть приняты после переворота. Перед этим «кружком лиц» лежала старая программа прогрессивнаго блока, ее и надлежало осуществить в налетевшем вихре революционной бури, значительность которой не учитывалась в цензовой общественности та же, как и среди демократии».

Большинство мемуаристов согласны с такой оценкой позиции «верховников» из думскаго комитета, а один из них, депутат Маклаков, даже через 10 лет после революции продолжал утверждать, что в мартовские дни программа блока требовала всего только некоторой «ретуши», ибо революция «nullement» не была направлена против режима(?!). В представлении известнаго публициста Ландау дело было еще проще – революции вообще не было в 17 г., а произошло просто «автоматическое падение сгнившаго правительства». Подобная концепция вытекала из представления, что революция 17 г. произошла во имя Думы, и что Дума возглавила революцию. Маклаков так и говорит, вопреки

самоочевидным фактам, что революция началась через 2 часа(!) после роспуска Думы, правда, делая оговорку, что революция произошла «во имя Думы», но «не силами Думы»! Милюков в первом варианте своей истории революции также писал, что сигнал к началу революции дало правительство, распустив Думу. Миф этот возник в первые же дни с того самаго момента, как Бубликов, занявший 28-го временно должность комиссара по министерству сообщения, разослал от имени председателя Гос. Думы Родзянко приказ, гласивший: «Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти», – и усиленно поддерживался на протяжении всей революции в рядах «цензовой общественности». Он подправлял действительность, выдвигая Гос. Думу по тактическим соображениям на первый план в роли действеннаго фактора революции. Еще в августовском Государственном Совещании, возражая ораторам, говорившим, что «революцию сделала Гос. Дума в согласии со всей страной», Плеханов сказал: «тут есть доля истины, но есть и много заблуждения»[17]. С течением времени от такого «заблуждения» отказался главный творец литературнаго мифа Милюков, некогда озаглавивший первую главу истории революции – «Четвертая Гос. Дума низлагает монархию», но потом в связи с изменениями, которыя произошли в его политических взглядах, признавший, что Гос. Дума не была способна возглавить революцию, что прогрессивный блок был прогрессивен только по отношению ко Двору и ставленникам Распутина[18], что революционный взрыв не имел никакого отношения к роспуску Думы. о котором масса, ничего не знала («Россия на переломе»), « что Дума, блок и его компромиссная программа были начисто сметены первым же днем революции («Сов. Зап.»)».

2. Впечатления перваго дня

Отвергнутая легенда передает, однако, более точно идеологическия концепции, во власти которых находились руководители «цензовой общественности» в момент переговоров с советскими делегатами. В думских кругах, для которых роспуск Думы был как бы coup de foudre, по выражению Керенскаго, еще меньше, чем в социалистическом секторе предполагали, что февральские дни знаменуют революционную бурю. Была попытка с самаго начала дискредитировать движение. Гиппиус записала 23 февраля: «опять кадетская версия о провокации... что нарочно, спрятали хлеб..., чтобы «голодные бунты» оправдали желанный правительству сепаратный мир. Вот глупые и слепые выверты. Надо же такое придумать»[19]. «События 26–27 февраля – показывал Милюков в Чр. Сл. Ком. – застали нас врасплох, потому что они не выходили из тех кругов, которые предполагали возможность того или другого переворота, но они шли из каких-то других источников или они были стихийны. Возможно, что как раз Протопоповская попытка разстрела тут и сыграла роль в предыдущее дни... Было совершенно ясно, что инсценировалось что-то искусственное...» «Руководящая рука неясна была, – добавлял Милюков в «Истории» – только она исходила, очевидно, не от организованных левых политических партий».

«Полная хаотичность начала движения» не могла подвинуть руководителей думскаго прогрессивнаго блока на героический шаг. Когда днем 27-го члены Думы собрались в Таврическом дворце на частное совещание, никакого боевого настроения в них не замечалось. Сколько их было? «Вся Дума» была на лицо в представлении Шульгина, собралось 200 членов – исчисляет Мансырев, литовский депутат Ичас доводит эту цифру до 300. То, что происходило в Думе 27-го, остается до сих пор неясным я противоречивым в деталях, даже в том, что касается самаго частнаго совещания – каждый мемуарист разсказывает по своему. Не будем на этом останавливаться.

Создалась легенда, широко распространившаяся 27-го в Петербурге, о том, что Дума постановила не расходиться, как учреждение, и что Дума совершила революционный акт, отказавшись подчиниться указу о роспуске. Так на периферии воспринял Горький, так воспринял молву и Пешехонов. В «Известиях» думскаго Комитета журналистов это «решение» было формулировано так: «Совет старейшин, собравшись на экстренном заседании и ознакомившись с указом о роспуске, постановил:

Госуд. Думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на месте». Милюков говорит, что безпартийный казак Караулов требовал открытия формальнаго заседания Думы (по словам Керенскаго этого требовала вся оппозиция в лице его, Чхеидзе, Ефремова (прог.) и «леваго» к. д. Некрасова), но совет старейшин на этот революционный путь не хотел вступать. В статье, посвященной десятилетию революции Милюков утверждал, что было заранее условлено (очевидно, при теоретическом разсуждении о возможном роспуске) никаких демонстраций не делать. И потому решено было считать Гос. Думу «не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться». Члены Думы немедленно собрались на «частное совещание»[20], и, чтобы подчеркнуть, что это «частное совещание», собрались не в большом Белом зале, а в соседнем полуциркульном за председательской трибуной[21]. О «частном совещании», помимо довольно противоречивых свидетельств мемуаристов, мы имеем «почти стенографическую запись», опубликованную в 21 г. в эмигрантской газете «Воля России». Кем составлена была запись, очень далекая от «почти стенографическая» отчета, хотя и излагавшая происходившее по минутам, неизвестно, и всетаки она, очевидно, составленная в то время, более надежна, чем слишком субъективныя позднейшия восприятия мемуаристов. Заседание открыто было в 2 1/2 часа дня Родзянко, указавшаго на серьезность положения и вместе с тем признававшаго, что Думе «нельзя еще высказаться определенно, так как мы еще не знаем соотношения сил». Выступавший затем Некрасов – тот самый, который только что перед этим в Совете старейшин, по воспоминаниям Керенскаго, будто бы от имени оппозиции среди других требовал, чтобы Дума совершила революционное действие, игнорируя приказ о роспуске – предлагал передать власть пользующемуся доверием человеку: ген. Маниковскому с «несколькими представителями Гос. Думы[22]. Проект Некрасова о приглашении генерала из состава правительства и передачи власти в «старыя руки» вызвал довольно единодушную критику. По отчету «Воли России» возражали прогрессист Ржевский и с. д. Чхеидзе, по воспоминаниям Мансырева, Караулов, по воспоминаниям Ичаса к. д. Аджемов, находивший «среднее решение», предложенное Некрасовым, «безумием». Большинство считало, что Дума сама должна избрать орган, которому надлежало вручить полномочия для сношения с армией и народом (Ржевский). Социалистический сектор отстаивал положение, что иного выхода, как создание новой власти нет – трудовик Дзюбинский предлагал, временную власть вручить сеньорен-конвенту Думы и последнюю объявить «Учредительным Собранием» (по отчету «Воли

России» Мансырев тогда поддерживал Дзюбинскаго). Скептически высказывался Шингарев: «неизвестно, признает ли народ новую власть». Когда дело дошло до Милюкова, то он отверг все сделанныя предложения – не желал он признать и Комитет из 10 лиц, который мог бы «диктаторствовать над всеми», признавал он «неудобным» предложение Некрасова и невозможность создания новой власти, так как для этого «еще не настал момент». Сам Милюков не помнил уже, что 27-го он предлагал. В «почти стенографической» записи Милюковская речь запротоколирована в таких выражениях: «Лично я не предлагаю ничего конкретнаго. Что же нам остается делать? Поехать, как предлагает Керенский, и успокоить войска, но вряд ли это их успокоит, надо искать что-нибудь реальное» (Дело в том, что в это время Керенский – как гласит запись – обратился к Собранию с предложением уполномочить его вместе с Чхеидзе поехать на автомобиле ко всем возставшим частям, чтобы объяснить им о поддержке и солидарности Гос. Думы).

Через десять лет свои колебания Милюков объяснил сознанием, что тогдашняя Дума не годилась для возглавления революции. Мемуаристы осторожность лидера объясняли неуверенностью в прочности народнаго движения (Шульгин). По утверждению Скобелева, Милюков заявил, что не может формулировать свое отношение, так как не знает, кто руководит событиями[23]. В изображении Ичаса Милюков заключил речь словами: «характер движения еще настолько неясен, что нужно подождать по крайней мере до вечера, чтобы вынести определенное решение». «Тут мы, более экспансивные депутаты, выразили бурное несогласие с нашим лидером», при чем Аджемов особливо настаивал, что «нельзя откладывать решение до выяснения соотношения сил» («Воля Рос.»). По стенографическому отчету Родзянко обратился тогда к собранию с просьбой «поторопиться с принятием решения, ибо промедление смерти подобно». Большинством было принята решение об образовании «Особаго Комитета», «Долго еще спорили»,– вспоминает Ичас – как его выбрать. Наконец, когда затянувшияся длинныя речи всех утомили (левые депутаты Керенский, Скобелев, Янушкевич, Чхеидзе постоянно выходили к толпе и возвращались на совещание, убеждая скорее приступить к действию), решили передать избрание комитета сеньорен-конвенту, который должен был немедленно доложить Совещанию его состав. После получасового разговора Родзянко сообщил результаты. «У меня и моих товарищей – вновь вспоминает Ичас – было такое чувство, словно мы избрали членов рыболовной или тому подобной думской комиссии. Никакого энтузиазма ни у кого не было. У меня вырвалась фраза: Да здравствует Комитет

Спасения. В ответ на это несколько десятков членов Совещания стали аплодировать». «Временный Комитет[24]удалился на совещание (это было около 5 часов), а мы около 300 членов Думы бродили по унылым залам Таврическаго дворца. Посторонней публики еще не было. Тут ко мне подошел с сияющим лицом член Думы Гронский: «знаешь новость. Сегодня в 9 час. веч. приедет в Таврический дворец в. кн. Мих. Ал. и будет провозглашен императором». Это известие стало довольно открыто курсировать по Екатерининскому залу».

Ичас был несколько удивлен длинным названием Временнаго Комитета – «Комитет членов Гос. Думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями», к. д. Герасимов объяснил: «это важно с точки зрения уголовнаго уложения, если бы революция не удалась бы». Скорее это было шуточное замечание, совершенно, конечно, прав Бубликов, утверждавший в воспоминаниях, что в этот момент Дума (или ея суррогат) не поддержала революции. Выжидательная позиция большинства оставалась – победила по существу, осторожная линия лидера, несмотря на «бурное» несогласие с ним многих его соратников, доказывавших, что невозможно ожидать «точных сведений». Решение было принято при общем «недоумении и растерянности» Шансырев), в начинавшемся хаосе, под угрозой выступления «тридцатитысячной» толпы, которую подсчитал Шульгин, и которая требовала, чтобы Дума взяла власть в свои руки, под крики и бряцание оружия вошедшей в Таврический дворец солдатской толпы, прорвавшей обычный думский караул, при чем начальник караула был ранен выстрелом из толпы. (В изображении Мансырева, не совпадающем с впечатлениями Ичаса, безпорядочные разговоры о думском комитете закончились при опустевшем уже зале). Впечатление явно преувеличенное. Гипноз мифической «тридцатитысячной толпы» сказался и в последующих исторических интерпретациях, когда, напр., Чернов повествует, как «чуть ли не десятки тысяч со всех сторон» устремились в Гос. Думу, узнав о разгоне Думы и ея отказе подчиниться. Это было довольно далеко от того, что было в первый день революции, когда разношерстная уличная толпа с преобладанием отбившихся от казарм солдатских групп и групп студенческой и рабочей молодежи стала постепенно проникать и заполнять думское помещение. На первый день переносится впечатление от последующих дней, когда Таврический дворец сделался с двумя своими оппозиционными крылами – Временным и Испол. Комитетами, действительно, территориальным и идеологическим центром революции и в то же время прибежищем для всех отпавших от частей одиночек солдат,

которых воззвание Совета 27-го звало в Думу.

Что привело солдат в дневные часы 27-го к Государственной Думе? «Я буду очень озадачен – писал впоследствии один из современников, проф. Завадский – если мне докажут, что выход «волынцев... был обусловлен расправой правительства с Гос. Думой». Насколько прав Завадский, свидетельствуют воспоминания фельдфебеля Кирпичникова, которому приписывается инициатива призыва не итти против народа и вывода солдат Волынскаго полка на улицу утром 27-го[25] – в них Гос. Дума даже не упомянута. Таврический дворец стал базой не в силу притяжения Думы, а в силу своего расположения в «военном городе», где размещены были казармы тех гвардейских частей, в которых началось движение – утверждает Мстиславский (отчасти Шкловский). Возможно, что эта топографическая причина оказала косвенное влияние, возможно сыграло свою роль воспоминание о несостоявшейся демонстрации 14 февраля, возможно сюда повели оказавшихся на улицах солдат новоявленные вожаки движения. Но 27-го это еще не было стихийным движением: Станкевич, напр., разсказывает, как он утром 27-го пытался толпу солдат, ворвавшуюся в школу прапорщиков на Кирочной и вооружившуюся там винтовками, убедить итти к Гос. Думе и как его слова были встречены недоверием: «не заманивают ли в западню». Вероятно, гораздо большая толпа с Литейнаго пр. просочилась на Выборгскую сторону, которую издавна большевики считали своей вотчиной...

Керенский не поехал по казармам, как он предлагал в частном совещании членов Гос. Думы. Об этом проекте он вообще ничего не говорит в воспоминаниях. Разсказывает он другое. С утра он принял меры к тому, чтобы мятежныя части направились в Думу, по телефону из Думы убедив некоторых из своих друзей заняться этим делом. В тревожном нетерпении Керенский ожидал прибытия этих частей, чтобы открыть им двери Думы и закрепить союз мятежных солдат с народными представителями – союз «единственно который мог бы спасти положение». С волнением Керенский бегал от окна к окну, отправляя посланцев на соседния улицы, посмотреть – не идут ли возставшия войска. Они не шли. Где же «ваши войска» – спрашивали его негодующие и обезкураженные депутаты. Инициатор прихода мятежных войск к Думе начинал уже серьезно безпокоиться затяжкой, с которой войска и народ запаздывали появиться перед Таврическим дворцом, когда раздался крик: идут. Керенский и другие левые депутаты бросились им навстречу с приветствием и убеждением взять на себя защиту Думы от «царских войск». Революционная армия приняла на себя охрану дворца. В

«Известиях» журналистов было напечатано: «около 2 час. сильные отряды революционной армии подошли к Государственной Думе». В эти сильные отряды превратились безпорядочныя группы, перемешанныя с разношерстной уличной толпой. Так положено было начало легенды, занесенной Черновым на страницы своего повествования о рождении революционной России в таких выражениях: первые три возставших полка, волынский, литовский и измайловский, истребив одних офицеров и заставив разбежаться других, были приведены к Гос. Думе штатским прис. пов. Н. Д. Соколовым». Впрочем, У этого последняго имеется конкурент: бывшая в то время в Петербурга французская журналистка Amelie de Nery (Маркович) записала в дневник, что честь и слава привести революционную армию к Таврическому дворцу принадлежит близкой ея знакомой «Соне Морозовой» («тов. Соня» не мифическая личность – она фигурирует в большевицком окружении). Самаго факта возстания целых полков и истребления части офицеров не было – убит был начальник учебной команды волынскаго полка шт. кап. Лашкевич, – убит был в спину посланной вдогонку пулей (по другой официальной версии он застрелился).

Одна легенда порождает другую. Можно считать установленным фактом, что к вечеру 27-го в Таврическом дворце появилась сборная команда, имевшая признак некоторой организованности, которая и приняла на себя охрану Думы и несла караульную службу в последующие дни. Эту часть, состоявшую преимущественно из солдат 4-й роты Преображенскаго полка (расположеннаго в Таврических казармах) привел унт. оф. этого полка Круглов. Легенда расцветила факт, и на страницах «Хроники февральской революции» можно прочесть: вечером в Таврический позвонили из офицерскаго собрания Преображенскаго полка. В полном составе Преображенский полк с офицерами во главе направлялся в Гос. Думу. Это положило конец колебаниям Милюкова. Временный думский комитет в организованной войсковой части нашел свою поддержку и решил взять власть в свои руки». В изображены секретаря Родзянко Садикова (предисловие к посмертному изданию воспоминаний Родзянко) полк явился в полном составе со всеми офицерами и командиром полка кн. Аргутинским-Долгоруковым[26]. Легенда эта происхождения 17 г., когда в кругах «цензовой общественности», с одной стороны пытались объяснить, почему в момент революции в распоряжении Временнаго Комитета не оказалось ни одной организованной военной части, тогда как все предреволюционное время проходило под знаком подготовки дворцоваго переворота, и стихийное

выступление лишь предупредило ожидавшийся в начале марта акт, а с другой стороны пытались смягчить обострения между командным составом и солдатской массой, вызванныя неучастием офицерскаго состава в движении 27-го, и создать впечатление, что офицеры полка всегда следовали славным традициям своих предшественников «декабристов» и что «первый полк» империи был всегда «за свободу». Эту цель и преследовала изданная Временным Комитетом брошюра тогда еще начинавшаго беллетриста Лукаша, который записал разсказы офицеров и солдат запаснаго батальона л. гв. Преображенскаго полка. Лукаш повествует, как 27-го утром в предвидении надвигающейся грозы командный состав полка собрался в офицерском собрании на Миллионной и по предложению кап. Скрипицина решил выйти на площадь Зимняго дворца и постараться собрать там другия гвардейския части («измайловцев, егерей и семеновцев») – не для того, чтобы противодействовать революции, но, чтобы избежать кровопролития, «внести порядок в ея мятущийся поток», и, «как организованная сила, предъявить требования правительству»[27].

Подражание «великому историческому стоянию» в декабрьские дни 1825 г. оказалось излишним, и собравшиеся 27-го на Дворцовой пл. ушли в казармы! Вечером, в 7 час, старшие офицеры во главе с командиром полка «сошлись вновь в том же офицерском собрании и решили признать власть временнаго правительства. В энтузиазме младшие преабраженцы бегут в казармы, произносят пламенныя речи о той свободе, которую ждали более «ста лет». В разгар энтузиазма появился в. кн. Кир. Вл., который присоединился «всем сердцем» к происшедшему. Было сообщено в Думу. В третьем часу ночи в Преображенский полк прибыл назначенный комендантом возставших частей полк. Энгельгардт и приветствовал героическое решение команднаго состава, прекратившее все колебания Родзянко встать во главе Времен. Комитета: теперь можно сказать, что мы уже победили». Утром Преображенский полк с оркестром музыки двинулся по Миллионной ул. к Гос. Думе.

Канва разсказа шита белыми нитками – искусственность ея очевидна – она находится в коренном противоречии с тем, что показывал ген. Хабалов: две роты Преображенскаго полка вошли в тот правительственный отряд, который днем был направлен против бунтовщиков под начальством полк. Кутепова. К вечеру, между 5–6 час, 27-го на Дворцовой пл. был сосредоточен правительственный резерв, в состав котораго входили снова две роты Преображенскаго полка под начальством командира полка Аргутинскаго-Долгорукова в соответствии с разработанным ранее

расписанием случай возможнаго возникновения безпорядков. Сюда же в район № 1, по расписанию с музыкой прибыли павловцы, отнюдь не для антиправительственной демонстрации. Приезжал на Дворцовую пл. и в. кн. Кирилл для того, чтобы осведомиться, как поступить ему с гвардейским экипажем. По словам Хабалова, он ему сказал: если части будут действовать против мятежников, «милости просим», если против своих не будут стрелять, пусть лучше остаются в казарме. Вел. кн. прислал две наиболее надежныя роты учебной команды. Павловцы и преображенцы, однако, ушли с Дворцовой пл. – может потому, что у них не оказалось патрон и достать их негде было (и «есть было нечего»), может быть, потому, что нач. ген. шт. Занкевич, которому было передано общее командование, поговорив с солдатами, признал собранный резерв ненадежным и не задерживал части, которыя казались сомнительными. Все это очень далеко от героической идиллии, создавшейся вокруг Преображенскаго полка. И тем не менее известная фактическая база под ней имелась. Чл. Врем. Ком. Шидловский разсказал в мемуарах, что вечером, когда Родзянко размышлял – принимать ли председательствование, ему по телефону позвонил племянник, бывший офицером в Преображенском полку и сообщил, что офицеры полка постановили «предоставить себя в распоряжение Думы». Под влиянием этого сообщения Родзянко, действительно, дал свое согласие и просил Шидловскаго съездить на Миллионную и «поговорить» с офицерами. В собрании Шидловский застал «в полном сборе весь офицерский состав полка и значительное количество важных генералов из командnаго состава гвардии». По впечатлению мемуариста «более или менее разбиравшимся в том, что происходило, оказался лишь один офицер, остальные же ничего не понимали». Шидловский объявил, что на следующий день к ним приедет полк. Энгельгардт для того, чтобы дать «дальнейшия указания». На следующий день, по утверждению Шидловскаго, «Преображенский полк прибыл в Таврический дворец в образцовом порядке с оркестром во главе, без единаго офицера, с каким-то никому неизвестным штабс капитаном. Оказалось, что полк ушел без «ведома офицеров». Сейчас же посланы были автомобили, чтобы привезти офицеров, но офицеры вовремя не попали. (Эпизод этот подтверждается сохранившимся в архиве военной комиссии приказом прапорщика Синани с двумя автомобилями направиться на Миллионную в казармы Преображенскаго полка и «привезти с собой офицеров этого полка». Приказ за подписью Ржевскаго был помечен 4 ч. 55 м. дня). Шидловский пытался выяснить у солдат недоразумение и получил ответ, что офицеры полка вообще «держатся

как-то странно, все собираются в своем собрании, о чем-то толкуют, принимают какия-то решения, но солдатам ничего не объясняют».

Эпизод с Преображенским полком, хотя очень далекий от легенды, но подчеркивающий пассивность и колебания военной среды, должен был произвести впечатление в думском комитете, показав, что «первый полк» империи отнюдь не представляет собой боевую силу в правительственном лагере. Сведения из других полков были приблизительно аналогичны. Впоследствии отсутствие боевого настроения у командnаго состава отметил в своих показаниях перед Чр. Сл. Ком. Хабалов, требовавший соглашения с Думой. (Есть свидетельство, что ген. Безобразов, находившийся в Адмиралтействе, предлагал попытаться взять приступом революционную цитадель, но не встретил сочувствия в окружающем офицерстве).

Наиболее яркую иллюстрацию к предреволюционному настроению некоторой части командnаго состава дает тот самый Балтийский флот, где события так трагически обернулись для морских офицеров. В эту психологическую обстановку накануне переворота вводит нас интереснейший дневник кап. 1 ранга Рейнгартена, активнаго члена кружка прогрессивных моряков, сгруппировавшихся около адм. Непенина (см. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту»). Дружески связанные между собою члены кружка систематически собирались на интимныя беседы для обсуждения «текущих вопросов». Так собрались они и 27-го в 6 час. вечера в целях обменяться мнениями о «современном политическом положении». Они еще не знали того, что произошло в Петербурге в день их очередной беседы, но знали о начавшихся волнениях в столице, которыя отнюдь не восприняли, как начало революции. «В Петербурге – безобразия: все говорят об участии правительства в провокациях ,– записал Рейнгартен[28], хотя сам он за несколько дней перед тем говорил в дневнике: «мы верно ускоренным движением приближаемся к великим событиям». «События приняли грозный оборот», – продолжает запись 27-го. «Обстоятельства не допускают промедления. Момент уже пропущен. Нужны немедленные поступки и решения. Дума и все общественные деятели вялы и мягкотелы. Надо дать им импульс извне, для этого надо иметь определенный план». Эта «программа действий» в представлении собравшихся на беседу 27-го активную роль отводила «ответственным политическим деятелям» – Государственной Думе, которая совместно с Гос. Советом должна составить «Законодательный Корпус» и избрать ответственную перед последним исполнительную власть. «Происшедшее должно быть доведено до сведения полковника» (т. е. Государя). По

намечаемому плану предварительно на фронт должны быть посланы «авторитетныя лица» к высшим военным начальникам, которые должны обезпечить «спокойствие» в действующей армии во время «дальнейших действий в тылу».

Политически единомышленники, собравшиеся 27-го, допускали, что перед флотом может встать дилемма не подчиниться «Ставке» и «Царю», если оттуда последует распоряжение «поддержать старый порядок». «И мы обязаны сделать, все. что в наших силах, чтобы решение адмирала (т. е. Непенина) шло к спасению России». «Постановили мы так: по очереди итти к командующему и откровенно к решительно высказать свои взгляды на вещи, указав на полную невозможность выполнить такой его приказ, который пошел бы в разрез с нашими убеждениями». (Как поступил Непенин, когда в Гельсингфорс дошло "потрясающее известие» о том, что Гос. Дума образовала Временное Правительство и что к нему примкнули «пять гвардейских полков», будет разсказано ниже). События опередили намеченный план устройства предварительнаго совещания с общественными деятелями с целью повлиять на них и сказать, что «некоторые круги флота настойчиво просят действовать, ибо нельзя оставаться мягкотелыми и пасивными сейчас». – «Чаша терпения переполнилась».

В момент, когда Рейнгартенский кружок принимал «решение», в Гельсингфорс пришли юзограммы о «безпорядках в войсках[29] – они реально поставили представителей Гос. Думы в те же вечерние часы 27-го перед проблемой, которую теоретически обсуждала группа моряков. Продолжавшияся колебания Временнаго Комитета вызывались сознанием неопределености положения. Вот как охарактеризовал вечерние часы 27-го один из авторов «Коллективной» Хроники февральской революции и непосредственный участник движения в индивидуальной статье, посвященной памяти вольноопределяющагося Финляндскаго полка Федора Линде, который сумел проявить организационную инициативу и своим влиянием на солдатскую стихию закрепить «поле битвы за революцией»[30]; «сгущались сумерки, падало настроение, появились признаки сомнения и тревоги... Сознание содеяннаго рисовало уже мрачную картину возмездия. Расползалась видимость коллективной силы. Возставшая армия грозила превратиться в сброд, который становился тем слабее, чем он был многочисленнее. Наступил самый критический момент перелома в настроении. И революция могла принять характер бунта, которому обычно уготован один конец: самоистребление»...

Наконец, в 11 1/2 час. веч., когда выяснилось, что правительство

«находится в полном параличе», как выразился Родзянко в телеграмме Рузскому, «думский комитет решил, наконец, принять на себя бразды правления в столице. Может быть, в предвидении, что эта власть получит высшую санкцию, ибо характер переговоров, которые вел в это время председатель Думы и председатель Времен. Ком. с правительством, как мы увидим, был очень далек от той формы, которую придал им в воспоминаниях другой член Врем. Ком. Вл. Львов, утверждавший, что Родзянко получил ответ – с бунтовщиками не разговаривают: «на мятеж Совет Министров отвечает только оружием». Первое воззвание Временнаго Комитета к народу, за подписью председателя Думы Родзянко, выпущенное в ночь с 27 на 28 февраля отнюдь не было революционным. Напомним его: «Временный Комитет Г. Д. при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной маразмом стараго правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки возстановление государственнаго и общественнаго порядка. Сознавая всю ответственность принятаго им решения, Комитет выражает уверенность, что население и Армия помогут ему в трудной задаче создания новаго правительства, соответствующаго желаниям населения и могущаго пользоваться доверием его».

В эти часы Таврический дворец и по внешности мало походил на «штаб революции». Конечно, очень субъективны восприятия, и каждый мемуарист запомнит лишь то, что ему бросилось в глаза и что так или иначе соответствовало его настроению. Попав только «вечером» в Таврический дворец, Станкевич увидал перед дворцом лишь «небольшия, нестройныя кучки солдат», а «у дверей напирала толпа штатских, учащейся молодежи, общественных деятелей, старавшихся войти в здание»[31]. Внутри, в «просторном зале» он нашел в «волнении» Керенскаго и Чхеидзе. А где же остальные члены Думы – они «разбежались, потому что почувствовали, что дело плохо». «А дело вовсе не было плохо – заключает Станкевич – но только оно не сосредоточивалось в Таврическом дворце, который только сам считал себя руководителем возстания. На самом деле возстание совершалось стихийно на улицах»[32]. Этими уличными столкновениями пыталась руководить образовавшаяся при Исп. Ком. военная комиссия под водительством ст. лейт. с. р. Филиповскаго и военнаго чиновника, библиотекаря Академии ген. шт. с.-р. Мстиславскаго (Масловскаго), в свое время выпустившаго нелегальное руководство по тактике уличнаго боя. Они разсылали по городу для подкрепления сражавшихся или для выполнения отдельных определенных заданий, «ударныя группы» под начальством имевшихся в

их распоряжении десятка-другого прапорщиков – преимущественно случайно оказавшихся в Петербурге «фронтовиков», не связанных с местным гарнизоном. Но «ударныя группы» подчас до места назначения не доходили – «расходились по дороге». Был послан даже броневик для захвата правительства в Мариинском дворце, но был обстрелян и вернулся. (Со слов «одного из членов правительства» Родзянко разсказывает, что неосуществившееся нападение на Мариинский дворец вызвало такую там «панику», что поспешили потушить все огни – и «когда снова зажгли огонь», собеседник Родзянко «к своему удивлению оказался под столом». Этот «несколько анекдотический» эпизод, по мнению мемуариста, «лучше всего может характеризовать настроение правительства в смысле полнаго отсутствия руководящей идеи для борьбы с возникающими безпорядками»). Это впоследствии в отчете военной комиссии именовалось «боевым руководством возставших войск»... При таких условиях естественно, что решение Временнаго Комитета взять власть, сообщенное в кулуарах Милюковым, было в советских кругах встречено аплодисментами (Пешехонов), а Суханов внутренне сказал себе: теперь переворот не будет задавлен «разрухой».

Волшебная палочка революции совершенно изменила картину на следующий день, когда правительственныя войска сами «постепенно... разошлись», по характеристике главнокомандующаго Хабалова. На улицах, где шла почти «безпричинная» пальба, продолжали безцельно бродить толпы вооруженных солдат, «безумно» метались автомобили, переполненные солдатами, рабочей и учащейся молодежью, но эта внешняя анархия парализовалась притягательной силой, которую стала представлять «Государственная Дума», т. е. Таврический дворец, к которому уже трудно было «протолкаться». «Революция нашла свой центр»... – заключают составители хроники февральских событий. Перваго марта перед Думой парадировали уже целыя воинския части с офицерским составом – революция приобретала характер «парада» (так выражалась «Речь» в своем последующем – 5 марта – обзоре событий), на котором перед солдатами в качестве офицеров почти «монопольно», по словам Шляпникова, выступали представители Комитета Гос. Думы. Отсюда создавалось впечатление, что только вмешательство Думы дало уличному движению центр, знамя и лозунги. Это был самообман, если принять формулировку, которую в историческом повествовании, предназначенном для иностраннаго читателя, дал другой видный юрист-историк проф. Нольде – в работе, характеризующей ход развития революции, он заявляет, что до 27-го движение

Не имело «aucun but, aucun objet». (Правда, столь решительный вывод сделан в книге, преследующей популяризаторския цели). Подобная схема на каждом шагу, с перваго часу революции, приходила в коллизию с действительностью. Не Дума руководила стихией, а стихия влекла за собой Временный Комитет. Слишком многие это непосредственно ощущали. Быть может, поэтому в рядах думских деятелей, не загипнотизированных теоретическими выкладками, наблюдалась «робость, растерянность, нерешительность», отмечаемыя в дневнике Гиппиус 28-го. Без соглашения с «демократией», без поддержки совета – признает Родзянко – нельзя было водворить даже «подобие порядка» В силу этих обстоятельств вечером 1-го «додумались», по выражению Шульгина, пригласить делегатов от Совета. Они пришли по собственной инициативе, как утверждает Суханов, но производило впечатление, что их ждали, что думские люди считали неизбежной «решающую встречу», но, не ориентируясь, как следует, в советских настроениях, предпочитали выжидательную тактику.

3. Переговоры

Последуем за Сухановым в разсказе о том, что происходило в «учредительном» и «ответственном» заседании, начавшемся в первом часу[33]. По мнению Суханова, никакого официальнаго заседания не происходило – это был обмен мнениями, "полуприватными репликами», заседание без формальнаго председателя и т. д. Вел беседу с советскими делегатами Милюков – видно было, что он «здесь не только лидер», но и «хозяин в правом крыле». Большинство хранило «полнейшее молчание» – «в частности глава будущаго правительства кн. Львов не проронил за всю ночь ни слова». Сидел «все время в мрачном раздумии» Керенский, не принимавший «никакого участия в разговорах». Суханов запомнил лишь отдельныя реплики Родзянко, Некрасова, Шульгина и Вл. Львова. С такой характеристикой в общем согласны все мемуаристы из числа присутствовавших тогда лиц. Четверо (т. е. три советских делегата и Милюков) вели дебаты – вспоминает Шульгин: «Мы изредка подавали реплики из глубокой прострации». Керенский, в свою очередь, упоминает, что он ничего не может сказать о переговорах, так как он принимал в них очень маленькое участие. В тех редких случаях, когда он присутствовал на длительном «заседании», был совершенно инертен и едва (a peine) слушал то, о чем говорили[34]. Керенский – практик, а не теоретик – не придавал, по его словам, никакого значения этим академическим разговорам общаго характера.

Беседа началась – по разсказу Суханова – с разговора о царившей в городе анархии, о необходимости бороться с эксцессами, но «агитаторы – замечает мемуарист – не замедлили убедиться, что они ломятся в открытую дверь», и что основная «техническая» задача Совета заключается в борьбе с анархией. Суханов постарался перевести разговор на другия рельсы, указав, что основной целью даннаго совещания является выяснение вопроса об организации власти и планов руководящих групп Государственной Думы. Совет предоставляет цензовым элементам образовать Временное Правительство, считая, что это соответствует интересам революции, но, как единственный орган, располагающий сейчас реальной силой», желает изложить те требования, которыя он от имени демократии предъявляет к правительству, создаваемому революцией. Вслед за тем, Стеклов торжественно огласил принятыя будто бы Советом положения. «На лице Милюкова можно было уловить даже признаки полнаго удовлетворения» – повествует разсказчик. Милюков,

вероятно, ожидал, что будут выдвинуты боевые вопросы о войне и социальных заданиях революции. Но боевые лозунги были сняты представителями «демократии», выступившими со своей платформой в среде «цензовой общественности»: даже решено было «не настаивать перед прогрессивным блоком на самом термине Учредительнаго Собрания». То, что представители демократии не заговорили о войне, открывало будущему правительству известную свободу действий в этом отношении, что и учитывалось в противном лагере, как явление положительное.

Единственным боевым програмным пунктом явился вопрос о монархии. Милюков решительно отказывался принять формулировку, предложенную в советской платформе и гласившую, что «Времен. Правит, не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления». Соглашаясь на то, что вопрос окончательно решит Учредительное Собрание, лидер «прогрессивнаго блока» требовал сохранения монархии и династии в переходный момент. Милюков считал, что царствующий император подлежит устранению, но на вакантный престол должен быть возведен его наследник при регентстве в. кн. Михаила. По уверению Суханова защитник монархическаго принципа пытался воздействовать на представителей демократии довольно грубой и упрощенной аргументацией, доказывая им, что в переходное время монархия не опасна, принимая во внимание личныя качества ближайших претендентов на власть: «один больной ребенок, а другой совсем глупый человек». Насколько подобная аргументация была распространена в думских кругах, показывает запись о разговорах, что «Михаил будет пешкой» и т. д. Тщетно противная сторона пыталась указать Милюкову на утопичность его плана, считая «совершенно абсурдным» попытку отстаивать династию и получить на это санкцию демократии. Керенский в воспоминаниях весьма скептически отозвался о позиции советской делегации – тех представителей революционной демократии, которые вместо того, чтобы требовать немедленно провозглашения республики, выступали на ролях каких-то непредрешенцев. Но тогда сам он не нарушил своего молчания, хотя и знал, что большинство думскаго комитета стоит за монархию – не нарушил потому, что вопрос казался ему фактически предрешенным в сторону республиканскую: уже в ночь на 28-е Керенский знал, что династия исчезла навсегда из истории России[35].

По утверждению Милюкова, делегаты *согласились* отказаться от пункта, согласно которому «вопрос о форме правления оставался открытым», («в эту минуту–добавляет историк-мемуарист–в этой

скромной форме обезпечивалась возможность раврешения этого вопроса в смысле республики, тогда как *временное правительство (?) принимало меры к обезпечению регентства Михаила* »). Суханов позже по другому информировал об итоге совещания левое крыло Таврическаго дворца: оставалось еще неликвидированным разногласие о форме правления, т. е. вопрос продолжал быть открытым – во всяком случае для советской стороны.

Другие пункты, по мнению Суханова, не вызывали больших возражений. Милюков говорит, что по его настоянию «после продолжительных споров» делегаты согласились «вычеркнуть требование о выборности офицеров», т. е. отказались от введения в число условий своей поддержки того самаго принципа, который уже утром 2-го марта они положили в основу знаменитаго приказа № 1. Выходит, как будто бы, что делегаты нарушили соглашение прежде, чем оно было окончательно заключено. Неувязка в тексте историка будет ясна, когда мы познакомимся с условиями издания «приказа № 1», в котором нет ни слова о выборности офицеров. В тезисах, оглашенных Стекловым, говорилось лишь о самоуправлении армии, под которым подразумевалась организация полковых комитетов, регулирующих внутреннюю жизнь войсковых частей. Так или иначе соглашение было достигнуто, повидимому, легко, добавлением о распространении политических свобод на военнослужащих «в пределах, допускаемых военно-техническими условиями» (п. 2). В пункте 8 то же положение о солдатских правах в сущности еще раз было повторено с оговоркой: «при сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы». Вопреки утверждениям, попадающимся в исторических работах[36], о том, что думский Комитет вынужден был признать столь роковой впоследствии пункт о невыводе из Петербурга воинских частей, принимавших участие в возстании, этот пункт не вызвал никаких возражений, ибо имел «временный характер» и трактовался, как шаг, тактически необходимый для успокоения солдатских масс. «В ту минуту» как-то о будущем думали мало и многаго не предвидели. Обсудив «условия» поддержки Советом вновь образующейся власти, Совещание перешло к разсмотрению «требований» цензовиков, которыя в формулировке Суханова сводились к требованию заявления со стороны Совета, что новое правительство «образовалось по соглашению с Советом», и принятия Исп. Ком. соответствующих мер для водворения спокойствия и особенно в налаживании контакта между солдатами и офицерами. Это не вызвало возражений, и в дальнейшем советские делегаты были информированы о предположениях на счет личнаго состава

правительства, при чем, по словам Суханова, имя представителя демократии Керенскаго не было упомянуто.

Во время беседы Соколов принес составленную в алармистских тонах прокламацию, которая выпускалась Гучковым от имени объединенной военной комиссии, им возглавленной. Хотя «ничего особенно страшнаго» в прокламации не было, делегаты Совета заволновались и указали на несвоевременность таких воинствующих выступлений, принимая во внимание, что Совет в целях соглашения снял с очереди свои военные лозунги. И здесь возражений не последовало, и думские представители согласились на задержание прокламации. Решено было сделать перерыв для того, чтобы Временный Комитет мог обсудить отдельно намеченные пункты соглашения. По предложению Милюкова во время перерыва советские делегаты должны были заняться составлением декларации для опубликования ея совместно с декларацией Правительства. Постановлено было собраться через час, т. е. около 5 час. утра. Когда Суханов возвращался в помещение, занятое Исп. Ком., он встретил в коридоре Гучкова, который только теперь направлялся в думский Комитет. Суханов сообщил Гучкову о судьбе его прокламации и изложил мотив ея задержания: «Гучков выслушал, усмехнулся и, ничего не сказав, пошел дальше». В Исп. Ком. Суханова ждал новый сюрприз. Появился листок, выпущенный совместно петербургской организацией соц. рев., руководимой большевизанствующим Александровичем, сторонником «социалистической власти немедленно», и «междурайонцами». Прокламация была направлена против офицеров.

«Теперь, когда вы возстали и победили – гласило воззвание к солдатам – к вам приходят... бывшие враги офицеры, которые называют себя вашими друзьями. Солдаты, лисий хвост нам страшнее волчьяго зуба». Для того, чтобы «не обманули дворяне и офицеры – эта романовская шайка – возьмите власть в свои руки, выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров... Все офицеры должны быть под контролем ротных комитетов. Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете, как друзей народа». Слухи о прокламации проникли в думскую половину Таврическаго дворца. «Как буря» влетел Керенский, обвиняя издателей прокламации в провокации. В объективной оценке факта сходились все, и наличный состав Исп. Ком. решил задержать и эту прокламацию до решения Исп. Ком. на следующий день... На сцене выдвинулись другия осложнения. Вновь появившийся Керенский сообщил, что «соглашение сорвано», что цензовики не соглашаются «организовать правительство» при создавшихся условиях. Оказалось, что Соколов по собственной

инициативе написал проект декларации и огласил ее в среде Думскаго Комитета[37].

Она была неудачна – признает Суханов. Посвятив декларацию целиком выяснению перед солдатами физиономии офицерства, Соколов сделал это в тонах, которые давали основание для вывода, что никакого контакта, с офицерами быть не может. В думском помещении, куда немедленно направился Суханов, уже не было «почти никого из прежних участников или зрителей Совещания», и только за столом сидели Милюков и Соколов – Милюков переделывал соколовскую декларацию: «никаких следов от какого-либо инцидента»... не было. Впоследствии Суханову говорили, что дело было вовсе не в неудачном тексте проекта Соколова, а в том, что Гучков «устроил род скандала» своим коллегам, и что он отказался участвовать в Правительстве, которое лишено права высказываться по «кардинальному вопросу своей будущей политики», т. е. о войне. «Выступление Гучкова – пишет Суханов – произвело перетурбацию и возможно, что оно, действительно, подорвало тот контакт, который, казалось, уже обезпечивал образование правительства на требуемых нами основах». То, что говорили Суханову, подтверждает и Милюков в своей истории: «когда все эти переговоры были уже закончены, поздно ночью... приехал А. И. Гучков, проведший весь день в сношениях с военными частями и в подготовке обороны столицы на случай ожидавшагося еще прихода войск, посланных в Петроград по приказу Николая. П. Возражение Гучкова по поводу уже состоявшагося соглашения побудили оставить весь вопрос открытым». «Только утром следующаго дня, по настоянию М. В. Родзянко, П. Н. Милюков возобновил переговоры». Это утро следующаго дня в изображении Суханова наступило через час. Инцидент с выстушением Гучкова, котораго мы еще коснемся, влияния на соглашение не имел. Гораздо большее разногласие у Милюкова и Суханова имеется в вопросе о советской декларации, которую отчасти написал, отчасти редактировал сам Милюков. Эта декларация в окончательном виде состояла из трех абзацев. Ее начал писать Суханов, продолжил, очевидно, Соколов, текст котораго и был заменен текстом Милюкова. «Товарищи и граждане, – писал Суханов: приближается полная победа русскаго народа над старой властью. Но для победы этой нужны еще громадныя усилия, нужна исключительная выдержка и твердость. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедленно пресекать все безчинства, грабежи, врывания в частныя квартиры, расхищения и порчу всякаго рода имущества, безцельные захваты общественных учреждений. Упадок диспиплины и анархия губят революцию и народную

свободу».

«Не устранена еще опасность военнаго движения против революции» – заканчивал Милюков: «Чтобы предупредить ее, весьма важно обезпечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивнаго развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совместную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство; будут бережно обращаться с чувством чести солдата... С своей стороны солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицерства, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию. Ради успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к той решительной борьбе, которую вы ведете со старым режимом». К этому тексту прибавлено было введение, написанное Стекловым: «Новая власть, создающаяся из общественно умеренных слоев общества, объявила сегодня о всех тех реформах, которыя она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторыя должны приветствоваться широкими демократическими кругами: политическая амнистия. обязательство принять на себя подготовку Учредительнаго Собрания, осуществление гражданских свобод и устранение национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью – демократия должна оказать ей свою поддержку». Милюков утверждает, что первая часть была добавлена на другой день» после обсуждения соглашения в Совете, и что в этих словах сказалась «подозрительность», с которой Совет обещал правительству поддержку. Здесь была принята «впервые та знаменитая формула: «постолько – посколько», которая заранее ослабляла авторитет первой революционной власти среди населения». Из не совсем определенных указаний Суханова вытекает, что этот абзац был введен после его ухода Стекловым, продолжавшим совещаться с Милюковым. С категоричностью можно утверждать лишь то, что «на другой день» (вернее в ту же ночь) при окончательной редакции приведеннаго in extenso текста введение было санкционировано Милюковым без протеста (в Совете соглашение обсуждаться еще не могло).

Если сравнить разсказ Суханова (с добавлениями, взятыми у Милюкова) с разсказом Шульгина о том, что происходило в ночь с 1-го на

2-е, ясно будет, почему приходится безоговорочно отвергнуть драматическое изложение последняго. Упомянув о «грызне» Вр, Ком. с «возрастающей наглостью» Исполкома. Шульгин сообщает, что «вечером додумались пригласить в Комитет Гос. Думы делегатов от Исполкома, чтобы договориться до чего-нибудь». Всем было ясно, что возрастающее двоевластие представляло грозную опасность, В сущности вопрос стоял – «или мы или они». Но «мы не имели никакой реальной силы». И вот пришли трое – «какие-то мерзавцы, по слишком образной характеристик мемуариста. «Я не помню, с чего началось»... но «явственно почему-то помню свою фразу: одно из двух – или арестуйте всех нас... и правьте сами. Или уходите и дайте править нам»...

«За этих людей взялся Милюков». «С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами»...

«Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть не на коленях молить «двух мерзавцев» из жидов и одного «русскаго дурака» (слова эти почему-то берутся в кавычки!)... Мы, «всероссийския имена», были безсильны, а эти «неизвестно откуда взявшиеся» были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров»[38]. И «седовласый» Милюков должен был убеждать, умолять, заклинать. «Это продолжалось долго, бесконечно», Затем начался столь же безконечный спор насчет выборнаго офицерства. Наконец, пошли писать (все те же «трое»). Написали. «Заседание возобновилось... Началось чтение документа. Он был длинен. Девять десятых его были посвящены тому, какие мерзавцы офицеры... Однако, в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует... Милюков вцепился в них мёртвой хваткой... Я не помню, сколько часов это продолжалось... Я совершенно извёлся и перестал помогать Милюкову... Направо от меня лежал Керенский... в состоянии полнаго изнеможения... Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ... Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира... Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах... Я желал бы поговорить с вами... Это он сказал тем трем: Резко, тем безапеляционным, шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни... – Только наедине!... Идите за мной!... Через четверть часа дверь «драматически» раскрылась. Керенский бледный, с горящими глазами: представители Исп. Ком. согласны на уступки... Трое снова стали добычей Милюкова. На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст... Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили

уже работу. Было два-три часа ночи»... Ничего подобного не было. Впрочем сам Шульгин замечает: «я не помню»... «Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша». И это вполне соответствует тому, что мы читаем в напечатанных воспоминаниях Шульгина. От всех переговоров в ночь на 2-е марта у Шульгина осталось впечатление, что речь шла только о каком-то умиротворяющем воззвании к солдатам[39]. Более, чем произвольное, изложение мемуариста сопровождается определенным акомпаниментом, мало соответствующим настроениям, которыя господствовали в эту ночь. Они, надо думать, в действительности не отвечали тогдашнему самочувствию самаго Шульгина. В 28 году Шульгину были отвратительны призывы: «свобода, свобода, свобода – до одури, до рвоты». Свои эмигрантския переживания он переносит в годы, о которых разсказывает, как мемуарист. По воспоминаниям он с перваго часа революции мечтал о том, как бы «разогнать всю эту сволочь», всю эту «многотысячную толпу», имевшую «одно общее неизреченно гнусное лицо»: «ведь это – были воры в прошлом (?), грабители в будущем». «Как я их ненавидел!» Умереть, «лишь бы не видеть отвратительнаго лица этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлаго сброда». «Ах, пулеметов – сюда, пулеметов»! – вот «чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшагося на свободу страшнаго зверя. Увы! – этот зверь был... Его Величество русский народ». Такими образами буквально переполнены страницы, посвященныя февральским дням, при чем сокращенная цитаты дают лишь бледную копию всех перлов литературнаго красноречия автора воспоминаний. Конечно, может быть, таковы и были подлинныя чувства праваго националиста. Если это было так, то Шульгин, очевидно, в революционной столице умел тогда скрывать свои настроения. (Мы увидим, что в Пскове, как свидетельствует официальная запись, Шульгин выявил свой облик довольно близко к тому, что он пишет в воспоминаниях). Иначе совершенно непонятно, как мог бы Керенский получить впечатление, что в те дни Шульгин проявлял « un esprit révolutionnaire sincère »? Как мог самый правый член думскаго комитета числиться в кандидатах революционнаго правительства? – «он мог войти в правительство, если бы захотел», – говорит Милюков, но «отказался и предпочел остаться в трудную минуту для родины при своей профессии публициста». Иным, чем в собственных воспоминаниях, рисуется Шульгин в часы переговоров и Суханову, в изложении котораго Шульгин, рекомендуясь монархистом, «был мягче Милюкова, высказывая лишь свои

общие взгляды по этому предмету» и не выражая никаких «ультимативных» требований. Сопартнер Суханова при ночных переговорах, Стеклов в докладе, сделанном в Совещании Советов, характеризуя «перерождение в дни революционнаго пожара в вихре революционных событий психологии... группы цензовых буржуазных слоев», упоминал о Шульгине, который, выслушав текст одного из пунктов платформы, определявшей ближайшую деятельность будущаго временнаго правительства – «принять немедленно меры к созыву Учр. Собрания»... «потрясенный встал с своего места, подошел и заявил: «Если бы мне сказали два дня тому назад, что я выслушаю это требование и не только не буду против него возражать, но признаю, что другого исхода нет, что эта самая рука будет писать отречение Николая II, два дня назад я назвал бы безумцем того, кто бы это сказал, и себя считал бы сумасшедшим, но сегодня я ничего не могу возразить. Да, Учред. Собрание на основе всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосования». Не один Шульгин был в таком настроении. Стеклов утверждал, что Родзянко также «потрясенный» событиями, которыя для него «были еще более неожиданны, чем для нас», слушая «ужасные пункты», говорил: «по совести ничего не могу возразить». Очевидно, общий тон переговоров здесь передан значительно вернее, нежели в личных воспоминаниях Шульгина. Только так переживая эти моменты, сам Шульгин позднее мог сказать на собрании членов Думы 27 апреля: «мы спаялись с революцией», ибо не могли бы спаяться ни при каких условиях с «горсточкой негодяев и маниаков, которые знали, что хотели гибели России», патриотически настроенные люди, даже «раздавленные тяжестью свалившагося» на них бремени.

4. Настроения перваго марта

После крушения «самой солнечной, самой праздничной, самой безкровной» революции (так восторженно отзывался прибывший в Россию французский социалист министр Тома), после того, как в густом тумане, застлавшем политические горизонты, зашло «солнце мартовской революции» – многие из участников ея не любят вспоминать о том «опьянении». которое охватило их в первые дни «свободы», когда произошло «историческое чудо» , именовавшееся февральским переворотом. «Оно очистило и просветило нас самих» – писал Струве в №1 своего еженедельника «Русская Свобода». Это не помешало Струве в позднейших размышлениях о революции сказать, что «русская революция подстроена и задумана Германией». «Восьмым чудом света» назвала революцию в первой статье и «Речь». Епископ уфимский Андрей (Ухтомский) говорил, что в эти дни «совершился суд Божий». Обновленная душа с «необузданной радостью» спешила инстинктивно во вне проявить свои чувства, и уже 28-го, когда судьба революции совсем еще не была решена, улицы Петербурга переполнились тревожно ликующей толпой, не отдававшей себе отчета о завтрашнем дне[40]. В эти дни «многие целовались» – скажет левый Шкловский. Незнакомые люди поздравляли друг друга на улицах, христосовались будто на Пасху» – вспоминает в «Былом» Кельсон. Таково впечатление и инженера Ломоносова: «в воздухе что-то праздничное, как на Пасху». «Хорошее, радостное и дружное» настроение, отмечает не очень лево настроенный депутат кн. Мансырев. У всех было «праздничное настроение», по характеристике будущаго члена Церковнаго Собора Руднева, человека умеренно правых взглядов. Также «безоглядно и искренно» все радовались кругом бывш. прокурора Судебной палаты Завадскаго. «Я никогда не видел сразу в таком количестве столько счастливых людей. Все были именинниками» – пишет толстовец Булгаков[41]. Всегда несколько скептически настроенная Гиппиус в «незабвенное утро» 1 марта, когда к Думе текла «лавина войск » –"стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой», видела в толпе все «милыя, радостныя, верящия лица».

Таких свидетельств можно привести немало, начиная с отклика еще полудетскаго в дневнике Пташкиной, назвавшей мартовские дни «весенним праздником». Это вовсе не было «дикое веселье рабов, утративших страх», как определял ген. Врангель настроение массы в первые дни революции. И, очевидно, соответствующее опьянение

наблюдалось не только в толпе, «влюбленной в свободу» и напоминавшей Рудневу «тетеревов на току». Известный московский адвокат, видный член центральн. комитета партии к. д., польский общественный деятель Ледницкий рассказывал, напр., в Московской Думе 2-го марта о тех «счастливых днях», которые он провел в Петербурге. Москвичи сами у себя находились в состоянии не менее радужном: «ангелы поют в небесах» – определяла Гиппиус в дневнике тон московских газет. На вопрос из Ставки представителя управления передвижением войск полк. Ахшарумова 2 марта в 11 час. о настроении в Москве – жителей и войск, комендант ст. Москва-Александровская без всяких колебаний отвечал: «настроение прекрасное, все ликуют». В этом всеобщем ликовании – и повсеместном в стране – была вся реальная сила февральскаго взрыва[42]. Очевидно, ликовали не только «определенно левые», как пытался впоследствии утверждать знаменитый адвокат Карабчевский. Недаром, по утверждению Вл. Львова, даже Пуришкевич в дни «мартовскаго ликования» ходил с «красной гвоздичкой».

Конечно, были и пессимисты – и в среде не только деятелей исчезавшаго режима. Трудовик Станкевич, определявший свое отношение к событиям формулой: «через десять лет будет хорошо, а теперь – через неделю немцы будут в Петрограде», склонен утверждать, что «такия настроения были, в сущности, главенствующими... Официально торжествовали, славословили революцию, кричали «ура» борцам за свободу, украшали себя красным бантом и ходили под красными знамёнами... Но в душе, в разговорах наедине, – ужасались, содрогались и «чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то невидимым путем... Говорят, представители прогрессивнаго блока плакали по домам в истерике от безсильнаго отчаяния». Такая обобщающая характеристика лишена реальнаго основания. Смело можно утверждать, что отдельные голоса – может быть, даже многочисленные – тонули в общей атмосфере повышеннаго оптимизма. Ограничения, пожалуй, надо ввести, – как мы увидим, только в отношении лиц, ответственных за внешний фронт, – и то очень относительно. Не забудем, что ген. Алексеев столь решительно выступавший на Моск. Гос. Сов., все же говорил о «светлых, ясных днях революции».

«Широкия массы легко поддавались на удочку всенароднаго братства в первые дни» – признает историк-коммунист Шляпников.

Пусть это «медовое благолепие» первых дней, «опьянение всеобщим братанием», свойственным «по законам Маркса», всем революциям, будет только, как предсказывал не сантиментальный Ленин, «временной

болезнью», факт остается фактом, и этот факт накладывал своеобразный отпечаток на февральско-мартовские дни. И можно думать, что будущий член Временнаго Правительства, первый революционный синодский обер-прокурор Вл. Львов искренне «плакал», наблюдая 28-го, «торжественную картину» подходивших к Государ. Думе полков со знаменами. «Плакали», по его словам, и солдаты, слушавшие его слащавую речь: «Братцы! да здравствует среди нас единство, братство, равенство и свобода», – речь. которая казалась реалистически мыслящему Набокову совершенно пустой. Однако, окружавшая обстановка победила первоначальный скептицизм Набокова, просидевшаго дома весь первый день революции, и он сам почувствовал 28-го тот подъем, который уже разсеян был в атмосфере. Это было проявление того чувства имитативности, почти физическаго стремления слиться с массой и быть заодно с ней, которое может быть названо революционным психозом.

Колебания и сомнения должны были проявляться в среде тех, кто должен был «стать на первое место», конечно, гораздо в большей степени, нежели в обывательской безответственной интеллигентной массе. Допустим, что прав французский журналист Анэ, посещавший по несколько раз в день Думу и писавший в статьях направляемых в «Petit Parisien»[43], что «члены Думы не скрывают своей тоски». И тем не менее всеобщаго гипноза не мог избежать и думский Комитет. Поэтому атмосфера ночных переговоров, обрисованная в тонах Шульгина, не могла соответствовать действительности. Ведь трудно себе даже представить через тридцать лет, что в заключительной стадии этих переговоров столь чуждый революционному экстазу Милюков расцеловался со Стекловым – так, по крайней мере, со слов Стеклова разсказывает Суханов[44]. Симптомы политических разногласий двух группировок, конечно, были на лицо; их отмечала телеграмма, посланная главным морским штабом (гр. Капнистом) перваго марта в Ставку (адм. Русину) и помеченная 5 час. 35 мин. дня: ..."порядок налаживается с большим трудом. Есть опасность возможности раскола в самом Комитете Г. Д. и выделения в особую группу крайних левых революционных партий и Совета Раб. Деп.», но эти разногласия в указанной обстановке вовсе не предуказывали еще неизбежность разрыва и столкновения, на что возлагала свои надежды имп. Алек Фед, в письме к мужу 2-го марта: «два течения – Дума и революционеры – две змеи, которыя, как я надеюсь, отгрызут друг другу голову – это спасло бы положение».

Надо признать довольно безплодной попытку учесть сравнительно удельный вес того и другого революционнато центра в условиях уличных

волнений первых дней революции – и совершенно безплодна такая попытка со стороны лиц, не проникавших по своему положению в самую гущу тогдашних настроений массоваго столичнаго жителя и солдатской толпы. Талантливый мемуарист проф. Завадский совершенно уверен, что звезда «примостившегося» к Гос. Думе Совета Раб. Деп. «меркла в первое время в лучах думскаго комитета» и что «временный комитет Думы обладал тогда такою полнотою власти духовной и физической, что без существенных затруднений мог взять под стражу членов советских комитетов». Такия слишком субъективныя позднейшия оценки (Завадский ссылается на «впечатление многих уравновешенных» и на его взгляд «не глупых людей») не имеют большого историческаго значения уже потому, что этот вопрос просто не мог тогда возникнуть в сознании действовавших лиц – и не только даже в силу отмеченных идеалистических настроений. По утверждению Шульгина подобная мысль не могла придти в голову уже потому, что в распоряжении Комитета не было никаких «вооруженных людей»[45]. По позднейшему признанию Энгельгардта, сделанному Куропаткину в мае, он был «хозяином лишь первые шесть часов». Лишь очень поверхностному и случайному наблюдателю могло казаться, что весь Петербург руках комитета Гос. Думы. Так докладывал 2-го прибывший в Москву в исключительно оптимистическом настроении думский депутат, член партий к. д., проф. Новиков (это отметил № 3 Бюллетеня Ком. Общ. Организ.). «Спасти русскую государственность», как несколько высокопарно выражается Керенский, Врем. Комит. без содействия Совета было крайне трудно. Совет, по своему составу естественно стоявший в большой непосредственной близости к низам населения, легче мог влиять на уличную толпу и вносить некоторый «революционный» порядок в хаос и стихию. Отрицать такое организующее начало Совета в первые дни может только тот, кто в своем предубеждении не желает считаться с фактами[46]. Подобное сознание неизбежно само по себе заставляло избегать столкновения и толкало на сотрудничество. Также очевидно было и то, что без активнаго содействия со стороны Совета думский комитет, связавший свою судьбу, судьбу войны и страны с мятежом, не мог бы отразить подавление революции, если бы извне сорганизовалась такая контр-революционная правительственная сила. А в ночь с 1-го на 2-е марта для Временнаго Комитета совершенно неясно было, чем закончится поход ген. Иванова, лишь смутныя и противоречивыя сведения о котором доходили до Петербурга. Довольно показательно, что именно по инициативе Милюкова в согласительную декларацию от Совета, выработанную в ночном

совещании, было введено указание на то, что «не устранена еще опасность военнаго движения» против революции. Эта опасность служила не раз темой для речей Милюкова, обращенных к приходившим в Таврический дворец воинским частям. Так, напр., по тогдашней записи 28-го лидер думскаго комитета, обращаясь к лейб-гренадерам, говорил: «Помните, что враг не дремлет и готов стереть нас с вами с лица земли»[47]. Вероятно, в ночь на второе отсутствовавший на переговорах Гучков, кандидат в военное министерство и руководитель военной комиссии Вр, Комитета, пытался, если не организовать защиту, как утверждал в своей речи 2-го Милюков, то выяснить положение дел со стороны возможной обороны. Надо было обезвредить Иванова и избежать гражданской войны.

Неопределенная обстановка, вопреки всем схемам и теоретическим предпосылкам, накладывала и во Временном Комитете отпечаток на переговоры, которые велись с ним от имени Исп. Ком. Совета. Этот отпечаток довольно ясно можно передать записью в дневнике Гиппиус, помечанной 11 час. 1-го марта: «весь вопрос в эту минуту: будет ли создана власть или не будет. Совершенно понятно, что... ни один из Комитетов, ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье...» «Нужно согласиться – записывает перед писательница – и не через 3 ночи, а именно в эту ночь». «Вожаки Совета» и «думские комитетчики» «обязаны итти на уступки»... «Безвыходно, они понимают»... «положение безумно острое». По записям Гиппиус, сделанным на основании информации, которую «штаб» Мережковских получал от Иванова-Разумника (преимущественно, однако, в передаче Андрея Белаго) можно заключить, что в течение всего перваго марта шли непрерывные переговоры о конструкции власти между «вожаками совета» и «думцами-комитетчиками» и «все отчетливее» выяснялся «разлад» между Врем. Комитетом и Советом. Напр., под отметкой «8 час.» можно найти такую запись: «Боре телефонировал из Думы Ив. Разумник. Оп сидит там в виде наблюдателя, вклеенаго между Комитетом и Советом, следит, должно быть, как развертывается это историческое, двуглавое заседание». Такое представление, как бы опровергающее версию Суханова, будет, очевидно, очень неточно. Дело может итти лишь о том «неуловимом» контакте, который неизбежно устанавливался между двумя действующими «параллельно» крыльями Таврическаго дворца и сводился к частным разговорам и официальной информации. Никаких конкретных данных, свидетельствующих о том, что члены думскаго комитета были более или менее осведомлены о течениях, намечавшихся в Совете, мы не имеем. Скорее приходится предположить, что деятели Комитета не имели

представления о том, что при обсуждении программнаго вопроса в советских кругах была выдвинута некоторой группой идея коалиционнаго правительства. По собственной инициативе люди «прогрессивнаго блока» такой идеи выдвинуть не могли, ибо они по своей психологии туго осваивались с тем новым, что вносила революция – органически «еще не понимали» – как записывает Гиппиус –, что им суждено действовать во «время» и в «стихии революции», Неверный учет происходивших событий искривлял историческую линию – быть может, единственно правильную в то время. В ночь, когда две руководящия в революции общественныя группы вырабатывали соглашение, никто не поднял вопроса о необходимости попытаться договориться по существу программы, которая должна быть осуществлена в ближайшее время. Известная договоренность, конечно, требовала и другого состава правительства. «Радикальная» программа, которая была выработана, являлась только внешней оболочкой – как бы преддверием к свободной дискуссии очередных социально-политических проблем. В действительности получался гнилой компромисс, ибо за флагом оставались все вопросы, которые неизбежно должны были выдвинуться уже на другой день.

Возможен ли был договор по существу при внешне диаметрально противоположных точках зрения? Не должен ли был трезвый ум во имя необходимая компромисса заранее отвергнуть утопии? Как ни субъективен будет ответ на вопрос, который может носить лишь предположительный характер, подождем с этим ответом до тех пор, пока перед нами не пройдет фильмовая лента фактов, завершивших собой события решающей ночи. В них, быть может, найдем мы прямое указание на то, что в тогдашней обстановке не было презумпции, предуказывающей невозможность фактическаго соглашения. Можно констатировать один несомненный факт: вопрос, который представлялся кардинальным для хода революции, не был в центре внимания современников. Объяснить это странное явление макиавелистической тактикой, которую применяли обе договаривающаяся стороны, желая как бы сознательно обмануть друг друга – так вытекает из повествования мемуаристов – едва ли возможно... Наложили свой отпечаток на переговоры ненормальный условия, в которых они происходили... Никто не оказался подготовленным к революции – во всяком случае в тех формах, в которых она произошла. Все вопросы пришлось таким образом разрешать ex abrupto в обстановке чрезвычайной умственной и физической переутомленности, когда лишь «несколько человек», по выражению Шульгина «в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях». Но и эти «несколько человек» отнюдь не

могли спокойно проанализировать то, что происходило, и больше плыли по течению. Вдуматься в события им было некогда. Ведь с перваго дня революции общественных деятелей охватил какой-то по истине психоз говорения: «только ленивый не говорил тогда перед Думой» (Карабчевский). Автор одного из первых историко-психологических очерков русской революции, озаглавленнаго «Русский опыт», Рысс писал, что будущий историк первый фазис революции будет принужден назвать «периодом речей». Керенский вспоминает, какое величайшее удовлетворение доставляла ему возможность произносить слова о свободе освобождающемуся народу. Вероятно, не один Керенский – оратор по призванию и профессии – испытывал такое ощущение потребности высказаться[48]. И только впоследствии начинало казаться, что делали они это поневоле, чтобы «потоком красивых слов погасить огонь возбуждения или наоборот пожаром слов поднять возбуждение». По выражению американскаго наблюдателя инж. Рута, прибывшаго в Россию с железнодорожной миссией, Россия превратилась в нацию из 180 миллионов ораторов. Этого психоза далеко не чужд был и тот, кто по общему признанию доминировал в рядах «цензовой общественности» и был вдохновителем политической линии Временнаго Комитета. Сам Милюков охотно воспользовался антитезой биографа кн. Львова, противопоставившаго в революции «чувство» Керенскаго «уму» Милюкова. Приходится, однако, признать, что синтетический ум Милюкова не сыграл в решающую ночь должной роли и не только потому, что Милюков, как записывала та же Гиппиус, органически не мог понять революции.

Отрицательные результаты недоговоренности сказались очень скоро. В ближайшие же дни неопределенность в вопросе об юридическом завершении революции, о формах временной правительственной власти и о методе действия согласившихся сторон создала трудное положение. Это роковым образом прежде всего сказалось на судьбах отрекшагося от престола монарха.

Глава вторая. В поисках компромисса

I. Не состоявшаяся поездка Родзянко

В предварительных ночных переговорах представители думскаго комитета отвергли непредрешенческую формулу решения вопроса о государственной власти, предложенную делегатами Совета,– отвергли потому, что Врем. Ком., по словам Милюкова, уж предпринимал меры к замене Николая II Михаилом. К сожалению, Милюков сам не разсказал, какие были сделаны в этом отношении конкретные шаги, и потому остается неизвестным, что именно имел в виду здесь историк-мемуарист. Представители революционной демократии, как пытаются утверждать мемуаристы и историки леваго сектора нашей общественности, вообще не интересовались в это время Царем и династией, «не придавал всей этой политической возне никакого значения» (Чернов). До такой степени все «само собой разумелось», вплоть до «низложения Николая II», что в «эти дни, – вспоминает Суханов, – никто из нас не заботился о практическом и формальном осуществлении этого «акта»: никакия усилия, никакая дипломатия, никакия козни «праваго крыла» тут ничего не могли изменить ни на иоту».

В действительности такое отношение объяснялось в гораздо большей степени неопределенностью положения, когда практически не исключалась возможность даже гораздо большаго компромисса, чем тот, который формально представителями демократии намечался в часы ночных переговоров. В «записках» Суханова имеется одно мемуарное отступление, как-будто верно передающее настроение некоторых кругов демократии: «я даже немного опасался, как бы вопрос о династии не вытеснил в порядке дня проблему власти, разрешавшуюся совершенно независимо от судьбы Романовых. В этом последнем ни у кого не было сомнений. Романовых можно было возстановить, как династию, или использовать, как монархический принцип, но их никак нельзя было уже принять за фактор создания новых политических отношений в стране». Современники передают (в частности, Зензинов), что сам Суханов в эти первые дни в интимных беседах не проявлял большого политическаго ригоризма, считая кандидатуру в. кн. Михаила фактически вполне благоприятствующей для «дальнейшей борьбы демократии», т. е. допуская, что отречение имп. Николая II может и не предрешать собой еще «формы правления» в ближайшем будущем. Составители «Хроники февральской революции», сами непосредственно участвовавшие в советской работе того времени, формулировали вопрос так: «поглощенный

непосредственной организационной работой в городе, он (т. е. Исп. Ком.) как-то не интересовался вопросом о форме власти, о Царе, династии. Предполагалось, что вопросы этого рода входят, естественно, в компетенцию Врем. Комитета». Позднейшия утверждения (их можно найти у Чернова и др.), что «цензовая демократия» скрывала от «советской демократии» свои переговоры со старой властью, надо считать ни на чем не основанными... Косвенныя данныя указывают на то, что деятели Исп. Ком. были в достаточной мере осведомлены о «закулисных переговорах». Это не делалось официально, как и всё в те дни... И, быть может, разговоры в «частном порядке», как выражается большевицкий историк Шляпников, являвшиеся суррогатом открытой и определенной постановки вопроса, надо признать одной из роковых черт тактики первых дней революции.

Опираясь, очевидно, главным образом на показания Суханова, авторы «Хроники» говорят, что вопрос о Царе перед Исп. Ком. встал «совершенно случайно» утром 1-го марта в связи с предположенной поездкой Родзянко на ст. «Дно»: для непосредственных переговоров с носителем верховной власти. Родзянко не мог де выехать, так как железнодорожники не дали ему поезда без разрешения Исп. Ком.» Из праваго крыла Таврическаго дворца для урегулирования недоразумения был прислан некий полковник. «Вопрос о поезде Родзянко был решен очень быстро одним дружным натиском», – утверждает Суханов. Он лично говорил: «Родзянко пускать к Царю нельзя. Намерений руководящих групп буржуазии, «прогрессивнаго блока», думскаго комитета мы еще не знаем и ручаться за них никто не может. Они еще ровно ничем всенародно не связали себя. Если на стороне Царя есть какая-нибудь сила, – чего мы также не знаем, – то «революционная» Гос. Дума, ставшая на сторону народа, непременно станет на сторону Царя против революции». Решено было в поездке Родзянко «отказать». Через короткое время в комнату влетел бледный уже совершенно истрепанный Керенский. На его лице было отчаяние... «что вы сделали?...» – заговорил он прерывающимся, трагическим шепотом. «Родзянко должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это... Вы сыграли в руку монархии». Керенский в обморке или полуобморке упал на кресло[49]. Когда его привели в чувство, он произнес речь о необходимости контакта между правым и левым крыльями Таврическаго дворца и требовал пересмотра принятаго решения. В результате всеми голосами против трех поезд Родзянко был разрешен; «Родзянко, однако, не уехал. Времени прошло слишком много, а снарядить поезд было можно не так скоро»... Царь не дождался Родзянко на ст. Дно и

выехал в Псков. Так повествует полумемуарист, полуисторик первых дней революции.

Нет основания целиком отвергать разсказанный эпизод, проходящий в том или другом виде через ряд мемуаров, – правда, с очень существенными и коренными противоречиями. Как. всегда, эпизод приобретает особо заостренный характер у Шульгина. Этот мемуарист вообще изображает председателя Думы вне себя от негодования на «мерзавцев из числа «собачьих депутатов»[50] независимо даже от афронта полученнаго им в первоначальном решении Исп. Комитета фактически отменить поездку на встречу с Императором. Такая характеристика очень мало вяжется с отзывом, идущим с противоположной стороны, т. е. от тех именно «мерзавцев», как образно именует чуть не попавший в революционное правительство Шульгин представителей «советской» общественности. Родзянко «не был ни агрессивен, ни безтактен по отношению к Совету», утверждает Суханов, разсказывая о выступлениях председателя Думы перед демонстрирующими полками; он старался «облечь в возможно более дипломатическия формы, окутать демократическими лозунгами свою агитацию, направленную к одной цели, бьющую в единый или двуединый пункт: сплочения вокруг Врем. Правительства для борьбы с внешним врагом». Родзянко, «выполнял свою миссию добросовестно и удачно», – заключает первый советский историограф. Для подтверждения своей характеристики Шульгин применяет прием, явно непригодный в данном случае. Он передает негодующий разсказ Родзянко о том, как после очередной его речи к депутации, прибывшей из одной воинской части, один из «мерзавцев» стал задавать ему каверзные вопросы о «земле». «Вот, председатель Думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали. Так, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть, что спасать... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии... Так вот Родзянкам и другим помещикам Гос. Думы есть что спасать... Эти свои владения, княжеския, графския и баронския... они и называют русской землей... А вот вы спросите председателя Гос. Думы, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи» и т. д. Нечто подобное, очень, впрочем, далекое от пошлой демагогии и грубой красочности шульгинскаго беллетристическаго повествования, произошло на собеседовании с одним полком, когда Чхеидзе председателю Думы, действительно, задал вопрос о «земле». Родзянко тогда удачно парировал удар (Мансырев и Суханов). Но только этот диалог происходил 15 марта, а

не перваго, и он тогда же нашел отклик в газетах (напр., в «Бирж. Вед.»). Это было, таким образом, не на третий день революции и не в той обстановке, которую мы описываем. У Шульгина вся сцена отнесена непосредственно к моменту, последовавшему за отказом Исп. Ком. в поезде. Совершенно ясно, что это не мемуарный отклик, а непосредственное воздействие текста воспоминания самого Родзянко, допустившаго хронологическую ошибку в своем позднейшем разсказе. «Сегодня утром, – добавлял, по словам Шульгина, Родзянко, – я должен был ехать в ставку для свидания с Государем Императором, доложить Его Величеству, что, может быть, единственный исход – отречение. Но эти мерзавцы узнали... и сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезд... Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мной Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный, – я с ними к Государю не поеду... Чхеидзе должен был сопровождать батальон революционных солдат. Что они там учинят... Я с этим скот...» Тут Шульгина яко бы вызвали по «неотложному делу», касающемуся Петропавловской крепости[51].

Сам Родзянко в своих воспоминаниях ни одним словом не обмолвился об этом инциденте, хотя забыть его едва ли он мог. Да такого эпизода и не могло быть в том виде, как изобразил Шульгин. Чхеидзе фактически не мог бы сопровождать Родзянко с батальоном солдат, если бы даже Исп. Ком. и пожелал принять непосредственное участие в переговорах об отречении Царя. Он был бы безсилен отправить изолированный отряд на территорию, на которой центр, т. е. новая революционная власть, не мог еще распоряжаться железными дорогами. Материал для фантазии, вышедшей из-под пера Шульгина, очевидно, дали изданныя раньше (в 1922 г.) воспоминания другого виднаго члена прогрессивнаго блока и участника Врем. Ком. – Шидловскаго. Вот этот текст своеобразно и расцветили беллетристическия наклонности Шульгина. Воспоминания Шидловскаго, написанныя в других, спокойных тонах, не могут, с своей стороны, служить vade mecum при разрешении спорных вопросов, хотя в данном случае, казалось бы, мемуарист и был заинтересован в особливой точности и мог обладать большими данными, нежели другие свидетели: по его словам, он должен был сопровождать Родзянко в его предположенной поездке. Dichtung в этих воспоминаниях выступает с большой очевидностью. «Как-то раз, – разсказывает Шидловский (очевидно, это могло быть только 1-го утром), – пришел я во Вр. Ком. часов в семь утра... Сразу же Родзянко сказал мне, чтобы я готовился через час ехать вместе с ним к Государю, предлагать ему отречение от престола» (Автор

утверждает, что к этому времени «было решено» потребовать отречение Николая II от престола). «Вопрос о поездке был решен поздно ночью в мое отсутствие и разработан был весьма мало. Не были предусмотрены возможность нашего ареста, возможность вооруженнаго сопротивления верных Государю войск, а, с другой стороны, предусматривалась возможность ареста нами Государя, причем в последнем случае не было решено, куда его отвезти, что с ним делать и т. д. Вообще предприятие было весьма легкомысленное... Проходил час, другой, третий, неоднократно звонили по телефону на станцию Николаевской жел. дор., спрашивали, готов ли поезд, но из этого ничего не выходило, и всегда по каким-то причинам ничего не было готово. Наконец, пришел во Врем. Ком. председатель Совета Раб. Деп. Чхеидзе и объявил, что Совет решил не допускать поездки Родзянко к Государю. Во Врем. Ком. был уже заготовлен черновик этого документа, кажется, составленный Милюковым и изложенный в двух абзацах. Первый заключал в себе самое отречение от престола, а второй передачу его сыну. Чхеидзе было предложено ознакомиться с содержанием документа здесь же и затем распорядиться предоставлением нам поезда. Чхеидзе ответил, что он не может дать своего заключения по содержанию и форме документа без предварительнаго разсмотрения его в пленуме Совета... Чхеидзе взял с собою упомянутый черновик и пошел в Совет... Время между тем шло; прошел день, наступила ночь, а Чхеидзе обратно не являлся. Наконец, поздно вечером пришел Чх. и довел до нашего сведения решение Совета, который обезпечивал возможность проезда Родзянко при соблюдении двух условий. Во-первых, с нами должен поехать и Чхеидзе, против чего мы совсем не возражали, а, во-вторых, Совет соглашался только на первый абзац нашего текста, а второй отвергал совершенно. Тогда Родзянко и я заявили, что такого отречения мы Государю не повезем... На этом предприятие и закончилось, и Родзянко никуда не поехал». Не будем специально разбирать версии, данной Шидловским, – вся необоснованность ея в деталях выступит сама по себе в дальнейшем изложении, но и так уже ясно, в каком непримиримом противоречии стоит она с последовавшими затем ночными переговорами членов Врем. Ком. с представителями Совета. Никакого решения об отречении императора ночью 28-го не было принято, никакого соответствующаго документа во Временном Комитете составлено еще не было, ни Испол. Ком., ни Совет подобных предложений, поступивших со стороны «цензовой общественности», не обсуждали. В хронологической мешанине, представленной Шидловским, предположения и разговоры выданы за

решения.

Один однородный мотив проходит через все приведенныя версии, вышедшия с двух противоположных сторон: вмешательство Исп. Ком. так или иначе помешало поездке Родзянко. Шляпников от себя еще добавил, что после инцидента с Родзянко Исп. Ком. решил изолировать Царя и его семью, и группе членов Исп. Ком. было поручено произвести соответствующий арест. Несуразица утверждения мемуариста слишком очевидна: он явно спутал и постановления Исп. Ком. 3-го марта и даже 6-го, о которых речь впереди, и которыя были приняты уже в иной совсем обстановке, отнес на первое марта. У мемуаристов леваго сектора инициатором возбуждения вопроса о разрешении Родзянко выступают железнодорожные рабочие: их революционная последовательность, бдительность и предусмотрительность клали де препоны закулисным компромиссным интригам буржуазии. В февральские дни превносится нечто из обстановки позднейшаго октябрьскаго большевицкаго переворота, когда «Викжель» играл решающую роль в вопросах продвижения поездов. Подобное утверждение решительно противоречит воспоминамиям тогдашних вершителей железнодорожной политики – члена Гос. Думы Бубликова, назначеннаго Вр. Ком. комиссаром в мин. путей сообщ. и его помощника инженера Ломоносова. В их руках была вся инициатива.

В историю продвижения императорскаго поезда, вышедшаго из Ставки по направленно к Царскому Селу в момент получения сведений о начавшихся безпорядках в столице, надо внести существенный корректив по сравнению с трафаретным изображением, присущим революционной историографии. Царский поезд в действительности без видимых затруднений повернул с Николаевской линии и через ст. Дно прибыл в Псков. Ниже придется вернуться к «последнему рейсу» Императора. Сейчас история этих перипетий может интересовать нас только со стороны технических условий поездки Родзянко. Получив сообщение о том, что импораторский поезд подошел около 4 ч. утра 1 марта к ст. М. Вишера на Николаевской ж. д., Бубликов запросил инструкций от Врем. Комитета. Пока там обсуждали, что делать, поезд повернул обратно на Бологое, куда прибыл в 9 час. утра. Из Думы последовало распоряжение: «задержать поезд в Бологом, передать Императору телеграмму председателя Думы и назначить для этого последняго экстренный поезд до ст. Бологое[52]. Однако, поезд под литерой А, не дожидаясь «назначения» из центра, тотчас же направился по Виндавской дороге через Дно в сторону Пскова. Тогда начальствующие в железнодорожном центре решили

искусственным путем задержать поезд и лишить Императора возможности «пробраться в армию». Для истории сохранился документ в виде телеграммы Бубликова нач. движения Виндавской дороги от 11 час. утра перваго марта, в которой предписывалось загородить товарными поездами какой-либо перегон «возможно восточнее ст. Дно и сделать физически невозможным движение каких бы то ни было поездов в направлении от Бологое в Дно». «За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящаго предписания, – заключала телеграмма, – будете отвечать, как, за измену перед отечеством»[53]. Из этого плана ничего не вышло, и поезд под литерой А без осложнений продолжал свое продвижение.

Между тем на Николаевском вокзале в Петербурге стоял готовый экстренный поезд и в присутствии самого Ломоносова ждал приезда Родзянко. Из Думы систематически отвечали: Родзянко выедет через 1/2 часа. Время шло. Тогда, по разсказу Ломоносова, было решено перехватить Императорский поезд на ст. Дно, куда Родзянко должен был выехать по Виндавской дороге. Родзянко послал «вторую телеграмму» Царю. Может быть, эта «вторая телеграмма» была в действительности единственной. – только она одна среди официальных документов до сих пор опубликована. Вот ея текст: «Станция Дно. Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на ст. Дно для доклада Вам, Государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута». Ломоносов передает записку, полученную по телефону: «Литерный поезд прибыл на Дно. Государь Император прогуливаются по платформе и ожидают прибытия председателя Думы». В ответ на очередный звонок в Думу Ломоносов получает непосредственное от Родзянко распоряжение: «Прикажите доложить Его Величеству, что чрезвычайныя обстоятельства не позволяют мне оставить столицу. Императорский поезд назначьте, и пусть он идет со всеми формальностями, присвоенными императорским поездам». Вместе с тем якобы тут же Родзянко сообщил, что должен быть готов поезд на Псков, так как туда поедут «члены Думы с поручением особой важности».

Воспоминания Ломоносова вообще требуют поправок и, как увидим ниже, местами очень существенных. Последняго разговора с Родзянко в такой форме, как он изложен мемуаристом, не могло быть в это время. Фактически Царь, не дождавшись Родзянко на ст. Дно. приказал дворц. коменданту Воейкову телеграфировать председателю Думы о том, чтобы тот приехал в Псков. Ответ Родзянко, о котором упоминает Ломоносов, и был направлен в 8 час. 41 м. веч. в Псков: «чрезвычайныя обстоятельства

не позволяют мне выехать, о чем доношу Вашему Величеству». Одно не может вызвать сомнений в воспоминаниях Ломоносова: экстренный поезд ждал Родзянко, и эта поездка никакого активнаго противодействия со стороны железнодорожных рабочих не встречала[54]. Бубликов, с своей стороны, разсказывая о «колебаниях» Родзянко, говорит, что он «держал для него под паром три экстренных поезда на каждой из прилегающих к Петербургу дорог». Почему же все-таки Родзянко не поехал? Совершенно очевидно, что обстановка, в которой происходило обсуждение поездки Родзянко в Псков, не могла помешать ему выехать из Петербурга для переговоров с Царем, так как версия Суханова о затяжке со снаряжением экстреннаго поезда должна быть отвергнута. Не могло быть у Родзянко и внутренняго отталкивания, ибо он более чем кто-либо, готов был выступить (и выступил в эти дни) парламентером между верховной властью и возставшим народом. В напечатанных воспоминаниях Родзянко довольно глухо говорит, что по «сумме разных причин» он не имел возможности «ни на один миг оставить столицу». В разговоре с ген. Рузским ночью с 1-го на 2-е (около 3 час.) на просьбу последняго сообщить для «личнаго» его сведения «истинныя причины» отмены поездки в Псков[55], Родзянко подробнее и с некоторой большей, но очень все же недостаточной отчетливостью пояснил: «С откровенностью скажу, причины моего неприезда две: во-первых, эшелоны, вызванные в Петроград, взбунтовались, вылезли в Луге из вагонов, объявили себя присоединившимися к Гос. Думе и решили отнимать оружие и никого не пропускать, даже литерные поезда. Мною немедленно приняты были меры, чтобы путь для проезда Его Вел. был свободен, не знаю, удастся ли это; вторая причина – полученныя мною сведения, что мой отъезд может повлечь за собой нежелательныя последствия и невозможность остановить разбушевавшияея народныя страсти без личнаго присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания». События в Луге, неверныя сведения о которых дошли до Петербурга, сами по себе не могли помешать поездке Родзянко. Поэтому приходится толковать слова Родзянко скорее всего так: он хотел сказать, что при изменившихся условиях отпадала возможность его мирнаго посредничества; это следует, как увидим дальше, из всей конъюнктуры разговора. Под «нежелательными последствиями» можно, конечно, подразумевать противодействие Совета, но в действительности область этих «нежелательных последствий» надо значительно расширить. Сопоставил: двойной текст Милюкова – историка и мемуариста. В качестве историка он ограничился лишь расплывчатой оговоркой, что «отъезд из Петрограда

председателя Думы в то время, как только что сформировалась новая революггионная власть, признан был небезопасным». На первый взгляд здесь нет двусмысленности, и замечание историка совпадает с заключением председателя Думы в приведенном разговоре с ген. Рузским. Но, как мемуарист, впоследствии Милюков пояснил, что поездка Родзянко считалась нежелательной, ибо боялись его авторитарности: «Мих. Вл. уже чувствовал себя в роли диктатора русской революции», – боялись, что Родзянко окажется в «сговоре с вождями армии». Другими словами, часть Думскаго Комитета, склонявшаяся уже к более радикальному решению конфликта с верховной властью, выдвигала против поездки Родзянко приблизительно те самые аргументы, которые, по словам Суханова, он высказывал в Исп. Ком.

В таком свете несколько по иному приходится разсматривать то, что происходило, по разсказу Суханова, в Исп. Ком. в связи с прениями по поводу поездки Родзянко на встречу Царя. По утверждению другого участника Совещания, члена Гос. Думы Скобелева, Керенский прибыл на заседание не по собственной инициативе, а был вызван Исп. Ком., который был осведомлен железнодорожниками[56] о том, что готовится по требованию Врем. Ком. экстренный поезд. По словам Скобелева, Керенскаго вызвали для того, чтобы узнать, кто в сущности поедет к Царю. Керенский усмотрел в этом недоверие к себе, контроль над его действиями, отвечал «вызывающе»... В конце концов, мы не знаем, что именно говорилось в Исп. Ком., но приходится усомниться, что Керенский доказывал необходимость послать Родзянко для того, чтобы добиться отречения Николая II. Более правдоподобно предположить, что Керенский мотивировал аргументом противоположным, т. е. тем, что поедет не Родзянко, склонявшейся к компромиссной тактике. Приписывать Родзянко мысль поехать к Царю с предложением отречься от престола, как это делает Шидловский, невозможно, – днем перваго марта он психологически даже не был подготовлен к подобному радикальному решению. Какой путь намечал Родзянко? Вот что записал английский посол перваго марта: «Великий князь Михаил, проживавший на частной квартире около посольства, попросил меня зайти к нему. Он сказал мне, что, несмотря на случившееся в Бологом, он все-таки ожидает, что Государь приедет в Царское около 6-ти вечера, и что Родзянко предложит Его Вел. для подписи манифест, дарующий конституцию и возлагающий на Родзянко избрание членов новаго правительства. Сам он вместе с вел. кн. Кириллом приложили свои подписи к проекту манифеста, чтобы придать просьбе Родзяпко больше весу»[57]. Это был тот самый проект

ответственнаго министерства, который был составлен 28 февраля в квартире в. кн. Павла Александровича и вручен перваго марта Врем. Комитету «под расписку» Милюкова. Конечно, не только Родзянко во Врем. Ком. сочувствовал такому именно разрешению государственнаго кризиса, и поэтому нет основания приписывать ему особую «собственную политику» как это сделал Щеголев в довольно развязно написанном этюде «Последний рейс Николая Второго[58]. Недаром в. кн. Павел в письме к своему племяннику Кириллу 2 марта отмечал «новое течение», которое накауне к вечеру стало намечаться во Врем. Комитете. Он писал: «Ты знаешь, что я через Н. И.[59] все время в контакте с Госуд. Думой. Вчера мне ужасно не понравилось новое течение, желающее назначить Мишу регентом. Это недопустимо и возможно, что это только интрига Брасовой. Может быть, это – только сплетни, но мы должны быть на чеку и всячески, всеми способами сохранить Ники престол. Если Ники подпишет манифест, нами утвержденный, о конституции, то ведь этим исчерпываются все требования народа и Времен. Правительства. Переговори с Родзянко и покажи ему это письмо»[60].

Ночной разговор Родзянко с Рузским по прямому проводу довольно отчетливо рисует психологию, на почве которой родилось то «новое течение» во Врем. Комитете, о котором говорится в письме кн. Павла. Первостепенное значение имеет то обстоятельство, что разговор мы можем воспроизвести не в субъективном восприятии мемуаристов, а по объективному документу, который передает стенографическую запись телеграфной ленты. Значение документа тем большее, что это единственный источник, свидетельствующий о непосредственных переговорах Родзянко с командным составом армии севернаго фронта – никаких «безконечных лент разговоров со Ставкою», о которых сообщает Шульгин, не было. Имеющийся в нашем распоряжении документ анулирует легенды, в изобилии пущенныя в обиход безответственными суждениями мемуаристов, и потому надлежит напомнить содержание хорошо уже известнаго разговора. Рузский передал Родзянко, что Царь согласился на ответственное министерство, что поручение образовать кабинет дается Родзянко, что спроектирован манифест, который может быть объявлен немедленно, если намерения Царя найдут соответствующий отклик. – «Очевидно, что Е. В. и вы не отдаете отчета в том, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не легко... Государственной Думе вообще и мне в частности оставалось только попытаться взять движение в свои руки и стать во главе для того, чтобы избежать такой анархии при таком разслоении, которая

грозила гибелью государству. К сожалению, это мне не удалось... Народныя страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно, войска окончательно деморализованы; не только не слушают, но убивают своих офицеров, ненависть к Государыне Императрице дошла до крайних пределов; вынуждеп был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военнаго и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня, так как агитация направлена на все, что более умеренно и ограничено в своих требованиях. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром. Сомневаюсь. чтобы возможно было с этим справиться». На замечание Рузскаго, что «на фронте» до сих пор обстановка рисовалась «в другом виде» и что необходимо найти средства «для умиротворения страны», так как анархия «прежде всего отразится на исходе войны», Родзянко добавлял: «еще раз повторяю, ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам, войскам, решил твердо войну довести до победнаго конца и в руки немцам не даваться... нигде нет разногласия, везде войска становятся на сторону Думы и народа, и грозное требование отречения в пользу сына при регентстве Мих. Алекс. становится определенным требованием»... «Присылка ген. Иванова с георгиевским батальоном, – заключал Родзянко, – только подлила масла в огонь и приведет только к междоусобному сражению... Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут. Остановите ненужныя жертвы».

«Этот вопрос ликвидируется», – пояснил Рузский: «Иванову несколько часов тому назад Государь Император дал указание не предпринимать ничего до личнаго свидания... Равным образом Государь Император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад, вернуть на фронт все то, что было в пути», Затем Рузский сообщил проект заготовленнаго манифеста. Как реагирует Родзянко? – «повторяю вам, что сам вишу на волоске. и власть ускользает у меня из рук; анархия достигает таких размеров, что я вынужден сегодня ночью назначить временное правительство. К сожалению, манифест запоздал, его надо было издать после моей первой телеграммы немедленно... время упущено и возврата нет».

Несомненно в этом разговоре поставлен вопрос об отречении, но, впервые, как «требование» гласа парода[61]. Для самого Родзянко все-таки вопрос еще окончательно не решен. «Последнее слово, скажите ваше мнение, нужно ли выпускать манифест?» – настойчиво допрашивает

Рузский. «Я, право, не знаю, – говорит Родзянко с сомнением, – как вам ответить? Все зависит от событий, которыя летят с головокружительной быстротой». Едва ли Родзянко мог бы дать такой уклончивй ответ, если бы еще утром перваго марта с готовым проектом манифеста об отречении собирался ехать навстречу Николаю II?

Легко усмотреть в информации, которую давал Родзянко Рузскому, резкую двойственность – переход от крайняго пессимизма к оптимистическим выводам. «Молю Бога, чтобы Он дал сил удержаться хотя бы в пределах теперешняго разстройства умов, мыслей и чувств, но боюсь, как бы не было еще хуже». И тут же, «наша славная армия не будет ни в чем нуждаться. В этом полное единение всех партий... Помогай Вам Бог, нашему славному вождю, в битвах уничтожить проклятаго немца». «Насильственный переворот не может пройти безследно», – замечает Рузский: «что если анархия, о которой говорите вы, перенесется в армию... подумайте, что будет тогда с родиной нашей?». «Не забудьте, – спешит подать реплику Родзянко, – переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех и тогда все кончится в несколько дней, – одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет, я этого не допущу». Самоуверенность преждевременная в обстановке, которая могла грозить самому Родзянко, по его мнению, Петропавловской крепостью! Информация полна преувеличений в обе стороны. – то в смысле нажима педали я сторону «анархии» , то роли, которую играет в событиях председатель Думы: «до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания». Говорил Родзянко не по шпаргалке, заранее обдуманной, – это была импровизация, непосредственно вытекавшая из разнородных переживаний в сумбурную ночь с 1-го на 2-е марта. Суханов, может быть, до некоторой степени и прав, указывая, что Родзянко описал положение дел под впечатлением той беседы, которая была прервана вызовом председателя Думы для разговора по прямому проводу со Псковом. Родзянко был взволнован наличностью параллельной с думским комитетом силы. Мемуарист, по обыкновению, сгущает краски, когда разсказывает, что Родзянко требовал от делегатов Совета предоставления ему охраны или сопровождения его самими делегатами во избежание возможности ареста. Родзянко, чуждый предреволюционным заговорщицким планам, должен был почувствовать с развитием событий, как почва из-под ног его ускользала даже во Временном Комитете. Довольно метко эту эволюцию, выдвигавшую на авансцену «левое» крыло думскаго комитета[62] в противовес его «октябристскому» большинству, охарактеризовали составители «Хроники февральской революции»:

«октябристы были в первые же два дня отстранены от власти, и Милюков, бывший 27-го только суфлером Родзянко, 28-го негласным вождем, уже 1-го марта без всякой жалости разставался с Родзянко». В лихорадочной сутолке, может быть, Родзянко не отдавал себе яснаго отчета или не хотел признать крушение своего компромисснаго плана. Отсюда преувеличения, которыя давали повод говорить о «диктаторских» замашках и личных честолюбивых замыслах председателя Думы. Была и доля сознательной тактики в некоторых из этих преувеличений: говорил Родзянко с явной целью воздействовать на верховное командование, от котораго, действительно, в значительной степени я этот момент зависело «безболезненное» разрешение государственнаго кризиса. Родзянко, однако, проявил себя реалистом. Ночное бдение, когда «ни у кого, – по утверждению Милюкова, – не было сомнений, что Николай II больше царствовать не может», убедило Родзянко в неизбежности отречения от престола царствовавшаго императора, и в утренние часы 2-го марта, как мы знаем, с одной стороны, он настаивал на завершении переговоров с левой общественностью, а с другой, писал в. кн. Михаилу: «Теперь, все запоздало. Успокоит страну только отречение от престола в пользу наследника при Вашем регентстве. Прошу Вас повлиять, чтобы это совершилось добровольно, и тогда сразу все успокоится. Я лично сам вишу на волоске и могу быть каждую минуту арестован и повешен(?!– очевидно, словоупотреблению Родзянко в то время не надо придавать большого значения). Не делайте никаких шагов и не показывайтесь нигде. Вам не избежать регентства»...

II. «Coup d'Etat» Гучкова

Когда Родзянко в разговоре с Рузским оценивал «глас народный» в смысле династическаго вопроса, он заглядывал в будущее, правда, очень близкое: этот «глас народный» явно еще не выражался. Династическим вопросом в массах «как-то» мало внешне интересовались[63], и видимое равнодушие способно было обмануть не слишком прозорливых политических деятелей. К числу таковых не принадлежал член Временнаго Комитета Шульгин. Он в мартовские дни 17 г. предвидел то, что позднее подсказывало ему необузданное воображение мемуариста эмигранта в 25-м году. Уже"27-го, ночью перваго дня революции усматривая полную невозможность разогнать «сволочь» ружейными залпами, он задумывается над тем, как спасти «ценою отречения... жизнь Государя и спасти монархию». «Ведь этому проклятому сброду надо убивать. Он будет убивать... кого же? Кого? Ясно. Нет, этого нельзя. Надо спасти».

Шульгин любит драматизировать свои, иногда воображаемыя, переживания. Выступая в роли историческаго повествователя, он не считает нужным вдуматься в тот факт, что «сброд», к которому он так презрительно относится, был совершенно чужд мысли о цареубийстве – в течение всей революции периода Врем. Правительства мы не услышим призыва: «смерть тирану» – *нигде и никогда* . Но этот лозунг получал актуальное значение в атмосфере предфевральских планов дворцоваго переворота, и к нему склонялся, как. утверждает в. кн. Ник. Мих., не кто иной, как националист Шульгин, этот «монархист по крови», с трепетом приближавшийся к «Тому, кому после Бога одному повинуются». Поэтому так фальшиво для первых дней революции звучат патетическия слова Шульгина. Засвидетельствовал предреволюционное настроение волынскаго депутата в. кн. Ник. Мих. не в воспоминаниях, а в дневнике. 4 января 17 г. опальный историк из царской семьи, отправленный в ссылку в свое имение, после «беседы» в Киеве, записал в вагоне поезда: «какое облегчение дышать в другой атмосфере! Здесь другие люди, тоже возбужденные, но не эстеты, не дегенераты[64], а люди. Шульгин, – вот он бы пригодился, но конечно, не для убийства, а для переворота! Другой тоже цельный тип. Терещенко... верит в будущее, верит твердо, уверен, что через месяц все лопнет, что я вернусь из ссылки раньше времени... Но какая злоба у этих двух людей к режиму, к ней, к нему, и они это вовсе не скрывают, и оба в один голос говорят о возможности цареубийства!»

Шульгин, по его словам, никакого непосредственнаго участия в осуществлении проектов организации дворцоваго переворота не принимал. Поверим ему, но в ходячих разговорах того времени общественные деятели давно уже свыклись с мыслью устранения царствовавшаго монарха. И поэтому довольно естественно, что на третий день революции, когда стала понемногу выясняться складывавшаяся конъюнктура, имевшая уже традицию, схема стала занимать умы совершенно независимо от презумпции специфической кровожадности современных тираноборцев. «Эта мысль об отречении Государя была у всех, но как-то об этом мало говорили», – вспоминает Шульгин... «обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим, но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался комитетом Гос. Думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту».

Такой «последней минутой» и надо считать то вмешательство Гучкова в наметившееся соглашение между Врем. Ком. и делегатами Совета, о котором разсказывал Суханов. В показаниях 2 августа Чрез. След. Ком. Гучков, говоря об участии в подготовке дворцоваго переворота, так формально изложил свою точку зрения: ... «Самая мысль об отречении была мне настолько близка и родственна, что *с перваго момента* , когда только что выяснились... шатание, а потом развал власти, я и *мои друзья* сочли этот выход именно тем, что следовало искать. Другое соображение, которое заставляло на этом остановиться, состояло в том, что при участии сил, имевшихся на фронте и в стране, в случае, если бы не состоялось добровольное отречение, можно было опасаться гражданской войны... Все эти соображения с самаго перваго момента, с 27–28 февраля, привели меня к убеждению, что нужно, во что бы то ни стало, добиться отречения Государя, и тогда же в думском комитете я поднял этот вопрос и настаивал на том, чтобы председатель Думы Родзянко взял на себя эту задачу[65]... Был момент, когда решено было, что Родзянко примет на себя эту миссию, но затем некоторыя обстоятельства помешали. Тогда 1 марта в думском комитете я заявил, что, будучи убежден в необходимости этого шага, я решил его предпринять, во что бы то ни стало и, если мне не будут даны полномочия от думскаго комитета, я готов сделать это за свой страх и риск, поеду, как политический деятель, как русский человек, и буду советовать и настаивать, чтобы этот шаг был сделан. *Полномочия были мне даны...* Я знал, что со стороны некоторых кругов, стоящих на более крайнем фланге, чем думский комитет, вопрос о добровольном отречении, вопрос о тех новых формах, в которых вылилась бы верховная власть я будущем, и вопрос о попытках воздействия на верховную власть встретят

отрицательное отношение».

Из осторожных и несколько уклончивых показаний Гучкова перед следственной революционной комиссией следует, что автор показаний ночью с 1-го на 2-е марта, действительно, как бы форсировал вопрос и добился решения о поездке в Псков за отречением, будучи заранее уверен в противодействии со стороны советских кругов. Как-будто бы это своего рода coup d'état в момент не окончившихся еще переговоров. Так и выходит под пером Шульгина. «Кажется в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков». – разсказывает Шульгин. «Нас был в это время неполный состав... ни Керенскаго, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно». «Гучков был сильно разстроен», – речь его Шульгин изображает в излюбленной для себя манере под стать своим личным позднейшим переживаниям. «Надо принять какое-нибудь решение», – говорил («приблизительно») Гучков. «Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземскаго убили только потому, что офицер[66]... То же самое происходит, конечно, и в других местах. А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Гос. Думы они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... В этом хаосе... надо, прежде всего, думать о том. чтобы спасти монархию... Можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выход... И сам расправится с монархией... это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук...» И Гучков предложил «действовать тайно и быстро, никого не спрашивая...ни с кем не советуясь... Надо поставить их перед совершившимся фактом... Надо дать России новаго государя... Я предлагаю немедленно ехать к Государю и провести отречение в пользу наследника»... Шульгин вызвался сопровождать Гучкова. По словам Гучкова, он просил послать с ним Шульгина. «Я отлично понимал, излагает последний мотив своего решения, – почему я еду... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монарха... Я знал, что офицеров будут убивать за то... что они захотят исполнить свой долг присяги... Надо было, чтобы сам Государь освободил их от присяги. Я знал, что в случае отречения в наши руки, революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к Регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума... передаст власть новому правительству. Юридически революции не будет». Для осуществления «всякаго иного плана» «нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то

именно и не было».

Вся эта аргументация представляется в большой мере придуманной post factum. Психология действовавших лиц в предразсветные часы 2 марта рисуется значительно проще. В окружавшей обстановке, прежде всего, не было того зловеще страшнаго, о чем говорят некоторые мемуаристы – напротив, на третий день революции стал намечаться некоторый порядок и успокоение в взбаломученном море стихии. На основании фактов, как увидим, это можно установить с достаточной определенностью. Поэтому инициатор решения 2 марта о необходимости немедленно добиваться отречения монарха вовсе не был, повидимому, в том разстроенно-паническом состоянии, как представляет нам мемуарное перо Шульгина, – напр., упоминавшийся выше Мстиславский, активный член советскаго повстанческаго «штаба», слившагося с думской военной комисеией под общим руководством Гучкова, рисует настроение последняго и всего его окружения из офицеров ген.штаба в критические дни 28 февраля и 1 марта «оптимистическим и самоуверенным». Быть может, такая оценка не так далека от действительности, – ведь надо было обладать большой дозой спокойствия и уверенности в будущем для того, чтобы в атмосфере нависших угроз, о которых говорит Шульгин, руководитель внешней обороны революции мог провести *шесть часов* в уютной обстановке частной квартиры в академической беседе о русских финансах, – так разсказывает гр. Коковцев о посещении его Гучковым в 8 час. вечера 28 февраля а даже «быть может » в решающую ночь перваго марта. Именно самоуверенность должна была скорее побудить Гучкова форсировать в думском комитете вопрос о поездке в Псков тогда, когда по позднейшему уверению Милюкова, несколько персонифицированному, ни у кого уже не было сомнения в том, что Николай II больше царствовать не может. Эта убежденность в окончательной форме могла, конечно, сложиться под давлением левых кругов. Отпадала компромиссная тенденция, представителем которой был Родзянко, и очередной становилась проблема отречения. Естественно, отходила на задний план и кандидатура уступчиваго Родзянко и выдвигалась кандидатура человека, известнаго своим враждебным отношением к личности монарха, способнаго действовать следовательно более решительно и проявить большую настойчивость в достижении поставленной цели, согласно плану, разработанному им еще до революции. Возлагались надежды и на отношения его с представителями верховнаго командования в армии. В этой комбинации понятно и выдвижение монархиста Шульгина, связаннаго с участниками заговора.

Внешния условия (реальныя, а не воображаемыя) поездки Гучкова весьма мало подходят к акту, которому приписывают характер coup d'état[67] и который прикрывают пеленой большой таинственности. И это делает не один только Шульгин, показания котораго, как непосредственнаго участника псковскаго действия, заслуживали бы особаго внимания. Но мемуарист остается верен себе. «В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы... довез нас до квартиры Гучкова», – повествует Шульгин.... «Там А. И. набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе». Гучков в своих показаниях засвидетельствовал противоположное: «Накануне, – говорил он. – был набросан проект акта отречения Шульгиным, кажется, он тоже был показал и в комитете (не смею этого точно утверждать). Я тоже его просмотрел, внес некоторыя поправки». Припомним, как, по словам Стеклова, в ночном собеседовании с советскими делегатами сам Шульгин упоминал, что рука его писала отречение[68].

«Чуть серело, – продолжает разсказ Шульгин, – когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашняго дня, еще спал. На вокзале было пусто. Мы прошли к начальнику станции. А. И. сказал ему: «Я – Гучков. Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать в Псков... Прикажите подать нам поезд...» Начальник станции сказал: «Слушаюсь», и двадцать минут спустя поезд был подан». Вот это «чуть серело́' сразу выдает беллетристическое измышление... По свидетельству Гучкова «делегаты» думскаго комитета выехали в 1 час дня, а по свидетельству других официальных лиц из железнодорожнаго мира около 3 часов. (По документу, воспроизводящему разговор по прямому проводу Ставки со штабом Севернаго фронта, можно точно установить, что гучковский экстренный поезд вышел из Петербурга в 2 часа 47 мин.). Любопытно, все для того же Шульгина, что мемуарист забыл даже о том, что он сам в марте 17 года в циркулярном информационном разсказе, переданном представителям печати по возвращении из Пскова, говорил о выезде думской «делегации» из Петербурга в 3 часа дня.

Вопреки очевидности версия о «секретной» поездке Гучкова и Шульгина утвердилась в литературе и стала почти общепринятой не только у мемуаристов, но и в работах, претендующих на исследовательский характер. Мы имеем яркий пример того, как на другой день после события рождается легенда. Эту легенду сотворили члены

обоих политических лагерей, – конечно, по весьма отличным внутренним побуждениям. Для Шидловскаго поездка Гучкова так до конца и остается частной антрепризой, предпринятой инициатором ея на свой риск после того, как Родзянко отказался везти проект отречения в форме, якобы предложенной Советом. Неожиданно «пропал куда-то Гучков, назначенный военным министром», – разсказывает Шидловский. Без военнаго министра было очень трудно принять необходимый меры к успокоению гарнизона, и поэтому «Гучкова искали по всему городу днем с огнем, но отыскать, либо узнать, куда он пропал, не удавалось. Точно также исчез с горизонта и Шульгин. Спустя день обнаружилось, что Гучков с Шульгиным *без ведома* временнаго комитета и Совета рабочих депутатов умудрились похитить на Варшавском вокзале паровоз и вагон и укатили я Псков, откуда весьма скоро возвратились, привезя с собой подлинный акт отречения Государя»[69]. «Шульгин мне разсказывал, – добавляет мемуарист, – как все произошло».

«Категорически утверждаю, – заявляет с противоположной стороны Суханов, – что Исп. Ком. узнал о поездке «только на следующий день», «уже получив акт об отречении, не зная, при каких условиях он был подписан, и ничего не подозревая ни о миссии, ни о поездке Гучкова и Шульгина». «Со стороны Гучковых и Милюковых эта поездка была не только попыткой «coup d'état», но и предательским нарушением нашего фактически состоявшаяся договора. Допустим, вопрос о «третьем пункте», о форме правления оставался открытым до момента формальнаго окончания переговоров, но, ведь, Гучков и Милюков предприняли свой шаг за спиной у Совета – в процессе самих переговоров...» В официальном докладе, сделанном Стекловым от имени Исп. Ком. в Совещании Советов и совпадающем с общей оценкой Суханова, можно найти, однако, решительное противоречие с категорическим утверждением, что Исп. Ком. узнал о поездке Гучкова лишь «на следующий день». «Мы на этом пункте (т. е. форме власти) разстались», – докладывал Стеклов о ночной с 1-го на 2-е-марта. «Мы не поставили ультиматума на этом пункте по той простой причине, что слишком хорошо знали, что... русския трудящияся массы и, вероятно, значительная часть русской буржуазии не будут отстаивать... монархии... во всяком случае... и не сомневались, что в ближайшие дни, по мере того, как волны русской революции будут докатываться... до других центров русской жизни... общим кличем русской страны будет демократическая республика» и поэтому..., не добившись от них включения этого пункта, все-таки могли понимать результат наших переговоров так, что они не предпримут никаких шагов, хотя они... не

дали никакого ручательства, но большинство министров, с которыми мы говорили, – так как и на другой день эти переговоры продолжались, – нас заверили, что они от этого воздержатся и повлияют и на Милюкова в этом направлении. Вы можете поэтому представить себе, как мы были поражены и возмущены, когда узнали, что Гучков и Шульгин *едут* в Ставку, чтобы там заключить с Романовыми какой-то договор... Тут-то наш Совет(?) проявил «двоевластие», ибо дал повеление своим комиссарам остановить поезд, который заказали Гучков и Шульгин, и ни в коем случае не допустить их до поездки. Должен сказать, к чести рабочаго класса, что именно рабочие сев.-зап. жел. дорог первые подняли тревогу, узнав о поездке Гучкова и дали знать Исп. Ком.. К сожалению, каким-то образом эти господа проскочили»...

Тенденция докладчика выступает определенно, когда он пытается действия Исп. Ком., которыя, по утверждению мемуаристов, были предприняты 1 марта в отношении проектировавшейся поездки Родзянко, отнести к осуществленной 2 марта поездке Гучкова и Шульгина. Это «проскочили» становится общим местом. Если Суханов ограничивается осторожным замечанием. что он не знает, как поездка Гучкова была «организована с технической стороны», то остальные мемуаристы того же политическая круга следуют за Стекловым и высказываются весьма безаппеляционно: Гучков «конспиративно, чтобы не сказать обманом, пробрался в Псков», – утверждает Мстиславский. Тогда же сообщали – добавляет Шляпников – что думские посланцы выехали «на автомобилях». Выступавший в качестве историка революции Чернов, безоговорочно принимая шульгинскую версию, через 15 лет после события, говорил, что послы от Думы «контрабандой проскочили через проволочныя заграждения революции». И нет никому дела до того, что неоспоримым фактом является установленное уже документом обстоятельство, что посланцы Времен. Комитета выехали не на разсвете, а днем, не на автомобиле, а поездом. Французский посол уже тогда в дневнике от 2 марта занес более правдоподобную версию: Гучков и Шульгин выехали в 9 часов утра при содействии инженера, ведающаго передвижением на жел. дорогах; они получили специальный поезд, *не возбудив недоверия* социалистических комитетов[70].

Из непосредственнаго свидетельства «инженера» мы знаем, что стоявший под парами экстренный поезд ждал выезда делегатов «с поручением особой важности» еще задолго до решения, принятаго во Врем. Ком. на разсвете 2 марта. По воспоминаниям Ломоносова все это происходило совершенно открыто и не сопровождалось каким-либо

давлением бдительнаго революціоннаго ока со стороны железнодорожных рабочих или протестом со стороны руководящих кругов Исп. Ком. Напротив, – утверждает, по крайней мере, Ломоносов,– дело организовывалось как бы по взаимному, даже не молчаливому, соглашению. И, действительно, так выходит, судя по всей внешней обстановки, в которой протекала ответственная поездка в Псков думских посланцев, и которая была до чрезвычайности далека от какой-либо конспиративной скрытности.

Перед Следственной Комиссией Гучков показывал, что он телеграфно уведомил ген. Рузскаго о своем приезде, но для того, чтобы на телеграфе не знали о «цели» поезда, он пояснял, что едет «для переговоров по важному делу, не упоминая, с кем эти переговоры должны были вестись» Этот секрет полишинеля не раскрывается в опубликованных документах, т. к. среди них нет, странным образом, указанной телеграммы, но вся телеграфная переписка Ставки и штаба Северн. фронта не оставляет никакого сомнения в том, что приезд думской делегации носил совершенно официальный характер и мотивировался необходимостью непосредственных переговоров с Царем. По дороге Гучков послал другую телеграмму – ген. Иванову, «так как желал встретить его на пути и уговорить не предпринимать никаких попыток к приводу войск в Петроград»[71]. Гучков утверждал даже, что «дорогой пришлось несколько раз *обмениваться* телеграммами». По дороге в Псков, Гучков и Шульгин останавливались в Луге, что привело к значительному запозданию с их прибытием в Псков. Чем же вызвана была такая остановка? Гучков не упомянул об этой остановки в показаниях. Ничего не сказал специально о ней и Шульгин, упоминающий об информационном разговоре по прямому проводу с Ивановым и каких-то остановках на станциях, где Гучков «иногда говорил короткия речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было: во-первых, стояла толпа народа, которая *все знала* ... т. е. она знала, что мы едем к Царю... И с ней надо было говорить». Историк и мемуарист каждый по своему будут толковать остановку в Луге «контрабандой» выехавших из Петербурга думских посланцев. Ген. Мартынов, автор одной из наиболее ценных работ, посвященных февральскому перевороту, на основании неизвестных нам данных (автор имел возможность пользоваться и неопубликованными архивными материалами) изображает дело так, что делегаты были задержаны на ст. Луга «возставшими рабочими и солдатами», которых «с величайшим трудом удалось убедить в том, что поездка в Псков не преследует никаких контр-революционных целей. Инж. Ломоносов, имеющий тенденцию

преувеличивать реальную опасность, которая грозила «революции» со стороны продвигавшихся с фронта эшелонов ген. Иванова, – опасность совершенно не эфемерную в обстановке 2 марта, – со слов правительственнаго инспектора Некрасова, который сопровождал гучковский поезд и систематически сносился с центром, задержку в Луге объяснял именно этим опасением. Будущий председатель местнаго совета солдатских депутатов ротм. Воронович даст совершенно иную версию. Утром 2-го в 9 час. с экстренным поездом из Петербурга прибыл в Лугу по поручению Врем. Комитета член Думы Лебедев в сопровождении полк. ген. штаба по фамилии тоже Лебедев. Эта миссия имела задачей наладить порядок в городе, организовать местную власть и обезпечить путь следования Императора в Царское Село. Лебедев объявил, что «через несколько часов из Петрограда выедут в Псков члены Думы Гучков и Шульгин, которым поручено вести переговоры с Государем, и результатом этих переговоров явится приезд Государя в Ц. Село, где будет издан ряд важнейших государственных актов». Военный комитет ответил Лебедеву, что «не будучи поставлен в известность относительно истинной цели поездки Николая II Царское, и не зная, как к этому отнесутся петроградские солдаты и рабочие, он отказывается дать сейчас какия-либо гарантии». (Ждали возращения из Петербурга специально посланнаго за информацией делегата). Пытался получить «гарантии» и прибывший затем Гучков, «более часа» ведший в «парадных комнатах» вокзала переговоры с представителями временнаго военнаго комитета «Расстроенному упорством комитета Гучкову так и пришлось уехать в Псков, не добившись успеха». Таковы пояснения Вороновича... По тем или иным причинам выезд делегатов из Луги носил более помпезный характер, нежели это рисовалось в Петербурге, – по крайней мере ген. Болдырев, занимавший пост ген.-кварт. штаба Севернаго фронта, в дневнике отметил, что Гучков и Шульгин прибыли в Псков в сопровождении «5 красногвардейцев» (так Болдырев назвал гучковскую свиту, потому что у них на груди были «красные банты»).

Верится с трудом, что советские деятели в Петербурге могли ничего не знать о только что описанном путешествии думских посланцев вплоть до момента, когда те вернулись из Пскова, но всетаки предположительно допустим такую возможность. По шульгинской версии, повторенной в записи Палеолога, поездка в Псков была решена и организована в отсутствие членов Врем. Комитета, принадлежавших к социалистической группе, т. е. Керенскаго и Чхеидзе. Поэтому особливо важно выслушать Керенскаго, тем более, что в «записках» Суханова ставится вопрос: «от

чьего имени была организована поездка в Псков Гучкова и Шульгина? Если от имени Временнаго Комитета Гос. Думы, то известно ли было о ней его членам Керенскому и Чхеидзе? Если им было об этом известно, то почему не было доведено до сведения Исп. Комитета?» Керенский, как мы знаем из собственнаго его признания, совершенно не интересовался разговорами во Врем. комитете о форме правления и не трудился даже представлять свои возражения, так как он ни минуты не думал, что проекты о сохранении монархии могут осуществиться. Поэтому сам по себе вопрос о поездке Гучкова совершенно исчезает из орбиты внимания мемуариста. Возможно, что Керенский в момент, когда решался окончательно вопрос, действительно, не был в Таврическом дворце, – он отправился (впервые за эти дни) домой, чтобы в иной обстановке наедине обсудить вопрос о своем участии в правительстве[72]. То, что разсказывает Керенский, еще более запутывает вопрос. Он вспоминает, как «утром» 2 марта случайной, текущей толпе, заполнявшей Екатерининский зал Думы, Милюков объявил о создании временнаго правительства и о регентстве Мих. Алекс. (О речи Милюкова будет сказано дальше, – необходимо отметить только, что произнесена она была не «утром», как изображает Керенский, а в 3 часа дня, т. е. в момент, когда экстренный поезд Гучкова «прорвался» уже через Гатчину). Заявление Милюкова вызвало взрыв негодования среди демократических элементов Таврическаго дворца. Исп. Ком. поспешил собрать внеочередное собраніе и подвергнуть Керенскаго пристрастному, почти враждебному («des plus hostoles») допросу. Керенский отказался вступать в дискуссию и ограничился заявлением, которое и приводится (в кавычках) в воспоминаниях[73]: «Да, такой проект существует, но он никогда не будет реализован. Он не осуществим, и нет основания волноваться. Со мной не советовались по вопросу регентства, и я не принимал никакого участия в спорах по этому поводу. В крайнем случае, я могу всегда потребовать от правительства отказа от этого проекта или принятия моей отставки»... Тем не менее Исп. Ком. решил предпринять меры для противодействия осуществлению думскаго проекта о регентстве. Он пожелал послать собственную делегацию в Псков одновременно с Гучковым и Шульгиным, которая должна была выехать в «тот же день[74], а при невозможности это осуществить, лишить «наших делегатов», как выражается мемуарист, возможности выезда. отказав им я подаче поезда». Никто из других мемуаристов леваго политическая сектора прямо не упоминает о таком заседании Исп. Ком., и, как мы увидим, в дальнейшем к разсказу Керенскаго приходится относиться весьма скептически, насколько он касается перипетий, связанных с

поездкой в Псков. Перед нами лишь новая форма все той же легендарной версии. Однако, Керенский не только не отрицает факта, что он знал о поездке Гучкова и Шульгина, но и того, что фактически об этой поездке были осведомлены представители Исп. Ком. Надо думать, что они были осведомлены раньше, ибо из речи Милюкова отнюдь не вытекало сообщение. что Гучков выехал в Псков или готовится к отъезду, – вытекало совсем другое: «И вот теперь, когда я в этой зале говорю, – сказал Милюков, – Гучков на улицах столицы организует нашу победу». Керенский заканчивает свой разсказ лаконическим заявлением: «mais. tout finit par s'arranger».

Что же должны были привезти из Пскова «*наши* делегаты»? В изложении Керенскаго, естественно, это не совсем ясно. В то время, когда Гучков давал свои показания Чр. Сл. Комиссии, член последней Соколов (тот самый, который вместе с Сухановым участвовал в ночных переговорах) пытался Гучкова уличить не то в противоречиях, не то в двойной роли, которую он сыграл, проводя после соглашения с Советом свою линию в Пскове. В ответе Гучкова *имелось нечто существенное* , Гучков утверждал, что, когда он ехал в Псков, «самый вопрос о формировании правительства, самый *момент* формирования не был решен». «Мы стояли между двумя возможностями – или добровольнаго, на известных началах, сохранения монархии, провозглашения какого-то лица будущим государем и между возможностью свержения и всяких иных политических форм»... «Предполагалось, – показывал Гучков, – рекомендовать Государю назначить только одно лицо, именно председателя. Лицо это должно договорился с теми, кого оно желает пригласить, а те могут ставить свои условия относительно того, о кем они хотят итти и по какой программе»... « Я имел поручение от Врем, Ком. дать совет Государю назначить председателем Совета министров кн. Львова». Относительно всего остального «были тогда одни предположения». «При известных комбинациях, при извеестных условиях» Гучков соглашался войти в правительство в качестве военнаго министра. Вернувшись в Петербург и увидев на расклеенных плакатах свою фамилию среди лиц, вошедших в правительство, Гучков был удивлен, ибо для него «это было «неожиданностью»,– он думал, что «тот Временный Комитет, тот кружок лиц, который предполагал войти в состав правительства», дождется его «возвращения итого акта», который он вёз.

Такою же «неожиданностью» для Гучкова был и «акт соглашения» между двумя комитетами, вернее, та комбинация, при которой Исп. Ком. Совета Р. С. Д. являлся одним из решающих «факторов» в строении

государственной власти... На вопрос Соколова, как же все это могло быть «неожиданностью», раз Гучков участвовал в совещании в ночь с перваго на второе, Гучков отвечал: «Условия, которыя легли потом в основание, я нашел, когда я вернулся, окончательно скрепленными, видел их раньше, как проект, но проекты были разные, даже помню, что против некоторых я возражал, но соглашение состоялось в моем отсутствие со 2-го на 3-е, в то время, когда я был в Пскове[75]...

«Ваши товарищи по министерству, – продолжал вновь Соколов, – не указывали, что они другого от вас ожидали, что вы привезете отречение в пользу наследника... и не высказывали они вам, что этим привозом иного манифеста вы преступили полномочия, данныя вам Времен. Комитетом?» «Члены Комитета нет. – пояснял Гучков, – а на совещании у в. кн. Михаила Алекс. А. Ф. Керенский мне говорил, что я нарушил *полномочия* , но я заявил, что я мог привезти только тот акт, который мне дали. Этот акт там оставить и ничего не привезти я не считал себя в праве»[76].

Не всегда искренния, сознательно подчас уклончивыя, не всегда вполне точныя показания Гучкова тем не менее довольно определенно рисуют задачи, которыя возлагались на посланцев Врем. Комитета, Одна дошедшая до нас посторонняя запись отчетливо вскрывает подноготную, которую в революционное время, подлаживаясь под господствующей тон, современники затушевывали. 14 июля в. кн. Андрей Влад. занес в дневник подробный разсказ о «псковской трагедии», выслушанный им в течение четырех часов непосредственно в Кисловсдске от ген. Рузскаго. Разсказ заканчивается упоминанием о речи, произнесенной Гучковым перед «толпой», собравшейся у царскаго вагона после подписания манифеста об отречении, Гучков будто бы сказал: «Господа, успокойтесь, Государь дал больше, нежели мы желали». «Вот эти слова Гучкова остались для меня совершенно непонятными», – добавлял Рузский: Ехали ли они с целью просить об ответственном министерстве или отречении, я так и не знаю. Никаких документов они с собой не привезли, ни удостоверения, что они действуют по поручению Гос. Думы, ни проекта об отречении. Решительно никаких документов я в их руках не видел. Если они ехали просить об отречении и получили его, то незачем Гучкову было говорить, что они получили больше, нежели ожидали. Я думаю..., что *они оба на отречение не разсчитывали* «, Свидетели слишком часто передают слышанное не точно. Безоговорочно, конечно, нельзя принимать запись Ан. Вл. сообщающую как бы во второй инстанции то, что говорил Гучков в Пскове[77]. Но смысл сделаннаго им заверения представляется соответствующим действительности. Миссия от думскаго комитета

носила двойственный характер: Гучков и Шульгин должны были добиваться отречения, но, очевидно, допускалась возможность и иного исхода в неопределившейся еще окончательно обстановке. До последняго момента перед выездом Гучкова позиция Временнаго Комитета была колеблющаяся, но и в левом секторе далеко еще неясен был путь, по которому твердо надлежало итти. Много позже в некрологе, посвященном Милюкову и напечатанном в 5 кн. американскаго «Новаго Журнала», Керенский изобразил Гучкова специальным делегатом, который был послан в Псков Временным Правительством. Это уже идет совсем наперекор тому, что было.

* * *

Противоречия, которыми полны показания людей, примыкавших к левой общественности, скорее доказывают, что руководящее ядро Исп. Комитета в той или иной мере было осведомлено о поездке думских делегатов и отнюдь ей активно не противодействовало. Можно сказать, что оно *молчаливым признанием, в сущности, санкционировало компромиссный план и тактику, наметившуюся во Времен. Комитете.* Только в такой концепции можно попять однородныя утверждения у мемуаристов, принадлежащих к разным общественным формациям, о соглашении, которое было установлено в течение дня перваго марта между думскими и советскими кругами. Формальную историю переговоров, т. е. официальную их сторону, повидимому, довольно точно передал Суханов. К утру 2 марта они не были закончены, и нам предстоит еще к ним вернуться. За кулисами шли частные разговоры, и этот обмен мнений молва, зарегистрированная в дневниках и воспоминаниях, выдавала за принятыя решения. Так, французский посол, связанный с либеральными кругами и оттуда черпавший свои информации, под четвергом 2 марта помечает: «Исполнительные Комитеты Думы 'и Совета депутатов рабочих согласились на следующих пунктах:

1. Отречение Императора,

2. Возведете на престол Цесаревича,

3. Регентство в. кн. Михаила, брата Императора,

4. Создание ответственнаго министерства,

5. Учредительное Собрание, избранное всеобщим голосованием.

6 Равенство народов перед законом».

Ломоносов со слов все того же Рулевскаго, сообщавшаяся по телефону с «друзьями» из Совета, говорит о вечере перваго марта: «весь в Думе.. спор... шел о том, что делать: предлагали низложение, отречение или внушение, т. е. заточение Царицы и назначение ответственнаго

министерства Остановились на среднем». Припомним запись Гиппиус, помеченную «8 часов», о том, как «развертывается.,, историческое двуглавое заседание»: «начало заседания теряется в прошлом, не виден и конец; очевидно, будет всю ночь». Вот почему 3 марта, когда стало известно отречение Царя, и когда Суханов сделал «внеочередное» сообщение и передал, по его словам, в Исп. Ком., полученную им от доктора Манухина информацию о поездке Гучкова в Псков, которая была организована за «спиной» Совета думским комитетом, «особаго значения этому делу никто не придавал» и «официальнаго обсуждения никто не потребовал». Вот почему в то время никому «не пришло в голову» вменить в вину членам президиума Совета, состоявшим одновременно и членами думскаго комитета, соучастие в попытке «плутократии» сохранить я последний момент монархию и династию. Это равнодушие Суханов старается объяснить тем, что не стоило уже обращать внимание на «хитроумный махинации» думских «политиканов», которыя «пошли прахом и разсеялись, как дым». Явно придуманное искусственное объяснение, ибо 3 марта, когда Исп. Ком., по словам Суханова, не уделил «ни малейшаго внимания самому факту отречения», им одновременно было внесено постановление об аресте, отрекшагося от престола императора. Об этом постановлении, выступающий в качестве почти официальнаго историка деятельности Исп. Ком в первые дни революции, мемуарист умолчал.

Ничего подобнаго не могло бы быть, если бы безответственные закулисные переговоры, неясные, неопределенные, противоречивые, принимавшие внешне форму какого-то coup d'état, были заменены с самаго начала определенной договоренностью по основному, поставленному революцией вопросу. Можно ли было в действительности сознательной волей тогдашних политиков соединить две припципиально непримиримыя позиции? Как-будто бы приходится признать, что принципиальная непримиримость в те дни вовсе не означала тактическаго ригоризма, но деятели Совета оказались формально не связанными с теми переговорами, которые в заключительной стадии привели к реальному отречению царствовавшаго монарха. Мы должны выяснить теперь, что повлияло на изменение психологии «верховников» леваго сектора, ибо от молчаливаго признания думской тактики до решения арестовать носителя верховной власти после благополучнаго завершения компромисснаго плана – дистанция огромнаго размера.

Глава третья. Второе марта

I. «Приказ № 1»

2 марта «стихия» начала входить в русло, и в Петербурге наступило заметное успокоение. «В городе совершенно тихо, везде флаги. Стрельбы уже нет. Поражает громадное количество людей» – вспоминает Ломоносов, смогший прервать свою напряженную работу в мин. пут. сообщения для очереднаго визита к зубному врачу. На улицах «мирно» уничтожают царския эмблемы (двухглавых орлов), а «дворники подметают», – записывает Гиппиус. «Дисциплина возстанавливается понемногу в войсках. Порядок царит в городе», вносит того же числа в свой дневник французский посол. На улицах, если не исчезают индивидуумы, вооруженные с головы до нот – саблей, винтовкой, револьвером, ручными бомбами, с перекинутой через плечо пулеметной лентой, то эта «модная» форма одежды стоит уже на грани превращения в сюжет для революционной каррикатуры, как и гарцующие на улицах всадники на дрессированных лошадях, реквизированных в цирке Чинизелли .

В этом успокоении, несомненно, значительную роль сыграла инициатива советских кругов. Отсюда был дан толчек организации на местах столичнаго населения и гражданской милиции, – «милиции младенцев», как назвал ее один из ея руководителей, так как наряду со студенческой и рабочей молодежью записывались и скауты 10–15 лет. Сделавшись 28-го неожиданно для себя комиссаром Петербургской стороны, по предложению членов Исп. Ком. Совета, один из редакторов «Русскаго Богатства», Пешехонов. счел «необходимым зайти в Исп. Ком. Гос. Думы, чтобы получить от него полномочия». Писателю пришлось беседовать с Милюковым, и он вынес впечатление, что в думском Комитете вопрос об организации власти на местах даже не поднимался «Для меня все яснее становилось, что Совет Р. Д. решительно опережает думский комитет», – таково тогдашнее заключение мемуариста: уж в 4 часа в ночь на 28-ое Исп. Ком. приступил к организации районных комитетов. При наличности Думскаго Комитета в Петербурге не могло создаться центральнаго объединения на подобие тех комитетов общественных организаций, в состав которых входили советские представители, как одна из составных частей, и в руки которых в других городах фактически перешла власть в первые дни революции. Так с перваго дня на столичной периферии создалось своего рода двоевластие, перешедшее очень скоро к полной административной, почти

анекдотической неразберихе, когда всякаго рода самочинные «гражданские» и иные районные комитеты с их комендантами и комиссарами проявляли «сепаратистския» вольности. Но в первые дни «комиссариат» на Петербургской стороне, созданный в целях «водворить здесь свободу и установить народную власть», как видно из ярких воспоминаний его руководителя, имел огромное сдерживающее и организующее начало, ибо «праздничное, даже ликующее настроение» в массе при пароксизме «сомнения, тревоги и страха» само по себе вовсе не гарантировало ещё эксцесов. Не стоит говорить о возможных последствиях той «неслыханной» свободы, которая водворилась для «преступнаго мира» с открытием тюремных дверей[78].

Вопреки распространенному представлению в те дни для столичной солдатской массы имел умиротворяющее значение и пресловутый «приказ № 1». «Утром 2 марта (т. е. в то самое утро, когда на улицах и в казармах стал известен «Приказ № 1» и создалась в изображении Шульгина и его единомышленников сгущенная атмосфера «убийств») офицеры свободно могли появляться на улицах» – свидетельствует на основании непосредственнаго наблюдения Набоков, подчеркивавший в воспоминаниях, что выходить с утра 28-го на улицу в офицерской форме стало опасно. Но в первые два-три дня эта опасность все же была относительна – не смерть витала, конечно, над тем, кто носил офицерскую форму, а ему грозило насильственное разоружение со стороны возбужденной толпы. Что может быть нагляднее показаний командира 82 пех. Дагестанскаго полка, барона Радека, официально доносившаго 1 марта нач. Штаба верх. главноком. Алексееву о перипетиях, им пережитых 28 фев. в Петербурге, когда он возвращался из отпуска. Толпа хотела разоружить его на Балтийском вокзале, но оставила, как только узнала, что он едет на фронт. Барон с Балтийскаго вокзала пошел пешком на Царскосельский и в донесении сообщал, что «по дороге... солдаты честь отдавали, хотя не все. а чернь угрожала и старалась напугать, стреляя через голову на воздух». Командир Дагестанскаго полка был офицером, враждебно относившимся к революции, и держал себя, пожалуй, в толпе даже вызывающе. На вокзале, – писал он в рапорте, – «на предложение ехать в Гос. Думу, где заседал какой-то комитет, узурпировавший власть и называвший себя Временным Правительством, я, конечно, отказался».

Так было в разгар солдатскаго мятежа[79]. Конечно, были насилия, были убийства и в Петербурге Но могут ли отдельные эксцессы свидетельствовать о специфической атмосфере убийств, которая создалась в первые дни революции? Общий колорит эпохи настолько очевиден и

ясен, что испытываешь некоторое чувство неловкости за озлобление мемуариста, который в своих личных переживаниях стремится изобразить перед потомством действительность в сугубо мрачных тонах. Он возводит клевету на тогдашнюю современность – она была очень далека от фанатичной проповеди своего рода «варфоломеевской ночи». Трудно случайной статистикой что-либо доказать. В свое время в статистическом отделе петербургская комитета союза городов был составлен список «пострадавших» в дни февральско-мартовской революции. Данныя тогда же были опубликовали в газетах с указанием, что они были собраны студенческой организацией союза. Основанием для составления списка послужили сведения, доставленныя из больниц и лазаретов. Немало пострадавших в такую регистрацию, понятно, не было включено. Ген. Мартынов, пользовавшийся архивным материалом Чр. Сл. Ком., куда эти данныя были представлены, приводит Цифру 1.315 пострадавших (убитых и раненых)[80]. Распределяется это число так: офицеров 53, солдат 602, чинов полиции 73, граждан обоего пола 587. Сколько среди них было убитых, мы не знаем. Число «жертв революции» (их было по официальной статистике 181), торжественно похороненных 23 марта на Марсовом поле, ничего не говорит, ибо это была революционная демонстрация, мало считавшаяся с реальностью[81]. Запись Гиппиус 7 марта, говорящая об «уродливом» копании могил для «гражданскаго там хоронения собранных трупов, державшихся в ожидании», повидимому, не очень далека от действительности[82]. Сколько среди этого неизвестнаго количества убитых погибло от шальной «революционной» пули в дни безсмысленной уличной перестрелки, носившей или демонстративный характер, или вызванной паникой, неумением обращаться с оружием, а нередко служившей забавой подростков? Мы этого никогда не узнаем. Шкловский, непосредственный участник революционных действий, убежден, что большинство погибших надо отнести к числу случайных жертв. Конечно, восприятия современников были крайне субъективны, – напр., ген. Селиванов на фронте заносил в дневник со слов письма от «Тамуси»: «в газетах не было 1/8 того, что было на деле. Ужасно! Вот вам и свобода печати и слова».

Посколько мы можем признать относительную ценность приведенной статистики, посколько приходится заключить, что она опровергает граничащая с инсинуацией суждения мемуаристов, пытающихся подчас сознательно каким-то кровавым туманом окутать первые дни февральской революции. Как ни далека была от уличной жизни придворная дама Нарышкина, все же она не могла бы написать в свой дневник 28-го: на

улицах полный порядок, нигде ни малейшаго насилия. Не только люди в «офицерской форме», но и люди в ненавистном массе полицейском мундире не подвергались на улицах Петербурга жестокой расправе в дни «солдатскаго бунта». Когда бывший член Гос. Думы Бородин (к. д.) в день десятилетия революции вспоминал в нью-иоркском «Новом Русском Слове», как «полицейских безпощадно убивали в участках и на улице», его память, быть может, и безсознательно воспроизводила под напором последующих переживаний нечто такое, что было очень далеко от действительности – слишком разительна была та цифра – 70, которую давала «статистика». Наблюдавшие уличную толпу, реально отмечают нам «озлобленность» против полицейских в моменты, когда обнаруживалась стрельба с крыш из пулеметов (воображаемых), или когда ловили переряженных «фараонов». На этих расправах особо останавливается в своих воспоминаниях бар. Врангель (отец); ряженые городовые, – по его словам, – становились «гипнозом, форменным сумасшествием» толпы, их ловили и убивали, принимая подчас беднаго трубочиста с метлой за коварнаго и хитроумнаго фараона. Но, – должен отметить мемуарист, – очень скоро интерес к городовым пропал.

В Петербурге, где происходили уличныя столкновения, неизбежно эксцессов было больше, нежели там, где переворот по инерции совершался в мирном порядке, и в силу этого носил характер переворота, действительно, безкровнаго. Таков, однако, был характер революции почти по всей России, и он определяет собой общее настроение в гораздо большей степени, чем отдельные, всегда возможные эксцессы; как передавал корреспондент «Русских Ведомостей.», в Киеве говорили, что в революционные дни в городе погиб всего один человек, да и тот из меди (памятник. Столыпину)[83]. Убийства офицеров в Петербурге были единичными случаями. Этот факт тогда же отметил французский генерал Лавери в донесении шефу своей военной миссии в Ставке ген. Женену (донесение 28-го помеченное 1 1/2 час. дня). Черным пятном на революции остаются происшедшия в специфической обстановке трагическия события в Кронштадте и Гельсингфорсе: по официальным приблизительным данным в Кронштадте погибло около 60 офицеров, в Гельсингфорсе 39 (этих событий мы еще коснемся в другом контексте).

Для того, чтобы понять психологию эксцессов, в сущности надлежит разследовать каждый случай в отдельности, ибо подчас вовсе не «офицерский мундир» сам по себе, а случайно сопутствующия обстоятельства приводили переменчивую в настроениях толпу к эксцессу... Никакой «правильной, организованной облавы» на офицеров,

конечно, не было (утверждение Врангеля-отца). Среди таких случайных причин едва ли не на первом месте надо поставить злостную провокацию. В революционной толпе, вероятно, шныряло немало «озлобленных, мстительных людей», пытавшихся сделать ставку на разнуздывание стихии (это отмечает Петрищев). Их пропаганда успеха не имела, преломляясь в миролюбивом скорее настроении толпы. Есть и еще некоторая особливость и этих первых эксцессах против офицеров, специально отмеченная адм. Колчаком в телеграмме Алексееву 6 марта. В Черноморском флоте было спокойно: «только на некоторых кораблях., – сообщал Колчак. – существует движение против офицеров, носящих немецкую фамилию». Эху особливость надлежит отметить и в отношении Петербурга. Ген. Врангель, прибывший в начале марта в Петербург, упоминает среди «жертв обезумевшей толпы и солдат» несколько своих знакомых: «престарелый гр. Штакельберг, бывший командир Кавалергардскаго полка гр. Менгден, лейб-гусар гр. Клейнмихель»... Последние два были убиты в Луге своими же солдатами запасных частей гвардейской кавалерии[84].

Трудно не увидать здесь проявление рикошетом в примитивной, грубой форме революционнаго эксцесса той псевдонационалистической пропаганды, которая в атмосфере военнаго психоза родилась в предреволюционное время, нервируя массы, распространяя фантастические слухи о предательстве и измене даже в царской семье. Надо призадуматься еще над тем, кто является подлинным виновником рождения чреватой по своим последствиям легенды «о генералах-изменниках» (см. мои книги «Легенда о сепаратном мире» и «На путях к дворцовому перевороту»). С 1 марта нельзя зарегистрировать ни одного факта убийства "офицера» в столичном граде Петра. Это само за себя уже говорит. Показательно и то, что в тех немногих случаях, которые могут быть зарегистрированы, месть почти всегда производилась выстрелом неизвестнаго «из толпы».

Конечно, никакой непроходимой попасти между офицером и солдатом на исходе третьяго года войны не было. Много ненормальнаго оставалось в быту, порожденном сословными перегородками стараго режима) но совершенно неизбежно взаимное общение в окопных бивуаках и изменение, демократизация состава низшаго командования смягчали искусственно устанавливаемую рознь. Но условия, в которых произошла революция, когда солдатская масса почти всегда выступала без офицерскаго состава, совершенно естественно порождали недоверие к настроениям верхняго слоя армии – что в значительной степени вытекало

при неуверенности еще за будущее из страха ответственности за содеянное. Этот безотчетный страх «ответственности» спаивал до некоторой степени массу и заставлял ее держаться за коллектив. Пешехонов разсказывает, какия огромныя трудности предстали перед ним, как комиссаром Петербургской стороны, когда из Ораниенбаума 28-го пришел в столицу «делать революцию» второй пулеметный полк и потребовал отвода себе помещения. Солдат было... 16 тысяч. «До нельзя испуганные, чуть не в панике, они ужасно боялись расправы, которая может их постигнуть за то, что они наделали», я потому требовали «поместить их и одном месте»[85]. Их поместили в знаменитом Народном Доме, Вся масса производила впечатление «потревоженнаго улья», – солдатам казалось, что их с умыслом завели в стоящее особняком помещение, где их могут взорвать или иначе как-нибудь уничтожить. Офицерам была отведена небольшая комната, где они должны были проводить все время, оставаясь в сущности под арестом. Через образовавшийся полковой комитет комиссар убедил полк вернуться в Ораниенбаум, если будет «такой приказ от Совета». Но получить «такой приказ» оказалось не так легко, ибо «революционныя войска не могут быть выводимы из Петрограда и должны оставаться здесь, чтобы защищать завоевания революции», – сказали в Исп. Ком. Пешехонову, а некоторым в его просьбе почудилась даже «контр-революционная затея»....

Такова была психологическая обстановка, и поэтому первая же попытка от имени Временнаго Комитета ввести стихию в определенныя рамки вызвала некоторое волнение в гарнизоне. За подписью Родзянко был выпущен «приказ» по поискам, в котором предписывалось всем отдельным нижним чинам и воинским частям немедленно возвратиться в свои казармы, всем офицерским чинам явиться в свои части и принять все меры к водворению порядка. Командиры частей вызывались в Гос. Думу к 11 час. утра 28-го для получения распоряжений. Тогдашний председатель военной комиссии, состоявшей формально при Временном Комитете и фактически объединявшей представителей обоих политических секторов, полк. Энгельгардт в воспоминаниях, напечатанных в бурцевском «Общем Деле», говорит, что «приказ» Родзянко не появился, так как, был захвачен в типографии и уничтожен рабочими, увидевшими в «желании ввести солдат в рамки дисциплины и порядка» – попытку «приостановить, даже задушить, начавшуюся революцию». Надо думать, что «приказ» в том или ином виде все же был распубликован[86]. Офицеры стали появляться в своих частях, командный состав возвращался на посты, воинския части дефилируют с утра 28-го в Гос. Думе, выражая свою верность новому

порядку и т. д. Представители Временнаго Комитета говорили успокоительныя речи, призывая солдат слушаться офицеров: без начальников воинская часть превращается в толпу, которая неспособна выступить организованно и содействовать водворению порядка – убеждали Родзянко, Милюков и др. Но о каких офицерах шла речь? Только о тех, конечно, которые действуют в «согласии с Гос. Думой». Пока еще трудно при отсутствии систематически опубликованнаго материала, без специальных архивных изысканий представить себе бытовую жизнь воинских частей в первые дни этого переходнаго периода. В соответствии со всеобщим хаосом нечто хаотическое было и здесь. В однех частях сохранялся старый командный состав, в других военная комиссия сама назначала во временное командование кого-либо из наличнаго состава офицеров (напр., в Волынском полку – приказом Энгельгардта, помеченным 8 ч. 30 м. утра 28-го командование вручено было двум прапорщикам), в третьих происходили выборы. Не всегда это было самозванным действием образующейся солдатской вольницы в обстановке «мятежнаго движения». Найдите своих офицеров, которые стоят под командой Гос. Думы, и сами встаньте под их команду – рекомендовал 28-го не кто иной, как Милюков, лейб-гренадерам (по отчету «Известий» Комитета Журналистов).

Как будто бы дело шло к мирному разрешению с того момента, как около 2 час он 28-го самоликвидировались сосредоточенныя в Адмиралтействе «верныя части», которыми располагала еще существовавшая военная правительственная власть. Их было немного по официальным данным: 600 чел. пехоты, 500 кавалерии, 15 пулеметов, 12 орудий при 80 патронах. Символом завершения этого процесса могла служить резолюция многолюднейшаго – «несколько тысяч» – собрания офицеров утром 1 марта в помещении «Армии и Флота», единогласно признававшая власть Исп. Ком. Гос. Думы «впредь до созыва Учредительнаго Собрания[87]. В тот же день около 4 час. произошло демонстративное присоединение к Гос. Думе от имени Гвардейскаго Экипажа в. кн. Кирилла, обратившаяся перед тем с аналогичным призывом к начальникам Царскосельскаго гарнизона, после чего дворцовая полиция, царский конвой, собственный Е. В. сводный полк и железнодорожники послали в Таврический дворец своих представителей с заявлением о переходе на сторону новаго правительства. Под звуки Марсельезы с красными флагами, по утверждению коменданта Таврическаго дворца Перетца, в Думу прибыл и жандармский дивизион...

Итак, на петербургском небосклоне не было видимой пелены контр-

революционных настроений, а по утверждению арестованной престарелой гр. Клейнмихель, находившейся в Таврическом дворце в момент великокняжеской демонстрации, «революционная осанка» представителя императорской фамилии даже «восхищала» солдат[88]. Но... «тут вдруг посыпались фантастическия, непонятныя известия из целаго ряда полков, – вспоминает Эигельгардт, – о том, что офицеры запирают солдат в казармах, отбирают оружие, заставляют присягать на верность старому порядку. Был отправлен ген. штаба полк. Балобан в Егерский полк, чтобы выяснить там положение вещей, кор. Гуровский и еще несколько офицеров отправились в другие полки для проверки сведений и для успокоения солдат». Посланные принесли успокоительныя известия, но «с другой стороны, ко мне по-прежнему прибегали солдаты, взволнованные и, видимо, убежденные, докладывали о контр-революционных выступлениях офицеров... Было несомненно, что тут была типичная провокация, и что провокация имела успех». Энгельгардт доложил думскому комитету о распространившихся слухах я о возможных эксцессах (мемуарист относит свое сообщение на вечер 1 марта), и было решено для успокоения солдат издать приказ о недопустимости отбирания у них оружия. Упомянув о слухах, которые были проверены и оказались ложными, временный командующий революционной армией объявил, что «будут приняты самыя решительныя меры к недопущению подобных действий, *вплоть до разстрелов* »... Очень знаменательно, что угроза «разстрелом» раздалась впервые со стороны Временнаго Комитета[89]. Она свидетельствовала о той неизбежной двойственности, которой отмечалась деятельность военной Комиссии – с одной стороны, попытка внести успокоение, с другой – нервный страх перед неликвидированными еще силами стараго порядка.

Были ли какия-нибудь основания для распространившихся слухов, была ли это «провокация» или просто у страха глаза были велики? Стоит заглянуть в опубликованную неполную серию входящих и исходящих бумаг Военной Комиссии за 28 февраля для того, чтобы воочию себе представить фантастические слухи, распространявшиеся по городу и волновавшие гарнизон. Отовсюду поступают частныя сведения о больших полицейских засадах в тех или иных домах, о воображаемых пулеметах на крышах, о таинственных «черных автомобилях», разъезжающих ночью по улицам и разстреливающих прохожих, – сведения, которыя подчас сопровождаются лаконическими пометками: «неверныя сведения», «не оправдалось». Один из «караулов» доносит на основании сведений, доставленных «частными лицами», что в Академии Ген. Штаба «собралось

около 300 офицеров, вооруженных пулеметами, с целью нападения на Таврический дворец», от студентов с Балтийскаго вокзала поступают из «достоверных источников» сведения о продвижении с фронта «36 эшелонов в Царское Село», из сапернаго батальона сообщают о прибытии в Зимний дворец артиллерии из Царскаго Села с 12-дюймовыми орудиями и т. д.

Среди подобных слухов могли быть и слухи, вовсе не провокационные о попытках разоружения. Трудно, однако, представить себе, чтобы в обстановке 28-го, а тем более перваго, подобные случаи реально могли иметь место. Современники не зафиксировали ни одного конкретнаго случая, и последующия сообщения повторяют лишь голословныя предположения, высказанныя Стендовым 30-го марта: «некоторые офицеры, очевидно, сторонники стараго режима, начали разоружать солдат». При этом произошли эксцессы. Слухи в гораздо большей степени могли возникнуть в связи с отдельными распоряжениями военной комиссии, имевшими целью «возстановление порядка». Не надо забывать, что это был лишь второй день революции, а для периферии в сущности первый[90]. В то время, как думские представители в Таврическом дворце, призывая солдатския команды сорганизоваться и объединиться с офицерами под думским флагом, указывали на опасность, которая грозит еще революции, военная комиссия или отдельные ея представители одновременно разсылали «приказания» в роде того, которое было дано, напр., прап. Пикоку, адъютанту квартировавшаго в Красном Селе полка («приказание» от 1 марта за подписью Энгельгардта): предписывалось передать «нижним чинам», оставшимся в Красном, чтобы они «никуда из расположения полка не двигались и с особым усердием немедленно приступили бы к занятиям». Такия «приказания» могли быть в это время целесообразными в отношении таких привилегированных военно-учебных заведений, как пажеский корпус («приказание» 28 фев.) и некоторыя военныя училища (которым не вполне доверяли)[91], – учебныя занятия «в полном нормальном порядке» спасали училища от возможных эксцессов. Совсем по иному подобные приказы в «разгаре возстания» могли отлагаться в солдатской психике, – особенно, если они не совсем удачно формулировались в привычных терминах полицейскаго режима; напр., «дозорам», назначенным от Преображенскаго полка, 1 марта вменялось в обязанность "разгонять различныя сборища на улицах» (приказ командира батальона «во исполнение распоряжения Временного Комитета охраны гор. Петрограда» с пометкой: «не подлежит оглашению». В царившем хаосе каждый член отдавал (нередко самостоятельно) «приказания» на

различных официальных бланках – отсюда и резкия противоречия. Впоследствии военная комиссия в официальном отчете представляла свою деятельность вполне последовательной и планомерной. Конечно, это было не совсем так в первые дни[92].

Расхождение между двумя политическими секторами должно было сказываться в самом подходе к вопросу о «возстановлении порядка», расхождение, которое Энгельгардт в воспоминаниях определил так: «говорить нечего, что для конституционалистов и постепеновцев, членов прогрессивнаго блока, дальнейшее «углубление» революции уже было не нужно 28 февраля». И тем не менее я побоялся бы, не нарушая исторической перспективы, резко противопоставить в данном случае политику «думскую» политике «советской», как это делают все мемуаристы леваго сектора. Вот пример. Анализируя слова, с которыми Милюков 28-го обращался к воинским частям, Суханов отмечает проницательность того, кто «не в пример своей думской периферии умел смотреть в корень» и в «первый же момент революции», «еще до выяснения позиции Совета», поставил «ребром будущий роковой вопрос о двоевластии». Милюков, призывая подчиняться единой власти – Временному Комитету – указывал, действительно, на опасность двоевластия (слова его были воспроизведены в «Известиях» журналистов). Между тем, едва ли имеется сомнение в том, что в своих опасениях оратор был далек от мысли бросить «яблоко раздора» и отгораживаться от политики Совета, о настроении котораго он был мало осведомлен, и который в первые дни не претендовал на власть; говоря о двоевластии, Милюков имел в виду еще не ликвидированную старую власть, – это вытекает из контекста всех его речей. Суханов заключает: «с утра 28-го по всему фронту праваго крыла уже шла атака на гарнизон с кличем: «возвращайтесь спокойно в казармы, подчиняйтесь офицерам, подчиненным Гос. Думе и не слушайтесь никого больше, опасаясь двоевластия». Было ясно «нашему Исп. Ком... предстояло немедленно принять меры к постановке агитационнаго дела... среди гарнизона... и немедленно озаботиться производством выборов во всех воинских частях в Совет Р. Д.». Итак, последующая советская политика, одним из звеньев которой было издание «приказа № 1», изображается в виде сознательнаго противодействия политике думской. Согласиться с этим без очень существенных оговорок нельзя. Несколько, быть может, сусально зарисованная картина, на которой изображен член Гос. Думы октябрист свящ. Петров, из вестибюля Таврическаго дворца благословляющий 28 февраля подходящия воинския части, и соц. дем. Чхеидзе, на коленях «с

восторгом» целующий, как символ победившей революции, красное знамя, выхваченное из рук солдат Инженернаго батальона, пришедшаго одним из первых «с офицерами» и «оркестром музыки» (воспоминания Станкевича) – в большой степени даст представление о подлинном господствовавшем тогда настроении...

«Знаменитый приказ Родзянко», изданный «без ведома значительной части членов даже думскаго комитета», утверждал Стеклов в докладе 30 марта, – привел к эксцессам. «Мы первые скорбили о смертях и насилиях», – говорил Стеклов: «Мы никогда не призывали к кровопролитию и убийствам. Наоборот, всем весом своего авторитета мы старались воздействовать против этих эксцессов... Мы не могли не видеть, что армию толкают на эксцессы, что народ призывают к насилию этим, в лучшем случае, неосторожным политическим актом, неразумность котораго не мог сразу оценить его автор. Я должен сказать, что думский комитет поспешил взять обратно и уничтожить приказ[93], но яблоко раздора было брошено: оказалось, не только революция, но и права солдата не обезпечены, и здесь стихийно вылилось... бурное стремление солдат как-нибудь оформить свои права». Эксцессы, вызванные «приказом» Родзянко и попытками разоружения гарнизона (или только «провокационными» слухами), остаются неуловимыми и, думается, они должны в большей степени быть отнесены за счет позднейшей придуманной аргументами, объяснявшей те, скорее все же единичные факты революционнаго насилия над отдельными офицерами, которые имели место в Петербурге в дни 28 февраля и перваго марта. В наличности у гарнизона оставалось напряженное, болезненно-взвинченное самочувствие, всегда грозное в обстановке угрожающей демагогии, – как бы в преддверии возможных эксцессов... Нельзя не поверить тому, что большинство членов Исп. Ком., как и люди, заседавшие в думском комитете, были чрезвычайно обезпокоены, поступившими из Кронштадта в утренние часы перваго марта известиями с происходивших там насилиях над офицерами. «Кронштадтския избиения, – пишет Суханов, – могли вылиться в безудержную и гибельную стихийную бурю». Тогда же было решено в Исп. Ком. немедленно опубликовать воззвание к солдатам с протестом против самосуда, с призывом установить «контакт» между солдатами и офицерами революционной армии, с указанием на присоединение офицерской массы к революции и на безопасность ея для «солдатской вольницы в новых условиях»

В такой атмосфере и родился «приказ № 1». «Советские» мемуаристы довольно однородно разсказывают, как выработаны были основныя

положения, вошедшия в текст приказа. Происходило это на дневном общем собрании Совета перваго марта, когда Совет с учреждением «солдатской секции» превратился в представительство не только рабочих, но и солдатских депутатов. Объединение явилось естественным результатом событий и не может быть поставлено в зависимость от какого-то обдуманнаго плана противодействия думской агитации, как хочет представить Суханов. Распыленныя солдатския массы сделались центром событий с момента, когда февральския рабочия демонстрации превратились в солдатский бунт, решивший судьбу стараго политическаго строя. Оставаться дезорганизованными в вихре революционных событий эти массы, конечно, не могли. По утверждению Шляпникова, только «после долгаго колебания» из-за боязни вовлечь армию в «политическую борьбу» и сделать ее тем самым «небоеспособной». Исп. Ком. постановил 28-го вечером организовать при Совете специальную «солдатскую секцию». Не столько настойчивость представителей большевиков, выступавших против аргументами, которая развивалась «в рядах оборонческих групп», сколько жизненная необходимость разрешила вопрос.

Совершенно естественно на первом общем собрании Совета с делегатами от воинских частей был поставлен на обсуждение волновавший гарнизон «солдатский» вопрос: о пределах компетенции военной комиссии, о выдаче оружия, об отношении к возвращающимся офицерам и т. п. В результате совещания, происходившаго под председательством вездесущаго Соколова, были приняты положения, формулированныя, занимавшим отнюдь не крайнюю позицию с. д. Кливинским, одним из ближайших сотрудников газеты «День»:

1. «немедленно предложить тов. солдатам не выдавать оружия никому.

2. ...немедленно избрать представителей в Совет солд. и раб. депутатов по одному на каждую роту.

3. предложить тов. солдатам подчиняться при своих политических выступлениях только Совету Р. и С. Д.;

4. предложить тов. солдатам, подчиняясь во фронте офицерам, вместе с тем считать их вне фронта равноправными гражданами».

Заседание не протекало в атмосфере какой-то особой непримиримости и враждебности. Разработка и окончательное редактирование положений, установленных на совещании, были поручены комиссии, куда вошли представители солдат, дополнительно избранные в Исполнительный Комитет. Суханов, мало интересовавшийся тем, что

делается на безответственном «митинге», каким в его глазах являлось общее собрание, и занятый, как мы знаем, в это именно время в Исп. Ком. выяснением основной политической линии советской демократии, «лишь походя» мог наблюдать картину, как писался текст будущаго «приказа № 1»; «за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и наваливавшиеся солдаты и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал». «Приказ этот был в полном смысле продуктом народнаго творчества» – заключает Суханов. Заключение это стало общим местом, и его любили повторять те, кто хотел снять ответственность за «приказ № 1» с деятелей Исп. Ком. «И если среди всех актов Совета Р. и С. Д., если среди всех документов, носящих подпись Исп. Ком. – докладывал Стеклов в Совещании Советов, – имеется какой-либо, который был подлинным творчеством народных масс, то это был приказ № 1, выработанный солдатскими депутатами, пришедшими с улицы и из революционных казарм; это настолько был акт творчества этих масс, что большинство членов И. К.... узнали об этом акте, когда он был уже напечатан». И всетаки это, конечно, не совсем так – уже потому, что «представители солдат», «товарищи» Садовский, Падерин, Линде, Кудрявцев и др. (не говоря уже о прис. пов. Соколове, который, по мнению Суханова, был лишь «техническим выполнителем предначертаний самих масс»), были партийными людьми – некоторые из них были враждебны согласительной политике, доминировавшей в руководящем центре Исп. Ком.[94].

Общия «положения», принятыя в Совете, значительно заострились в конкретной формулировки «редакционной» комиссии. Вопрос о невыдаче оружия был формулирован так: «всякаго рода оружие... должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и *ни в коем случае не выдаваться офицерам* даже по их требованиям». Текст о подчинении гарнизона Совету в политических выступлениях получил добавление: «Приказы военной комиссии Гос. Думы следует исполнять за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета Р. и С. Д.». Положение о подчинении «во фронте офицерам» и о гражданском равноправии «вне фронта» формулировано было следующим образом: «в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую военную дисциплину, но вне службы и строя в своей политической общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в правах, коими пользуются все граждане». Пункт этот добавлялся указанием, что «обязательное отдание чести вне службы

отменяется»; «равным образом отменяется титулование офицеров», «воспрещается обращение к солдатам на «ты» и т. д. Вводный первый пункт устанавливал немедленное учреждение комитетов «из выборных представителей от нижних чинов» «во всех ротах, батальонах, полках.,., отдельных служб... разнаго рода военных управлениях и на судах военнаго флота». На этот абзац надлежит обратить особое внимание, ибо впоследствии со стороны тех, кто в «приказе № 1» видел первооснову разложения армии, шли настойчнвыя утверждения, что приказ устанавливал выборность офицерскаго состава. Нам придется ниже вернуться к «приказу № 1» и давать его оценку по существу в связи с правительственными попытками реформировать уклад армии. Сейчас более интересна для нас формальная сторона вопроса. Между советскими мемуаристами получилось существенное расхождение в определении пути официальнаго прохождения по инстанциям приказа. Суханов, как и Стеклов, утверждает, что Исп. Ком. познакомился с подлинным содержанием злополучнаго документа только на другой день из текста, напечатаннаго в «Известиях». По иному излагает, как непосредственный свидетель, Шляпников. Он подчеркивает, что члены Исп. Ком. не вмешивались в техническую работу редакционной комиссии, но по окончании работы текст был оглашен Соколовым в Исп. Ком.. Ни одного припципиальнаго возражения не была представлено, и «той же группе товарищей» было предложено провести «приказ» на собрании Совета, еще не разошедшагося, хотя время было «под вечер». Текст был заслушан. «Солдаты были вне себя от восторга»... Если даже допустить, что память мемуариста точно и объективно воспроизвела обстановку формальнаго принятия «приказа № 1», все же довольно ясно, что текст был принят в порядке простой митинговой резолюции и не подвергся предварительному разсмотрению по существу в исполнительном органе Совета. Этот роковой в некоторых отношениях документ истории революции прошел фуксом, как и многия другия ответственныя решения в те дни. Творцы его, загипнотизированные текущей столичной действительностью, едва ли серьезно задумывались о завтрашнем дне. Верно в этом отношении определил суть дела ген. Алексеев на московском августовском государственном совещании, – он сказал: – «Говорят, что этот акт отвечал моменту. Может быть. Но отвечал ли он миллионам моментов будущаго, через которые должна пройти наша родина? Безпристрастная история в очень скором времени укажет место и этому акту: явился ли этот акт актом государственнаго недоразумения или актом государственнаго преступления»...

* * *

Остается открытым, быть может, самый важный вопрос, – по чьей инициативе советской резолюции была придана внешняя форма «приказа», – ведь именно это, создав прецедент, оказалось чревато своими последствиями. В воспоминаниях Энгельгардта имеется чрезвычайно интересное пояснение, фактическая сторона котораго могла бы быть заподозрена в силу очевидных неточностей, если бы в архивных документах Временнаго Комитета не сохранилась аналогичная тогдашняя запись б. председателя военной комиссии. Сообщив о своем объявлении, грозившем разстрелами офицерам за контр-революционныя деяния, Энгельгардт продолжает: «Заседание Врем, Ком. продолжалось (дело было «поздно вечером»), когда доложили, что явилась депутация от воинских частей петроградскаго гарнизона. Действительно, собралось человек 20–25 солдат, из коих некоторые предъявили удостоверение в том, что они выбраны представителями своих полков[95]. Они единодушно заявили, что солдаты утратили доверие к офицерам, которые с первых минут революции покинули их и заняли неопределенную выжидательную позицию. В виду этого пославшие их части требуют издания правил *об избрании офицеров* , предоставления солдатам контроля над всеми хозяйственно-операционными частями и установления новых взаимоотношений между начальниками и нижними чинами[96]. Я поспешил сообщить об этом Родзянко и Гучкову[97]. Они самым категорическим образом протестовали против изгнания чего-либо подобнаго и поручили мне так или иначе *спровадить* , прибывшую депутацию, успокоив ее заявлением, что в ближайшем будущем будет создана особая комиссия... Успокоив этим заявлением солдат, я вернулся в помещение Врем. Ком., где уже не застал Гучкова, – он отправился на вокзал, чтобы ехать в Псков к Царю. Вскоре меня вызвали вновь в корридор. Ко мне подошел довольно распущеннаго вида солдат, который отрекомендовался членом Совета Р. Д. – «К вам являлись представители целаго ряда частей с просьбой выработать новыя правила воинской дисциплины», – сказал он. «Совет Р. Д. очень заинтересован этим вопросом и предлагает Врем. Комитету *разработать его совместно* "[98]. Я возразил ему, что Врем. Ком. Г. Д. находит опубликование таких правил недопустимым. «Тем лучше», – ответил он мне: – «сами напишем». На следующий день между двумя и четырьмя часами дня на стенах Петрограда появился знаменитый «приказ № 1».

Нам нет необходимости вводить фактическия поправки к изложению мемуариста, – эти поправки вновь выступают сами собой. Из его

повествования мы можем заключить, что Врем. Ком. был достаточно осведомлен о происходившем, и поэтому никак нельзя сказать, как это сделал Милюков в «Истории революции», что «как то со стороны и врасплох был подсунут Времен. Ком. Г. Д., поздно вечером 1 марта, текст знаменитаго приказа № 1». Когда Милюков говорил о том, что текст «приказа» был «подсунут» Врем. Ком., он имел в виду появление того неизвестнаго члена Исп. Ком. в «солдатской форме», о котором разсказывал Энгельгардт. Почему всетаки мемуаристы, принадлежавшие к составу Врем. Ком., так упорно говорят о «приказе № 1», связывая его с ночным бдением при участии советских делегатов и в частности с именем Соколова? Может ли это быть отнесено к той только спутанности восприятия в царившем хаосе, которую мы отмечали, и которую усилила литературная небрежность мемуарных перьев? Не исключена, конечно, возможность, что Соколов, председательствовавший на советском «митинге» и редактировавший текст резолюции, пытался в той или иной мере легализировать полезное с его точки зрения действие Совета через членов военной комиссии.

Ведь нельзя же было в действительности ограничиться только энгельгарттовской угрозой разстрела заподозренных в контр-революционных намерениях офицеров и обещанием создать соответствующую комиссию[99]. Если бы текст «приказа № 1» был разработан совместно, вероятно, и формулировка одиозных пунктов получилась бы несколько иная, и издан «приказ», очевидно, был бы не от имени Совета. В отрывке воспоминаний, напечатанном еще в 18 г. в самарской газете «Волжский День», член Врем. Правительства Вл. Львов разсказывал, спутывая все даты и излагая совершенно фантастически содержание документа, что Соколов появился на заседании уже образовавшагося правительства вечером 2-го и предлагал издать «приказ» от имени правительства. Думский Комитет как-то отмахнулся (недаром Энгельгардт употребил слово «спровадить» в отношении прибывшей солдатской делегации) от той настоятельной потребности откликнуться на взволнованность солдатской массы, которая с очевидностью выступила в ту решающую ночь, когда фактически была определена судьба издания «приказа № 1». И тогда «инициативная» группа произвольно опубликовала «приказ». Весьма вероятно, что среди этой инициативной группы был скорый на руку, не очень вдумчивый, обуреваемый благими намерениями «оборонец» из большевиков прис. пов. Соколов, признавший у Гиппиус (запись 6 марта), что в «бурлящей атмосфере» им было «что называется хвачено».

* * *

Может показаться невероятным утверждение, что оглашение того «знаменитаго приказа», который по позднейшему выражению Терещенко (на июльском совещании в Зим. Дворце) являлся «величайшим преступлением», и о котором другой член Врем. Правит. Верховский в дневнике-исповеди записал: «будь проклят тот, кто придумал эту гадость»[100], вовсе не произвело впечатления разорвавшейся бомбы, как утверждает большинство мемуаристов. Потому ли, что в Петербурге, где все уже было «перевернуто вверх ногами», и где казалась любая цена сходной, лишь бы начать приводить «солдатчину» в порядок («Все пропало, Армия разлагается», – говорил Станкевич Керенскому); потому ли, что «приказ № 1», по утверждению Керенскаго во французском издании его мемуаров, имел не больше значения, чем очередные приказы полк. Энгельгардта. У Керенскаго, принимая во внимание роль, им сыгранную, имеется совершенно удивительное признание, что с текстом «приказа № 1» он познакомился лишь в декабре 18 г. в Лондоне (!!). Характерно, что «Русския Ведомости» даже не отметили его в своей революционной хронике. «Приказ № 1», другими словами, до некоторой степени был признан отвечающим моменту, – в нем не усмотрели первой ласточки, предвещавшей анархию двоевластия, не очень вдумывались в его содержание и форму, в которую он был облечен, и относили скорее в область положительной революционной пропаганды. Французский журналист Клод Анэ, вращавшийся отнюдь не в советских кругах, мог даже в своем «дневнике», воплощенном в корреспонденции из Петербурга, в весьма преувеличенных тонах написать: если Совет предполагает организовать революционную армию в духе этого приказа, мы можем приветствовать русскую армию – она пережила кризис. Конечно, члены Врем. Комитета были очень далеки от того, чтобы вслед за французским журналистом приветствовать «дух», которым был проникнут «приказ № 1». Они попросту отнеслись к нему спокойно и равнодушно[101]. Поэтому советское выступление в течение дня 2-го марта никак не отразилось на ходе и завершении переговоров двух исполнительных комитетов. Не соответствует истине, что Врем. Ком. было сделано распоряжение считать этот приказ недействительным и незаконным, *как только* до сведения Врем. Ком. дошли сообщения о разсылке «приказа». Уже после фактическаго завершения революционнаго переворота – этой датой надо считать 3-ье марта или даже следующий день, когда манифесты были опубликованы – в связи с протестом с фронта со стороны высшаго командования армией, поднялся вопрос о пересмотре и соответствующем

разъяснении «приказа № 1». Не новое правительство, а председатель Временнаго Комитета послал на фронт разъяснение, что «приказы» Совета не имеют значения, так как Совет «в составе правительства не состоит».

В главе о «трагедии фронта» в связи с вопросом о реформах в армии, предпринятых революционной властью, мы коснемся роковой роли, которую сыграл в психологии военной среды «приказ № 1». Быть может, ему приписывали большее значение, чем он сам по себе имел в действительности. Но он стал как бы символом мероприятий, разлагавших армию. Отсюда острота, с которой относились в течение всей революции к этому советскому акту и повышенныя требования к правительству о безоговорочном признании его «ошибочным»[102]. В петербургской обстановке перваго марта «приказ», действительно, не мог иметь разлагающаго влияния – непосредственное его воздействие в первый момент имело противоположные результаты. Несомненно напряженная атмосфера среди гарнизона сильно смягчилась (эта напряженность значительно была преувеличена современниками). Внешния уличныя наблюдения Набокова могут быть подтверждены и другими свидетельствами. Тот же подвижной французский наблюдатель, слонявшийся по улицам столицы в поисках впечатлений, разсказывал в дневнике – статье под 5-м марта, как он в сопровождении кн. Ливена, адъютанта одного из наиболее аристократических полков – кавалергардскаго, – прогуливался по Невскому проспекту, и как большинство встречных солдат, также гулявших в одиночку или группами, салютировали по военному офицера-кавалергарда: «каждый день наблюдается прогресс», – заметил своему спутнику кн. Ливен, – «вчера отдавали честь больше, чем накануне, а сегодня вы видите сами». Не трудно, конечно, процитировать и показания иного характера, но они едва ли изменят общую картину. Попавший через несколько дней в город ген. Врангель, резко обвиняющий тех офицеров, которые «не побрезгали украсить форменное пальто модным революционным цветом» и перестарались «трусостью, малодушием и раболепием перед новыми властителями», утверждает, что он «постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями Наследника Цесаревича на погонах... и за все время не имел *ни одного столкновения* ». Отдадим должное мужеству ген. Врангеля, но, очевидно, коса в данном случае не находила на камень,– окружающия условия не создавали атмосферы, в которой родятся столкновения и эксцессы. Так житейски понятно, что люди, подвергшиеся аресту и выпущенные, надевали красные банты, что служило для них своего рода иммунитетом.

Не то же ли мы видим внутри казарм? Кн. Мансырев, в качестве депутата Думы, посетивший 2 марта казармы Петроградскаго и Измайловскаго полков, найдет «настроение солдат везде... хорошее, радостное и дружеское». Он разскажет, как солдаты вытолкали вон самозванных агитаторов, комментировавших «приказ № 1» в смысле неповиновения офицерам и ведших пораженческую пропаганду. Правда, на другой день в тех же казармах Измайловскаго полка депутату в одной роте пришлось услышать «реплики недоброжелательнаго свойства». «Изгнанные из полка агитаторы, – меланхолически замечает мемуарист, – успели достигнуть своего... Это был первый *признак* разложения армии». В первое время вообще солдаты без разрешения Исп. Ком. никого не пропускали; конечно, то была фикция контроля, ибо сам Шляпников признался, что он в качестве члена Исп. Ком. десятками подписывал чистые бланки. Одного мемуариста всегда можно побить другим. Не разбираясь в безчисленных субъективных контроверсах, ограничимся ещё одним противоположным приведенному свидетельством, которое мы можем сопоставить с имеющимся документом. Речь идет о преображениях. Вот картина, изображенная секретарем Родзянко Садиковым. Она столь характерна, что приведем ее, in extenso. «Одним из первых после переворота в полном составе в Думу явился запасной бат. л.-гв. Преображенскаго полка со всеми офицерами и командиром полк. кн. Аргутинским-Долгоруким», – пишет Садиков, воспроизводя легенду, нами уже разсмотренную. Батальон первые несколько дней нес наружную и внутреннюю охрану Таврическаго дворца, а также и караулы у министерскаго павильона, где находились арестованные министры. Солдаты были дисциплинированы и безпрекословно подчинялись всем приказаниям своих офицеров. И вот через несколько дней батальон сменил другой полк, а преображенцы отправились к себе в казармы. В тот же день картина совершенно изменилась. В казармы явились агитаторы, и к вечеру все офицеры были уже арестованы, подверглись всевозможным издевательствам и, как потом мне разсказывали, к ним в комнату ворвались окончательно распропагандированные, обезумевшие и вооруженные до зубов их же солдаты, обезоружив всех офицеров, хватали их и *тащили для немедленной расправы* во двор казарм. Кто-то догадался крикнуть: «тащите, товарищи, их в Думу, там разберут». Этот призыв спас несчастных. Всех офицеров, как они были, без шинелей, без фуражек, гурьбой по морозу и снегу гнали в Думу. Их втащили в Екатерининский зал. Возбуждение росло с каждой минутой. Уже раздавались крики: «бей изменников, бей предателей». Случайно увидев эту картину, я понял, что

спасти положение может только М. Вл. Я бросился к нему. Через несколько минут в зале появилась могучая фигура председателя Гос. Думы. Воцарилась тишина. Громовым голосом он приказал немедленно освободить всех офицеров и вернуть им оружие, а затем, обратившись к солдатам, громил их и в конце концов выгнал обратно в казармы. В полном порядке солдаты, молча, покинули помещение Думы. После этого случая в батальоне надолго воцарился относительный порядок. Офицеры со слезами на глазах благодарили М. В. за спасение и просили разрешения на эту ночь остаться в Думе». «Не одну тысячу жизней спас М. В.», – заключает мемуарист...

Перед нами, таким образом, яркий образчик разложения, к которому привел «приказ № 1». Однако подобныя воспоминания можно объяснить лишь своего рода психозом восприятия – так далеко это от того, что было. По совокупности того, что мы знаем о жизни батальона в первые дни революции, можно сказать, что эта жизнь протекала не так спокойно, как воспринимал ее секретарь Родзянко. Напряженность атмосферы внутри казарм на Миллионной выступает вполне определенно, и она, действительно, проявлялась в отношении солдат к некоторой части командnаго состава. У потомков «декабристов» не все было благополучно во внутренней жизни батальона. Вот что говорит Шидловский, старавшийся, как мы знаем, перваго марта через солдат выяснить настроение в полку, «Подробныя разъяснения», между прочим, «нарисовали мне такую картину, существование которой я не считал возможным даже в самом глухом полку армии, а не то, что в первом полку гвардии. Мне потом разсказывали офицеры других гвардейских частей, что им давно уже было известно о существовании в Преображенском полку таких дисциплинарных взысканий, которыя никакими уставами не были предусмотрены и с чувством человеческаго достоинства совершенно несовместимы». Этот «тюремный режим» создавал повышенное настроение в батальоне до революции; возможно, что как раз Преображенский полк надо отнести к тем частям, где в дни переворота пытались неудачно произвести свои эксперименты сторонники диктатуры, что осложнило положение. Посколько в нашем распоряжении находятся протоколы 1–4 марта батальонных комитетов, мы можем судить, что как раз в Преображенском полку с наибольшим напряжением происходило урегулирование взаимных отношений между офицерами и солдатами. Так, напр., если в л.-гв. гренадерском полку командиром батальона был избран полк. Коренев, а в Измайловском полк. Козено, то в Преображенском на этот пост попал подпор. Зарнич. Группу офицеров солдаты не хотели

принимать, и этот вопрос должен был обсуждаться в заседании батальоннаго комитета 5 марта. Временный командир батальона совместно с председателем бат. комитета рядовым Падериным (большевиком) составили список офицеров, которые не подлежат привлечению к работе в батальон и должны были быть распущены «по своим квартирам», полк. кн. Аргутинокаго-Долгорукова и еще 6 офицеров предполагалось «арестовать *впредь до выяснения в собрании* на Миллионной под ответственность командира и адъютанта». Протокол заседания 5 марта дает материал для характеристики, произведенной сортировки офицерскаго состава, но ничего не говорит об арестах, которые должны были быть произведены в условиях, совершенно не соответствовавших описанию Садикова.

К 5 марта полоса самочинных арестов в Петербурге в значительной степени отошла в прошлое... Наиболее ярким доказательством того, что в гарнизоне наступило успокоение (это, конечно, нельзя целиком отнести за счет «приказа № 1», но важно то, что «приказ № 1» не углубил разрухи), служат протоколы, возникших батальонных комитетов, т. е. делегатов, избранных от рот. Они резко выделяются своим деловым характером и, действительно, почти исключительно посвящены насущным нуждам воинских частей петербургскаго гарнизона. Трудно усмотреть в них проявление непримиримой «ненависти» к каждому, носящему «офицерский мундир». На первом плане всюду стремление внести порядок после революционной встряски и установить железную «просвещенную дисциплину», как выражался в первом приказе по батальону л.-гв. Измайловскаго полка новый командир его Козено, предлагавший «немедленно собрать комиссию из выбранных от всех строевых частей батальона солдат, *бывших на войне* и равнаго числа офицеров» для разработки начал этой дисциплины. «Командир батальона, – гласит первый протокол от 2 марта заседания комитета в Измайловском батальоне, – получает «полную власть по своей должности. Его приказания, как исходящия с одобрения делегатов, должны исполняться безпрекословно всеми офицерами и нижними чинами батальона. Это единственный путь к полной организации нашего батальона»... В заседании 3 марта «единогласно» постановлено предложить офицерам выбрать из своей среды делегата для присутствия на батальонных заседаниях: 4 марта также «единогласно» решено; в состав комитета ввести командира батальона, четырех ротных, начальников учебной и нестроевой команд и заседать под председательством командира батальона. Очень характерно и постановление, опять принятое

единогласно, о том, что начальствующия лица избираются лишь на срок, «*до появления перваго закона об организации батальонов* ». Приказ полк. Козено от 3 марта, изливающий «восторг, радость и счастье», которыми переполнена его «душа», красочный бытовой документ, заканчивающейся патетическим призывом: «Да здравствует великая русская победа над подлым немцем, такая же полная и славная, какая совершена нашими гражданами внутри отечества». Протоколы заседания комитета запаснаго батальона л.-гв. Измайловскаго полка отнюдь не представляют исключение, как явствует из протоколов других батальонных комитетов, образцы которых опубликованы в работе Шляпникова. Они опровергают утверждения этого автора, что в первыя недели солдаты не доверяли и выборному командному составу.

Такова общая картина состояния петербургскаго гарнизона после издания "приказа № 1». Ее можно подытожить разговором по прямому проводу в 10 час. утра 3 марта представителя морского штаба верх. главноком. Гончарова с представителем главнаго морского штаба Альфатером.

«Г.: Скажите, как обстановка?

А.: Обстановка значительно спокойнее, постепенно все налаживается.

Г.; Вчера распространился (слух), что вчера была произведена резня офицеров и Наморштаверх просит узнать, все ли офицеры здоровы.

А.: Все это сплошной вздор. Все живы и здоровы.

Г.: Наморштаверх просит также выяснить, сильно ли в настоящее время правительство Гос. Думы или авторитет его уже поколебался.

А.: Полагаю, что сильно».

Не без основания, таким образом, в тот же день посол Соед. Штатов телеграфировал своему правительству: «Революция, повидимому, удачна и находится в надежных руках. В городе вполне спокойно».

II. Экспедиция генерала Иванова

Перваго марта министр ин. д. стараго правительства сообщил союзным послам английскому, французскому и итальянскому, что «революция – совершившейся факт» – и что «у правительства нет войск для ея подавления». Сообщение Покровскаго зарегистрировано было в специальной телеграмме, отправленной Бьюкененом в Лондон. Оно подводило итог событиям и Петербурге. События во вне еще были не ясны, но в ночь с 1-го на 2-ое обстановка вырисовалась более отчетливо и с этой стороны. Мы знаем, что Рузский в первой же своей беседе с Родзянко передал последнему, что отдано распоряжение о приостановке движения эшелонов, назначенных в распоряжение ген. Иванова, которому были даны диктаторския полномочия. Отпадали, таким образом, опасения правительственнаго разгрома петербургскаго «мятежа» при содействии двинутых с фронта войск, настроения которых 'были неизвестны. Это должно было, с своей стороны, содействовать успокоению в столице – особенно в рабочих кварталах и в солдатских казармах.

Многие из ответственных деятелей революции впоследствии склонны были утверждать, что никакой реальной опасности продвижение эшелонов ген. Иванова не представляло и большого впечатления в Петербурге не произвело. Прежде всего это засвидетельствовал в показаниях перед Чр. Сл. Ком. Гучков. То же повторяли его помощники (напр., Половцов). Впечатление кн. Мансырева – явно преувеличенное в воспоминаниях – было иное. Он говорит даже о «паническом ужасе», охватившем Думский комитет и руководящие политические круги. По словам Керенскаго, нервничавшей и возбужденной была лишь толпа, затоплявшая здание Таврическаго Дворца. В действительности, со стороны Ивановскаго отряда никакой опасности не могло быть (rien à craindre). Ея не было, конечно, потому что ни одну воинскую часть нельзя было направить против возставшаго народа. Мемуарист, не слишком считающийся с необходимостью изложение фактов вставлять в рамки хронологической точности, во второй своей книге, больше уже претендующей на историческое повествование, патетично описывает иностранному читателю трагическое положение вечером 1-го марта прибывшаго в Псков Царя. Единственную новость, которую могли ему сообщить явившиеся генералы – Рузский и нач. шт. Данилов, – заключалась в том, что части, посланныя с фронта на поддержку «диктатора» Иванова, *одна за другой* присоединились к революции. У Императора, таким образом, не

оставалось выхода,– заключает Керенский. Единственный факт, зарегистрированный летописью событий, произошел в Луге через несколько часов после прибытия Николая II в Псков и имел лишь подобие того, о чем в ночном разговоре с Рузским передавал в неверном освещении весьма неточно информированный Родзянко. На этом эпизоде надо остановиться, ибо он послужил канвой при создании легенды, крепко укоренившейся в сознании современников.

О том, как произошло назначение Иванова будет сказано в главе, посвященной позиции и намерениям монарха. Для ясности проследим судьбу Ивановской миссии с момента, как «диктатор» выехал в 11 час. утра 28-го из Могилева во главе эшелона Георгиевскаго батальона по направленно к Царскому Селу по прямой линии через Витебск и ст. Дно[103]. Иванов предполагал, прибыв в Царское, остановиться «на вокзале для выяснения обстановки» и выжидать назначенныя в его распоряжение войска с фронта, причем войска посылаемыя с Западнаго фронта должны были сосредоточиться в Царском, а частям с Севернаго фронта местом высадки была назначена ст. Александровская вблизи Ц. Села. Всего Иванов разсчитывал иметь 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батареи – для расквартирования такого количества он просил Царскосельскаго коменданта приготовить помещение; дополнительно предполагалась отправка некоторых гвардейских частей и с Юго-Западнаго фронта. Войска были взяты с разных фронтов, с целью не ослаблять боевой силы действующих армий. Предполагалось, что первые эшелоны, из разсчета 18 часов в пути, могут прибыть в Петербург «не ранее разсвета 1 марта».

В 9 час. вечера 1 марта Иванов с небольшим опозданием, без каких-либо осложнений, прибыл в Царское Село, имея в своем распоряжении, по исчислению придворнаго историографа ген. Дубенскаго, около 800 человек. Сообщение о том, что в Вырицах (в нескольких перегонах от Царскаго – 30 с небольшим верст) поезд был задержан железнодорожным начальством, и Иванов требовал пропуска, угрожая применить силу, надо отнести к числу позднейших наслоений в воспоминаниях инж. Ломоносова[104]. Также «спокойно», по выражению тогдашней телеграммы ген. Лукомскаго, проходили и эшелоны с фронта, К моменту, когда Иванов прибыл в Царское, а Николай II в Псков, по официальным данным, положение эшелонов было таково. Головной эшелон– 67 Тарутинский полк дошел до места назначения – ст. Александровская; второй эшелон – 68 Бородинский полк – достиг Луги; остальные находились в пути между Лугой и Псковом, Псковом и Двинском. Первыя войска, двигавшияся с Западнаго фронта, прошли Полоцк. Задержка с продвижением вызвана

была не «саботажем», а подготовкой ожидавшагося продвижения императорскаго поезда.

С Бородинским полком и произошел тот самый лужский эпизод, о котором упоминалось. Перваго в Луге произошло возстание гарнизона, с бытовой стороны довольно ярко описанное кап. Вороновичем. Для февральских дней здесь можно почерпнуть много характерных черт, но остановимся только на интересующем нас сейчас эпизоде, как его излагает главное действующее лицо. Около 2 час. ночи в Луге получено было телеграфное сообщение о приближении эшелона с бородинцами. В согласии с установившейся для воспоминаний «леваго» сектора традицией, Воронович пишет: «хотя прибывающий по частям эшелон ген. Иванова и не мог оказать никакого влияния на события, тем не менее Петроград распорядился, во избежание могущаго произойти безцельнаго кровопролития, обязательно задержать и обезоружить бородинцев». (Из разсказа самого Вороновича довольно очевидно, что никаких «распоряжений» из Петербурга не могло быть получено). «Военный комитет, – продолжает Воронович, не знал, что ему предпринять: в эшелоне было до 2.000 человек и 8 пулеметов, в лужском же гарнизоне было не более 1.500 вооруженных солдат, причем по тревоге можно было собрать самое большее 300–400. В запасном арт. дивизионе все пушки были учебныя, и ни одна из них для стрельбы не годилась, а во 2-ой особой арт. бригаде пушек совсем не было. Поставленное на платформе учебное орудие являлось бутафорским, к пулеметам не было лент». Поэтому для разоружения «бородинцев» решено было прибегнуть к следующей «уловке». «Как только эшелон подойдет к вокзалу, три офицера (пор. Гуковский, Коночадов (прап.) и я) выедут ему навстречу и начальническим тоном прикажут солдатам не выходить из вагонов, так как поезд сейчас же отправится дальше. Затем члены военнаго комитета войдут в офицерский вагон, приставят к нему часовых и предложат командиру полка от имени Комитета Г. Д. немедленно сдать оружие, пригрозив в случае отказа открыть по эшелону артиллерийский огонь». В качестве артиллерии должно было фигурировать бутафорское орудие. Командиру полка было решено указать, что весь 20 тыс. гарнизон Луги примкнул к Петербургу, и всякое сопротивление является безцельным..."Все произошло так, как мы предполагали. Бородинцы мирно спали в теплушках, и никто из солдат не попытался вылезть из поезда»... Командир, полк. Седачев, подчинился «силе». Солдаты отнеслись очень спокойно к требованию выдать винтовки, и сами стали сносить их на платформу. Одновременно вагон с пулеметами и ручными гранатами был

отцеплен и отвезен на запасный путь... Между тем стало разсветать. Бородинцы с недоумением посматривали на совершенно пустую платформу... Офицеры стали нервничать... Нужно было, как можно скорее, отправить бородинцев в Псков[105]... С трудом удалось уговорить командира оставить в Луге нескольких офицеров и солдат для сопровождения возвращаемаго оружия, а остальных немедленно направить в Псков. После отхода эшелона, в Петербург была послана "краткая телеграмма с извещением о том, что бородинцы нами разоружены». Краткая телеграмма, очевидно, и превратила разоружение в «бунт» в мемуарной литературе, поддержанной и Шульгиным. Разсказ Вороновича вполне подтверждается сохранившейся лентой разговора 2-го представителя Ставки со штабом Севернаго фронта о том, как «68-й полк частично присоединился к лужскому гарнизону». Представитель Ставки, полк. Бармин, выслушав информацию, вполне резонно заметил: «значит, никто не переходил на их сторону». Конечно, остается в высшей степени показательной для момента обстановка, в которой произошло разоружение Бородинскаго полка, – это как бы жизненная иллюстрация к словам в дневнике ген. Болдырева 28-го по поводу экспедиции ген. Иванова: «Так не хотелось бы вовлекать во все это армию. За что еще хотят бороться – за призрак. Ведь кругом тайное и явное сочувствие». Эту действительность революционное чувствование и тогда уже стремилось разцветить. До каких пределов может доходить подобная тенденция, показывает текст Шляпникова. Вот характерный из него строки (сравним с безхитростным разсказом Вороновича): «Стоявший в Луге гарнизон по своей революционной инициативе задерживал все двигающияся на столицу войска, разоружая их или поворачивая обратно. Двадцать тысяч штыков и сабель были наготове и преграждали контр-революции путь на Петербург. Двадцать батарей различнаго калибра были готовы первому сигналу смести с лица земли любую часть осмеливагощугося сопротивляться революционной воле солдат лужскаго гарнизона. Добравшиеся другими путями просто перешли на сторону петроградских рабочих и солдат». Но и этого «просто» не было: головные эшелоны (Тарутинский полк), дошедшие до назначения на ст. Александровская, сохраняли свою «лойяльность» до последняго момента и распоряжением военной власти были возвращены на фронт, в Двинск, окружным путем, дабы избежать возможнаго «конфликта» с лужским гарнизоном[106].

Что же касается эшелона с георгиевскими кавалерами, прибывшими в Царское под непосредственным водительством Иванова, то при описании перипетий, с ним бывших, повидимому. наиболее правильным было бы

следовать за показаниями в Чр. Сл. Ком. самого «диктатора». Его простое, безыскуственное повествование (правда, стенограмма довольно невразумительна) не вступает, по крайней мере, в непримиримую коллизию с фактами, как это происходит с другими версиями. Прибыв в Царское Село, Иванов побывал во дворце[107], выяснил, что царская семья под надежной охраной, и в это время получил сообщение, что к вокзалу идет с пулеметами и тяжелой батареей батальон перваго гвардейскаго сводnаго полка..."Что же бой разводить?»..."Я очень хорошо понимал, что если пойдет толпа, то тысячи уложишь».– Оставаться в Царском не было цели, хотя выходило, «как-будто удираю». Иванов решил с одобрения «всех окружающих» вывести батальон на ст. Вырицу в целях избежать возможных столкновений... В революционной литературе отход Иванова и представляется в виде «бегства» диктатора из Царскаго Села, вследствие ненадежности Георгиевскаго батальона. Основано это заключение отчасти на данных, приведенных в сводной работе Блока и цитируемых во всех последующих работах. Батальон объявил себя «нейтральным», имеющим целью «охрану личности Царя», а командир георгиевцев, ген. Пожарский, заявил, что его солдаты стрелять не будут. Что таково могло быть приблизительно основное настроение георгиевцев, пожалуй, сомневаться не приходится, – сам Иванов показывал, что безоговорочно на войска нельзя было разсчитывать. Но всетаки, сведения, почерпнутыя Блоком из позднейших показаний солдат и офицеров Георгиевскаго батальона, проходили через призму следовательскаго допроса после завершения революции и совершенно естественно окрашивали события в соответствии моменту – этого не следует забывать. Такую же ценность имеет опрос георгиевских кавалеров, произведенный при первом посещении Ставки Керенским в середине месяца. Солдаты ему дружно отвечали, что они не знали, зачем их везут и, когда узнали, отказались быть усмирителями («Рус. Вед.»). Равным образом, конечно, нельзя признать версию, которую Иванов пытался пустить в оборот, после своего ареста, в личном письме к военному министру Гучкову 9 апреля: «Раздутая газетами моя поездка, случайно совпавшая с поездкой Георгиевскаго батальона в район Петрограда, являлась и для меня, и для батальона следованием к месту новаго назначения и отнюдь не преследовала каких-либо карательных целей»[108]. В показаниях перед Чр. Сл. Ком. Иванов пытался лишь обосновать свое решение, принятое будто бы еще в Пскове и одобренное Царем, не вводить войска в Петербург для того, чтобы избежать «междоусобицы и кровопролития»: «Если войска верны, то можно (я буду прямо говорить) десятки тысяч уложить... Я буду так поступать, а в это

время Государь объявит об ответственном министерстве»... «Затем, если войска неверны, то (извините за выражение) лезть будет глупо».

Если бы решение, о котором говорил Иванов, и не было заранее принято, обстановка, с которой встретился «диктатор», должна была побудить его занять выжидательную позицию, – его маленький отряд сам по себе до подхода воинских частей с фронта, понятно, не мог прибегнуть к решительным мерам. Когда в Петербурге узнали о продвижении ивановских эшелонов, отсюда к нему выехали в тот же вечер 1-го «по уполномочию от управления ген. штаба» полк. Доманевский и подп. Тилле, и «диктатор» был осведомлен о столичных событиях. Остается неясным, была ли организована эта поездка по инициативе или с согласия Думскаго комитета, но явно цели ея были направлены к тому, чтобы удержать Иванова от каких-либо активных действий. Мне лично Гучков говорил, что он, в порядке одиночном, ходил к ген. Занкевичу в штаб, спрашивал, что тот будет делать? Занкевич ответил, что будет ждать Иванова. Очевидно, соответствующее воздействие было оказано[109]. В письменном докладе, представленном Иванову и напечатанном в воспоминаниях коменданта Таврическаго Дворца полк. Перетца (что подтверждает участие в деле посылки по крайней мере представителей военной комиссии, находившихся уже в контакте со старым штабом[110], Доманевский указывал Иванову, что «вооруженная борьба с возставшими только осложнит и ухудшит положение» и что легче возстановить порядок соглашением с Временным Правительством: Доманевский говорил, что среди «самих возставших обозначалось два совершенно определенных течения: одни примкнули к думскому выборному Временному Правительству, другие поддерживали Совет Р. Д. Первые оставались верными монархическому принципу, желая лишь некоторых реформ, стремились к скорейшей ликвидации безпорядков с тем, чтобы продолжать войну, вторые искали крайних результатов и конца войны»...

В ночь с 1-го на 2-ое, еще до отъезда из Царскаго (в 1 ч. 15 мин.), Иванову была доставлена телеграмма Алексеева, посланная ему в догонку 28-го. «Частныя сведения говорят, – телеграфировал нач. верх. штаба, – что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие... Войска, примкнувшия к Временному Правительству в полном составе, приводятся в порядке. Временное Правительство под председательством Родзянко, заседая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения, приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о незыблемости монархическаго начала[111] в России, о необходимости новых

оснований для выбора и назначения правительства. Жду с нетерпением приезда Его Вел., чтобы представить ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий. Переговоры приведут к умиротворенно, чтобы избежать позорной междоусобицы, столь желанной нашему врагу... Воззвание новаго министра путей сообщения Бубликова к железнодорожникам мною получено кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить разстроенный транспорт. Доложил все это Е. В. и убежден, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию»... Наконец, Иванов получил посланную Царем телеграмму под влиянием разговора Рузским и настойчивых телеграфных указаний Алексеева на то, что работой с думскими деятелями можно остановить «всеобщий развал»... Телеграмма была помечена временем 0.20 мин. второго и гласила: «Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне *никаких* мер не предпринимать».

Итак решение Иванова вывести свой отряд на ст. Вырицу, где стоять до тех пор, пока выяснится обстановка в Петербурге, логически вытекало из совокупности всех обстоятельств и распоряжений, им полученных. Возможно, что в мотивах продвижения на «Вырицу» сыграла свою роль и возникшая под влиянием разговора с Ал. Фед. мысль о необходимости, быть может, итти не на Петербург, а двигаться на выручку Царя. «Когда я уезжал, в Царском Селе была мертвая тишина, – показывал Иванов в Чр. Сл. Ком. – Среди железнодорожников были, по видимому, попытки слабаго саботажа. – произошли какия-то «затруднения» с «переводом стрелок». «Я потребовал начальника станции», – показывал Иванов: «через несколько минут говорят, все в порядке... Уже в Вырице мне доложили, что через 15 минут после нашего ухода вся толпа ввалилась на вокзал»... Картина происшедшаго Керенским во французском издании представлена так: отряд ген. Иванова, на разсвете появившийся в Царском, разсеялся с первыми солнечными лучами революции, а самому генералу удалось скрыться (s'echapper).

Дальнейшая повесть о том, что делал «диктатор», представлена потомству в двух совершенно противоположных вариантах: один из них принадлежит Ломоносову, другой изложен в официальных показаниях Иванова. Советская информация почти безоговорочно пошла по стезе, намеченной мемуаристом, которому в силу занимаемаго в железнодорожном мире положения пришлось играть в событиях этих дней весьма действенную роль. Между тем повествование не вызывает никакого доверия – не всегда только можно определить, что в нем является

результатом недостаточной осведомлённости, легкаго восприятия не проверенных сведений и слухов, которые со всех сторон от железнодорожных агентов и добровольцев стекались в центр, и что сознательно или безсознательно привнесено им во славу своего героизма и героизма железнодорожников, спасших активной инициативой и жертвенностью революцию. Яркую, но злую характеристику этого бойкаго «эквилибриста», заделавшагося «стопроцентным коммунистом» после октябрьскаго переворота и прославившагося в советских кругах своим «лукулловским образом жизни», дал Саломон в книге «Среди красных вождей». Фигура Ломоносова такова, что мемуарныя страницы, вышедшия из-под его пера, отнюдь не вызывают к себе доверия. В изображении Ломоносова Иванов в течение всего 2 марта делал энергичныя, но тщетныя попытки со своими эшелонами прорваться к Петербургу через возведенные перед ним заградительные революционные шлагбаумы. Уже в 4 часа утра 2-го в Петербурге была получена записка, что ген. Иванов «арестовал начальника станции Вырица, где он ночевал, и во главе георгиевских кавалеров и двух других эшелонов отправился по направленно к Царскому Селу». (Итак в 8 часа ночи Иванов выехал из Царскаго и через час уже постарался туда вернуться – по официальным данным Иванов прибыл в Вырицу в 4 часа утра и в 5 сообщил Алексееву, что ночует в Вырице). Но Иванова отбросили от Царскаго усилиями железнодорожников, начиная от ст. Семрино до Царскаго были сняты крестовики со стрелок. Из Семрина Иванов бросается по передаточной ветке на ст. Владимирская для того, чтобы прорваться в Гатчину. Там несколько эшелонов правительственных войск и двадцать тысяч «лойяльнаго» гарнизона. А главное, из Пскова поезд за поездом напирают новыя войска! И здесь навстречу Иванову спускают балласт поездов и снимают крестовики... Но что стоит Иванову 20 верст пройти походным порядком «Если бы ген. Иванов прорвался к Гатчине, исход мартовской революции мог быть иной», – мемуаристу мерещилась уже «царская виселица»... Иванов требует назначения на Петроград и входит в непосредственные переговоры с Ломоносовым, который в почтительной форме предупреждает генерала, что для встречи его поезда на 6-й версте от Петербурга сосредоточены «4 батареи артиллерии и тысяч двадцать пехоты» и рекомендует переговорить с Думой[112]. Тогда Иванов снова устремляется в Царское–"арестовывает служащих и грозит разстрелом». Неудача. Опять Гатчина. Потом Вырица, куда Иванов направляется за «подкреплением». Так мечется «диктатор», а сзади снимают «все крестовики»... Героическими действиями железнодорожников Иванов

отрезан. Ни один шаг диктатора «не ускользнул» от бдительнаго ока революционеров. Телеграфисты Виндавской дороги оказались на высоте положения и стучали свои записки в центр даже тогда, когда «за стеной ген. Иванов разстреливал их товарищей». Бубликов послал в Вырицу телеграмму: «Мне стало известно, что вы арестовываете и терроризируете служащих железных дорог, находящихся в моем ведении. По поручению Временнаго Комитета Государственной Думы предупреждаю вас, что вы навлечете на себя этим тяжелую ответственность. Советую вам не двигаться из Вырицы, ибо по имеющимся у меня сведениям народными войсками ваш полк будет обстрелен артиллерийским огнем». Но генерал не склонен последовать советам правительственнаго комиссара и настойчиво ищет путь к Петербургу. Ломоносов перехватывает «очень важныя» шифрованныя телеграммы, которыя Иванов направлял в столицу: «Мама больна. Папе лучше. Скажите ей» и «Пришлите вторую корзинку булок». Телеграммы переданы министру юстиции. Время идет. Наступила ночь. Опять новость об Иванове: он еще раз требует именем императора пропустить его «со всеми эшелонами в Петербург». «По повелению какого имератора, генерал?» – может спросить теперь ядовито Ломоносов: «Николай II отрекся от престола»... «Разговор прервался. Через несколько минут последовала просьба пропустить поезд обратно в Ставку. Задержать я не имел физической возможности», – прибавляет Ломоносов. «Южнее распоряжается кто-то другой»... Ломоносов приказывает из обоих тендеров выпустить воду, – «так генерал, отъехав семь верст, и просидел всю ночь с паровозами без воды»...

Как всетаки могла родиться такая фантастическая эпопея под пером мемуариста, правда, очень склоннаго к безответственным беллетристическим приемам изложения? Сопоставляя показания Иванова с имеющимися документами, можно довольно отчетливо представить себе, что было в действительности. В показаниях Гучкова, данных той же Чр. Сл. Ком., было упомянуто, что после выезда из Петербурга им была дана уже в дороге телеграмма Иванову. Он говорил, что желал встретить Иванова на пути и «уговорить не предпринимать никаких попыток к приводу войск в Петроград». Вот текст подлинной телеграммы: «Еду в Псков. Примите все меры повидать меня либо в Пскове, либо на обратном пути из Пскова в Петроград. *Распоряжение дано о пропуске вас в этом направлении* ». «Дорогой, – пояснял Гучков, – пришлось несколько раз *обменяться* телеграммами»[113]. И мы имеем в делах Чр. Сл. Ком. ответную телеграмму Иванова и вторую телеграмму Гучкова, «Рад буду повидать вас, – телеграфировал Иванов мы на ст. Вырица. Если то для вас возможно,

телеграфируйте о времени приезда». «На обратном пути из Пскова, – отвечал Гучков, – постараюсь быть в Вырице. *Желательнее встретить вас Гатчине варшавской* ". Вспомним, что думские делегаты выехали из Петербурга в 2 ч. 47 м. дня. Следовательно, не раньше этого времени могли иметь место сношения между Гучковым и Ивановым.

Обратимся теперь к показаниям Иванова. Он говорит, что, действительно, имел намерение проехать утром 2-го в Царское Село для того, чтобы переговорить с командирами запасных батальонов («они могли осветить дело»), но «старший из командиров стрелковых полков» по телефону «как-то неопределенно ответил, что мой приезд не желателен, что это вызовет взрыв». Тогда Иванов намеревался "на автомобиле» (т. е., очевидно, один) проехать на ст. Александровскую и повидать Тарутинский полк. В это время Иванов получил телеграмму от Гучкова. Совершенно очевидно, что тогда он решил перевести, в соответствии с предложением Гучкова, свой «батальон» в Гатчину по дополнительной ветке через ст. Владимирскую. Приблизительно в это же время (несколько раньше – около 3 часов) Иванов должен был получить телеграмму нач. воен. сообщ. в Ставке ген. Тихменева, передававшую копию «высочайшаго» распоряжения вернуть войска, «направляющияся (на) станцию Александровскую обратно (в) Двинский район». «Соизволение» это получено было Рузским в первом часу ночи, т. е. за три часа до разговора его с Родзянко, и распространялось на все войска, двинутая с фронта, как это устанавливает циркулярная телеграмма ген. Лукомскаго, переданная на фронт в промежуток между 2 и 3 часами ночи 2-го марта. «Вследствие невозможности продвигать эшелоны войск, направляемых к Петрограду, далее Луги и разрешения Государя Императора вступить главкосеву в сношения с Гос. Думой и высочайшаго соизволения вернуть войска обратно в Двинский район из числа направленных с Севернаго фронта, наштоверх, – телеграфировал Лукомский, – просит срочно распорядиться, те части, кои еще не отправлены, не грузить, а те, кои находятся в пути, *задержать* на больших станциях. Относительно дальнейшаго направления или возвращения перевозимых частей последует дополнительное указание». Сравним с этим официальным сообщением повествование Ломоносова о том, как 2-го днем с юга подходили «новые и новые эшелоны», и как Бубликов получал из Ставки на свои запросы «уклончивые ответы»!

Попытка Иванова проехать на ст. Владимирскую и вызвала применение железнодорожниками мер саботажа. «Проехав верст 12, показывал Иванов, – я прилег отдохнуть... просыпаюсь, стоим. Час стоим,

два стоим, три». Это было на ст. Сусанино. Оказывается, поставили в тупик, согласно распоряжению: «никуда не пускать». Здесь Иванов получает приведенную выше телеграмму Бубликова («очень сильную» – по его выражению) о том, что он терроризирует железнодорожных служащих, – «а с его же разрешения ехал». Никакого террора Иванов не применял, – сообщение о «разстреле телеграфистов» сплошная чушь, порожденная взбудораженным настроением осведомителей. Иванов имел полное право написать Гучкову 9 апреля, что его «войска не имели никаких столкновений»[114]. Был ли правительственный комиссар плохо вообще осведомлен, недоверчиво ли относился к миролюбивой тактике «диктатора», находился ли под влиянием революционнаго пыла своего окружения, но он старался воспрепятствовать проезду ивановскаго эшелона в Гатчину. За первой телеграммой последовала другая, но уже «очень любезная», по мнению Иванова: «Ваше настойчивое желание ехать дальше ставит непреодолимое препятствие для выполнния желания Е. В. немедленно следовать (в) Царское Село. .Убедительно прошу остаться (в) Сусанино или вернуться (в) Вырицу». «Я ушел на Вырицу и тут решил послать сообщение ген. Алексееву шифрованной телеграммой», – заключал Иванов. В то время эта последняя телеграмма не была расшифрована «полностью» и давала повод для совершенно произвольных заключений. В документах Ставки мы имеем ее в расшифрованном виде. Иванов телеграфировал Алексееву в 1 ч. 30 м. на 3-ье марта: «До сих пор не имею никаких сведений о движении частей, назначенных в мое распоряжение. Имею негласныя сведения о приостановке движения моего поезда. Прошу принятия экстренных мер для возстановления порядка среди железнодорожной администрации, которая несомненно получает директивы Временнаго Правительства». Редакция этой телеграммы стоит в некотором противоречии с пометкой в Ставке. что сообщение Тихменева о приостановке движения эшелонов было вручено Иванову. Большого значения отмеченное противоречие не имеет, более существенно то, что телеграмма, составленная на исходе 2-го марта, решительно опровергает версию, развитую в воспоминаниях Ломоносова и усвоенную многими из последующих исторических повествователей.

Были ли еще какия-нибудь шифрованный телеграммы, направленная Ивановым в какой-то таинственный петербургский адрес? В архиве, где хранится «переписка, связанная с переходом к новому строю», повидимому, имеется только «полностью не расшифрованная» телеграмма Алексееву; эта шифрованная переписка не нашла никаких откликов в Чр. Сл. Ком. – ни при допросе Иванова, ни в обзоре, сделанном Блоком. Но

зато упоминание об этой шифрованной переписке и даже текст телеграммы, близкой по содержанию к редакции, которую дает Ломоносов («Выезжаю в Вырицу. Оставляю корзинку, булки и хлеб»), можно найти в газетах того времени (напр., я «Русской Воле» 10 марта). Есть и упоминание об «известном реакционере» кн. Святополк-Мирском и некой обывательнице, проживавшей в доме № 71 на Невском пр., в адрес которых были будто бы направлены ивановская телеграммы. Не эти ли газетныя сплетни, никем не проверенныя и, вероятно, совершенно вымышленный, нашли себе отклик в воспоминаниях Ломоносова? В своих записях он упоминает, что на другой день после расшифрования депеш Бубликов ему сказал, со слов министра юстиции, что этот Святополк-Мирский служил «повидимому», посредником между Ивановым и Ал. Фед.(?)....

Эпопею с приключениями «диктатора» можно считать законченной. Он телеграфировал Гучкову, что не может приехать и ждал последняго в Вырице. Утром третьяго Иванов получил телеграмму от Родзянко с сообщением о назначении на его место главнокомандующим петербургскаго военнаго округа ген. Корнилова и о предписании ему вернуться в Могилев. Иванов запросил Алексеева и. получив подтверждение, выехал в тот же день со своим «батальоном» в Могилев. На ст. Оредж, как, его предупредили, ему готовится «бенефис» и будет предъявлено требование, чтобы «батальон присоединился» к революции. Но все «велось к демонстрации рабочих – «человек сто в одной кучке». В Ставке Иванов простился с батальоном и пожелал ему «служить хорошо при новом правительстве».

Перипетии, связанныя с «экспедицией ген. Иванова», породили и другую легенду, – диаметрально противоположную той, которая наиболее полно изложена в воспоминаниях Ломоносова. Родилась она в тот же день, что и первая, и в той же среде. И по своеобразному стечению обстоятельств ее поддержали в мемуарной литературе такие антиподы, как левый соц.-рев. Мстиславский и в. кн. Николай Мих. Каждый из них придал легенде свою формулировку. Для титулованнаго историка – в записи, быть может, несколько туманной, в дневнике от 27 апреля 17 г. – карательная экспедиция Иванова только «водевиль». Иванов позднее понял, что «вся эта инсценировка была созданием рук Гучкова.... и Алексеева, чтобы усыпить возможное безпокойство Императора и чтобы отдать себе отчет в истинном настроении войск Царскосельскаго гарнизона. Не следует забывать, что все положение могло быть перевернуто сверху донизу, если бы Дума и большинство войск,

сосредоточенных в Петрограде. не подчинились бы требованиям улицы, и что Гучков и Милюков на совещании с новыми министрами... у в. кн. Михаила голосовали за конституционную монархию против всех своих коллег, высказывавшихся за демократическую республику. *Двойная игра этих двух министров не может никого более обмануть* ». Если великокняжескую версию перевести на «революционный» язык, то она в основном совпадет с тем, что утверждает, в качестве мемуариста, состоявший членом военной комиссии Мстиславский – и эту версию готова подхватить вся большевицкая историография. Разсказывая о том, как между «карателем» Ивановым и «возставшим городом» оказалась «непосредственная, можно сказать, официальная связь» в лице командированных Временным Комитетом офицеров ген. штаба, Мстиславский заключал: «здешние «возстановители порядка» отнюдь не противопоставляли себя «возстановителям», прибывающим с фронта». Мстиславский легко нашел себе подражателей. В наиболее серьезной «советской» работе, – в очерке ген. Мартынова, – мы найдем такой вывод: «Временный Комитет Гос. Думы видел в Иванове не столько врага, сколько союзника, к помощи котораго в крайности можно прибегнуть для того, чтобы подавить безпорядки и остановить дальнейший код революции». У Троцкаго значится: «вместо того, чтобы арестовать «диктатора» Иванова, прибывшаго с фронта для усмирения столицы, Энгельгардт отправляет в его распоряжение реакционнаго офицера в качестве нач. штаба». Молодых историков «школы Покровскаго» обозрение «многих других фактов» также приводило к выводу, что «буржуазия и думский комитет в эти дни не только не препятствовали Иванову, но, пожалуй, не прочь были опереться на него для борьбы с революцией». Обстоятельства, однако, складывались так, что у «буржуазии не могло быть надежды на возможность возстановить порядок вооруженной рукой»... Это и «предопределило» всю ея (дальнейшую) позицию в февральские дни.

Отмечая эту легенду, нет надобности ее в подробностях разсматривать и тем более опровергать. И позиция Алексеева, выраженная в телеграмме 28 февраля (в кн. Ник. Мих почему-то считает указания Алексеева «туманными»), и позиция думскаго Комитета, всемерно стремившагося избежать гражданской войны, достаточно ясно выступила уже на предшествующих страницах.

Глава четвертая. Образованіе временнаго правительства

I. Кандидатура Керенскаго

Давно пора оставить легенду о том, что революционное временное правительство было создано «еще в 1916 г.»: в «неясном предвидении неясных событий», как выразился Алданов в упомянутой выше статье «Третье марта», в юбилейном сборнике в честь Милюкова. Разсмотрению этой легенды я достаточно уже уделил внимания в книге «На путях к дворцовому перевороту», потому возвращаться к ея анализу нет надобности. Напомним только, что в тогу временнаго революционнаго правительства не совсем удачно впоследствии облекли проект «министерства доверия», под лозунгом котораго шла общественная агитация предреволюционнаго времени.

В революционные дни «заранее установленное» временное правительство родилось с некоторым опозданием (значительным для тогдашней сумятицы), и вовсе не потому, что этому противодействовали новыя политическия силы, выступившия на авансцену. Милюков в своей «Истории революции» объяснил запоздание техническими условиями: «необходимость ввести в состав перваго революционнаго правительства руководителей общественнаго движения, происходившаго вне Думы, сделала невозможным образование министерства в первый же день переворота». Но кн. Львов днем 28-го уже был в Петербурге. (Мы имеем «приказание» военной комиссии, помеченное 4 ч. 30 м. дня 28-го: «выслать немедленно автомобиль Мойка 75, кв. бар. Меллер-Закомельскаго за кн. Г. Е. Львовым»). Между тем временное правительство оформилось лишь в дневные часы второго марта, после того длительнаго ночного бдения, когда Родзянко, несколько предрешая события и выдавая предположения за осуществленное авторитарно говорил Рузскому, что он «вынужден был» этой ночью назначить временное правительство. Более правдоподобно то объяснение опозданию с организацией правительственной власти, которое дал Стеклов в докладе 30-го: «в эти первые моменты ни буржуазия, ни мы как-то не мыслили о создании правительства. И когда через два дня после начала возстания с достаточной ясностью стало определяться, что возстание это несомненно победоносно, что оно ведет к установлению новаго режима, в этот момент на сцену всплыл вопрос об образовании временнаго правительства»... Это значило, что концепция революционнаго правительства была чужда деятелям «Временнаго Комитета членов Гос. Думы», имевшаго формально целью лишь «возстановление порядка и сношения с учреждениями и

лицами».

Победоносный ход революции не изменил первоначально основной линии «думцев». Суть ея можно передать записью современника. 2-го марта Гиппиус посетил известный репортер «Русскаго Слова» Руманов, пришедший к писательнице из Таврическаго дворца. «Позицию думцев определил очень точно с наивной прямотой» – заносит в дневник Гиппиус: «Они считают, что власть выпала из рук законных носителей. Они ее подобрали и неподвижно хранят и передадут новой законной власти, которая должна иметь со старой ниточку преемственности». В ожидании когда, по выражению Милюкова, «наступит момент» образования правительства, Временный Комитет ограничился немедленным назначением комиссаров из членов Думы во все высшия правительственныя учреждения и подготовкой списка будущих членов «общественнаго совета министров», предполагая, что премьер будет назначен «указом верховной власти». Хорошо осведомленный в настроениях и планах левой думской общественности английский посол отправил в Лондон 1 марта уже известную нам телеграмму о предполагаемой поездке думских делегатов для предъявления Императору «требования отречься от престола», добавляя: «должно быть назначено ответственное министерство из 12 членов Думы, во главе с кн. Львовым и Милюковым в качестве министра ин. д.». Для перваго марта это еще был только проект – во всяком случае, с определенностью можно сказать, что днем окончательно оформившагося решения не было. Правда, в советских исследованиях ссылаются на протокол заседания Временнаго Комитета от 1-го марта, который, как будто бы, опровергает подобное утверждение (к сожалению, мы не имеем возможности проверить точность цитат и определить весь контекст документа). В протоколе значится: «Временный Комитет Гос. Думы в целях предотвращения анархии и для возстановления общественнаго спокойствия, после низложения стараго государственнаго строя, постановил: организовать впредь до созыва Учр. Собр., имеющаго определить форму правления российскаго государства, правительственную власть, образовав для сего Временный Общественный Совет Министров в составе нижеследующих лиц...» (Далее, как, пишет Генкина, приводящая выдержки из указаннаго архивнаго документа, перечислялся состав Временнаго Правительства, официально опубликованнаго 3 марта). Советский исследователь допускает возможность, что протокол составлен post factum для того, чтобы формально закрепить образование правительства за инициативой думскаго комитета, принявшаго решение еще до совещания с представителями Исп.

Комитета. Совершенно очевидно, что перваго марта такого протокола, действительно, составлено быть не могло, ибо в нем упоминается Учред. Собрание, на которое согласились при обмене мнениями в ночь на 2-ое, и которое являлось для думскаго комитета весьма существенной компромиссной уступкой[115]. Но тем более характерно употребление в протоколе термина «Временнаго Общественнаго Совета Министров» вместо «Временнаго Правительства», от имени котораго 3 марта опубликована была программа, выработанная в ночном совещании. (Надо сказать, что термин «Временное Правительство» в первые дни 3–5 марта не употреблялся и в официальной переписке, и Временное Правительство именуется почти всегда «советом министров». Официальное постановление об именовании революционной власти «Временным Правительством» было сделано 10 марта).

Едва ли состав этого «совета министров» намечался так упрощенно, как изобразил с обычной чрезмерной картинностью Шульгин, приписавший себе инициативу. Надо было, «во что бы то ни стало, образовать правительства» утверждает мемуарист: – «Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он поэтому занялся списком министров». И Милюков к вечеру перваго марта «занялся». «Так на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, при чем голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историк в будущем..., вероятно, изобразит это совершенно не так... Я же разсказываю, как было». Эмигрант-мемуарист в состоянии рецидива монархических чаяний издевается над этим списком, «общественным доверием облеченных». Но дело было не в том «мифе», который пытается опровергнуть Шульгин, а в том, что метод создания революционной власти совершенно не подходил к моменту. В этом тогда не отдавали себе отчета. Взяли старый ходячий список проектированнаго думскаго «министерства доверия» и подбавили к нему новых людей, которых, казалось, выдвигала создавшаяся конъюнктура прежде всего руководителей подготовлявшагося дворцоваго переворота, у которых естественно предполагались организационныя связи с военными кругами. Эта конъюнктура выдвинула и левыя кандидатуры. В какой момент? По утверждению Суханова, в ночном заседании делегатом Совета при перечислении личнаго состава министров имя Керенскаго не было упомянуто, и только после окончания предварительных переговоров, т. е. около 4 ч. утра, Суханов узнал, что Керенскому предлагают портфель министра юстиции. Это была уступка левому сектору – намечались две

персональныя кандидатуры социалистов из среды членов Думы, входивших в состав Временнаго Комитета. Не было все принято решение предоставить в правительстве два места членам Совета Р. Д., как это утверждает Керенский; не было и решения предоставить два портфеля (юстиции и труда) членам социалистических партий, как говорится в историческом труде Милюкова; не было это и попыткой создания «коалиционнаго кабинета», как безоговорочно ответила редакция «Русских Ведомостей» на упоминавшийся запрос «Daile Chronicle». Это были две личныя кандидатуры, причем кандидатура Чхеидзе, почти не принимавшаго участия в делах Комитета, тут же отпала за его решительным отказом, и оставалась кандидатура Керенскаго.

Судя по воспоминаниям Шульгина, имя Керенскаго и раньше называлось в кругах прогрессивнаго блока, при обсуждении некоторых комбинаций «министерства доверия» или «гадания на кофейной гуще», по мнению мемуариста. Ссылаясь на свою беседу с Шингаревым в январе 17 г., Шульгин объясняет и мотивы, побуждавшие тогда выдвигать кандидатуру представителя трудовой группы. Оба собеседника признавали; что настроение страны перешагнуло уже через голову «прогрессивнаго блока», и что в силу этого необходимо искать поддержки расширением блока «влево»: «надо вырвать у революции ея главарей», гораздо выгоднее иметь Керенскаго «с собой, чем против себя». И именно Шульгин, по его словам, предложил «Керенскаго на пост министра юстиции – на пост, который сейчас (т. е. до революции) не имеет никакого значения»[116]. В дни революции выгода иметь Керенскаго в своей среде должна была выясниться еще отчетливее деятелям прогрессивнаго блока в силу приобретенной лидером трудовиком совершенно исключительной популярности. «Душою движения был Керенский» – вспоминает Зензинов: «это необходимо признать, не боясь впасть в преувеличение». «Он выростал с каждой минутой» подтверждает и Шульгин, давая свое объяснение причинам, выдвинувшим лидера думских трудовиков в дни переворота на первое место: «на революционной трясине привыкший к этому делу танцевал один Керенский» – «талантливый актер», но его «одного слушают». «Магнетический» дар Керенскаго – отмечает Бьюкенен: это единственный министр, который производит впечатление. Его слова вызывают «энтузиазм». Он «самый популярный человек», его образ «всенародно опоэтизирован», все делегаты с фронта требуют свидания именно с ним, появление его на эстраде вызывает «бури восторга» (Станкевич, Вл. Львов и др.). «Обаяние Керенскаго поднимает престиж Временнаго Правительства в глазах революционной демократии»

– утверждают авторы «Хроники».

Роль, сыгранную Керенским в февральском перевороте, довольно образно охарактеризовал еще в первые мартовские дни в Московском Комитете общественных организаций видный представитель партии к. д. Кишкина: «Я только что вернулся из Петрограда – сказал назначенный правительственным комиссаром Кишкин – и могу засвидетельствоватъ, что если бы не Керенский, то не было бы того, что мы имеем. Золотыми буквами будет написано его имя на скрижалях Истории». При организации власти органически нельзя было устранить того, кто воплощал в себе как бы весь пафос первых революционных дней, и чье имя производила «магическое впечатление» на толпу. Керенский сделался «романтическим героем революции» – ея «любовью». Сам Керенский разсказывает во французском тексте воспоминаний, что ему позжее стало известно, что некоторые члены наметившагося правительства соглашались вступить в его состав только при условии включения и Керенскаго.

Керенский колебался. Его вхождение в правительство означало конфликт с Исп. Ком. и возможный уход из Совета. Все друзья разсказывает он – убеждали его покончить с Советом и войти в кабинет. То же, в сущности, рекомендовали и члены Совета, с которыми в «частном порядке» вел переговоры Керенский в утренние часы второго марта. Они, по словам Шляпникова, даже «уговаривали» Керенскаго вступить в правительство за свою личную ответственность. – Шляпников присутствовал при беседе Керенскаго со Стекловым, который доказывал, что Керенский, не связанный партийным решением, может в правительство вступить. «Советский Макиавелли» – Суханов, заставший аналогичную беседу Керенскаго с Соколовым, не так был определенен и дал двугранный ответ, когда его мнение спросил Керенский. Свой ответ в записках он формулирует так: «ни в Исп. Ком., ни в Совете эти вопросы ещё не ставились (это, как мы видели, неверно), и говорить об этом было преждевременно. Но мое личное отношение к этому делу я высказал Керенскому. Я сказал, что я являюсь решительным противником, как принятия власти советской демократией, так и образования коалиционнаго правительства. Я не считаю возможным и *официальное* представительство социалистической демократии в цензовом министерстве. Заложник Совета в буржуазно-империалистическом кабинете связал бы руки демократии. Вступление Керенскаго в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии совершенно невозможно... Но... индивидуальное вступление Керенскаго... в революционный кабинет я считал бы объективно небезполезным... Это

придало бы всякому кабинету большую устойчивость перед лицом стихийно ползущих влево масс»... «Керенскаго не мог удовлетворить такой ответ'" – замечает резонирующий мемуарист: «Ему явно хотелось быть министром. Но ему нужно было быть посланником демократии и официально представлять ее в первом правительстве революции». Как видна из воспоминаний самого Керенскаго, позиция индивидуальнаго вхождения в министерство, действительно, его не удовлетворяла, он считал такое решение политически невозможным, ибо предвидел огромную опасность, которая угрожала в том случае, если революционыя массы будут предоставлены случайному руководству Совета, не имея официальнаго своего представителя во временном правительстве. Допустить это Керенский не мог (« Je ne pouvais le permettre» – несколько претенциозно выражается он во французском тексте). Такое временное правительство было бы заранее обречено. В то же время Керенский, по его словам, сознавал невозможность переубедить советских лидеров и повлиять на изменение их позиции. Надо признать, что нет никаких намеков на то, что Керенский пытался воздействовать на изменение лишь намечавшейся перваго марта тактики. Почва для его инициативы и для его выступления была подходящая, но в ночь с перваго на второе марта он в идеологических спорах участия не принимал; не оказал влияния представитель демократии и при подборе кандидатов в будущее революционное правительство.

Керенский пишет в воспоминаниях, что эта ночь была для него самой трудной. Он должен был найти выход из почти безвыходнаго положения. Силы его ослабевали. Истомленный обстановкой Керенский впервые после безсонных ночей отправился домой. Здесь он потерял сознание и в полузабытьи провел 2–3 часа. И вдруг сразу пришло решение на вопрос, который мучил Керенскаго. Он должен принять пост министра юстиции и открыто объяснить мотивы своего решения непосредственно в Совете. Решение это было принято не по тем политическим соображениям, которыя были выше изложены, а по мотивам исключительно гуманным. Керенский неожиданно вспомнил об арестованных представителях старой власти. Он был убежден, что только он один в переживаемых условиях мог бы не допустить линчевания их толпой и избегнуть ненужнаго кровопролития. Так говорит сам мемуарист, утверждающей, что под таким впечатлением он очнулся и немедленно позвонил по телефону во Временный Комитет, передав Милюкову свое окончательное решение. Керенскаго нисколько не смущало то обстоятельство, что он будет один от «демократии» в правительстве, ибо за ним было непререкаемое

общественное мнение, определявшее удельный вес будущаго «заложника» демократии в буржуазном правительстве[117].

В первой половине дня собрался пленум Совета Р. Д., на котором Стеклов «дипломатически и уклончиво» докладывал программу соглашения, наметившагося с Врем. Комитетом. Во время доклада в зале заседания появился Керенский и потребовал предоставления ему слова вне очереди. Члены Исп. Ком., как пишет Керенский, всемерно старались отговорить его от выступления, указывая на возбужденное состояние многолюдной толпы рабочих и солдатских делегатов, которая может устроить Керенскому враждебную демонстрацию – необходимо подготовить собрание к мысли, что формальный представитель Совета вступил в состав буржуазнаго правительства («Ils se jetteront sur vous et vous mettront en pièces» – в образных выражениях передает мемуарист аргументацию «церковников» Исп. Ком.). Тем не менее Керенский, взгромоздившись на стол, свое заявление сделал, объясняя мотивы, побудившие его дать согласие на предложение Врем. Ком., не дожидаясь решения Совета, и потребовал доверия к себе. «Патетическия фразы, полубезсвязныя, но сказанныя с сильным подъемом с непривычным для впечатлительной аудитории мелодраматическим эффектом», произвели «магическое действие» – так описывает «Хроника февральских событий», авторы которой присутствовали на заседании в качестве активных действующих лиц. В отчете советских «Известий» сказано: «трудно представить энтузиазм, охвативший зал заседания. Единичные голоса, пытавшиеся протестовать... были заглушены единодушным возгласом подавляющаго большинства. Совет Р. Д. устроил Керенскому бурную овацию, которой еще не видели, кажется, стены Таврическаго дворца». Суханов отмечает, что настроение поднялось в тот именно момент, когда Керенский мотивировал свое согласие войти в состав министерства тем, что в его руках находятся арестованные представители старой власти, которых он не решается выпустить из своих рук. Сам Керенский не помнит деталей своей речи, но хорошо помнит устроенную ему овацию и то, что он был отнесен на руках до помещения Временнаго Комитета. И поэтому, быть может, небезполезно воспроизвести (с маленькими лишь купюрами) эту речь в том виде, как она на другой день была напечатана в официальных советских «Известиях»... «Товарищи,., доверяете ли вы мне?» – патетически спрашивал Керенский. – «В настоящий момент образовалось временное правительство, в котором я занял пост министра юстиции. Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут(?!) и потому не имел возможности получить ваш мандат до решения моего

вступлении в состав временнаго правительства. *В моих руках находились представители старой власти, и я не решался выпустить их из своих рук* (возгласы: правильно)... Немедленно по вступлении на пост министра *я приказал освободить всех политических заключенных* и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей депутатов, членов соц.-дем. фракции IV Думы, депутатов II Думы... Я занял пост министра юстиции до созыва Уч. Соб., которое должно будет, выражая волю народа, установить будущий государственный строй (бурные аплодисменты). До этого момента будет гарантирована полная свобода пропаганды и агитации по поводу формы будущаго государственнаго устройства, *не исключая и республики* (обратим внимание на это указание Керенскаго!). В виду того, товарищи, что я принял на себя обязанности министра юстиции до получения от вас на это полномочия, я слагаю с себя звание тов. предс. Совета Р. Д. Но для меня жизнь без народа немыслима, и я вновь готов принять на себя это звание, если вы признаете нужным (просим!). Товарищи, пойдя в состав временнаго правительства, я остался тем же, как был – республиканцем. В своей деятельности я должен опираться на волю народа,.. Я должен иметь в нем могучую поддержку. Могу ли я верить вам, как самому себе? («верим»!). Я не могу жить без народа, и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне – *убейте меня* . Я заявлю временному правительству, что я являюсь представителем демократии, но что временное правительство *должно особо считаться* с теми мнениями, которыя я буду отстаивать в качестве представителя народа, усилиями котораго была свергнута старая власть... Я полагаю, что вы не осудите меня и дадите мне возможность осуществить необходимый гарантии свободы до созыва «Учр. Собрания. Товарищи! Позвольте мне вернуться к временному правительству и объявить ему, что я *вхожу в его состав с вашего согласия* , как ваш представитель».

Керенский впал на мгновение в полуобморочное состояние, что произвело, по наблюдениям присутствовавшаго Шидловскаго, на аудиторию потрясающее впечатление. Патетическия фразы, полубезсвязныя, как видим, были довольно определенны по своему содержанию и достаточно демагогичны. Оратор погрешил против истины, так как слишком очевидно, что новоявленный министр юстиции в то время, когда Временное Правительство еще только конструировалось, не мог еще отдавать распоряжения об освобождении всех политических заключенных и, как следует из соответствующаго сообщения «Известий» комитета думских журналистов, распоряжение о вызове из Сибири членов думской соц.-дем. фракции было, сделано комиссарами Временнаго

Комитета Аджемовым и Максаковым до занятия Керенским поста министра юстиции. Керенский 3-ьяго подтвердил лишь распоряжение своих временных предшественников через несколько дней, придав ему довольно крикливую форму – специальной телеграммой 6 марта местным прокурорам предписывалось лично освободить подследственных и осужденных по политическим делам и передать им привет министра.

* * *

Овации в Совете Керенский воспринял не только, как вотум личнаго доверия к нему, но и как одобрение избранной им политической линии. Он счел, что входит во временное правительство, как тов. предс. Совета, т. е. в качестве официальнаго представителя «рабочаго класса». Было около 3 час. дня, когда произошло, по мнению одних, «героическое выступление» Керенскаго в Совете или, по мнению других, совершен был им coup d'état. По впечатлению героя собрания, его выступление вызвало негодование у «верховников» Исп. Ком.: когда толпа несла его на руках, Керенский видел гневныя лица, грозившия местью. С этого момента, по его словам, началась против его влияния в Совете борьба «sans aucun scrupule».

Неоспоримо, Керенский вызвал негодование, может быть, у большинства членов Исп. Ком. – отчасти уже самим фактом своего непредвиденнаго выступления. Но столь же безспорно, что по существу он мог встретить и сильную поддержку у некоторых членов Комитета, если бы не действовал так неподготовленно в одиночку. Каждый из мемуаристов под своим углом зрения воспринял атмосферу собрания. Суханов – главный как бы идеолог невхождения представителей демократии в министерство, у котораго Керенский в частном порядке уже спрашивал совета, конечно, был в числе «негодующих», выступление Керенскаго вызвало в нем «ощущение неловкости, пожалуй, конфуза, тоски и злобы». Но «лидеры Исп. Ком. понимали, что развертывать прения во всю ширь в данной обстановке, специально о Керенском, значило бы итти на такой риск свалки, неразберихи, затяжки вопроса и срыва комбинации, который был нежелателен для обеих сторон. На этой почве большинство... не считало нужным принимать бой»... Составители «Хроники» просто говорят, что Исп. Ком. «не смел возражать» – «протестующее голоса потонули в буре аплодисментов и приветственных криков». «Бой», начавшийся в связи с докладом Стеклова, оставлял в стороне личное решение, принятое Керенским и шумно одобренное сочувствующим Керенскому митингом. Вопрос шел о принятии резолюции Исп. Ком., хотя и отрицавшей коалицию, но говорившей о необходимости соглашения с буржуазией и поддержки правительства.

«Левая опасность», которой боялся Суханов, но его словам, на собрании в общем очень мало давала себя знать. Ораторы «левой», выступавшие «против буржуазии вообще», были поддержаны только своими, т. е. незначительной частью собрания.

Впрочем, Суханов наблюдал то, что происходило в собрании, «урывками, мимоходом, среди текущих дел». Другой участник собрания, бундовец Рафес, дает несколько иную характеристику «левой опасности». Два обстоятельства, по его мнению, помешали организационному комитету с.-д. партии, высказавшемуся в ночь с 1-го на 2-марта (так утверждает мемуарист) за вхождение членов партии в правительство, отстаивать эту позицию в общем собрании Совета. «Когда на завтра – пишет Рафес – до заседания Совета, вторично собрался Исполком для обсуждения вопроса после того, как представители партии уже информировались о взглядах своих организаций, оказалось, что Стеклов, Суханов и Соколов, не выжидая этого заседания, сообщили уже представителям думскаго комитета о состоявшемся накануне отрицательном решении вопроса Исполкома, как об окончательном». Но «еще важнее» было то, что «на заседании Совета представители большевиков повели крайне энергичную атаку против поддержки буржуазнаго правительства. Членам Исп. Ком. пришлось со всей энергией отстаивать эту позицию, Выступление с предложением участия во временном правительстве вряд ли встретило бы поддержку на пленуме Совета, когда большинство Исполкома было против него. Оно лишь сыграло бы на руку большевикам». Историку трудно даже поверить, что вопрос такой исключительной важности мог быть разрешен так, как рассказывает партийный мемуарист. Во всяком случае постолько, насколько дело касалось настроения пленума Совета, шумное выступление Керенскаго показывает, что защитники коалиционнаго принципа могли бы при поддержке Керенскаго без большого труда выиграть кампанию. Исключительный успех новаго "кумира» толпы засвидетельствовал и другое – не столько «интеллигентные вожаки Совета» должны были в своих выступлениях приспособляться к бурным стремлениям низов (запись Гиппиус 1-го марта), сколько эти интеллигенты вели за собой не определившуюся еще, в общем аморфную массу, плохо разбиравшуюся в политических тонкостях. Так или иначе коалиционисты сдали почти без боя свои позиции, приняв внешний митинговый, даже «шумный успех» крайних ораторов (в противоположность Суханову, так утверждают составители «Хроники», примыкавшие к позиции бундовцев) за доказательство того, что

«революционное настроение прочно владеет аудиторией». При таком «радикальном» настроении сторонникам коалиции приходилось "защищать уже не свою позицию», а говорить об «опасности для пролетариата оказаться в изолированном положении на первых же порах буржуазной революции» и отстаивать против большевиков официальную позицию Исп. Комитета.

В результате советский митинг принял резолюцию Исп. Ком. всеми голосами против 15, т. е. формально отверг вхождение своих членов в создающееся правительство. Получилось двойственное положение, ложное в своем основании и чреватое своими последствиями: фактически одобрив поведение Керенскаго, Совет принципиально отвергал одновременно его тактику... Совет едва ли отдавал себе отчет в том противоречии, которое получалось. Не искушенный еще революционной казуистикой пленум, очевидно, механически голосовал предложенную резолюцию. Вспоминая впоследствии на Совещании Советов выступление Керенскаго, делегат петроградскаго совета Кохно говорил: «Мы все в один голос изъявили свою полную с ним солидарность, выразили полное доверие и сказали, что... всегда будем одобрять его на этом посту»... Во имя фикции единства революционнаго мнения за резолюцию большинства Исп. Ком. голосовала почти вся оппозиция, как правая, так и левая.

II.Гуманность и революционная стихия

Один мотив в речи, произнесенной Керенским в Совете, находится в резком противоречии с теми побуждениями, которыя яко-бы заставили его по какому-то таинственному наитию принять решение о вхождении в состав временнаго правительства. Не случайно, однако, Керенский упомянул об арестованных представителях старой власти. Довольно знаменательно, что и Милюков, произносивший на митинге в соседнем зале чуть-чуть позже также свою первую "министерскую» речь, выдвинул ту же мотивировку выбора Керенскаго на пост генерал-прокурора в новой России: «Мы безконечно рады были – говорил Милюков по отчету «Известий» – отдать в верныя руки этого общественнаго деятеля то министерство, в котором он отдаст справедливое возмездие прислужникам стараго режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым». Итак речь шла не о гуманности, а о возмездии, и Керенский еще раз сам подчеркнул на солдатском митинге в Таврическом дворце вечером 2-го марта, что все старые министры будут отвечать по суду за свои действия. Как можно объяснить это противоречие? Шульгин, который среди мемуаристов кладет наиболее густо краски в описании переживаний современников февральских и мартовских дней, в непоследовательной позиции Керенскаго видит своего рода «комедию», которую он сознательно играл перед «революционным сбродом». Керенский хотел спасти арестованных, и для этого надо было перед толпой «делать вид», что Гос. Дума сама «расправится с виновными». И крайне тенденциозный мемуарист отдает должное Керенскому: «он употребил все силы своего «драматическаго» таланта, чтобы кровь «при нем» не была пролита». В правых кругах не один только Шульгин признает заслуги в этом отношении Керенскаго и первые дни революции. Ген. Врангель вспоминает, что в то время он уже услышал от члена Думы бар. Штейнгера, приехавшаго в Киев и разсказывавшаго о событиях в Петербурге, что только Керенскому (он один способен «сладить с толпой») «Россия была обязана тем, что кровопролитие первых дней вовремя остановилось». Писательница Гиппиус –человек другой среды – высказалась в дневнике еще сильнее: «в марте он буквально *спас* (курсив авт.) Россию от немедленнаго безумнаго взрыва».

Естественно мы не будем отрицать гуманности революционнаго правительства, которая была за ним признана таким антиподом революции, каким неизбежно был в. кн. Ник. Ник. Он говорил своему

племяннику Андрею в Тифлисе 9 марта: «Единственное спасение я вижу в лозунге новаго правительства – безкровная революция, но ручаться, конечно, нельзя. Народная ненависть слишком накипела и сильна». Готовы мы в общем признать, что именно Керенскому, в силу исключительной роли, которую ему пришлось играть, и ореола, окружившаго его имя, принадлежит как бы честь проведения в жизнь лозунга: « государственная жизнь не проливает крови». Но сам Керенский проявил так мало чуткости в своих воспоминаниях к описываемой им современности, что счел для себя возможным поместить в тексте такия строки: «Люди правые меня упрекали и упрекают еще за мою снисходительность в отношении левых, т. е. большевиков. Они забывают, что, если бы я действовал в соответствии с принципами, которые они выдвигают, я должен был применить режим террора, не налево, а направо, и что я не имел права проливать кровь (!!) большевиков, не пролив потопов крови (couler des flots de sang), в первые недели революции, когда я рисковал авторитетом и престижем в глазах масс, сопротивляясь требованиям жестокой расправы (peine atroce) с Царем, со всеми членами династии и их служителями». Вот это изложение, почти приближающееся к изложению тех мемуаристов, которые с излишним усердием желают изобразить народную стихию в февральские и мартовские дни насыщенной кровожадными инстинктами, мы должны решительно опровергнуть, как очень далекое от того, что было в действительности, династии придется говорить особо, и, думается, роль Временнаго Правительства и министра юстиции выяснится с достаточной отчетливостью[118]. Поэтому ограничимся пока лишь беглыми иллюстрациями в дополнение к тому, что сказано уже было для характеристики настроения толпы в первые дни революции в связи с описанием эксцессов в отношении к офицерам. Это будет некоторым коррективом к показаниям строгих мемуаристов, обличающих революцию.

1. Кордегардия Таврическаго дворца

Нельзя отрицать, что в первые дни Петербург пережил пароксизм лихорадки массовых арестов, временно превративших далее здание Таврическаго дворца, где, по выражению Зензинова, билось «сердце русской революции», в какую-то революционную кордегардию. Мемуаристы леваго сектора русской общественности – Керенский не представляет в данном случае исключения – всемерно стараются снять с себя ответственность за насилия, учиняемыя именем революции, и довольно решительно отклоняют приписываемую им инициативу в деле «самозащиты» революции. То было инстинктивное, самопроизвольное устремление масс, носившее «партизанский характер». Руководители революции пытались лишь регулировать анархическую инициативу самозванных групп, придав ей некоторым образом законную форму. Так поясняет Суханов в своих «записках». «Самочинныя группы, одна за другой – вспоминает он – подносили членам Исп. Ком. ...написанные ими приказы об арестах, как невинных, так и действительно опасных; как безразличных, так и на самом деле зловредных слуг царскаго режима... Не дать своей подписи в таких обстоятельствах, значило, в сущности, санкционировать самочинное насилие, а, быть может, и эксцессы по отношению к намеченной почему-либо жертве. Подписать же ордер, означало в одних случаях пойти навстречу вполне целесообразному акту, в других – просто доставить личную безопасность человеку, ставшему под подозрение. В атмосфере разыгравшихся страстей нарваться на эксцессы было больше шансов при противодействии аресту, чем при самой процедуре его. Но я не помню ни одного случая (*и даже могу утверждать, что такого не было*), когда тот или иной арест состоялся бы по постановлению Исп. Ком. или по инициативе его. С перваго момента революция почувствовала себя слишком сильной для того, чтобы видеть необходимость в самозащите подобным способом»[119].

Память несколько изменила мемуаристу, и факты далеко не всегда совпадают с его категорическим утверждением. Как ни скромны документальные следы этих дней в архивах, но они говорят об инициативе, проявленной членами Исп. Ком.: вот, напр., «приказание», отданное подп. Ст. Шиманскому «отправиться на основании полученных сведений для производства ареста б. председателя Совета министров Бориса Штюрмера и доставить его в помещение Государственной Думы» – приказание помечено датой 8 ч. 45 м. утра 28-го и подписано за

председателя военной комиссии Врем. Ком. Гос. Думы ст. лейт. с. р. Филипповым, не состоявшим даже членом Исп. Ком.[120].

Само собой разумеется, что инициатива ареста правительственнаго аппарата принадлежала не взбунтовавшейся солдатской толпе, а руководителям движения, которые в первый момент исходили в гораздо большей степени из соображений революционной целесообразности, чем гуманности. Для объяснения этого естественнаго последствия возстания, когда борющаяся сторона пыталась изолировать и обезвредить представителей старой власти, вовсе нет надобности становиться в искусственную позу безупречнаго революционнаго Дон-Кихота. Сам Керенский разсказывает, что Думский Комитет поздно вечером 27-го, приняв временныя бразды правления, решил арестовать старое правительство в Мариинском дворце (очень сомнительно, чтобы такое постановление Врем. Комитета существовало, но какия-то попытки в этом отношении были сделаны, как устанавливает процитированный выше документ из архивов военной комиссии). Еще раньше, даже до формальнаго образования Врем. Комитета, по распоряжению уже диктаторствовавшаго в кулуарах Керенскаго было отдано в революционном порядке предписание об аресте председателя Гос. Совета Щегловитова. Это вновь разсказал сам Керенский в несколько противоречивом повествовании о событиях первых дней революции, и разсказ его подтвердил в своих воспоминаниях литовский депутат Ичас. По словам Керенскаго, в толпе, собравшейся в Тавр. дворце, говорили о необходимости суровых мер в отношении представителей и защитников стараго режима и интересовались его «мнением». Керенский ответил, что те, кто особенно опасны, будут немедленно арестованы, и назвал Щегловитова, тут же приказав, чтобы последний немедленно был к нему приведен (tut amené sur le champ devant moi). Отпадает таким образом приводимая Сухановым и другими, распространенная при посредстве «очевидцев» версия о том, что какой-то студент, «неизвестно по чьему распоряжению», арестовал Щегловитова, пригласив к себе на помощь с улицы случайную группу вооруженных солдат. Надо думать, что тогда же было дано распоряжение и об аресте мин. вн. д. Протопопова, задержать котораго пыталась еще в 11 ч. утра по собственной инициативе какая-то группа инсургентов при помощи солдат Преображенскаго и Волынскаго полков, которых еще не было в Таврич. дворце (эту совершенно неправдоподобную версию приводит Керенский).

Щегловитов был приведен. По всем почти воспоминаниям проходит сцена, разыгравшаяся в кулуарах между председателем Думы и

считающим себя на деле диктатором левым депутатом[121]. Из этих мемуарных версий выберем ту, которую дает Ичас: он был не только непосредственным свидетелем, но и действующим лицом; его изложение привлекает своей ясной простотой – затерянное к тому же среди газетных сообщений, оно менее известно, чем воспоминания Керенскаго, Родзянко, Суханова, которыя легко сравнить между собой. В то время, когда «300 членов Думы» бродили по «унылым залам», ожидая решения Временнаго Комитета, «два студента с саблями наголо» ввели Щегловитова и обратились к Ичасу с вопросом: где Керенский? «Я велел отвести Щегловитова в приставскую комнату и сказал, что сам пойду за Керенским» – разсказывает Ичас. Керенский ответил: «сейчас приду, пусть подождут». «Минут десять мы его ждали. Тем временем толпа с улицы уже проникла в помещение и стала окружать нас. Керенский прибежал в комнату и громко спросил, озираясь: кто меня звал? Тогда студент, конвоировавший Щегловитова, указал на арестованнаго. Керенский взволнованным голосом спросил: «Так вы – Щегловитов?» и... прибавил: «Ив. Гр., вы тот человек, который может нанести самый опасный удар ножем в спину революции, и мы вас в такой момент не можем оставить на свободе». При этих словах вышел из своего кабинета, окруженный членами Комитета, председатель Гос. Думы Родзянко: «Ив. Гр., как вы сюда попали? А. Ф., ведь в Комитете постановления об аресте его не было?» «Я еще до избрания Комитета распорядился его арестовать» – ответил Керенский. «Так пойдемте в кабинет, обсудим этот вопрос. Ив. Гр., пойдемте со мной, посидите, пока мы обсудим этот вопрос» – продолжал Родзянко, протягивая Щегловитову руку. Тогда молодой студент с саблей оборвал председателя Думы: «Не по вашему распоряжению мы его арестовали и не можем отпустить его с вами». «Отведите г. Щегловитова в министерский павильон и приготовьте ему кровать» – распорядился Керенский и вошел вместе с комитетскими в кабинет председателя»[122]...

Арест Щегловитова, по словам Керенскаго, вызвал чрезвычайное возбуждение среди «умеренных» членов Думы. Они настаивали на освобождении председателя Гос. Совета во имя принципа неприкосновенности членов законодательных собраний, они протестовали против превращения Гос. Думы в дом тюремнаго заключения и, вероятнее всего, отнюдь еще не желали вступить на революционный путь. Но фактический «диктатор» был тверд, несмотря на все протесты Врем. Ком., о которых говорит Родзянко. В воспоминаниях Керенский высказывает удивление, как его коллеги не понимали, что освобождение Щегловитова в

этот момент означало бы не только умаление престижа Думы в глазах масс, но и передачу его возмущенной толпе на линчевание. Это было безумие, на которое предвидевший последствия будущий генерал-прокурор революции пойти не мог.

Министерский павильон быстро наполнился арестованными сановниками – элитой бюрократическаго мира[123]. Сюда приводили арестованных по законным «правительственным» ордерам, выдаваемым от имени членов обоих Испол. Комитетов и их военной комиссии; сюда поступали приведенные любителями творить самочинно революционное правосудие, согласно официальному объявлению доставлять сановников и генералов в Таврич. дворец, «буде таковых придется задерживать» (подобныя объявления могли лишь толкать население на производство арестов); сюда сажали добровольно явившихся в целях самосохранения – здесь они чувствовали себя, как за «каменной стеной», по выражению секретаря Родзянко. В хаосе «черезполосицы» невозможно разобраться и определить случаи, когда вожди революции в предписании арестов проявляли активную инициативу и когда лишь вынужденно легализировали революционное беззаконие. Ордера посылались на бланках, которые были под рукой, и немудрено, напр., что с-р. Мстиславский, член военной комиссии, по собственному признанию, заполнил, не имея на это никакого права, бланки тов. пред. Гос. Думы. Мало понятно, на основании каких полномочий чл. Врем. Комитета Караулов, занявший 28-го временно пост коменданта Тавр. дворца, отдавал 1 марта приказ о немедленном аресте «всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов», но совершенно очевидно, что аресты в этой среде производились вовсе не в соответствии с «приказом № 1», как утверждал впоследствии отчет думской «комиссии по принятию задержанных военных и высших гражданских чинов».

Керенский с перваго же момента сделался вершителем судьбы представителей того режима, который свергла революция. Может быть, поэтому естественно, что его имя вне зависимости от официальнаго поста, который он занял 2-го марта, оказалось особо тесно сопряженным с волной арестов, прокатившейся по Петербургу. Отмечая «поразительную планомерность» арестов, несмотря на неоднократное, будто бы, объявление со стороны Врем. Ком, об их «незакономерности», Родзянко намекает на специфическую роль Керенскаго – по крайней мере воинские чины, производившие аресты, указывали «имя члена Гос. Думы Керенскаго, как руководителя их действиями»[124]. В своем стремлении охранить революцию от насилия («в благородных усилиях», чтобы «Тавр.

дворец не обагрился кровью») Керенский проявлял временами, действительно, чрезмерное рвение. С некоторой наивностью разсказывает он сам эпизод, имевший место при аресте б. мин. вн. д. и юстиции Макарова. Где-то и кем-то арестованный Макаров был освобожден депутатами по «сердечной доброте»: они не понимали, что только арестом и проявлением известной строгости – повторяет Керенский свой излюбленный мотив – можно было воспрепятствовать массовым судам Линча. Керенский спешит исправить оплошность депутатов, не подумавших о том, что сделано было бы с этим бывшим министром, если бы господа демагоги и агенты-провокаторы узнали об освобождении министра, знаменитаго своей неосмотрительной фразой в Думе по поводу ленских разстрелов в 12-ом году: «так было и так будет» (этой фразе тогда придали несколько иной смысл, чем тот, который вкладывал в нее ее произносивший). Узнав, что б. министр Макаров, боясь ночью возвращаться домой, нашел себе пристанище в частной квартире, расположенной в антресолях дворца, член Гос. Думы Керенский, захватив двух вооруженных солдат, бегом поднялся наверх; перепугал даму, ему открывшую дверь на звонок, извинился, арестовал Макарова и водворил его в министерский павильон. Дело, конечно, было не только в личной экспансивности лидера думской трудовой группы. Вероятно, и соображения о гуманности привлечены были в данном случае мемуаристом задним числом. Эпизод скорее надо объяснить сугубо отрицательным отношением Керенскаго, выступавшаго в роли разоблачителя ленских событий, к тогдашнему министру вн. д., заслужившему, однако, общественную амнистию своим независимым поведением в последний период царскаго правления, когда он вызвал неблаговоление к себе со стороны имп. А. Ф. и должен был покинуть министерский пост. И, может быть, не так уже не правы были те члены Думы, которые рекомендовали арестованному и освобожденному Коковцову, как он разсказывает в воспоминаниях, итти скорее домой, пока на него «не набрел Керенский».

Побуждала ли обстановка в Таврическом дворце перваго марта к принятию таких экстраординарных мер, если даже допустить, что имя Макарова было пенавистно массе так же, как оно ненавистно было Керенскому? Мемуаристы противоположнаго лагеря по иным, конечно, основаниям явно сгущают атмосферу. Примером может служить повествование все тоге же Шульгина. Он чрезвычайно картинно разсказывает, как в Думе «побежало особое волнение», когда пришел добровольно арестовываться или отдаться «под покровительство Гос.

Думы» Протопопов (это было в тот же вечер, когда произошел эпизод с Макаровым), и как Керенский проявил все силы своего «актерскаго дарования». От озлобленной толпы распутинскому ставленнику «ждать ничего хорошаго не приходилось». «И в то же мгновение я увидел в зеркале – живописует Шульгин – как бурно распахнулась дверь... и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели... рука поднята. Этой протянутой рукой он как-бы резал толпу... – Не сметь прикасаться к этому человеку... Все замерли... И толпа разступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционнаго правосудия, а за ним влекли тщедушную фигуру в помятом пальто, окруженную штыками»... Сам Керенский разсказал о появлении Протопопова в Думе менее картинно с внешней стороны, чем то сделал сторонний очевидец происходившаго. По словам Керенскаго, его в одном из корридоров дворца остановила фигура страннаго вида, обратившаяся к нему с титулованием «Ваше Превосходительство». Это оказался Протопопов. И Керенский провел, не вызвав ничьего внимания, этого наиболее ненавистнаго в России человека в «павильон министров». Сам Протопопов так разсказал о своем аресте в дневнике: «Я спросил какого-то студента провести меня в Исп. Ком. Узнав, кто я, он вцепился в мою руку. «Этого не надо, я не убегу, раз сам сюда пришел» – сказал я; он оставил меня. Стали звать А. Ф. Керенскаго. Он пришел и, сказав строго, что его одного надо слушать, ибо кругом кричали солдаты, штатские и офицеры, повел меня в павильон министров, где я оказался под арестом». Еще более прозаична была отметка в № 3 «Известий» комитета журналистов, утверждавшая, что появление Протопопова не вызвало в Думе никаких страстей.

Всегда представляется несколько сомнительным, когда мемуаристы в однородных тонах и с однородными деталями сообщают разные эпизоды, хотя и возможно себе представить, что в аналогичных условиях должны были получаться однотипный картины. Совершенно в духе Шульгина несколько раньше Суханов изображал эпизод с арестом столь же ненавистнаго Штюрмера. Только роль Керенскаго в этом случае сыграл трудовик в форме прапорщика – Знаменский, обладавший зычным голосом. Надлежало провести в спасительный «министерский павильон» через враждебную и вооруженную толпу группу арестованных, во главе со Штюрмером и Курловым, под охраной ненадежных конвойных, «самочинно арестовавших и доставивших ненавистных правителей в Таврич. дворец». «Не сметь трогать» – крикнул во все свое могучее горло Знаменский, открывая шествие. Толпа разступилась, злобно поглядывая на арестованную партию, и «ненавистные министры» были охранены от

самосуда. «Труднее будет уберечь Сухомлинова, о котором постоянно спрашивали в толпе, и против котораго возбуждение было особенно сильно» – будто-бы подумал тогда же Суханов, присутствовавший при том, как. Знаменский вел группу арестованных сановников. И если Сухомлинова оберегли от самосуда, то здесь, в изображении Керенскаго. исключительно его заслуга. Кто-то «бледный и трясущийся от страха» прибежал сообщить Керенскому, что привели Сухомлинова, и что солдаты находятся в чрезвычайном возбуждении (surexcitation terrible) и готовы изменника-генерала разорвать на куски. Керенский и через десять лет не мог вспоминать без чувства ужаса ту кошмарную сцену, которая готова была разыграться. Увидав приближающагося с охраной Керенскаго и поняв, что жертва может ускользнуть, толпа бросилась на Сухомлинова, и Керенский собственным телом его прикрыл. Он воззвал к чести солдат, заклиная их не опозорить революцию пролитием крови в стенах Думы. Он один противостоял негодованию озверелой толпы солдат, твердо заявив, что они коснутся своей жертвы только через его, Керенскаго, труп. Керенский почувствовал колебания в толпе и понял, что он выиграл игру.

Отдадим должное мужественному поступку мемуариста. Вероятно, нечто подобное было в действительности. В отношении Сухомлинова атмосфера должна была быть сгущенной – ведь около его личности была сосредоточена вся ненависть и вся агитация в период всех неудач во время войны. Враждебность к Сухомлинову не могла быть показательной для революционных настроений. И все-таки закрадываются некоторыя сомнения – не чрезмерно ли мемуарное перо и позднейшее восприятие остро в свое время пережитого сгустили краски. Невольная случайная очевидица того, как толпа на улице требовала выдачи Сухомлинова для растерзания, тоже приведенная в Таврический дворец – гр. Клейнмихель, видела, как «юноша, почти мальчик, в офицерской форме, хватал его за руки и толкал» свою жертву – мундир на Сухомлинве был изорван, погоны срезаны, ордена похищены... Депутаты спасли бывшаго военнаго министра, окружив его тесным кольцом. Надо сказать, что у старой графини было чрезвычайно живое воображение. В ея воспоминаниях можно было бы подчеркнуть яркия бытовыя сцены для эпохи, если бы оне не были приправлены подчас слишком уже фантастическими аксессуарами даже тогда, когда она говорит о своих собственных приключениях и своих собственных переживаниях[125]. В личных воспоминаниях Сухомлинов совсем по иному рисует обстановку своего ареста. Взятый у себя на квартире (к моменту революции он был освобожден из Петропавловской крепости и находился под домашним

арестом) «какой-то компанией вооруженных людей», Сухомлинов был отвезен в Таврический дворец. «Во время переезда в грузовом автомобиле студент в очках держал против моего виска браунинг, дуло котораго стукало мне в голову на ухабах. Полнейшее мое равнодушие к этому боевому его приему привело к тому, что он вскоре спрятал оружие в кобуру. Несколько заданных вопросов относительно моего дела и совершенно спокойные мои ответы на них закончились тем, что первоначальное неприязненное ко мне отношение превратилось в благожелательное. У Тавр. дворца снаружи и в залах, по которым я проходил, была масса народа, и никаким оскорблениям я не подвергался, как об этом неверно сообщали газеты». Сухомлинов вначале был приведен к Энгельгардту, а потом повели к Керенскому. «В небольшом корридоре просили обождать. Я сел у колонны и наблюдал то столпотворение, которое вокруг происходило... Подошел ко мне какой-то приличный господин и просил очень вежливо, чтобы я спорол погоны, и подал мне ножницы. Я их просто отвязал и отдал ему – тогда он попросил и мой георгиевский крест, но я его не отдал и, к моему удивленно, бывший тут часовой, молодой солдатик, вступился за меня и сказал: «Вы, господин,... этого не понимаете, это заслуженное и так, отнимать, да еще такой крест, не полагается». Наконец, пригласили меня тут-же рядом в сени, где стоял взвод солдат с ружьями, и появился Керенский... Мне он ничего не говорил, а обратился к нижним чинам и в приподнятом тоне сказал, что вот, мол, бывший военный министр царский, который очень виноват и его будут судить, а пока он им повелевает, чтобы волос с головы моей не упал... Тем все и кончилось... Я вышел на внутренний подъезд дворца, где стоял тот самый автомобиль, в котором меня привезли; мой почетный караул... присутствовал, когда я в него садился, а мои уже старые знакомые конвоиры дружески встретили меня... От них же я узнал, что меня повезут в Петропавловскую крепость, куда приблизительно через полчаса меня и доставили»... Здесь – подчеркивает Сухомлинов, «со много все были вежливы – принесли даже котлету с картофелем и чай... Арестованных еще не было никого... и я занял опять свой № 55».

Легко можно допустить сознательную тенденцию Сухомлинова при разсказе, но в дальнейшем изложении, говоря о содержании в Петропавловской крепости, он отнюдь не щадит «обнаглевших со звериными физиономиями в серых шинелях». Неожиданно в некоторых своих частях разсказ Сухомлинова находит подтверждение в напечатанном 9 марта в «Известиях» письме прап. 171 пех. зап. полка Чиркунова, находившагося во главе отряда, который забирал Сухомлинова

на его квартире. Между прочим, здесь устанавливалось, что солдаты хотели первоначально сорвать с изменника погоны, но после речи Сухомлинова о том, что он невиновен, погоны были оставлены. Как будто бы очевидно, что отряд прап. Чиркунова должен был по распоряжению новой власти перевести подследственнаго Сухомлинова с привилегированнаго домашняго положения, с чем так боролись до революции думские деятели из состава прогрессивнаго блока, на старое крепостное. Почему понадобилось провести такую техническую операцию через революционный штаб, каким являлся в тот момент Таврический дворец, не совсем понятно.

Как примирить две столь противоположныя версии, которыя выступают в изложении Керенскаго и Сухомлинова? – истина должна быть где-то по середине между двумя крайностями. При таких условиях сухомлиновский эпизод будет достаточно характерен. Он как бы подтверждает положение, что атмосфера в Таврическом дворце вовсе не была насыщена электричеством той злобности, при которой эксцессы приобретают кровавый характер[126]. Трудно поверить показаниям, принимавшаго непосредственное участие в «следственной комиссии» кн. Мансырева, который говорит о том, как уже вечером перваго дня революции «толпа» в Таврическом дворце «неистово» избивала «кулаками и прикладами» арестованных «жандармских офицеров и полицейских чиновников» – трудно поверить потому, что подобная сцена резко противоречит фактической обстановке, которую можно установить для революционнаго штаба 27 февраля и последующих дней.

2. Петропавловская крепость

Не было атмосферы напряженной злобности и за стенами Таврическаго дворца. Перед нами воспоминания б. тов. обер-прокурора Св. Синода кн. Жевахова. Это был человек крайне реакционный – для него уже введете института земскаго самоуправления в царствование Александра II являлось началом чуть ли не конца России, и в то же время он был человеком несколько не от мира его. Мартовские дни представлялись этому религиозному министру православнаго пошиба сплошным ужасом. Чего только не видели его глаза, и чего только не слышали его уши! Он, конечно, разсказывает, как улицы запружены были толпой, «жаждущей крови и самых безжалостных расправ – генералов ловили, убивали, разрубали на куски и сжигали. Что только тенденция не выдумает! Однако, когда эти озверелыя толпы вломились в казенную квартиру кн. Жевахова и увидели иконостас и другие церковные атрибуты, то жажда крови изсякла – солдаты присмирели, стали «виновато улыбаться» и «почтительно удалились, полагая, что здесь живет святой человек»... Такой сценой само собой уничтожается та гипербола, с которой современник передал потомству о виденном и слышанном в дни революции[127].

Но допустим, что по иному могла рисоваться обстановка тем, кто были почти замуравлены в первые дни и ночи в четырех стенах революционнаго штаба. Вспомним, как свои ощущения впоследствии изобразил Шульгин – почти в жеваховских тонах. Керенский разсказывает, с какой предосторожностью пришлось перевозить заключенных в «министерском павильоне» царских сановников в Петропавловскую крепость[128]. У временной власти, по его словам, не было охоты размещать царских приверженцев в исторических казематах, служивших в течение столетия местом заключения и страдания политических узников – героев революции, но все тюрьмы были разрушены (?) революционным порывом 27–28 февраля, и только за крепкими стенами Петропавловки можно было найти надежное место для личной безопасности новых заключенных старой политической тюрьмы. Таким образом, еще раз гуманныя соображения побудили вспомнить Трубецкой бастион и оживить новыми сидельцами прежнюю русскую Бастилию. Город был еще неспокоен, когда «мы вынуждены были перевести министров. Сделать это днем было чрезвычайно опасно, а тем более заранее раскрыть план перевозки. Поэтому решено было совершить перевод ночью без предупреждения даже

стражи»... Лично Керенский в полночь предупредил арестованных, когда все приготовления были закончены, что они будут перевезены, не указав ни места, куда их перевозят, ни причин увоза. Секрет, которым была окружена ночная экспедиция, и враждебныя лица солдат, казалось, сильно возбудили заключенных –они думали, что их везут на казнь. (Так казалось во всяком случае Керенскому, который по челу оставшагося спокойным Щегловитова читал затаенную мысль – воспоминания долголетняго руководителя царской юстиции, как его многочисленныя жертвы в таких же условиях ночного безмолвия отвозились из тюремных казематов на место казни). В такой обстановке революционная гуманность, о которой думал Керенский, превращалась, пожалуй, в недостойную мелочную месть. В действительности, вероятно, не было ни того, ни другого. Была скорее неуверенность власти, не чувствовавшей еще прочной почвы под ногами и облекавшей свою неуверенность в революционный пафос, заменяя его подчас революционной позой. К ней был несколько склонен тот, кто занял пост министра юстиции революционнаго правительства, и она производила впечатление. Так Ледницкий в докладе московскому Комитету Общ. Организаций 3 марта, передавая свои петербургская впечатления, с одушевлением изображал бытовую сцену, которой сопровождался арест последняго министра юстиции царскаго правительства Добровольскаго (явился сам в Таврический дворец). «Бывший министр Добровольский – торжественно заявил ему Керенский – вы имеете честь разговаривать с депутатом Думы, потрудитесь встать», Ледницкий комментировал эти слова: «прежняя власть почувствовала силу новой власти» (по отчету «Рус. Вед.»). Зензинов вспоминает, с каким «ликующим видом» Керенский ему сообщил, что по его распоряжение арестован Щегловитов то было « *первое* проявление власти революции». В первые дни подсознательным стимулом, вызывавшим революционную позу, и могло быть чувство инстинктивнаго страха за революцию. Этим только возможно объяснить не соответствовавший идеям и настроениям обиход, который был установлен властью свыше в «министерском павильоне». Здесь царила «гробовая тишина», так как строжайше запрещено было разговаривать. Заключенные должны были вставать при входе коменданта. Одним словом, все то, что полагалось по тюремной дисциплине ушедшаго в прошлое режима. Это не отзвук переживаний арестованных, это непосредственное впечатление журналиста Луганскаго, посетившаго 2 марта «министерский павильон». Курлов утверждает, что такой обиход с «вынужденным молчанием» установлен был личным распоряжением «начальника» революционной кордегардии в Таврич.

дворце депутатом Керенским, который делал выговор начальнику караула за неисполнение им своих обязанностей[129].

Если учесть эту возможную психологию революционной власти, в некоторых случаях персонифицированной Керенским, мы поймем обстановку, в которой произошел перевоз арестованных сановников в Петропавловскую крепость. Иначе получается нечто несуразное. Таинственность, которой был облечен перевоз, все принятыя Керенским меры предосторожности объясняются необходимостью предотвратить возможные эксцессы. Между тем все заключенные из числа тех, кто оставил мемуарныя отражения своих переживаний, единодушно свидетельствуют о своеобразной мере охранения, предпринятой в отношении их. Вот разсказ Курлова: «Это отправление обставлялось весьма торжественно (Курлов утверждает, что перевоз совершился около 10 ч. веч.). В проходе между залом и подъездом, на пространстве приблизительно 40–50 шагов, была выстроена рота преображенцев. Прапорщик Знаменский лично проводил меня до автомобиля, в котором я заметил какого-то человека с забинтованной головой и вскоре узнал в нем Н. А. Маклакова. Против нас поместились унтер-офицер с револьвером в руках и член Гос. Думы Волков. По-прежнему нам было запрещено разговаривать, с предупреждением, что в случае нарушения этого приказания унтер-офицер будет стрелять». По словам Васильева (б. дир. деп. полиции), подтверждающаго описание Курлова, их предупреждали, что всякая попытка *к бегству* вызовет применение оружия. В дневнике Протопопова записано: «Впереди нас (Протопопов попал в автомобиль с ген. Беляевым) сидел офицер и держал револьвер наготове, о чем нас предупредил: за каждое движение – пуля в лоб». Можно было бы предположить, что такая демонстративная внешность создана была лишь в показательных целях – для воздействия на толпу. Но подобныя предположения разсеиваются при ознакомлении со свидетельством одного из представителей революционной общественности, сопровождавшаго ночную экспедицию. Зензинов разсказывает, что министр юстиции предложил ему и Волкову принять на себя перевоз арестованных министров. «Я с *удовольствием* взялся выполнить это дело» – вспоминает мемуарист. «Мне интересно было в новой уже роли побывать в той самой крепости, где я полгода просидел заключенным. Автомобили были приготовлены только поздно вечером, и перевод арестованных состоялся глубокой ночью. В пяти автомобилях мы везли 12 министров. На мою долю пришлись б. мин. вн. д. Макаров и б. мин. юстиции Хвостов[130]. В автомобиль нас было четверо – два арестованных министра, солдат с

наведенным на них револьвером и я. Министры сидели неподвижно, как бы раздавленные всем происшедшим. На улицах шумела толпа, несмотря на поздний час[131], и гудок нашего автомобиля гудел непрерывно. Занавеси на наших окнах были спущены (следовательно, отпадает возможность показательнаго приема), и толпа охотно разступалась, когда шофер кричал ей, что автомобили следуют по распоряжению Врем. Рев. Правительства». В Петропавловской крепости Зензинов, к великому своему удивленно, натолкнулся на полк. Иванишина, того самаго «вернаго слугу стараго правительства», который семь лет тому назад караулил Зензинова, явившагося теперь в роли «чрезвычайнаго комиссара Рев. Правит.». Давая отчет Керенскому об исполнении поручения, Зензинов настоял на том, чтобы Иванишин был «немедленно смещен и замещен верным человеком» (к каким результатам это привело, мы увидим ниже). Керенский согласился и отдал тут же распоряжение по телефону в крепость... Курлов передает такую деталь. По прибытии в крепость им (т. е. Курлову и Маклакову) приказали «выйти из автомобиля и стать лицом к стене». Они стояли до тех пор, «пока все арестованные не вышли», а потом их «гуськом» повели в Трубецкой бастион, заведующим котораго и был полк. Иваншин...

Для завершения всей картины напомним, что Сухомлинов днем был перевезен в Петропавловскую крепость без всяких осложнений, и что никаких «чрезвычайных комиссаров» для этого дела не понадобилось[132], а министр финансов Балк – «ставленник Распутина» – был без всяких инцидентов освобожден, так как новому министру финансов, как сообщала «Русская Воля», «необходимо» было с ним «беседовать».

3. Самочинные аресты

В приведенной выше характеристике Суханова самочинных арестов одно заключение мемуариста, конечно, надо признать правильным – аресты по ордерам из центра всетаки ограничивали возможность самосудов и вводили в известныя рамки частную инициативу, которая слишком легко рождалась в условиях переживаемаго момента. Трудно установить грани между самозарождающимся чувством толпы и восприятием ею лозунга, приходящаго как бы извне и падающаго на благоприятную для себя почву. Инстинктивное подражение всегда лежит в основе массовой психологии. Потому так легко в Петербурге волна арестов в первые дни захватила толпу – ничего подобнаго не было, напр., в Москве. В этом отчасти и разгадка того «сложнаго психологическаго процесса» в народном сознании («передать Думе ея врагов»), о котором говорила в своем позднейшем отчете думская комиссия об арестованных[133]. Яркую бытовую картину нарисовал нам Пешехонов, редактор «Русскаго Богатства», в воспоминаниях «комиссара Петербургской стороны». «Не успели мы открыть комиссариат – вспоминает он – как к нам уже повели арестованных... Пришлось создать при комиссариате особую «судебную комиссию», в которой с утра до вечера посменно работало до 20 юристов, и она едва успевала справиться с делом»... «Была прямо какая-то эпидемия самочинных арестов. Особенно памятен мне один день, когда казалось, что все граждане переарестуют друг друга»,.. «За что вы их арестовали?» – спрашивал следователь тех, которые привели арестованных. – «Да они против Родзянко». «Следующее дело начинается тем же вопросом: «Почему вы их арестовали?» – «Да они за Родзянко». И обстановка обоих дел одна и та же: сошлись на улице, заспорили, а потом более сильные арестовали более слабых. Если одни сами хватали и тащили в комиссариат своих политических противников, то другие ждали этого от комиссариата. Нас прямо осаждали с требованием обысков и арестов. Не менее того донимали пас доносами».

Картину, зарисованную для «Петербургской стороны», можно было наблюдать более или менее повсеместно[134]. Такия же случайный толпы приводили арестованных полицейских в Таврический дворец – по словам его коменданта, даже с «женами и детьми». Заполняли ими и вообще «подозрительными» градоначальство и огромный Михайловский манеж... По газетным позднейшим исчислениям, в общем было арестовано около 4000 человек (Бирж. Вед.), и министерству юстиции пришлось создать

особую следственную комиссию для проверки формальных причин задержания. К этим добровольцам по изысканно контр-революции, действовавшим с революционным пылом, присоединялись всякаго рода любители наживы и всплывавшие на мутной поверхности авантюристы, которые очень часто и возглавляли «толпу» обыскивающих и арестующих. И в газетах того времени и в воспоминаниях принимавшаго ближайшее участие в организации городской милиции молодого адвоката Кельсона можно найти показательные образцы деятельности этих разоблаченных ретивых «революционеров» февральских и мартовских дней, которые с вооруженными солдатами, взятыми случайно на улице, ходили по квартирам, делали обыски, грабили и арестовывали «по подозрению в контр-революции». Кельсон разсказывает, напр., как он случайно встретился со своим подзащитным, взломщиком-рецидивистом Рогальским, который явился в кабинет городского головы в полной «модной форме одежды» того времени – вплоть до пулеметной ленты. Легко себе представить, каким водворителем «порядка» являлся «гвардии поручик» корнет Корни де Бод, оказавшийся предприимчивым и ловким рядовым Корнеем Батовым – ему эти функции «защиты населения» при содействии двух рот были поручены особым приказом Энгельгардта 28 февраля. «Корни де Бод» ухитрился получить и ответственное назначение коменданта городской Думы и побывать на квартире гр. Коковцева с нарядом «из 12 нижних чинов». Перед нами может пройти целая портретная галлерея, которая откроется пом. коменданта Таврическаго дворца Тимановским – в действительности известным аферистом «графом д'Оверн» (Аверкиевым), принявшим участие в арестовании последняго председателя Совета министров кн. Голицына.

В мин. путей сообщения при Бубликове и Ломоносове активную роль играл «ротмистр-гусар» Сосновский, командовавший ротой семеновцев, которая стояла здесь на страже, он оказался беглым каторжником, содержавшимся в Литовском замке. Но это неизбежная накипь революции. Оставим ее[135]... Пешехонов дает правдивое объяснение изнанке революции. Во всем этом, несомненно, сказывался не остывший еще, а у многих и запоздалый азарт борьбы, хотелось принять в ней участие, внести свою долю в общую победу[136]... Еще большую роль сыграл страх перед контр-революцией, но многие просто не понимали, что такое свобода[137]. Но «пароксизм страха» все-же должен быть поставлен на первом месте. Тот же Пешехонов разсказывает, что он «вынужден был держаться преднамеренно резкаго тона в своем обращении с обвиняемыми и не жалеть самых резких квалификаций но адресу старых властей и

самых жестоких угроз по адресу тех, кто осмелится противиться революции. Только таким путем мне удалось при.... первой встрече с толпой поддержать свой авторитет, как представителя революционной власти. Иначе меня самого, вероятно, заподозрели бы, как контр-революционера»... Приспособление к настроениям толпы приводило к тому, что Энгельгардт, если верить повествованию Мстиславского, арестовал в Таврическом дворце уже 2 марта офицера, который высказывался «за монархию».

И всетаки какое-то скорее благодушие в общем царило в этой тревожной еще атмосфере – благодушие, которое отмечают (при обысках в поисках орудия) столь противоположные люди, как писательница Гиппиус и генерал Верцинский. А вот показание бывшаго царскаго министра народнаго просвещения гр. Игнатьева, данное Чр. Сл. Ком. Временнаго Правительства (это ответ на вопрос: «было ли оказано какое-либо безпокойство» в дни февральских событий). «Я должен сказать, что кроме самой глубокой признательности к молодежи и солдатам я ничего не имею. Доложу следующее явление, глубоко меня тронувшее. Был обход солдат, мастеровых ремонтной автомобильной части. Можете представить, что это за состав: это уже не строевые, а люди полурабочаго уклада. Между ними один уволенный из какой-то ремесленной школы... за время моего министерства. Входят в подъезд... Прислуга испугалась. Спрашивают: «кто живет»... "Граф Игнатьев, б. мин. нар. просв.» .– «Товарищи, идем». Один говорит: «нельзя ли на него посмотреть».– «Он болен»... –"Может быть, он нас примет». Поднимается ко мне человек, весь трясется и говорит: «Лучше не впускать»... Входят пять человек наверх... «Хотим на вас посмотреть». – «Почему?» – «Разве мы вас не знаем, разве мы такие темные». Другой раз –продолжал Игнатьев – был еще более тронут». Далее свидетель разсказал, как толпа хотела забрать его автомобиль и ушла, узнав от случайно проходившаго студента, что здесь «живет гр. Игнатьев»...

Ссылки на настроения «низов» слишком часто становятся в воспоминаниях деятелей революции отговорками в тех случаях, когда надо оправдать в глазах приходящаго на смену поколения революционный акт, может быть, жизненно даже целесообразный, но противоречащий демократическим принципам, которые были написаны на знамени революции. Вот почему некоторая фальшь всегда чувствуется в попытках ответственных мемуаристов облечься исключительно только в романтическую тогу гуманности при описании дней, когда рождалась и закреплялась революционная Россия. Сделанныя ошибки, вольныя или

невольныя, нельзя объяснить, ретушируя действительность. Совершенно объективно надо признать, что деятели февральской революции были очепь далеки от осуществления в жизни несколько сентиментальных заветов, выраженных некогда поэтом в знаменитых словах: «Дню прошедшему забвенье, дню грядущему привет». Посколько дело касалось возмездия за грехи стараго режима, здесь не было, как мы увидим, большого колебания. Целесообразна ли была такая тактика – это вопрос другой. Руководители движения не всегда учитывали резонанс, который получало или могло получить в массе их действие, вступавшее в резкую коллизию с исповедуемыми ими идеалами. Во всяком случае революционная современность – по крайней мере, значительная часть ея – поставила в заслугу первому министру юстиции революционнаго правительства не гуманность, о которой говорит Керенский в воспоминаниях, а твердость, проявленную им в отношении представителей ликвидированнаго строя. Один из делегатов петербургскаго Совета на совещании Советов, тот, который выступал в защиту позиции Керенскаго, занявшаго министерский пост, говорил: ..."если бы, действительно, Керенскиай не вошел в министерство, не взял бы этого портфеля и без согласия Исп. Ком., то что было бы тогда с этим министерством?... Там был бы московский депутат Маклаков, но если бы это было так, разве были бы арестованы все лица, арестованныя сейчас, и было бы сделано то, что сделал Керенский, наш Керенский?»

III. Рискованный шаг Милюкова

Похороны коалиции в Совете закончились около 6 ч. веч. (1 марта). После общаго собрания, одобрившаго по докладу Стеклова выработанное соглашение демократии с цензовой общественностью, должно было состояться совещание представителей обоих исполнительных комитетов для окончательной формулировки «соглашения». И, быть может, несколько неожиданно незавершенное еще дело было оглашено Милюковым на перманентном митинге в Екатерининском зале – в тот приблизительно час, когда совершалось триумфальное шествие Керенскаго из зала заседания Совета в помещение Вр. Ком., т. е., еще задолго до окончания заседания Советов. Почему это сделал лидер «цензовой общественности?» Случайность? Радостное нетерпение, о котором говорит Мстиславский? Желание закрепить достигнутые результаты и получить представление об отношении к образуемому правительству со стороны «народных масс?» «В частности, быть может, – говорит Суханов – Милюков желал проверить свое решение самаго остраго для него вопроса, способнаго послужить источником конфликта не только с Советом Р. Д., но и с его собственными, более левыми товарищами». Это был, конечно, вопрос о монархии и династии. Построение речи. как будто, не согласуется с подобным предположением. Вопрос о судьбе династии («самый существенный» в речи. как признает Милюков в написанной им «Истории») всплыл – по внешности по крайней мери – случайно в связи с репликами, которыя подавались со стороны митинговой публики. Преждевременность разглашения «тайны», ключи к которой вез с собой Гучков, гораздо в большей степени надо отнести к тем графам, которые вообще присущи были политической деятельности Милюкова и заслужили ему репутацию, но его собственным словам, «бога безтактности» («Рус. Зап.»). Если выступление Милюкова и было своего рода шахматным ходом, то направил его фактический уже вождь Врем. Ком. не в сторону своих «левых» партнеров, а в сторону «правых».

Днем второго марта политическая обстановка выяснилась с достаточной отчетливостью – опасность военнаго разгрома «революции» отпала. Каждый истекавший час говорил о необходимости замены сурогата власти, каким являлся Врем. Ком., правительством полноправным, ибо безвластие, наступившее после переворота, развращало даже самых благонамеренных солдат. Возможность превращения советскаго обращения в форму обязательнаго «приказа»

ослабляла авторитет будущей власти – это, конечно, понимали все, независимо от содержания «приказа №1». Ждать при таких условиях возвращения Гучкова и Шульгина не представлялось целесообразным. Вот почему в 5 ч. 45 м. дня в Ставку была послана за подписью Родзянко несколько предрешавшая события телеграмма следующаго содержания: «Временный Комитет Г. Д. образовавшийся для возстановления порядка и столице, вынужден был взять в свои руки власть в виду того, что под давлением войска и народа старая власть никаких мер для успокоения населения не предприняла и совершенно устранена. В настоящее время власть будет передана Врем. Комитетом Г. Д. Временному Правительству, образованному под председательством кн. Г. Е. Львова. Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих в войсках, а также находящихся в Петрограде лиц императорской фалмилии, и все слои населения признают только новую власть. Необходимо для установления полнаго порядка и для спасения столицы от анархии командировать сюда на должность главнокомандующаго Петербургским военным округом доблестнаго боевого генерала, имя котораго было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Г. Д. признает таким лицом доблестнаго, известнаго всей России героя... ген. Корнилова. Во имя спаеения родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимыя жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно командировать ген. Корнилова в Петроград».

Здесь нет даже намека на спорный вопрос о форме правления. Логически приходилось заключать, что в недрах Временнаго Комитета еще не был окончательно решен даже вопрос об отречении, поставленный в порядке дня. Так, повидимому, и понял ген. Алексеев, доложивший Николаю II телеграмму Родзянко и испрашивавший разрешение на выполнение выраженнаго в ней «пожелания», во имя того, что в этом «может заключаться начало успокоения столицы и водворения порядка в частях войск, составляющих гарнизон Петрограда и окрестных пунктов». В кадетской группе, входившей в состав Врем. Ком., очевидно, не было колебаний в вопросе о неизбежности отречения. Припомним информацию Гронскаго в первый же день революции о провозглашении императором в. кн. Михаила. По свидетельству Скобелева, который оказался соседом на одном столе в Таврическом дворце в ночь 27-го с Милюковым, последний ему сказал: «Чем бы все это ни кончилось, одно несомненно, с этим... (следует резкое слово в передаче мемуариста) у нас ничего не может быть общаго». Шингарев перваго марта категорически говорит французскому журналисту Ано, что вопрос о династии уже не ставится: царь должен

будет покинуть трон – как это произойдет, докажет будущее. На таком предположении и построена была вся агитационная часть речи Милюкова. Она была произнесена около 3 час. дня. Своему экспромту на случайном безответственном очередном митинге в стенах Таврическаго дворца Милюков придавал такое декларативное значение, что сам выправил, по утверждению Набокова, текст речи для печати. Таким образом перед нами заверенный текст речи, довольно странной для оратора, который старался в эти часы спасти монархический принцип.

«Мы присутствуем при великой исторической минуте» – начал оратор. – «Еще три дня тому назад мы были скромной оппозицией, а русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство рухнуло в грязь, с которой сроднилось, а мы и наши друзья слева выдвинуты революцией, армией и народом на почетное место членов перваго русскаго общественнаго кабинета. Как могло случиться это событие, казавшееся еще так недавно невероятным? Как произошло то, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим, оказалась чуть ли не самой короткой и самой безкровной из всех революций, которыя знает история. Это произошло потому, что эта история не знает и другого правительства, столь трусливаго и изменническаго, как это ныне низвергнутое правительство, покрывшее себя позором»... «Правительство мы свергли легко и скоро... Остается удержать в руках эту победу». Оратор призывал «сохранить то единство воли и мысли, которое привело... к победе». Существующия разногласия «стушевываются перед той главной задачей, которая еще не разрешена вполне: задачей – создать новую народную власть... Будьте едины в устранении политических споров, быть может, и важных, но сегодня могущих еще вырвать из наших рук плоды победы. Будьте едины и вы, солдаты и офицеры великой и славной русской армии, и помните, что армия, ...потерявшая это единство... обращается в безпорядочную толпу, и всякая горсть вооруженных организованных людей может взять ее голыми руками»... «Я слышу, меня спрашивают: кто вас выбрал? Нас никто не выбрал, ибо, если бы мы стали дожидаться народнаго избрания, мы не могли бы вырвать власть из рук врага[138]. Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, враг успел бы организоваться и победить и вас, и нас». «Нас выбрала русская революция» – заключил гордо Милюков... «Мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободно избранные народные представители скажут нам, что они хотят... выбрать других людей, более заслуживающих их доверие... Но мы не отдадим этой власти теперь, когда она нужна, чтобы закрепить победу народу – упавшая из наших рук, она может достаться только врагу».

Оратора прерывают вопросом: «кто министры? для народа не может быть тайны». «Во главе нашего министерства мы поставили человека, имя котораго означает организованную русскую общественность (крики: «цензовую»), так непримиримо преследовавшуюся старым правительством... Вы говорите «цензовая общественность», да, но единственно организованная, которая даст потом возможность организоваться и другим слоям русской общественности. Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность не цензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве. Я только что получил согласие моего товарища А. Ф. Керенскаго запять пост в первом русском общественном кабинете. Мы безконечно рады были дать в верныя руки этого обществешиаго деятеля то министерство, в котором он воздаст справедливое возмездие прислужникам стараго режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым... трусливые герои дней, прошедших на войне, по воле судьбы окажутся во власти не щегловитовской юстиции... Вы хотите знать другия имена? (крики: «а вы?») «Мне мои товарищи поручили взять руководство внешней политикой. Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром, но я могу, обещаюсь вам, что при мне тайны русскаго народа не попадут в руки наших врагов. Теперь я скажу вам имя, которое я знаю, возбудит здесь возражения. А. И. Гучков был нам политическим врагом (крики: «другом») в течение всей жизни Гос. Думы. Но, господа, мы теперь политические друзья, да и к врагу надо быть справедливым... Он положит первый камень той победы, в которой наша обновленная и возрожденная армия выйдет из настоящей великой борьбы...» – «Когда я в этой зале говорю с вами, Гучков на улицах (?!) столицы организует нашу победу (Гучков как раз в этот момент выехал в Псков, С. М.).Что бы сказали вы, если вместо того, чтобы разставлять войска вчера ночью на вокзалах, к которым ожидалось прибытие враждебных перевороту войск, пришлось принять участие в наших политических прениях, а враждебныя войска, занявши вокзалы, заняли бы улицы, а потом и эту залу? Что стало бы тогда с вами и со мной»?!..Упомянув о Коновалове и Терещенко, введенных в министерство в качестве представителей той либеральной группы русской буржуазии, которая пыталась организовать «общественное представительство рабочаго класса» (т. е. военно-промышленные комитеты), и ограничившись относительно Терещенки меланхолическим замечанием: «Россия велика, и трудно везде знать всех наших лучших », оратор два слова сказал еще о Шингареве и Некрасове, «особенно любимым нашими левыми товарищами». Об остальных министрах оратор умолчал. *Ну вот,*

кажется, все, что вас может интересовать(?) «А программа» – спрашивают Милюкова. «Я очень жалею, что... не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что *единственный экземпляр* программы, обсужденной вчера (сегодня?) в длинном ночном совещании с представителями Совета Р. Д., находится сейчас на окончательном разсмотрении их... Но, конечно, я могу и сейчас сказать вам важнейшие пункты (Шум, громкие крики: «а династия»?)... Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен... Власть перейдет к регенту, в. кн. Мих Ал. Наследником будет Алексей (крики: «это старая династия»!). Да, господа, это старая династия, которую, может быть, не любите вы, а, может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто кого любит. Мы не можем оставить без *ответа и без решения вопрос о форме государственнаго строя* . Мы представляем его себе, как парламентскую и конституционную монархию. Быть может, другие представляют иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того, чтобы сразу, решить, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим. Этого мы сделать не имеем права ни перед вами, ни перед собой. Однако, это не значит, что мы решили вопрос безконтрольно. В нашей программе вы найдете пункт, согласно которому, как только пройдет опасность и водворится прочный порядок, мы приступим к подготовке созыва Учр. Собр. на основе всеобщаго. прямого, равнаго и тайнаго голосования. Свободно избранные народные представители решат, кто вернее выразит общее мнение России: мы или наши противники»...

В напряженной обстановке того времени выпадами против старой власти, которые даже Суханов назвал «демагогическими», вождь «цензовой общественности» думал защитить самую идею монархии! Он, конечно, только дискредитировал ее во мнении толпы. Политик, считавший, что другие говорят на «неподходящих струнах», не учел того настроения, с которым он может встретиться. По разсказу Милюкова, речь его была встречена многочисленными слушателями, переполнявшими зал, с энтузиазмом, и оратора вынесли на руках по ея окончании. Вероятно так и было. Настроение разнокалиберной толпы не могло быть целостно. Оратор, выступая от имени новаго революционнаго правительства, говорил об Учред. Собрании. как о хозяине земли русской. Но совсем иное, отношение встречали его слова о монархии. Историк, повидимому, очень смягчает, когда упоминает, что «среди шумных криков одобрения

слышались и ноты недовольства и даже протесты». В тогдашнем отчете «Известий» сказано так: «Продолжительные негодующие крики, возгласы: «да здравствует республика», «долой династию». Жидкие аплодисменты, заглушенные новым взрывом негодования». По разсказу Шляпникова, – едва ли он был очевидцем, – «Милюков в течение нескольких минут не мог продолжать своей речи»...

Все свидетельства однородны в одном: вопрос, который был как бы затушеван в первые дни, после выступления Милюкова стал в сознании массы во всей своей остроте. Исп. Комитет, каждый его член утверждает Шляпников – «был буквально засыпан вопросами относительно судьбы династии». «Без недоразумений по поводу династии с этих пор уже не обходились митинги «и публичныя речи» – пишет Суханов, вспоминая, как ему тотчас же пришлось говорить на эту тему перед «несметной» толпой («в несколько десятков тысяч человек»), собравшейся перед Таврическим дворцом и вызвавшей через делегацию членов Исп. Ком. Суханов говорил о том, что в вопросе о монархии существует, еще не ликвидированное разногласие и, по его словам, он тут впервые понял, как остро в глазах массы стоит вопрос, которому он лично не придавал решающаго значения. Из Таврическаго дворца разговоры перешли на улицу и проникли в казармы, где «буйно», по выражению Вл. Львова, говорили, что «не потерпят никого из Романовых на престоле», обостряя с таким трудом налаживавшияся отношения между офицерами и солдатами. Не только тогдашняя молва, но и позднейшие мемуаристы «безмерно преувеличили» то крайнее возбуждение, которое вызвали слова Милюкова. Сам Милюков в таких словах подвел итог дня: «Поздно вечером в здание Таврическаго дворца проникла большая толпа чрезвычайно возбужденных офицеров, которые заявили, что не могут вернуться к своим частям, если П. Н. Милюков не откажется от своих слов. Не желая связывать других членов правительства, П. Н. Милюков дал требуемое заявление в той форме, что «его слова о временном регентстве в. кн. Мих. Ал. и о наследовании Алексея являются его личным мнением»[139]. Это было, конечно, неверно, ибо во всех предшествовавших обсуждениях вопрос этот считался решенным сообща в том смысле, как это излагал П. Н. Милюков. Но напуганный нароставшей волной возбуждения Врем. Ком. «молчаливо отрекся от прежняго мнения».

Дело было не в «молчаливом» отречении. Милюкова никто не уполномачивал выносить спорный вопрос на обсуждение улицы и преждевременно разглашать то, что большинство склонно было разрешить по методу Гучкова, т. е. поставив массу перед совершившимся фактом.

План этот в значительной степени был сорван неожиданным выступлением Милюкова – для сторонников монархии это была поистине медвежья услуга. «Демократия» не только насторожилась ввиду столь определенной позиции, публично выявленной лидером «цензовой» общественности (припомним, что одновременно выступавший в Совете Керенский не шел дальше заявления о свободе «агитации по поводу форм будущаго государственнаго устройства России, не исключая и республики»), но и почувствовала, что ея осторожность в вопросе о форме власти не соответствует настроению в массах в революционном, по крайней мере, центре, здесь весь «воздух», по выражению дневника Гиппиус, в эти дни был «против династии». «Романовых не оставляйте, нам их не нужно» .– сказал какой-то незнакомый старик, встретивший Набокова на улице. Так естественно, что приспособлявшаяся к настроениям крикливая «Русская Воля» первая поспешила провозгласить республиканский лозунг и даже создать эфемерную организацию под названием «республиканский союз». Это не означало вовсе, что все вдруг стали добрыми республиканцами. Я не повторил бы, что монархия «умерла в сердце» двухсотмиллионнаго народа задолго до возстания в столице, как вскоре заявляло приспособившееся к господствующим настроениям суворинское «Новое Время»[140], но это означало, что в солдатской массе («вооруженный народ»), определявшей до известной степени ход событий, под напором столичных слухов и сплетен, действительно уничтожена была «мистика» царской власти, о чем в связи с проявлениями антидинастическаго движения не раз говорили предреволюционныя записки органов департамента полиции (см. «Легенду о сепаратном мире»). Все это облегчало республиканскую пропаганду. Полусознательное отталкивание от монархии должно было вызывать в массе то чувство боязни ответственности за содеянное, о котором приходилось упоминать. Революция, заканчивающаяся возстановлением старой династии, в сущности превращалась в бунт, за участие в котором при изменившейся коньюнктуре могло грозить возмездие.

IV. Соглашение

То настроение, которое наростало под влиянием слухов о речи Милюкова, сказалось, как мы видели, к ночи, когда толпа возбужденных офицеров появилась в Таврическом дворце с требованием от Врем. Комитета соответствующаго разъяснения. Один из мемуаристов (Вл. Львов) определяет более точно – к 12 час. ночи. Первоначально декларация, сделанная в Екатерининском зале, не возбудила сомнений у «верховников» Исп. Ком. По крайней мере, если придерживаться описания, даннаго Сухановым, то придется заключить, что обстановка мало изменилась, когда делегаты Совета после того, как в пленуме было одобрено памеченное соглашение, в восьмом часу вечера явились к «цензовикам» для завершения дела «образования правительства». Фактически «делегация» свелась уже к двухчленному составу: Стеклов и Суханов. Соколов исчез, а Чхеидзе, председательствовавший в этот момент на митинге в зале Совета, сердито отмахнулся от Суханова и не пошел на словоговорение с «цензовиками». Стоя на председательском столе, окруженный наэлектризованной толпой, он с энтузиазмом кричал «ура» по поводу полученнаго вздорнаго сообщения о том, что в Берлине уже второй день идет революция...

По словам Суханова, у «цензовиков» на этот раз не было уже и «подобия официальнаго и вообще организованнаго заседания», шел разговор между Милюковым, Стекловым и Сухановым, в котором «не принимали никакого или почти никакого участия остальные, находившиеся в комнате». Отмечаем вновь эти мелочи для того, чтобы показать обстановку, в которой решались важнейшие вопросы – по крайней мере в изображении одного из участников этих переговоров. Советские делегаты вернулись прежде всего к вопросу о форме правления и пытались убедить Милюкова, что из его стремления «навязать Романовых» не выйдет «ровно ничего, кроме осложнений, которыя не помогут делу монархии, но выразятся в наилучшем случае в подрыве престижа их собственнаго кабинета». В ответ они услышали слова Милюкова («за точность передачи я ручаюсь» – утверждает мемуарист): «Учр. Собрание может решить, что угодно. Если оно выскажется против монархии, тогда я могу уйти. Сейчас же я не могу уйти. Сейчас, если меня не будет, то и правительства вообще не будет. А если правительства не будет, то... вы сами понимаете»... В конце концов – разсказывает Суханов–"мы согласились непомещать в правительственной декларации

официальнаго обязательства «не предпринимать шагов, определяющих форму правления'". Мы согласились оставить вопрос открытым и предоставить правительству... хлопотать о романовской монархии. Мы же категорически заявили, что Совет с своей стороны безотлагательно развернет широкую борьбу за демократическую республику»[141].

«Фигура умолчания, найденная нами в качестве выхода из положения, была, конечно, компромиссом» – замечает Суханов. Форма умолчания, конечно, не могла быть по существу компромиссом. Получалась правовая безсмыслица, которая сводила на нет достигнутое якобы соглашение – каждый партнер намеревался продолжать вести свою игру. Логика в данном случае была на стороне представителей «революционной демократии». Не без основания Гиппиус записала 2-го: «Что же это будет за Учр. Собрание при учреждении монархии и регентства? Не понимаю». Не понимали этого и в Москве, где Комитет общ. организаций обсуждал этот вопрос 3-го марта в связи с полученным еще не официально сообщением об отречении Императора. На заседание – сообщали «Рус. Вед.» – явились «представители рабочих депутатов и указали на необходимость решить теперь же вопрос о регентстве и династии, пока не скажут, что дело уже сделано, и признают регентом одного из представителей Дома Романовых». Представители Совета заявили, что Совет признает только одно Учред. Собрание; монархии допустить не может и будет поддерживать, свое мнение «до конца». – Он высказывается за демократическую республику. В последующих прениях (по газетному отчету) выступают исключительно лишь представители «цензовой» общественности. Если к. д. Тесленко стоит на формальной позиции и считает обсуждение вопроса преждевременным, ибо неизвестно: существует ли император (раз императора нет, то не должно быть и регента), то к. д. Кишкин сомневается, чтобы монархия («это сила – не наша») являлась тем элементом, который помог дойти до Учред. Собрания: царь нужен, «если мы не сумеем организовать Учр. Собр.», до созыва У. С. «нам не нужно ни монарха, ни регента»[142]. Представителю торгово-промышленных служащих Начевкину (к. д.) вопрос представляется совершенно ясным: временное правительство ручается за созыв Учр. Собрания; раз будет У. С, то для чего нужна монархия? Раз будет монарх, то для чего нужно Учред. Собрание?.. Собрание «единогласно», при одном воздержавшемся (к. д. Пржевальском) постановило довести до сведения временнаго правительства, что « учреждение какой-бы то ни было монархической власти до созыва У. С. недопустимо; вся полнота власти должна принадлежать временному

правительству, которое созывает У. С. для создания такого политическаго строя, какой обезпечнл бы все права свобод». Сами «Рус. Вед.» по поводу этих прений писали: «Было бы самым ужасным несчастьем для России, если бы разногласия по этому вопросу[143]замедлили и осложнили процесс образования признанной всеми *исполнительной* власти, ибо немедленное завершение этого процесса есть вопрос жизни и смерти для свободной России. Без этого свобода обречена на гибель». Московский орган либеральной демократии делал довольно своеобразное заключение: «при настоящих условиях инициатива в решении вопроса о форме верховной власти естественно (?!) принадлежит временному правительству».

Сознание необходимости немедленнаго образования « исполнительной» власти в значительной степени, как мы видели, продиктовало оригинальную форму умолчания, на которой после безполезных дискуссий остановились в Петербурге представители двух секторов общественности. В действительности это была страусова политика, ибо «монопольный лидер» буржуазно-демократическаго лагеря предрешал вопрос не только на митинговых собраниях. В тот же день он, в качестве министра ин. д., заявил представителям иностранной печати: «Новое правительство считает необходимым, чтобы отречение Государя от престола состоялось официально, и чтобы регентство было возложено временно на в. кн. Мих. Ал. Таково *наше решение* и изменить его мы не считаем возможным». Трудно сказать, как разрешился бы неизбежный конфликт, если бы жизнь не разрешила его наперекор теоретическим калькуляциям политиков...

Вечером 2-го избранная формула умолчания казалась еще удовлетворительной – тем, кто сошлись в помещении Врем. Комитета для формальнаго завершения дела соглашения «буржуазии» и «демократии». С решением «третьяго пункта» – разсказывает Суханов – окончилось уже всякое обсуждение «высокой политики» и оставалось только окончательно проредактировать первую «конституцию Великой Российской Революции, к которой согласно постановлению Совета было добавлено, что «Временное Правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеуказанных реформ и мероприятий»[144]. Возник вопрос, от имени кого опубликовать правительственную декларацию. «От Врем. Комитета Гос. Думы» – предложил Милюков. «При чем тут Гос. Дума и ея комитет» – возразил Суханов. «Чтобы сохранить преемственность власти» – ответил Милюков, не очень, однако, настаивая на упоминании Гос. Думы. Решено было

написать: «от Временнаго Правительства». Пошли собирать подписи министров. Годнев отказался подписать[145]. «Зато подвернулся» Родзянко, который «сам счел необходимым благословить революционное правительство своею подписью». Мемуарист не только забыл (или игнорировал) постановление Совета, что правительственный манифест должен появиться одновременно за подписью председателя Врем. Ком. Гос. Думы и установленнаго Врем. Правительства, но и не потрудился вчитаться даже при написании своих «записок» в тот официальный документ, в создании котораго принимал самое непосредственное участие. Правительственная декларация была опубликована вовсе не от имени того сформированнаго 2 марта Временнаго Правительства (т. е. «общественнаго кабинета» во главе с кн. Львовым), а от имени того временнаго правительства, которое создала революция 27 февраля, т. е. Временнаго Комитета Гос. Думы. Декларация начиналась словами «Временный Комитет членов Г. Д. при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха над темными силами стараго режима, которая дозволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти. Для этой цели Врем. Ком. Г. Д. *назначает* министрами перваго общественнаго кабинета следующих лиц, доверие к которым в стране обезпечено их прошлой общественной и политической деятельностью[146]...

Так создалось, по «соглашению» с Советом или с «разрешения» Совета (по терминологии некоторых представителей левой общественности) то формально назначенное Временным Комитетом старой Государственной Думы первое революционное правительство, которому суждено было проводить утлую ладью русской государственности через взбаломученный океан революционных страстей.

Глава пятая. Отречение

I. В Царской Ставке

1. Информация из Петербурга

Когда делегаты думскаго Комитета выезжали из Петербурга, вопрос об отречении Государя был принципиально в Пскове уже разрешен, и вмешательство делегации лишь задержало опубликование манифеста и тем самым скорее осложнило проблему сохранения монархическаго строя, ради которой делегаты поехали в Псков. Мало того, эта задержка на несколько часов оказала роковое влияние на последующую судьбу Царя. Почему Николай II, в сущности так легко внешне отказавшийся от борьбы за престол, не откликнулся сразу в критический момент на настойчивые призывы пойти навстречу общественному мнению и удовлетворить почти всеобщее требование, если не ответственнаго парламентскаго министерства, то по терминологии того времени «министерства доверия», как единственнаго выхода из создавшагося положения. Для того, чтобы очертить объективно психологию Императора, надо обозреть хотя бы последние годы его царствования, – годы войны и предреволюционнаго периода[147]. В данном случае нас будут занимать не психологическия переживания царствовавшаго монарха, а «то, как он непосредственно реагировал на февральския события.

Вечером 26-го (в 9 ч. 53 м.) председатель Думы, охарактеризовав «угрожающие размеры» петербургских волнений, которыя принимают «стихийный характер», отправил Царю умоляющую телеграмму: «Государь, спасите Россию», – взывал Родзянко: «Ей грозит унижение и позор. Война при таких условиях не может быть победоносно окончена, так как брожение распространилось уже на армию и грозит развиться, если безначалию и безпорядку власти не будет положен решительный конец[148]... Государь, безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна и поручите ему составить правительство, которому может доверять все население. За таким правительством пойдет вся Россия. В этот небывалый по ужасающим последствиям и страшный час иного выхода нет и медлить невозможно»[149]. Получив эту телеграмму, Николай II, по словам Фредерикса в показаниях Чр. Сл. Ком., будто бы, сказал: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать»[150].

Правда, на показания престарелаго министра Двора, до чрезвычайности разстроеннаго обрушившимися на него личными бедами после революции – разгромом и пожаром его дома в Петербурге, болезнью жены – и, по собственному признанию, совершенно потерявшаго память,

не приходится слишком полагаться, но, вероятно, Царь считал крайним преувеличением ту взволнованность, которая проявилась в телеграмме председателя Думы. Полученныя Государем «лживыя» успокоительныя телеграммы командующаго войсками Хабалова (и отчасти военнаго министра Беляева и мин. в. д. Протопопова) могли казаться такими после революции, но в момент, когда оне посылались в Ставку, оне соответствовали более или менее действительности или, вернее, тому настроению, под которым воспринималась тогда почти всеми эта действительность. Мало кто видел в петербургском бунте реальную прелюдию к революции. Вернее никто. Что может быть характернее простого сопоставления двух одновременных, независимых друг от друга, отзывов о начавшихся волнениях в Петербурге со стороны лиц, которыя находились в смысле своего общественнаго положения на диаметрально противоположных полюсах: «Это – хулиганское движение, – писала 25 февраля имп. А. Ф. мужу – мальчишки и девченки бегают и кричат, что у них нет хлеба – просто для того, чтобы создать возбуждение... Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя». Почти такую же характеристику с упоминанием о «мальчишках и девченках» дал начавшемуся движению на официальном приеме у московскаго командующаго войсками Мрозовскаго проф. Мануилов, редактор руководящаго органа тогдашней либеральной мысли, известный политико-экономист и будущий член революционнаго правительства[151]. Царь был «слеп» не более других. Можно удивляться, но не приходится иронизировать post factum по поводу непредусмотрительности правящих кругов, которые одни только узнали, что «пришла революция», т. е. не придавали февральской забастовке и уличным демонстрациям характера политическаго (Щеголев).

В Ставку отклики на быстро текущия в Петербурге события приходили с опозданием. Недаром Рузский на копии телеграммы Родзянко 26-го «делал пометку: "Очень жаль, что с 24 по 27 не удосужились сообщить о том, что делается в Петрограде»... Рузский добавил, что не сообщали на фронт «может быть, и с целью»[152]. Конечно, никакой задней цели не было. Дело было только в том, что у самых предусмотрительных людей в действительности еще не было ощущения наступавшей "катастрофы», которую 26-го вечером почувствовал Родзянко. На первую телеграмму Хабалова к вечеру 25-го о начавшейся забастовке и демонстрациях 23-го и 24-го, при разгоне которых «оружие войсками не употреблялось», Царь лаконически ответил «за личной подписью»:

«Повелеваю завтра же прекратить в столице безпорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». В Чр. Сл. Ком. Хабалов показывал, что эта телеграмма хватила его, как бы «обухом»: «как прекратить завтра же? Что я буду делать? Как мне прекратить? Когда говорят: хлеба дать – дали хлеб и кончено. Но когда на флагах надпись: долой самодержавие, какой же тут хлеб успокоит». «Царь велел: стрелять надо, и я убит был».

Через час после получения телеграммы, около 10 ч. веч. 25-го, по словам Хабалова, собрались командиры запасных батальонов. Главнокомандующий осведомил их о царской телеграмме и указал, что должно быть применено «последнее средство», т. е., «раз толпа агрессивна, то действовать по уставу – после троекратнаго сигнала открывать огонь»[153]. И в воскресенье 26-го оружие было пущено в ход в большем масштабе. чем в предшествовавшие дни. Трудно не усмотреть в показаниях Хабалова перед революционным следствием попытки снять с себя ответственность за разстрел толпы. Хабалов телеграмму Императора в показаниях относил к 9 час. веч. 25-го. а между тем на подлиннике телеграммы самого Хабалова, адресованной нач. верх. штаба, имеется пометка рукою Алексеева: «доложено Государю Императору 26», другими словами, очевидно, телеграмма Николая II могла быть послала лишь 26-го – в публикации Сторожева она и помечена 22 часами двадцать шестого[154].

26-го Император не проявлял большого безпокойства. Он писал в этот день жене: «Я надеюсь, что Хабалов сумеет быстро остановить эти уличные безпорядки. Протопопов должен дать ему ясныя и определенныя инструкции. Только бы старый Голицын не потерял голову». В 9 ч. 20 веч. из Ставки пошла телеграмма в Царское: ..."Выезжаю послезавтра. Покончил здесь со всеми важными вопросами. Спи спокойно»...

Одновременно со «всеподданнейшей» телеграммой Царю Родзянко телеграфировал и нач. верх. штаба... Телеграмма Алексееву почти дословно совпадала с текстом, адресованным Царю, и оканчивалась призывом к нач. штаба своим предстательством перед Царем («молю вас о том от всей души») «спасти Россию от катастрофы... в ваших руках... судьба, слава и победа России». Копии были посланы и главнокомандующим фронтами: «поручение исполнил», – ответил просто Рузский и более претенциозно Брусилов: «свой долг перед родиной и Царем исполнил» (эти ответы были напечатаны в московских газетах 2 марта). Брусилов в час ночи телеграфировал Алексееву, что «при наступившем грозном часе другого выхода не вижу» (т. е. последовать совету Родзянко). Эверт позже, днем 27-го, уклонялся от ответа в

телеграмме на имя Алексеева: «Я – солдат, в политику не мешался и не мешаюсь. По отрывочным доходящим до меня слухам, насколько справедливо все изложенное в телеграмме по отношению внутренняго положения страны, судить не могу». Рузский телеграфировал непосредственно Царю в 9 ч. веч. 27-го. Не касаясь министерскаго вопроса, главнокомандующий Севернаго фронта указывал лишь на необходимость «срочных мер» для успокоения населения и предостерегающе предупреждал, что «ныне армия заключает в своих рядах представителей всех классов, профессий и убеждений, почему она не может не отразить в себе настроений страны». «Позволяю себе думать, – заключал Рузский, – что при существующих условиях меры репрессий могут скорее обострить положение, чем дать необходимое длительное умиротворение».

В течение дня и вечера 27-го все эти телеграммы доложены были Царю[155]. В час дня в связи с перерывом занятий Думы пришла на имя Царя новая телеграмма Родзянко, в очень решительных тонах, призывавшая носителя верховной власти «безотлагательно» вновь созвать законодательныя палаты и призвать новую власть на началах, изложенных в предшествовавшей телеграмме председателя Думы: «Государь, не медлите» – телеграфировал Родзянко: «Если движение перебросится в армию, восторжествует немец, и крушение России и с ней династии неминуемо. От имени всей России прошу В. В. об исполнении изложеннаго. Час, решающий судьбу войск и родины, настал. Завтра может быть уже поздно». Это не было увещанием человека, через несколько часов присоединившагося – пусть вынужденно – к революционному движению. Родзянко говорил не о «революции» , а о «бунте», который грозит гибелью государству: «Последний оплот порядка устранен. Правительство совершенно безсильно подавить безпорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров, примкнув к толпе и народному движению, они направляются к дому мин. вн. д. и Государственной Думе (очевидно, не для того, чтобы сделать Думу вождем революционнаго движения. *С. М.*). Гражданская война началась и разгорается». Логически из телеграммы Родзянко следовало, что дело шло в данный момент не столько о перемене в составе министерства, сколько о необходимости ликвидировать анархический бунт, начавшийся в столице. Почти одновременно с телеграммой Родзянко Царю была доставлена телеграмма Хабалова, излагавшая происшествия в Волынском полку и отклики их в гарнизоне: «принимаю все меры, которыя мне доступны, для подавления

бунта. Полагаю необходимым прислать немедленно надежныя части с фронта». Так возникла в Ставке мысль о посылке «карательной» экспедиции во главе с ген. Ивановым, окончательно, очевидно, оформившаяся к моменту получения Алексеевым телеграммы (в 7 ч. 35 м. от военнаго министра Беляева, помечена № 197[156]: «Положение в Петрограде становится весьма серьезным. Военный мятеж немногими оставшимися верными долгу частями погасить пока не удается; напротив того, многия части постепенно присоединяются к мятежникам. Начались пожары, бороться с ними нет средств. Необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, при том в достаточном количестве для одновременных действий в различных частях города»[157]. Нет никаких оснований приписывать инициативу посылки Иванова в Петербург с чрезвычайными полномочиями лично Императору, так как совершенно очевидно из последующаго, что сам нач. верх, штаба понял обстановку, изложенную в телеграмме Родзянко и поясненную телеграммами Хабалова и Беляева, как наличие анархическаго бунта, который надо прежде всего ликвидировать военной силой. Разговаривая через некоторое время по прямому проводу с нач. штаба Севернаго фронта Даниловым по поводу миссии Иванова и назначения в его распоряжение соответствующих воинских частей с «надежными, распорядительными и смелыми помощниками» («прочных генералов», как выражался Алексеев. отмечавший, что Хабалов «повидимому растерялся»), Алексеев заключил: «минута грозная, и нужно сделать все для ускорения прибытия прочных войск. В этом заключается вопрос нашего дальнейшаго будущаго»[158]. В письме к жене, написанном до назначения Иванова, Государь говорил: «после вчерашних известий из города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен, но полагает, что необходимо назначить очень энергичнаго человека, чтобы заставить министров работать для разрешения вопросов: продовольственнаго, железнодорожнаго, угольнаго и т. д. Это, конечно, совершенно справедливо». Ясно, что речь идет не о реорганизации Совета министров, а о назначении ответственнаго лица с диктаторскими полномочиями, что соответствовало давнишним проектам ген. Алексеева. Эту черту следует учитывать, когда обращаешься к воспоминаниям тех, кто в описываемые дни находились в Ставке. В сознаинии мемуаристов события 27 февраля – 1 марта подчас сливаются в одну общую картину. Желая подчеркнуть свое понимание создавшейся обстановки и свою предусмотрительность, они невольно факты 27 февраля вставляют и рамку последуюших явлений. Мы это видим в воспоминаниях генерал-квартирмейстера Ставки Лукомскаго. Внешне он старается быть

очень точным даже в датах, отмечая часы разговоров и проч. Но именно эта мемуарная точность без соответствующих справок с документами, которые вступают в противоречие с утверждениями мемуариста, и лишает воспоминания ген. Лукомскаго в деталях исторической достоверности. Непосредственный очевидец и участник драмы, разыгравшейся в Ставке, разсказывает о том, как ген. Алексеев безуспешно пытался воздействовать на Царя, в соответствии с настояниями, которыя шли из Петербурга и в частности с упомянутой телеграммой, полученной от председателя Совета министров кн. Голицына. Эту телеграмму Лукомский ошибочно отнес на дневное время – она могла быть получена в Ставке лишь вечером[159]

. В опубликованных документах Ставки телеграммы Голицына нет. Воспроизвести ее можно только в изложении, явно неточном, Блока, причем самое главное место у автора приводится не в подлинных словах телеграммы. Совет министров «дерзал» представить Е. В. о «безотложной необходимости» объявить столицу на осадном положении, что было выполнено уже «собственной властью» военнаго министра «по уполномочию» Совета. Совет министров «всеподданнейше» ходатайствовал о «постановлении во главе оставшихся верных войск одного из военачальников действующей армии с популярным для населения именем». «Далее указывалось, – пишет уже Блок, – что Совет министров не может справиться с создавшимся положением, предлагает себя распустить, назначить председателем Совета министров лицо, пользующееся общим доверием и составить *ответственное министерство* ». Последнее толкование Блока более чем произвольно. Перед Чр. Сл. Ком. Голицын засвидетельствовал, что он никого не указывал в качестве лица, «облеченнаго доверием Государя» и не возбуждавшаго «недоверия со стороны широких слоев общества ». На вопрос председателя: имелась ли в виду диктатура, Голицын ответил: «Мне лично не диктатура. Мне представлялось так, что мог быть таким лицом нынешний же председатель Совета министров, что этот человек, известный широким кругам общества, и мог бы умиротворить». Голицын говорил, что телеграмма, редактированная министрами Покровским и Барком была послана вечером «в шесть часов или в семь».

«Генерал Алексеев, – разсказывал Лукомскй, – хотел эту телеграмму послать с офицером для передачи ея Государю через дежурнаго флигель-адьютанта. Но я сказал ген. Алексееву, что положение слишком серьезно, и надо ему итти самому, что, по моему мнению, мы здесь не отдаем себе достаточнаго отчета в том, что делается, что, по-видимому, единственный выход – это поступить так, как рекомендуют Родзянко, Вел. Князь и кн.

Голицын, что он, ген. Алексеев, должен уговорить[160]. Ген. Алексеев пошел. Вернувшись минут через десять, он мне сказал, что Государь остался очень недоволен содержанием телеграммы Голицына и сказал, что сам составит ответ... «Государь со мной просто не хотел говорить»... «Часа через два ко мне в кабинет прибежал дежурный офицер и сказал, что в наше помещение идет Государь... Е. В, спросил меня: где ген. Алексеев?» – Он у себя в комнате, чувствует себя плохо и прилёг[161]. «Сейчас же передайте ген. Алексееву эту телеграмму... При этом скажите, что это мое окончательное решение, которое я не изменю, и поэтому безполезно мне докладывать ёще что-либо по этому вопросу». Ответ Царя Голицыну мы имеем в точной копии из архива Ставки: «О главном военном начальнике для Петрограда мною дано повеление нач. моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск. Лично вам предоставляю все необходимыя права по гражданскому управлению. Относительно перемены в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми».

По памяти Лукомский очень неточно воспроизводил текст телеграммы, переданной ему Царем. По его словам, кроме предоставления председателю Совета министров «диктаторских прав по управлению», «диктаторскими полномочиями» снабжался и командируемый для «подавления возстания и установления порядка» Иванов. «Получались в Петрограде две диктатуры!» – восклицает автор, ошибочно объединивший два разных момента, ибо вопрос о «диктаторских полномочиях» Иванова всплыл в последующем ночном свидании Царя с Ивановым уже в вагоне отъезжающаго из Могилева Императора. «Я попросил ген. Алексеева, – продолжает Лукомский, – итти к Государю и умолять изменить решение... После некоторых колебаний нач. штаба пошел к Государю. Вернувшись, он сказал, что Государь решения не меняет. Телеграмма была послана». Когда? – Мы имеем определенную документальную дату: в 11 ч. 25 м. вечера[162].

Приблизительно за час до отправки телеграммы Голицыну Алексеев был вызван из Петербурга к прямому проводу в. кн. Мих, Алекс. Последний просил от его имени доложить Царю, что «для немедленнаго успокоения принявшаго крупные размеры движения... необходимо увольнение всего состава Совета министров»... «При теперешних условиях, – говорил Мих. Ал., – полагаю единственно остановить выбор на лице, облеченном доверием В. И. В. и пользующемся уважением в широких слоях, возложив на такое лицо обязанности председателя Совета министров, *ответственнаго единственно* перед В. И. В. Необходимо

поручить ему составить кабинет по его усмотрению. В виду чрезвычайно серьезнаго положения не угодно ли будет В. И. В. уполномочить меня безотлагательно объявить об этом от Высочайшаго В. И, В. имени, причем с своей стороны полагаю, что таким лицом в настоящий момент мог бы быть кн. Львов». « *Сейчас* доложу Е. И. В. телеграмму В. И. В. *Завтра*[163]Государь Император выезжает в Царское Село» – отвечал Алексеев. Великий Князь просил Алексеева доложить и то, что по его убеждению «приезд Государя Императора в Царское Село, может быть, желательно отложить на несколько дней». Через короткий промежуток Алексеев дал ответ Великому Князю: Царь выезжает сам в Царское Село; все мероприятия, касающияся личнаго состава правительства, Царь отлагает ко времени своего приезда в Ц. С, на следующий день в качестве главнокомандующаго петербургским округом отправляется ген. Иванов с надежными воинскими частями. Алексеев обращался с «личной просьбой» к Вел. Князю «настойчиво» поддержать при свидании с Царем мысль о необходимости «замены современных деятелей Совета министров» и «способа выбора новаго Совета» – «и да поможет В. И. В. Господь Бог в этом важном деле». «С своей стороны, – добавлял нач. верх. штаба, – сообщаю лично вам, что я опасаюсь, как бы не было упущено время до возвращения Е. В., так. как при настоящих условиях дорог буквально каждый час»[164]. Ген. Лукомский передает более резкий ответ Царя: «Государь де «благодарит за совет, но что он сам знает, как поступить». Возможно, что Алексеев смягчил ответ в передаче, но мы должны помнить, что мемуарист воспроизводит прошлое только по памяти, причем самое предложение Вел. Кн. формулирует не так, как оно занесено на официальной ленте разговора: Лукомский говорит об ответственном перед Гос. Думой правительстве.

2. «Ответственное Министерство»

Разговор со Ставкой Мих. Ал. явился результатом беседы его 27-го с Родзянко и Голицыным. Стенографическая запись допроса последняго в Чр. Сл. Ком. в таких словах зафиксировала эту беседу (Голицын относил ее на 26-ое): «Мы (Родзянко и Голицын) просили Мих. Ал. принять на себя регентство временно, так как Государя нет, чтобы он принял хотя бы с превышением власти и чтобы нас (т. е. министров) сейчас же всех уволил и назначил новый Совет министров. Но он на это не пошел». В воспоминаниях председателя Думы дается пояснение, несколько противоречащее показаниям Голицына. Родзянко разсказывает, что совещание с Мих. Ал. в присутствии Голицына происходило у президиума Думы и происходило оно 27 февраля. В беседе приняли участие Некрасов (тов. пред. Думы), Дмитрюков (секретарь) и член Думы Савич. Представляется маловероятным, чтобы 27-го, после образования Временнаго Комитета, президиум Думы мог в 8 час. вечера совещаться с членами Совета министров. Это мог сделать еще колебавшийся председатель Думы. Повидимому, Родзянко спутал два совещания, 24-го происходило частное совещание Совета министров с президиумом законодательной палаты по вопросу о передаче продовольствия в ведение общественных организаций – так, между прочим, показал управляющий делами Совета министров Ладыженский[165]. Военный министр Беляев, присутствовавший на совещании 27-го и сопровождавший в. кн. Мих. Ал. в военное министерство для переговоров со Ставкой, в показаниях указывал совсем иной состав совещания – из общественников был только Родзянко. На совещании участвовало 5 человек: вел. кн. Михаил, Родзянко, Голицын, Беляев и гос. секр. Крыжановский. По словам Протопопова, отстраненнаго уже от дел, на совещании будто бы присутствовали в. кн. Кирилл и Гучков, которых Протопопов встретил в вестибюле, покидая Мариинский дворец.

В мое изложение надо все же внести оговорку. В недавно вышедших воспоминаниях кн. Шаховского, последняго министра торговли и промышленности, категорически говорится, что приехав в Мариинский Дворец 27-го на заседание Совета министров, он встретил «спускавшихся по лестнице Родзянко, Некрасова, Дмитрюкова и Савича». Шаховской добавляет, что во время заседания «в темноте несколько раз промелькнула сияющая фигура Гучкова...»

По существу Родзянко разсказывает следующее: «Великому Князю

было во всей подробности доложено положение дел в столице и было указано, что еще возможно спасти положение. Он должен был явочным порядком принять на себя диктатуру над городом Петроградом, побудить личный состав правительства подать в отставку[166] и потребовать по телеграфу, по прямому проводу, Манифест Государя Императора о даровании ответственнаго министерства. Нерешительность в. кн. Мих. Ал. способствовала тому, что благоприятный момент был упущен. Вместо того, чтобы принять активныя меры и собрать вокруг себя гарнизон, вел. кн. Мих. Ал. повел по прямому проводу переговоры с имп. Николаем II, получил в своих указаниях полный отказ и, таким образом, в этом отношении попытка Гос. Думы(?!) потерпела неудачу».

Оказавшись участвовать в сущности в перевороте (хотя и sui generis), который предлагал от имени думцев Родзянко, в. кн. М. А., как было указано, довел до сведения Царя о необходимости мероприятий, довольно далеко отстоящих от идеи ответственнаго министерства перед законодательным собранием. В этом нет ничего удивительнаго, ибо совершенно ясно, что на совещании 27-го, т. е. в день уже начавшейся революции, вопрос об «ответственном министерстве» не ставился и не мог быть поставлен при той неопределенности, которой может быть отмечена позиция даже передовых представителей «цензовой» общественности накануне роковых событий. Никакого конкретнаго плана действия у них не было, если не считать довольно расплывчатых проектов дворцоваго переворота, в которые были посвящены немногие, и осуществление которых будто бы намечалось на мартовския иды. Что может быть характернее выступления в качестве политическаго парламентера, в порядке как бы личном, думскаго златоуста, виднейшаго представителя фракции к-д., депутата Маклакова. Факт этот имел место в полном смысле слова накануне революции. Инициатива вышла из правительственных кругов, искавших выхода в критические дни. Вот что показывал в Чр. Сл. Ком. кн. Голицын: В заседания Совета министров 25-го «зашла речь о том, что предполагается в Гос. Думе в понедельник ряд выступлений, который повлекут за собой со стороны правительства обязанность распустить Думу... Я был против этого. Многие мои коллеги были тоже против. Тогда я просил министров ин. д. и земледелия, так как они знали большое количество членов Думы, переговорить с членами Думы о том..., как из этого выйти... Они ко мне приехали, повидимому, повидавшись с членами Думы, кажется, с Маклаковым и с Балашевым, и сказали мне, что по их мнению (т. е. членов Думы), нужно сделать перерыв, дабы страсти улеглись. Это заставило меня на несколько дней (?) сделать перерыв, боясь

роспуска». Военный министр Беляев добавил в своих показаниях, что решение о необходимости «найти почву для"соглашения и для «действия заодно с Гос. Думой» было принято «единодушно», и что переговоры были намечены на 26-ое: «Родзянко должен был поехать к кн. Голицыну, затем... Покровский и Риттих войдут в переговоры с некоторыми лидерами партий, если не ошибаюсь, с Маклаковым, Савичем и еще кем-то»... По утверждению Протопопова (мало правдоподобному) этим третьим был будто бы Милюков. Во всяком случае, состоялась беседа с Маклаковым.

Какую же программу действия предложил «самый умеренный из кадет и самый умный», по характеристике Шульгина?... На каких условиях Дума в лице Маклакова готова была «помочь» правительству? Формулируем словами самого Маклакова. «Берите на себя инициативу» – сказал Маклаков: «Поставьте завтра же Думу перед таким совершившимся фактом, который она сможет принять. Прежде всего отставка всего кабинета,... чтобы было ясно, что хотят итти новым путем. Дальше сейчас же пусть будет назначен новый премьер, популярный в стране. И пусть он получит поручение составить кабинет по своему усмотрению. На это дайте ему срок самый короткий. Три дня. А на эти три дня прекратите заседания Думы: в данной обстановке собрание Думы принесет только вред. Через три дня пусть новый кабинет явится перед Думой и изложит свою программу». В качестве премьера Маклаков рекомендовал не «общественнаго деятеля» (среди «парламентариев» он не видел «подходящих и умелых людей»), а «умнаго и популярнаго генерала», который был бы «символом» новаго министерства. Маклаков назвал Алексеева. «Пусть берет в министры умелых и популярных людей из бюрократии... Возвратит Коковцова, Сазонова, Наумова, Самарина и др.». «Пусть он явится В Думу с краткой, но определенной программой: все для войны... Пусть заявит, что в своей деятельности будет *опираться* на Думу... Такому правительству и такой программе Дума ни в чем не откажет. Но... это уже последняя ставка». Сам Маклаков признает, что министры «с удивлением переглянулись между собой – «и только?» и заявили, что «программа приемлема», и что они надеются ко вторнику получить на нее «согласие Государя». Маклаков же взялся добиться отказа от созыва экстреннаго заседания Думы на понедельник. Депутат, по его собственным словам, не посвятил никого из своих товарищей по партии в намеченный им, с согласия Покровскаго и Риттиха, план, и фактически проектированное на 27-ое заседание было отложено лишь из-за технической невозможности его собрать[167].

Наши сведения о происходившем затем в Совете министров настолько

скудны и противоречивы, что пока нет возможности устранить противоречия и дать в деталях изобразительную картину того, как отразился в правительственных совещаниях переживавшейся политический момент (Беляев говорит, что он настаивал на составлении «подробнаго журнала» в эти «исторические дни»). Занятия Думы были прерваны – только не на три дня, как проектировал Маклаков, а на срок неопределенный с указанием, что работы Думы должны возобновиться «не позднее апреля, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств» (в представлении Голицына всетаки перерыв должен был продлиться всего «несколько дней»). Когда Маклаков на другой день снесся с Покровским, то был огорошен «успокоительным» ответом министра ин. д.: «одно желание ваше исполнено, занятия Думы прерваны. А об остальном мы будем иметь суждение в среду» (т.е. 1 марта). « Я не понимал, не шутит ли он?» – разсказывает Маклаков. – «Вы знаете, что теперь происходит?» – «Что же?» – «Войска взбунтовались». – «Я ничего не слышал». – «Так с вами больше не о чем говорить», – и я трубку повесил. Началась уже официальная революция».

План Маклакова «спасти Россию от революции», таким образом, провалился... Впоследствии (уже в эмиграции) Маклаков от Покровскаго и Риттиха слышал, что за его план высказалось только 4 министра. Эту версию подтверждал в своих показаниях Протопопов, ошибочно относивший заседание Совета министров на 25 февраля: «Примирение, – писал он, – оказалось невозможным: депутаты требовали перемену правительства и назначение новых министров... Требование депутатов было признано неприемлимым». В действительности как-будто было по другому, и план Маклакова, надо думать, в общих чертах был принят. «В воскресном собрании в 9 ч.– показывал Беляев, – был доложен результат переговоров, причем было выяснено, что всетаки члены Гос. Думы признают необходимым выйти в отставку Совету министров, необходимо, чтобы был кабинет такой, председатель коего пользовался бы полным доверием Государя-Императора, но на котораго было бы возложено образование министерства, т. е., чтобы министры были подчинены, так сказать, председателю Совета министров. Тогда же была написана телеграмма Государю-Императору».

Характер заседания может быть прекрасно обрисован словами Беляева: «У меня вообще такое впечатление, что не Протопопов здесь разсуждал». В хронологии Беляев сделал ошибку, – телеграмма Царю фактически была послана на другой день около 6 час. вечера. Правильность впечатления Беляева косвенно подтверждает запись

Палеолога (очень неточная, как почти всегда), 27 февраля посетившаго в 11.30 час. утра министерство ин. д. Покровский сообщил ему о роспуске Думы, о телеграмме Царю с мольбой немедленно приехать[168] и о мнении всех министров, за исключением Протопопова, о необходимости установлиения диктатуры, которая должна быть вручена популярному в армии генералу, напр., Рузскому. Не исключена, конечно, возможность, что на вечернем заседании 26-го, действительно, план Маклакова (каковы были другия предположения, исходившия от общественных кругов, мы не знаем) был отвергнут, и Совет министров под влиянием воскресных событий, когда могло казаться, что правительство «победило», склонился к мнению «правых» о введении осаднаго положения. т. е. решил взять «твердый курс». (См. ниже). И только на другой день, когда столица неожиданно сделалась вновь «полем военных действий», и стало обнаруживаться безсилие правительства и безнадежность положения. обратились к рецепту, предложенному Маклаковым. При таких условиях странный ответ Покровскаго 27-го, поразивший депутата, был только тактическим приемом, чтобы не разрубить веревочки, которая связывала правительство с общественностью.

* * *

Разсказ о переживаниях в Петербурге приоткрывает завесу над тем, что происходило в Ставке, где вопрос об «ответственном министерстве» в сознании действовавщих лиц, конечно, должен был стоять еще менее отчетливо, нежели в столичных министерских кругах. Приходится думать, что только вечером 27-го после телеграммы председателя Совета министров и последовавшаго затем разговора с в. кн. Михаилом у Алсксеева стал изменятся взгляд на происходящее в Петербурге, и солдатский бунт стал представляться чем-то более глубоким и серьезным, чем казалось это первоначально. Тогда встала проблема, если не ответственнаго министерства, то министерства доверия по ходячей терминологии того времени. И только 28-го, когда получено было сообщение, что столичное движение возглавляется Временным Комитетом Гос. Думы, позиция ген. Алексеева совершенно определенно оформилась в сторону «ответственнаго министерства» – общественнаго кабинета. Это изменение довольно ясно выступает при сопоставлении двух документов, помеченных 28-м и вышедших непосредственно из-под пера начальника верховнаго штаба. Между 1–2 часами дня главнокомандующим фронтами была разослана циркулярная телеграмма Алексеева с обозрением событий в Петербурге 26–28 февраля. События эти характеризуются только, как «военный мятеж», подавление котораго стоит на первом плане. О

необходимости хотя бы косвенно поддержать «революционное правительство» нет и речи. «На всех нас, – заключал Алексеев, – лег священный долг перед Государем, Надеюсь сохранить верность долгу и присяге в войсках действующих армий». Значительно позже, около 8 час. вечера, в дополнительной телеграмме главнокомандующим Алексеев, предупреждая, что немцы могут использовать внутренния затруднения и проявить активность на фронте, так определял положение: «События в Петрограде, сделавшия революционеров временно хозяевами положения, конечно, известны нашему противнику, быть может, принявшему довольно деятельное участие в подготовке мятежа». В совсем других тонах составлена ночная телеграмма в Царское Село на имя Иванова, которая приведена была выше, – здесь определенно уже говорится о поддержке усилий «Временнаго Правительства» под председательством Родзянко и о «новых основаниях для выбора и назначения правительства» в соответствии с «пожеланием народа»...

Повествование о настойчивых, но безрезультатных попытках предусмотрительных людей в Ставке убедить Царя 27-го в необходимости перейти к парламентскому строю должно быть отнесено к числу легенд, родившихся в аспекте мемуарнаго восприятия прошлаго. В среде императорской свиты легенда эта приобрела другой оттенок: Царь де легко тотчас же после телеграммы Родзянко согласился на ответственное министерство – правда, в ограниченном размере, оставляя в своем непосредственном распоряжении министерства военное, морское, иностр. дел и Двора. Так следует из воспоминаний придворнаго историографа ген. Дубенскаго, впрочем оговаривающагося, что сам он царской телеграммы '"не видел, но слышал об ней от многих лиц»; по его словам, «безусловно вся Свита и состоящие при Государе признавали в это время неотложным согласие Государя на ответственное министерство и переход к парламентскому строю». «Весь вечер и почти всю ночь –- вспоминает Дубенский – мы все не расходились и беседовали о нашем срочном отъезде и, хотя выражали надежду, что предуказанный парламентский строй внесет успокоение в общество, но отошли из Могилева после 2 час. ночи 28 февраля с большой тревогой». Внутренний смысл второй версии легенды сам но себе понятен, однако, по дневникам-записям того времени самого историографа царской Ставки[169] легко установить, что легенда родилась значительно позже после отречения. В дневнике от 3 марта у Дубенскаго записано: «27 февраля было экстренное заседание под председательством Государя, – Алексеева, Фредерикса и Воейкова. Алексеев в виду полученных известий из Петрограда умолял Государя

согласиться на требование Родзянко дать конституцию. Фредерикс молчал, а Воейков настоял на непринятии этого предложения и убеждал Государя немедленно выехать в Царское Село»[170]. Естественно, что дворцовый комендант в показаниях перед следственной комиссией отрицал спою роль в попытках отговорить Царя от согласия на «конституцию». Вероятно, так и было в действительности уже потому, что Свита, повидимому, не могла оказывать заметнаго влияния на политическия решения монарха – по установившемуся обиходу Император не склонен был выслушивать мнения по вопросам, не входившим в компетенцию окружавших придворных: об этом члены Свиты, не исключая министра Двора, дворцоваго коменданта, находившихся на привилегированном положении среди тех, кто – по выражению Дубенскаго – «имел право говорить», свидетельствовали перед Чр. Сл. Ком. довольно единодушно.

3. Отъезд Царя

На условныя традиции Двора могли оказывать влияние и личныя свойства монарха: как часто бывает у людей слабой воли, Николай II хотел царствовать «сам»[171]. Однако во всем и всегда он невольно подчинялся более властной жене. Так и в данном случае отказ согласиться на «конституцию» был вызвал давлением Ал. Фед. – утверждали, по словам Лукомскаго, в Ставке. Говорили, что после получения телеграммы Голицына, Царь «больше часа» разговаривал по телефону с Царским Селом. Пронин пишет еще определеннее о том, что телеграмма Голицыну была послана «после переговоров по прямому проводу с Царским Селом. Но Лукомский, повидимому, ошибался, предполагая, что между Могилевым и Царским Селом существовал «особый» телефонный провод. Телефонный разговор с Царским Селом, о котором «говорили» в Ставке, в действительности был телеграфный запрос церемониймейстера гр. Бенкендорфа от имени Императрицы:"Не желает ли Е. В., чтобы Ея В. с детьми выехали навстречу». Воейков доложил. Царь сказал: «ни под каким видом, передать Бенкендорфу, что он сам приедет в Царское». Мемуаристы и здесь соткали легендарную ткань. Она легко разрывается с помощью дошедших до нас документов.

Очевидно, запрос А. Ф. был вызван тем, что в Царском почувствовали себя неспокойно[172]. До получения телеграммы Голицына Царь никакого безпокойства за семью не испытывал и не думал ускорять свой отъезд из Могилева, заранее еще назначенный на 2 ч. 30 м. 28 февраля. В телеграмме, отправленной в Царское в 7 час. вечера. Ник. Алекс, подтверждая часы своего отъезда, сообщал: «конная гвардия получила приказание немедленно выступить из Новгорода в город. Бог даст, безпорядки в войсках скоро будут прекращены». Телеграмма была послана в ответ на полученное от жены письмо, написанное днем 26-го и не заключавшее в себе ничего особо тревожнаго. Оно столь характерно для момента, когда династия переживала свой «двенадцатый час», что его следует процитировать. Со слов принятаго А. Ф. таврическаго губернатора Бойсмана, она писала: «Разсказывал мне много о безпорядках в городе (я думаю, больше 200.000 человек). Он находит, что просто не умеют поддержать порядка. Но я писала об этом уже вчера, прости – я глупенькая. Необходимо ввести карточную систему на хлеб (как это теперь в каждой стране), ведь так устроили уже с сахаром, и все спокойны и получают достаточно. У нас же – идиоты... Один бедный жандармский

офицер был убит толпой и еще несколько человек. Вся беда в этой зевающей публике, хорошо одетых людей, раненых солдат, курсисток и пр.. которые подстрекают других. Лили заговорила с извозчикам, чтобы узнать новости. Они говорили ей, что к ним пришли студенты и заявили, что если они выедут утром, то в них будут стрелять. Такие испорченные типы! Конечно, извозчики и вагоновожатые бастуют. Но они говорят, что не похоже на 95 (надо понимать 1905), потому что все обожают тебя и только хотят хлеба».

Первая половина письма была написана в утренние часы, в 3 1/2 час. дня А. Ф. дописывала: «В городе дела вчера были плохи. Произведены аресты 120–130 человек. Главные вожаки и Лелянов привлечены к ответственности за речи в Гор. Думе. Министры и некоторые правые члены Думы совещались вчера вечером (Калинин писал в 4 часа утра) о принятии строгих мер[173], и все они надеются, что *завтра* все будет спокойно. Те хотели строить баррикады... Но мне кажется, все будет хорошо. Солнце светит так ярко, и я ощущаю такое спокойствие и мир на Его дорогой могиле! Он умер, чтобы спасти нас»...

Письмо это, конечно, не могло содействовать уступчивости Царя. 27-го настроения в Царском сделались более пессимистичными. Блок приводит три телеграммы, направленныя А. Ф. в этот день[174].

В 11 час. 12 мин. дня: «Революция вчера приняла ужасающие размеры... Известия хуже, чем когда бы то ни было»;

в 1 час 3 мин.: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск, перешло на сторону революции»;

в 9 ч. 50 м.: «Лили провела у нас день и ночь – не было ни колясок, ни моторов. Окружной суд горит».

Очевидно, телеграммы до Царя уже не доходили, ибо невероятно, чтобы Царь не поторопился бы с отъездом и так спокойно телеграфировал в Царское в 7 час. вечера[175].

После запроса Бенкендорфа Царь решил немедленно ехать в Царское. В 9 час. вечера – разсказывает Лукомский – пришел ген. Воейков и сказал, что «Государь приказал немедленно подать литерные поезда», так как он «хочет сейчас же, как будут готовы поезда, ехать в Царское» – «не позже 11 час. вечера». Лукомский указал, что отправить поезда раньше 6 час. утра невозможно по техническим условиям. «Затем я сказал ген. Воейкову, что решение Государя ехать в Ц. С. может повести к катастрофическим после действиям..., что связь между Штабом и Государем будет потеряна, если произойдет задержка в пути, что мы ничего определеннаго не знаем, что делается в Петрограде и Царском

Селе». Воейков ответил, что "принятаго решения Государь не отменит». Тогда Лукомский пошел к Алексееву, который «собирался лечь спать», «Я опять стал настаивать, чтобы он немедленно пошел к Государю и отговорил его от поездки в Царское Село... Если Государь не желает итти ни на какия уступки, то я понял бы, если бы он решил немедленно ехать в Особую армию (в нее входили все гвардейския 'части), на которую можно вполне положиться, но ехать в Царское Село – это может закончиться катастрофой. Ген. Алексеев пошел к Государю. Пробыв у Государя довольно долго, вернувшись, сказал, что Е. В. страшно безпокоится за Императрицу и за детей и решил ехать в Царское Село». Другой свидетель, полк. Пронин, разскажет совсем по другому: «Слава Богу, Государь не уезжает, остается – радостно сообщил нам ген. Алексеев, возвратившись из царскаго помещения». По словам Пронина Алсксеев будто бы еще днем убедил Царя остаться в Могилеве – так, по крайней мере, «передавали из дворца». Версию эту подтвердил в воспоминаниях и дворцовый комендант, разсказывающий, что после вторичной телеграммы Родзянко Царь решил остаться в Могилеве. Однако, документ, выше приведенный – лента вечерняго разговора, т. е., около 11 час, ген. Алексеева с вел. кн. Михаилом, довольно решительно опровергает и Лукомскаго, и Пронина и Воейкова. Алексеев определенно говорил В. Князю: «Завтра Государь-Император выезжает в Ц. С». Что значит это «завтра». Очевидно, что речь идет об отъезде, назначенном в 2 ч. 30 мин. дня, ибо нач. штаба добавляет: « *завтра при утреннем докладе* еще раз доложу Е. И. В. желательность теперь же принять некоторыя меры, так как вполне сознаю, что в таких положениях упущенное время бывает невознаградимо». Следовательно Алексеев не знал еще, что Царь решил ускорить свой отъезд – даже после доклада Царю о беседе с Вел. Князем (Алексеев о своем «утреннем докладе» упомянул В. Князю уже после разговора с Царем). Из этого следует и то, что до вечера никаких изменений в принятом раньше решения об отъезде не было сделано, и что никаких колебаний в этом отношении не было.

В своем дневнике по окончании дня Царь записал: «Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочныя нехорошия известия. *После обеда* решил ехать в Царское Село и в час ночи перебрался в поезд». Не исключена, конечно, возможность, что Алексеев после разговора с в. кн. М. А., который признавал желательным отложить приезд Императора в Царское Село «на несколько дней», пытался в этом отношении оказать некоторое воздействие: зная характер властелина, нач. штаба мог бояться непосредственнаго влияния А. Ф. и думать, что в Могилеве легче будет

побудить Царя к уступкам. Но, видимо, такия попытки, если оне и были, не были особенно настойчивы и упорны. И это нельзя объяснить тем, что Алексеев был «апатичен и угнетен» в силу своего болезненнаго состояния («вид у него был лихорадочный» – вспоминает дежурный флигель-адъютант Мордвинов). Тогда в Ставке отъезд Государя в «ответственный для жизни государства момент» еще не представлялся «непоправимой и роковой ошибкой», как изображается это в воспоминаниях Пронина. Приходится усомниться в том, что нач. штаба выставил Царю, вероятно, позднейшую аргументацию Лукомскаго о необходимости концентрации сил и организации противодействия революции в верных гвардейских частях Особой армии. Может быть, Алексеев, действительно, узнал о «внезапном» отъезде Царя лишь в самый последний момент, как о том говорит Пронин. Очевидно, не сообщив Алексееву тотчас же о перемене, Государь не придавал ей какого-либо решающаго политическаго значения. Возможно, «окончательнаго» решения ехать немедленно и не было – по крайней мере, историограф записал: ...» в 12 час. ночи Государь... ушел к себе, Вслед за ним к нему вошли Фредерикс и Воейков, пробыли у Паря недолго... Воейков объявил, что отьезд... Е. В. назначен безотлагательно в эту ночь».

II.«Кровавое подавление» революции

1. Диктатор

Царь ехал из Ставки для того, чтобы проявить «твердую волю». Но это вовсе не означает, что он готов был утопить «в крови народное возстание», как изобразил в свое время, в соответствии с традицией, приспособлявшейся к официальному тону новых властелинов, историк Щеголев. Наоборот, до последняго времени у Николая II было убеждение, что «безпорядки» в войсках, происшедшие от «роты выздоравливающих» (письмо жене 27-го), легко будет локализировать. Поэтому, вероятно, в качестве «диктатора» был выбран поклонник «мягких действий», каким выставляет ген. Иванова придворный историограф ген. Дубенский.

Безподобный по своей бытовой колоритности разсказ дал сам Иванов в Ч. Сл. Ком. Врем. Правительства, – разсказ о том, как он ехал усмирять революционную столицу. Повествование почтеннаго по возрасту генерала могло бы показаться карикатурой, если бы в нем не было столько эпической простоты. На ст. «Дно» утром 1 марта Иванову сообщали, что из Петербурга приходят поезда, переполненные безбилетными солдатами, которые «насильно отбирают у офицеров оружие, производят насилие в вагонах и на станциях». В один из таких поездов с «перебитыми окнами» генерал направился сам... и «из разговоров женщин и одного старичка» заключил, что «безобразия большия: масса солдат едет в штатской одежде, так как, все это участвовало в грабежах магазинов... И за сим едет в поезде много агитаторов». «Проходя мимо одного вагона – показывал Иванов – обернулся, на меня наскакивает солдат буквально в упор. Тут я не разобрался: одна шашка у него офицерская с темляком анненским, 2-я шашка в руках, винтовка за плечами... Я его оттолкнул. Рука скользнула по его шашке. Я поцарапал руку и прямо оборвал окриком: «на колени». Со мной, раз случился эпизод в Кронштадте. Случилось мне попасть в толпу, когда моряки с сухопутными дрались. Я очутился между ними один... Что тут делать? Уехать – значит драка будет. Тут я их выругал основательно – не подействовало. Наконец, моментально пришло в голову: «на колени». С обеих сторон толпа остановилась. Один матрос в упор, в глаза, нервы не выдержали, начали моргать, слезы... И всё успокоилось. Я повернул в одну сторону моряков, в другую пехотинцев. Тут мне и вспомнился этот момент. Руку ему на правое плечо: «на колени». В это время я не знаю, что он подумал, я его левой рукой схватил, а он вдруг, случайно это или нет, куснул меня. Сейчас же его убрали, и он успокоился. Я думаю – что тут делать? Сказать, что он на меня наскочил и оскорбил действием – полевой

суд, через два часа разстреляют. У меня тогда такое настроение было: в этот момент разстрелять – только масла в огонь подлить. Тут был мой адъютант, и я ему велел его арестовать»... Любивший держать себя с некоторой торжественностью председатель Муравьев и тот не выдержал, слушая этот разсказ: «Что же этот человек стал на колени?"–«Стал». «Это магически действует» – отвечал Иванов, продолжая свое повествование. «Подходит поезд, 46 вагонов. Смотрю, в конце поезда стоит кучка, кидают шапки. Я этим заинтересовался, подошел, Слышу: «Свобода! Теперь все равны! Нет начальства, нет власти!» Приближаюсь, смотрю, стоит нисколько человек офицеров, а кругом кучка солдат. Я говорю: «Господа, что же вы смотрите?» Они растерялись. Я то же самое приказал: «на колени», Они немедленно стали на колени. Впоследствии оказалось, что тут был городовой, одетый в штатское. Я пригрозил ему: «встань!». Отошел, а солдат начинает трунить: "–вот тебе и нет власти, вот тебе и нет начальства». Он опять. Я говорю: «заставьте его замолчать». Они говорят: «что же прикажете рот завязать». Я говорю: «завяжите рот». Из кармана вынимают красный платок. Я говорю: «оставьте». Его в вагон отвели и арестовали. Так и кончилось»[176].

Так разсказывал не только сам генерал. Разсказ его был подтвержден впоследствии показаниями солдат Георгиевскаго батальона. Подобное «отеческое воздействие» и даже розги за провинность было обычным приемом генерала и на фронте, как отмечает в дневнике прикомандированный в 14 г. к Иванову в. кн. Ник. Мих. Революционное чувство, может быть, скажет об унижении «человеческой личности», но для стараго военачальника то было проявление своеобразной гуманности, «Николай Гудович – Записывает Ник. Мих. – большой оригинал, встает в 5 час. утра, шляется сам всюду, ворчит, кое-кого подтягивает и прогуливается все больше один»... Во время обеда 27-го «поклонник мягких действий», по свидетельству Дубенскаго, разсказал между прочим Царю, как он в Харбине успокоил волнения и «привел все к благополучному концу, не сделавши ни одного выстрела». Во всяком случае, никто из царских приближенных не вспомнил в те часы об Иванове, как об «усмирителе Кронштадта» в 1906 г., что на первый план выдвинуто Мстиславским.

Ночью, в 2–3 часа, Иванов был вызван к Царю в поезд. Может быть, потому, что к этому времени была получена отправленная из Петербурга в 8 час. веч. и принятая в Ставке почему-то только в 1 ч. ночи телеграмма Хабалова о том, что «исполнить повеление о возстановлении порядка в столице не мог». «Большинство частей – телеграфировал Хабалок

Алексееву для доклада Царю – одне за другими изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Другия части побратались с мятежниками и обратили свое оружие против верных Е. В. войск... К вечеру мятежники овладели большей частью столицы»[177]. Иванов инициативу ночного свидания с Царем приписывал в показаниях себе. Узнав, что Царь уезжает, Иванов, «наученный горьким опытом», настоял на экстренном приеме, желая выяснить перед отъездом свои будущия взаимоотношения с министрами[178]. При свидании Иванов получил как бы диктаторския полномочия. В официальной докладной записке ген. Алексееву полученныя полномочия Иванов формулировал так:"Все министры должны исполнять все требования главнокомандующаго петр. воен. округом ген.-ад. Иванова безпрекословно»[179]. Прощаясь с Государем, новый директор сказал: «В. В., позвольте напомнить относительно реформ». «Да, да», – ответил Царь:"мне об этом только что напомнил ген. Алексеев». «Так что я вышел с мыслью, что это дело решенное» – показывал Иванов и на вопрос председателя добавлял, что Царь даже спрашивал его: «кому доверить составление ответственнаго министерства». И другой раз «министерства доверия»... Не будем придавать большого значения этой терминологии, фигурирующей в показаниях перед революционной следственной комиссией и в более раннем письме (9 апреля) Иванова на имя воен. мин. Гучкова, где он утверждал, что еще днем при первом разговоре с Царем заключил, что «Николай II решил перейти к управлению отечеством при посредстве министерства доверия в соответствии с желанием большинства Гос. Думы и многих кругов населения»[180].

Можно, как будто, заключить, что если в это время еще не было определеннаго решения, то носитель верховной власти сознавал необходимость уступок общественному мнению и перемены правительства после ликвидации петербургскаго мятежа. Царю совершенно чужда была, очевидно, психология, которую изображает Шульгин в виде несбывшейся мечты: «Можно было раздавить бунт, ибо весь этот «революционный народ» думал только об одном, как бы не итти на фронт. Сражаться он бы не стал... Надо было бы сказать ему, что петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврическаго дворца, возстановить обычный порядок жизни и поставить правительство не «доверием страны облеченное», а опирающееся на настоящую гвардию. Что такое «настоящая гвардия»? Это – корпус, назначение котораго действовать «не против врагов внешних, а

против врагов внутренних». «Пускать гвардию на войну» нельзя. «Сражаться с врагом внешним можно до последняго солдата армии и до перваго солдата гвардии». «Революция неизмеримо хуже проигранной войны», устанавливает тезис человек, лишь случайно не попавший в 17 г. в состав Временнаго Правительства: «гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности – бороться с революцией». «Главный грех стараго режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии»...

Ночной разговор с Царем, по словам Иванова, закончился тем, что он получил высочайшее одобрение в той тактике, которую диктатор намечал для себя. «В. В., – сказал Иванов, – я решил войска не вводить, потому что, если ввести войска, произойдет междоусобица и кровопролитие». «Да, конечно», – ответил Царь. «Так что было одобрено, но в какой форме, не могу сказать наверное», – утверждал Иванов: «это я за основу положил»...

2. Миролюбивая политика

Если не по соображениям сантиментальным, то по соображениям целесообразности миролюбивая политика была общим девизом правительственной власти в февральские дни. Играло роль и сознание ненадежности войск (армия во время войны представляет собой «вооруженный народ» – отмечали и Алексеев, и Рузский), и общее возбужденное политическое настроение, захватившее офицерские кадры[181] и ёще в большей степени сознание риска вступать в период международных осложнений в междоусобную борьбу. События на внутреннем фронте не казались вовсе столь грозными для существовавшаго государственнаго порядка, чтобы итти на такой риск.

Более решителъная, чем Царь, его нимфа Эгерия, Ал. Фед., энергично настаивающая на том, чтобы муж ея проявил «твердость», писала, однако, в первые дни (25 фев.): «забастовщикам прямо надо сказать, чтобы они не устраивали стачек, иначе будут посылать их на фронт[182] или строго наказывать. *Не надо стрельбы* , нужно только поддерживать порядок и не пускать их переходить мосты, как они это делают». Но толпа с Выборгской рабочей стороны агрессивно переходила Неву по льду, и тогда военный министр советовал командующему войсками в ответ на поленья, камни и осколки льда (применялось и огнестрельное оружие), которыми прогонялись конные городовые, стрелять так, чтобы пули ложились впереди толпы... Можно поверить в искренность показаний Беляева, что он «просил Хабалова принять меры, чтобы не открывать огня там, где можно избегнуть»; «какое ужасное впечатление произведет на наших союзников, когда разойдется толпа и на Невском будут трупы». Хабалов с перваго дня не хотел прибегать к стрельбе – это советовал ему еще за три недели до переворота Рузский, в ведение котораго входила тогда северная столица: по мнению Рузскаго, применение орудия при безпорядках может вызвать «лишь ужасныя последствия, учесть кои вперед нельзя» (запись в. кн. Андрея Вл.). В силу такой психологии военныя власти противились выводу казачьих сотен из столицы в период, когда ожидалась демонстрация 14 февраля, ибо с казаками можно обойтись «без кровопролития и жертв». Достаточно показательно, что если более или менее точно известно число чинов полиции, потерпевших за дни 22–24 февраля, то нет никаких указаний (даже у мемуаристов) о пострадавших среди демонстрантов. В воспоминаниях рабочаго Каюрова, активнаго участника и руководителя уличных выступлений, имеется даже такая

фраза: «потерь с нашей стороны я не замечал». Вероятно, в такой только обстановке мог родиться план «уличнаго братания» забастовщиков и солдат, который будто бы сознательно проводился по настоянию Шляпникова руководящим органом пролетарской партии (бюро Ц. К. большевиков), препятствуя вооружению пролетариата. В этой обстановке, когда, казалось, что власть «явно запускала движение», утверждалась и легенда о правительственной провокации.

25-го и Петербурге пролилась первая кровь: по официальному сообщению Хабалова на Невском у Гостинаго Двора 3 было убито и 10 ранено. Как всегда, слух о стрельбе и кровавых жертвах вызвал взрыв негодования. На власть возлагалась ответственность в большей степени, чем она того объективно и данном случае заслуживала. На открытом собрании в Городской Думе 25-го, где обсуждался продовольственный вопрос, при нервно-повышенном настроении присутствующей публики, член Гос. Думы Скобелев патетически клеймил правительство, которое «борется с продовольственным кризисом путем разстрела едоков»... «Это правительство – говорил думский с. д. депутат при бурных аплодисментах – надо заклеймить, оно требует возмездия... Правительство, проливающее кровь невинных, должно уйти»[183]. Если одни из ораторов на собрании призывали в виде протеста выйти на улицу, другие требовали «предупредить эксцессы». Шингарев сообщил, что председатель Гос. Думы уже обратился к главе правительства с просьбой или требованием, чтобы «стрельба в народ завтра не повторялась». Родзянко непосредственно обращался к командующему войсками «Вр. Пр., зачем стреляете, зачем эта кровь» –передавал Хабалов в показаниях перед Чр. Сл. Ком. эту беседу 26-го... «Я говорю: «В. Пр., я не менее вашего скорблю, что приходится прибегать к этому, но сила вещей заставляет это делать». – «Какая сила вещей?». Я говорю: «Раз идет нападение на войска, то войска – волей и неволей – не могут быть мишенью, они тоже самое должны действовать оружием». «Да где же – говорит – нападение на войска?»... Я перечисляю эти случаи. Называю случай с гранатой, брошенной на Невском... «Помилуйте, – говорит – городовой бросил!» – «Господь с вами! какой смысл городовому бросать?»... Звонил Родзянко и военному министру: нельзя ли эту толпу разсредоточить, вызвать пожарных, чтобы они поливали водою. Беляев снесся с Хабаловьм, который ответил, что «есть распоряжение , что пожарныя команды никаким образом не могут быть вызываемы на прекращение безпорядков, а кроме того, вообще говоря, существует точка зрения, что окачивание водой всегда приводит к обратному действию, именно потому, что

возбуждает». Нельзя объяснить только «недосмотром» рядовое явление, отмечаемое для правительственной системы подавления февральских уличных безпорядков – то казацкия сотни выезжали без нагаек, то у полиции не хватало патронов, то солдатские пикеты оказывались с незаряженными ружьями. Это было даже в понедельник 27-го, когда толпа на Петербургской стороне в 5 час. дня пыталась нерешительно прорвать цепь гренадер – солдаты говорили Пешехонову: «Пусть идут... Мы не будем препятствовать»... «И ружья у нас не заряжены». Здесь была миролюбивая толпа. На Выборгской стороне, на Самсониевском пр. перед деревянными бараками казарм запаснаго самокатнаго батальона настроение было иное. Здесь солдаты, принадлежавшие к «мелкобуржуазным элементам населения» (поверим этому!), оказывали сопротивление народному напору. Командир батальона, полк. Балкашин, пытался «уладить все мирным порядком» и «воздержаться от открытия огня». В критический момент у начальника боевой пулеметной части, непосредственно оборонявшей казармы, не оказалось патронов...

Начиналась революция, и сила влияния была не у тех, кто искал компромисса, а у тех, кто подобно Керенскому, на совещании Городской Думы 25-го, предостерегал от «дара данайцев». События в воскресенье 25-го приняли более грозный характер. Войска на Невском действовали активнее, чем в предшествовавшие дни. Были убитые и раненые. По сведениям командующаго войсками, таковых насчитывалось 40. Сведения преуменьшены? – известное количество раненых толпа всегда уносит с собой. Возможно. Однако, один из непосредственных участников уличнаго движения тех дней, рабочий Кондратьев, член большевицкой партии, не проявляет тенденции оспаривать официальныя. цифры – он их даже уменьшает. Мемуарист, не следящий строго за своим словом, с легкостью скажет, что пехота 26-го «довела ружейный огонь до огромной интенсивности. Невский, покрытый трупами невинных, ни к чему не причастных людей, был очищен» (таково утверждение Суханова. По воспоминаниям Керенскаго толпу на Невской, как и в других кварталах, разстреливали уже 25-го). Но плохо выполнит свою функцию историка революции тот, кто в угоду своему революционному чувствованию (или механически повторяя публицистические приемы политической борьбы современников революционных дней) воспроизведет ходячую молву того времени, исчислявшую жертвы воскресенья 26-го «тысячами». На страницах работы Чернова можно найти описание того, как 26-го на кишащем людьми широчайшем Невском проспекте ружейный огонь был доведен до огромной интенсивности, и мостовая усеяна телами

безоружных – в том числе стариков, женщин и детей. Только издали, в атмосфере заграничнаго неведения можно было еще говорить о «неделе кровавых битв рабочих», как писал Ленин в середине марта. Гипербола в исследовании будет исторической фантастикой.

При «рождении революционной России» народная толпа в изображении Чернова «в течение более недели обстреливалась пулеметами городовых с вышек и чердаков и ружейными залпами солдатских цепей, разгонялась ударами сабель и нагаек конной полиции». Действительность была несколько иной. В изображении рабочаго Кондратьева 26-го на Невском лишь «небольшая группа студентов и рабочих» пыталась устроить демонстрацию. После разгона ея «уже не было никаких попыток» уличных выступлений – на Невском «была пустота́' и только «на панели ходили вооруженные патрули и разъезжала конница». Очевидцы, наблюдающие небольшой сектор действия, склонны обобщать. По официальным сведениям полиции (их ген. Мартынов заимствовал из материалов Чр. Сл. Ком.), стрельба была на Невском пр. в воскресенье к четырех местах, и число жертв было больше, нежели указывали с одной стороны Хабалов, с другой Кондратьев. Но и эта поправка не может изменить общей картины. Столица местами, действительно, напоминала собой «боевой лагерь'»: «всюду патрули, заставы, разъезды, конница"– списывали позднее советския «Известия» 8 марта боевые дни. Из этого описания современники-мемуаристы и заимствовали свои сведения об «усиленных разстрелах» 25-го и 26-го, о залпах «из невидимых засад», о пулеметах, разставленных «на колокольнях, в верхних этажах домов, на вокзалах и пр.». В действительности произошло то, что предсказывал ген. Рузский, и что предусмотреть никто не может, когда случай бросает искру на пороховую бачку. В момент, когда в руководящих подпольных кругах казалось, что «правительство победило», когда, как мы видели, раздавались уже скептические голоса, и начинались колебания, тогда именно стихийное уличное движение перебросилось в армию...[184]

Военный бунт превратил уличные безпорядки в торжествующую революцию. Поворот в массовой психологии совершила стрельба в народ 26-го. На этой почве произошло выступление волынцев, увлекших за собой часть Преображенскаго и Литовскаго полков. Снежный ком вызвал лавину: «Если войска станут на сторону забастовщиков – предостерегающе докладывало Охранное Отделение – ничто не спасет от революционнаго переворота». Один из осведомителей Охр. Отд. доносил еще 25-го по начальству, что, если безпорядки не будут подавлены, то «к

понедельнику» (т. е. 27-му) возможно ждать сооружения баррикад. Победу революции предопределило не бездействие власти – не то, что, по выражению состоявшаго «при командующем войсками ген. Перцова (в показании следователю), «событиям был предоставлен, как бы, естественный ход». Не будем слишком обольщаться показаниями современника – рабочаго провокатора Шурканова, доносившаго по начальству 26 февраля: «так как воинския части не препятствовали более... то массы получили уверенность в своей безнаказанности и ныне после двух дней безпрепятственнаго хождения на улицах, когда революционные круги выдвинули лозунги: «долой войну» и «долой самодержавие», народ уверился в мысли, что началась революция, что успех за массами, что власть безсильна подавить движение в силу того, что воинския части на ея стороне». Нет, не это чувство «уверенности в своей безнаказанности» вызвало поворот. Суханов вспоминает впечатление собравшихся у Горькаго вечером 26-го, после телефонных разговоров с «различными представителями буржуазнаго и бюрократическаго мира». Мемуарист отмечает факт, который представляется ему странным: «разстрелы оказали большое влияние на всю ситуацию, они произвели крайне сильнее впечатление не только на обывателей, но и на политические круги... разстрелы вызвали явную реакцию полевения среди всей буржуазной политиканствующей массы»...[185]

Казалось необходимым отметить еще раз все эти черты, так как до сих пор еще держится легенда о том, что революцию вызвала провокационная стрельба полиции (см., напр., предисловие проф. Пэрса к книге Керенскаго). Невольно вспоминается, как в единственный день существования Всероссийскаго Учредительнаго Собрания, в день его открытия, представитель с. д. фракции, б. член революционнаго правительства Скобелев сравнивал «драматическую обстановку» 18-го года с последними часами царизма, когда «старые слуги стараго режима, в официальных формах и замаскированные, стреляли из-за угла... с крыш в мирных демонстрантов». Надо и эту легенду, нашедшую себе отражение в исторических трудах Милюкова, окончательно сдать в архив. «Протопоповские пулеметы» существовали только в возбужденном воображении современников.

3. «Протопоповские пулеметы»

Эта, легенда родилась еще до революции. Тогда молва, доходившая до кафедры Гос. Думы, утверждала, что правительство провоцирует народные безпорядки для того, чтобы иметь основание заключить сепаратный мир с Германией. Акредитованные при русском правительстве иностранные дипломаты (в частности Бьюкенен) спешили сообщить о той роли, которую играет в данном случае министр вн. дел Протопопов. В начальный момент февральских дней «глупые и слепые выверты» о провокации (мы знаем, что это – выражение дневника Гиппиус) были первым отзвуком на начавшиеся безпорядки, – о том свидетельствуют не только воспоминания современников (для Ломоносова «ясна» была полицейская провокация), но и действительныя записи 17-го года. Так Каррик в Петербурге в свой политический фольклор 25-го февраля занес упоминание, что «все» считают события дня «провокацией»; равным образом и моряк Рейнгартен в Гельсингфорсе позже, 27-го, записывает, «все говорят об участии правительства в провокаций». Успех революции изменил формулировку легенды – стали говорить не столько о «провокации», сколько о подготовке министром вн. д. «кроваваго» подавления ожидавшихся народных волнений (Керенский).

Легенда в обоих своих вариантах была предметом внимания Чр. Сл, Комиссии, но усиленное ударение, конечно, было сделано на пулеметах. После того, что было уже сказано, мы можем оставить в стороне никчемную версию, в которую уверовал комиссар Врем. Прав, член Думы Бубликов (отчасти и другие), о том, как правительство устроило революцию не только для заключения сепаратнаго мира, но и сделало это по соглашению с Германией, В свой дневник первых дней после ареста Протопопов с полной правдивостью мог занести: «Клянусь, я не допустил бы провокации». Можем мы отбросить и занесенные Гиппиус в дневник 10 марта признания Протопопова, яко бы сделанныя им в момент ареста в Таврическом дворце в целях поднять себе цену в революционных кругах: «я остался министром, чтобы сделать революцию». «Безумный шут» – отметила писательница, но ничего подобнаго Протопопов не говорил ни в одном из своих многочисленных, противоречивых письменных и устных показаний. Мы должны целиком перенести вопрос в плоскость разсмотрения разработаннаго правительством плана о ликвидации волнений, если они возникнут в столице.

Тот характер, который носили действия военных властей в дни, когда

ожидаемые безпорядки начались, как уже выяснилось, отнюдь не носил отпечатка обдуманной жестокой расправы в «4 дня». Об этих «четырех днях» с чужих слов упоминал Протопопов в Чр. Сл. Ком., но лишь в конъюнктуре постепенности, с которой предполагали в случае необходимости выдвигать на помощь полиции казаков и войсковые наряды. Никакого специфическаго плана последний министр вн. д. при содействии Курлова, пользуясь и советами Белецкаго, не разрабатывал. Все имеющияся данныя вполне подтверждают заявление военнаго министра Беляева, что предварительный меры на случай безпорядков не выходили за пределы того, что «всегда существовало в мирное время»

Правда, план разделения Петербурга на 16 районов, по которым были распределены военныя силы, был представлен в январе на усмотрение верховной власти, но, очевидно главным образом потому, что надлежало для самостоятельности действия выделить столицу из ведения главнокомандующаго Северным фронтом[186]. План, выработанный особым совещанием у градоначальника Балка при участии командующаго войсками Хабалова, никакой новизны не представлял по сравнению с тем, что намечалось в апреле 16 г. при премьере Штюрмере и градоначальнике кн. Оболенском.

Особенность его была, быть может, лишь в том, что предполагалось в случае надобности использовать на помощь полиции казаков и «учебныя команды» запасных батальонов, не пользуясь основными кадрами, которые считались не вполне надежными[187]. При такой комбинации правительство располагало наличностью в 12 тыс. человек. Протопопов указывал в Комиссии, что обычный полицейский разсчет предшествовавших лет исходил из наличности 60 тыс., поэтому и им был поднят вопрос о привлечении войск с фронта и выводе неспокойных запасных частей с территории столицы, что командующий войсками считал невозможным выполнить за неимением подходящих казарм в местностях, прилегавших к Петербургу.

Здесь одна легенда вплетается в другую. Эту вторую легенду занесла в свои воспоминания Вырубова, и о ней распространился в предсмертной записке Протопопов. По словам Вырубовой, Царь приказал по очереди приводить на отдых с фронта гвардейские полки, но исполнявший обязанность нач. штаба в Ставке ген. Гурко под «разными предлогами» не выполнял распоряжения. По утверждению Протопопова за день до отъезда Царя в Ставку, т. е. около 20 февраля, у него произошел с Николаем II, секретно от А. Ф., такой разговор. Царь был крайне обезпокоен – «первый раз я видел Государя в таком волнении». «Знаете, что сделал Гурко?» –

сказал Николай II. «Он прислал сюда вместо четырех полков гвардейской кавалерии три экипажа матросов». «Кровь бросилась мне в лицо: я инстинктивно почувствовал что-то опасное». «Государь, – воскликнул мин. вн. д. Это невозможно, это больше, чем непослушание. Все знают, что матросы набраны из рабочих и представляют самый революционный элемент». «Да, да, – ответил Царь. – Гурко я дам головомойку и кавалерию пришлю» .[188]

Для того, чтобы вставить эпизод в правильныя хронологическия рамки, будем иметь в виду, что к этому времени болевший Алексеев вернулся уже к исполнению своих обязанностей. Комментаторы, как из кругов крайне правых, так и из лагеря противоположнаго, готовы толковать «ослушание» ген. Гурко, как доказательство причастности его к замыслам совершения «дворцоваго переворота». Это как-то мало соответствует духу нашумевшаго письма Гурко Николаю II 4 марта и придает задуманным планам характер такой организованности, какой в действительности не было (правда, Гучков говорил, что в феврале заговорщики *собрались* верныя части подвезти в Петербург)[189].

И вот относительно казаков мы имеем документ, как раз противоположной версии о вызове войск с фронта, которую давал Протопопов. Дело шло не о вызове казаков с фронта, а о уводе казаков из столицы, – если угодно, в этом можно увидеть подтверждение замыслов в Ставке, но не замыслов правительства[190]. Из письма военнаго министра пом. нач. штаба Клембовскому 14 февраля явствует, что в Ставке предполагали два казачьих полка, находившиеся в столице, перевести на фронт. Беляев писал, что этого нельзя сделать в виду возможных безпорядков, ибо, применяя казаков на роль усмирителей, можно добиться порядка «без стрельбы», которая производит на общество отрицательное впечатление. Военный министр сообщал, что, если наступит успокоение, то можно будет оставить в столице один полк в составе шести сотен, но наступит такое время «очень не скоро», – не раньше 1 марта, через две недели, после возобновления сессии Госуд. Думы. Упоминает в своем дневнике (15–22 января) о вызове гвардейской кавалерии в виду «опасения волнений» и придворный историограф Дубенский (упоминает со слов кн. Оболенскаго, уволеннаго с должности градоначальника в конце 16 года), при чем ген. Дубенский записал, что в Царское Село «командируется гвардейский экипаж, так как сводный полк не очень надежен», т. е. командируется та именно часть, появление которой уже во второй половине февраля привело Царя яко бы в такое волнение[191].

Отбросим и эту вводную легенду – очевидно, достоверность ея весьма

проблематична. Остается лишь вопрос о пулеметах, которыми вооружена была полиция в дни февраля. Вопрос о пулеметах, действительно, косвенно, как бы в частном порядке, по инициативе некоторых администраторов и советчиков со стороны поднимался в правительственных кругах. Вспомним негодование, какое вызвала в Совете Министров летом 15 г. деятельность Юсупова в Москве. Московский правитель, между прочим, ставил вопрос о вооружении полиции австрийскими пулеметами. В конце 16 г. вопрос о снабжении войсковых частей пулеметами для подавления мятежа поднимала записка Римскаго-Корсакова, переданная министру вн. д. Сам Протопопов упоминает в показаниях о своем разговоре с Курловым, который считал целесообразным снабдить стражников пулеметами. Тут начинается мешанина. Ген. Мартынов, пользовавшейся в своем изследовании неизданными документами, приводит свидетельство нач. арт. упр. при верховн. главнок. ген. Барсукова о том, что мин. вн. д. с начала зимы 15 г. (?) обращался к Алексееву с просьбой снабдить полицию пулеметами. В напечатанном тексте явная опечатка – в начале зимы 15 г. Алексеев не был еще в Ставке; в начале зимы 16 г.? – тогда Протопопов не состоял министром вн. д.; в начале зимы 17 г.? – тогда в Ставке отсутствовал больной Алексеев. Но ответ Алексеева, в изображении Барсукова, был определенен – он отказал на том основании, что пулеметы нужны на фронте. Тем не менее Протопопов говорил Белецкому, в феврале (в дате и здесь безсмыслица): «Мы еще поборемся. Пулеметы уже пришли». По сообщению Белецкаго, пулеметы предполагалось применить, если толпа пойдет на Царское Село. А пока что, полиция обучалась стрельбе из пулеметов – так утверждал Родзянко, Делали это «нагло» – показывал Родзянко в Комиссии, – делали открыто на площади и в пожарной части на Офицерской. Сын Родзянко с возмущением писал отцу из Екатеринослава, что там на соборной площади также открыто обучают полицию обращении с пулеметами. Подобныя же сведения шли из Смоленска. Очевидно, это была «мера общаго характера». В Петербурге, как узнал Председатель Думы, полиция располагала 600 пулеметами. Тогда он и член Гос. Сов. Карпов 21 января подняли дело в Совете Обороны. Военный министр был смущен и объяснил, что обучаются стрельбе учебныя войсковыя части. При всеподданнейшем докладе 1 февраля Родзянко, считавший что для обывателей достаточно «винтовок», довел до сведения верховной власти о наличности пулеметов у полиции. Царь сказал: «Я ничего этого не знал и не знаю», тем не менее, именно тогда, по словам Родзянко, Николай II заявил: «если вспыхнут безпорядки, я их задавлю».

На вопрос в Чр. Сл. Ком. Протопопов ответил, что он, узнав о пулеметах на газет, запросил Балка, который объяснил сведения ошибкой; идет обучение молодых солдат. Протопопов распорядился дать опровержение. Пулеметы после выступления Родзянко в Совете Обороны широко были использованы в революционной нелегальной печати – им уделил внимание и «Осведомительный Листок» (.№ 2) Ц. К. большевиков, говоривший, что во всей Империи полиция снабжена пулеметами... В дни «недели» боев в Петербурге никто не сомневался в том, что полиция стреляла из пулеметов по толпе, «В каждом доме мерещились пулеметы» – вспоминал Пешехонов: на чердаках, крышах, колокольнях. «У нас притихли пулеметные залпы – записывает Гиппиус 1 марта – но в других районах действуют во всю и сегодня». Автор дневника отмечал, как «героические» городовые «жарят» с Исаакиевскаго Собора. Даже Белецкий будет говорить о стрельбе полицией из пулеметов 1 марта на Бассейной, где он жил. Со слов кн. Голицына (Председателя Совета) сам военный министр скажет о стрельбе с крыши дома на Мойке. Что же удивительнаго, если на эту тему в то же первое марта английский посол пишет в Лондон Бальфуру официальную телеграмму! Уверенность была столь велика, что Гиппиус без колебаний записывает, как факт, вздорное сообщение, что Протопопов, явившись в Думу, прежде всего передал Керенскому список домов, где поставлены пулеметы. Их очень много – ген. Лукомский в письме Каледину говорил о 100 обнаруженных пулеметах, чем сильно дискредитировано военное министерство. Было известно, что установкой пулеметов специально распоряжался некий жандармский генерал Гордон. Фактом этим особо заинтересовалась Чр. Сл. Комиссия. Хабалов показал, что он впервые услышал о Гордоне и пулеметах от Керенскаго, когда – находился в «министерском павильоне». Но так мифический жандармский генерал и остался не выясненной загадкой – даже в перечне имен в изданных материалах Чр. Сл. Комиссии, где так тщательно редакция сообщала звания и пр. титулы всех лиц, так или, иначе проходивших через следственное производство, Гордон не нашел себе соответствующаго обозначения. Комиссия вызвала через газетныя публикации свидетелей, которые могли бы дать точныя сведения о пулеметах. Следователь Юзевич-Компанеец допросил несколько сот человек и установил, что все найденные на улицах пулеметы принадлежали воинским частям и были похищены с воинских складов... Этот итог подвели в эмигрантских публикациях следователи Чр. Сл. Ком. Руднев и Романов. В своих описаниях они были крайне тенденциозны, и поэтому для нас может быть авторитетнее итог, полученный адвокатским

бюро, которое организовало с марта 47 следственных отделов для обследования деятельности бывших полицейских участков. 6 июля бюро передало в учрежденные временные суды производство о 1197 полицейских чинах – и ни в одном отчете не оказалось данных, указывающих на стрельбу из пулеметов. Производил разследование и неутомимый Бурцев, сам, по его мнению, подвергшийся обстрелу пулеметов, – он заявил, однако, следователю, что «с уверенностью он ничего не может сказать». Тов. председателя Комиссии Завадский воспоминаниях высказал предположение, что слухи породила установка пулеметов на крышах для защиты столицы против неприятельских аэропланов. Они, действительно, были в небольшом количестве размещены начальником воздушной обороны ген. Бурминым на некоторых зданиях (напр., на Зимнем дворце). Стреляли ли из них по уличной толпе? «Господь их знает» – ответил спрошенный Хабалов. 27-го «может быть, стреляли против жителей и, может быть, против правительственных войск». Пожалуй, более компетентно будет суждение революционера Шкловскаго, получившаго специальное поручение в боевые дни – выявить наличие «гнезд пулеметов». Он установил, что с крыш пулеметы (т. е. противоаэропланные) не могли своей стрельбой задевать уличную толпу...

Так знаменитые «Протопоповские пулеметы» оказались одной из революционных сказок – фантазией назвал их в воспоминаниях член Временнаго Комитета Гос. Думы Шидловский[192].

III. Игра в «кошку и мышку»

Так назвал Керенский в иностранном издании своих воспоминаний блуждания императорскаго поезда по пути следования из Могилева в Царское Село. Молодая «мышка» (вернее, надо было сказать «кошка»), по его мнению, проявила в сложной игре, продолжавшейся много часов, большое искусство. Временный Комитет – излагает Керенский тогдашнюю точку зрения – не мог допустить проезда Императора в Царское Село, считая это опасным, и решил задержать в пути, в целях войти в переговоры с монархом» – дело шло, конечно, об отречении, ибо «все» отдавали себе отчет в том, что это отречение необходимо и неминуемо. Комиссар новой власти Бубликов, пристально следивший за продвижением литерных поездов, получил приказ остановить их на ст. Дно Виндавской дороги. Встретив препятствие, царский поезд повернул на Лихославль Николаевской дороги и направился в «Бологое» – Временный Комитет распорядился перерезать путь на севере. Версию эту можно найти и у мемуаристов Ставки, которые своему служебному положению должны были знать, что Царь ехал из Могилева в обычном порядке, не по Виндавской линии через Дно на Царское Село, а по более длинному пути, но и более удобному для литерных поездов, через Оршу, Вязьму, Лихославль до Тосно, а оттуда по передаточной линии на Ц. Село. Через Дно поехал Иванов и, как мы знаем, безпрепятственно доехал до места назначения – никто ему никаких препятствий не оказал[193].

Дело всетаки не в этой существенной неточности. Из всего, что было раньше сказано, ясно, что никакого решения Времен. Комитета, на которое ссылается Керенский, не было. Схема захвата Царя в пути в целях принуждения его к отказу от престола скорее всего произвольно взята из неосуществившагося дореволюционнаго проекта дворцоваго переворота: «план – показывал Гучков – заключался в том, ...чтобы, захватив по дороге между Ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить отречение». Эта схема нашла себе отклик и в донесении английскаго посла в Лондон 1 марта. По тексту донесения как-будто бы выходит, что свою информацию Бьюкенен получил от бывшаго министра ин. д. (Покровскаго), сообщившаго послу, что царский поезд остановлен на ст. Бологое, и что Дума посылает делегатов для предъявления монарху требования отречения. Весьма возможно, что свою беседу с Покровским, который едва ли в это время мог быть непосредственно достаточно осведомлен о планах Врем. Комитета, посол добавлял слухами, шедшими

к нему из думской периферии – от тех, кто был связан с дореволюционными проектами и, как видно из воспоминаний Бьюкенена, ранее осведомлял его не раз о замыслах дворцоваго переворота. Эти посредники могли по своему толковать факт или выдавать за осуществляемый план предположения некоторых членов думскаго комитета, примыкавших к «скобелевскому» плану в интерпретации Гучкова.

Мы видели, что неопределенность царила в позиции Врем. Комитета в течение всего дня блуждания литерных поездов. Сомнительно даже, что «временная власть», как таковая, принимала меры не допустить приезд Царя в Петербург, как утверждает формальный председатель прогрессивнаго блока Шидловский. Родзянко пытался даже действовать в противоположном направлении, и ему невольно содействовал советский комиссар в звании коменданта Николаевскаго вокзала «неведомый поручик Греков», который, вопреки инструкциям думских железнодорожников в центре, больше озабоченных тем, чтобы не пропустить Царя на фронт, довел по линии распоряжение направить царский поезд в Петербург, минуя передаточную на царскосельский путь ст. Тосно: происходила, по характеристик Ломоносова, «явная чепуха, каждый делает, что на ум взбредет». *Этот хаос, а не сознательная воля делателей революции, в значительной степени определял продвижение литерных поездов...* Поэтому надлежит отвергнуть и модификацию игры в «кошку и мышку», которую дал Керенский в книге «La Verité», появившейся через 10 лет после воспоминаний.

Он уже не говорит о плане захвата императорскаго поезда в целях добиться отречения и признает, что сведения Врем. Ком. о мотивах отъезда Императора из Ставки и о движении литерных поездов были смутны и неопределенны(«nous n'avions pas la moindre idée de l'état réel des affaires»). Игра в «кошку и мышку» преследовала, таким образом, только задачу «блокировать поезд к изолировать Николая II. По мнению мемуариста Временный Комитет объективно тем самым оказал лично Царю большую услугу. Попади Николай II в этот момент в Царское Село, его положение стало бы более трагично (это ясно теперь «pour tout le monde»). Не будем вступать на рискованную стезю гаданий о том, что могло бы быть. О бывшем же можно сказать, что и эта блокада в большой степени должна быть отнесена в область мифов.

28-го «последний рейс» императорскаго поезда происходил в нормальной обстановке. Из Вязьмы в 3 часа дня Царь телеграфировал жене: «Надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете и спокойны. Много войск

послано с фронта». В 10 час. веч. в Лихославле получилось сообщение, что в Петербурге образовалось правительство во главе с Родзянко[194]. На другой день историограф так изобразил ход событий в императорском поезде: «Ночью определилось из целаго ряда сведений, что Высочайший поезд временное правительство направляет не в Царское Село, а в Петроград, где Государю предложены будут условия о дальнейшем-управлении. Я убеждал всех, написал даже письмо С. П. Федорову, доложить Воейкову и Государю, что в виду создавшагося положения, надо ехать в Псков, где штаб фронта... Отсюда, взяв войска, надо итти на Петроград и возстановить спокойствие. После всяких разговоров и промедления, уже доехавши в 3 часа ночи до Малой Вишеры, решено было вернуться и через Бологое тянуться к Пскову», Реальное решение было вызвано сообщением, что ст. Любань (между М. Вишерой и Тосно) занята революционными войсками. В сущности и этого не было. Какия-то случайныя запасныя части по-просту разгромили станционный буфет[195].

Почему же Государь решил направиться в Псков? Разделял ли он те соображения своего окружения (или части его), которыя выразил Дубенский в процитированной записи в дневнике? Очевидно, для того, чтобы произвести на иностраннаго читателя большее впечатление Керенский говорит (в издании 38 г.), что Псков был единственный город во всей России, куда Николай II мог еще поехать. Почему? Ведь литерные поезда, не подвергаясь никакой опасности, могли бы, вернуться в Могилев. Такая мысль была бы естественна, если бы Алексеев, действительно, так настойчиво предупреждал Царя о риске выезжать в смутные дни из Ставки. Лукомский говорит: «Некоторые объясняют это тем, что в бытность в Могилеве при начале революции он не чувствовал твердой опоры в своем нач. штаба генерале Алексееве, и решил ехать в армию на северный фронт, где надеялся найти более твердую опору в лице ген. Рузскаго». Дубенский в Чр. Сл. Ком. показывал, что большинство настаивало на Пскове потому; что там был Рузский, «человек» умный, спокойный, имевший большое влияние на Государя»: он мог бы «выяснить положение» – или «послать войска», или войти в «какия-нибудь сношения». «Между тем мы знаем, что командующий Северным фронтом целиком разделял точку зрения нач. штаба Верховной Ставки. И Царь это знал из телеграммы Рузскаго 27-го. Авторитет Алексеева, укрепившийся за долгие месяцы совместной работы, стоял в глазах Царя несравненно выше, следовательно, и более внушительно было личное влияние: сам Рузский, разсказывая впоследствии в. кн. Андр. Влад. о событиях, в которых ему пришлось сыграть такую большую роль, указывал, что он и раньше

чувствовал, что Государь ему «не доверяет». Очевидно, мотивы, которые выставляли Лукомскому, не играли роли в решении «тянуться к Пскову».

Дворцовый комендант довольно правдоподобно объяснил в Чр. Сл. Ком., почему поехали в Псков. Когда ночью в М. Вишере он доложил Царю, последний приказал «повернуть и ехать к ближайшему юзу». Ближайший юз находился в Пскове, где можно было, таким образом, связаться и со Ставкой, и с Петербургом, и с Царским Селом и получить информацию. Дубенский впоследствии вспоминал, что Царь относился к задержке в пути «необычайно спокойно»: «он, мне кажется, предполагал, что это случайный эпизод, который не будет иметь последствий и не помешает ему доехать с некоторым только опозданием в Царское Село». Воейков подчеркивал, что на обратном пути царский поезд прибыл на ст. Дно без опоздания против нормальнаго времени, несмотря на то, что он шел без «официальнаго наряда». Находившейся в свите императорскаго поезда фл.-ад. полк. Мордвинов так и считал, что они вернулись для того, чтобы проехать в Царское Село по Виндавской дороге через ст. Дно и Вырицу, т. е. по линии, по которой проследовал эшелон ген. Иванова. По словам Мордвинова, лишь по прибыли в Ст. Руссу стало известно, что мост по Виндавской ж. д. то ли испорчен, то ли ненадежен, и тогда решили ехать на Псков, а оттуда по Варшавской дороге через Лугу на Царское. Свидетельство Мордвинова не очень авторитетно – он сам разсказывает, что на вопрос его Воейкову; «почему мы едем назад?», тот ответил «как-будто шутливо, но с сильным раздражением: «молчите, молчите, не ваше дело». Во всяком случае, именно в Старой Руссе около часа дня была дана телеграмма Рузскому о приезде Царя в Псков. «Я получил от Воейкова телеграмму. – рассказывал Рузский в. кн. Андрею, – что литерные поезда следуют на Псков, и чтобы были приняты меры к их безпрепятственному пропуску в Царское Сего. На сделанное мною по этому поводу распоряжение, я получил ответ по всей линии до Царскаго, что путь свободен, и литерные поезда могут следовать безпрепятственно», Из предосторожности был заготовлен особый «поезд с рабочей командой, которая в случае необходимости могла бы исправить путь». Так и было до вечера 1 марта, когда произошли известныя события в Луге, и ген. Болдырев сообщил в Ставку в 8 час. веч.: «весьма вероятно, что литерные поезда из Пскова не пойдут, так как задержка в Луге. Во всяком случае, вопрос этот выясняется». Последния сомнения отпадают при чтении лаконической, как всегда, записи, сделанной Царем в дневник и подводящей итог дню перваго марта: «Стыд и позор! Доехать до Царскаго не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедной Алике должно

быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам Господь».

Издали А. Ф. чувствовала, что муж ея как бы попался в «западню». В письме, которое не дошло до Царя и само по себе запаздывало (оно было написано 2-го в ответ на телеграмму с сообщением о прибытии в Псков), А. Ф. писала: «Все отвратительно, и события развиваются с колоссальной быстротой. Но я твердо верю – и ничто не поколеблет этой веры – все будет хорошо... Не зная, где ты, я действовала, наконец, через Ставку, ибо Родз(янко) притворялся, что не знает, почему тебя задержали. Ясно, что они не хотят допустить тебя увидеться со мною прежде, чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу, конституцию или еще какой-нибудь ужас в этом роде. А ты один, не имея за собой армии, пойманный, как мышь в западню, что ты можешь сделать? Это – величайшая низость и подлость, неслыханная в истории – задержать своего Государя... Может быть, ты покажешься войскам в Пскове и в других местах и соберешь их вокруг себя? Если тебя принудят к уступкам, то ты ни в коем случае не обязан их исполнять, потому что оне были добыты недостойным путем».

Это был крик души, но крик почти истерический. И только крайне тенденциозное нежелание разобраться в фактах могло привести к тому, что автор местами фантастически-легендарной книги «Царь и революция» повторяет истерический возглас о «западне», в которую невидимая рука завлекла слишком доверчиваго монарха. Не хитроумный план, осуществляемый по замыслу Временнаго Комитета, привел Царя в «старый Псков». «Западня» была в происходивших событиях. Ретроспективно Керенский признает, что «западня» ему представляется теперь в ином свете, чем в 17 г.: Николай II поехал в Царское, не отдавая себе отчета в безнадежности положения, желая увидать больных детей и в надежде, быть может, примириться с Думой, сделать соответствующия уступки.

* * *

Спокойствие и незаурядная «выдержка», проявленная Николаем II в «удручающей обстановке» (выражение Дубенскаго) 1-го марта, когда он получил тяжелый моральный шок, отложившийся в его сознании словами в дневнике: «стыд и позор», представляется для многих своего рода феноменом. Что здесь приходило извне – от традиционных условностей придворнаго быта и умения «владеть собой совершенно», годами выработаннаго как бы царским ремеслом, и что рождалось в силу личных свойств самодержца – его «пониженной сознательности»? Каждый по своему разрешит психологическую загадку, если она имеется. Для нас этот вопрос имеет значение постолько, посколько он уясняет отношение

монарха к событиям. Запись историографа за первое марта несколько неожиданно после разсказа о мотивах, побуждавших ехать в Псков для того, чтобы противодействовать вооруженной силой революции, непосредственно же приобретает совершенно иной тон. «Все больше и больше определяется, насколько правильно было решение ехать в Псков и избегнуть поездки в Петроград, где, наверное, произошли бы события, во всяком случае, неожиданныя» – гласит она в чтении на заседании Чр. Сл. Ком.: «Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь в дни нашей революции. Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен, она будет введена наверное. Царь и не думает спорить и протестовать. Все его приближенные за это... все говорят, что надо только сговориться с ними, с членами Временнаго Правительства. Я, свидетель этих исторических событий, должен сказать по совести, что даже попыток протеста не было... Старый Псков опять занесет на страницы своей истории великие дни, когда пребывал здесь последний самодержец России, Николай II, и лишился своей власти, как самодержец».

Разительное противоречие, заключающееся между первой половиной записи и второй, может быть объяснено только тем, что вторая была сделана в последнюю минуту истекшаго дня (в записи имеется и прямое указание – около часа ночи), т. е. в обстоятельствах, совершенно изменивших конъюнктуру предшествовавшей ночи и, может быть, психологию несколько примитивнаго историографа: впечатления дня слились, и последнее заслонило более ранния переживания. С этого момента члены ближайшей свиты Императора превращаются в «поклонников конституции (выражение Дубенскаго) и создается легенда о готовности Императора пойти на коренныя уступки общественным требованиям... Мы знаем, что Дубенский в воспоминаниях послал мифическое царское согласие на «конституцию» еще 27-го в ответ на телеграмму Родзянко.

В своей обобщающей записи 1 марта историограф глухо говорит о беседах среди приближенных Царя по поводу левой «конституции», которой не оспаривал и сам монарх. Получается впечатление, что эти разговоры должны были находиться в связи с ожидавшимся приездом Председателя Думы на ст. Дно для переговоров с монархом от имени порожденной революционным порывом временной исполнительной власти. Так создалась легенда, которую не только поддержал, но и развил в своем псевдо-историческом этюде Щеголев – легенда о проекте «полуответственнаго» министерства, созданная в процессе переживаний

монарха в день тяжкаго испытания перваго марта. «Такую уступочку» общественному мнению, – говорит историк, – могло изобрести присущее Николаю лукавство, опирающееся на поразительное невежество в конституционных вопросах». Опирается легенда на воспоминания Мордвинова, упоминающаго о том, что Царь «телеграфировал в поезде Родзянко, назначая его вместо кн. Голицына председателем Совета Министров, и предлагая ему выехать для доклада на одну из промежуточных станций навстречу императорскому поезду». «Тогда же из разговоров выяснилось, – добавляет Мордвинов, – что предполагалось предоставить Родзянко выбор лишь некоторых министров. а министры Двора, военный, морской и иностр. дел должны были назначаться по усмотрению Государя Императора и все министерство должно было оставаться ответственным не перед Гос. Думой, а перед его Величеством». О том, что Мордвинов путает, свидетельствует несуразная дата, которую он устанавливает для телеграммы Родзянко – это было будто бы еще до прибытия в Вязьму, т. е. в первую половину дня 28-го. Отнесем эти возможные, конечно, в придворной среде разговоры более правдоподобно на сутки позже. Я говорю «возможные», потому что версия «полуответственнаго министерства», при всей своей конституционной «безграмотности», была в то время одной из ходячих версий. Припомним, что в. кн. Михаил, действовавший с согласия совещания Совета Министров, на котором присутствовали Председатель Думы и такой испытанный правовед, как ст. сен. Крыжановский, предлагал своему царствовавшему брату как раз подобный же проект «ответственнаго» министерства. Но еще более показательную иллюстрацию мы можем найти в дневнике молодого морского офицера Рейнгартена – одного из тех, кто искренне мечтали о «конституции» для России и деятельно готовились к ней: 27 февраля Рейнгартен излагает ближайшую программу действия, выработанную в кружковых «дружеских беседах» – это, следовательно, коллективное мнение: Гос. Совет и Гос. Дума составляют «законодательный корпус», который избирает «представителей ответственной перед ними исполнительной власти. При этом все министры, кроме военнаго, морского и Двора (как стоящие ныне вне ведения премьера) должны быть сменены». Ходячая версия имела уже свою традицию – и не только в тех разговорах о «конституции», которые велись в 15 г. в прогрессивном блоке (запись Милюкова отмечает, напр., мнение высказанное таким авторитетным государствоведом, как Максим Ковалевский: «мы не занимаемся выборами военнаго и морского министров и, может быть, и иностр. дел»), а в прецедентах, значительно

более ранних; когда в 1905 г. Милюков вел переговоры с Треповым о реконструкции правительства и введении в него общественных элементов, он заранее согласился считать «царской прерогативой» назначение министров военнаго, морского и Двора...

Я не думаю, что подобный проект могла обсуждать царская свита, но допускаю возможность аналогичных безответственных разговоров, так как очевидно, приезд Родзянко неизбежно поднимал вопрос о «конституции», поставленной в порядок дня еще в Ставке. Воейков в Чр. Сл. Ком. решительно отрицал возможность того, чтобы сам Николай II принял участие в политических разговорах со свитой. Этого «никогда не было» – «весь строй, вся атмосфера была – *манекен* ». « Вообще о событиях старались не говорить, потому что ото не особенно приятно было». Вся «надежда была на то, что поедем к Псков, и все выяснится». И только в Пскове в действительности поднялся вопрос об «ответственном министерстве».

Существование проекта «полуответственнаго министерства», созданнаго в период относительнаго блуждания императорскаго поезда, только тогда могло походить на «истину» (документальных доказательств нет – признает и Щеголев), если бы можно было установить факт сношения Царя со Ставкой и давления на него со стороны Алексеева. Информация, полученная нач. штаба после отъезда Императора из Ставки, окончательно убедила его в необходимости контакта с общественностью представленной Временным Комитетом Гос. Думы. Утром 1-го *наштаверхом* была заготовлена всеподданнейшая телеграмма – решительная по содержанию и по тону, Алексеев телеграфировал: «Революция в России, а последняя неминуемо, раз начнутся безпорядки в тылу, знаменует собой позорное окончание войны со всеми тяжелыми для России последствиями: Армия слишком тесно связана с жизнью тыла, и с уверенностью можно сказать, что волнения в тылу вызовут такия же в армии. *Требовать от армии, чтобы она спокойно сражалась, когда в тылу идет революция, невозможно.* Нынешний молодой состав армии и офицерский состав, среди котораго громадный процент призванных из запаса и произведенных в офицеры из высших учебных заведений, не дает никаких оснований считать, что армия не будет реагировать на то, что будет происходить в России...[196]. Мой верноподданнический долг и долг присяги обязывает меня все это доложить В. И. В. Пока не поздно, необходимо немедленно принять меры к успокоению населения и возстановить нормальную жизнь в стране. Подавление безпорядков силою при нынешних условиях опасно и приведет Россию и армию к гибели.

Пока Гос. Дума старается водворить возможный порядок, но если от В. И. В. не последует акта, способствующаго общему успокоению, власть завтра же перейдет в руки крайних элементов, и Россия переживет все ужасы революции. Умоляю В. В. ради спасения России и династии поставить вс главе правительства лицо, которому бы верила Россия, и поручить ему образовать кабинет. В настоящую минуту это единственное спасение. Медлить невозможно и необходимо это провести безотлагательно. Доказывающие В. В. противное, безсознательно или преступно ведут Россию к гибели и позору и создают опасность для династии В. И. В.».

Алексеевская телеграмма, не говорившая еще об ответственном министерстве в настоящем смысле, в утренние часы 1-го не была послана «за отсутствием связи» с императорским поездом. Позже она была отправлена в Петербург «для передачи в Царское Седо» в надежде, что Царь туда прибыл, и повторена около 6 час. в штаб Рузскаго для вручения ея Царю, когда тот будет «проезжать через Псков». Сведения о том, что «поезд лит. А.» проследует через Псков, в Ставке получили в 4 часа, когда поступил запрос гдавкосева с просьбой его «ориентировать» для «возможности соответствующаго доклада». Из сопоставления этих документов как-будто бы ясно, что в царском поезде до прибытия его и Псков никаких сведений и указаний из Ставки не получали. Такая поправка должна быть сделана к воспоминаниям Пронина, утверждающаго, что телеграмма Алексеева была передана «немедленно по установлению местонахождения Государя» – «около 3 час. дня... на ст. Дно». Аналогичный корректив необходимо внести и к показаниям дворцоваго коменданта, которыя ввели в заблуждение Блока и Щеголева. В стенографическом отчете (не очень вразумительной записи») помещены слова Воейкова, что «на ст. Дно телеграмму о согласии Государя принять Родзянко, Алексеев доложил сам(?).

Он получил ответ, что Родзянко едет на ст. Дно». Этим как бы устанавливалась непосредственная связь между «поездом лит. А.» и Ставкой, чего в действительности не было.

Государь прибыл в Псков, не имея дополнительных данных, поступивших в Ставку за два дня его отсутствия и рисовавших обстановку в более грозном свете, нежели это представлялось в момент отъезда «Случайный эпизод», вызвавший необходимость изменить намеченный маршрут в Царское Село, не мог произвести радикальной перемены в психологии «самодержца», упорно отказывавшагося от необходимых уступок общественным требованиям в смысле установления «ответственнаго министерства» под влиянием такого же, по его мнению,

случайнаго бунта в столице. То, что произошло в Пскове в ночь на 2-ое марта, целиком подтверждает такое заключение.

IV. Псковская драма

1. Воздействие генералитета

Как ни умел внешне владеть собой Николай II, как ни внушал он себе, что все совершающееся большого значение не может иметь, впечатления, полученныя им во время тревожнаго «рейса», не могли не оказать на него воздействия. Едва ли «последний самодержец» принадлежал к числу боевых натур, которых опасность возбуждает и заставляет итти на риск. Скорее ему присуща была некоторая пассивность перед роком – мистическая покорность судьбе, как охарактеризовал Сазонов Палеологу натуру Николая II в 14 г. после возвращения из Москвы[197]. И, может быть, не так уже сознательно преувеличивал ген. Рузский, сказав в интервью, которое он дал сотруднику «Русской Воли» через несколько дней после отречения, что, когда Николай II приехал в Псков, он ни о каких «репрессивных мерах против ревюлюции не мечтал».

В Пскове Николай II должен был попасть в атмосферу, отнюдь не благоприятствовавшую подогреванию тех иллюзий, которыми убаюкивал свое сознание «самодержец». Дневник ген. Болдырева, ген. кварт. у Рузскаго. довольно отчетливо рисует настроение в штабе Севернаго Фронта. 27-го у него записано: ..."События приняли крайне серьезный оборот... Д(анилов) говорит, что выход один – выбор 30 доверенных лиц, которыя в свою очередь выбрали бы кандитата, которому и вручить судьбу России... Но «сам» уверен, что все это бредни, что Россия благоденствует. Это мнение, по словам Д., разделяет и в. кн. Георг. Мих., бывший сегодня у главнокомандующаго. Верно, что нет большей слепоты у людей, которые ничего не хотят видеть»... 1 марта запись продолжает: «Решается судьба России... Пскову и Рузскому, видимо, суждено сыграть великую историческую роль... Здесъ, в Пскове, окутанному темными силами монарху придется вынужденно объявить то, что могло быть сделано вовремя... Я сказал Данилову, что сегодня вопрос надо кончить, что завтра уже будет поздно. Видимо, они с Рузским решили, что другого выхода нет»... Вероятно, эта обстановка и побудила полк. Пронина в Ставке написать в своих воспоминаниях, что Царь в Пскове был изолирован – его окружали «холодные люди Севернаго фронта».

В Пскове должна была встретить Царя не ложная информация о том, что войска, посланныя на усмирение бунта, переходят на сторону революции, а процитированная выше телеграмма начальника штаба, в дополнение к которой помощник Алексеева ген. Клембовский сообщал, что в. кн. Сергей Мих. просит доложить Государю о «безусловной

необходимости принятия тех же мер, которыя указаны в телеграмме ген. Алексеева» – Вел. Князь считал, что наиболее подходящим лицом в качестве премьера является председатель Гос. Думы. Была еще повторная телеграмма Брусилова, направленная в 7 ч. веч. на ст. Дно на имя министра Двора и говорившая о гибельности в дни грозной войны для «отечества и царскаго дома» междоусобной брани. Грозные симптомы наступающей катастрофы выступали в сообщениях об «анархии» в Кронштадте, об убийстве главнаго командира порта адм. Вирена и об аресте офицеров. Командующий флотом Балтийскаго моря адм. Непенин телеграфировал о необходимости пойти навстречу Гос. Думе, причем сообщал, что приказал объявить командам телеграмму Родзянко о создании Временнаго Комитета: «считаю, что только таким прямым и правдивым путем я могу сохранить в повиновении и боевой готовности вверенныя мне части». Далее шла отправленная в 2 часа 30 мин. депеша командующаго войсками в Москве Мрозовскаго: «В Москве полная революция. Воинския части переходят на сторону революционеров». Вероятно, только в Пскове Царя достигла и та телеграмма брата, которую воспроизвел в воспоминаниях полк. Никитин по копии, снятой секретарем в кн. Джонсоном и сохраненной в семейном архиве кн. Брасовой. Вот она: «Забыв все прошлое, прошу тебя пойти по новому пути, указанному народом. В эти тяжелые дни, когда мы все русские так страдаем, я шлю тебе всего сердца этот совет, диктуемый жизнью и моментом времени, как любящий брат и преданный русский человек». Надо драть, что Царь получил и письмо начальника английской военной миссии ген. Вильямса, помеченное 1-м марта. Он, как человек «безпредельной и искренней преданности», писал, что во время всех волнений, которыя он видел «в разных государствах», всегда лучшим средством было – иметь «отдушину» – во всех государствах бывают времена, когда необходимо иметь «бархатную перчатку на железной руке». «Не подлежит сомнению, – говорил «не политик и не дипломат, а старый солдат»,–что в основе настоящих волнений имеются немецкия козни, но козни эти могут быть уничтожены... Мне кажется, что настало время призвать народ Ваш помочь Вам нести ту громадную тяжесть, которая лежит на ваших плечах». Вильямс говорил о «свободе слова в парламенте», о правительстве, избранном народными представителями.

Так как от Родзянко была получена телеграмма, что он не приедет, то функции посредника должен был взять на себя Рузский. «Я стал доказывать Государю, – разсказывал Рузский в. кн. Андрею Вл. – необходимость даровать ответственное министерство, что уже по слухам,

собственный Е. В. конвой перешел на сторону революционеров, что самодержавие есть фикция при существовании Гос. Совета и Думы и что лучше этой фикцией пожертвовать для общаго блага. Государь ответил, что «не знает, как решить, что скажет юг России, казачество». По записи разсказа Рузскаго, сделанной Вильчковским также в Кисловодске, основная мысль Николая II заключалась в том, что он «ответственен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится». Рузский старался доказать, что следует принять формулу: «Государь царствует, а правительство управляет"» Государь возражал, что «эта формула ему не понятна, что надо было иначе быть воспитанным, переродиться и опять оттенил, что лично не держится за власть, но только не может принять решение против своей совести и, сложив с себя ответственность за течение дел перед людьми, не может считать, что он сам не ответственен перед Богом».

В момент беседы, которая происходила «глаз на глаз», пришла из Ставки новая телеграмма Алексеева, переданная около 10 час. веч. Неутомимый нач. штаба, повторяя аргументацию предшествовавшаго своего сообщения, предоставлял на усмотрение Царя проект манифеста, умоляя немедленно его опубликовать. Ново в постановке вопроса было то, что в манифесте у нее определенно говорилось об « ответственном перед представителями народа министерстве», составить которое поручалось председателю Гос. Думы. Рузский говорил Андр. Вл., что телеграмма Алексеева решила дело: «Не знаю, удалось ли бы мне уговорить Государя, не будь телеграммы Алексеева–сомневаюсь». Царь дал согласие и сказал, что напишет сейчас телеграмму. Рузский ушел, и через некоторое время ему была доставлена телеграмма на имя Родзянко, в которой ответственное министерство формулировано было как раз в соответствии с одной из указанных выше модуляций применительно к войне. По словам Рузскаго, там было сказана: «поручаю вам сформировать новый кабинет и выбрать министров, за исключением военнаго, морского и ин. дел». «Тогда я обратился к Воейкову, – продолжает Рузский по записи Андр. Вл., – с просьбой доложить Государю, что мне он говорил о даровании ответственнаго министерства, а в телеграмме сказано лишь о сформировании новаго кабинета без указания, перед кем он ответствен, Воейков вытаращил на меня глаза, заерзал на диване и очень неохотно пошел к Государю. Я остался ждать. Ждал час, потом второй и ничего[198]. Тогда я попросил одного из адъютантов сходить и доложить Государю, ждать ли мне или можно уехать в штаб. Я чувствовал себя не совсем хорошо, да еще безумно устал и еле держался на ногах. Пока адъютант

ходил и докладывал, остальныя лица свиты стали обсуждать положение и, когда узнали, что Государь согласен даровать ответственное министерство, все обрадовались, уверяя, что давно говорили, что это необходимо было сделать. Кому они об этом говорили, я так и не узнал». Вероятно, в течение этой беседы и были произнесены горькия и резкия слова стараго главнокомандующаго, отмеченныя мемуаристами из свиты и занесенныя в дневник Дубенскаго[199]. На вопрос: «что же делать?» Рузский между прочим, сказал: «Ну, господа, поздно, ничего нельзя теперь – теперь нужно сдаваться на милость победителя и согласиться на те условия, которыя предложены»... Дубенский в воспоминаниях, написанных в эмиграции, отнеся беседу с Рузским на первый момент приезда в Псков, изобразил характер беседы в духе ином, чем Рузский. По его словам, Фредерикс, сказав Рузскому, что решено дать ответственное министерство, просил его помочь Царю. «Теперь уже поздно», – сказал Рузский: «Я много раз говорил, что необходимо итти в согласии с Гос. Думой и давать те реформы, которыя требует страна. Меня не слушали. Голос хлыста Распутина имел большее значение. Им управлялась Россия»... – «с яростью и злобой говорил ген.-ад. Рузский». «После разговора с Рузским мы стояли все потрясенные и как в воду опущенные. Последняя наша надежда, что ближайший главнокомандующий Северньм фронтом поддержит своего Императора, очевидно, не осуществится. С цинизмом и грубою определенностью сказанная Рузским фраза: «надо сдаваться на милость победителя», все уясняла и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшаго командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот... Ген.-ад. К. Д. Нилов был особенно возбужден и, когда я вошел к нему в купэ, он, задыхаясь, говорил, что этого предателя Рузскаго надо арестовать и убить, что погибает Государь и вся Россия»... «Только самыя решительныя меры по отношению к Рузскому, может быть, улучшили бы нашу участь, но на решительныя действия Государь не пойдет», – сказал Нилов. К. Д. весь вечер не выходил из купэ и сидел мрачный, не желая никого видеть»...

«Прождал я всего около двух часов, – разсказывал далее Рузский все в той же записи, – был уже первый час ночи, когда меня позвали к Государю. Там был гр. Фредерикс, и Государь передал мне вновь составленную телеграмму, где уже был сказано о даровании ответственнаго министерства без ограничения». Вильчковскому Рузский говорил, что при обсуждении проекта манифеста, предложеннаго Алексеевым, как-то чувствовалось нечто «похожее на безразличие»,

Рузскому показалось, что Царь даже передумал, и поэтому он спросил: «не будет ли он действовать против воли Государя», сообщив в Ставку и в Петербург о согласии Царя на манифест. Государь ответил, что «принял решение, ибо и Рузский, и Алексеев, с которым он много на эту тему раньше говорил, одного мнения, а ему, Государю, известно, что они редко сходятся на чем-либо вполне». Принять решение Царю было «очень тяжело, но раз этого требует благо России, он на это по чувству долга должен согласиться»... Наряду с согласием на ответственное министерство Рузский, как мы знаем, получил разрешение приостановить продвижение войск с фронта. Царь самому «диктатору» предписал ничего не предпринимать до его приезда.

Последовавшая затем беседа Рузскаго с Родзянко изложена нами в другом месте. В этом ночном разговоре была поставлена дилемма об отречении. Припомним, что Родзянко не знал, как ответить на вопрос Рузскаго: «нужно ли выпускать манифест?» – «все зависит от событий, которыя летят с головокружительной быстротой». Сам Рузский считал более осторожным не выпускать манифеста до свидания с Царем, которое должно было состояться в 10 час. утра. Все материалы были сообщены в Ставку. Прочитав ленту переговоров Рузскаго с Родзянко, Алексеев просил немедленно разбудить Царя и доложить ему беседу с Родзянко, ибо переживается «слишком серьезный момент, когда решается вопрос не одного Государя, а всего царствующаго дома в России»... «важна каждая минута и всякие этикеты должны быть отброшены». Алексеев указывал, что необходимо сделать сообщение в армии, ибо «неизвестность хуже всего и грозит тем, что начнется анархия в армии». Передавая распоряжение Алексеева по должности «официально», ген. Лукомский, с своей стороны, просил Данилова доложить Рузскому, что по его, Лукомскаго, «глубокому убеждению, выбора нет и отречение должно состояться. Надо помнить, что вся царская семья находится в руках мятежных войск... Если не согласиться, то, вероятно, произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угрожать царским детям, а затем начнется междоусобная война, и Россия погибнет под ударом Германии, и погибнет вся династия. Мне больно это говорить, но другого выхода нет». Впервые слова об отречении попали на официальную ленту штабных разговоров. Их произнес Лукомский, передавая, очевидно, главенствовавшия тогда настроения в Ставке[200]. Чрезвычайно знаменательно, что это признал генерал правых политических убеждений, выдвигавший план отъезда Царя в Особую армию для противодействия революции...

«Ген. Рузский через час будет с докладом у Государя», – отвечал Лукомскому Данилов, – «и поэтому я не вижу надобности будить главнокомандующаго, который только что, сию минуту, заснул и через полчаса встанет... Что касается неизвестности, то она, конечно, не только тяжела, но и грозна. Однако, и ты, и ген. Алексеев отлично знаете характер Государя, и трудность получить от него определенное решение. Вчера весь вечер до глубокой ночи прошел в убеждениях поступиться в пользу ответственнаго министерства. Согласие было дано только к двум часам ночи, но, к глубокому сожалению, оно– как это, в сущности, и предвидел главнокомандующий, явилось запоздалым,.. Я убежден, к сожалению, почти в том, что, несмотря на убедительность речей Ник. Вл. и прямоту его, едва ли возможно будет получить определенное решение. Время безнадежно будет тянуться. Вот та тяжелая картина и та драма, которая происходит здесь»... «Дай Бог, чтобы ген. Рузскому удалось убедить Государя. В его руках теперь судьба России и царской семьи», – подал заключительную реплику Лукомский.

Понимал ли это сам Николай II? Ни личныя свойства, отмеченныя Даниловым, ни религиозная концепция власти, традиционно воспринятая с рождения, выдвинутая в разговоре с Рузским, не могут объяснить того исключительнаго упорства, которое проявил монарх в эти, действительно, грозные для него дни. Да. здесь было еще «что-то», что мешало правдивому восприятию происходившаго. Царь «производил впечатление человека задерганнаго, который перестал понимать, что нужно делать, чтобы найти выход из положения», –- в таких выражениях подвел итоги того, что ему пришлось слышать, Милюков в Чр. Сл. Ком. Возможно, что такая характеристика и не так далеко была от истины. Почти аналогичное впечатление вынес Коковцов из последняго свидания с Императором, которое происходило за пять недель до революции.

Таким образом, безконечно трудная задача стояла перед теми, кто понимая необходимость быстраго решения вопроса. Оно диктовалось не нетерпением людей, поддавшихся психозу момента и легко подчинившихся влиянию политиков – оно диктовалось прежде всего реальными требованиями фронта. Я бы побоялся приписать только Алексееву инициативу обращения к командующим фронтом в целях побороть нерешительность и двойственность Царя. Эту двойственность заметил Рузский; этой двойственности боялся и Алексеев, указавший утром 2-го, в беседе по юзу с Брусиловым, на то, что он «не вполне» доверяет ликвидации Ивановской миссии... Обращение к командующим фронтом было сделано между 10–11 часами утра после упомянутой весьма

показательной беседы двух генералов. Сам Алексеев говорил с Брусиловым; Клембовский с Эвертом; Лукомский с Сахаровым; ему же было поручено передать на Кавказ в. кн. Ник. Ник. через ген. Янушкевича. Текст передачи был выработан единообразный. После краткаго изложения основных положений, высказанных ночью Родзянко, шло добавление: «обстановка (в своей передаче Алексеев прибавил «туманная»), повидимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, основанныя на том, что существование армии и работа жел. дорог находятся фактически в руках петроградскаго временнаго правительства. Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжать до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России и судьбу династии нужно поставить на первом плане, хотя бы ценою дорогих уступок. Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Е. В. через главковерха, известив наштоверха? Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России, и что между высшими начальниками действующей армии нужно установить единство мыслей и целей. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, а решения относительно внутренних дел должны избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху». «Колебаться нельзя. Время не терпит. Совершенно с вами согласен... тут двух мнений быть не может». – ответил Брусилов Алексееву. Ген. Эверт, соглашаясь, что «вопрос может быть разрешен безболезненно для армии, если только он будет решен сверху», спрашивал: есть ли время сговориться с командующими. «Время не терпит, дорога каждая минута», – отвечал ему Клембовский: «иного исхода нет. Государь колеблется, единогласныя мнения командующих могут побудить его принять решение, единственно возможное для спасения России и династии. При задержке в решении вопроса Родзянко не ручается за сохранение спокойствия, при чем все может кончиться гибельной анархией». «Повидимому, как ни грустно, а придется согласиться с этим единственным выходом». – говорит Сахаров, предпочитая, однако, дать окончательный ответ после получения мнения других главнокомандующих и, главное, ответа с Кавказа.

Нельзя не отметить одной черты. В постановке Родзянко еще не существовало дилеммы в качестве категорическаго императива: говорилось лишь, что «грозное требование отречения... становится определенным требованием»[201]. На фронте сомнения были разрешены в

пользу этого императива, ибо надлежало положить конец колебаниям – требовалась определенность. Можно допустить, что это произошло почти безсознательно для верховнаго командования: по крайней мере Алексеев через несколько дней на представленной ему записи беседы английскаго ген. Вильямса с вдовствующей императрицей в Могилеве, где упоминалось, что Царь отрекся от престола по настояниям ген. Рузскаго, сделал пометку: «Вопрос этот в Петербурге был решен уже 1/III, 2-го Милюков уже говорил об этом в своей речи».

В 9 1/2 час. утра Рузский делал доклад верховному повелителю. Запись Вильчковскаго, проводящаго определенную тенденцию реабилитации Рузскаго в глазах эмигрантских монархистов и пытающагося всю инициативу отречения отнести за счет Алексеева (запись явно иногда не точная и спутывающая разные моменты), дает такия подробности: «Ген. Рузский спокойно, «стиснув зубы», как он говорил, но страшно волнуясь в душе, положил перед Государем ленту своего разговора. Государь, молча, внимательно все прочел. Встал с кресла и отошел к окну вагона... Наступили минуты ужасной тишины. Государь вернулся к столу... и стал говорить спокойно о возможности отречения. Он опять вспомнил, что его убеждение твердо, что он рожден для несчастья, что он приносит несчастье России; сказал, что он ясно сознавал вчера еще вечером, что никакой манифест не поможет. «Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это», –сказал Государь: «но я опасаюсь, что народ этого не поймет. Мне не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве в день священнаго коронования; меня обвинят казаки, что я бросил фронт»... Рузский высказал еще свою надежду, что манифест все успокоит, и просил обождать совета и мнения ген. Алексеева, хотя не скрыл, что, судя по словам ген. Лукомскаго, видимо, в Ставке склоняются к мнению о необходимости отречения. В это время подали срочно дошедшую телеграмму Алексеева (циркулярную – обращение к главнокомандующим). Рузский, бледный, прочел вслух ея содержание. «Что же вы думаете Н. В.?» – спросил Государь. – «Вопрос так важен и так ужасен, что я прошу разрешения В. В. обдумать эту депешу раньше, чем отвечать... посмотрим, что скажут главнокомандующие остальных фронтов. Тогда выяснится вся обстановка». Государь..., сказав: «Да, и мне надо подумать», отпустил его до завтрака».

По записи Андр. Вл. – «Государь внимательно читал, но ничего не отвечал». Как будто это более соответствует утренней обстановке после длительной ночной беседы. «Я еще спросил, – записывает Андр. Вл., –

откуда могла ими. Мария Фед. разсказывать знакомым, со слов Государя, что во время разговора в Пскове он, Рузский, стукнул кулаком по столу и сказал: «Ну, решайтесь же, наконец», – разговор шел об отречении. Рузский мне ответил: «Я не знаю, кто мог это выдумать, ибо ничего подобнаго никогда не было. Вероятнее всего это Воейков наврал, после того, что я с ним резко говорил».

Вновь был вызвал Рузский к Царю в 2 часа дня. Он просил разрешения привести с собой ген. Данилова и ген. Савича (гл. нач. снаб. фронта), ибо, как он сказал «прямо» Царю: «В, В., я чувствую, что Вы мне не доверяете... Пусть они оба изложат свое личное мнение» (по записи Андр. Вл.). Сначала Рузский доложил все полученныя за последние часы сведения. «Когда очередь дошла до телеграммы ген. Алексеева с заключениями главнокомандующих (передана была в 2 ч. 30 м.) – разсказывает уже Данилов, – то ген. Рузский положил телеграфныя ленты на стол перед Государем и просил прочесть их лично». В. кн. Ник. Ник. «коленопреклоненно» молил спасти Россию и наследника: "осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследие. Другого выхода нет»... Брусилов, исходя из своей преданности и любви к родине и царскому престолу, считал, что отказ от престола «единственный исход». Эверт, отмечая, что «средств прекратить революцию в столицах нет никаких» («на армию при настоящем ея составе разсчитывать при подавлении безпорядков нельзя»), умолял, как «безгранично преданный... верноподданный», Принять решение, согласованное с заявлением председателя Думы, как «единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии». Докладывая приведенныя телеграммы, Алексеев, с своей стороны, умолял «безотлагательно принять решение, которое Господь Бог внушит Вам... Промедление грозит гибелью России. Пока армию удается спасти от проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города. Но ручаться за дальнейшее сохранение военной дисциплины нельзя. Прикосновение же армии к делу внутренней политики будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России, развал ея. В. И. В. горячо любите родину и ради ея целости, независимости, ради достижения победы, соизволите принять решение, которое может дать мирный и благополучный исход из создавшагося более, чем тяжелаго, положения... Ожидаю повелений». Лишь телеграмма ген. Сахарова, пришедшая из Ясс с опозданием на час и доложенная особо, была составлена в иных тонах. Не совсем соответственно тому, что главнокомандующий румынским фронтом говорил по юзу Лукомскому,

все же Сахаров приходил к тем же заключениям: генерал возмущался «преступным и возмутительным ответом председателя Гос. Думы на высокомилостивое решение Государя Императора даровать стране ответственное министерство». «Горячая любовь моя к Е. В. – говорил Сахаров – не допускает души моей мириться с возможностью осуществления гнуснаго предложения, переданнаго Вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся Царя своего, задумал это злодейство, а разбойническая кучка людей, именуемая Гос. Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего державнаго вождя, если бы не были призваны к защите родины от врага внешняго и если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армии. Таковы движения *сердца и души* . Переходя же к *логике разума* и учтя создавшуюся безвыходность положения, я, непоколебимо верный подданный Е. В., рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности продолжать биться «с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищу к предъявлению дальнейших и еще гнуснейших притязаний». Гораздо позже, в 8 час. 40 мин. вечера, была получена телеграмма Непенина: «С огромным трудом удерживаю в повиновении флот и вверенныя войска... Всеподданнейше присоединяюсь к ходатайствам вел. кн. Н. Н. и главнокомандующих фронтами о немедленном принятии решения, формулированнаго председателем Думы. Если решение не будет принято в течение ближайших же часов, то это повлечет за собой катастрофу с неисчислимыми бедствиями для нашей родины».

Затем Рузский обрисовал обстановку, указав, что выход один – отречение. «Но я не знаю, хочет ли этого вся Россия?» – сказал Государь, по словам другого мемуариста, непосредственнаго свидетеля происходившего, ген. Савича. «В. В., – возразил Рузский, – заниматься сейчас анкетой обстановки не представляется возможным, но события несутся с такой быстротой и так ухудшают положение, что всякое промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Я Вас прошу выслушать мнение моих помощников; они оба в высшей степени самостоятельны и притом прямые люди». Наступила очередь для выступления приглашенных экспертов... «Ген. Данилов. – разсказывал Рузский Андр. Вл., – в длинной речи изложил свое мнение, которое сводилось к тому, что для общаго блага России Государю необходимо отречься от престола.

Примерно то же, но короче, сказал ген. Савич». Сам Данилов в воспоминаниях представляет свою речь очень кратко. Что же касается Савича, то «генерал этот, – разсказывает сам Савич о себе, – страшно волновался. Приступ рыданий сдавил его горло». Чувствуя, что он «сейчас разрыдается», генерал только сказал: «Я человек прямой и поэтому вполне присоединяюсь к тому, что сказал генерал Н.», т. е. Данилов[202]. Наступило общее молчание, длившееся одну-две минуты. Государь сказал: «Я решился. Я отказываюсь от престола». Перекрестились генералы. Обращаясь к Рузскому, Государь сказал: «Благодарю Вас за доблестную и верную службу» и поцеловал его. Затем Государь ушел к себе в вагон».

Что побудило Царя к такому неожиданно скорому решению. «Весь вопрос об отречении, – записал Андр. Вл., – был решен от 2 до 2 ч. 45 м. дня, т. е. в 3/4 часа времени, тогда как вопрос об ответственном министерстве накануне решался от 9 час. до 12 1/2 ночи». Можно ли это объяснить только мистикой Николая II, считавшаго лично себя в праве отречься от престола, но не в праве ограничивать пределы полномочий царской власти? (объяснение Гурко). Центр тяжести, думается, надо перенести в иную плоскость. Очевидно, на монарха произвело сильное впечатление коллективное выступление главнокомандующих. В. кн. Александр Мих. разсказывает, что позже, в Могилеве, Царь ему показывал пачку телеграмм, полученных от главнокомандующих, и когда он нашел телеграмму, подписанную Ник. Ник., – впервые голос его дрогнул: «Даже он», – сказал Никки»,..

По словам Рузскаго, Царь вышел для того, чтобы написать телеграмму об отречении. Ровно в 3 часа Государь вернулся и передал две телеграммы: одну в Петербург на имя председателя Думы, другую наштоверху в Ставку: «Нет той жертвы, которую Я не принес бы во имя действительнаго блага и для спасения родимой матушки России. Посему Я готов отречься от Престола в пользу Моего Сына с тем, чтобы Он оставался при Мне до совершеннолетия, при регентстве брата Моего Михаила Александровича», – гласила телеграмма Родзянко. (По словам Савича, прибавка о регентстве была сделана по указанно Рузскаго). «Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России Я готов отречься от Престола в пользу Моего Сына. Прошу всех служить Ему верно и нелицемерно», – гласила телеграмма в Ставку. Телеграммы были помечены: «15 часов».

Не все еще детали псковекаго действия можно выяснить, так, напр., в более поздней телеграмме ген. Данилова в Ставку (6 час. веч.) говорится: «одно время возникло предположение у Государя поехать через Двинск в Ставку, но вскоре эта мысль была оставлена в виду второй беседы Е. В. с

ген. Рузским, о которой я уже донес «наштоверху». В опубликованных материалах этого донесения нет. Очевидно, мысль о поездке в Ставку была оставлена после принятаго решения об отречении.

2. Свитская интрига

В момент, когда заканчивался первый акт псковскаго действия, пришло сообщение из Петербурга о предстоящем приезде в Псков с экстренным поездом Гучкова и Шульгина. «Я предложил Государю, – говорил Рузский Андр. Вл., – лично сперва с ними переговорить, дабы выяснить, почему они едут, с какими намерениями и полномочиями». Таким образом, было решено телеграммы не посылать до приезда думских делегатов, при чем, по утверждение Вильчковскаго, телеграмму в Ставку Царь взял обратно из рук. Рузскаго. «Не прошло и 1/2 У часа после моего ухода, – продолжая Рузский по той же записи разговора, – как ко мне пришел один из флигель-адъютантов и попросил вернуть Государю телеграмму. Я ответил, что принесу лично и пошел в царский поезд и застал Государя и гр. Фредерикса. Я чувствовал, что Государь мне не доверяет и хочет вернуть телеграмму обратно, почему прямо заявил: «В. В. я чувствую, Вы мне не доверяете, но позвольте последнюю службу все же сослужить и переговорить до Вас с Гучковым и Шульгиным и выяснить общее положение». На это Государь сказал: «Хорошо, пусть останется, как было решено»... Я вернулся к себе в вагон с телеграммой в кармане и еще раз предупредил коменданта, чтобы, как только приедут Гучков и Шульгин, вести их прямо ко мне в вагон». «Мне хотелось узнать от них, – добавлял Рузский, – в чем дело, и, если они вправду приехали с целью просить Государя об отречении, то сказать им, что это уже сделано. Хотелось мне спасти, насколько возможно, престиж Государя, чтобы не показалось им, что под давлением с их стороны Государь согласился на отречение, а принял его добровольно и до их приезда. Я это сказал Государю и просил разрешения сперва их повидать, на что получил согласие». Болдырев записал 2-го со слов Данилова, что «Государь был особенно неприятно поражен, что это решение (об отречении) придется выполнить в присутствии, а, может быть, и под давлением ненавистнаго ему А. И. Гучкова»[203]. Вильчковский в соответствии со своей тенденцией приписывает Рузскому намерение убедить, при личном свидании, делегатов в ненужности отречения. Почему Рузскому надо было оставлять при таких условиях телеграмму? Рузский, по противоположному мнению Щеголева, «не хотел выпустить из своих рук козыря» и, желая «упредить Царя», намеревался первым встретить делегатов. Не проще ли поверить, мотивам Рузскаго в изложении Андр. Вл.: он хотел показать делегатам, что вопрос об отречении уже решен помимо их вмешательства.

Среди царскаго окружения родилась мысль попытаться аннулировать принятое решение. Что такая мысль действительно была, видно из записей, довольно противоречивых, действовавших лиц. Наибольшее значение, естественно, может иметь современная запись Дубенскаго, помеченная 4 час. 45 мин.: «Сейчас узнал в поезде Государя, что события идут все страннее и неожиданнее... Государь, дабы не делать отказа от престола под давлением Гучкова и Шульгина, неожиданно послал ответ телеграммой с согласием отказаться от престола. Когда Воейков узнал это от Фредерикса, пославшаго эту телеграмму, он попросил у Государя разрешение вернуть эту телеграмму. Государь согласился. Воейков быстро вошел в вагон свиты и заявил Нарышкину (нач. воен. поход, канц.), чтобы он побежал скорее на телеграф и приостановил телеграмму. Нарышкин пошел на телеграф, но телеграмма ушла, и нач. тел. сказал, что он попытается ее остановить. Когда Нарышкин вернулся и сообщил это, то все, стоящие здесь, Мордвинов, Штакельберг и я, почти в один голос сказали: «все кончено». Затем выражали сожаление, что Государь так поспешил, все были разстроены, насколько могут быть разстроены эти пустые, эгоистичные в большинстве люди». В дальнейшем историограф записал: «Оказалось, что телеграммы Рузский не успел передать, она задержана до приезда Гучкова и Шульгина. Долго разговаривали все, и Воейков, до моему настоянию, пошел и сказал Государю, что он не имеет права отказываться от престола только по желанно Временнаго Правительства и командующих фронтами... Я доказывал, что отречение вызовет междоусобицу, погубит войну и затем Россию». Дальнейших записей Дубенскаго мы пока не знаем. В Чр. Сд. Ком. Дубенский, комментируя свои записи, сказал: «все эти соображения были совершенно не признаны Государем-Императором... Насколько мне известно, он к этому отнесся довольно спокойно: «Раз этого желают, раз командующие армиями написали, приехали представители, значит, воля Божья».

Воспоминания фл.-ад. Мордвинова дают как бы продолжение прерванных для нас записей Дубенскаго. Они несколько по иному изображают свитскую интригу. Узнав от Фредерикса об отречении и о телеграммах, переданных Рузскому, и боясь, что Рузский поспешит их отправить, между тем как приезд думских уполномоченных может изменить положение («может Шульгин и Гучков... сумеют отговорить и иначе повернуть дело... Ведь мы не знаем, что им поручено, и что делается там у них»), чины свиты («мы все») убедили министра Двора пойти к Государю и добиться приказа «взять телеграммы от Рузскаго». Фредерикс пошел и через несколько минут вернулся с соответствующим

распоряжением. Тогда к Рузскому был послан Нарышкин, вернувшийся, однако, с пустыми руками». Свиту решение Рузскаго о предварительном свидании с думскими уполномоченными «взволновало... необычайно»: «в желании Рузскаго настоять на отречении и не выпускать этого дела из своих рук не было уже сомнений», «Мы вновь пошли к Фредериксу просить настоять перед Е. В. о возвращении этих телеграмм, а проф. Федоров, по собственной инициативе, направился к Государю. Было около четырех часов дня, когда С. П. вернулся обратно в свое купэ, где большинство из нас его ожидало. Он нам сказал, что вышла перемена, и что все равно прежних телеграмм теперь нельзя послать: «я во время разговора о поразившем всех событии, – пояснил он, – спросил Государя: «Разве В. В. Вы полагаете, что Алексей Ник. оставят при Вас после отречения?» –"А отчего же нет?» – с некоторым удивлением спросил Государь: « Он еще ребенок и естественно должен оставаться в своей семье, пока не станет взрослым. До тех пор будет регентом Михаил Александрович». «Нет, В. В., – ответил Федоров, – это вряд ли будет возможно и по всему видно, что надеяться на это Вам совершенно нельзя»[204]. Государь, по словам Федорова, немного задумался и спросил: «Скажите, С. П., откровенно, как Вы находите, действительно ли болезнь Алексея такая неизлечимая?» – «В. В., наука нам говорит, что эта болезнь неизлечима, но многие доживают при ней до значительнаго возраста, хотя здоровье Ал. Ник. и будет всегда зависеть от всяких случайностей»[205]. «Когда так, – как бы про себя сказал Государь, – то я не могу разстаться с Алексеем. Это было бы уже сверх моих сил... к тому же, раз его здоровье не позволяет, то я буду иметь право оставить его при себе»... Кажется, на этих словах разсказа, потому что других я не запомнил, вошел... гр. Фредерикс, сходивший во время нашего разговора к Государю, и сообщил, что Е. В. приказал потребовать от Рузскаго задержанныя им обе телеграммы, не упоминая ему, для какой именно это цели. Нарышкин отправился вновь и на этот раз принес их обратно».

История с телеграммами остается неясной. Итоги Мордвинов знал, в конце концов, из вторых рук. Он сам признается: «Нас по обычаю продолжали держать в полной неизвестности и, вероятно, по привычке же даже и на этот раз забыли о нашем существовании». Мордвинов ошибся, – телеграммы не были возвращены. О вторичной попытке получить назад телеграмму об отречении упоминал и сам Рузский в беседе с Андр. Вл.[206]. По словам Рузскаго, это было уже в момент, когда приближался поезд с думскими уполномоченными. Уступил Царь настойчивым обращениям окружающей свиты? Возможно, что у него в последнюю минуту блеснула

надежда на некоторый просвет. В 6 ч. 55 м. Царю была передана та телеграмма Родзянко от имени Временнаго Комитета, в которой говорилось о конструировании совета министров под председательством Львова, о подчинении войск новому Правительству и о необходимости для установления полнаго порядка командировать в Петербург ген. Корнилова. Мы видели, что даже Алексеев в Ставке из этой телеграммы делал вывод о перемене настроений в Петербурге и, следовательно, возможности изменения в вопросе об отречении. Так, повидимому, представлялось одно время и Рузскому. Ген. Данилов вспоминает, что Рузский ему говорил (при вечернем свидании), что он посоветовал Государю задержать отправку телеграмм до беседы с ожидавшимися делегатами, приняв в соображение, что едет Шульгин, «слывший всегда убежденным и лойяльным монархистом»[207], – «не повернулись ли дела в столице таким образом, что отречение Государя явится ненужным, и страна окажется удовлетворенной созданием ответственнаго министерства». Но все-таки наиболее естественно предположить, что именно около 7 час. вечера, когда ожидался делегатский поезд, Царь пожелал иметь телеграмму об отречении, так как под влиянием разговора с лейб-медиком Федоровым решил изменить форму отречения и отречься за сына в пользу брата. По некоторой своей скрытности он ничего не сообщил Рузскому о мотивах, оставляя того в неведении о причинах колебаний, которыя Рузский замечал в «царском поезде». Такое объяснение и дает ген. Данилов.

Совершенно естественно, что источник свитских закулисных действий Рузский видел в дворцовом коменданте, хотя по утверждение Дубенскаго (в воспоминаниях) у Царя последний «едва ли имел в эти тревожные часы значение прежде всего потому, что Е. В., по моему личному мнению, никогда не считал Воейкова за человека широкаго государственнаго ума и не интересовался его советами и указаниями». Возвращаясь от Царя после перваго посещения Нарышкина, – разсказывал Рузский Андр. Вл., – он зашел к Воейкову и тут «у меня произошел довольно крупный разговор, даже не разговор, а я просто наговорил кучу истин, примерно такого содержании «Я почти ничем не обязан Государю, но вы[208] ему обязаны во всем и только ему, и вы должны были знать, ...что творилось в России, а теперь на вас ляжет тяжелая ответственность перед Родиной, что вы допустили события притти к такому роковому концу. Он так на меня и вытаращил глаза, не ничего не ответил»...

Так шли часы в императорском поезде в ожидании приезда думских уполномоченных. «По наружности» было, «как всегда», – вспоминает Мордвинов. Этикет соблюдался. За пятичасовым чаем «ни одного слова,

ни одного намека на то, что всех нас мучило, не было». Говорили о «пустяках» и думали: «когда же, наконец, кончится это сидение за чаем», После чая «опять все вместе в купэ адм. Нилова», – «все еще» озабоченные «попытками переменить роковое решение». «Телеграмму об отречении удалось задержать и все еще может повернуться в другую сторону» в зависимости от переговоров с думскими делегатами. «Надо, во что бы то ни стало, не допустить их до предварительнаго свидания с Рузским, а сейчас же, как приедут, провести к Государю!» «Воейков, по приказанию гр. Фредерикса, поручил это мне, как дежурному»...

V. Думские делегаты

Поезд с уполномоченными Временнаго Комитета в Пскове ждали в 7 час. вечера; он прибыл в 9 часов. В промежутке проходили обычные поезда. Вот поезд. идущий в Петербург. Мордвинов отмечает, что толпа, хотя я знала уже, что находится «вблизи Царя», «держала себя отнюдь не вызывающе»... О «всеобщей ненависти к династии» тут не было и помина. Но вот поезд из Петербурга – первый «после революционных дней». Впереди бежал какой-то полковник. Дубенский спросил его о городских настроениях: «теперь все хорошо, город успокаивается, и народ доволен». – «Что же говорят о Государе, о всей перемене?» – допрашивал генерал. – «Да, о Государе почти ничего не говорят, надеются, что временное правительство с новым царем Михаилом (ведь его хотят на царство) лучше справится»... Эта бытовая зарисовка сама по себе отвечала на опасение придворнаго историографа, что отречение должно неминуемо вызвать междоусобицу.

Мордвинов, как и хотел, перехватил делегатов и провел их, минуя Рузскаго, непосредственно в салон-вагон императорскаго поезда. Придворный журнал отметил: «от 9 час. 45 м. веч. Е. В. принимали министра Имп. Двора гр. Фредерикса, ген.-ад. Рузскаго, члена Гос. Совета Гучкова, чл. Гос. Думы Шульгина и свиты ген.-майора Нарышкина». В действительности Рузский опоздал и пришел в сопровождении Данилова уже тогда, когда Гучков излагал ход событий в Петербурге[209]. Все присутствовавшие, за исключением престарелаго гр. Фредерикса, разсказали обстановку, в которой произошло формальное отречение от престола царствовавшаго монарха. Ген. Нарышкин, в качестве нач. походн. канцелярии, вел как бы официальную запись. Она сохранилась и была напечатана Сторожевым в 22-м году[210]. Трудно назвать то, что записывал Нарышкин в свою «записную книгу», протоколом, но всетаки будем исходить от этой официальной записи, оставляя в стороне бытовыя черты, зарисованныя мемуаристами, и лишь добавляя из воспоминаний некоторые штрихи.

«Мы приехали с членом Гос. Думы Шульгиным, чтобы доложить о том, что произошло за эти дни в Петрограде, и вместе с тем посоветоваться[211]о тех мерах, которыя могли бы спасти положение»,- начал Гучков. – «Положение в высшей степени угрожающее»... Это не есть результат какого-нибудь заговора или заранее обдуманнаго переворота, а это движение вырвалось из самой почвы... и сразу получило анархический

отпечаток, власти стушевались... Так как было страшно, что мятеж примет анархический характер, мы образовали так называемый Временный Комитет Гос. Думы и начали принимать меры, пытаясь вернуть офицеров к командованию нижними чинами; я сам лично объехал многия части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие, Кроме нас, заседает в Думе еще Комитет рабочей партии, и мы находимся под его властью и его цензурою. Опасность в том, что, если Петроград попадет в руки анархии, то нас, умеренных, сметут, так как это движение начинает нас уже захлестывать.

Их лозунг: провозглашение социалистической республики[212]. Это движение захватывает низы и даже солдат, которым обещают отдать землю. Вторая опасность, что движение перекинется на фронт... Там такой же горючий материал, и пожар может перекинуться по всему фронту, так как нет ни одной воинской части, которая, попав в атмосферу движения, тотчас же не заражалась бы...[213]. В народе глубокое сознание, что положение создалось ошибками власти и именно верховной власти, а потому нужен какой-нибудь акт, который подействовал бы на сознание народное. Единственный путь – это передать бремя верховнаго правления в другия руки. Можно спасти Россию, спасти монархический принцип, спасти династию, если Вы, В. В., объявите, что передаете свою власть вашему маленькому сыну, если Вы передадите регентство в. к. Михаилу Александровичу[214] и если *от вашего имени* (курсив мой) или от имени регента будет поручено образовать новое-правительство, тогда, может быть, будет спасена Россия. Я говорю «может быть», потому что события идут так быстро, что в настоящее время Родзянко, меня и других умеренных членов Думы крайние элементы считают предателями; они, конечно, против этой комбинации, так как видят в этом возможность спасти наш исконный принцип. Вот В. В. только при этих условиях можно сделать попытку водворить порядок... Прежде, чем на это решиться, Вам, конечно, следует хорошенько подумать, помолиться, но решиться всетаки не позже завтрашняго дня, потому что уже завтра мы не будем в состоянии дать совет, если Вы его у нас спросите, так как можно опасаться агрессивных действий толпы».

По мнению Шульгина, Гучков говорил «негладко и глухо», с трудом справляясь с волнением. Наоборот, по характеристике Данилова, «ровный, мягкий голос» Гучкова произносил «тихо, но отчетливо роковыя слова». Царь смотрел «прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо». Когда Гучков говорил об отречении, Рузский обратился к своему соседу, Шульгину, и сказал, что «Государь уже решил этот вопрос» и «передал

одновременно Царю известную телеграмму. Рузский думал, что Царь развернет телеграмму (она была сложена пополам) и прочтет ее». «Каково было мое удивление,– передавал Рузский Андр. Влад., – когда Государь взяв телеграмму, спокойно сложил ее еще раз и спрятал в карман'"[215], ни Гучков, ни Шульгин, к удивлению, всего этого не заметили. В газетах того времени – по крайней мере в «Русск.Вед.», которыя лежат перед моими глазами, – очень скудно сообщены были подробности отречении, при чем сведения проводили определенную тенденцию. Речь Гучкова в газетном изложении (1 марта) заканчивалась сообщением о распоряжении правительства(?) вернуть войска, посланныя с фронта. Тогда Царь «тихо» спросил: «что же мне делать?» «Отречься от престола», – ответил представитель новой временной правительственной власти. Царю в руки был дан для подписи заготовленный заранее акт отречения, – заканчивало сообщение, – и Царь подписал его». В таком изложении добровольное согласие Царя на отречение, данное, как мы знаем, даже до вести о приезде петербургских делегатов, совершенно стушевывалось. Для психологии момента это было чрезвычайно важно и поясняет многое из того, что потом последовало. Надо хорошо запомнить, эту черту. В действительности все происходило далеко не так, как описывала печать.

Вернемся к официальной записи. Вот дальнейшая выдержка из нея in extenso:

Его Величество: «Раньше вашего приезда и после разговора по прямому проводу ген. Рузскаго с председателем Гос. Думы я думал в течение утра и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от престола в пользу своего сына, но теперь, еще раз обдумав положение, я пришел к заключению, что в виду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, так как разлучаться с ним я не могу»[216].

Член Гос. Сов. Гучков: «Мы учли, что облик маленькаго Ал. Ник. был бы смягчающим обстоятельством при передаче власти».

Ген. ад. Рузский: «Его Величество безпокоится, что, если престол будет передан наследнику, то Е. В. будет с ним разлучен»,

Чл. Гос. Думы Шульгин (не Гучков ли?): «Я не могу дать на это категорическаго ответа, так как мы ехали сюда, чтобы предложить то, что мы передали».

Эту слишком лаконическую запись, не совсем, быть может, отчетливую, необходимую пополнить. «Все так были огорошены совершенно неожиданным решением Государя», – записал Андр. Вл. со слов Рузскаго[217]. «Гучков и Шульгин переглянулись удивленно между

собой, и Гучков ответил, что такого решения они не ожидали и просили разрешения обсудить вдвоем вопрос и перешли в соседнее столовое отделение». Комментируя слова Царя, Гучков в Чр. Сл. Ком. говорил: «Я лично ту комбинацию, на которой я, по поручению *некоторых членов* (курсив мой) думскаго Комитета настаивал, находил более удачной, потому что... эта комбинация малолетняго государя с регентом представляла для дальнейшаго развития нашей политической жизни больше гарантий, но, настаивая на прежней комбинации, я прибавил, что, конечно, Государю не придется разсчитывать при этих условиях на то, чтобы сын остался при нем и при матери, потому что никто, конечно, не решится доверить судьбу и воспитание будущаго государя тем, кто довел страну до настоящаго положения. Государь сказал, что он не может разстаться с сыном и передает престол своему брату». Со слов Рузскаго, Лукомский передает, что Царь будто бы склонялся уже к комбинации отречения в пользу сына[218], но колебаниям был положен конец словами Гучкова, что Государю придется уехать заграницу, а сын должен будет остаться в России при регенте.

По протоколу беседа продолжалась.

Его Величество: «Давая свое согласие на отречение, я должен быть уверенным, что вы подумали о том впечатлении, какое оно произведет на всю остальную Россию».

Член Гос. Сов. Гучков: «Нет, В. В., опасность не здесь. Мы опасаемся, что, если объявят республику, тогда возникнет междоусобие.

Чл. Гос. Думы Шульгин: «Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Гос. Думе. 26-го (?) вошла толпа в Думу и вместе с вооруженными солдатами заняла всю правую сторону, левая сторона занята публикой, а мы сохранили всего две команты, где ютится так называемый Комитет. Сюда тащат всех арестованных, и еще счастье для них, что их сюда тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы; некоторых арестованных мы тотчас же освобождаем. Мы сохраняем символ управления страной, и только благодаря этому еще некоторый порядок, мог сохраниться, не прерывалось движение жел. дорог. Бог при каких условиях мы работаем; в Думе это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва... Относительно Вашего проекта, разрешите нам подумать хотя бы четверть часа. Этот проект имеет то преимущество, что не будет мысли о разлучении и, с другой стороны, если Ваш брат, в. кн. Мих. Ал., как полноправный монарх, присягнет конституции одновременно с вступлением на престол, то это будет

обстоятельством, содействующим успокоению».

Чл. Гос. Думы Гучков: «У всех рабочих и солдат, принимавших участие в безпорядках, уверенность, что водворение старой власти это расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыста, который сразу переменил бы все. Я нахожу, что тот акт, на который Вы решились, должен сопровождаться и назначением председателя Совета министров кн. Львова».

Его Величество: «Я хотел бы иметь гарантию, что вследствие моего ухода и по поводу его не было бы пролито еще лишней крови».

Чл. Г. Д. Шульгин: «Может быть, со стороны тех элементов, которые будут вести борьбу против новаго строя, и будут попытки, но их не следует опасаться. Я знаю, например, хорошо город Киев, который был всегда монархическим, теперь там полная перемена».

Его Величество: «А вы не думаете, что в казачьих областях возникнут безпорядки?»

Чл. Г. С. Гучков: «Нет, В. В,, казаки все на стороне новаго строя».

Здесь я искусственно обрываю официальную запись, ибо, очевидно, наступил момент перерыва, котораго требовали делегаты[219]. Вновь запись Андр. Вл. наиболее отчетливо рисует картину. «Вскоре я пошел к Гучкову и Шульгину, – разсказывает Рузский, – и спросил их, к какому они пришли решению. Шульгин ответил, что они решительно не знают, как поступить. На мой вопрос, как по основным законам: может ли отрекаться за сына, они оба не знали. Я им заметил, как это они едут по такому важному государственному вопросу и не захватили с собой ни тома основных законов, ни даже юриста. Шульгин ответил, что они вовсе не ожидали такого решения. Потолковав немного, Гучков решил, что формула Государя приемлема, что теперь безразлично, имел ли Государь право или нет.С этим они вернулись к Государю». Данилов говорит, что новая комбинация власти смутила и его. Он обратил во время перерыва внимание Гучкова на то, что такое решение может вызвать в будущем тяжелый последствия[220]. «Не думаю», – ответил ему Гучков и направил его к Шульгину, который де является «специалистом по такого рода государственно-юридическим вопросам». Шульгину вопрос: «Алексей или Михаил? перед основным фактом отречения казался «частностью»[221].

«Оставалось только подчиниться», – объяснял 2-го августа Гучков. «В. В., – сказал Гучков по официальной записи, – у Вас заговорило человеческое чувство отца, и политику тут не место, так что мы ничего против Вашего предложения возразить не можем». «Хотите еще подумать?» – спросил Царь. – «Нет, я думаю, что мы можем сразу принять

Ваше предложение», Гучков, по его словам, настоял на том, чтобы немедленно был составлен акт отречения, так как он останется в Пскове час или полтора и должен уехать, имея акт отречения в руках. Царю был предложен в «качестве материала» проект, составленный накануне и привезенный в Псков. «Е. В., ответив, что проект уже составлен, удалился к себе, – гласит официальная запись, – где собственноручно исправил заготовленный с утра манифест об отречении в том смысле, что престол передается в. кн. Мих. Александровичу... Е. В. подписал манифест и, войдя в вагон-салон, в 11 ч. 40 м. передал его Гучкову». Гучков прочел манифест. «Текст был написан теми удивительными словами, которыя теперь все знают», – вспоминает Шульгин. «Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли... Государь принес и его и положил его на стол... К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь Государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердце Его подданных, вырвалась этим лоскутком бумаги... Так благородны были эти прощальныя слова... И так почувствовалось, что Он так же, как и мы, а, может быть, гораздо больше любит Россию».

Очевидно, манифест был прекрасен, если производил такое впечатление на слушателей, но только к основному его тексту не приложилась рука монарха. Текст манифеста был составлен в Ставке, по поручению Алексеева, камергером Базили при непосредственном участии самого начальника штаба и Лукомскаго[222] и был послан Царю в 7 ч. 40 м. на случай, если Царь «соизволит принять решение». История несколько подшутила над мемуаристом, слишком нарочито и неумеренно выставлявшим свои монархическия чувствования[223].

«Депутаты попросили вставить фразу о присяге конституции новаго императора (продолжает официальная запись), что тут же был сделано Е. В.[224]. Одновременно были собственноручно написаны Е. В. указы Прав. Сенату о назначении председателем Совета министров кн. Львова[225] и верховным главнокомандующим вел. кн. Ник. Ник.[226]. Чтобы не казалось, что акт совершен под давлением приехавших депутатов и так как самое решение об отречении от престола было принято Е. В. еще днем, то по совету депутатов на манифесте было поставлено при подписи 3 часа дня, а на указах Прав. Сенату 2 часа[227]. В заключение член Думы Шульгин спросил Е. В. об его дальнейших планах. Е. В. ответил, что собирается поехать на несколько дней в Ставку, может быть, в Киев, чтобы проститься с Государыней Императрицей Мар. Фед., а затем останется в Царском Селе до выздоровления детей. Депутаты заявили, что они *приложат все*

усилия , чтобы облегчить Е. В. выполнение его дальнейших намерений». Гучков утверждал, что он ничего не ответил на вопрос Николая II: ехать ли ему в Царское, или оставаться в Ставке, ибо он «не знал, что в этом случае посоветовать»...

Еще днем 2-го несколько упрощенно мысливший историограф занес в дневник: «Славный, безвольный, но хороший и чистый человек, а погиб из-за Императрицы, ея безумнаго увлечения Григорием, – Россия не могла простить этого, создавала протест, превратившийся в революцию». Как ни реален был «распутинский миф», не он, конечно, решил вопрос. Гучков был «поражен» тем, что его предложение отречься не встретило «никакого сопротивления». «Повидимому», у Царя «никакого внутренняго сопротивления не было», – утверждал Гучков в заседании 2 августа. Вся сцена отречения произвела на него «очень тяжелое впечатление». «Такой важности акт в истории России», – «крушение трехсотлетней династии». «И все это прошло в такой простой, обыкновенной форме, и я сказал бы, настолько без глубокаго трагическаго понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем на этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком... Человек этот просто до последняго момента не отдавал себе полнаго отчета в положении, в том акте, который он совершал. Всетаки при самом железном характере, при самообладании, которому равнаго нельзя найти, что-нибудь в человеке дрогнуло, зашевелилось, вы почувствовали бы тяжелое переживание. Но ничего этого не было... Повидимому, человек с пониженной сознательностью, я сказал бы – с пониженной чувствительностью» ...

Признать, что Гучков, как считал Щеголев дал «совершенно правильную разгадку режущей глаза выдержки» Царя нельзя. В виде иллюстрации (с наивной как бы просьбой в журнал не записывать) Гучков приводил отзыв одного из великих князей, котораго он видел через несколько дней после отречения: «Господи, Господи, что за человек! Я видел Государя после отречения, и вы знаете, что он мне сказал: «Ну что, как у тебя там-то?» и назвал имение, где в. кн. всегда жил. Это один из очень старых людей, перед которым не приходилось комедии играть. Мы могли подумать, что перед нами это была комедия, что он взял всю свою твердость и мужество в руки, чтобы не показаться ослабевшим, но это человек свой..., перед которым не надо было прикидываться!» И некий великий князь, информировавший Гучкова, и сам Гучков проявили себя плохими психологами. Гучкову мешало понять переживания момента и увидеть нечто обычное, человеческое в этих переживаниях личное

враждебное отношение к отрекшемуся монарху.

Поражает в допросе Гучкова утверждение, что ему совершенно неизвестна была обстановка, предшествовавшая акту отречения 2-го. Не только неизвестна была в момент самих переговоров, но и тогда, когда Гучков давал свои показания в Чр. Сл. Комиссии. «Мне казалось, – говорил там Гучков, – из разговоров, которые я имел потом с Рузским, что даже самыя крайния решения, которыя принимались и потом отменялись, не шли дальше обновления состава правительственной власти». Гучков категорически заявлял, что Рузский не знал (?!) о дневной телеграмме с отречением. «Когда вы предложили акт отречения, вам Государь не сказал, что у него есть уж свой, уже заготовленный акт», – задал Гучкову вопрос председатель комиссии. «Нет», – ответил Гучков. Если бы в обстановке 2-го марта Гучков ничего не заметил, это можно было бы объяснить и волнением, о котором говорит Шульгин, и утомлением от предшествовавших дней и, наконец, сосредоточенностью мысли на выполнении возложенной на него ответственной миссии или выработаннаго им плана[228].

Из царскаго поезда делегаты перешли в вагон главнокомандующаго, где Рузский разсказывал, как подготовлялась псковская драма, и как последовательно происходили все ея этапы. Позднее все газеты обошел разсказ Шульгина, как происходило отречение, и в этом разсказе, воспроизводившем стенограмму доклада Шульгина во Временном Комитете, была затронута и предварительная стадия отречения, объяснявшая, почему манифест был помечен дневным временем. Тогда это указание прошло почти незамеченным, тем более, что в первых публикациях манифест был помечен 12 часами ночи (с прибавкой в объяснении: после приезда депутатов), что и запечатлелось в общественном сознании. Но как могла остаться Гучкову неизвестной предварительная стадия отречения через пять месяцев, совершенно непонятно. Допустим, что Гучкову в то время хотелось, быть может, бессознательно, с одной стороны, остаться инициатором попытки спасения династии и трона, а с другой стороны – акта, который безболезненно завершал в переходное время революционную смуту[229]. Он яри этом совершенно забывал, давая характеристику психологии имп. Николая II, что в часы переговоров с думскими делегатами 2-го в сознании монарха даже не мог встать вопрос о крушении династии, – был личный вопрос, к разрешению котораго в отрицательном смысле для себя Николай II после долгих колебаний и возможно мучительных переживаний был достаточно подготовлен... «Сердце царево в руках Божиих», – написал

Царь Столыпину еще в 1906 г. И Царь внешне примирился с личной катастрофой для себя. Здесь больше всего сказалась, повидимому, та мистическая покорность судьбе, в которой некоторые, пытавшиеся разгадать "сфинкса» на престоле, видят «сущность» характера погибшаго ужасной смертью Императора. Как свидетельствует запись царскаго дневника 2 марта, ея автор внутренне не примирился с тем, что произошло. Краткое описание дня он закончил словами: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитаго. Кругом измена, трусость и обман»[230]. «Отчаяние проходит», – писал отрекшийся Император жене 4-го марта.

Глава шестая. Творимыя легенды

I. Колебания Царя

В имеющейся исторической литературе в связи с актом отречения 2-го марта ими. Николая II создались уже две легенды – одна противоречащая другой.

Виновником происхождения одной явился ген. А. И, Деникин, который в «Очерках русской смуты» сообщил о факте имевшем яко бы место на другой день после отречения. «Поздно ночью, – писал Деникин в книге, вышедшей в 1921 г., – поезд уносил отрекшагося императора в Могилев... Никогда никто не узнает, какия чувства боролись в душе Николая II – отца, монарха и просто человека – когда в Могилеве, при свидании с Алексеевым, он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал: «Я передумал, прошу вас послать эту телеграмму в Петроград». На листе бумаги отчетливым почерком Государь писал о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея... Алексеев унес телеграмму и... не послал. Было слишком поздно: стране и армии объявили уж два манифеста. Телеграмму эту, «чтобы не смущать умы», никому не показывал, держа в своем бумажнике и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование. Этот интересный для будущих биографов Николая II документ хранился затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки».

Таким образом осуществилось как бы предчувствие ген, Болдырева, занесенное им в дневник: «какая-то непрочность чувствовалась в этом документе, когда я нес его для передачи по аппарату» дело шло о манифесте с отречением в пользу Михаила.

Как ни мало вероятен был подобный факт, сообщение авторитетнаго мемуариста без критики и анализа воспринималось в позднейших работах, претендовавших на характер исторических изследований, хотя к этому времени уже был опубликован материал, который заставлял по меньшей мере с некоторой осторожностью относиться к факту, переданному в восноминаниях Деникина. Так воспроизвел это сообщение в 1931 г. Троцкий в книге «История русской революции»; за ним повторил в 1934 г. и Чернов в «Рождении революционной России».

Желая уяснить себе обстановку, в которой могла родиться легенда о том, что Царь в течение третьяго марта (он прибыл в Ставку в 9 ч. веч.) перерешил вопрос, завершенный накануне в 12 час. ночи, я обратился непосредственно к автору воспоминаний, указав ему на мотивы, которые заставляют сомневаться в возможности такого факта. Ген. Деникин

ответил формально: «эпизод с телеграммой имп. Николая II изображен мною совершенно точно со слов покойнаго ген. Алексеева. I т. «Очерков», где об этом говорится, вышел при жизни ген. Юзефовича, бывш. ген.-кварт. Ставки, которому я в свое время сдал этот документ»... Мог бы разъяснить Базили, который, по поручению ген. Алексеева, выезжал на встречу Царя и вместе с ним прибыл в Могилев. Вот что ответил на мой вопрос Базили: ..."Сообщаемое Деникиным должно быть основано на недоразумении. Я сам беседовал тогда по этому поводу с Царем, выразил ему всю скорбь, которую вызвало у нас его решение устранить сына... Может быть, Царь высказал Алексееву сожаление, что не внял его совету отречься в пользу Ал. Ник.»[231].

Совершенно очевидно, что ни утром, ни днем 3-го Царь не думал перерешать того, что установлено было в Пскове. В 2 часа 56 мин. им была послана со ст. Сусанино в Петербург телеграмма новому государю. Она была адресована «Его Императорскому Величеству» и гласила: «События последних дней вынудили меня решиться безповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если им огорчил тебя и что не успел предупредить... Горячо молю Бога помочь тебе и нашей Родине»[232]... Но допустим на момент психологически невероятное: Царь, действительно, передумал к моменту приезда в Могилев и вручил Алексееву ту телеграмму, которую начальник Штаба не послал «было слишком поздно». Что это? – мотив ген. Алексеева или соображения ген. Деникина? Ни армии, ни стране еще ничего не было объявлено. Опубликование манифеста было задержано, и манифест появился в газетах на другой день одновременно с отречением в. кн. Мнх. Ал. Задержку в осведомлении фронта о положении дел Алексеев считал столь пагубной, что, получив ранним утром сообщение о том, что в Петербурге обстановка изменилась, и что кандидатура Мих. Ал. признается неприемлемой, он намеревался потребовать от председателя Думы осуществления манифеста 2-го марта и выступил с инициативой созыва в ближайшия дни совещания главнокомандующих в Могилеве для «установления единства во всех случаях и всякой обстановке». В 2 часа Алексеев о своем предположении доложил в. кн. Ник. Ник. и вместе с тем осведомил о том же всех главнокомандующих. Алексееву положение представлялось настолько острым, что позже, уже получив известие об отречении в. кн. Мих. Ал. и разговаривая по прямому проводу в 6 час. веч. с военным министром Гучковым, он высказал опасение, что манифест об отречении Мих. Алек. может повести к нежелательным осложнениям: «трудно предусмотреть, как примет стоящая в окопах масса манифест 3-го марта. Разве не может она признать его вынужденным со стороны?» Около

этого времени Алексеев имел телеграмму с Кавказа от Ник. Ник. по поводу регентства Мих. Ал., в которой выражается уверенность, что манифест о передаче престола Мих. Ал... «неминуемо вызовет резню». Среди ответов, полученных на дневную телеграмму главнокомандующим, один ответ как бы предуказывал возможный выход из тупика. Командующий 10-й армией Горбатовский[233] предлагал изменить вторую половину манифеста, которая «не приведет к успокоению страны»; он считал бы «наилучшим» переход престола к наследнику, «коему армия и народ присягали» на назначение «временно» регентом в. кн. Ник. Ник., как «более популярнаго среди войск и народа». «Новый манифест в таком виде, отменяющий ранее изданный, явился бы спасительным для родины, армии и народа», – заключал Горбатовский.

Трудно предположить, что в такой обстановке Алексеев мог просто скрыть новое решение Николая II для того только, чтобы «не смущать умы». Правда, он узнал от Гучкова, что «обнародование обоих манифестов произойдет в течение предстоящей ночи», но не так в Ставке хорошо были осведомлены о настроениях в Петербурге, чтобы признать иллюзорными предшествовавшия слова Родзянко: «с регентством великаго князя и воцарением наследника, быть может, помирились бы».

Всякая субъективная интерпретация не может считаться вполне убедительной. Но в данном случае она находит совершенно идентичное толкование в документе, который в копии воспроизведен в приложении к воспоминаниям полк. Пронина. Копия эта была засвидетельствована еще 2 августа 1917 г. самим Прониным – по какому случаю была сделана эта копия, автор воспоминаний не говорит. Вот ея подлинный текст: «Копия телеграммы на имя Председателя Гос. Думы, собственноручно написанной Государем Императором Николаем II днем 2 марта, по известной причине не отправленной по назначению и переданной ген. Алексееву. «Председателю Гос. Думы. Петроград: «Нет такой жертвы, которую Я не принес бы во имя действительнаго блага и для спасения Матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы (он) остался при нас до совершеннолетия при регентстве брата моего Вел. Кн. Михаила Александровича, Николай...» Проект телеграммы относится, повидимому, к. периоду 3–4 часа 2 марта 1917 г. Написан в Пскове. передан ген. Алексееву *3 марта вечером в Могилеве* . (Курсив мой. – С, М.). Ген. Алексеев. С подлинным верно: ген. шт. подпол к. Пронин. 2 авт. 1917, 16 ч. 48 м. Могилев». Это – та, именно, телеграмма, которую Рузский вернул Царю вечером 2-го в момент, когда Гучков заканчивал свою речь. Ее-то и передал Николай II в Могилеве Алексееву.

Наконец, прямым опровержением легенды служит запись в дневнике самого Царя – она сделана была по обыкновению вечером 3 марта: «Говорил со своими о вчерашнем дне... В 8 ч. 20 м. прибыл в Могилев, в 9 час. с половиной переехал в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 мес. в У. С. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. В Петербурге безпорядки прекратились – лишь бы так продолжалось дальше». К области досужей фантазии надо отнести предположения военнаго историка Керсановскаго, что Царь взял назад псковское отречение, узнав об отказе брата. Легенда, воспринятая и эмигрантской литературой, разсеивается, как дым.

II. «Последние советы Царицы»

Источником другой легенды явился П. Н. Милюков. Я называю Милюкова только потому, что на его «Историю» в этом случае ссылаются, и что он явился как бы обоснователем легенды. В действительности, начало легенды положили воспоминания сыгравшаго активную роль в первые дни революции чл. Гос. Думы Бубликова (они появились в Нью-Iорке в 1918 г., первый том Милюкова в 1921 г.). В них можно найти такой «анализ» акта отречения: «одной из основных черт характера семьи Романовых является их лукавство. Этим лукавством проникнут и весь акт отречения. Во-первых, он составлен не по форме: не в виде манифеста, а в виде депеши Нач. Штаба в Ставку. При случае это кассационный повод[234]. Во-вторых, в прямое нарушение основных законов Империи Российской он содержит в себе не только отречение Императора за себя, на что он, конечно, имел право, но и за наследника, на что он определенно никаких прав не имел. Цель этого беззакония очень проста. Права наследника этим нисколько по существу не подрывались, ибо по бездетному и состоящему в морганатическом браке Михаилу, в пользу котораго отрекся Николай, все равно автоматически имел вступить на престол Алексей. Но зато на время безпорядков с него как бы снимался всякий одиум, как с отрекшагося от своих прав». Последний тезис из произвольных разсуждений бывшаго думскаго депутата и заимствовал историк, придав ему более осторожную и несколько расплывчатую формулировку. В «Истории революции» Милюков написал: «Ссылка на отцовския чувства закрыла уста делегатам[235], хотя позволено думать, что в решении царя была и известная политическая задняя мысль. Николай II не хотел рисковать сыном, предпочитая рисковать братом и Россией в ожидании неизвестнаго будущаго. Думая, как всегда прежде всего о себе и своих даже в эту критическую минуту и отказываясь от решения, хотя и труднаго, но до известной степени подготовленнаго, он вновь открывал весь вопрос о монархии в такую минуту, когда этот вопрос только и мог быть решен отрицательно. Таковы были последния услуги Николая II родине».

В 1923 г. в «Красном Архиве» были напечатаны письма Алек. Феод. к мужу за дни отречения, давшия новый материал для дальнейшаго толкования, в духе создаваемой легенды. Выдержки из одного из их писем (2 марта) были уже приведены.

Эти конспиративныя «крохотныя письма», которыя «можно легко

сжечь или спрятать», отправлены были с двумя офицерами («юнцами», как пишет А. Ф.) Грамотиным и Соловьевым. На другой день А. Ф. пытается отправить письмо через жену одного офицера. Она писала «Солнышко благословляет, молится, держится верою и – ради своего мученика. Она ни во что не вмешивается, *никого не видела из «тех» и никогда об этом не просила, так что не верь, если тебе это скажут.* Теперь она только мать при больных детях. Не может ничего сделать из страха повредить, так как не имеет никаких известий от своего милаго... Такая солнечная погода, ни облачка – это значит: верь и надейся. Все кругом черно, как ночь, но Бог над всем. Мы не знаем путей его, ни того, как он поможет, но услышит все молитвы. Я ничего не знаю о войне, живу отрезанная от мира. Постоянно новыя, сводящия с ума известия – последнее, что отец отказался занимать то место, которое он занимал в течение 23 лет. Можно лишиться разсудка, но мы не лишимся; она будет верить в светлое будущее еще здесь на земле, помни это». Письмо, явно, писалось в несколько приемов. Дальше А. Ф. сообщает: «только что был Павел – разсказал мне все. Я *вполне* (курсив А. Ф.) понимаю твой поступок. Я знаю, что ты не мог подписать противнаго тому, о чем ты клялся на своей коронации. Мы в совершенстве знаем друг друга, *нам не нужно слов, и клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле* (курсив мой. С. М.), вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства. Ты спас царство своего сына и страну, и свою святую чистоту и (*Іуда Рузский* – курсив А. Ф.) ты будешь коронован самим Богом на этой земле, в своей стране». Еще день: жена получила возможность перекинуться с мужем несколькими словами по телефону; А. Ф. пишет 4-го: «Эта дама едет сегодня, вчера она не уехала. Таким образом я могу написать еще. Каким облегчением и радостью было услышать твой милый голос, только слышно было очень плохо. да и подслушивают теперь все разговоры!... Только этим утром я прочла манифест и потом другой Михаила... Не бойся за Солнышко, оно не движется, оно не существует, но впереди я чувствую и предвижу светлое сияние солнца... О Боже! Конечно, Он воздаст сторицей за все твои страдания. Не надо больше писать об этом, невозможно! Как унизили тебя, послав этих двух скотов! Я не знала, кто это был, до тех пор, пока ты не сказал сам... Я чувствую, что армия возстанет»... «Только сегодня утром мы узнали, – сообщает А. Ф. в приписке, – что все передано Мише), и Бэби теперь в безопасности – какое облегчение!». Само письмо заканчивается словами: «найди кого-нибудь, чтобы передать хоть строчку – есть у тебя какие-нибудь планы теперь?»

Оставлю свой анализ писем пока в стороне. Интересно. как проанализировали эти строки другие в момент напечатания писем. Перед нами передовая статья парижских «Последних Новостей» от 23 февраля 24 г., озаглавленная «Последние советы Царицы». Не приходится сомневаться в том, что статья написана Милюковым – не только потому, что последния строки статьи словно воспроизводят то, что Милюков написал в «Истории», но и потому, что в «России на переломе» автор ссылается на эту статью, как на свою. «Назначение Михаила – заключала передовая «Посл. Нов.» – было последним даром Распутина России и первым ударом по мирной революции». Я возьму комментарии передовика газеты почти in extenso, сократив только некоторыя выдержки из писем. Процитировав из письма 2-го марта слова, что Царь «ни в коем случае не обязан» выполнять уступки, к которым его «принудят», автор переходит к письму, помеченному 3-м мартом «Страшная весть» об отречении, наконец, доходит до Царицы... "Только что был Павел – разсказал мне все»... «Теперь она... не может ничего сделать из страха повредить». И *она спешит сделать несделанным что-то уже предпринятое* (курсив мой). «Она (все время в третьем лице) ни во что не вмешивается, никого не видела из «тех» и никогда об этом (о чем?) не просила»... Не будем догадываться, какия тайны похоронены в *этих спешных подготовленичх к возможному допросу*. Но то, что следует за этим превосходит по важности все предыдущее. Дело касается смысла отречения не в пользу сына, как следовало бы по закону, а в пользу 6рата, что было явно незаконно. Как известно, первоначально царь думал отречься в пользу наследника, но передумал за несколько часов до приезда Гучкова и Шульгина. *Видимо* в. кн. Павел Ал. передал царице не только о голом факте отречения, но и о мотивах этой перемены намерений. *Только* (курсив повсюду мой) этим могут объясняться дальнейшия таинственныя слова императрицы: «Я вполне понимаю твой поступок, о мой герой. Я знаю, что ты не мог подписать противное тому, о чем ты клялся на своей коронации (т. е. передать наследство сыну?)... Клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле»...

Другое письмо, написанное в тот же день[236], дает некоторое пояснение: «только сегодня утром (это, очевидно, относится к той же беседе с Пав. Ал.) мы узнали, что все передано Мише), и Бэби (наследник) теперь в безопасности – какое облегчение»[237]. Смысл этих слов в связи с предыдущим может быть *только один* (курсив мой). Отказ в пользу брата недействителен, и это есть тот трюк, который задуман был и осуществлен в отсутствии императрицы, но ею всецело одобряется: «Мы понимаем

друг друга без слов». При условии передачи власти Михаилу легче было впоследствии истолковать весь акт об отречении, как недействительный. Есть основание (?) думать, что такое толкование было вообще распространено среди великих князей».

Под влиянием ли самих писем А. Ф. или толкований комментаторов Шульгин в воспоминаниях некоторыя из этих мыслей приписал себе – в тот момент, когда перед думскими делегатами неожиданно встал вопрос об отречении в пользу брата. Тем самым мемуарист поддержал частично легенду о «трюке». Припомним. «Если Государь не может отрекаться в пользу брата – подсказывал тогда Шульгин «кто-то другой», «более быстро» за него соображающий, – пусть будет неправильность. Может быть, этим выиграем время... когда все угомонится... престол перейдет к Алексею Николаевичу»[238].

Из этих слов мемуариста представитель леваго направления революционной историографии Чернов спешит сделать вывод: «Иными словами наследника, его отца и мать временно «выводят из игры» и вместо них ставился под удар в. кн. Мих. Ал. При неудаче расплачиваться головой должен был он, при удаче – плоды ея достались бы другому. Корона, которую везли Мих. Ал. Гучков и Шульгин, была подлинным «даром данайцев». Из слов Шульгина не следовало, конечно, заключение, что во имя спасения «Бэби» на заклание «революционному сброду» отдавался «Миша». Но почти несомненно. что так Шульгин вообще не думал в часы переговоров об отречении. Это видно из ответа, который Шульгин дал 2-го марта ген. Данилову в качестве «специалиста по такого рода, государственно-юридическим вопросам». «Несомненно, здесь юридическая неправильность, – ответил, по словам Данилова, Шульгин: «Но с точки зрения политической, которая должна сейчас превалировать, я должен высказаться в пользу принятаго решения. При воцарении царевича Алексея будет весьма, трудно изолировать его от влияния отца и, главное, матери, столь ненавидимой в России. При таких условиях останутся прежния влияния, и самый отход от власти родителей малолетняго императора станет фиктивным; едва ли таким решением удовлетворится страна. Если же отстранить отца и мать совсем от ребенка, то этим будет косвенно еще более подорвано слабое здоровье цесаревича Алексея, не говоря уже о том, что его воспитание явится ненормальным. Терновым венком страдания будут увенчаны головы всех трех».

Такой простой жизненный ответ, данный в те дни[239], впоследствии покрылся таинственной пеленой историческаго тумана... Чернов все-таки проявил большую осторожность, нежели передовик «Посл. Нов.» в вопросе

о «трюке», придуманном в царской семье о престолонаследовании, и центр тяжести переносит в предвидения той «неутомимой женщины», которая хотела «лихорадочно» «тотчас после отречения, втянуть мужа в разговор с целью реставрации». «Трудно судить, – замечает Чернов – насколько в унисон со своей политической Этерией думал и чувствовал последний русский император. Она во всяком случае в этом не сомневалась и отречение в пользу Михаила разсматривала, как тактический маневр». Все же «надо думать, – полагал автор, – что в лабиринте событий, где он (Николай) блуждал как безпомощно в это время, ему была брошена из Царскаго Села «нить Ариадны». То были три письма Императрицы от 1-го, 2-го и 3-го марта». Никакого письма от 1-го марта на деле не было. Удивительно, что автор не задался даже вопросом: мог ли Царь до отречения получить письмо своей жены. Письмо от 3-го и 4-го, посланное через «жену офицера», было написано после отречения, и естественно, не могло повлиять на решение[240]. Молодые офицеры, отправившиеся из Царскаго, прибыли в Псков в ночь с 3-го по 4-ое, как устанавливает дневник ген. Болдырева: ..."оба – приверженцы стараго строя и в частности «Ея Величества». Я спросил их, кого им надо. – «Мы едем к Государю, думали застать его здесь; не откажите сказать, где теперь Е. В.». Я им сказал: «В Ставке. От кого же вы имеете поручение и к кому? Замялись сначала, а потом сообщили, что к Государю, – «хотим осветить ему правдивое положение дел». Когда их принял Рузский, они сознались, что везут по письму, кажется дубликаты, Государю от Ея Величества,...»[241].

Если подойти к письмам А. Ф. без кривотолков и предвзятых точек зрения, то многия «тайны» перестанут быть ими. Вот таинственные «те» и «это», о которых сообщает она 3 марта, подготовляясь к «возможному допросу» и спеша «сделать несделанным что-то уже предпринятое».

Тот, кто внимательно и полностью прочтет письма А. Ф., тот легко усмотрит, что под титлом «они́' у нее всегда фигурируют думские деятели. Это даже ясно из того письма, о котором идет речь и в котором А. Ф. негодует на в. кн. Кирилла, который «ошалел, ходил в Думу с Экипажем и стоит *за них* ». Подобная терминология, как свидетельствовали в показаниях перед Чр. След. Комиссией, пришла от «Друга», которому так верила Царица: «они» – это члены Государственной Думы... Попробуем подставить вместо «они» – члены Гос. Думы. Тогда получится текст: «Она ни во что не вмешивается, никого не видела из членов Г. Д. и никогда об этом не просила, так что не верь если тебе это скажут». Легко дешифрируется и «это».

* * *

В письме 2-го марта, где А. Ф. говорила о недействительности вынужденных со стороны Царя «уступок», она упоминала, что в. кн. Павел составил «идиотский манифест относительно конституции после войны». Еще в первые дни после переворота, 11 марта, в «Русской Воле» появилось интервью, данное в. кн. Павлом, в котором последний разъяснил историю этого конституционнаго проекта. Начиналось интервью с разсказа о том, как 28 февраля Пав. Ал. был вызван во дворец к А. Ф. «Поезжайте немедленно на фронт» – заявила она: «постарайтесь привести преданных нам людей. Надо спасти во что бы то ни стало трон. Он в опасности». «Я отказался. – разсказывал П. А., – ссылаясь, на то, что мои обязанности, как начальника гвардии, касаются только хозяйственной части. В душе же я был убежден, что звать войска безполезно. Все равно присоединятся к революции». Интервьюированный явно подлаживался уже к революционным настроениям и, как многие другие члены великокняжеской семьи, внешне отгораживался тогда от царской семьи. Приходится усомниться в том, что в. кн. Павел был вызван 23-го специально в целях побудить его поехать на фронт, так как надо было "во что бы то ни стало» спасать трон. Такого страха еще не могли испытывать в Царском Селе, где все сравнительно было «благополучно», и где знали об отправке надежных войск с фронта.

Керенский в своей книге «La Verité», опираясь отчасти на показания дочери лейб-медика Боткиной-Мельник, по существу и хронологически очень неточныя, изобразил положение в Царском Селе критическим к полудню 28 февраля, когда Царица и ея дети находились уже под охраной революционных сил[242]. Насколько это не соответствовало действительности показывает разсказ того самаго члена Гос. Думы Демидова, который был командирован Временным Комитетом вместе с другим членом Думы Степановым в Царское Село и на котораго ссылается Керенский. Вот как через 10 лет Демидов изобразил свою поездку в «Последних Новостях». Вечером 28-то Милюков обратился от имени Вр. Ком. к Демидову и Степанову с предложением поехать в Царское Село. «Есть одно серьезное дело», – сказал он им: «Из Царскаго получены тревожные и противоречивые слухи: по одним царскосельский гарнизон идет на Петербург, по другим – там с минуты на минуту грозит вспыхнуть мятеж. Необходимо попытаться предупредить и то, и другое». «На следующий день (т. е. 1 марта) – разсказывает Демидов – друзья проводили нас сумрачно. И у нас на душе было волнительно и заботливо... Царское Село – там стояли стрелки императорской фамилии. Невольно

думалось, что слухи о походе на Петербург вернее слухов о готовящемся взрыве на месте... 0 нашем приезде было дано знать, и нас встречали. Начальник станции сообщил, что при выходе нас ждут придворный экипаж и военный автомобиль из ратуши, где идет гарнизонное собрание. Начало мало походило на поход против Петербурга и на готовившийся местный взрыв... Было около 11 час. утра. В городе тихо. Улицы почти пусты. После Петербурга, кипевшаго, как в котле, это было странно». Депутаты поехали в ратушу и были встречены в собрании долгими бурными рукоплесканиями. Они сообщили о переходе власти в руки Гос. Думы и закончили призывом к «войне до победы». «В ответ раздалось оглушительное ура... Нас окружили офицеры. У всех была одна просьба: ехать немедленно по казармам. Войска еще в руках... Еще сутки неизвестности, и дисциплина может рухнуть». Депутаты поехали. Небезынтересны их показательныя наблюдения. В одной из казарм, где солдаты отказались выйти для беседы с депутатами, последние наткнулись на совершенно «скотския условия» содержания солдат. «За два с половиной года мировой войны я объездил все три фронта», – говорит Демидов: «но такой «казармы», какою оказался царскосельский манеж, встречать мне не приходилось», – «сразу почувствовалалось, что слухи о взрыве могли иметь под собой почву»[243]. По окончании объезда депутатами казарм в ратушу приехал дворцовый комендант фон Гроттен, с которым у Демидова произошел такой приблизительно разговор. «До приезда Государя, – сказал комендант, – я ничего не могу делать другого, как защищать дворец до последней возможности. Я не могу ни с кем входить в переговоры... Мы, конечно, нападенье отобьем, но это будет ужасно»... «Могу ручаться, – перебил генерала Демидов, – что этого не случится, если не будет какого-либо вызова со стороны дворцовой охраны». «За это я ручаюсь, – в свою очередь сказал Гроттен и попросил заехать во дворец и поговорить с охраной. «Подумайте, генерал, – возразил депутат, – ведь говорить мы можем только от лица Гос. Думы. Мы должны сказать, что сейчас власть в руках Думы..., что царскаго правительства больше нет. Каково будет ваше положение? Стало быть и вы признали Думу...»

Этим характерным разговором и можно закончить описание, данное Демидовым той миссии, которую он выполнил. Оно стоит на дистанции огромных размеров от описания, которое подсказывало Керенскому его тогдашнее революционное чувство и позднейшее желание перед иностранцами представить мощный единодушный порыв февральских дней и полную изоляцию уходившей в историю монархии[244]. По словам

Керенскаго члены Думы были посланы для того, чтобы выяснить, в каком положении находится царская семья среди мятежнаго гарнизона. Демидов будто бы установил, что Царица была немедленно оставлена всеми служителями и вынуждена была сама ухаживать за больными детьми. Гроттен просил новую власть взять на себя охрану царской семьи. Позднейший разсказ Демидова все это опровергает, как опровергает и занесенную в воспоминаниях Вырубовой версию о «приказании» Родзянко всей царской семье выехать из дворца: «когда дом горит, все выносят»[245].

Когда думские депутаты уезжали вечером из Царскаго, им передали, что «ген. Иванов с какой-то частью шел на Царское, но его поезд пустили по другому направлению». Слух был неверен. Иванов, как мы знаем, прибыл в Ц. С, нашел здесь все в состоянии довольно спокойном и охрану Царскосельскаго дворца надежной. Впечатления известнаго инженера Ломоносова, поздно вечером приехавшаго в Царское, где жила его семья, сводились к тому, что «местныя войска объявили себя нейтральными...»[246].

«Идет редкая стрельба, – это солдаты от радости стреляют в воздух». Нет данных, подтверждающих повествование Жильяра о том, что вечером перваго марта мятежники «стали наступать на дворец, и что столкновение казалось неизбежным». «Императрица, – разсказывает Жильяр, –была вне себя от ужаса при мысли, что кровь прольется на ея глазах, и вышла с Марией Николаевной к солдатам, чтобы побудить их сохранять спокойствие. Она умоляла, чтобы вступили в переговоры с мятежниками́'. Ни перваго, ни второго марта со стороны «мятежников» никаких активных действий против Царскосельскаго дворца не было предпринято. Думается, правдивую картину происходившаго в Александровском дворце дал в своих воспоминаниях бывший «придворный скороход» эстонский гражданин Оамер. По его словам, командир сводnаго пехотнаго полка, Комаров, распорядился вызвать во дворец весь полк, расположенный у павильона императорской ветки. Все части прибыли в боевой форме, с ружьями и пулеметами и расположились в обширном подвале дворца, принявшаго вид военнаго лагеря. У ворот и кругом дворца были разставлены часовые посты. Когда со стороны расквартированных в Царском Селе I. II. IV. стрелковых, лейб гвардии гусарскаго и кирасирскаго полков стала слышаться беспорядочная ружейная стрельба, Комаров распорядился поставить у ворот дворца два пулемета. А. Ф., узнав про это, отменила распоряжение. «Должен заметить, – пишет Оамер, – что А. Ф. выказала себя в эти тревожные дни и ночи женщиной с крепкими нервами и большой выдержкой характера. Она несколько раз, раза два

даже в 2–3 часа ночи, спускалась в подвал Александровскаго дворца, проходила медленно мимо стоявших солдат и, бодро смотря им в глаза, говорила: прошу ни при каких обстоятельствах не стрелять, быть хладнокровными, стараться уговаривать словами. Я готова все претерпеть, только не хочу крови»... «Среди собранных для охраны дворца солдат и казаков конвоя в виду их отрезанности от остального мира и носившихся слухов о готовящемся обстреле из орудий и штурме дворца, возникло тревожное настроение. Солдаты и казаки собрали общее собрание, где при общем одобрении выбрали депутацию из 3 офицеров и около 20 солдат и казаков. Всем им надели на рукава белыя повязки и, взяв с собой белый флаг, сделанный из приколоченной к палке скатерти, они выехали на грузовике в казармы лейб-гвардии 1-го стрелковаго полка, откуда раздавалась безпорядочная ружейная стрельба... Встретили депутацию дружелюбно, так как и там от неизвестности, что делается среди войсковых частей, находившихся во дворце, было настроение нервное и неспокойное. Как оказалось действительно орудия были направлены дулами по направлению Александровскаго дворца. Согласились обоюдно охранять порядок во дворцах и на прилегающих к ним улицах сводному пехотному полку и казакам Конвоя Е. В., а вокзалы и остальную часть улиц Царскаго Села и Павловска стрелкам[247]... По выяснению прибывшими парламентерами, среди казаков и солдат тревожное настроение улеглось. Все, кроме обычнаго наряда, были отправлены обратно в свои казармы». Между обеими сторонами была установлена «нейтральная зона», и дворцовая охрана надела белыя повязки. Но она не была разоружена, как отметила в своих воспоминаниях бывшая замужем за кн. Иоанном Конст. сербская королевна Елена Петровна, посетившая дворец 1 марта. (Когда корнет Марков, покинув царскосельский лазарет 4 марта, явился во дворец, там по прежнему на постах стояли вооруженные солдаты своднаго полка). Тогда же был послан в Петербург фл.-ад. Линевич для переговоров с «думскими» кругами через посредство Родзянко.

Итак, ни перваго, ни второго марта со стороны «мятежников» никаких активных действий против Царскосельскаго дворца не было предпринято. Вырубова была больна, лежала с жаром и, вероятно, в представлении ея все достаточно перепуталось – поэтому ей казалось, что бунтующие с пулеметами надвигались на дворец для того, чтобы его разгромить, и что охрана дворца покинула его уже 1-го марта и что по самому дворцу уже ходили кучки революционных солдат.

Из письма А. Ф. 2-го видно, как сгущается постепенно атмосфера, как

изолируется понемногу дворец от внешняго мира, и как близкие люди попадают на учет или оказываются арестованными. «Ты прочтешь все между строк и почувствуешь, – писала она мужу: «всего не скажешь в письме», но как все это далеко от того жуткаго «нечеловеческаго» одиночества, о котором говорил в своих парижских докладах (уже для русской публики) в 36-м году Керенский, когда с образностью, переходяищей в фальшь, утверждал, что царская семья всеми была покинута и «революционеры бегали в аптеку» за лекарствами для больных детей[248]. А. Ф., конечно, бодрилась, когда говорила о своем даже боевом настроении: «все мы бодры, не подавлены обстоятельствами, только мучаемся за тебя». С ночи на 3-е «тревога» должна была усилиться, ибо был арестован поздно вечером в ратуше ген. Гроттен («совершенство» аттестовала его Царица в письме 2-го) и другия лица (сообщения из Ц. С. в Ставку). Внешне, однако, все еще по старому: «Мы все держимся по прежнему, каждый скрывает свою тревогу... вечером, – пишет А. Ф. 3-го, – я с Марией делаю свой обход по подвалам, чтобы повидать всех наших людей – это очень ободряет...»[249].

* * *

Три дня, прошедшие с 28 февраля, – время огромное для момента, когда события текли с быстротой часовой стрелки. Вероятно, обстановка, в которой происходило первое свидание А. Ф. с вел. кн. Павлом, была ближе к характеристике, которая дана была в письме 2-го марта: «Павел, получивший от меня страшнейшую головомойку за то, что ничего не делал с гвардией, старается теперь работать изо всех сил и собирается нас всех спасти благородным и безумным способом». Дело идет об «идиотском манифесте относительно конституции после войны». Предоставим вновь слово в. кн. Павлу оно, конечно, претворено восприятием газетнаго сотрудника[250]. «1-го марта, – продолжает интервью, – я вторично был вызван во дворец, но пойти туда отказался. В то время у меня на квартире готовился манифест о полной конституции русскому народу. Его должен был подписать Николай Александрович. Заручившись подписями Кирилла Вл. и Мих. Ал. и подписавшись под этим манифестом сам, я отправил манифест в Гос. Думу и вручил его под расписку Милюкову. А уже потом я отправился по дворец. Первые вопросы, заданные мне тогда Алек. Фед., были такие: – «где мой муж? жив ли он? И что нужно сделать для улажения безпорядков?» Я передал А. Ф. содержание заготовленнаго мною манифеста, и она его одобрила». Далее передавалось содержание этого не очень удачнаго по форме выражения «манифеста». «В твердом намерении переустроить государственное управление в Империи на

началах широкаго представительства, мы предполагали приурочить введение новаго государственнаго строя ко дню окончания войны», – начинал манифест и перекладывал затем ответственность на «бывшее правительство», которое, «считая нежелательным установление ответственности министров перед отечеством в лице законодательных учреждений, находило возможным отложить этот акт на неопределенное время. События последних дней, однако, показали, что правительство, не опирающееся на большинство в законодательном учреждении, не могло предвидеть возникших волнений и их властно предупредить». Посему: «Мы предоставляем государству российскому конституционный строй, повелеваем продолжить прерванныя указом нашим занятия Гос. Совета и Гос. Думы, поручая председателю Гос. Д. немедленно составить временный кабинет и в согласии с ним озаботиться созывом Законодательнаго Собрания, необходимаго для безотлагательнаго разсмотрения имеющаго быть внесенным, правительством проекта новых основных законов Российской Империи»[251].

Манифест еще не был представлен во Временный Комитет, когда до в. кн. Павла дошло сообщение о том, что начались разговоры по поводу отречения и назначения Мих. Алек. регентом. Тогда, как мы уже знаем, в. кн. Павел написал своему племяннику Кириллу с просьбой переговорить с Родзянко. Племянник, уже ходивший с красным флагом, несколько раздраженно ответил дяде: ..."до меня дошли лишь слухи. Я совершенно с тобой согласен, но Миша, несмотря на мои настойчивыя просьбы работать ясно и единомышленно с нашим семейством, прячется и только сообщается секретно с Родзянко. Я был все эти тяжелые дни один, чтобы нести свою ответственность перед Ники и родиной, спасая положение, признавая новое правительство».

Тактика спасения династии, примененная в. кн. Кириллом в революционные дни, вызвала резкое отрицательное отношение к себе не только со стороны А. Ф. Брат легитимнаго кандидата на Российский престол занес в дневник 9 марта такое суждение по этому поводу старшаго в роде в. кн. Ник. Ник.. «Поведение в. кн. Кирилла глубоко возмутило всех». «Еще после опубликования отречения это было бы допустимо, но до этаго долг присяги и чести не допускали таких действий, т. е. переходить на сторону в то время врагов Государя, где кровь наших предков, честь и сознание своего достоинства».

Редакция «Краснаго Архива» не расшифровала того лица, скрытаго в письме в. кн. Павла под инициалами Н. И., при посредстве котораго Павел Александрович был все время в контакте с Государственной Думой, между

тем это нетрудно сделать. Подразумевался здесь прис. пов. Иванов – тот самый, который позже играл в дни гражданской войны несколько двусмысленную роль при образовании Сев-Зап. Правительства на фронте ген. Юденича. Посредническая роль его недостаточно ясна[252], равно как и все предварительные шаги, предшествовавшие составлению «манифеста» и охарактеризованные в. кн. Павлом в интервью словами: «Я следил за ходом событий и был в курсе всех дел».

Попытка спасти положение «манифестом» запоздала. В момент, когда дядя и племянник обменивались еще письмами, «новое течение» в «Думе» уже определенно оформилось в категорическое требование, и Родзянко, как мы знаем, писал лицу, намечавшемуся в регенты: «успокоит страну только отречение от престола». Жена в. кн. Павла, кн. Палей, информируя, с своей стороны, Императрицу о настроениях «в Думе» и предпринятых ея мужем шагах, на другой день писала: «весь вчерашний день он был в угнетенном состоянии, так как не было ни поездов, ни телефонов, верный нам человек, который держал нас в контакте с Гос. Думой, не появился». Второго, когда писалось письмо с таинственным «они», А. Ф. даже не представляла себе, что поставлен вопрос о смене верховной власти. Перед нею, как memento mori, стоял «идиотский» манифест, измышленный стараниями в. кн. Павла Ал. Едва ли при такой квалификации манифеста можно предположить, что А. Ф. «одобрила» его содержание, как утверждал П. А. в интервью. Но я не рискнул бы без оговорок подтвердить и имеющияся сведения, что Императрице было предложено подписать проект манифеста, но она категорически отказалась[253]. Она могла отнестись в общих чертах сочувственно к тому политическому шагу, который делал в. кн. Павел, и в котором она готова была видеть неизбежную теперь уступку общественному мнению, против чего с присущей страстностью и упорством она боролась последние годы. Недаром «идиотский» манифест все же она назвала «благородным и безумным способом» спасения. Положение казалось А. Ф. небезнадежным. Она надеялась не только на «чудо», но и на то, что захвативший всех «микроб» постепенно исчезнет. «Два течения – Дума и революционеры, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу голову, – это спасло бы положение», – писала Ал. Фед. 2-го... «Когда узнают, что тебя не выпустили, войска придут в неистовство и возстанут против всех. Они думают, что Дума хочет быть с тобой и за тебя. Что же, пускай они водворят порядок и покажут, что они на что-нибудь годятся, но они зажгли слишком большой пожар, и как его теперь потушить?» «Бог поможет, поможет», – заканчивала Царица письмо, – «и твоя слава, вернется. Это –

вершина, несчастий!.. Какой ужас для союзников и радость врагам. Я не могу ничего советовать, только будь, дорогой, самим собой. Если придется покориться обстоятельствам, то Бог поможет освободиться от них»[254]. В письме, (отправленном 3 марта, кн. Палей сообщила о новых «ужасах», имевших место накануне («главное, речь Милюкова») и побудивших в. кн. Павла экстренно с «вахтером» послать в 12 час. следующее письмо Родзянко («мы сообща составили» – писала княгиня): «Как единственный оставшийся в живых сын Царя-Освободителя, обращаюсь к Вам с мольбой сделать все, от Вас зависящее, дабы сохранить конституционный престол Государю... Я бы не тревожил Вас в такую минуту, если бы не прочитал в «Известиях» речь мин. ин. д. Милюкова и его слова о регентстве в. кн. Мих. Ал. Эта мысль о полном устранении Государя меня гнетет... Я бы сам приехал к Вам, но мой городской мотор реквизирован, а силы не позволяют итти пешком». Следовательно, 3-то в 12 час. дня в. кн. Павел не знал еще о фактическом отречении – письмо кн. Палей заканчивалось вопросом: «есть ли известия от Государя? В Пскове ли он или уехал 'и куда, и на, что решился?»[255]. Не знала и Ал. Фед. – не знала «совершенно ничего», иногда начала писать письмо, предположенное к отправке через «жену офицера». Она не верит еще тем «самым гнусным сплетням», которыя доходят до нея и могут «довести человека до безумия». И она пишет мужу, что она ничего не предпринимает, никого из думских людей не видела и не участвовала в переговорах о «конституции». *Только так* , на мой взгляд, можно истолковать «тайну», которая заключалась в иносказательных строках Императрицы.

Предпринимала ли в своем «боевом» настроении А. Ф. какие-нибудь реальные шаги для противодействия революции, не удовлетворенная той мягкотелостью (по выражению большевиков – Покровский) которую проявлял Николай II? В письме 3-го, мы знаем, она писала, что «не может ничего сделать из страха повредить, так как не имеет никаких известий»... «теперь она только мать при больных детях». Ну, а раньше? В тех же «Последних Новостях», в номере от 30 апреля 24 г. появилась несколько странная статья, автор которой скрылся под псевдонимом Z. Он расширил рамки темы о «тех», которые участвовали в «этом», и говорил о плане, который осуществлял «триумвират» в лице Царицы, командующаго войсками Хабалова и военнаго министра Беляева. Это одна из версий легендарнаго «протопоповскаго» проекта: провоцировать революцию и подавить ее пулеметами. На основании каких-то материалов ген. Аверьянова, которые будут опубликованы, автор говорил о 500 пулеметах, оставленных для этой цели в Мурманске из числа присланных для фронта.

«Документы» эти до сих пор не были опубликованы, и, следовательно, разсуждения Z должны быть отнесены к области исторической фантастики, для которой нет места в историческом повествовании[256].

Реально мы знаем только о свидании А. Ф. с ген. Ивановым в ночь с 1-го на 2-ое марта. В передаче Иванова при допросе в Чр. След. Ком. речь шла о приезде Царя, о необходимости создать правительство, пользующееся доверием и т. д. «Только не поручусь, – добавлял генерал, – что она сказала слово: «ответственное». Естественно, Иванов не стал передавать то интимное, что между ними могло быть говорено. Но вот разсказ вел. кн. Николая Мих. занесённый им в дневник. Человек. этот довольно страстно не терпел Царицу, – в его дневнике попадаются квалификации, которыя трудно в печати повторять. «Государыня, – записывал Ник. Мих., – казалось очень хорошо владела собой и была невозмутимо спокойна. Она уверяла генерала, что энергичными действиями он легко может возстановить порядок в Петрограде... что все это возстание ничто иное, как недоразумение, ...что мало вероятно, чтобы он (Император) решился отречься от престола, и если бы даже он это сделал, то это было бы только для того, чтобы успокоить умы и в пользу наследника, а в виду несовершеннолетия последняго установить регентство под ея попечением. Иванов был ошеломлен всем этим разговором, старался показать невозможность итти на Петроград и должен был сознаться, что он может принять только единственное решение вернуться в Могилев». Почти не приходится сомневаться в том, что это позднейшая запись из вторых рук, – даже дата указана ошибочно: ночь с 2-то на 3-е[257]. Совершенно невероятно, чтобы А. Ф. могла с Ивановым говорить об отречении. Судя по письму А. Ф, 2-го, если она побуждала Иванова к активным действиям, то не в сторону Петербурга, а на освобождение Николая II, попавшаго в западню происками «революционеров». «Милый старик Иванов сидел у меня от 1 до 2.30 час. ночи и только постепенно вполне уразумел положение»... «Я думала, что он мог бы проехать к тебе через Дно, но сможет ли он прорваться? Он надеялся провести твой поезд за своим».

Вся обстановка, вырисовывающаяся из приведенных данных, заставляет по иному подойти к моменту, когда А. Ф. получила сообщение об отречении Царя, и несколько более осторожно и по другому интерпретировать остальныя «таинственныя» слова в ея письмах. Этот момент, очевидно, пришелся уже на вечерние или предвечерние часы, а не на утренние, и, начав писать письмо после полученной от кн. Палей информации, центром которой был все же «идиотский» манифест, А. Ф.

заканчивала, письмо после разговора с в. кн. Павлом. Припомним, что по предположению автора статьи в «Пос. Нов.», А. Ф. должна была получить от в. кн. Пав. Ал. сообщение «не только о голом факте отречения, но и о мотивах этой перемены намерения» (т. е. о замене сына братом). Великий Князь мог сам знать только то, что сообщили Гучков и Шульгин, – и то, вероятно, с чужих слов. Ничего специфическаго, поясняющаго «таинственныя слова» Пав. Ал. сообщить не мог. В интервью, напечатанном в «Русской Воле», со слов Великаго Князя так разсказывалось о посещении им дворца 3 марта: «У меня в руках был свежий номер «Известий» с манифестом об отречении. Я прочел его А. Ф. Об отречении А. Ф. ничего не знала. Когда я закончил чтение, она воскликнула: «не верю, все это – враки, газетныя выдумки. Я верю в Бога и армию. Они нас еще не покинули». Мне пришлось разъяснить опальной царице, что не только Бог, но и вся армия присоединилась к революционерам. И лишь тогда бывшая царица поверила кажется, в первый раз поняла или постаралась понять все то, к чему она, Гришка Распутин и Протопопов привели страну и монархию». Слишком очевидно, что конец сказан для толпы. Но интервью не документ, на который можно твердо опираться. В данном случае прежде всего бросается в глаза одна несуразица – упоминание об «Известиях», в которых яко бы уже 3-го был напечатан манифест. Самое большое, что могло быть в руках Пав. Ал. – это «летучка», выпущенная днем Советом с кратким извещением об отречении, – о ней говорят Ломоносов и Шульгин[258].

Гораздо важнее другая загадка, которую ставит приписка А. Ф. в письме, помеченном 4-м марта. В ней говорится: «Только сегодня утром мы узнали, что все передано М.(ише), и Бэби теперь в безопасности – какое облегчение».

Ведь 4-го были одновременно опубликованы оба Манифеста – и отречение Николая II, и отречение Михаила! Единственное как будто бы возможное объяснение заключается в предположении, что жена и мать после получения «ужасающих» для нея сведений была в состоянии, граничащем почти с невменяемостью. Душевная экзальтация истерической женщины должна была дойти до крайних пределов, и в таком состоянии писалось -письмо 3-го (конец его) и письмо 4-го. По первому впечатлению она обратила внимание только на то, что отрекся Царь. Она пытается сказать ему слово успокоение... в минуту «безумнаго страдания». Письмо преисполнено какой-то исключительно проникновенной нежностью любящаго существа...

«Я вполне понимаю твой поступок, о мой герой! Я знаю, что ты не

мот подписать противное тому, чему ты клялся на своей коронации». Зачем делать искусственное предположение, что здесь имеется в виду «передать наследство сыну»? Неужели, не ясно, что дело касается совсем другого – отказа от самодержавия, признания и конституции», вне которой должен стоять «Помазанник Божий». Еще Витте отметил, что после 1905 г. Николай II продолжал считать себя «неограниченным монархом». Теократическия представления Царя создались отнюдь не под влиянием только жены. В ранние годы ее в придворных кругах считали даже проводительницей при Дворе, конституционных настроений. Потом... ее захватили тенета мистики, и она, действительно, стала какой-то «политической Эгерией» самодержавия. И в представлении Царя, и в представлении Царицы самодержец ответственен перед Богом. «Я несу за все власти, мною поставленныя, перед Богом страшную ответственность и во всякое время готов дать в том отчет», писал Царь в том же письме Столыпину 10 декабря 1906 г. Переложить ответственность за ошибки на «правительство», как предполагал, например, великокняжеский проект манифеста 1-го марта, морально было неприемлемо для Николая II.

Мистическия представления о власти находились в резкой коллизии с реальной жизнью. В февральские дни положение сделалось безвыходным. «Ты спас царство твоего сына и свою святую чистоту»... Царь не сделался клятвопреступником. Наследник не связан присягой, и его царствование может быть конституционным. Так, мне кажется, следует толковать «таинственныя слова». В экзальтации, быть может, А. Ф. и продолжала верить в чудо, которое должно совершиться и которое вознесет царя «снова» на престол. Бог должен вознаградить «мученика». Но больше всего и скорее всего это – слова утешения.

В сгущенной атмосфере мистических упований, как-то трудно предположить, что дело могло итти о тонко задуманном коварном плане сознательной «подделки» историческаго акта. «Нить Ариадны» не могла итти в те дни из Царскаго Села. Могла ли самостоятельно возникнуть инициатива такой политической интриги в голове того, кто «наивно думал, что он может отказаться от престола и остаться простым обывателем»? Сам несколько наивный придворный истриограф ген. Дубенский, сказавший процитированныя слова в Чр. Сл. Ком., не дооценивал, допустим, врожденное «лукавство» венценоснаго «сфинкса». Перед нами пройдет еще яркое свидетельство лица из иной среды, совсем уже враждебной, которое разскажет о тон, как венценосец, скинув тяготевшия на нем историческия бармы мономаховой шапки, оживал и делался «человеком». То будет свидетельство Керенскаго,

непосредственно наблюдавшаго последняго императора в заключении в Царскосельском дворце[259].

Глава седьмая. Михаил II

I. Ставка и Петербург

Закончив псковскую операцию, делегаты Временнаго Комитета в Я часа ночи выехали назад в Петербург. Приблизительно в то же время пошли сообщения о принятых решениях главнокомандующим на фронт и в столицу. Только обостренно тревожной обстановкой и неуверенностью можно объяснить непонятный инцидент, разыгравшийся в Петербурге с арестом по ордеру новаго министра юстиции полк. Шихеева, производившаго в Штабе расшифровку манифеста. Окружению Бубликова казалась подозрительной медлительность работы – ясно, умышленно затягивают; звонок в Гос. Думу и решение, как выразился Ломоносов, «на всякий случай полковника с актом арестовать». Сказано и сделано – из Думы послали не то грузовик, не то лимузин. Вероятно, этим объясняется «спешное» привлечение к делу считавшагося «специалистом по шифровальному делу» будущаго командующаго петербургскаго округа, полк. ген. штаба Половцова, котораго Гучков привлек к работе военной комиссии. Он вместе с Родзянко отправился в главное управление Ген. Штаба и расшифровал ночную телеграмму Гучкова об отречении, адресованную на имя нач. гл. Штаба для передачи председателю Думы[260].

Неожиданное содержание акта отречения произвело переполох в кругах Врем. Комитета – прежде всего в связи с теми антидинастическими требованиями, которыя так определенно выявились в течение дня. Керенский «без всяких обиняков заявил, – по словам Родзянко, что если воцарение Мих. Ал. состоится, то рабочие г. Петрограда и вся революционная демократия этого не допустит». Смущал и вопрос о законности акта, поднимавший «обоснованный юридический спор» в смутное и тревожное время. Этот вопрос кратко разсматривает в воспоминаниях Набоков: «Наши основные законы, – говорит он. – не предусматривали возможности отречения царствующаго императора и не устанавливали никаких правил, касающихся престолонаследия в этом случае!.. При таком молчании основных законов престол в случае отречения мог переходить только к «законному наследнику». «Престол российский – не частная собственность, не вотчина императора, которой он может распоряжаться по своему произволу... Поэтому передача престола Михаилу была актом незаконным. Никакого юридическаго титула для Михаила она не создавала». «Принятие Михаилом престола», следовательно, было «с самаго начала порочным». Не удовлетворял в. кн. Михаил с морганатической супругой и легитимистов, мнения которых

находили известный отзвук в думской среде. Мы видели, что «интригам» кн. Брасовой готовы были они приписать даже идею регентства, за которой таилась секретная мысль превратить временнаго регента в постояннаго императора. Столичная «яхт-клубская» молва давно уже приписывала кн. Брасовой подготовку в этих целях чуть ли не заговора. (Запись Нарышкиной 21 авг.). Палеолог, с своей стороны, еще в феврале 16 г. записал ходячие слухи и комментировал их. «Честолюбивая и ловкая» кн. Брасова «за последнее время поддерживает самыя либеральныя мнения. Ея салон... часто принимает левых членов Гос. Думы. В придворных кругах ее обвиняют в измене монархическим принципам, она, впрочем, этим чрезвычайно довольна, так как это подчеркивает ея позицию и подготовляет популярность. Она все более и более разворачивается, она высказывает столь удивительно отважныя идеи, которыя, исходя из другого рта, могли бы повлечь за собой каторжныя работы (см. в моей книге «Легенда о сепаратном мире» еще суждения, высказанныя на заседании прогрессивнаго блока).

Так или иначе первым решением в среде думскаго комитета и новаго правительства было – остановить распубликование манифеста. В 5 час. утра Родзянко и Львов[261] вызвали к прямому проводу Рузскаго и Алексеева[262]. Председатель Думы довольно ярко, чрезмерно даже сгущая краски (может быть, в целях более сильнаго воздействия на главнокомандующих, а, может быть, в состоянии собственной растерянности), изобразил то, что происходило в недрах новой правительственной власти.

«С великим трудом – говорил Родзянко, – удалось удержать в более или менее приличных рамках революционное движение, но положение еще не пришло в себя и весьма возможна гражданская война. С регентством Великаго Князя и воцарением Наследника Цесаревича помирились бы, может быть, но воцарение его, как императора, абсолютно неприемлемо». На сожаление, выраженное Рузским, по поводу того, что «депутаты, присланные вчера, не были в достаточной степени освоены с ролью и вообще с тем, для чего приехали». Родзянко пояснил: Опять дело в том, что депутатов винить нельзя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт» которому еще подобнаго я не видел, и которые (так в подлиннике), конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, которые все свои мужицкая требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе: "Земли и воли», «Долой династию», «Долой Романовых», «Долой офицеров». И началось во многих частях избиение офицеров, к этому присоединились рабочие, и

анархия дошла до своего апогеях[263]. В результате переговоров с депутатами от рабочих(?) удалось придти к ночи сегодня к некоторому соглашению[264], которое заключалось в том, чтобы было созвано через некоторое время Учред. Собрание для того, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно. Войска мало по малу в течение ночи приводятся в порядок, но провозглашение императором в. кн. Мих. Ал. подольет масла в огонь, и начнется безпощадное истребление всего, что можно истребить. Мы потеряем и упустим из рук всякую власть и усмирить народное волнение будет некому; при предложенной форме *возвращение династии не исключено и желательно* , чтобы примерно *до окончания* войны продолжал действовать Верховный Совет и ныне действующее с нами Временное Правительство[265]. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение, и решительная победа будет обезпечена, так как несомненно произойдет подъем патриотическаго чувства»...[266], – «Скажите, для верности, так ли я вас понял» – спросил Рузский: «Значит, пока все остается по старому, как бы манифеста не было, а равно и о поручении кн. Львову сформировать министерство. Что касается назначения в. кн. Н. Н. главнокомандующим повелением Е. В., отданным вчера... То об этом желал бы знать также ваше мнение; об этих указах сообщено было вчера очень широко *по просьбе депутатов*[267], даже в (Москву и, конечно, на Кавказ». – «Сегодня нами сформировано правительство с кн. Львовым во главе», – ответил Родзянко: «Все остается в таком виде: » *Верховный Совет, ответственное министерство и действия законодательных палат* до разрешения вопроса о конституции Учр. Собранием. Против распространения указов о назначены в. кн. Н. Н. верховным главнокомандующим не возражаем». – «Кто во главе Верховнаго Совета», – интересуется Рузский. – «Я ошибся: не Верховный Совет, а Временный Комитет Гос. Думы под моим председательством»[268].

Соединившись со Ставкой, Родзянко просил Алексеева «не пускать в обращение никакого манифеста до получения... соображений, которыя одни могут сразу прекратить революцию» и, повторил ему с небольшими вариантами то, что сказал Рузскому. «Приму все меры задержать... командующих войсками... сообщенный им манифест», – ответил Алексеев: «Сообщенное мне вами далеко не радостно. Неизвестность и Учр. Собрание две опасныя игрушки в применении к действующей армии... Петроградский гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит его с легкостью и еще, и еще раз, для родины он теперь вреден, для армии

безполезен, для вас и всего дела опасен. Вот наше войсковое мнение... Все помыслы, все стремления начальствующих лиц действующей армии направлены теперь к тому, чтобы действующая армия помнила об одной войне и не прикоснулась к 6олезненному состоянию внутреннему, переживанмому ныне частью России»... «Я солдат, – заканчивал Алексеев, – *и все мои помыслы обращены на фронт, на запад, к стороне врага* ".

Начальник штаба был, действительно, смущен и 6ольше всего оттяжкой осведомления фронта, предвидя, как и все главнокомандующие, что это может иметь трагическия последствия, ибо «немыслимо удержать в секрете высокой важности акт, предназначенный для общаго сведения»[269]. У Алексеева. явилась мысль оказать воздействие на «виляющее» правительство, как он выразился через несколько часов в разговоре с Брусиловым. Он обратился в промежуток между 1–4 часами ко всем главнокомандующим: «Из совокупности разговоров председателя Думы с главкосевом и мною, – телеграфировал Алексеев, кратко излагая суть этих разговоров, – позволительно придти к выводу:

первое – в Гос. Думе и в ея Врем. Комитете нет единодушия – левыя партии, усиленныя Советом Р. Д., приобрели сильное влияние;

второе – на председателя Думы и Врем. Комитета Родзянко левыя партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление, и в сообщениях Родзянко нет откровенности и искренности;

третье – цели господствующих над председателем партий ясно определились из вышеприведенных пожеланий Родзянко;

четвертое – войска петроградскаго гарнизона окончательно распропагандированы... очерченное положение создает полную опасность более всего для действующей армии, ибо неизвестность, колебания, отмена уже объявленнаго манифеста, могут повлечь шатание умов в войсковых частях и тем разстроить способность борьбы с внешним врагом»... Сообщая, что он срочной телеграммой доносит «все это» верховному главнокомандующему. Алексеев выдвигает план «суть настоящаго заключения сообщить председателю Думы и *потребовать* осуществление манифеста» и «для установления единства во всех случаях и всякой обстановке созвать совещание главнокомандующих в Могилеве» (Если в. кн. Н. Н. «не сочтет возможным прибыть лично, то собраться 8-го или 9-го марта). «Такое совещание тем более необходимо, – продолжал Алексеев, – что только что получил полуофициальный разговор по аппарату между чинами морского гл. штаба, суть его: обстановке в Петрограде 2 марта значительно спокойнее, постепенно все налаживается, слухи о резне солдатами – сплошной вздор, авторитет Врем. Прав.,

повидимому, силен. Следовательно, основные мотивы Родзянко могут оказаться неверными и направленными к тому, чтобы побудить представителей действующей армии неминуемо присоединиться к решению крайних элементов, как к факту, совершившемуся и неизбежному. Коллективный голос высших чинов армии и их условия должны, по моему мнению, стать известными всем и оказать влияние на ход событий».

До получения официальных ответов на свой запрос Алексеев в 1 ч. 80 м. был вызван к аппарату по инициативе Брусилова, указавшаго, на основании донесений командиров, на необходимость отдачи «какого-либо приказа» в виду преувеличенных слухов, проникших уже на фронт: Брусилов предлагал объявить, что Николай II отрекся, что в управление страной вступил Врем. Ком. Гос. Думы, что войска должны «охранять своею грудью матушку Россию» и не вмешиваться в политику. «Вполне понимаю все, вами высказанное», – ответил Алексеев. – «Мое положение:

1. Не могу добиться, чтобы Родзянко подошел к аппарату выслушать мое решительное сообщение о невозможности играть в их руку и замалчивать манифест.

2. Повеление Вел. Кн., верховнаго главнокомандующаго, во всех важных случаях обращаться к нему и его извещение, что для кавказской армии манифест не существует до распубликования его законным порядком через Сенат. Сейчас вторично доложу по аппарату Вел. Кн... заявление всех главнокомандующих, что дальнейшее молчание грозит опасными последствиями. При неполучении каких-либо указаний, возьму на себя отдачу приказания... Самое трудное – установить какое-либо согласие с виляющим современным правительством»...

Трудно сказать, до каких пределов могла пойти инициатива ген. Алексеева. Он не встретил достаточной поддержки: Вел. Кн. ответил, что он является «выразителем объединеннаго мнения армии и флота», но не как «коллегиальнаго мнения главнокомандующих», и что он сносится с правительством[270]. Рузский, считая необходимым объявление манифеста, полагал, что излишне запрашивать командармов, так как им «обстановка внутри империи мало известна»; что для «установления единства действия» необходимо установить «полный контакт с правительством», и что до фактическаго вступления в главнокомандование Вел. Князя «сбор главнокомандующих несоответственен». Эверт считал, что «подобно тому, как мы под давлением обстановки коллективно вынуждены были обратиться к Государю Императору с мольбой о согласии его на изменение (формы правления. также ныне необходимо обратиться к Гос.

Думе и новому правительству с заявлением о необходимости немедленнаго объявления высочайшаго манифеста, спешно и законно изданнаго Сенатом, и просто во имя спасения родины от порабощения ея злейшими ея врагами немедленно успокоить все волнения, отказаться ныне от намеченнаго пути избрания Учред. Со6рания». Эверт считал съезд необходимым и недопустимым откладывать его на 8-ое марта....

Алексеев пытался установить контакт с правительством, как рекомендовал Рузский. Не добившись «возможности говорить с председателем Гос. Думы», он говорил в 6 час. веч., когда вопрос о манифесте 2-го в Петербурге окончательно уже был разрешен в отрицательном смысле, с Гучковым и просил его «взять на себя передачу» Родзянко «серьезнейшаго для армии вопроса». «Выход должен 6ыть найден путем соглашения с лицом, долженствующим вступить на престол», – убеждал нач. штаба... «Полагаю вполне возможным в первом манифесте новаго царствования объявить о том, что окончательное решение вопросов государственнаго управления будет выполнено в согласии с народным представительством, хотя бы по окончании войны или наступления успокоения», «пять миллионов вооруженных людей ждут объяснения свершившагося», – напоминал еще раз Алексеев. Военный министр информировал нач. Штаба о «соглашении», достигнутом с лицом, долженствовавшим вступить на престол... Алексеева не удовлетворило «соглашение». «Неужели нельзя было убедить Вел. Князя принять временно до созыва Собрания власть? Это сразу внесло бы определенность в положение[271]... Трудно предусмотреть, как примет стоящая в окопах масса манифест 3-го марта. Разве не может она признать его вынужденным со стороны? Теперешнюю действующую армию нужно беречь и беречь от всяких страстей в вопросах внутренних. Хотя бы непродолжительное вступление на престол Вел. Князя сразу внесло бы и уважение к воле бывшаго Государя и готовность Вел. Кн. послужить своему отечеству в тяжелые переживаемые им дни... Уверен, что на армию это произвело бы наилучшее бодрящее впечатление... Через полгода-же все выяснится ближе, лучше и всякия изменения протекут не столь болезненно, как теперь»... Вечером в 11 часов Алексеев еще раз говорил с Петербургом – на этот раз с председателем Думы. Ему оставалось лишь подчиниться обстоятельствам и заключить разговор полной предчувствий фразой: «Прибавить ничего не могу, кроме слов: Боже, спаси Россию».

II. Отречение Михаила

1. Решение Временнаго Комитета

В «Истории революции» Милюков говорит, что Родзянко-Львов отправились к прямому проводу в военное министерство для того, чтобы выяснить возможность «изменения» манифеста. Мы видели, что об этом не было и речи со стороны председателей Врем. Комитета и Врем. Правительства. Дело шло об отсрочке, пока политические архитектора не договорятся между собой... «Ночь, (вернее предразсветное время) прошла, – вспоминает Керенский, – в резких и горячих спорах, так как Милюков защищал свою позицию с настойчивостью и упорством изумительными. Его поддерживал лишь отчасти (moité à contre coeur) Шингарев. Милюков считал, что «все потеряли голову»[272]. Мнение Керенскаго о необходимости убедить Вел. Князя отречься возымело решающее влияние. Некрасов успел уже набросать и проект отречения. Никто не знал, насколько сам Вел. Князь был осведомлен о происходящем. Решено было отправиться и коллективно представить на его усмотрение две точки зрения, так как Милюков, – утверждает Керенский, – заявил, что он немедленно покинет ряды Вр. Правительства, если ему не будет предоставлена возможность изложить мнение меньшинства перед Мих. Алекс.

Около полудня по датировке Милюкова – около 10 час. по воспоминаниям Керенскаго – члены правительства кн. Львов, Милюков, Керенский, Некрасов, Терещенко, Годнев, Львов Вл. и члены Врем. Комитета Родзянко, Ефремов и Караулов (называют еще Шидловскаго и Ржевскаго), собрались на Миллионной в квартире кн. Путятиной, где временно пребывал Великий Князь. Сама хозяйка в воспоминаниях определяет время собрания около 11 часов.

Около полудня по датировке Милюкова – около 10 час. по воспоминаниям Керенскаго – члены правительства кн. Львов, Милюков, Керенский, Некрасов, Терещенко, Годнев, Львов Вл. и члены Врем. Комитета Родзянко, Ефремов и Караулов (называют еще Шидловскаго и Ржевскаго), собрались на Миллионной в квартире вн. Путятиной, где временно пребывал Великий Князь. Сама хозяйка в воспоминаниях определяет время собрания около 11 часов.

Не знаю, на основании каких данных Маклаков инициативу созыва совещания приписывает «новому императору». Караулов, разсказывавший 31 марта в. кн. Андрею Влад. в Кисловодске историю отречения Мих. Ал., говорил, что инициатива совещания принадлежала исключительно

думцам: Керенский телефонировал Вел. Кн. в 5 час. утра, Мих. Ал. разбудили, и он ответил, что «ничего не знает» о том, что произошло в Пскове. Надо ли говорить, что теоретическия разсуждения Маклакова, который понял бы собрание на Миллионной, если бы там речь шла о недостаточности конституционных гарантий в акте отречения Царя, совершенно неприменимы к революционной обстановке утра 3-го марта, вытекавшей, конечно, не из правомерных юридических предпосылок государствоведов. При обрисовке тогдашней революционной обстановки надлежит устранить легенду, правда совершенно второстепеннаго значения, но очень характерную для революционной мемуарной литературы. Суханов вспомнил, как он 2-го марта, т. е. в критический момент, когда решался вопрос о государственной власти, на запрос советскаго комиссара на Царскосельском вокзале («по поручению железнодорожников»): возможно ли дать Мих. Ал. поезд для приезда из Гатчины в Петербург, «без всяких совещаний», ответил, «что поезда Исп. Ком. не разрешает «по случаю дороговизны угля» – «гр. Романов может придти на вокзал, взять билет и ехать в общем поезде» Этот, воспроизводимый Черновым и др. «революционный» ответ теряет свой эффект и относительное остроумие, так как Мих. Ал., прибыв в столицу 27-го, уже не мог выехать назад в Гатчину и находился все время в квартире кн. Путятиной. Так засвидетельствовала сама Путятина; это утверждает и полк. Никитин, по словам котораго Мих. Ал. в разговоре с ним высказывал особенное недовольство против Родзянко, вызвавшаго Великаго Князя и оставившаго его будто бы в военном министерстве во время вечерняго разговора со Ставкой. Однако, для переговоров со Ставкой Мих. Ал. ездил не с Родзянко, а с военным министром Беляевым и на его автомобиле. Весь этот инцидент (с сухановским ответом) нашел некоторый отклик в тогдашнем сообщении «Русскаго Слова», но отнесен он ко времени после отречения. Кто у кого заимствовал – мемуарист ли у газетнаго сотрудника или этог последний у будущаго мемуариста – не знаю...

По словам Путятиной, Мих Ал. уведомил Родзянко только в 4 часа утра 2-го, где он находится (свидетельство более, чем сомнительное), и тогда же ему была прислана охрана из 40 юнкеров и 8 офицеров.

2. Возвращение делегатов

Гучков и Шульгин только что (около 8 час. утра) вернулись в Петербург и тут же на Варшавском вокзале натолкнулись на яркую иллюстрацию к существовавшим настроениям. Гучков смело пошел объявить акт отречения в мастерския Сев.-Зап. жел. дор., но рабочие пришли в такое возбуждение, что, «закрыв помещение мастерских, проявили недвусмысленное намерение акт уничтожить, а Гучкова линчевать». Эпизод, повидимому, был не столь драматичен, как изобразил его в приведенных словах Бубликов, и никто не собирался уничтожать акт отречения и убивать Гучкова.[273]

Образно, но несколько туманно, об инциденте разсказал Шульгин, бывший одним из действовавших лиц. В кутюрьме, которая царила на вокзале, когда «какие-то люди» «куда-то нас тащили», «мне выпало на долю объявить о происшедшем» «войскам и народу» Рота выстроилась «покоем» (четвертую сторону составляла толпа) и взяла на караул . В такой торжественной обстановке Шульгин прочитал отречение. «Я поднял глаза от бумаги и увидал, как дрогнули штыки... прямо против меня молодой солдат плакал... Тогда я стал говорить». Депутат произнес патриотическую речь о России, о ея спасении, чему подал пример Царь. «Ура Государю императору Михаилу второму!» «И показалось мне на короткое время, что монархия спасена». В этот момент Шульгина позвали к телефону – Милюков спешил перехватить делегатов на вокзале и предупредить, что они должны ехать на Миллионную 12. Милюков не одобрил поспешную попытку провозгласить «Михаила II». «Настроение сильно ухудшилось текст (манифеста) неудовлетворителен необходимо упоминание Учредительнаго Собрания». Шульгин направился на розыски Гучкова, но по дороге передал конверт с подлинным отречением посланцу Бубликова и нашёл Гучкова на митинге рабочих в железнодорожных мастерских.

Шульгин застал момент, когда толпа « забурлила» под влиянием агитационных речей ораторов и требовала «закрыть двери», дабы «Александра Ивановича» не выпустить, а «документы» отобрать[274]. Спас положение инженер, устыдивший толпу «вы хуже стараго режима». «Двери отворились Гучков говорил какия-то успокаивающия слова», а Шульгин мотивировал необходимость немедленнаго отъезда, так как «сейчас в Гос. Думе между Комитетом Думы и Советом Р. Д. идет важнейшее совещание, на котором... все решится». «Толпа разступилась –

скорее дружественно»... Железнодорожный инспектор Некрасов, сопровождавший делегатов во время поездки в Псков, дал Ломоносову другое объяснение. Гучкова приняли за «самозванца» и хотели арестовать. Вмешался Некрасов и сказал, что они привезли «акт отречения». Пошли «какие-то переговоры». Нас «вежливо продержали еще минут двадцать и выпустили»[275]. Так и остается неизвестным из разсказов мемуаристов – читал ли Гучков акт отречения рабочим. Вероятнее всего читал, и возбуждение, силу котораго каждый мемуарист передал на свой лад, вызвало упоминание о воцарении Михаила. Сам Гучков в воспоминаниях не упомянул об инциденте: он говорит, что от начальника станции делегаты узнали, куда они спешно должны ехать.

3. У Великаго Князя

«Вот Миллионная»... Вел. Князь имел очень взволнованный вид, – вспоминает Керенский. Кн. Львов и Родзянко изложили взгляд большинства, Что сказал Родзянко, «пространно», по словам Милюкова, мотивировавший необходимость отказа «новаго императора», мы можем догадаться по его воспоминаниям. Говорил ли Родзянко о незаконности манифеста, о дефективности текста «конституции», мы не знаем. Очевидно, центром были соображения тактическия, вытекавшия из учета настроения революционных элементов: «для нас было совершенно ясно, Вел. Кн. процарствовал бы всего несколько часов и немедленно произошло бы огромное кровопролитие в стенах столицы, которое бы положило начало общегражданской войне. Для нас было ясно, что Вел. Кн. был бы немедленно убит и с ним все сторонники его, ибо верных войск уже тогда в своем распоряжении не имел и поэтому на вооруженную силу опереться не мог. Вел. кн. Мих. Ал. поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно... Даже увезти его тайно из Петрограда не представлялось возможным: ни один автомобиль не был бы выпущен из города, как не выпустили бы ни одного поезда из него»...[276].

Наступила очередь Милюкова изложить позицию «меньшинства», т.е. свою собственную точку зрения[277]. Вновь очень картинно изобразил Шульгин «потрясающую» речь Милюкова – «Головой – белый, как лунь»[278], лицом сизый от безсонницы, совершенно сиплый от речей в казармах, на митингах, он не говорил, но каркал хрипло»: если откажетесь – Россия погибла. Естественно, что именно в этом изложении всегда цитируется речь Милюкова. Но с Шульгиным, как мемуаристом, всегда происходят небольшие malentendus: депутат попал на Миллионную лишь к самому концу речи Милюкова. Поэтому возьмем лучше ту общую характеристику ея, которую дал сам Милюков в своем уже историческом повествовании: «Сильная власть, необходимая для укрепления порядка, нуждается в опоре привычнаго для масс символа власти. Временное Правительство одно без монарха... является утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений; стране при таких условиях может грозить потеря всякаго сознания государственности и полная анархия, раньше, чем соберется Учр. Собрание, Временное Правительство одно до него не доживет» и т. д. По словам Керенскаго, Милюков говорил более часа с большим спокойствием и хладнокровием, явно желая, по мнению

мемуариста, затянуть разговор до приезда псковичей, надеясь в них найти опору. Совсем иное объяснение длинной речи Милюкова и его состояния – крайне возбужденнаго, а не спокойного – дали Алданову другие участники совещания (анонимные в статье писателя): «это была как бы обструктция... Милюков точно не хотел, не мог, боялся окончить говорить, он обрывал возражавшаго ему, обрывал Родзянко, Керенскаго и всех»...[279]

По приезде псковских делегатов был объявлен перерыв для взаимной информации. После некоторых колебаний или размышлений Гучков решил, что он должен поддержать позицию Милюкова, и объявил, что если Мих. Ал. присоединится к позиции большинства, он не вступит в состав правительства.

По Керенскому после перерыва говорил Гучков, по Шульгину – Керенский. В изложении последняго Керенский сказал приблизительно так: В. В., мои убеждения республиканския. Я против монархии...[280].

Но я сейчас не хочу, не буду... разрешите вам сказать иначе... как русский русскому, П. Н. Милюков ошибается. Приняв престол, Вы не спасете Россию!.. Наоборот. Я знаю настроение масс... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... именно этот вопрос будет причиной кроваваго разлада. Умоляю Вас, во имя России, принести эту жертву. Если это жертва... Потому что, с другой стороны... я не в праве скрыть здесь, каким опасностям Вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол... Во всяком случае я не ручаюсь за жизнь В. В.»...[281].

Слово предоставлено было Гучкову (председательствовал как бы сам Мих. Ал.). Гучков был, по словам Керенскаго, краток и ясен. Французскому послу один из участников совещания говорил, что Гучков, призывая Вел. Князя к патриотическому мужеству, указывал на необходимость в переживаемый момент выступить ему в качестве националнаго вождя. Если Вел. Кн. отказывается принять императорскую корону, то пусть примет на себя регентство, пока трон вакантен; пусть выступит в роли «покровителя нации», как именовался Кромвель. Вел. Кн. может дать торжественное обещание передать власть Учр. Собранию по окончании войны.

Была очередь Шульгина. Ему кажется, что он говорил «последним»[282]. Шульгин обратил внимание на то, что те, «кто должен быть.. опорой» Вел. Кн. в случае принятия престола, т. е. почти все члены новаго правительства, «этой опоры... не оказали». «Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватает мужества при этих условиях советовать... принять престол»...

Шульгин не был последним – говорил еще раз Милюков, так как

«вопреки соглашению» за первыми речами последовали другия в «полемическом тоне». Милюков получил, наперекор «страстному противодействию Керенскаго», слово для ответа. В нем он указал, что «хотя и правы утверждавшие, что принятие власти грозит риском для личной безопасности Вел. Князя и самих министров, но на риск, этот надо идти в интересах родины, ибо только таким образом может быть снята с даннаго состава лиц ответственность за будущее. К тому же вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты Вел. Князя».

По утверждению Керенскаго, Мих. Алек. казался уже утомленным и начинал терять терпение[283]. По окончанию речей (в представлении Керенскаго, это было после речи Гучкова). Мих. Ал. выразил желание переговорить наедине с кн. Львовым и Родзянко, прежде чем принять окончательное решение. По словам Караулова, он мотивировал свое желание тем, что ему, «крайне трудно принять решение, раз между членами Думы нет единства»[284]. Родзянко пытался возразить, ссылаясь на общее соглашение действовать коллективно. Вопрошающий взгляд в сторону Керенскаго, как бы испрашивавший у него согласия на частные разговоры. Керенский нашел, что отказать Вел. Кн. в его просьбе неудобно. Караулов говорил, что и он настаивал на предоставлении Мих. Ал. полной «возможности принять свободное решение». Поэтому никто не возражал против «разговора» с двумя лицами... при условии, что Мих. Ал. «ни с кем посторонним разговаривать не будет, даже по телефону»[285]. Своеобразная «свобода решения», которая дала впоследствии повод в кругах, близких Мих. Ал., утверждать, что последний был «взят мертвой хваткой»!.. Указанныя лица вместе с Вел. Князем вышли в другую комнату.

* * *

Какия реальныя возможности открывались перед Михаилом Александровичем? Личныя настроения и теоретическия выкладки пытавшихся предугадать события политиков не создавали еще базы для активнаго действия. В отрывках воспоминаний, напечатанных в «Совр. Зап.", Милюков очень определенно утверждал, что он хотел «рискнуть открытым конфликтом с революционной демократией» и разсчитывал тогда на успех, как он потом, несколько позже, говорил Набокову. Набоков же считал эту возможность «чисто теоретической». «Несомненно, – разсуждает в воспоминаниях Набоков, – для укрепления Михаила потребовались бы очень решительныя действия, не останавливающиеся перед кровопролитием, перед арестом Исп. Ком. Совета Р. и С. Д... Через

неделю, вероятно, все вошло бы в надлежащия рамки. Но для этой недели надо было располагать реальными силами... Таких сил не было. И сам по себе Михаил был человеком, «мало или совсем не подходящим к той трудной, ответственной и опасной роли, которую ему предстояло бы сыграть». «Вся совокупность условий была такова, что принятие престола было невозможно», – заключает мемуарист. Не мог же Милюков, готовившийся «на собственный страх и риск» к «решительной» игре, не учитывать всей той обстановки, которую рисует Набоков?[286]. Алданов, опросивший «всех, кого только мог» о совещании в кв. кн. Путятиной, говоривший и с Милюковым, сообщает, что Милюков «советовал Великому Князю в эту же ночь оставить Петербург с его революционным гарнизоном и, не теряя ни минуты, выехать в Москву, где еще была военная сила». «Три энергичных, популярных, на все готовых человека – на престоле, во главе армии, во главе правительства – могли бы предотвратить развал страны». Великий князь Михаил лично был человек отважный, как свидетельствуют все военные, видевшие его в боевой обстановке[287]. Во главе армии стоял в. кн. Ник. Ник., человек достаточно энергичный и не помышлявший в эти дни о капитуляции – он мог, к тому же, опереться на сочувствие всего высшаго командназо состава, который видел в отказе от престола Мих. Ал. большую трагедию для фронта. Во главе правительства должен был неминуемо в таком случае встать Милюков, ибо, как говорит он в качестве историка, «обе стороны (на совещании) заявили, что в случае решения, несогласнаго с их мнением, оне не будут оказывать препятствия и поддержат правительство, хотя участвовать в нем не будут». Вакансия премьера освобождалась.

Надо предполагать, что, делая предложение о переезде в Москву, Милюков не считал, очевидно, столь уже безоговорочным, как передает Набоков с его слов, что «в первые дни переворота гарнизон был в руках Гос. Думы». Не был он и всецело в руках Совета. Не было и того настроения гражданской войны, в атмосфере которой могла родиться мерещившаяся Родзянко и др. опасность убийства Мих. Ал. Не думаю, чтобы и в квартире кн. Путятиной, охраняемой несколькими десятками преображенцев, чувствовался тот почти панический страх, о котором разсказывает Шульгин: «Керенский, – передает трепещущий Терещенко, – боится, чтобы не убили Великаго Князя: вот-вот какия-то бродящия кругом «банды» могут ворваться». Эти опасения в большей степени зависели от настроения молодого министра финансов революционнаго правительства, бывшаго до революции чуть ли не кандидатом на цареубийство, который, в изображении Шульгина, очень тяжело и

непосредственно переживал сцену, разыгравшуюся на Миллионной: «Я больше не могу... что делать, что делать!...» «Маленькая анекдотичная подробность», переданная Гучковым, как будто говорит скорее за то, что Керенский боялся появления «банд» другого типа. Когда Гучков попробовал по телефону переговорить с женой и сообщить ей о своем приезде, Керенский пожелал знать, с кем будет говорить Гучков... У Керенскаго «было подозрение, что я хочу вызвать какую-либо военную часть, которая силою заставила бы Михаила остаться на престоле»[288].

В Москве, не пережившей «пороховых дней», внешне, как будто, было спокойнее. Но это спокойствие отнюдь не означало, что московския настроения благоприятствовали осуществлению милюковской концепции. Напомним, что приблизительно как раз в часы, когда шло совещание в кв. Путятиной, в Москве обсуждали вопрос о монархии до Учр. Собр. и основное наметившееся течение Третьяков, представитель торгово-промышленнаго класса, а не будущей «революционной демократии», по газетному отчету выразил словами: «Не может быть речи, чтобы после Романова Николая вступил на престол Романов Михаил». Это было, может быть, скоро преходящее «опьянение революцией», вскружившее даже наиболее «трезвые умы» в среде буржуазии. С ним нельзя было не считаться, – оно распространилось на всю Россию: кн. Волконский вспоминает, например, как в провинциальном Борисоглебске «люди встречались, обнимались, поздравляли», когда в связи с отречением пришло сообщение, что «старый порядок кончился». В такой общественной атмосфере монархическая традиция не могла быть «объединяющей и собирающей силой». В Москве «опьянение революцией» было, пожалуй, сильнее, чем в Петрограде, где, как рассказывал Караулов в Кисловодске 16 марта, в «первые дни не знали, кто возьмет верх» и «боязнь контр-революции у всех была большая». В Москве боязни «контр-революции» не было, и каким-то недоразумением надо считать утверждение (историка или мемуариста – не знаю), что здесь «еще была военная сила», на которую мог разсчитывать «отчаянной смелости план», предложенный Милюковым в. кн. Михаилу. «Московский гарнизон» еще 1 марта без всяких осложнений перешел всецело на сторону революции. И сила сопротивления возможной «контр-революции» в Москве представлялась гораздо значительнее, нежели в Петербурге. Это отчетливо видно из психологии «крайне левых», т. е. большевицких групп; лишь крайне плохой осведомленностью даже в общественных кругах можно объяснить отметку Гиппиус 3-го, о Москве, где «никакого Совета Р. Д. не существует».

Отдельные факты, взятые сами по себе, почти всегда противоречивы и ими одними нельзя иллюстрировать положение. Но сопоставление все-таки выясняет общую конъюнктуру. Вот резолюция, принятая в первые дни революции в Петербурге на митинге рабочих и солдат в Самсониевском братстве (Выборгская сторона) – она требует, чтобы Совет «немедленно» устранил Временное Правительство и этим правительством объявил бы себя. Из 1000 человек только 3 высказались против. Совсем другое настроение на заводе «Галерный Остров». Отношение к большевикам было таково, что «даже не давали выступать», – вспоминает рабочий Наратов,– «о передаче власти советам' не хотели... слушать». Аналогичная картина и в революционном гарнизоне. Опасность «гнева революционнаго народа», который может обрушиться на агитаторов из большевицкаго лагеря, была столь «реальна», что даже представители ЦК, носившие высокое звание членов Исп. Комит. Совета Р. Д., вынуждены были, как утверждает Шляпников, – «временно» воздержаться ходить в те казармы, где господствовали «ура-патриоты», и создавать опору путем «индивидуальной обработки». Шляпников вспоминает, как ему – «большевику» в одной из зал Таврическаго дворца солдаты, распропагандированные «оборонцами», «не давали говорить». Так было в отношении той партии, которая – «единственная» среди партийных организаций – принимала непосредственное участие в боевых действиях на улицах столицы! Мы говорили уже, что этот большевицкий деятель и историк революции признает, что у «Временнаго Правительства тогда оружия было куда больше, чем у нас», – «соотношение сил не позволяло» большевикам ставить вопрос в плоскость «борьбы с оружием в руках». В протоколе Исп. Ком. (9 марта) можно найти отметку, что в Царском Селе «войска стоят за конституционную монархию»... Припомним, что в Москве позиция «крайних» была, пожалуй, более выигрышна – они открыто пытались на первых порах требовать создания временнаго революционнаго правительства.

Надежды на Москву были эфемерны. Реальной опорой мог быть только фронт, плохо еще осведомленный о происшедшем, не захваченный настроением уличной революционной стихии. Едва ли новому императору трудно было бы в петербургской обстановке выехать из столицы – «революционныя рогатки» не так уже были непроницаемы. Всякое активное действие, естественно, несет в себе долю риска, ибо случай играет здесь подчас слишком большую роль. A priori на фронте можно было найти опору. Дело, конечно, не в тех патриотических буфонадах которыя имели место и к которым надлежит отнести и телеграмму

Рузскому ген. ад. Хана-Нахичеванскаго 3 марта: «Прошу вас не отказать повергнуть к стопам Е. В. безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемаго монарха». Люди в те дни вообще имели склонность безответственно говорить от имени масс. При «нервном» и "недоверчивом» отношении солдат в первые дни к совершившемуся[289], поддержку на фронте можно было найти, тем более, что Алексеев своим авторитетом мог бы подкрепить петербургское начинание – он считал, как мы знаем, воцарение Михаила, хотя бы временное, необходимым[290].

Рискнули ли бы главнокомандующие на вооруженный конфликт, мы, конечно, не знаем, так как все их стремления в страдные дни сводились к стремлению избегнуть междоусобицы, пагубной в их глазах для успеха войны... Но совершенно удивительно, что мысль снестись и предварительно переговорить с верховным командованием не явилась у тех, кто призывал Вел. Князя идти на риск. Алексеев тщетно пытался в течение всего дня найти этих политиков и добился Гучкова лишь тогда, когда вопрос был разрешен. Всякое действие запаздывало и становилось, действительно, рискованным в момент, когда на улицах столицы развешивали уже плакаты о двойном отречении или раздавались листовки «Известий», а за кулисами Исп. Ком. принимал уже постановление об аресте «династии Романовых»[291]. На квартире кн. Путятиной Вел. Князю предлагались теоретическия выкладки, более уместныя в воспоминаниях, как, напр., у Набокова[292], но не предлагалось никакого конкретнаго плана действия. Вероятно, поэтому Мих. Ал. и проявлял признаки нетерпения, о чем говорит Керенский. Для лидера прогрессивнаго блока эта словесная скорее академическая постановка вопроса была естественна и до некоторой степени соответствовала его характеру. Но Гучков? – человек более практическаго дела, чем теории, человек, свыкшийся уже в предшествующие месяцы в заговорщической атмосфере подготовки дворцоваго переворота с мыслью о военном pronumentio и нащупывавшій военныя части для действия? Очевидно, вся общественная атмосфера не подходила для действенных актов против «революционной демократии». То, чего хотел теоретически Милюков 3 марта, Гучков, как сам разсказал впоследствии, пытался в других условиях и с другим персонажем безуспешно осуществить через несколько месяцев.

4. Решение

Через полчаса вышел Великий Князь. Он сообщил «довольно твердо» ожидавшим, что его «окончательный выбор склонился в сторону мнения, защищавшегося председателем Гос. Думы». Такова версия свидетеля-историка. Шульгин в иных тонах передает заключительную сцену. Вел. Кн. не договорил, «потому что... заплакал...».

Почему Мих. Ал. отказался «принять престол»? Не ясно ли из всего сказаннаго? Среди мотивов могли быть и соображения, передаваемый полк. Никитиным, со слов кн. Брасовой: в. кн. Мих. Ал. не считал себя в праве взойти на престол, так как Царь не имел права отречься за наследника. Именно по мнению Никитина, человека близкаго к Мих. Ал., последний был взят как бы «мертвой хваткой» и чувствовал себя одиноким, считал, что «правительство, против него настроенное, не даст ему возможности работать». Вел. Кн. не мог не знать и отрицательнаго отношения к его кандидатуре в родственной великокняжеской среде. Все вело к одному... Керенский «рванулся», «В. В.! Вы – благородный человек!» Он прибавил, что отныне будет всегда заявлять это»[293].

«Пафос Керенскаго, – заметил историк, – плохо гармонировал с прозой принятаго решения. За ним не чувствовалось любви и боли за Россию, а только страх за себя»... Почему?! «Злостным вздором» звал Суханов эту отметку историка. Вероятно, в ней надо видеть отзвук тех слов Керенскаго, которыя в записи Ан. Вл. гласили: «Миша может погибнуть, с ним и *они все* ». Странно, что и через 20 лет Милюков не нашел других слов, кроме «нерешительности» Вел. Князя и «трусости» Родзянко, помешавших осуществить предложенный план спасения России, для характеристики обстановки, в которой создавался «исторический акт» 3-го марта. Реалистичнее был тогда монархист кн. Львов, определивший в более позднем разговоре по проводу с ген. Алексеевым положение так: «благородное решение в. кн. Мих. Ал. привлекло к нему симпатии громадных масс и открывает в будущем возможность новых горизонтов и спасло его и нас от новой бури».

Для оформления акта отречения на Миллионную были вызваны юристы-государствоведы Набоков и Нольде, а в перерыв кн. Путятина «просила всех завтракать». По свидетельству мемуаристов не остался только Милюков, сама же Путятина перечисляет лишь четырех среди завтракавших: Львов, Набоков, Шульгин и Керенский[294]. Завтрак прошел в спокойной обстановки. Не показывает ли это, что страх, будто бы кто-то

может ежеминутно «ворваться» не был силен? Приехавшие юристы соответственно переделали «слабый и неудачный» черновик проекта Некрасова. Мих. Ал. со своей стороны, внес несколько поправок – по указанию Шульгина, две: ссылку на Бога и замену словом «прошу» проектированнаго «повелеваю». Караулов рассказывал Ан. Вл., что Мих. Ал. «настоял», чтобы акт был редактирован не в виде манифеста от имени императора, и все выражения «мы» заменил «я». Керенский, также участвовавший в обработке некрасовскаго текста, уверяет, что «особенно долго спорили» о происхождении временнаго правительства, Керенский требовал исключить «волю народа». Помирились на том, чтобы было «волею народа по почину Гос. Думы», но в окончательном тексте «воля народа» все-таки исчезла.

Манифест гласил: «Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшаго Мне Императорский Престол в годину безпримерной войны и волнений народных. Одушевленный единою со всем народом мыслею, что выше всего благо Родины Нашей, принял Я твердое решение в том лишь случае восприять Верховную Власть, если таковая будет воля Великаго народа Нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учред. Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российскаго. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Гос. Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».

После подписания акт взял кн. Львов. Это было уже около 6 час. вечера. Перевернулась страница русской истории. Назревавший правительственный кризис благополучно разрешился. Набоков разсказывает, что кн. Львов, информируя прибывших на Миллионную юристов о мотивах их приглашения, сообщил, что в результате принятаго решения Милюков и Гучков выходят из состава правительства. «Что Гучков уходит, – добавил, яко-бы, Львов, – это не беда: ведь оказывается, что его в армии терпеть не могут, солдаты же его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно надо уговорить остаться». Набоков соглашался, что уход Милюкова был бы "настоящей катастрофой», и направился в Таврический дворец убеждать вождя партии к. д. не выходить из состава Временнаго Правительства. Оказалось, что на эту тему с Милюковым говорил уже Винавер. «Текст отказа» Михаила Милюкова удовлетворил и

«кажется» послужил окончательным толчком для изменения принятаго раньше решения. Кто убедил Гучкова. Набоков не знал. Это сделал, в свою очередь, Милюков – так разсказывает Гучков на страницах воспоминаний, напечатанных в «Пос. Новостях». Милюков, мало надеявшийся на благополучный исход революции, «всетаки был большим оптимистом, чем я». Керенский говорит, что Гучкова убедили остаться, по крайней мере на первые дни, тут же на совещании в минуты второго перерыва, когда Мих. Ал. совещался с Родзянко.

Надо думать, что Гучков согласился и вновь отказался, иначе непонятен характерный для обстановки нижеследующий разговор по прямому проводу между Алексеевым и полк. Энгельгардтом. Алексеев только что закончил процитированную выше беседу с Гучковым по поводу отречения Мих. Ал. (это было ближе уже к 7 час. вечера) и вызвал вновь Гучкова или Родзянко. «Родзянко занят неотложным делом, – ответил Энгельгардт: – «Гучков подал в отставку, временно я занимаюсь военным делом и явился к аппарату. Может быть, найдете возможным переговорить со мною?» – «Я сейчас только окончил разговор с Гучковым, и он мне ни одним словом не обмолвился о своей отставке, указывая, напротив, что все усилия свои посвятит на пользу армии. Очень трудно решать какие бы то ни было вопросы, касающиеся действующей армии, если отсутствует какая бы то ни было ориентировка в эти исключительные дни со стороны правительства. Если вы можете довести до сведения председателя Совета Министров, то я прошу быть ориентирован о ходе дел, ибо отдавать распоряжение *с завязанными глазами* (курсив мой) невозможно»[295]. «Час тому назад Некрасов сообщил мне, что Гучков подал в отставку. В Думе его не было, а потому я позволил себе лично прибыть к аппарату, чтобы не задерживать вас. Из Ставки трижды вызывали Родзянко и Гучкова. Если вы говорили с Гучковым после 18 часов, то, возможно, он взял отставку обратно. Передам нашу беседу кн. Львову немедленно»[296].

Думается, что на решение Милюкова и Гучкова больше всего повлияла окружавшая обстановка. Становилось ясно, что исторический путь в данном отрезе времени шел не по тем линиям, которыя намечались теоретическими выкладками политиков: события рождались «психологией масс», как выразился кн. Львов в дальнейшем разговоре с Алексеевым. Эту психологию масс в революционной столице Родзянко в разговоре с тем же Алексеевым в 10 час. вечера определил словами: «Хотя эти акты (манифесты) не опубликованы, но слух о них прошел и встречен населением с ликованием. Произведен салют с крепости новому правительству в 101 выстрел». В дополнение к словам Родзянко случайный

фланер в то время на улицах столицы, толстовец Булгаков, вспоминает, что известие об отречении «Николая» и «Михаила» вызывало восторженное «ура». – «Все были именинниками». В «низах» – на «улице», переходящей в «демократию», общее настроение «против Романовых», – отмечает вновь Гиппиус. На пессимистическую реплику нач. штаба председатель Думы заметил: «Искренне сожалению, что Ваше Высокопревосходительство так грустно и уныло настроены, что тоже не может служить благоприятным фактором для победы, а я вот и все мы здесь настроены бодро и решительно».

Скептики не только уступили всеобщему оптимизму, но и сами им заразились: Милюков на другой день сделался даже самоуверенным, как отмечают современники. Очевидно, он думал, что опытный рулевой сумеет всетаки направить государственный корабль, вопреки революционной стихии, в надлежащее русло. Таким путем ему в первые, по крайней мере, дни все еще рисовался путь, который он отстаивал на Миллионной. Об этом определенно говорит официальная телеграмма 6 марта английскаго посла в Лондон. Бьюкенен передавал Бальфуру, на основании своего разговора с Милюковым от означеннаго числа: министр ин. д., выразив «большую удовлетворенность положением дел», полагал, что «окончательным устройством вещей явится избрание новаго императора. Единственным кандидатом он считал в. кн. Михаила. Его Высочество приобрел большую популярность после опубликования своего манифеста».

Таким образом заря новой России и в представлении лидера думской общественности занималась при ауспициях, скорее благоприятных. Естественно, что Карабчевский, посетивший через несколько дней новаго руководителя внешней политикой в качестве председателя «комиссии по разследованию германских зверств», нашел Милюкова в настроении радужном и в себе уверенном: он вновь «и помолодел и приосанился». И Палеолог записал 4 марта: Милюков в 24 часа от отчаяния перешел к полной уверенности. Милюков отнюдь не был одинок: мы видели, в каких повышенных тонах приветствовал революцию через несколько дней акад. Струве – тот Струве, который находился в Думе в первые революционные часы и встретил Набокова в «крайне скептическом» настроении.

5. Последний штрих

...Все вновь собрались в Таврическом Дворце для выработки формы опубликования двух отречений. Случайно присутствовавший при обсуждении проф. Ломоносов (он привез «подлинник» манифеста Николая II, полученный от Гучкова и находившийся в мин. пут. сообщ., и ждал официальнаго текста, актов отречения, так как печатать его должна была типография министерства), изобразил в воспоминаниях обстановку, в которой происходило обсуждение – вероятно, несколько карикатурно. «Как назвать эти документы? По существу это суть манифесты двух императоров», – заявил Милюков.– «Но Николай придал своему отречению иную форму, форму телеграммы на имя Начальника Штаба. Мы не можем менять эту форму», – возразил Набоков. – «Пожалуй. Но решающее значение имеет отречение Мих. Ал... Оно написано вашей рукой, Вл. Дм., и мы можем его вставить в любую рамку. Пищите: «Мы, милостью Божией, Михаил II, Император и Самодержец Всероссийский... объявляем верным подданным вашим»... – «Позвольте... да ведь он не царствовал»... Начался горячий спор... Милюков и Набоков с пеной у рта доказывали, что отречение Михаила только тогда имеет юридический смысл, если признать, что он был императором... Полночь застала нас за этим спором. Наконец, около 2 час. ночи соглашение было достигнуто. Набоков написал на двух кусочках бумаги названия актов:

1. Акт об отречении Государя Императора Николая II от престола Государства Российскаго в пользу Великаго Князя Михаила Александровича.

2. Акт об отказе Вел. Кн. Мих. Ал. от *восприятия* верховной власти и о признании им всей полноты власти за Временным Правительством, возникшим по почину Гос. Думы»...

«Над этими строками, – язвительно замечает мемуарист, – можно поставить заглавие: «Результат первых шести часов работы иронии Временнаго Правительства»[297]. Некоторая доля истины в этой иронии имеется: только в 3 часа 50 мин. ночи 4-го марта из Петербурга пошло в Ставку столь нервно ожидавшееся там официальное уведомление об отказе Мих. Алек, «воспринять верховную власть впредь до определения Учредительным Собранием формы правления».

Вокруг имени в. кн. Михаила в роковые дни создались уже обычныя легенды. Помещаемые ниже отрывки из записей А. С. Матвеева (управляющаго делами В. Кн.), определяют довольно точно, по крайней

мере, даты, касающияся пребывания Мих. Ал. в Петербурге.

Вел. князь Михаил Александрович в дни переворота

25-го февраля, в субботу, предполагался приезд из Гатчины в Петербург вел. кн. Михаила Александровича. В этот день был назначен на 7 час. вечера обед у гр. И. И. Капниста, на Сергиевской улице (Капнист – член Государственной Думы), и затем предполагалась поездка в Михайловский театр на французский спектакль.

Проезжая к гр. Капнист, Великий Князь обратил внимание на большое скопление народа в направлении Невскаго проспекта, а потому, по приезде на Сергиевскую, поручил мне справиться по телефону у Петербургскаго градоначальника (ген.-м. Балк) о положении в Петрограде. Градоначальник ответил, что в городе тревожно, на Невском проспекте была стрельба, и что при стрельбе убит полицейский пристав. Мой доклад о событиях в Петрограде произвел на Вел. Князя очень тяжелое впечатление, и он сейчас же отказался от мысли поехать в театр. По окончании обеда лица, принимавшая в нем участие, поехали в театр, а М. А. поехал со мной ко мне на квартиру; оставаясь у меня, М. А. писал письма своим знакомым и, между прочим, ген. Брусилову. Вел. Князь оставался у меня до 12 час. ночи; в указанное время подъехал к дому автомобиль с Н. С. Брасовой и Н. Н. Джонсоном, возвратившимися из театра. М. А. вошел в автомобиль и уехал в Гатчину. На другой день, 26-го февраля, в воскресенье, вел. князь Михаил Александрович предполагал приехать в Петроград и, вместе с вел. кн. Ксенией Александровной, быть в 2 часа дня в Петропавловском соборе на панихиде у гробницы имп. Александра III. В этот день, в 10 час. утра, я справился по телефону у градоначальника о безопасности следования Вел. Князя с Варшавскаго вокзала в Петропавловский собор. Градоначальник сообщил, что путь следования безопасен, о чем я и доложил по телефону в Гатчину. 26-го февраля М. А. я не видел, но знаю, что он благополучно побывал у Кс. Ал. и в Петропавловском соборе, а затем возвратился в Гатчину.

27-го февраля, в понедельник, я отправился в обычное время в Управление делами вел. кн. М. А.; на улицах было большое оживление, а местами были заметны далее отдельныя группы; вообще же чувствовалось очень тревожное настроение. Из Управления делами я вышел в 3 1/2 ч. дня. Возвращался я домой в автомобиле, которому местами приходилось ехать очень медленно из-за народа, котораго особенно было много на Благовещенской площади. По приезде домой я говорил по телефону с шофером Козловским, который сообщил мне, что ему приказано по

телефону из Гатчины подать автомобиль на Варшавский вокзал для встречи вел. кн. М. А.; сообщая об этом, Козловский добавил: известно ли Великому Князю о тревожном настроении в Петрограде. Так как о приезде Великаго Князя в Петроград мне не было известно, то сейчас же после разговора с Козловским я позвонил в Гатчину и узнал, что Мих. Ал. уже выехал в Петроград с Н. Н. Джонсоном после телефоннаго разговора из Петрограда с председателем Государственной Думы Родзянко. Около 8 час. вечера позвонил ко мне Н. Н. Джонсон и сообщил, что М. А. находится в Мариинском дворце на совещании с видными членами Государственной Думы и другими, по вызову М. В. Родзянко. Н. Н. Джонсон говорил из вестибюля Мариинскаго дворца.

В двенадцатом часу ночи позвонил ко мне, но приказанию Н. Н. Джонсона, шофер Козловский и сообщил мне, что вел. князь М. А. находится у военнаго министра, в его доме на Мойке, при чем сообщил мне об этом иносказательно, видимо, опасаясь при разговоре по телефону открыть местопребывание Вел. Князя; вместе с тем Козловский добавил, что автомобиль Вел. Князя спрятан во дворе дома. В четвертом часу ночи на 28-ое февраля ко мне позвонил Н. Н. Джонсон и сообщил, что Вел. Князь находится с ним в Зимнем дворце, и что пришлось остаться в Петрограде, вследствие невозможности проехать из дома военнаго министра на Варшавский вокзал, из-за большого количества народа на улице. В восьмом часу утра того же дня (вторник, 28-го февраля) Н. Н. Джонсон сообщил мне по телефону, что М. А. находится в квартире кн. О .П. Путятиной, на Миллионной улице, 12, так как оставаться в Зимнем дворце оказалось невозможным: караул снялся, и двери творца открыты; сообщая об этом, Н. Н. Джонсон пояснил, что квартира кн. О. П. Путятиной выбрана, как ближайшая к Зимнему дворцу, и что и сюда пришлось проходить не через улицу, а по двору Эрмитажа и дворца вел. кн. Николая Михайловича.

В этот день я страдал сильной головной болью, и поэтому отправиться к вел. князю М. А. не мог, – поддерживал связь с квартирой кн. О. П. Путятиной по телефону. В 7-м часу вечера зашел ко мне Д. Н. Старынкевич: одет был Старынкевич в охотничье короткое пальто, и он объяснил мне, что так он менее похож на буржуя, и потому ближе подходит к толпе. Около 7 час. вечера во мне вошли двое неизвестных людей с винтовками, из которых один был в военной форме, а другой в штатском платье и котелке; эти лица объявили мне, что выстрелом из моего окна убита на Фонтанке женщина, и требовали, чтобы я показал им все окна своей квартиры. Тщетно я доказывал этим людям, что окна моей

квартиры не выходят на Фонтанку, они все же обошли мою квартиру и затем, благополучно для меня, удалились в соседнюю квартиру; говорю «благополучно», так как в соседней квартире произвели разгром. После ухода этих лиц, я снова лег в постель; Д. Н. Старынкевич пробыл у меня весь вечер, и даже остался ночевать.

1-го марта, в среду, я решил отправиться к вел. князю Михаилу Александровичу, на Миллионную улицу, 12. Вышел я из дому около 12 часов, в сопровождении Д. Н. Старынкевича, который проводил меня до Миллионной, 12. Шли мы с Фонтанки на Миллионную по Невскому проспекту и через площадь Зимняго дворца. По всему Невскому проходили войска к Государственной Думе. На углу Миллионной улицы и Мешкова переулка, у дома № 16, была большая толпа народу. Оказалось, что в этом доме только-что убили, во время обыска, проживавшаго там генерала Г. Э. Штакельберга, состоявшаго при вел. кн. Марии Павловне старшей. Это было за два дома до квартиры кн. Путятиной. Подойдя к подъезду дома № 12, где находился вел. князь М. А., я встретил гувернантку кн. Путятиной, которая сказала, что только-что на ея глазах на набережной Невы был убит какой-то офицер. В квартиру кн. О. П. Путятиной я вошел около часу дня, к самому началу завтрака. В передней комнате меня встретил Н. Н. Джонсон, который сообщил мне об опасности, которой подвергался в это утро Вел. Князь, находясь в частной квартире, так как в соседних квартирах, – между прочим, обер-прокурора Св. Синода Раева и Столыпина, – производились обыски; в квартиру кн. О. П. Путятиной лица, производившия обыск в доме, к счастью, не зашли; сообщая об этом, Н. Н. Джонсон добавил, что в настоящую минуту М. А. находится в большей безопасности, так как, с одной стороны, вызван для охраны Вел. Князя караул из школы прапорщиков, а, с другой, что Вел. Князь подписал один акт, привезенный ему из Государственной Думы, в котором Вел. Князь признавал необходимость конституционнаго порядка в Российской империи; этот акт, как я впоследствии узнал, был составлен в Царском Селе 28-го февраля Евг. Ал. Бироновым, состоявшим в то время начальником канцелярии дворцоваго коменданта, и кн. М. С. Путятиным, и подписан вел. князьями Павлом Александровичем, Кириллом Владимировичем и, кажется, Димитрием Константиновичем. Как мне сообщил Е. А. Биронов, означенный акт предлагался к подписи имп. Александре Феодоровне, которая должна была расписаться от имени малолетняго наследника, но Государыня от подписи отказалась. Вел. князь М. А. подписал этот акт последним. Сделал он эту подпись, вероятно, второпях, так как в этот же. день снял эту подпись путем особаго письма

на имя председателя Государственной Думы, к которому этот акт был обращен.

Прибыв в квартиру кн. Путятиной г. первом часу дня, в среду, 1-го марта, я оставался «в ней с вел. князем М. А. до 11 час. утра субботы, 4-го марта. За завтраком, кроме М. А. и семьи кн. Путятиной, были Н. Н. Джонсон и я. Муж кн. О. П. Путятиной находился на фронте. После завтрака М. А. разсказал мне о совещании в Мариинском дворце, вечером 27-го февраля, результатом котораго был разговор его с Государем, через ген.-ад. Алексеева, по прямому проводу в Ставку. Во время завтрака прибыл караул от школы прапорщиков, в количестве 20 юнкеров, при пяти офицерах; офицеры поместились в кабинете квартиры кн. Путятиной, а юнкера – в соседней квартире, этажем ниже. В течение дня к Вел. Князю приезжали разныя лица. Был член Гос. Думы гр. И. И. Капнист, были и другия лица, у которых Вел. Князь осведомлялся о происходящем в Государственной Думе; доставляли эти сведения и офицеры караула, отправлявшиеся поочередно в Думу, интересуясь, с своей стороны, происходящим в ней.

В этот же день, около 9 час. вечера, пришел и вел. князь Николай Михайлович, возвратившийся в этот день в Петроград (жил «визави» с квартирой Путятиной) из своего имения «Грушевка», где он находился по повелению Государя с 1-го января. Кажется, и этот же день приезжал и английский посланник Бьюкенен. День 2-го марта, четверг, М. А. продолжал оставаться в квартире кн. Путятиной, узнавая от приезжавших к нему лиц о происходящем в Государственной Думе. В этот день Вел. Князь написал письмо М. В. Родзянко, изъявляя готовность приехать в Гос. Думу, если его приезд может принести пользу при создавшемся положении. М. В. Родзянко ответил письмом. Из этого письма Вел. Князь впервые узнал о предполагаемом отречении от престола Государя в пользу наследника, при регентстве вел. князя М. А.; это письмо было получено вечером, о решении же самого Государя М. А. известно не было.

Так закончился день 2-го марта.

Утром 3-го марта (пятница), в 5 час. 55 мин. утра, я услыхал телефонный звонок, и затем увидал стоящих у телефона; сперва Н. Н. Джонсона, а затем вел. князя Михаила Александровича; оказалось, что звонил министр юстиции Керенский и спрашивал разрешение приехать составу Временнаго Правительства и Думскому Комитету. Великий Князь изъявил согласие, и стал приготовляться к приему.

Михаил Александрович предполагал, в соответствии с письмом председателя Государственной Думы, что состав Временнаго

Правительства и Думский Комитет едут доложить ему о регентстве, а потому и обдумывал соответствующий ответ, выражающий согласие.

Выяснилось, что Временное Правительство и Думский Комитет прибудут немедленно после переговоров по телефону, но на сбор потребовалось время, и съезд начался в 9 час. 15 мин. утра. Одними из первых прибыли М. В. Родзянко и кн. Г. Е. Львов: последними приехали А. И. Гучков и В. В. Шульгин. М. В. Родзянко просил через меня вел. князя М. А. не открывать заседания до приезда этих последних, так как они возвращаются из Ставки с важными сообщениями.

Михаил Александрович вышел к собравшимся лицам около 9 час. 15 мин.; приблизительно в это же время приехали А. И. Гучков и В. В. Шульгин. При приеме вышеуказанных лиц я не присутствовал, но заключительныя слова Вел. Князя слышал из соседней комнаты: М. А. выслушав речи съехавшихся к нему лиц, объявил, что удаляется в соседнюю комнату для размышления. Член Думы Керенский заявил, что он верит, что такой вопрос, предложенный на решение Вел. Князя, М. А. решит со своей совестью, без участия посторонних лиц, разве лишь по совещании с супругой. Вел. Князь объявил, что супруги его в Петрограде нет, и что он желает вынести ответственное решение по обсуждении вопроса с М. В. Родзянко и кн. Львовым. После этих слов М. А. с указанными лицами удалился в соседнюю комнату, и через некоторое время вынес решение, объявленное в акте от 3-го марта.

Это было около 1 часу дня.

После сего все присутствовавшие уехали, остались лишь кн. Львов и Шульгин, приглашенные кн. О. П. Путятиной к завтраку. За завтраком были: вел. князь М. А., кн. О. П. Путятина, кн. Львов, В. В. Шульгин, Н. Н. Джонсон и я.

После завтрака М. А. предложил кн. Львову и Шульгину приступить при моем участии к оформлению происшедшаго. Я указал, что при составлении акта необходимо иметь перед собою подлинное отречение Государя и основные законы. Решено было вызвать В. Д. Набокова, у котораго находилось подлинное отречение Государя императора (вероятно, как у управляющаго делами Временнаго Правительства), и бар. Нольде, профессора международнаго права. Первым приехал В. Д. Набоков, представивший М. А. отречение Государя и доложивший проект акта, составленный, по словам Набокова, министром путей сообщения Некрасовым. По приезде бар. Нольде, М. А. приступил, при участии указанных лиц (Львов, Набоков, Нольде), к обсуждению проекта акта. Я удалился. Около 4 1/2 час. дня М. А. вышел из совещательной комнаты и

передал мне для прочтения, уже переписанный рукой Набокова, акт о временном отказе от принятия верховной власти. По прочтении акта я предполагал высказать свои соображения непосредственно Вел. Князю. М. А. предложил мне сделать их в его присутствии членам совещания.

Войдя в совещательную комнату, я заметил, кроме вышеупомянутых лиц, М. В. Родзянко и А. Ф. Керенскаго. Я предложил некоторыя изменения в тексте акта, некоторыя из которых и были приняты М. А. и членами совещания. После внесенных изменений, акт был подписан Вел. Князем и вручен кн. Львову.

На следующее утро, в субботу, 4-го марта, вел. князь Михаил Александрович отбыл из Петербурга в Гатчину, в сопровождении Н. Н. Джонсона и встретившагося по пути ген. Я. Д. Юзефовича.

Глава восьмая. Трагедия фронта

I. Армия и переворот

1. «Обманутые» генералы

Председатель Думы, информируя Ставку в 11 час. вечера, 3-го марта, подвел итоги словами: «все приходит более или менее в порядок». На фронте пока «благополучно», признавал нач. штаба, но тем не менее ответ его звучал пессимистически: «главнокомандующие в течение целаго дня запрашивали о времени опубликования акта 2 марта, ибо слухи об этом проникли в армию, в ряды войск и населения, порождали недоумение и могли закончиться нежелательными проявлениями. Безотрадно положение Балтийскаго флота, бунт почти на всех судах, и боевая сила флота, повидимому, исчезла... Это результат промедления в объяснении чинам флота сути акта 2 марта. По имеющимся сведениям также печально и безнадежно состояние войск петроградскаго гарнизона... Вот грустная картина с военной точки зрения. Полагаю, что новое правительство должно придти на помощь армии, призвать к порядку развращенныя части... Суровыя меры на первое время должны образумить забывших дисциплину»... Мы знаем, что «унылой» и «грустной» оценке ген. Алексеева Родзянко противопоставил петербургския настроения – «бодрыя» и «решительныя». Родзянко сослался на полученную телеграмму о том, что в Балтийском флоте «все бунты ликвидированы, и флот приветствует новое правительство». В ответ Алексеев огласил новую вечернюю телеграмму адм. Непенина: «Бунт почти на всех судах»...[298]. «Вы видите – продолжал Алексеев – как быстро разворачиваются события, и как приходится быть осторожным в оценке событий... Конечно, я извещу вас о том, как будут встречены войсками действующей армии оба акта. Все начальники от высших до низших приложат все усилия, чтобы армия продолжала быть сильным, могущественным орудием, стоящим на страже интересов своей родины. Что касается моего настроения, то оно истекает из того, что я никогда не позволяю себе вводить в заблуждение тех, на коих лежит в данную минуту ответственность перед родиной. Сказать вам, что все благополучно, что не нужно усиленной работы – значило бы сказать неправду».

Можно ли из этого пессимизма Алексеева, навеяннаго создавшейся обстановкой, делать вывод, что он признал вообще ошибочность своего поведения в часы, предшествовавшее отречению Царя?

В таком смысле ген. Лукомским сделано пояснительное примечание к одному из документов, приведенных в его воспоминаниях. Передавая телеграмму 3-го марта с запросом мнений главнокомандующих, Алексеев

сказал: «никогда себе не прощу, что, поверив в искренность некоторых людей, послушал их и послал телеграмму главнокомандующим по вопросу об отречении Государя от престола». Аналогично утверждает и комментатор бесед с Рузским, изложенных в «Рус. Летописи». «Основное мнение Рузскаго о днях 1–2 марта, им формулировано так: Алексеев «сгоряча поверил Родзянко, принял решение посоветовать Государю отречься от престола, и увлек к тому остальных главнокомандующих». Сам же Рузский яко-бы признавал, что ему надлежало «вооруженной силой подавить бунт», но что в тот момент он «старался избежать кровопролития и междоусобия». Как бы не оценивали сами участники событий своей роли под влиянием последующих неудач, историку приходится по иному определять патриотическия побуждения, которыя ими руководили. Не участвовавший непосредственно в событиях ген. Куропаткин (он находился на отлете – в Туркестане), довольно, ярко выразил почти господствовавшее настроение своей записью в дневнике 8-го марта: «Чувствую себя помолодевшим и, ловя себя на радостном настроении, несколько смущаюсь: точно и неприлично генерал-адъютанту так радоваться революционному движению и перевороту. Но так плохо жилось всему русскому народу, до такой разрухи дошли правительственные слои, так стал непонятен и ненавистен Государь, что взрыв стал неизбежен. Ликую потому, что без переворота являлась большая опасность, что мы были бы разбиты, и тогда страшная резня внутри страны стала бы неизбежна. Теперь только бы удалось возстановить всюду дисциплину в войсках, только бы политическая горячка не охватила войска действующей армии; победа, глубоко уверен в том, нам обезпечена».

Если придворная дама Нарышкина, после беседы с «одним офицером», записывает в свой позднейший дневник (26 июля): «все они единодушно утверждают то, что есть, а именно, что, если бы Государь не поторопился подписать отречения, ничего бы не было» – то это, может быть, естественно. Также понятно и то, когда свитский мемуарист полк. Мордвинов утверждает, что «русский народ» думал иначе, чем его думские представители и «русские генералы». Но когда военный историк ген. Головин, особо претендующий на «социологическую» трактовку событий революции, пытается убедить нас, что Николай II своим быстрым отречением, не сделав «сколько-нибудь серьезных попыток бороться против взбунтовавшагося гарнизона столицы», превратил «солдатский бунт» в «удавшийся мятеж, т. е. в революцию», то это вызывает только недоумение. Неужели не ясно теперь, что даже задержка, опубликования

отречения 2-го марта, вызванная запоздалой делегацией Врем. Комитета и несвоевременной агитацией «защитников монархии», которая обострила династический вопрос, до крайности осложнила положение и имела только отрицательные результаты? Иностранцы в свое время верно определили значение происшедшаго: «Величайшая опасность – писал лондонский «Times» – заключалась в том, что Царь не сумеет оценить требования момента с достаточной быстротой и вступит в борьбу с революцией. Но он обнаружил достаточно государственной мудрости и безкорыстнаго патриотизма, сложив свою власть – он, как мы думаем, спас свой народ от гражданской войны и свою столицу от анархии»... «Мы восхищаемся – говорил в Париже председатель совета министров Рибо – поступком Царя, который преклонился перед волею народа и принес ей в жертву прошлое гордой династии... Ничего более прекраснаго нельзя себе и представить». Эти восторженныя официальныя слова, быть может, и не совсем соответствовали индивидуальным мотивам, вызвавшим решительный шаг имп. Николая II, но они верно передают объективную ценность в тот момент совершившагося факта. Только этой объективной ценностью можно определять все значение поведения верховнаго командования в критический день 1-го марта.

Тезису о генералах, «обманутых» политическими деятелями, посчастливилось – он попал даже, как было указано, на страницы труда проф. Нольде. Генералы поверили, что Дума овладеет революцией, генералы не устояли перед настойчивой самоуверенностью политических главарей. Вспомним характер информации, которую давал на фронт от имени Врем. Ком. Родзянко – она была противоречива, но временами заострена в сторону преувеличения стихийной анархии, господствовавшей и столице (это отметил Алексеев). У верх. Командования, как будто, не было сомнений в том, это «Дума не владеет стихией». В этом отношении «генералы» не были обмануты. Командование, если не форсировало, то само уточнило и формулировало необходимость «требований отречения», о которых передавал Родзянко в ночь с 1-го на 2-ое марта. Если в руководящих кругах военнаго Командования так легко усвоилась идея «отречения», то это объясняется тем, что с этой идеей еще до революции освоилась общественная мысль в насыщенной атмосфере разговоров о неизбежности дворцоваго переворота[299]. Называть «измышлениями» все эти разговоры в военной среде нет никакого основания, если только отбрасывать гиперболы, о которых сообщали за границу даже такие осведомленные во внутренних делах и связанные с русской либеральной общественностью дипломаты, как английский посол (припомним

сенсационную телеграмму Бьюкенена Бальфуру 16 января). Может быть, Брусилов и не говорил тех слов, которыя передавались у Родзянко, когда Крымов делал свой доклад, а именно: «Если придется выбирать между Царем и Россией, я пойду за Россией» (неизвестно было, кому и когда это было сказано) – но эти слова верно передавали основное настроение верховнаго Командования.

Революция разразилась наперекор этим заговорщическим планам, целью которых было желание избежать революции во время войны и двинуть Россию на путь внешней победы (припомним выступление ген. Крымова на совещании у Родзянко). Здесь был самообман, пагубный и для психологии Временнаго Правительства и для психологии верховнаго Командования. Свыкнувшись с мыслью о неизбежности смены власти и необходимости осуществления программы, выдвинутой думским прогрессивным блоком, военные люди еще меньше, чем политические деятели, могли вполне осознать, что в России произошла революция, которая требовала коренной перемены и тактики и методов воздействия на массу. В этой неясности и лежит одна из основных причин трагедии фронта и военнаго командования[300].

2. Эпопея в. кн. Николая Николаевича

История назначения в. кн. Н. Н. верховным главнокомандующим после отречения и его отставки служит лучшим доказательством непонимания того, что произошло... Судя по показаниям Гучкова в Чр. Сл. Ком., надо полагать, что среди думскаго комитета в «решающую ночь» даже не задумывались над вопросом, кто же заменит Николая II на посту верховнаго главнокомандующаго[301]. Напомним, что думские делегаты в Пскове не только не возразили против назначения Царем верховнаго главнокомандующаго в лице Ник. Ник., но отнеслись к этому скорее сочувственно, и, по их просьбе, Рузский «очень широко» постарался информировать о новом назначении. Когда делегаты уезжали, антидинастическия настроения еще не выявились во вне, как это произошло к вечеру 2-го. Ясно было, что назначение главнокомандующим члена, царствовавшей династии психологически было невозможно и грозило вызвать осложнения. Тем не менее, когда Рузский запросил на другой день мнение по этому поводу Родзянко, тот заявил, что в Петербурге не возражают против «распространения» указа о назначении в. кн. Н. Н. Указ на фронте был опубликован, и одновременно с ним приказ новаго верховнаго вождя армии, который своей устаревшей терминологией о «воле монаршей» и о «чудо богатырях», готовых отдать жизнь за «благо России и престола», должен был звучать почти дико в революционной обстановке.

Последовавшее затем чрезвычайно показательно для позиции и тактики Вр. Правительства. В первый момент официально Вр. Прав. как-то странно не реагировало на тот факт, что на посту верховнаго главнокомандующаго находится в. кн. Ник. Ник. Ни в советских «Известиях», ни в «Известиях» комитета журналистов сведений о назначении Вел. Князя не появлялось. Даже в № 1 «Вестника Вр. Пр.» (5 марта) одна из телеграмм Верховнаго Главнокомандующаго была напечатана в виде «приказа главнокомандующаго Кавказским фронтом»[302]. Столица жила слухами. Получалось впечатление, что назначение в. кн. Н. Н. по каким-то причинам скрывается. Петербургския «Известия» на основании этих слухов требовали от Правительства «немедленнаго смещения с офицерских (а тем более командных) постов всех членов старой династии». В Москве слухи также проникли в печать, и по этому поводу Комитет Общ. Орг. вынес резолюцию, в которой доводилось до сведения Правительства, что «лица царской фамилии не

должны назначаться ни на какие высшие посты военнаго и гражданскаго ведомства».

Сам Ник. Ник., ожидавший, что он будет ориентирован Правительством, чувствовал неопределенность своего положения. Он охарактеризовал ее в разговоре с племянником Андреем утром 7-го марта: «Что делается в Петрограде, я не знаю, но по всем данным, все меняется и очень быстро. Утром, днем и вечером все разное, но все идет хуже, хуже и хуже»... «Никаких сведений от Врем. Пр. я не получаю, даже нет утверждения меня на должности... Единственное, что может служить намеком о том, что новое правительство меня признает, это телеграмма кн. Львова, где он спрашивает, когда может приехать в Ставку переговорить. Больше я ничего не знаю, и не знаю, пропустят ли мой поезд, надо полагать, что доеду»[303]. Вел. Кн. телеграфировал Львову, что выезжает из Тифлиса и предполагает быть в Ставке 10-го. «Я телеграфировал ему – сообщал Львов Алексееву 6-го марта веч. – об общем положении вещей, а на все конкретные вопросы, требующие указаний, чем руководствоваться в дальнейших действиях, обещал переговорить лично и Ставке. Однако, здесь заключается самый сложный вопрос – Вел. Кн. желает, сохраняя наместничество на Кавказе, быть одновременно главнокомандующим. Больше недели употребляю все усилия, чтобы склонить течение в его пользу; состав Вр. Пр. в большинстве считает крайне важным признание его главнокомандующим[304]. Вопрос о наместничестве совершенно отпадает, вопрос главнокомандования становится столь же рискованным, как и бывшее положение Мих. Ал. Остановились на общем желании, чтобы в. кн. Н. Н. в виду грознаго положения учел создавшееся отношение к дому Романовых и сам *отказался* от верховнаго главнокомандования. Общее желание, чтобы верховное главнокомандование приняли на себя вы и *тем отрезали возможность новых волнений* . Подозрительность по этому вопросу к новому правительству столь велика, что никакия заверения не приемлются. Во имя общаго положения страны считаю такой исход неизбежным, но Великому Князю я об этом *не сообщил* , не переговоривши с вами. До сего дня вел с ним сношения, как с верховным главнокомандующим». Что-то председатель Совета министров не договаривает. Эту полутайну довольно грубо расшифровал Бубликов: Вел. Князь попал в «ловушку», разставленную ему Временным Правительством – его хотели вызвать из района преданной ему кавказской армии... Может быть, страх, что Н. Н. не подчинится, действительно, смущал некоторых членов Правительства.

Вел. Князь, несомненно, был популярен на Кавказе. Ан. Вл. преувеличивает, конечно, утверждая в дневнике, что «его войска прямо обожали», но его разсказ о «горячих» проводах Ник. Ник. в Тифлисе и о «триумфальном» почти путешествии в пределах наместничества («почти на всех остановках его встречал народ, рабочие, и все говорили ему патриотическия речи») в значительной степени соответствовал действительности. Первые революционные дни в Тифлисе протекали в обстановке, мало напоминающей бурную петербургскую атмосферу. Революция в Тифлисе, по выражению одного из местных революционных деятелей. с.-р. Верещака, «не вышла на, улицу». Не было никаких выпадов против офицеров; совет сол. деп., не установивший связи с советом раб. деп., ютился в «крохотной комнатке» и не имел большого авторитета. Мы видели, что городской голова приветствовал 4-го марта Вел. Князя от имени «широких масс» населения; 7-го при отъезде новаго верховнаго главнокомандующаго, котораго торжественно конвоировала «сотня казаков», как сообщало Пет. Тел. Аг., его "восторженно приветствовали представители народа и солдат». Об этих «толпах народа» упоминает и Верещак. Вел. Князь говорил речь, в которой упомянул, что надеется, что «после войны» ему разрешат, как «маленькому помещику, вернуться в свое имение» (слова эти были приняты с тем же «восторгом»). Не измышлены и «патриотическия речи», которыя приходилось выслушивать на дороге отъезжающему на фронт новому Верховному – так, напр., в «Вест. Вр. Пр.» упоминалась одна из таких речей, выслушанная Вел. Князем из уст уполномоченных рабочих и служащих сучанских каменноугольных предприятий. Со слов «молодых офицеров», сопровождавших Ник. Ник., Дубенский утверждает, что такая же «восторженная встреча народом» ожидала Верховнаго Главнокомандующаго на всем пути, и что харьковский совет поднес ему даже «хлеб-соль». В Харькове ген.-ад. Хан Гуссейн Нахичеванокий и кн. Юсупов (старший) убеждали Ник. Ник. – так передает тот же Дубенский – ехать на фронт, минуя Ставку, которая находится под влиянием Правительства, желающаго устранить Н. Н. от командования. Чужая душа – потемки; что думал в действительности Ник. Ник., мы не знаем... По сообщению Дубенскаго, после беседы с Ханом Нахичеванским и Юсуповым Н. Н. «долго сидел один, затем советовался с братом Пет. Ник., ген. Янушкевичем и другими лицами своей свиты и решил, в конце концов, не менять маршрута и следовать в Могилев».

Упования многих в эти дни, несомненно, обращались к Ник. Ник. Эти чаяния определенно высказала, напр., в. кн. Мар. Пав., находившаяся в

Кисловодске, в письме, которое направлено было через «верныя руки» в Ставку к сыну Борису: «Мы естественно должны надеяться, что Н. Н. возьмет *все* в свои руки, так как после Миши все испорчено: наша вся надежда за возможное будущее остается с ним»[305]. Внешне Н. Н. был лойялен в отношении Врем. Правительства, формально примирившись с неизбежностью обещания созвать Учр. Собр., которое в письме к Львову он до получения акта 3-го марта называл «величайшей ошибкой, грозящей гибелью России» – мало того, местная административно-полицейская власть в Тифлисе в объявлении 6-го марта грозила даже преследованием тех, кто будет пытаться противодействовать созыву Учр. Собрания.

В цитированном выше разговоре с Львовым и Гучковым Алексеев пытался убедить своих собеседников по прямому проводу в том, что Ник. Ник. не представляет опасности для новаго порядка, и что в будущем у Правительства сохранится возможность «всяких перемен», а пока не надо вносить «коренной ломки в вопросах высшаго управления армией». «Характер Вел. Князя таков – говорил Алексеев, – что, если он раз сказал: признаю, становлюсь на сторону новаго порядка, то в этом отношении он ни на шаг не отступит в сторону и исполнит принятое на себя. Безусловно думаю, что для Вр. Прав. он явится желанным начальником и авторитетным в армии, которая уже знает о его назначении, получает приказы и обращения. В общем он пользуется большим расположением и доверием в средних и низших слоях армии, в него верили... для новаго правительства он будет помощником, а не помехой... Если настроение среди членов Правительства таково, что перемена почему либо признается необходимой, то в этом случае лучше выждать приезда Вел. Князя сюда, и здесь переговорить вам лично с ним... Если полнаго единения, согласия и искренняго подчинения не будет, то мы получим комбинацию, при которой трудно будет разсчитывать на здоровую работу нашего хрупкаго войскового организма». В дополнение к разговору по юзу 6-го Алексеев на другой день послал Львову и Гучкову еще специальную телеграмму. Он отмечал в ней, что «постепенно получаемыя от войск донесения указывают на принятие войсками вести о назначении верховным Главнокомандующим в. кн. Н. Н. с большим удовольствием, радостью, верою в успех, во многих частях восторженно»...[306]Алексеев указывал и на приветствия от 14 крупнейших городов. «Верую в то, что вы примете в соображение все высказанное» – заканчивал Нач. Штаба, усиленно настаивая на сохранении в силе назначения Н. Н. в целях оберечь армию от «излишних потрясений». Приведенная аргументация Алексеева опровергает слухи, что он не желал видеть Н. Н. во главе армии и

добивался сам этого поста – слухи, которые оттеняла в своем письме в. кн. Мар. Павл.

Разговор Алексеева с представителями Правительства показывает, что вопрос об отставке Н. Н. еще не был решен, как отмечает и протокол заседания Правительства 5-го марта: «отложить решение вопроса (дело идет о наместничестве па Кавказе) до личных переговоров в Ставке... министра Председателя с Великим Князем, о чем послать В. Кн. телеграмму». Но на другой день после секретных (для общества) переговоров по поводу «деликатнаго» вопроса член правительства Керенский в Москве публично говорил в заседании Совета Р. Д.: «Ник. Ник. главнокомандующим не будет». На собрании солдатских и офицерских делегатов в Кино-театре он заявил еще определеннее: «Я могу заверить вас, что не останусь в теперешнем кабинете, если главнокомандующим будет Ник. Ник».

Вел. Князь прибыл в Ставку, принес присягу Врем. Правительству[307] и формально вступил в отправление должности верховнаго главнокомандующаго[308]. Ни кн. Львов, ни Гучков в Ставку не поехали, предоставив Алексееву разрешить своими средствами «деликатный» вопрос. Правительство должно было в конце концов вынести решение. В 3 часа дня 11-го марта Львов передал Алексееву: «Я только что получил телеграмму от в. кн. Н. Н., что он прибыл в Ставку и вступил в отправление должности верховнаго главнокомандующаго... Между тем после переговоров с вами по этому вопросу Вр. Пр. имело возможность неоднократно обсуждать этот вопрос перед лицом быстро идущих событий и пришло к окончательному выводу о невозможности в. кн. Н. Н. быть верховным главнокомандующим. Получив от него из Ростова телеграмму, что он будет в Ставке одиннадцатаго числа, я послал навстречу офицера с письмом, с указанием на невозможность его верховнаго командования и с выражением надежды, что он во имя любви к родине сам сложит с себя это высокое звание. Очевидно, посланный не успел встретить Вел. Князя на пути, и полученная, благодаря этому, телеграмма В. Кн. о его вступлении в должность стала, известна Петрограду и вызвала большое смущение. Достигнутое великим трудом успокоение умов грозит быть нарушенным[309]. Временное Прав. обязано немедленно объявить населению, что В. Кн. не состоит верховным главнокомандующим. Прошу помочь нашему общему делу и вас, и Великаго Князя. Решение Вр. Прав. не может быть отменено по существу, весь вопрос в форме его осуществления: мы хотели бы, чтобы он сам сложил с себя звание верховнаго главнокомандующаго, но, к сожалению,

по случайному разъезду нашего посланника с Великим Князем, это не удалось». Алексеев ответил на безпокойство Правительства: «вопрос можно считать благополучно исчерпанным. Ваше письмо получено В. Кн. сегодня утром[310]. Сегодня же посланы две телеграммы: одна вам, что В. Кн., подчиняясь выраженному пожеланию Вр. Пр., слагает с себя звание...[311]. Вторая телеграмма военному министру с просьбой уволить В. Кн. в отставку». Н. Н. просил гарантировать ему и его семейству «безпрепятственный проезд в Крым и свободное там проживание»... «Слава Богу» – облегченно вздохнул председатель Совета министров...

Никакого волнения появление Н. Н. в Ставке не вызвало – в газетах не упомянут был даже самый факт. Официальное Пет. Тел. Аг. сообщало 12-го, что Н. Н. «отрешен» от должности верховнаго главнокомандующаго. Очевидно, агентство сообщало «из официальных источников», что Н. Н. прибыл в Ставку «вследствие недоразумения». Будучи назначен Николаем II, Вел. Кн. « *немедленно* выехал в Ставку, не успев получить предложение Вр. Пр. не вступать в командование войсками. Курьер Вр. Пр. разъехался с Н. Н.». Теперь Н. Н. сообщено, что назначение его, состоявшееся «одновременно с отречением Николая Романова, не действительно». Это сообщение –утверждала агентская информация –- сделано Н. Н. «в Ставке(?) военным министром А. И. Гучковым в 3 часа дня 11-го». Не представит затруднения оценить правдивость официальнаго правительственнаго сообщения, так изумительно подтасовавшаго действительность, а равно искренность той тактики, которая приводила к «отрешению» от должности лица, добровольно сложившаго свои полномочия «во имя блага родины». В стремлении найти мирный выход из конфликтнаго положения Правительство жертвовало своим достоинством.

3. «Центр контр-революционнаго заговора»

Как ни оценивать действий Правительства, нельзя не признать, что описанная выше тактика в сущности весь одиум за несоответствующее духу революционных дней назначение Великаго Князя официальным вождем армии перекладывала на верховное командование на фронте, положение котораго и без того было исключительно трудно. Выходило так, что верховное командование без ведома Врем. Правительства, за кулисами подготовив назначение Ник. Ник., пыталось фактически передать армию в руки представителя отрекшейся династии. Само Правительство, того, быть может, не сознавая, создавало почву для демагогии. И не приходится удивляться тому, что через несколько дней в связи с другими сообщениями, приходившими с фронта (о них скажем дальше) и приемом в Исп. Ком. депутации от баталиона. георгиевских кавалеров, в «Известиях» появилась заметка: «Ставка – центр контр-революции». В ней говорилось, что Могилев по сообщению георгиевских кавалеров, посетивших 12-го марта Совет, сделался «центром контр-рев. заговора»: «офицеры-мятежники организуют реакционныя силы... утверждают, что новый строй... недолговечен, и что скоро на престоле будет возстановлен царь Николай... Делегация георг. кав. сообщала в подтверждение своих слов много фактов и в частности имена офицеров, явных врагов новаго режима». «Исп. Ком. – утверждала заметка – признал такое положение вещей совершенно недопустимым и постановил довести до сведения Врем. Прав. о том, что, по мнению Исп. Ком., необходимо безотлагательно назначить Чрезвыч. Следственную Комиссию для раскрытия монархическаго заговора и примернаго наказания изменников, врагов русскаго народа. Правительство обещало принять нужныя меры. Будем надеяться, что оно проявит в этом деле надлежащую энергию и будет действовать безпощадно по отношению к шайке черносотенных заговорщиков. Только таким путем возможно предотвратить бурные эксцессы со стороны солдат, глубоко возмущенных наглостью реакционеров в их безнаказанностью». Заостренность вопроса, сказавшуюся в заметке советскаго официоза, который далеко не всегда выражал правильно формальную позицию Исп. Ком., очевидно, следует целиком отнести в область тех личных домыслов, которые Стеклов (фактический редактор «Известий»), как мы видели, любил в Контактной Комиссии выдавать за решения ответственнаго органа так называемой «революционной демократии». В протоколе Исп. Ком. ничего подобнаго

нет: по поводу приема депутации георгиевских кавалеров сказано лишь, что «необходимо послать депутатов, которые помогли бы им сорганизоваться и связали бы фронт с Советом». Разнузданная демагогия Стеклова пошла дальше, и в общем собрании Совета 14-го он выступил по собственной инициативе с возмутительными комментариями будущаго декрета об объявлении вне закона «генералов-мятежников», дерзающих не подчиняться воле русскаго народа и ведущих открытую контр-революционную агитацию среди солдат: «всякий офицер, всякий солдат, всякий гражданин», в толковании Стеклова, получит «право и обязанность» убить такого реакционнаго генерала раньше, чем он «святотатственно поднимет свою руку». Впервые за, дни революции публично раздался голос, призывающий к безнаказанным убийствам, и удивительным образом непосредственно никто не реагировал на эту гнусность: только представители Царскосельскаго гарнизона, как явствует из протокола Исп. Ком. 16-го марта, пожелали «объясниться» по поводу заметки, появившейся в «Известиях». Обещаннаго будто бы «декрета», на чем настаивал Стеклов, Правительство, конечно, не издало, но агитация безответственных демагогов, как мы увидим, наложила свой отпечаток на соответвующие правительственные акты.

В обстановке первых недель революции сообщение советскаго официоза о настроениях в Ставке, посколько речь шла о высшем командовании, весьма, мало соответствовало действительности – демагогам Исп. Ком. просто не нравилось, что на фронте «движение солдат хотят направить в русло Врем. Прав.», как выразился в заседании Исп. Ком. 15-го марта представитель одной из «маршевых рот» на западном фронте, и они спешили форсировать то, что могло выявиться в последующий момент. После переворота ни о каком «монархическом заговоре» и Ставке не думали[312]. Когда Алексеев в беседе с Гучковым по поводу устранения в. кн. Н. Н. от верховнаго командования говорил: «мы все с полной готовностью сделаем все, чтобы помочь Правительству встать прочно в сознании армии: в этом направлении ведутся беседы, разъяснения и думаю, что ваши делегаты привезут вам отчеты весьма благоприятные... Помогите, чем можете, и вы нам, поддержите нравственно и своим слоном авторитет начальников» – он говорил, повидимому, вполне искренне, и высший командный состав, действительно, сделал все, чтобы «пережить благополучно совершающийся... некоторый болезненный процесс в организме армии». Конечно, помогало то, что в силу отречения Императора формально не приходилось насиловать своей совести и человеку монархических

взглядов: «покорясь, мы слушали голос, исходящий с высоты престола» – так формулировал Лукомский в официальном разговоре с Даниловым 4-го марта основную мысль людей, находившихся в Ставке... С облегчением занес Куропаткин в дневник 6-го марта: «Мне, старому служаке, хотя и глубоко сочувствующему новому строю жизни России, все же было бы непосильно изменить присяге... Ныне я могу со спокойной совестью работать на пользу родины, пока это будет соответствовать видам новаго правительства». Вероятно, очень многие – и в том числе прежде всего Алексеев – могли бы присоединиться и формулировке своего отношения к «монархии», данной адм. Колчаком во время своего позднейшаго предсмертнаго допроса в Иркутске: «для меня лично не было даже... вопроса – может ли Россия существовать при другом образе правления»... «после переворота стал на точку зрения, на которой стоял всегда, что я служу не той или иной форме правления, а служу родине своей, которую ставлю выше всего». «Присягу (новому правительству) – показывал Колчак – я принял по совести». «Для меня ясно было, что возстановление прежней монархии невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают». Насколько сам Алексеев был далек от мысли о возможности возстановления монархии, показывает знаменательный разговор, происшедшей уже в августовские корниловские дни между ним и депутатом Маклаковым. Беседа эта известна нам в передаче последняго, – быть может, она несколько стилизована. Но суть в том, что правый к. д. Маклаков, завороженный юридической концепцией легальности власти, считал, что в случае успеха Корнилов (Маклаков был пессимистичен в этом отношении) должен вернуться к исходному пункту революции – к отречению Царя и возстановить монархически строй. Алексеев, в противоположность Маклакову думавший, что Врем. Правит, доживает свои последние дни, уже разочарованный в политическом руководстве революцией, крайне тяжело переживавший развал армии (все это накладывало отпечаток на пессимистическия суждения Алексеева о современности, как видно из его дневника и писем после отставки), признавал все же невозможным и нежелательным возстановление монархии[313].

Насколько Ставка была в первое время чужда идее «монархическаго заговора», показывает легкость, с которой были ликвидированы осложнения, возникшия в связи с отставкой в. кн. Н. Н. В воспоминаниях Врангеля подчеркивается «роковое» значение решения Ник. Ник. подчиниться постановлению Врем. Правительства. По мнению генерала, Врем. Прав. не решилось бы пойти на борьбу с Вел. Князем в силу его

«чрезвычайной» популярности в армии, и только «один» Ник. Ник. мог бы оградить армию от гибели. Таково было суждение, высказанное Врангелем, по его словам, в те дни. Неподчинение Врем. Правительству знаменовало бы собой попытку контр-революционнаго демарша. Если Врангель тогда высказывался за подобный шаг, его никто не поддержал, если не считать офицеров Преображенскаго полка полк. Ознобишина и кап. Старицкаго, о появлении которых в Ставке и качестве «делегатов» из Петербурга разсказывает довольно пристрастный свидетель. ген. Дубенский[314].

4. Настроения в армии

Офицеры и солдаты.

Настроения в Ставке, очевидно, были характерны и для значительнаго большинства команднаго состава на периферии. Понятие «контр-революционности», конечно, весьма относительно – для всякаго рода большевизанствующих революционеров выпрямление линии в сторону безоговорочнаго признания Временнаго Правительства само по себе уже являлось в те дни признаком отрицательнаго отношения к советской платформе, т. е. признаком контр-революционных умонастроений. В соответствии с этой демагогической тенденцией «левая» революционная историография (большевицкая по преимуществу) желает представить несколько иную картину на фронте, посколъко дело касается реставрационных поползновений кадроваго офицерства. Неоспоримо, в многотысячном, связанном корпоративной средой и профессиональной традицией офицерском корпусе (сильно, правда, изменившемся в период войны)[315] не могло быть внутренняго единства в смысле принятия революции. Но «многочисленные́' факты, на которые ссылается эта литература, в конце концов сводятся к довольно шаблонному повторению зарегистрированных в мартовский период «борьбы за армию» случайных сообщений, подчас возбуждающих даже большое сомнение. Оставим в стороне полуанекдотическую офицерскую жену, демонстративно игравшую на фронте у открытаго окна на рояле «Боже Царя храни» – ей и так уже слишком посчастливилось в литературе. Из письма, направленнаго из действующей армии в адрес «депутата Чхеидзе» и помеченнаго 8 марта, мы узнаем, что на поверках в некоторых частях 28 корпуса Особой Армии (т. е. гвардии) после переворота продолжали петь «Боже Царя храни» и «Спаси, Господи, люди Твоя» – «очевидно» там, где «начальники являются приверженцами стараго режима, и солдаты мало ознакомлены с событиями» – добавлял осведомитель. Начальник кавалерийскаго корпуса гр. Келлер, отказавшийся присягнуть новому правительству, прощался со своим полком, как свидетельствует Врангель, пропуская его церемониальным маршем под звуки того же «Боже Царя храни». Надо ли видеть здесь нарочитую демонстрацию или привычную при торжественной обстановке традицию национальнаго гимна? Он не был ни отменен, ни заменен революционным гимном, и Деникин нам разсказывает о сомнениях военнаго командования – петь ли народный гимн.

Можно привести, конечно, десятки эпизодов, прямо или косвенно

говорящих об отрицательном отношении в отдельных случаях, высшаго и низшаго командования к перевороту. Ген. Селивачев, командовавший 4-ой Финл. стрелковой дивизией на юго-западном фронте и принадлежавший к числу тех военачальников, которые желали только в «ужасное переживаемое время» справиться с «великой задачей удержать фронт», в дневнике 6-го марта отмечает, что его командир корпуса – «глубочайший монархист, участник «Русскаго Знамени» и юдофоб чистейшей воды» – отдал приказ, из коего «ясно, что, кроме верховнаго главнокомандующаго, он не признает никого из Временнаго Правительства». В дневнике генерала пройдут и его собственные подчиненные, не осведомлявшие солдат о происшедших событиях и не позволявшие читать газеты, потому что эти «идиоты» все равно не поймут, и потому, что «глупая затея» в некультурной стране не может долго длиться. В результате давались подчас, по выражению Врангеля, «совершенно безсмысленныя толкования отречению Государя»: так один из командиров пехотнаго полка объяснил своим солдатам, что «Государь сошел с ума». Можно допустить, что живую реальность представлял и тот гусарский ротмистр, который свою часть информировал об отречении Царя в такой форме: «Е, И. В. изволил устать от трудных государственных дел и командования вами и решил немного отдохнуть, поэтому он отдал свою власть на время народным представителям, а сам уехал и будет присматривать издали. Это и есть революция, а если кто будет говорить иначе, приводите ко мне, я ему набью морду. Да здравствует Государь-Император. Ура!»[316].

Может быть, в архивах каких-нибудь местных штабов найдутся несуразные для революционнаго времени приказы от 15–17 марта о телесных наказаниях розгами, о которых, как о факте, говорил докладчик военной секции в заседании Совещания Советов 3-го апреля внефракционный с.-д. Венгеров (докладчик конкретно не указал за «краткостью времени», где происходил этот «абсурд»). Отрицать наличность таких фактов нельзя. Как не поверить колоритному по своей безграмотности письму в Исп. Ком. – «Г.г. Депутатам государственной думы»: «Братцы, Покорнейше просим Вас помогите нам (.) в нашем 13-м тяжелом артил. дивизионе полк. Биляев, родственник бывшаго военнаго министра, который распространяет слухи, что неверьте свободе... ети люди сего дня Красный флаг, а завтра черный и зеленый... Еще командир 3 бат. того же дивезиона... кап. Ванчехизе безовсякой причины бил солдат... он изменик Государства и нашей дорогой родины... покорнейша просим убрать нашего внутренняго врага Ванчехазу... Не можем совершенно его требования выполнять». Свой «Ванчихазе» – полк. Христофоров был в

Слуцке в одном из гвардейских полков, как свидетельствует офицер этой части в письме к родителям 11-го марта – мы ниже его широко цитируем, – кричал по телефону: «сволочь получила свободу», вернувшись с фронта, отомстим. Думский депутат от Литвы, Янушкевич, примыкавший к трудовой группе, в докладе Временному Комитету 13 марта о поездке на Северный фронт разсказывал, что один из командиров дивизии так выражался в его присутствии, что депутат вынес впечатление, что «если он и не враг новаго правительства, то во всяком случае слишком иронически на него смотрит». «Хорошо, что разговор оборвался добавлял депутат, – а то я думал, что придется его арестовать». Между прочим, он сказал: «всетаки эту сволочь сек и буду сечь, и если он что-нибудь сделает, то я всыплю ему 50 розог». Пока Янушкевич беседовал с дивизионным командиром, солдаты не расходились, полагая, что депутат будет арестован командиром – «он сторонник стараго строя. Он вчера грозил разстрелом за снятие портрета. Уже казаков сотня была приготовлена»...

Все подобные факты едва ли могут служить показательным барометром общих настроений. Достаточно знаменательно, что Янушкевич и его товарищ по поездке свящ. Филоненко, посетившие «почти все части́' 1-ой армии, говорившие со «многими офицерами», равно и с «высшим офицерским составом», и на официальных собраниях, и в индивидуальных беседах, могли в своем отчете в качестве «врага новаго строя́' (и то относительно) конкретно отметить лишь одного командира дивизии, который «слишком иронически» смотрел на революционное правительство. «Многие из них (т. е. офицеров) – говорилось в депутатском докладе Врем. Ком. – совершенно не ориентируются в положении и нас спрашивали: «неужели вы не могли спросить армию прежде, чем произвести революцию?» Мы говорили: «Так вышло. И вы сами, проснувшись, не узнали бы Петербурга». Они не представляют себе, что так могло быть. Они недовольны, что это сделано, как то без их спроса, наскоро, штатскими людьми, которые не считаются с ними». В чем же «не считаются»? «Они не улавливают «сути»[317] – отвечает отчет – и думают, что у нас разрушена вся армия, что весь дух ея упал, и что нет оснований, на которых зиждилась вся армия». В одном собрании школы прапорщиков, где собралось 250 человек, депутаты встретились с особо ярким настроением «контр-революционным» – «совершенно против переворота». Характерное пояснение делают депутаты: «говорило больше зеленое офицерство, прапорщики» – «недоучки», по их выражению. Камнем преткновения явилась все та же тема – опасность разрушения армии. Как «люди дисциплинированные»,

они требовали, чтобы приказы «издавались из центра, сверху»: если «начальство потеряет свой авторитет... нельзя будет вести войска в атаку». Стремление поддержать дисциплину и является основным мотивом в обвинениях «высшаго офицерства» в контр-революционности. Некоторые командиры были «очень тактичны»: «когда произошел переворот, отречение и проч., они потихоньку убрали все портреты, а в некоторых частях портреты демонстративно висят. Когда солдаты требовали, чтобы портреты были убраны, то начальники отказывались» – отказывались (добавляли депутаты) не потому, что «находили, что он должен висеть.... а потому, что, по их мнению, дисциплина не позволяла... Этим создавались отношения, грозившия большими последствиями»... даже «ужасная атмосфера», по словам докладчиков, – могли быть «убийства». «Нетактичность» сказывалась в срывании «красных бантов» – этих внешних атрибутов революции[318].

Уполномоченные Врем. Комитета отметили «подозрительное отношение» солдат к начальству. Этому настроению, по их мнению способствовал, с одной стороны, «приказ № 1», с другой – «неправильное истолкование событий»... «Мы заметили, что тем офицерам, которые пытались объяснить солдатам происшедший переворот, даже прощались грехи прошлаго, они сразу как-то выростали в их глазах; но особое недоверие было там, где замалчивали, где не собирали солдат, не объясняли происшедшаго или давали тенденциозное объяснение, там создавалась почва страшнаго недоверия. Старое недоверие как то слабо, а недоверие после переворота.–новое – ужасно[319]. В тех же частях, где собирали и объясняли события, там сразу возстанавливалось доверие: даже в тех частях, где его раньше не было. Эти части могут в огонь и в воду пойти»... Депутаты делали любопытное пояснение: «знаменитый приказ № 1 и всевозможные слухи породили известную дезорганизацию в «зеленых» частях, где мужики. В частях, более революционных (?), ничего подобнаго не было. Там и с офицерами уживаются очень хорошо». Может быть, еще более интересны их наблюдения по мере приближения к фронту: «что касается общаго настроения войск, то вблизи позиций оно у них такое веселое, радостное и хорошее, что отрадно становится. Там мы видели настоящие революционные полки с полнейшей дисциплиной, полное объединение с офицерами»[320]. Уполномоченные многократно во всех частях беседовали с солдатами в отсутствие командnаго состава. Беседы эти начертали целую программу мер, которыя надлежало осуществить, и которыя соответствовали желанию солдат (о программе мы скажем ниже). Политическое настроение армейской массы

характеризуется достаточно заявлением Янушкевича Временному Комитету: «Я должен сказать откровенно, насколько я видел, настроение сплошь республиканское» – вероятно, правильней было бы сказать: «за новый строй»[321].

Приходилось уже упоминать о том энтузиазме, с которым на фронте были встречены члены Гос. Думы солдатской массой. Их поездка вообще носила характер какого-то триумфальнаго шествия: их встречали «везде» торжественно, с музыкой: словами «невероятная овация», «царский прием», «носили на руках», «склонялись знамена» пестрит их отчет... «Были полки, где нас более сдержанно принимали – замечали депутаты – но общее впечатление в громадном большинстве случаев такое, что после обмена приветствий, после такого рода бесед, они нас поднимали и выносили до наших саней. Мы не могли распрощаться. Они целовали нам руки и ноги». Могли, конечно, депутаты несколько самообольщаться[322], но все же не настолько, насколько это представлено в секретной телеграмме 18 марта, посланной в Токио японским послом. Он передавал своему дипломатическому начальству, что сообщение членов Врем. Ком., командированных на фронт, составлено «весьма оптимистически, но на самом деле положение *диаметрально противоположное* . Я в этом убедился из разговоров с офицером, возвратившимся с фронта». Пессимизм осведомителя виконта Уциды, действительно, не соответствовал выводу думской делегации, говорившей в заключение своего, повидимому, устнаго отчета: «У нас вообще впечатление отрадное, и если бы офицеры сумели перестроить свои отношения на новых началах, а это необходимо, то дело было бы сделано. *Теперь самый острый вопрос* , по нашему мнению, как свою задачу исполнит офицерство»...

Отчет делегации коснулся лишь ближайшаго к столице фронта. Путем сравнения можно дать, пожалуй, и лучший ответ на вопрос, как отнеслась фронтовая армия к перевороту, и как этот переворот повлиял на армию. Возьмем два места, где было хуже всего: гвардейский корпус и Балтийский флот. Относительно гвардии это особо подчеркнул Алексеев в разговоре с Гучковым 11 марта: «здесь события нарушили равновесие, и замечается некоторое брожение и недоверие к офицерскому составу». Для характеристики этих отношений у нас имеется интересный «дневник» неизвестнаго офицера-интеллигента, написанный в виде писем к родным из Луцка[323]. «Дневник» имеет несколько резонерский оттенок – наблюдения сменяются разсуждениями. Автор отмечает сложность и трудность положения гвардии в силу той двойственности, которая получилась от того, что революцию совершили запасные батальоны

стоящих на фронте полков, и что из тех же полков направлялись в Петербург части для подавления революции. Впечатления наблюдателя до получения известия об отречении формулировано им 4 марта так: «сознательное меньшинство (солдат) довольно, но хочет отомстить вождям павшаго режима, большинство же относится ко всему происшедшему с полным безразличием и хочет только одного – мира... Офицеры, понурые, убитые страхом за будущее, ходили один к другому, нервничали, строили планы и тут же сами их опровергали. Я не знаю такого тяжелаго дня. Полумертвый я заснул»... 4-го получено было сообщение о назначении Вел. Князя главнокомандующим. «Я сообщил это солдатам. Они опять молчали». Вечером пришла телеграмма о новом министерстве – «среди офицеров общее ликование... Все уверены, что Николай II отрекся от престола». Любопытным сообщением кончает наш своеобразный мемуарист свое письмо: «У немцев – ликование. Выставляют плакаты, салютуют, играют оркестры[324]. Попытались наступать на VII корпус..., но были отбиты. Наше высшее командование растеряно... не знают, что им делать. Надо было устроить парад, самим салютировать, выставлять победные плакаты, заставить играть оркестры, воспользоваться моментом для подъема духа солдат... Но... жизнь вот течет так, будто ничего не случилось. Это ужасно, но я надеюсь, что после манифеста у нас что-нибудь сделают»...

11 марта письмо начинается более или менее оптимистической оценкой: Слава Богу, теперь стало проясняться, все же возможность кровавых событий не совсем исключена. Надо помнить, что положение гвардии особенно тяжело... ея старое офицерство и генералитет имеют определенную репутацию... Вот каким представляется мне положение. Во-первых, ни одну воинскую часть так не волновали петроградския новости, как гвардейцев... А сведения из Петрограда приходили запоздалыя, преувеличенныя, часто нелепыя. Верили всему, и ничего нельзя было опровергать. Во-вторых, когда пришло известие об установлении новаго порядка, то офицеры стали подозревать солдат, а солдаты офицеров. Мы не знали, как отнесутся нижние чины к событиям, поймут ли они происходящее, а главное – не заразятся ли они петроградским примером, не вздумают ли у нас сменять начальников и заводить собственные порядки; не знали мы также, не захотят ли они прекратить войну, не предпримут ли они какого-либо насилия для ея прекращения; наконец, мы не знали, одинаково ли воспримут новыя вести все части, или полк пойдет на полк и батальон на батальон, а ведь у нас до немцев – несколько верст, случись что-нибудь, и фронт будет прорван, может быть прорван в

нескольких местах, и что тогда? И мы томились и не знали, как лучше исполнить свой долг. А солдаты в то же время не доверяли офицерам. Они не знали, на стороне какого строя мы стоим и одинаковаго ли мы направления; они боялись, что с нашей стороны *будут попытки сдать позиции немцам* ; они были уверены, что от них скрываются какие-то новые приказы; они также боялись, перейдут ли все части на сторону новаго порядка: они мучились тем, что свободу отнимут, что отечеству изменят; они верили каждому нелепому слуху самаго темнаго происхождения; они постоянно хватались за винтовки, и несколько раз могло случиться побоище»... «Старшие начальники не сделали ничего для вселения к ним доверия, а бездействие было истолковано, как приверженность их к павшему порядку. Атмосфера получилась ужасная»... «Между нами и ими пропасть, которую нельзя перешагнуть...» «Сколько бы мы с ними ни говорили... сколько бы ни старались предотвратить столкновения, они не верят нам. Некоторым офицерам они прямо говорили, что в гвардии все офицеры – дворяне, и что поэтому офицеры не могут быть сторонниками новой власти»[325].

Как всетаки характерно, что все инциденты, о которых разсказывает автор писем, вращаются около имен ген. Гольгоера, гр. Ротермунда, Клод-фон-Юренсбурга, бар. Штемпель и т. д. Ведь это они готовы «открыть фронт»[326], это они составляют «немецкую партию», козни которой пытается раскрыть Чр. Сл. Комиссия Врем. Правительства, и о кознях которой так много говорили до революции. Эти легенды и сплетни из среды придворной, бюрократической, военной и общественной перешли в народ. По всему фронту прокатилась волна недоверия – на позициях около Риги в 80 сиб. стрелк. полку солдаты, как и в Особой армии, высказывали опасения, что офицеры сдадут позиции немцам; повсюду требуют удаления «баронов, фонов и прочих шпионов». Это отмечает позднейший доклад (апрельский) члена Гос. Думы Масленникова, посетившаго фронт... Нач. 3 пех. дивизии ген. Шолп, устраивает манифестации, чтобы доказать, что он не немец и вполне сочувствует перевороту (Селивачев)... По истине, что посеешь, то и пожнешь[327].

«В основе всех этих нелепостей, обнаружить которыя перед ними иногда все-таки удается – пишет наш офицер родителям с просьбой довести до сведения Гучкова о положении на фронте – лежит одно соображение, которое нельзя опровергнуть. Переворот совершился в тылу, а у нас все остается по старому; высшая власть вверялась при павшем правительстве его приверженцам, а они все на местах. Надо немедленно сместить всех генералов с немецкими фамилиями и других, которые

навлекут на себя подозрение. Надо сделать это скорее, иначе начнется солдатская самоуправа...[328]. Нужны немедленныя и решительныя меры – иначе власть ускользнет из наших рук, инициатива преобразований перейдет от нас к ним, армия начнет разлагаться, и поражение будет неизбежно». Следующее письмо, написанное на другой день – 12 марта – когда в ротах «уже начали смещать офицеров и выбирать себе новых», полно пессимизма: «Конечно, надо надеяться до самой последней минуты, но я считаю солдатский бунт вполне возможным. Еще вчера они качали Тимохина, говоря, что верят ему, что ничего без его согласия не предпримут. А сегодня, когда оп пришел в роту, они кричали ему «вон» и объявили затем, что выбрали себе новаго ротнаго командира. Изменений и колебаний их настроения ни предугадать, ни направить нельзя. Вчера вечером положение казалось прояснившимся. Сегодня оно ухудшилось. Мы все время переходим из одной полосы в другую. У некоторых начинают опускаться руки, до того эти волнения утомляют. Некоторые говорят, хоть бы скорее на позиции, там все будет лучше, поневоле люди сдержат себя». «Вообще положение безвыходно» – заключает автор, – «руководить событиями уже нельзя, им просто надо подчиниться». «Армия погибла» – это становится лейтмотивом всех последующих писем.

Итог индивидуальных переживаний сгущал картину, как можно усмотреть хотя бы из позднейшаго доклада депутата Масленникова, посетившаго по полномочию Врем. Комитета территорию Особой Армии в апреле. В этом докладе уже не будет несколько сантиментальнаго мартовскаго флера, но он все же будет очень далек от пессимизма «умнаго... классоваго врага» пролетарской революции. Реалистический итог для марта, пожалуй, можно охарактеризовать записью ген. Селивачева 26-го: «Вчера в газете «Киевская Мысль» было сообщено, что от Особой армии выехали в Петроград делегаты в Совет Р. и С. Д. и в запасные гвардейские батальоны, чтобы заявить, что Особая армия с оружием в руках будет защищать Временное Правительство и не потерпит ничьего вмешательства в дела правления до созыва Учредительнаго Собрания».

* * *

Общее впечатление, что эксцессы на фронте, имевшие место далеко не повсеместно, в значительной степени связаны были с некоторым чувством мести в отношении начальников, злоупотреблявших своими дисциплинарными правами[329]. Революция с перваго же момента, независимо от «новых законов о быте воинских чинов», конечно, должна была перестроить в бытовом порядке систему отношений между

командным составом и солдатской массой. «Рукоприкладство» в армии должно было исчезнуть, но «оно настолько вкоренилось – говорили в своем отчете депутаты, посетившие Северный фронт, – что многие не могут от него отстать. Когда солдаты спрашивали нас, можно ли бить, то мы при офицерах говорили: «нет, нельзя», и ничего другого, конечно, говорить не могли». Отрицать явление, о котором с негодованием говорила даже ими. А. Ф. в одном из писем к мужу (офицеры, по ея выражению. слишком «часто» объясняются с солдатами «при помощи кулака») нельзя. Если для начальника одной казачьей части, который на Северном фронте «морду набил» в революционное время, эта несдержанность сошла благополучно, то на Западном фронте проявление подобной же бытовой служебной привычки 8 марта стоило жизни виновнику ея, как разсказывает прикомандированный к фронту француз проф. Легра (полковник ударил солдата за неотдание чести и был растерзан толпой). Едва ли к числу «лучших» военачальников принадлежал тот командир 68 сиб. стрел. полка, который был арестован «письменным постановлением депутатов от офицеров и солдат этой части», равно как и три его подчиненных, удаленных от командования, причем к постановлению депутатов «присоединились почти все офицеры полка». Мотивом ареста и удаления выставлялось: резкое и грубое обращение, недоверие к боевым качествам и несочувственное отношение командира полка к перевороту. Этот эпизод дошел до военнаго министра в силу настойчивости, которую проявил полк. Телеграмма нач. корпуса, посланная Алексееву, сообщала, что «продолжительныя увещевания и беседы с офицерскими и солдатскими депутатами 18 и 19 марта не привели к возстановлению законнаго порядка». Командующему корпусом удалось добиться освобождения из-под ареста командира полка, но депутаты продолжали настаивать на оставлении избраннаго ими командира полка, ссылаясь на газетное сообщение о разработке комиссией ген. Поливанова вопроса о подборе высшими начальниками своих помощников. Для уговора полка выехали два члена Гос. Думы. Алексеев законно негодовал на самоуправство, признавая невозможным руководиться проектами, не санкционированными к проведению в жизнь и толкуемыми солдатами «вкривь и вкось», и требовал, чтобы в полку были возстановлены офицеры или полк был бы раскассирован: «при таких условиях работа армии не может итти» – телеграфировал он военному министру. Но в данном случае, повидимому, формальная правота входила в коллизию с бытовой правдой, и тот факт, что делу 68 сиб. стр. полка придали такое значение, показывает, что оно не было явлением рядовым в

жизни армии в первый период революции. Почти несомненно, что политика сама по себе в этих бытовых столкновениях на фронте стояла на втором плане.

Эксцессы во флоте.

Если в гвардейском корпусе непосредственно после переворота солдатская масса держалась настороженно, «что-то» ожидая, то в Балтийском флоте барометр, определяющий силу волны взбудораженной стихии – «психоза безпорядка», с перваго момента «лихорадочно» колебался; были моменты, когда казалось, что «спасти» может только «чудо». Дневник Рейнгартена, одного из тех молодых энтузиастов, которые сгруппировались вокруг адм. Непенина и мечтали о «новой жизни великой свободной России»[330], очень ярко передает атмосферу настроений, царившую в Гельсингфорсе. Только тенденциозность, не желающая считаться с фактами, может привести к выводу, что «лукавая» политика Непенина стоила ему жизни (Шляпников). Мы приводили уже официальныя телеграммы командующаго Балтийским флотом, опровергающия эту большевицкую легенду. 28 февраля Рейнгартен записал: «Наш начальник и командир в общем настроен празднично и сочувствует революции во спасение родины»... В смутные дни Непенин «твердо решился оставаться на взятой позиции», т. е. поддержки Временаго Правительства. Он сказал фл.-кап. кн. Черкасскому, и. д. начальника штаба, по поручению товарищей выяснявшему решение командующаго флота, что он не выполнит противоположнаго приказания «сверху», если таковое последует. 2 марта командующий объявил о своем решении на собрании флагманов: ..."Буду отвечать один, отвечаю головой, но решил твердо. Обсуждения этого вопроса не допускаю»... В зависимости от сведений, приходивших из Петербурга, «радость» сменялась «тревогой» у молодых энтузиастов, окружавших Непенина. Но пришел манифест об отречении, и Рейнгартен «на заре новой жизни великой, свободной России» записывает: «ночь без сна, но какая великая, радостная, памятная ночь счастливаго завершения Великой Российской революции». Отметка в дневнике, сделанная в 7 ч. 20 м. утра, была преждевременна. В 6 ч. 35 м. веч. Рейнгартен вписывает: «в общем, кажется, мы идем к гибели»... «От Родзянко приказано задержать объявление манифеста... Что это опять начинается?» – с волнением спрашивает себя автор дневника: «горю весь, все время вскакиваю и хожу». «Нервность растет. Отовсюду слухи о безпорядках, имеемых быть»... «Психоз безпорядка перекинулся сюда: на «Андрее Первозванном» подняли красный флаг». Началось «возстание» на линейных кораблях, арест и разоружение офицеров. Крики «ура»

перемешиваются со стрельбой из пулеметов. «Неужели все погибнет» – вновь мучительно записывает Рейнгартен... Трагически закончилось движение, однако, только во второй бригаде линейных кораблей, которой командовал, находившийся на «Андрее Первозванном», в. ад. Небольсин. В записи на 3 марта «флагманскаго историческаго журнала» обострение па адмиральском судне объясняется тем, что Небольсин «в своих выступлениях перед матросами многое скрыл от них. С депутатами, явившимися к нему от имени команды с просьбой (или требованием) показать официальныя сведения, Небольсин вступил в пререкания. В итоге был убит адмирал и еще два офицера». На некоторых судах «возстание» окончилось манифестацией даже «патриотическаго» характера, по выражению Рейнгартена – качали командиров[331].

У себя на «Кречете» Непенин обратился к матросам с речью – сказал «все без утайки», потом «стал говорить все сильней, сильней... и закончил: ..."страной управляет чорт! Я все сказал, я весь тут. Вы скажите: кто за меня, кто против – пусть выйдет! Кто-то крикнул: «адмиралу – ура!», все подхватили, так что я не выдержал – бросился, обнял и крепко поцеловал Адриана. Это было слишком – его качали, а когда успокоились, адмирал сказал: «найдутся ли среди вас охотники, умеющие говорить?» Вышло много. «Раздадитесь по пять. Когда утихнут безпорядки, я пошлю вас вы скажите все, что я сказал, и скажите, что потом приду я»... Адмиралу никуда не пришлось итти – к нему на «Кречет» пришли сами – «толпа матросов с кораблей». «Переговоры Непенина с депутатами – записывает Рейнгартен – были длительны и очень несносны. Жалко было смотреть на Непенина – так он устал, бедняга. так он травился и с таким трудом сдерживался. К концу речи он воспалился, сказал, что убили офицеров сволочи, что зажгли красные огни и стреляли в воздух из трусости, что он презирает трусость и ничего не боится. Ему долго не давали уйти – все говорили: «позвольте еще доложить» – основной лейтмотив: говорить на вы, относиться с большим уважением к матросу, дать ему большую свободу на улицах, разрешить курить и т. д. Когда, наконец, измученный Непенин вышел, команды, прощаясь, ответили дружно и вообще держали себя хорошо, стояли смирно»...

Пришла телеграмма Керенскаго, которая произвела «очень хорошее впечатление и успокоила». Кому то это не нравилось. «5 час. 15 м. – отмечает дневник – провокация по радио – «смерть тиранам»: ..."Товарищи матросы, не верьте тирану... От вампиров стараго строя мы не получим свободы... Смерть тирану, и никакой веры от объединенной флотской демократической организации». «Какое безумие !... Опять надо

разсчитывать... на чудо»... Некто в сером усиленно сеял анархию в Гельсингфорсе. Какая-то группа, состоящая на '"разнородной команды и офицеров, морских и сухопутных», избрала командующим флота нач. минной обороны виц.-ад. Максимова, находившагося под арестом на посыльном судне «Чайка». Непенин согласился на такой компромисс: Максимов приедет на «Кречет» и будет контролировать все поступки адмирала. Через два часа Непенин был убит выстрелом в спину из толпы. Впоследствии – утверждает Рейнгартен – матросы решительно отрекались от участия в этом убийстве. Авторитет Непенина казался опасным тем, кто хотел разложить боевую силу Балтийскаго флота. Почти перед самым убийством адмирала Рейнгартен записал сообщение: «Центральный Комитет депутатов кораблей на «Павле», разобравшись в обстановке, признал действия командующаго флотом правильными и приходит к повиновению!!!».

В связи с приездом Родичева и Скобелева, встреченных «адской овацией», у Рейнгартена «надежды на возстановление порядка повысились с 1%, примерно, до 60%–"все постепенно возвращаются на места». В настроении перелом. Толпа ходит на улицах с красными флагами – даже «приказано объявить желательность красных повязок и участие в манифестациях офицеров». На судах спокойно, но «нервность всюду ужасная». И вновь отмечается в дневнике за 5-ое марта: «провокация страшнейшая» – «по городу распространяется «манифест» Николая II с призывам к возстанию в пользу престола». «Враги родины, видимо, работают во всю и сеют новую смуту»[332].

Дневник Рейнгартена картинно обрисовывает противоречие, раздавшееся в страдные дни революции в матросской толще: «Всюду праздничное, веселое, приподнятое настроение; только нервность в связи с провокацией» (6 марта). Это «праздничное» настроение сменяется мрачными сценами убийства или покушениями на убийство, что заставляет автора написать: «я ошибся, что 60%, если тогда было 6%, то теперь эти проценты падают». Нельзя не отметить, что во всех случаях, на которых останавливается Рейнгартен, почти всегда имеется наличность той «провокации», на которой он настаивает. Вот пример. С «Петропавловска» передали на «Кречет», что желают удаления лейтенанта Будкевича. «Пересуды были нескончаемы – команда боится «Петропавловска», откуда уже дважды звонили: взят ли Будкевич?». «Команда «Кречета» аттестовала Будкевича «самым добрым образом», но все-же велела Будкевичу итти в арестный дом». «С великим трудом удалось мне убедить команду по дороге завести Б. в Морское Собрание,

где обратиться к депутатам «Петропавловска». Я кричал, умолял. К счастью, еще при выводе Б. у трапа они столкнулись с комфлотом и Родичевым, затем вместе все пошли в Морское Собрание, где долго говорили с депутатами... и оказалось, что на «Петропавловске» – тихо, ничего не требовали, и все спокойно». На «Диане» арестовали кап. Рыбчина и лейт. Любимова, «увели с корабля и скоро вернулись» – оба были убиты. Люди, уведшие Рыбчина, «клялись» комфлоту и Родичеву, что «они не убивали». Провокаторы прикрываются именем образовавшагося в день приезда советской делегации из Петербурга Исполнительнаго Комитета Совета представителей армии, флота и рабочих Свеаборгскаго порта, который пытался наладить какой-то правопорядок: «воззвания Комитета хороши и намерения правильны, но видно абсолютное неумение руководить исполнительной частью» – замечает Рейнгартен. «Постоянно посылаются вооруженные патрули всюду, где ожидается безпорядок. Так ими уничтожено несколько вагонов огромных запасов спиртных напитков; они вылиты на землю и политы керосином и нефтью»[333]. «При мне на «Петропавловске» – разсказывает Рейнгартен – неизвестно откуда передана телеграмма, якобы от имени Исп. Ком., с приказанием не посылать патрулей. Правда, этот обман так груб, что открывается легко».

Рейнгартен был выбран тов. пред. Исп. Комитета. «Немыслимо разсказать – записывает он –- что было за дни моей работы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/III. Я не заметил этих дней. Впечатление сплошного митинга, речей, постановлений. Это было тяжкое испытание, ибо я пошел на эту Голгофу единственно ради возстановления спокойствия, уничтожения розни между офицерами и матросами, ради возстановления работы для войны. Я с собой справился и к себе доверие снискал; я говорил много со всеми, особенно с крайними элементами. Наибольшей услех был у Хилиапи (председатель Совета) – это хороший, честный, страстный человек. Он подкупал меня своей искренностью, а я, может быть, подкупал его тем, что отдал всю жизнь этому делу, всю мою душу, всю любовь к родине, которая сейчас сжигает меня. Хилиани назвал меня своим другом, просил перейти на ты. Теперь мне легко говорить и работать с ним».

В районе Свеаборгскаго порта, несомненно, наступило успокоение. Уже 6-го кн. Черкасский давал в морской ген. штаб такия сведения о Гельсингфорсе: «настроение улучшается, но по теории колебательнаго движения строго научной, всегда возможны повторения затухающих колебаний, а посему не надо удивляться, если еще будут эксцессы, но, конечно, несравненно более слабые. Действие представителей Думы

безусловно громадное. Надеюсь, что в ближайшие дни явится возможность вернуться мне к исполнению прямых моих обязанностей, т. е. подготовке флота к бою, так как за эти дни я был весь поглощен заботами и стремлениями спасти флот от полной разрухи, и все операции были пущены мною по-боку. Не причисляя себя к оптимистам, думаю, что все изложенное довольно близко к истине. Под влиянием петроградских депутатов Думы и работающаго здесь местнаго комитета матросских и солдатских депутатов случаи арестования офицеров матросами и солдатами не только прекратились, но офицеры возвращены в свои части с принесением им извинения и сожаления о случившемся». Нач. штаба, адм. Григорьев, с своей стороны, сообщал: «спокойствие возстанавливается все больше и больше. Исп. Ком. Совета Деп. принимает все меры к возстановлению полнаго порядка, помогает все время командующему. В посещенных командующим частях и кораблях команды поклялись сохранять порядок и возстановить дисциплину»[334].

Дневник Рейнгартена бурную эпопею первых мартовских дней заканчивает описанием «общаго собрания офицеров, членов Исп. Ком. и всех желающих», происходившаго 11 марта в русском театре под председательством перводумца Кедрина. Под крики «ура» и звуки марсельезы командующий флотом Максимов провозгласил: «Поклянемся,что ничего другого, кроме республики, не будет»... Советская делегация, вернувшись в Петербург, заявила, по отчету «Известий», что флотская семья единодушно приложит «все силы к тому, чтобы война была доведена до победнаго конца за счастье свободной России». Успокоительную картину нарисовал и депутат Маньков (плехановец), посетивший Ревель и примиривший взбунтовавшихся на броненосце «Петр Великий» с командиром, которому грозили судом Линча: ..."Я взял честное слово с адмирала при всем собрании, что он подчинится новому правительству». В общем депутат нашел «настроение среди матросов очень сознательное» по сравнению с армейцами (в Ревеле, между прочим, матросы отбили у толпы раненаго коменданта крепости). Для Гельсингфорса на первых порах показательно враждебное отношение матросов к крайней пропаганде – это засвидетельствовал в воспоминаниях крупный местный большевицкий деятель – Залежский: большевицких агитаторов сбрасывали в воду, были и случаи ареста.

* * *

«В Балтийском флоте переход к новому строю принят восторженно» – подвел итог в официальном сообщении председателю Совета министров из Ставки 14 марта исп. должн. верховнаго главнокомандующаго. Дневник

Рейнгартена показывает, как эту «восторженность» омрачала анархия, имевшая своим источником агитацию безответственных отечественных демагогов, коварные замыслы внешняго врага и неумелую провокацию полицейских политиков стараго режима, которые считали, что «не все потеряно, есть надежда».

Возстание матросов Балтийскаго флота приняло с перваго момента в ночь на первое марта форму жестоких эксцессов в Кронштадте, который, по тогдашнему выражению большевицкаго официоза «Правда», оказался «отрезанным от мира» и не представлял себе «ясно картину совершающихся событий»: формы, в которыя вылилась здесь «стихийная вспышка», до некоторой степени были предуказаны прежней революционной пропагандой[335]. Нельзя, конечно, вполне довериться сообщениям «секретной агентуры» жандармских властей, которая перед революцией сообщала о плане, выработанном в середине 16 г. возродившимся «Главным Коллективом Кронштадтской военной организации[336], – поднять возстание («частью убив, а частью арестовав командный состав») в целях прекращения войны и свержения правительства. По этому плану действий «петроградский пролетариат должен поддержать возстание и для того, чтобы дать знать о начале возстания, флот выйдет из Кронштадта, уже покончив там с офицерами, и даст несколько залпов по Петрограду. Если бы в отношении рабочих последовали крутыя меры, и рабочих правительство стало бы разстреливать, то флот разгромит весь Петроград, не оставив тут и камня на камне». Историк коммунистической партии Шляпников, цитирующий эти жандармския донесения, отрицает наличность существования подобнаго фантастическаго заговорщическаго плана. Но, очевидно, разговоры об убийствах и арестах были в среде «главнаго коллектива» (ведь это входило органической частью в ранние революционные замыслы Ленина – см. кн. «Уроки московскаго возстания» 1905), и разбушевавшееся «пламя революции», нашедшее благоприятныя условия в милитаризованной «тыловой базе», легко превратило теоретическую возможность в печальную действительность – в Кронштадте провокационная работа ощущалась еще более реально, чем в других местах. Очень трудно назвать «до некоторой степени сдерживающей», как то делают составители «Хроники февр. революции», роль «Комитета революционнаго движения», избраннаго уличной толпой и возглавляемаго прибывшим из Петербурга неким «студентом Ханиным»: для успокоения страстей «Комитет революционнаго движения» приказал арестовать всех офицеров и заключить в тюрьму до назначения над ними суда.

Кронштадтския события ярко охарактеризованы краткой записью в протоколе 8 марта Петроградскаго Исп. Ком.: «Избиение офицеров, арест их в большом количестве, командный состав из офицеров совсем отсутствует, выбраны командиры кораблей из состава самих матросов. Флот, как боевая единица, совсем не существует»[337].

Самосуды кончились лишь тогда, когда в Кронштадт 13 марта приехала от петроградскаго Исп. Ком. делегация в лице с.-д. депутатов Скобелева и Муранова, которые информировали местный Совет рабочих и военных депутатов армии и флота о положении дел в столице и о взаимоотношениях между Временным Правительством и Советом. На революционном вече, собиравшемся на Якорной площади, программа деятельности петроградскаго Совета была принята. Отныне революционная «твердыня» со всеми своими «штыками, пушками и пулеметами» будет находиться в распоряжении петроградскаго Совета и поддерживать Временное Правительство, посколько оно согласуется с этим Советом... Соглашение было запечатлено в духе того сантиментализма, которым до известной степени обвеян был «медовый месяц» революции, публичным поцелуем между посетившим кронштадтский совет Керенским и прославленным Рошалем. Подчинение Кронштадта было кратковременно и очень относительно. Кронштадт в качестве большевицкой цитадели сделается символом насилия, анархии и разложения в русской революции. В этих позднейших обвинениях заключалась доза тенденциозной сгущенности, но на первых порах ни у кого не нашлось мужества (или сознания ошибочности тактики замалчивания) безоговорочно осудить зловещие и мрачные эпизоды поглощения «пламенем революции» ея идейной ценности: такие органы, как «Биржевыя Ведомости», писали о «героической, но вместе с тем страшной ночи в Кронштадте 1 марта»[338].

Министр юстиции в заседании Врем. Прав. 28 марта определил число офицеров, павших в Кронштадте от рук убийц, цифрой 36. Ген. Лукомский в сообщении из Ставки командованию на Северном фронте 21 марта повышал эту цифру до 60. В Гельсингфорсе по официальным сведениям убито было 39 офицеров и ранено 6; в Ревеле убито было 3; на Моозундской позиции 2; в Петербурге – 1 и ранен был 1[339]. Общую потерю в личном составе офицеров флота Лукомский определял «в 200 человек, считая в том числе до 120 офицеров, которых пришлось отчислить от должности и убрать с судов в виду протеста команды».

* * *

События в Балтийском флоте (особенно в Кронштадте) представляют

специфическую страницу в мартовский период революции. В Черноморском флоте, где командный пост занимал друг Непенина, адм. Колчак, мартовские дни протекали в совершенно иной обстановке. 6 марта Колчак доносил Алексееву: «На кораблях и в сухопутных войсках, находящихся в Севастополе, ...пока не было никаких внешних проявлений, только на некоторых кораблях существует движение против офицеров, носящих немецкую фамилию. Команды и население просили меня послать от лица Черноморскаго флота приветствие новому правительству, что мною и исполнено. Представители нижних чинов, собравшиеся в Черноморском экипаже, обратились ко мне с просьбой иметь постоянное собрание из выборных для обсуждения их нужд. Я объяснил им несовместимость этого с понятием о воинской чести и отказал. В населении Севастополя настроение возбужденно-мирное: было несколько просьб, обращенных толпою к коменданту, кончившихся мирно... Большое смущение в войсках вызвала внезапность воззвания рабочих и солдатских депутатов об общих гражданских правах вне службы. В интересах спокойствия, дабы дать возможность занять войска не внутренними делами, необходимо, чтобы Врем. Пр. объявило всем военнослужащим обязательно исполнять все до сих пор существующие законы, покуда не будут разработаны и утверждены правительством новые законы о быте воинских чинов».

h11 Официальная сводка настроений.

В упомянутой выше официальной записке, представленной ген. Алексеевым правительству 14 марта и заключавшей в себе сводку донесений главнокомандующих о том, какое впечатление на войска произвели «последния события» и переход к новому государственному строю, проводилась мысль, что перемена произошла «спокойно». Конечно, официальныя сообщения, собиравшияся до известной степени в бюрократическом «секретном» порядке главнокомандующими, не могут служить истинным показателем настроений масс, ибо эти настроения внешне отражались все же в восприятии командnаго состава, и подобно тому, как представители революционной демократии слишком часто склонны были безоговорочно говорить от имени народа, командный состав с той же безответственностью брал на себя право говорить от имени солдат. К тому же всякая сводка носит черты искусственности при всей добросовестности составителей ея. Нельзя отрицать и известной политической тенденции, сказавшейся в обобщении, которое делалось уже в Ставке. Однако, приписывать этой записке «боевой характер» политической программы, предлагаемой Ставкой Правительству, хотя и в «скрытой, иносказательной форме», едва ли возможно[340]. Слишком поспешно и легкомысленно делать вывод, что Ставка как бы требовала недопущения евреев в офицерскую среду, на основании того, что во 2 сиб. корп. 12 армии в соответствующем духе раздавались «некоторые голоса» – из того, что в том же сибирском корпусе было выражено мнение о необходимости наделения крестьян землей при помощи Крест. Банка, еще не вытекает обобщающий постулат о характере земельной реформы, устанавливающей принцип «выкупа».

Сводка производилась по фронтам.

"На *Северном* фронте – заключает записка исп. долж. верховнаго главнокомандующаго – происшедшая перемена и отречение Государя от престола приняты сдержанно и спокойно. Многие к отречению имп. Николая II и к отказу от престола в. кн. М. А. отнеслись с грустью и сожалением... Многим солдатам манифесты были непонятны, и они не успели разобраться в наступающих событиях. Во 2-м Сиб. корп. 12 армии... были некоторые голоса, что без царя нельзя обойтись, и надо скорее выбирать государя... В 5-ой армии наступавшия события некоторыми солдатами разсматривались, как конец войны, другими – как улучшение своего питания, а частью безразлично. Во всех армиях фронта

многие солдаты искренне возмущались заявлением Совета Р. и С. Д. о республике, как желании народа. Среди офицеров выясняется недовольство, возмущение и опасение, что какая то самозванная кучка политиканов, изображающая собой Совет Р. и С. Д., не получившая никаких полномочий ни от народа, ни от армии, действует захватным порядком от имени страны, мешается в распоряжения Врем. Пр. и даже действует и издает вопреки его распоряжениям. Особенно волнует попытка Совета вмешаться в отношения между солдатами и офицерами и регулировать их помимо существующих не отмененных законов и законнаго войскового начальства. Высказываются пожелания устранить Советы Р. и С. Д. от вмешательства в дело управления государством, так как это крайняя политическая партия, а не полномочные представители народа и армии. Также замечается недовольство выделением петроградскаго гарнизона в какую-то привилегированную часть армии, и высказываются пожелания, чтобы войска этого гарнизона были отправлены также на фронт...[341] По мнению войск боевой линии заслуга по образованию новаго строя принадлежит не петербургскому гарнизону, а избранникам народа – членам Гос. Думы, народу и всей армии, которая *весьма сочувственно отнеслась ко всему происшедшему* ".

На *Западном* фронте акт об отречении был принят спокойно, серьезно, многими – с сожалением и огорчением. Наряду с этим перемена строя у многих связана с верой в возстановление порядка... Солдатами новый порядок приветствуется... Выражалась уверенность о прекращении немецкаго засилия. В 9, 10 и сводном корпусе 2-ой армии манифест встречен отчасти с удивлением и с сожалением о Государе. Многие, видимо, были поражены неожиданностью и той быстротой, с которой к нам подошли настоящия события[342]. В сибирской каз. дивизии своднаго корпуса манифест произвел удручающее впечатление. Некоторыми выражалась надежда, что Государь не оставит своего народа и армию и вернется к ним. Для части солдат это впечатление смягчалось тем, ...что в России еще не республика, относительно которой высказывались отрицательно. Однако самый переход к новой власти казаками Сиб. каз. дивизии принят с полной покорностью. К допущенным в дни перелома эксцессам толпы к офицерам, имевшим место в Петрограде, Москве и других городах, отношение отрицательное... Настроение войск бодрое. Преобладает сознание необходимости довести войну до победнаго конца...

На *Юго-Западном* фронте объявление манифеста встречено спокойно, с сознанием важности переживаемаго момента и чувством удовлетворения и веры в новое правительство[343]. Местами в офицерской среде

высказываются сомнения, что новой власти не удастся сдержать крайние революционные элементы.

На *Румынском* фронте происшедшия перемены войсками приняты спокойно. Отречение имп. Николая II на офицеров 9-ой армии произвело тягостное впечатление. В 4-ой армии большинство преклоняется перед высоким патриотизмом и самоотверженностью Государя... Здесь же манифест в. кн. М. А. встречен с недоумением и вызвал массу толков и даже тревогу за будущий образ правления. Более нервное отношение к событиям чувствуется в 3 Кав. корпусе, где передачу престола в. кн. М. А. склонны понимать, как вручение регентства до совершеннолетия в. кн. Ал. Ник., котораго считают законным наследником.

В *Кавказской* армии к перемене строя войска отнеслись спокойно.

В *Балтийском* флоте переход к новому строю принят восторженно.

В *Черноморском* флоте последния события встречены спокойно и с пониманием важности переживаемаго момента».

Объективная ценность «лаконичных» и «туманных» характеристик официальной записки ген. Алексеева заключается в отсутствии однотонности в освещении многообразных настроений в армии, которыя должны были иметься и в офицерской среде, и в солдатской массе. Итог наблюдений почти совпадает с теми выводами, которые сделал ген. Данилов в письме к своим «близким» 8 марта: «Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенныя течения:

1. Возврат к прежнему немыслим.

2. Страна получит государственное устройство, достойное великаго народа: вероятно конституционную ограниченную монархию.

3. Конец немецкому засилию и победное продолжение войны».

5. Правительство и Ставка

При тех настроениях на фронте, которыя отмечала даже официальная сводка, Ставка в марте не могла сделаться «центром контр-революции». Жизнь всемерно толкала ее на сближение с Временным Правительством. Первые дни, последовавшие за стабилизацией переворота, 4–6 марта, буквально заполнены настойчивыми призывами высшаго командования, обращенными к Правительству, – помочь и поддержать моральный авторитет начальников для того, чтобы «пережить благополучно совершающийся болезненный процесс в организме армии» и предотвратить армию от «заразы разложения», начавшагося в тылу. Поражает пассивность, с которой воспринимались эти призывы центром, хотя война и стояла в его сознании «на первом плане» (интервью Милюкова).

Революционная стихия, действительно, наступала на тыловую часть фронта. Дело, конечно, было не в тех самозванных вооруженных «депутациях», якобы от '"рабочей партии», а в сущности от разбежавшихся нижних чинов петербургскаго гарнизона, которыя стали появляться в тыловых местностях фронта, обезоруживая не только железнодорожную полицию, но и офицеров, производя аресты и освобождая заключенных – это были «неминуемые», как признал Алексеев, отголоски того, что было уже пережито в Петербурге. В официальной переписке упоминалось лишь о двух таких эпизодах, которые были обобщены и которым придали совершенно несоответствующее значение. 2 марта штаб Западнаго фронта получил сообщение, что из Великих Лук на Полоцк едет «депутация в 50 человек от новаго правительства и обезоруживает жандармов». Главнокомандующий Эверт в связи с этим приказал просить Ставку «сношением с председателем Гос. Думы установить, как правило, чтобы о всяких командированиях на фронт сообщалось... дабы узнать, что прибывающие не самозванцы, каких теперь будет много». На другой день, на основании донесения коменданта Полоцка, Алексеев имел возможность сообщить Родзянко уже более определенныя сведения о характере петербургской «делегации». Прибыло «пятьдесят нижних чинов», истребовавших от коменданта разоружения жандармов от имени «офицера, который остался в вагоне». В это время «показался на станции взвод драгунов... и все приехавшие солдаты разбежались, в вагоне же никакого офицера не оказалось...» Алексеев убедительно просил «принять необходимый меры, чтобы из Петрограда на фронт не появлялись банды

солдат и какия либо странныя и самозванныя депутации». Родзянко лаконически ответил, что «'никакой делегации Врем. Ком. Г. Д. на фронт не посылал». 4-го Алексеев получил новое сообщение от нач. штаба Севернаго фронта: «Прибывшие сегодня днем из Петербурга в Режицу (район 5-ой армии) вооруженные делегаты рабочей партии освободили везде всех арестованных, обезоружили полицию, начали обезоруживать офицеров... Ходили даже для этого по квартирам. Примкнули нижние чины гарнизона. Сожгли и управлениях начальника гарнизона, коменданта и в полицейских участках ссудныя и арестантския дела. Кровопролития и особых безпорядков не было». Рузский просил о «срочном сношении с представителями власти по принятии самых решительных мер к прекращению таких явлений, могущих деморализовать всю армию». В ответ Алексеев уведомил кн. Львова, что он предписал, «в случае появления таких шаек», немедленно захватывать их и предавать на месте военно-полевому суду.

Исп. Ком. Совета, вероятно, не имел никакого отношения к делегатам «рабочей партии», появившимся в Режице – о полоцкой «делегации» нечего и говорить. Но дело осложнилось бы, если приказ 4 марта был бы применяем к тем идейным агитаторам, которые стали просачиваться во фронтовые районы, и которые нередко именовали себя делегатами и уполномоченными советских учреждений, не имея на то официальных мандатов. Отсутствием формальностей и дезорганизацией большевицкие деятели, как сами они признают в воспоминаниях, пользовались для того, чтобы снабжать «мандатами'" агитационной комиссии Исп. Ком. своих посланцев, отнюдь не стремившихся усилить «боеспособность» армии. Эти почти «неуловимые элементы» были для армии более страшной язвой, чем революционно-разнузданныя «шайки»... Приказ Алексеева, появившейся 8-го на столбцах «Известий», вызвал необычайное негодование петербургских большевизанствующих демагогов и долго служил центральным пунктом обвинения и. д. верховнаго главнокомандующаго в «контр-революционности», хотя никаких реальных поводов практическое применение распоряжения ген. Алексеева не давало.

Рузский. как главнокомандующий фронтом, наиболее территориально близким к революционному горнилу, был особенно заинтересован принятием «незамедлительных мер центром для ограждения армии и сохранения ея боеспособности». Он обращался с рядом заявлений. Поддерживая его, Алексеев в телеграмме военному министру 5 марта еще раз, с своей стороны, настаивал на том, чтобы «военным чинам в тылу,

населению и гражданским властям» определенно было указано на «преступность вышеупомянутых деяний (аресты и избрание солдатами новых начальников и т. д.) и на строгую законную ответственность за совершение их». Эта телеграмма была послана в 11 час. утра; в 5 час. посылается другая, адресованная уже не только Гучкову, но и кн. Львову и Родзянко: «Каждая минута промедления в буквальном смысле слова грозит роковой катастрофой... необходимо правительственное объявление, что никаких делегаций и депутаций им не посылалось и не посылается для переговоров с войсками... Брожение начинает распространяться в войсках, ближайших к тылу. Эти волнения можно объяснить исключительно тем, что для массы... непонятно истинное отношение правительства к начальствующим лицам в армии и недоверие, что последния действуют согласно директивам и решениям новаго правительства. Ради спасения армии, а вместе с ней и родины, прошу не медлить ни одной минуты». На другой день сам Рузский непосредственно обращается к Львову, Гучкову, Керенскому: «Ежедневные публичные аресты генеральских и офицерских чинов, несмотря на признание всеми новаго государственнаго строя, производимые при этом в оскорбительной форме, ставят командный состав, нередко георгиевских кавалеров в, безвыходное положение... Аресты эти произведены в Пскове, Двинске и других городах. Вместе с арестами продолжается, особенно на железнодорожных станциях, обезоружение офицеров, в тол числе едущих на фронт, где эти офицеры должны будут вести в бой нижних чинов, товарищами которых им было нанесено столь тяжелое и острое оскорбление и при том вполне незаслужено... При таких условиях представляется серьезная опасность разложения армии, перед которой предстанет грозный вопрос о возможности успешной борьбы с нашим противником». Рузский настаивал на «авторитетном разъяснении центральной власти» и на экстренном приезде «доверенных правительственных комиссаров» с целью успокоить в том, что «всеми признанному новому строю никакой опасности не угрожает». Алексееву Рузский жаловался в связи с получением из Петербурга советскаго «приказа № 2» на то, что все его телеграммы остаются *«без ответа»* . В свою очередь в обращении к председателю Думы, к председателю Совета министров и к военному министру, сделанном почти ночью (в 11 ч. 50 м. веч.) 6 марта, после телеграммы Рузскаго, Алексеев «с грустью» жалуется, что его «многочисленныя... представления правительству по аналогичным вопросам остаются без ответа, что деятельность учреждений, не имеющих отношения к армии, развивается, подобные приказы малоуловимыми

способами проникают в части действующей армии, грозя разрушить ея нравственную силу и боевую ея пригодность, ставя начальников в невыразимо тяжелое положение ответствовать перед родиной за сохранение нравственной устойчивости вооруженной силы и не иметь способов бороться с потокам распоряжений, подобных приказу № 2. *Или нам нужно оказать доверие или нас нужно заменить другими* , которые будут способны вести армию даже при наличии фактов, в корне подтачивающих основы существования благоустроеннаго войска».

Не возлагая надежды на правительственную инициативу, Рузский обратился непосредственно к Совету – им была послана особая делегация, посетившая Исп. Ком. 6-го[344]. Дело касалось «крайне вреднаго» влияния приказа № 1, который получил распространение на Северном фронте. Исп. Ком. отнесся с полным вниманием к заявлению делегации ген. Рузскаго. Не надо забывать, что влияние большевиков в Исп. Ком. было невелико, и в «первыя недели'" преобладало в нем, по выражению Шляпникова, «эсэровское мещанство». Исп. Ком. сознательно отнюдь не склонен был поддерживать анархию на фронте, понимая, что эта анархия падет на «собственную голову» – через анархию при неустойчивом еще положении «могла придти реставрация стараго порядка» (Суханов). В протоколе Исп. Ком. записано: «Делегация от ген. Рузскаго сообщает, что ...начинается полное неподчинение власти[345]. Положение крайне тяжелое. Необходим приезд на фронт известных популярных общественных работников, чтобы внести хоть какое-нибудь спокойствие в армии. По обсуждении этого вопроса признано необходимым командировать одного представителя в Псков, задержать приказ № 2[346] и послать телеграммы на фронт, разъясняющия, что приказы №№ 1–2 относятся к петроградскому гарнизону, а по отношению к армии фронта будут немедленно выработаны особыя правила в соответствии с основным положением новаго государственнаго строя[347].

Гучков в воспоминаниях говорит, что он 4-го (3-го был занят отречением) телеграфировал в Ставку, прося принять меры против распространения «приказа № 1». В опубликованных документах это распоряжение военнаго министра не нашло себе никакой отметки, но, как мы видели, имеются указания противоположнаго свойства. Из центра на «приказ № 1» по собственной инициативе реагировал только Пуришкевич, пославший главнокомандующему Западным фронтом телеграмму: ..."распространяемый агитаторами на фронте приказ № 1 Совета Р. и С. Д. о неповиновении солдат офицерам и неисполнении распоряжений новаго временнаго правительства является злостной провокацией, что

удостоверено особым объявлением министра юстиции Керенскаго и председателя Совета Р. и С. Д. Чхеидзе, напечатанным в № 7 «Известий» комитета петроградских журналистов от 3 марта, а также в «Известиях Совета Р. и С. Д.». Пуришкевич решительно все перепутал, ибо заявление, на которое он ссылался, касалось вовсе не «приказа № 1», а той прокламации, которая была выпущена группой «междурайонных» и «левых» с.-р. 1 марта и распространение которой, как мы говорили, пытался задержать Исп. Ком. Ген. Эверт запросил указаний Ставки: надлежит ли телеграмму члена Гос. Думы объявить в приказах армиям?

При сопоставлении отправленной Алексеевым поздно вечером 6-го телеграммы, в которой он говорил о неполучении ответов от правительства и необходимости или доверия или смены начальников, с вечерним же более ранним разговором по юзу с Львовым и Гучковым бросается в глаза противоречие – Львов определенно осведомлял нач. верх. штаба: «сегодня ночью выезжают на все фронты официальные депутаты Думы, вчера было напечатано объявление от Врем. Правит, гражданам, сегодня печатается такое-же обращение к войскам». Но это противоречие только кажущееся. В действительности никакого ответа на те реальныя проблемы, которыя стали перед фронтом, командование не получило. Одно только – Гучков «убедительно» просил еще 4 марта «не принимать суровых мер против участников безпорядка»: «оне только подольют масло в огонь и помешают тому успокоению в центре, которое теперь наступает. Без центра мы не успокоим и фронт». Договориться в данном случае оказалось невозможным, так как Гучков прервал беседу, будучи «спешно вызван в Совет министров». Психологию момента Гучков, конечно, учитывал правильно, и всетаки остается непонятным, почему ни Правительство, ни военный министр в частности не выступили с решительным протестом и формальным запретом тех сепаратных действий самочинных делегаций, против которых взывало фронтовое командование.

Внутренне Алексеев негодовал. Значительно позже, когда Алексеев был отстранен от руководства армией, он писал находившемуся в отставке ген. Скугаревскому: «за этот «контр-революционный» приказ разнузданная печать... требовала в отношении меня крутых мер. Ко мне правительством был командирован генерал, имя котораго после возрождения нашей армии будет записано на позорную доску, чтобы убедить меня в необходимости отменить приказ» (в своем дневнике Алексеев пояснил, что здесь имеется в виду Поливанов). Молчание правительства приводило к тому, что весь одиум борьбы с эксцессами

революции на фронте во вне, в сознании широких кругов «революционной демократии», вновь переносился на реакционность Ставки. В запоздалых (сравнительно с требованиями фронта) правительственных воззваниях к армии, появившихся 8 и 9 марта, признавалось, что перемены в армейском быту могут происходить лишь распоряжением правительства, что повиновение – основа армии, что «глубоко прискорбны и совершенно неуместны» всякия самоуправства и оскорбительныя действия в отношении офицеров, героически сражавшихся за родину, и без содействия которых «невозможно укрепление новаго строя», но в этих воззваниях не было того конкретнаго, чего требовала армейская жизнь. Слов говорилось уже достаточно. Что это безволие, диктуемое «психозом свободы» – своего рода болезнь времени или боязнь раздражить леваго партнера, с которым представители военнаго министерства договорились в учрежденной уже так называемой поливановской комиссии по реформированию армейскаго быта? Отсутствие времени для продуманнаго действия в лихорадочной обстановке общественнаго кипения?[348].

Мы знаем, как сами члены Правительства в официальных беседах с представителями высшаго военнаго командования на фронте объясняли свое поведение – напомним, что Львов жаловался Алексееву 6-го: «догнать бурное развитие невозможно, события несут нас, а не мы ими управляем», а Гучков в письме 9-го, помеченном «в. секретно», «в собственныя руки»[349], пытаясь «установить одинаковое понимание современнаго положения дел, считаясь в оценке последняго лишь с жестокой действительностью, отбросив всякия иллюзии», давал свою знаменитую характеристику безсилия Врем. Правительства: «Врем. Пр. не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех рзамерах, как допускает Совет Р. и С. Д., который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железная дорога, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Вр. Правит. существует лишь, пока это допускается Советом. Р. и С. Д. В частности, по военному ведомству ныне представляется возможным отдавать лишь те распоряжения, которыя не идут коренным образом вразрез с постановлениями вышеназваннаго Совета»: Хотя военный министр и просил врем. и. д. наштоверха «верить, что действительное положение вещей таково», едва ли надо еще раз подчеркнуть, что Гучков безконечно преувеличивает те дефекты, которые существовали в организации власти, и совершенно игнорировал тогда тот моральный авторитет и ту исключительную популярность, которые имело в стране в первые дни революции, а, может быть, и недели, Временное

Правительство. Думается, объяснение надо искать в другом – в известном гипнозе, порожденном событиями. Казалось, что Петербург в революционное время – это пуп русской земли[350]. Надо добиться положительных результатов в центре – все остальное приложится само собой; мысль эту и выразил Гучков в более раннем разговоре с Алексеевым.

Централистическая гипертрофия приводила к тому, что взаимоотношения Правительства и Ставки устанавливались разговорами по юзу, командировками офицеров, «осведомленных... в деталях создавшейся и Петербурге обстановки» и т. д., и не являлась даже мысль о необходимости в первые же дни непосредственнаго свидания для выработки однородной совместной тактики. Казалось бы, что это было тем более необходимо, что военная психология (не кастовая, а профессиональная) неизбежно должна была расходиться с навыками общественными. Много позже, будучи временно не у дел в Смоленске, ген. Алексеев писал Родзянко (25 июля): ..."Я сильно отстал и психологии деятелей нашей революции постичь не могу». Дело не в том, что Алексеев «отстал» – он был, кончено, органически чужд тому революционному процессу, который происходил. Лишь присущий ему особо проникновенный патриотизм сделал его «революционером» и заставил его приспособляться к чуждому миру. «Цензовая общественность» – думский политический круг должен был служить мостом к общественности революционной, которая своими крайними и уродливыми подчас проявлениями должна была отталкивать честнаго военнаго деятеля, отдавшаго душу свою исполнению долга во время войны и боявшагося, что «социалистическия бредни» заслонят собой «Россию и родину».

Необходимость контакта почувствовал и Гучков, когда писал свое конфиденциальное сообщение 9 марта. И тем не менее военный министр незамедлительно не выехал в Ставку и не вызвал к себе ген. Алексеева: «подробности современнаго положения дел вам доложат – писал Гучков – командируемые мною полк. Соттеруп и кн. Туманов, вполне осведомленные... в деталях создавшейся в Петрограде обстановки, ибо оба названные штаб-офицера находились с первых же дней революции в Гос. Думе и в близком общении, как с членами Врем. Правит., так и членами Совета Р. и С. Д.». Сам же Гучков, выехавший на другой день на фронт, начал свой объезд с периферии. 11 марта он был в Риге – в районе 12 армии Радко Дмитриева[351]. 13-го прибыл в Псков, где «сразу же было... совещание... по вопросам, связанным с брожением в войсках». «Гучков – записывает в дневник Болдырев – как единственное средство успокоения,

рекомендует различныя уступки»; «Мы не власть, а видимость власти, физическия силы у Совета Р. и С. Д.». «Безпомощность» Врем. Пр. – странный тезис в устах представители власти на фронте – была основной темой речи военнаго министра и на последующих совещаниях, и на разных фронтах: через две недели почти в таких же выражениях говорит он в Минске: «мы только власть по имени, в действительности власть принадлежит нескольким крайним социалистам, водителям солдатской толпы, которые завтра же нас могут арестовать и разстрелять (в записи Легра, которую мы цитируем, не упомянуты Советы, как таковые). Что это: реалистическая оценка безвыходнаго положения[352], или совершенно определенная тактика, подготовлявшая среди командnаго состава, принявшаго переворот, осуществление плана, который наметил себе Гучков?

Только 17-го собрались поехать в Ставку члены Правительства. Сведения об этой поездке в печать проникли очень скудно. В «Рус. Вед.» довольно глухо было сказано, что «линия общей работы найдена». Лукомский в воспоминаниях передает лишь внешния черты посещения революционными министрами Ставки, зафиксировав момент приезда, когда министры по очереди выходили на перрон из вагона и, представляясь толпе, говорили речи: «совсем как выход царей в оперетке» – сказал кто-то из стоявших рядом с генералом. Повидимому, декларативных речей было сказано не мало[353]. Возможно, что декларативной стороной и ограничился главный смысл посещения министрами Ставки... Как видно из «секретнаго» циркулярнаго сообщения, разосланнаго за подписью Лукомскаго, в Ставке 18-го происходило деловое совещание с «представителями центральнаго управления» для выяснения вопросов «боеспособности армии». Совещание пришло к выводу, что Правительство должно «определенно и ясно» сообщить союзникам, что Россия не может выполнить обязательств, принятых на конференциях в Шантильи и Петрограде, т. е., не может привести в исполнение намеченныя весной активныя операции. Деникин, со слов ген. Потапова, передает, что Правительство вынесло отрицательное впечатление от Ставки. Если не по воспоминаниям, то по частным письмам того времени – и с такой неожиданной стороны, как в. кн. Серг. Мих. – вытекает, что само правительство в Ставке произвело скорее хорошее впечатление. 19 марта Серг. Мих. писал: «все в восторге, но кто покорил всех, так это Керенский».

II. Революция и война

1. Симптомы разложения

Временному Правительству и верховному командованию предстояло практически разрешить проблему исключительно трудную – сочетать стремления революции с задачами продолжающейся войны. В предфевральские дни сознание сложности этой проблемы при сохранении жизненных интересов страны, конечно, не чуждо было представителям социалистических партий – за исключением, быть может, упорных догматиков крайняго толка. Страх перед возможной катастрофой клал преграду революционной пропаганде и мешал «подлым софистам » (по выражению Ленина) приложить провокационно, т. е. преждевременно, свою печать к грядущим событиям.

Фронт не мог быть изолированным оазисом в атмосфере той психологии фаталистически неизбежнаго, которая охватила накануне стихийно разыгравшихся событий все круги и все слои русской общественности и обостряла до крайности напряженность ожиданий народных масс... «Недовольство в народе становится сильнее и сильнее... Революция неминуема» – это запись 2 февраля в дневнике боевого генерала на фронте – Селивачева (8 марта, после событий, Селивачев записал: «несомненно, что после войны революция была бы более кровавая, а теперь – провинция просто таки присоединилась»).

Как уже указывалось, перелюстрированныя солдатския письма с фронта в значительной степени можно было бы охарактеризовать выражением в одном из этих писем: «Мы стоим на пороге великих событий». Среди перелюстрированнаго департаментом полиции материала имеется документ, представляющий особый интерес, ибо он был переслан в Ставку военным министром Беляевым для ознакомления войсковых начальников. Задержанное «письмо» с фронта, написанное партийным человеком большевицкаго склада мыслей, набрасывало целую программу революционнаго выступления *после войны* , окончание которой «скоро или не очень скоро» несомненно приближается. Все наблюдения, которыя автор вынес из своих скитаний «по запасным батальонам и по фронту», приводили его к заключению, что у правительства может и не оказаться силы для подавления неизбежных рабочих и крестьянских «безпорядков». Армия в тылу и « *в особенности на фронте* , полна элементов, из которых одни способны стать активной силой возстания, а другие могут лишь отказаться от усмирительнаго действия». Весь этот « революционный элемент» надо спаять для того, чтобы поднять знамя

солдатскаго возстания. Ген. Клембовский (и. д. нач. шт. верх. главнок.) разослал «совершенно секретно в собственный руки» начальников предложение военнаго министра дать отзыв о намеченном министерством агитационном плане «всеми зависящими средствами» парализовать в зародыше «преступную работу» в армии. Мы знаем только ответ Рузскаго, высказавшагося против устройства в войсках бесед на политическия темы, ибо это приведет лишь к «опасности возникновения в армии более интенсивных подпольных течений». «До настоящаго времени в воинском строю проводится взгляд, что армия должна стоять вне политики и поэтому не следует «искусственно привлекать ея внимание к этому вопросу». Рузский подчеркивал, что единственным средством борьбы с революционной пропагандой является изжитие «тяжелаго кризиса внутренней жизни страны...» «нельзя упускать из виду, что современная армия... представляет собой однородную с прочим тыловым населением массу и естественно отражает в себе те настроения, помыслы и стремления, которые суммируются в другой половине ея». Были попытки представить революцию плодом «отрицания войны». Эту аргументацию по соображениям больше политическим, нежели в соответствии с фактами, развил в нервом и единственном заседании Учред. Собрания официальный докладчик партии с.-р. о «мире» – Тимофеев. Первое слово Учр. Собр. должно быть о «мире» – этом «чаянии измученнаго, истомленнаго войной трудового народа». Оратор старался вырвать приоритет у большевиков своими рискованными без оговорок утверждениями. Для Троцкаго в «истории» революции главным лозунгом февральских дней остается лозунг: «долой войну»...

Отдельными иллюстрациями, взятыми из жизни – сложной и многообразной, пожалуй, почти всегда можно подтвердить любой тезис и в особенности тогда, когда речь идет о неуловимой с точки зрения статистических выкладок народной психологии. В истории не может быть фактически принят сомнительный сам по себе метод американских «институтов общественнаго мнения'". Обобщающия впечатления современников могут быть ошибочны и субъективны, как, напр., уверенность будущаго правительственнаго комиссара при Верховной Ставке Станкевича – для него «несомненно», что «переворот был вызван народным ощущением тяжести войны»[354]; столь же «ясно» было и будущему военному министру Верховскому, что массы поняли революцию, «как немедленное прекращение войны». «Когда пришли к нам и сказали о великом перевороте, все солдаты сказали: «славу Богу, может быть, теперь мир скоро будет заключен» – вспоминал на совещании

Советов 30 марта Остроумов, солдат большевицкаго уже склада, явившийся «прямо из окопов». Боевой генерал Селивачев, несколько пессимистичный в записях своего дневника, скажет с своей стороны, что «совершившийся переворот притянул к себе мысли армии, которая безусловно ждала, что с новым правительством будет окончена война». Еще определеннее было мнение Набокова, принадлежавшаго к числу тех, которые полагали, что одной из причин революции было утомление от войны и нежелание ее продолжать. Но только мнение это сложилось уже в процессе революции и сильно отражало в себе слишком субъективное восприятие действительности. В сознании Набокова вырисовывался единственно разумный выход – сепаратный мир[355]. Набоков высказал свое убеждение Милюкову, который «решительно» не согласился, однако, с этим и считал, что «без войны скорей бы все разсыпалось».

Наличия таких разговоров не отрицает и официальная сводка Алексеева – их слышали, как было упомянуто, депутаты Янушкевич и Филоненко, в *одном* полку первой армии при объезде Севернаго фронта. Командующий 5-ой армией на Северном фронте Драгомиров в донесении Рузскому 29-го марта совершенно ясно определил эту психологию «опаснаго свойства», которая стала замечать ея в его армии после «некотораго успокоения» «в первые дни», и которая свидетельствовала, по его мнению, об упадке боевого настроения. «Первые дни подряд – писал Драгомиров – ко мне приходили полки, стоявшие в резерве, с заявлением своей готовности по первому моему требованию итти, куда угодно, и сложить голову за родину». На практике «крайне неохотно отзываются на каждый приказ итти в иконы»[356]; «Все помыслы солдат обращены на тыл. Каждый только думает о том, скоро ли ему очередь итти в резерв, и все мечты сводятся к тому, чтобы быть в Двинске. За последние дни настойчиво живут мыслью, что они достаточно воевали, и пора их отвести в далекие тыловые города, а на их место поставить войска Петроградскаго округа и других больших городов».

Большевицкие изследователи спешат (не слишком ли опрометчиво!) сделать вывод: мир – «таков был первый непосредственный *вывод каждаго* солдата», получившаго известие о революции. Правда, сама по себе это несколько иная постановка вопроса, нежели та, что формулируется словами: «под знаком отрицания войны родилась русская революция». Подобная концепция связана с утверждением, принявшим, естественно, парадоксальный вид у Троцкаго: «Революция обнаружила то, что случилось до нея»... «безнадежно было нравственное состояние. Его можно определить так: армии, как армии, уже не было». Парадокс

поддержал Чернов: новой властью армия «была унаследована от старой в состоянии еле сдерживаемаго разложения. Не революция разложила армию. Противоположное мнение основано на том, что только после революции это подспудное разложение целиком вышло наружу». Тайное стало явным. «Что раньше проявлялось в ней спорадически, в виде отдельных внезапных судорожных конвульсий, то проступило ясной для всех наружной синью»... Этот тезис развивал и Керенский в воспоминаниях, предназначавшихся для иностранных читателей – он утверждал, что в армии к 17 году исчезла «всякая дисциплина». Еще доныне, в качестве формальнаго главы революционной армии, на московском Государств. Совещании, Керенский шел дальше и называл старую армию, связанную «ненавистными цепями механическаго принуждения», «телом на глиняных ногах и почти без головы».

Конечно, отрицать наличность до революции явлений, которыя могут быть отнесены к числу признаков «разложения» армии на фронте, не приходится, равно, как и зарождение «солдатской вольницы» в тылу. Соответствующие примеры могут быть многочисленны, начиная со свидетельства ген. Крымова, приехавшаго с фронта и утверждавшаго в Петербурге среди общественных деятелей (по крайней мере в передаче Родзянко – явно преувеличенной) за несколько месяцев до переворота, что армия «постепенно разлагается» и что «в течение зимы может просто покинуть окопы и поля сражения». «Из сказаннаго ясно – замечает мемуарист Родзянко – что почва для окончательнаго разложения армии имелась на лицо задолго до переворота»... Еще более мрачную картину «разложения армии» в конце 16 г. набрасывала записка петербургскаго жанд. управления в октябре 16 г., передавая отчасти наблюдения кадетских парламентариев и уполномоченных земскаго и городского союзов, рисующих «чудовищную картину жизни тыла и настроения войск», которая предвещает «скорый конец войны». В этих наблюдениях, переданных через жандармских осведомителей, «моральное разложение» войск смешивается подчас с ростом в них настроений революционных... Очевидно, это не одно и то же. И записка сама совершенно парализует свой вывод, сообщая наблюдения тех же «уполномоченных», что «дух армии был бы великолепен, если бы был хотя несколько выше состав офицеров»...

Останемся в пределах понятия «разложения армии» в прямом смысле слова. Каждый лишний день войны, дававший пищу для «пораженческой» пропаганды, должен был усиливать симптомы, грозившие целости и боеспособности армии, как это наблюдалось на всех фронтах сражавшихся

держав[357]. Но не всякая заразная бацилла, вошедшая в организм, обязательно приводит к болезни. Болезнь возникает всетаки тогда, когда бациллы захватывают весь организм, т. е. тогда, когда организм перестает сопротивляться. Выло ли это в русской армии накануне переворота? Конечно, нет. Неужели не прав был Алексеев, отнюдь не скрывавший болезненных симптомов в жизни старой армии и говоривший в критический момент революции на августовском московском Госуд. Совещании, что в «руки новой власти поступила армия, которая способна была выполнить и далее свой долг и вести многострадальную Россию к скорому окончанию войны». Это была армия относительно «прочная и твердая», сохранившая свою «внутреннюю дисциплину» и сознание своих «нравственных обязанностей», несмотря на все, быть может, теневыя стороны своего быта. Опровергать это положение могут публицисты и политики, но не историки. «Смешно и неумно», по мнению Чернова, сваливать вину за разложение армии на революцию, но с еще большим правом такие эпитеты могут быть приложены к утверждениям противоположнаго характера. Факт слишком очевиден: если не февральский переворот сам по себе, то дальнейший ход революции содействовал постепенному распаду армии – вовсе не надо быть «реакционером», как думает Керенский, чтобы «поддерживать» подобную версию. Однако, все преувеличения, как в ту, так и в другую сторону, надо отнести в плоскость обостреннаго чувства восприятия современников или позднейшей политической полемики[358]. На военном совещании в Ставке 17–18 дек. шестнадцатаго года, исполнявший тогда временно обязанности Алексеева ген. Гурко на пессимистическую оценку Рузскаго исключительно неблагоприятных условий, в которых находится Северный фронт, имеющий такое распропагандированное гнездо, как Рига, сделал, как видно из официальнаго протокола, замечание, что, если бы действительность вполне соответствовала этому пессимизму, то противник давно прорвал бы фронт[359]. В параллель к той трезвой оценке, которую давал Гурко на декабрьском совещании в Ставке, можно сказать, что вопреки многочисленным авторитетным свидетельствам военных специалистов, фронтовыя армии, несмотря на все последующие эксперименты, которые производили над ними кентальские выученики, в течение восьми месяцев революции сохраняли боевыя возможности до последняго дня своего существования[360], т. е. в течение всего до-большевицкаго периода революции организм армии противодействовал заразным бациллам.

Наиболее ярким проявлением разложения армии должно было явиться

дезертирство с фронта. Современная молва до февральской революции доводила это явление в старой армии в годы войны до колоссальной цифры в 2 миллиона чел. Ген. Гурко в своих воспоминаниях называет подобное утверждение «легендой», – и это действительно было легендой, родившейся в дни военных неудач в 15-м году[361]. Припомним заявления министра вн. д. Щербатова в истерической обстановке, царившей в Совете Министров в дни летняго кризиса и описанной в протокольных записях Яхонтова, заявления о «повальной» сдаче в плен под влиянием пораженческой пропаганды. Военные историки старой школы присоединяются в мнению ген. Гурко и склонны ограничиться признанием лишь скромной официальной цифры дезертиров – около 200 т. Но метод изменяется, когда дело касается революции – здесь вне всякой статистики старая ходячая цифра в 2 милл. выступает, как нечто-несомненное: проф. Парс, прикомандированный к русской армии и имевший связи в общ. кругах, утверждает даже в предисловии к книге Керенскаго, что двухмиллионной цифры дезертирство достигло в первые два месяца революции. Откуда заимствовал английский историк свои сведения? Вероятно, он механически повторил ходячую цифру, ибо в основной своей работе он ссылается только на свои личныя воспоминания – так, очевидно, «говорили». 2 миллиона и два месяца – это чрезвычайная гипербола, которую ввел на страницы своих исторических работ о русской революции и ген. Головин[362]. В конце концов реальных данных, свидетельетвующих об увеличении в революционное время дезертирства по сравнению с тем, что было до переворота, нет. Если бы уже в марте происходило такое массовое бегство с фронта, которое было облегчено отсутствием надзора в тылу, то не стал бы Алексеев в официальном рапорте в апреле отмечать факт недельнаго дезертирства (с 1 по 7 апреля) с Севернаго и Западнаго фронта в размере 8 тыс. человек. Очевидно, эта цифра казалась выходящей из ряда обычных. «Эпидемия дезертирства» в революционное время носила несколько специфический характер – это было как бы дезертирство «временное», мотивом котораго являлось опасение, что солдаты на фронте при даровом разделе земли останутся без надела. Черту эту отметил на Северном фронте Рузский, жаловавшийся в письме в Ставку 17 марта на «значительное дезертирство» в его армии, оговариваясь, что точных сведений об этом явлении пока не имеется. Говорит об этом Парс, изображая дело в крайне преувеличенном виде и объясняя пропагандой большевиков, призывавших армию расходиться для того, чтобы принять участие в разделе земли. В первые два месяца влияние большевиков на армию было совершенно незначительно, и оставление

фронта никогда массоваго характера не имело. Любопытен факт, отмеченный некоторыми членами Врем. Комитета, ездившими на фронт, что временные «дезертиры», возвращаясь в полк и узнав о продлении срока явки дезертиров, объявленном правительством, «немедленно едут обратно на родину».

Если бы «армии» не было к моменту революции, она при стихийном напоре и неизбежности еще большаго падения дисциплины, развалилась бы в несколько дней или недель. Внутренняя сопротивляемость «хрупкаго организма» армии свидетельствует о ея дореволюционной крепости. Немцы из окопов кричали: «Русь капут. Русь революция» – передает в своей записи 12 марта бытовую сцену на одном из участков фропта ген. Цихович. Как же реагировала на первых порах на это «Русь» – уже революционная? Отнюдь не сочувственными возгласами: долой войну – лозунгами, запечатленными будто бы в сердце каждаго солдата еще до переворота. Можно привести сотни примеров, почерпнутых из источников разнаго происхождения. Обратимся к цитированному уже «письму офицера» с гвардейскаго фронта, где так резко проявилась в дни революции сословная рознь между офицерами и солдатами, и где особенно «ликовали» немцы. И вот ответ солдатской массы: ..."Сегодня ночью – пишет автор в письме 11 марта – была страшная ураганная канонада правее нас. Оказалось, что немцы наступали на семеновцев, но были отбиты. Солдаты разсказывали, что офицеры говорили, что ничего не будет, и приказывали людям спать в своих норах, что солдаты им не поверили, всю ночь простояли у бойниц, а к утру пошли три немецких цепи – и наклеили же им они»... Днем под звуки марсельезы, заменившей национальный гимн, происходит парад с красными флагами вновь награжденных георгиевских кавалеров. Автор письма подводит итог в смысле боевого настроения: «В атаку пойдем, как один человек, как ходили в начале войны. Но пусть нас ведет не Гольгоер. Иначе солдаты опять скажут, что он хочет от них отделаться... подарить немцам русские трупы». Это требование, прокатившееся, как было указано, по всему фронту[363], само по себе представляет показательное явление и отнюдь не может служить доказательством неудержимаго стремления к «замирению». В особой армии для характеристики настроений может быть отмечено еще одно проявление патриотизма, навеяннаго переворотом. Если верить газетным сообщениям (эту оговорку и мы готовы сделать вслед за авторами «Хроники», откуда заимствуем сведения), к луцкому коменданту с 3 по 16 марта явилось свыше 25 т. дезертиров с просьбой отправить их на фронт. Что такое боевое

настроение, наблюдавшееся в Особой армии, отнюдь не было каким то явлением исключительным, совершенно определенно вытекает из тех официальных армейских сводок, который легли в основу записки ген. Алексеева Правительству. В нашем распоряжении имеется детальная сводка о настроениях в армиях, расположенных на Западном фронте (к сожалению, она напечатана в работе Шляпникова и в собрании документов, озаглавленном «Разложение армии», лишь в значительных выдержках). В донесениях полковых командиров, начальников дивизий и корпусов дается целая гамма разнообразных и противоречивых настроений: одни признают, что «революционная, волна повлияла отрицательно» на армию, другие утверждают, что '"порыв и воодушевление... поднялись... В конце концов сравнительное число положительных и отрицательных оценок имеет второстепенное значение, если учесть возможную субъективность даваемых отзывав в зависимости от настроений самого команднаго состава. Один из информаторов, ген. Киселевский, так и объяснил «значительную долю пессимизма» в отзывах начальников отдельных частей корпуса, находившагося под его началом (9-й арм. корп.) – он должен быть отнесен «за счет настроения офицеров и начальников, которые еще не имеют реальных данных, чтобы вывести иное заключение». Важна наличность характеристик (их немало), типичным образцом которых можно признать донесение командира 169 пех. полка, отметившаго большой подъем духа и стремление довести войну до победнаго конца». Возьмем лишь несколько примеров из сообщений начальников крупных войсковых частей. «Переход к новому строю вызвал подъем духа в войсках» – свидетельствовал командующий гренадерским корпусом Парский: «вначале были довольно крупныя недоразумения... постепенно все начинает успокаиваться». Кузьмин-Караваев, командующий 31 арм. корпусом, доносил, что «протекция события всколыхнули всех, внесли нервность. возбужденность, недоверие в ряде войск» и в то же время в войсках замечается «громадное воодушевление, рвение в бой». «Войска боеспособность не утратили и будут драться молодцом» – писал Соковников, командир 38 арм. корпуса. «Войска 1-го Сибирскаго корп., по словам ген. Теплова, сохранили твердый внутренний порядок и боеспособность на должной высоте». «Высокий подъем духа» (наряду «с упадком дисциплины и взаимным недоверием офицеров и солдат») – отмечал Макеев, нач. 1 кавк. гренад. дивизии и т. д.

Общее заключение в сводке по Западному фронту гласило: «мнения большинства начальствующих лиц сходятся на том, что дисциплина в

войсках упала; доверие между офицерами и солдатами подорвано; нравственная упругость и боеспособность войск значительно понизились». Однако, это «общее заключение» делает оговорку: «многие начальники утверждают, что после переворота стремление войск к победе осталось, а в некоторых частях даже усилилось». «Большинство начальствующих лиц смотрит на будущее спокойно и надеется. что через 1–2 месяца (к половине мая) боеспособность войск будет возстановлена». Такой итог в сущности дает лучший ответ на вопрос, как повлияли февральско-мартовския события на состояние армии и устанавливает ограничительные пределы, в которых должна разсматриваться проблема. Если временный главнокомандующий Западным фронтом Смирнов (Эверт вышел в отставку) был осторожен в выводах своего рапорта в Ставку, то даже в несколько повышенных тонах писал свое заключение главнокомандующий Юго-Зап. фронтом Брусилов: «Революционное движение не отразилось пока на нравственной упругости и духе армии. Сейчас организм армий прочен, дух их высок и даже повышен, они полны порыва, жажды победы, в которую они верят»[364]. Можно было объяснить этот оптимизм впечатлительностью «маловдумчиваго» Брусилова, разсчитывавшаго на свое «военное счастие» (такая характеристика дается ему в дневнике Алексеева), или его опортунизмом, отмечаемым современниками – он стремился занять пост верховнаго главнокомандующаго[365]. Но офпциально выраженное Брусиловым мнение было подтверждено особой телеграммой военному министру, подписанной всеми командующими армиями Юго-Западнаго фронта – и среди них Щербачевым и Калединым. Телеграмма говорила, что на военном совете 18-го единогласно решено, что «наступление вполне возможно» (это наша обязанность перед союзниками, перед Россией и перед всем миром) н, что «армии желают и могут наступать». Телеграмма заканчивалась словами: «мнение Петрограда о ея (армии) состоянии и духе не может решать вопрос; мнение армии обязательно для России; настоящая ея сила здесь на театре войны, а не в тылах».

Настроение «военнаго задора», столь определенно выявившееся в некоторых воинских частях и нарушавшее искусственную схему всякаго рода кентальских выучеников, нельзя было просто стереть с исторических скрижалей – тем более, что такия настроения отнюдь не являлись минутным возбуждением, результатом порыва от слишком сильнаго внутренняго толчка, который дал переворот. Такия настроения были довольно длительны и упорны. Резолюции и соответствующия требования с фронта (не только с фронта, но и от тыловой периферии) продолжали

настойчиво поступать в центр и говорили о «шовинистическом», как выразился меньшевик-интернационалист Суханов, настроении армии или «полушовинистическом», как оговаривались молодые историки из коммунистической школы Покровскаго... Суханов говорит, что после опубликования Советом декларации 14 марта к мировой демократии (о ней ниже) революции поступали сотнями по адресу Врем. Прав. и Совета. Довольно типичной будет резолюция комитета офиц.-солдат. депутатов 42 пех. див., заявлявшаго, что лишь «победный конец войны может закрепить свободу», и что Совет должен «облегчить» правительству дальнейшее ведение войны. За резолюциями, присылаемыми с фронта, слеловали и личныя представления через особых посланцев. Делегация 2-го моторно-понт. бат. протестовала перед лицом Родзянко против призывов к заключению преждевременнаго мира и заявляла, что армия будет поддерживать Правительство при условии «доведения войны до победнаго конца». Выборные от 31 части фронтовых войск докладывали военному министру, что «неясные приказы», требующие прекращения войны, «раздражают и должны исчезнуть». Аналогичный заявления делались не только на приемах у членов Правительства, но и в самом Совете. Вот одно из обращений, напечатанное в «Бирж. Вед.» от имени солдат и офицеров пехотнаго полка, находящагося на передовых позициях: «Здесь на фронте мы, солдаты и офицеры, спокойны и радостно приняли весть о спасении России, если боимся, то только одного, что нам, благодаря проискам уже появившихся темных сил, не дадут закончить победу, начатую внутри России... Безрезультатный конец войны покроет вечным позором имя России. Наши союзники не простят нам предательства. И неужели новая Россия должна быть заклеймена изменой. Мы, солдаты и офицеры, сохраняем полное единство мнений... Несмотря на предательски направляющую волю стараго правительства в течение почти трех лет тяжелой войны, армия всетаки сумела сохранить свою мощь, столь необходимую для конечной победы... Было бы преступно разрушить это, и пусть не смущают слабых духом крики из России: «долой войну». Вы победили врага внутренняго, дайте же нам победить врага внешняго... Не трогайте армию, не мутите ее крайностями, надо помнить, что она может равно спасти и равно погубить Россию».

Приезжавшим с фронта делегациям «оборонческая позиция» Совета представлялась неприемлемой, – это засвидетельствовал никто иной, как один из членов Исп. Ком. Горев, которому было поручено принимать эти делегации. Следовательно, не так уже был неправ докладчик о войне на мартовском съезде к. д., вернувшийся с фронта Щепкин, в своем

утверждении, что лозунги «долой войну» или «война в ничью» – эти главные лозунги февральско-мартовских дней, по словам Троцкаго – встречают в армии «страшнейшее негодование». Такое суждение отнюдь не было только субъективным восприятием человека, желавшаго видеть в действительности подтверждение своих личных взглядов.

Упомянутый Горев скажет, что все резолюции с фронта этого времени не отражали подлинных настроений и желаний солдатских масс, ибо оне вырабатывались '"почти исключительно армейской интеллигенцией» – теми «межеумочными» интеллигентами, которые, по характеристике Суханова, шли па поводу у «буржуазии». Шовинистический задор первых недель явился результатом планомерно организованной агитационной кампании. Резолюции повторяли как бы хорошо «заученный урок». Доля истины имеется в этих одновременно преувеличеных и упрощенных заключениях. Напр., интеллигентский характер процитированнаго выше обращения делегации пехотнаго полка г. Совет несомненен. Была и некоторая директива из центра. Так, напр., Селивачев записывает 18 марта со слов приехавшаго из Петербурга подп. Каминскаго, что желательно, чтобы «по организации комитетов те выносили резолюции о доверии Врем. Правительству, подтверждая это телеграммами последнему, что необходимо, как противовес Совету Р. и С. Д., видимо, желающему подорвать престиж правительства». Патриотические «заученные уроки» во всяком случае не меньше показательны, чем всякие иные митинговые трафареты, свидетельствуюшие о настроениях противоположных[366]. Молниеносных результатов пропаганда не дает, если только она не падает на соответствующую почву и не находит среды, адекватной целям, которых стремится достигнуть. В первые дни после переворота организованной пропаганды на фронте не было, и тем не менее мы видели примеры довольно яркаго проявления «военнаго задора».

Еще более характерными надо признать «шовинистическия» проявления в запасных частях петербургскаго гарнизона, среди котораго до переворота велась «пораженческая» пропаганда, и который в дни переворота находился в непосредственном контакте с рабочими кругами, естественно более пропитанными крайностями Циммервальда. И несколько неожиданно Шляпников признает, что «буржуазии» и «оборонцам» в первое время на столичных митингах удалось создать «буквально погромное настроение против большевиков», т. е. против последовательнаго отрицания войны. Во время первых манифестаций воинских частей у Таврическаго дворца, т. е. манифестаций, которыя не

могли быть хорошо подготовлены и извне инспирированы (особенно «буржуазией»), на знаменах красовались лозунги: «война до полной победы». По утверждению Суханова, депутат Скобелев, тов. пред. Совета, за какое то неосторожное слово о войне «был чуть не поднят на штыки»; такая же судьба едва не постигла какую-то неизвестную большевичку, при приеме Родзянко запаснаго батальона Семеновскаго полка крикнувшую «долой войну». Таким образом «левый» мемуарист целиком подтверждает наблюдения «праваго» мемуариста кн. Мансырева, засвидетельствовавшаго, что в Петербурге разговоры против войны в первые дни вызывали негодование. Довольно знаменательно, что делегаты Московскаго Совета солд. деп. на собрании, где обсуждалась организация предполагаемой 12 марта обще-советской демонстрации мира, согласились в ней участвовать при условии, что не будет плакатов «долой войну» («Рус. Вед.»).

Сам Суханов в своих «записках» почувствовал бросающияся в глаза натянутость и фальшь антивоенной характеристики массовых настроений и заговорил о «мужицко-казарменной» психологии – о той «толще атавизма» и «примитивнаго национализма», которые должна была преодолеть революция. Ведь этим все и сказано. Идеологическая платформа циммервальдцев всех оттенков была чужда психологии масс в момент, когда произошла революция, и нужно было время и благоприятствующия внешния условия для того, чтобы большевицкая пропаганда, облачившись в ленинския формы, возымела надлежащее действие. (См. «Золотой ключ»). В пределах марта обстановка была иная. Поэтому искусственным и рискованным представляется тезис, который пытается защитить военный историк Головин, принявший без критики фактическую канву троцкистской схемы. Я говорю о том «психически коллективном процессе отказа от борьбы», который якобы назрел в массах к моменту революции, и осознать который мешала интеллигенции ея оторванность от низов – попытка итти наперекор стихии вела государство к гибели[367].

С такой априорной характеристикой народных переживаний связывается столь же априорное суждение о примитивности патриотических устремлений масс, не понимавших государственнаго смысла слова "отечество». Ген. Селивачев в дневнике от 11 марта определил это так: «Ожидать счастливаго окончания для нас войны невозможно... Выборный начальник «хам», не зная России и не понимая ея исторических задач, несомненно будет разсуждать так, как и его гражданин-солдат, который знает только свою волость и ее только считает

своим отечеством». Не поддаваясь соблазну сделать экскурс в область народной психологии, ограничимся лишь замечанием, что в ходячей формуле: «мы – пензенские, тамбовские или вятские», столь часто находящей себе место в мемуарных откликах[368], в сущности в гораздо большей степени проявляется фигуральное выражение довольно элементарной истины, что Российская Империя в силу своих географических, топографических и экономических условий располагает огромными оборонительными рессурсами, которых нет в других европейских странах – рессурсами, в борьбе с которыми может спасовать самая усовершенствованная военная техника. В дни второй мировой войны фландрское поражение, предопределившее судьбу Парижа, означало для Франции катастрофу; захват 11 русских губерний (правда, польских, незначительных по размерам), в эпоху перваго мирового катаклизма, никакой государственной катастрофы России не предвещал. Во времена Наполеона западно-европейская практика установила неизбежность капитуляции страны при захвате неприятелем столицы. Военный гений французскаго полководца не ожидал встретить иного в варварской Москве – надежды его оказались обманчивыми и отнюдь даже не в силу особаго народно-патриотическаго подъема (история 1812 года полна прозы). Означало ли «то, что «Россия», как таковая, ничего не говорила крепостному населению, как яко бы не говорила и через столетие народу, освобожденному от поместнаго ига? Отнюдь нет[369].

Воспроизведем в виде иллюстрации довольно яркую сцену, описанную в мартовском дневнике 17 г. ген. Болдыревым. В Пскове 5 марта парад. Войска по «нелепому» распоряжению нач. гарнизона Ушакова выведены без оружия «в виде какой-то сборной команды». «В глазах рябило от красных ленточек и флагов с надписью: «Да здравствует Свободная Россия». На месте собралась огромная толпа. Настроение, как сообщили в штаб, «крайне тревожное». Надо было найти выход для скопившейся энергии. И Болдырев своим зычным голосом, поздравив войска с переходом к новому государственному строю, крикнул: «Да здравствует Россия!» «Раздалось бешенное «ура»... Толпа ревела вместе с солдатами, чувствовалось, что... в этот момент толпу, опьяненную и взвинченную до последняго предела, легко можно было бросить и на подвиг, и на преступление»... После «нескольких горячих слов» Болдырев заявил, что главнокомандующий будет удивлен, видя войска на параде «безоружными», и приказал разойтись по квартирам и прибыть вновь в «положенном уставом виде». Ответ – «громовое ура». Парад состоялся. Говорил Рузский – «тихо, тепло, по-отечески». Его любили, и при отъезде

ему была устроена овация и войсками, и народом, хотя «вензеля на его погонах с буквой Н как-то особенно коробили глаза среди моря революционных знаков»... Русская армия неразрывно связана с мужицкой Русью. Никакой подготовленностью, никаким посторонним влиянием и воздействием нельзя объяснить тот факт, что во всех резолюциях, принимавшихся на крестьянских собраниях в марте, требовалось довести войну «до победнаго конца» и сохранить неприкосновенность территории. Если влияние большевиков в деревне было незначительно[370], то связи с партией, выставившей на своем знамени «Земля и воля», были значительны. В партии сильно было и циммервальдское течение. Очевидно, не крестьяне должны были приспособляться к своим политическим руководителям, а обратно. Не приходится поэтому поддерживать тезис, получивший известную популярность в некоторых русских общественных кругах и нашедший отклик в первых обозрениях революционных событий, который вышли из-под пера иностранцев (напр. Chessin), – тезис, согласно которому, русский солдат на войне сражался не за Россию, а за Императора и с устранением этого символа отпали побудительныя причины для героизма и жертвенности.

2. Победоносная война

Официальная версия происхождения революции, данная партийным оратором в Учредительном Собрании, не может быть отнесена к числу концепций исторических, ибо в значительной степени противоречит фактам. Не потому ли «вождь партии» Чернов, вступив уже на стезю историческую и определяя источники «рождения февральской революции», присоединился к другому объяснению: «решающую роль в наступлении революции сыграла военная неудача, когда перед «общественным мнением и народным сознанием» вырисовался «фактический проигрыш войны». Тогда «страна попробовала спастись революцией». Такая точка зрения несколько неожиданна, ибо коммунистическими писателями она всецело приписывалась «буржуазии», которая пыталась революционному перевороту придать характер «возмущения военными неудачами Царя». В действительности это объяснение почерпнуто из общественных переживаний более ранняго времени – неудач 15 г. и первых разговоров о «дворцовом перевороте» – психологии, с некоторым запозданием переданной Родзянко в послереволюционных воспоминаниях и реально не соответствовавшей личным его настроениям перед революцией. Накануне революции сознания о «фактическом проигрыше войны» уже не могло быть, а тем более убеждения, что «военная энергия армии была уже как бы пулею на излете, безсильно отскакивающей от груди неприятеля». Продолжавшиеся разговоры о перспективах «сепаратнаго мира», как пытались мы показать, (см. мою книгу «Легенда о сепаратном мире») в значительной степени были агитационным политическим орудием. Даже компромиссная концепция, которую в худшем случае допускал в середине 16 г. в. кн. Ник. Мих. – ни победителей, ни побежденных, не ставилась уже в сознании оппозиционной общественности: '"мы не хотим мира без победы» – заявлял ея лидер с кафедры Гос. Думы 15 февраля 17 г.; Милюков, по компетентному свидетельству Набокова, до революции «глубоко верил в «победный конец».

В дни революции старая концепция была подновлена: переворот произошел во имя победоноснаго окончания войны[371] (Госуд. Дума вступила в борьбу с властью «ради победы» – гласило обращение моск. гор. Думы 28 февраля) и достижения исторических задач, лежащих перед Российской Империей. Руководящая идея революции заключалась в победе над германским империализмом – утверждал Родзянко в

московском Государственном Совещании. Наиболее ярким выразителем этих империалистических чаяний передовых слоев «буржуазии» был, как известно, сам лидер этой «цензовой» общественности и первый министр ин. д. революционнаго правительства. Его рупором на ролях народнаго трибуна был депутат Родичев, со свойственным ему пафосом зажигавший слушателей на митингах заманчивой перспективой будущаго величия России. В первый момент революции едва ли мог найтись среди политических деятелей такой оптимизм, который стал бы объяснять петербургский солдатский бунт и рабочую забастовку с призывами «долой войну!», «долой самодержавие», осуществлением отдаленных «национальных» чаяний. Палеолог разсказывает, что 4-го Милюков посетил послов (Франции, Англии и Италии). Прежде чем начать формальный разговор, французский посол попросил официальнаго гостя высказать свое откровенное суждение о положении вещей. В порыве искренности (так казалось послу) Милюков ответил: «в течение 24 часов я переходил от полнаго отчаяния почти к полной уверенности. Мы не хотели этой революции перед лицом врага[372]. Я даже ее не предвидел: она совершилась помимо нас... Теперь дело идет о спасении России, ведя войну до последняго, до победы». Но Милюков ничего реальнаго не мог еще сказать послам – ведь в согласительную ночь вопрос о войне остался открытым. Палеолог был неудовлетворен: люди, которые пришли к власти, по его мнению, не имели ни определенной точки зрения, ни необходимой смелости в такой тревожный момент; надо в рядах Совета искать энергичных людей с инициативой. Первый «манифест» новаго правительства по своему сдержанному тону о войне привел посла даже в негодование: хотя и была упомянута верность союзным обязательствам и обещана война до победы, но ничего не было сказано о прусском милитаризме и о целях союзников. Дантон и Гамбетта говорили по другому. Свое недовольство Палеолог тотчас же выразил министру ин. д., на что последовал ответ: «предоставьте мне время», причем министр обещал найти в ближайший срок повод удовлетворить дипломатических представителей союзных держав.

Повод представился 11 марта, когда послы вручали в Мариинском дворце новому, признанному державами, правительству свои доверительныя грамоты. В ответной речи русский министр сказал: «Временное Правительство, одушевленное теми же намерениями и проникнутое тем же пониманием задач войны, как и союзные с нами народы, ныне приносит для осуществления этой задачи новыя силы. Великия идеи освобождения народностей и создания прочных

международных отношений – идеи, осуществление которых невозможно без решительной борьбы, ныне получают новую и твердую опору в идеалах русской демократии. Два новых препятствия стоят на пути осуществления этих идеалов. Одно заключается в тех стремлениях наших противников достигнуть мирового преобладания за счет других народов, которыя явились главной причиной мирового конфликта. Мы все сознаем громадную опасность этих стремлений и мы твердо решились вместе с вами употребить все силы и принести все жертвы для окончательнаго устранения их и для создания условий прочнаго мира путем решительной победы. Но было и другое препятствие: это наш старый порядок, ныне разрушенный. Государственная Дума и вся страна убедились, что при этом порядке, лишавшем нас всякой возможности организовать страну для решительнаго національнаго усилия, победа нами достигнута быть не может. *Это убеждение сделалось даже первым источником совершеннаго народом переворота.* Могу вас уверить, что исход этого переворота не может противоречить его причине. Взгляните кругом – и вы увидите, что желания ваши уже осуществились[373]. Рабочие уже стоят у станков, порядок уже господствует на улицах – дисциплина возстанаdливается в войсках. И по мере того, как сглаживаются эти второстепенныя черты, сопровождающия всякую насильственную перемену, все ярче вырисовывается перед нами ея основная сущность. Вместо старой власти сам народ стоит пред вами во всеоружии своей силы. И эту силу он приносит для скорейшаго осуществления тех великих задач, за которыя в течение двух с половиной лет мы вместе с вами боремся и несем несчетныя жертвы. Мы рады встретить с вашей стороны правильную оценку нашей силы, *удвоенной* переворотом»... В тот же день на приеме иностранных журналистов Милюков высказался еще определеннее: «русская революция произведена была для того, чтобы устранить препятствия на пути России к победе». Такая версия происхождения революции могла быть дана только потому, что в настроениях, проявившихся в массах в первые дни, раздалась, как бы, созвучная ей нота. Но, конечно, это созвучие было только внешним, посколько речь идет о той формулировке национальных задач, какую через 10 дней дал министр ин. д. Накануне партийнаго съезда, 22 марта, в беседе с журналистами по поводу вступления Соед. Штатов в войну, Милюков разъяснил смысл «победнаго конца» – тогда было сказано о жизненном значении для России приобретения Константинополя и проливов, при чем министр отметил, что этими претензиями русские «ничуть» не посягают на национальныя права Турции, и что никто не в праве бросить России упрек

в «захватных тенденциях» – обладание Царьградом всегда считалось национальной задачей России[374].

Интеллигентския построения, рожденныя в умах кабинетных теоретиков вне реальных условий жизни, всегда будут чужды психологии народных масс. Трудно себе представить, что через 2 1/2 года изнурительной войны, всей своей тяжестью легшей на хребет трудового народа, могли бы найти хоть какой-либо отклик призывы к осуществлению таких весьма проблематичных и спорных «исконных национальных задач», к числу которых следует отнести «византийскую мечту»[375]. Народ, «несмотря на то, что сер, отлично понимает основы государственной мудрости» – утверждал на съезде к. д. Н. Н. Щепкин, характеризуя настроения солдат на Западном фронте. Вероятно, этот «народ» мог бы только присоединиться к словам Короленко, написанным в письме к другу 18 июня 16 г.: «Я не вижу в войне ничего кроме печальнейшей необходимости». Никакая идеологическая война никогда не будет воспринята и осознана в массах независимо от их культурнаго состояния. Это значит, что победный конец реалистично мог мыслиться в народном сознании только, как «замирение»[376], при условии, что немец будет прогнан с русской территории. Идеологическая война в те годы вообще была чужда психологии демократии – ея квалифицированным представителям из интеллигенции. Отвлеченная концепция, вдохновлявшая, напр., старых народников Крапоткина и Чайковскаго, которые видели оправдание мировому катаклизму в борьбе двух культур – латинской, несущей мировой прогресс, и германской, знаменующей собой реакцию в Европе, не имела корней в революционной среде. Среди видных представителей демократии было немало таких, которые, будучи одинаково чуждыми циммервальдским настроениям и толстовскому пацифизму и примыкая к позиции «оборончества», стояли в стороне от психоза войны с его нездоровой атмосферой националистическаго задора – в их представлении национальные интересы России властно требовали конца войны, поэтому Плеханов в концепцию идеологической платформы вносил поправку – прекращения «кровопролитной» войны и соглашения с Германией с момента, как там произойдет революция. Таким образом лозунг «до победнаго конца» сам по себе в среде демократии получал ограничительное толкование.

3. Вокруг советскаго «манифеста»

«Безумным и преступным ребячеством звучит эта корявая прокламация: »...немедленное прекращение кровавой бойни», – записывает Гиппиус в дневнике 9 марта по поводу одного выступления большевиков... «В этом «немедля» только может быть или извращенное толстовство или неприкрытое преступление. Но вот что нужно и можно «немедля». Нужно, не медля ни дня, объявить именно от новаго русскаго нашего правительства русское новое военное «во имя»... Конкретно: необходима абсолютно ясная и твердая декларация насчет наших целей войны». Что же надо сказать русскому народу? На это пытался ответить такой психолог народной души и знаток народнаго быта, как Короленко, в статье «Отечество в опасности», напечатанной в газетах 15 марта.

Обращение писателя вызвано было воззванием Времен. Правительства, написанным Набоковым, в котором недвусмысленно говорилось о «надвигающейся и уже близкой» опасности со стороны внешняго врага: ..."прислушайтесь! Назревают и вскоре могут наступить грозныя события. Не дремлющий, еще сильный враг уже понял, что великий переворот, разрушивший старые порядки, внес временное замешательство в жизнь нашей родины. Он напрягает последнее усилие, чтобы воспользоваться положением и нанести нам тяжкий удар. Он стягивает, что может, к нашему фронту. С наступлением весны его многочисленный флот получит свободу действий и станет угрожать столице. Враг вложит все силы свои в этот напор. Если бы ему удалось сломить сопротивление наше и одержать победу, это будет победа над новым строем, над освободившейся Россией. Все, достигнутое народом, будет отнято этим ударом. Прусский фельдфебель примется хозяйничать у нас и наведет свой порядок. И первым делом его будет возстановление власти Императора, порабощение народа». В обращении военнаго министра еще определеннее говорилось, что по полученным сведениям «немцы, узнав о происшедших в России событиях, спешно стягивают силы к Северному фронту, решив нанести удар Петрограду». Многим впоследствии казалось, что Правительство сознательно несколько форсировало, по тактическим соображениям, положение, но, повидимому, нависшая угроза в те дни казалась реальной под влиянием телеграммы Алексеева 9 марта о подготовке немцами «сильнаго удара в направлении на Петроград»... Исполнявший фактически обязанности верховнаго главнокомандующаго, настаивая на принятии «самых решительных и

энергичных мер к уничтожению поводов разложения армии», указывал, что операции немцев могут «заставить нас совершенно очистить направление на Петроград», и что немцы «в июле месяце могут при удаче достигнуть столицы. Потеря же столицы, в которой сосредоточено главнейшее производство боевых припасов, знаменует собой наше поражение, конец войны, кровопролитную междоусобную войну и ярмо Германии. Надо твердо и определенно помнить, что ныне все *без различия партий* не только вполне примирятся с происшедшим переворотом, но и будут приветствовать свободу России лишь при условии доведения войны до победоноснаго конца[377]. В противном случае вне всякаго сомнения значительная часть населения припишет неудачи тому, что переворот произведен в настоящее время, будут искать виновников, будут мстить и междоусобица неизбежна». Позже Алексеев признал ошибочность своих предположений и 30-го писал Гучкову, что «нет никаких реальных данных, указывающих на продвижение немцев».

По поводу этой надвигающейся опасности и написал Короленко. Позиция его столь показательна, что приведем из несколько позабытой статьи большую цитату: «Телеграммы военнаго министра и Временнаго Правительства бьют тревогу. Опасность надвигается. Будьте готовы. К чему? К торжеству свободы? К ликованию? К скорейшему устройству будущаго? Нет, к сражениям, к битвам, к пролитию своей и чужой крови. Это не только грозно, но и ужасно. Ужасно, что эти призывы приходится слышать не от одних военных, чья профессия – кровавое дело войны на защиту родины, но и от нас, 70 писателей, чей голос звучит естественнее в призывах к любви и миру, к общественному братству и солидарности, кто всегда будил благородную мечту о том времени, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся... Тревога звучит, ширится, облекает страну. Я желал бы, чтобы голос печати звучал, как труба на заре, чтобы подхватить его, передать дальше, разнести всюду до самых дальних углов, заронить в наименее чуткия сердца, в самыя безпечныя души. Тревога. Тревога. Смотрите в одну сторону. Делайте в эти дни одно дело, им довлеющее. С запада идет туча, какая когда-то надвигалась на Русь с востока. И она готова опять покрыть тенью родную землю, над которой только что засияло солнце свободы. До сих пор я не написал еще ни одного слова с таким призывом, но не потому, чтобы я и прежде не считал обязательной защиту родины. Правда, я считаю безумной свалку народов, озарившую кровавым пожаром европейский мир и грозящую перекинуться в другия части света, великим преступлением, от ответственности за которое не свободно ни одно правительство, ни одно государство. И когда

наступит время мирных переговоров, то, по моему глубокому убеждению, эта истина должна лечь в основу для того, чтобы этот ужас не повторялся. Нужно быть на страже великаго сокровища – мира, которое не сумели оберечь для нас правительства королей(?) и дипломаты. Когда это несчастье готово было разразиться (я говорю ото искренне и с сознанием всего значения слова), я не пожалел бы отдать остаток жизни тем, кто мог бы с каким-нибудь вероятием успеха противодействовать этому безумию деятельною идеею человеческаго братства. Она давно зародилась в благороднейших умах и пускала уже ростки в человечестве. Да, за это дело стоило бы отдать жизнь, если бы была малейшая надежда удержать море вражды и крови. Но ростки международнаго братства еще безсильны, как игрушечныя плотины перед порывом моря, и ничего удержать не могли. Это не упрек идее международнаго братства. Слабая вначале идея часто со временем завоевывает мир. Но теперь, пока она слаба, в действительности она может служить опорой благородной мечте, утешением, но не средством защиты. Это дальний огонь, но не указание ближайших путей в виду страшной опасности. А речь идет именно о том, что надвигается, что уже близко, что закрывает нам свет, требует немедленнаго ответа. Оно может на столетие положить тяжелый гнет на жизнь поколений. Вот почему я чувствую повелительную обязанность заговорить о предмете, мне не свойственном в обычные дни, чтобы передать моим согражданам свою тревогу. Россия только что совершила великое дело, свергла вековое иго... Если бы теперь немецкое знамя развернулось над нашей землей, то всюду рядом с ним развернулось бы также мрачное знамя реставрации, знамя возстановления деспотическаго строя... Для отражения этой опасности Россия должна стоять у своего порога с удвоенной, с удесятеренной энергией. Перед этой грозой забудем распри, отложим споры о будущем. Долой партийное местничество. Долой – призыв к раздорам. Пусть историческая роковая минута застанет Россию готовой. Пусть все смотрят в одну сторону, откуда раздается тяжелый топот германца и грохот его орудий. Задача ближайшаго дня – отразить нашествие, оградить родину и ея свободу... Оставим же будущему дню его злобу и его вопросы. Теперь одно внимание, внимание в этот великий решительный час. Нужно не только радоваться и пользоваться свободой, но и заслужить ее до конца. А заслужить можно одним – последним усилием для отражения противника. Работа на фронте и в тылу, на всяком месте, до отражения опасности, до конца великой войны. Может быть, это время уже близко; близок день, когда на великое совещание мира явятся в семью европейских народов делегаты России и скажут: мы вошли в войну

рабами, но к концу ея приходим свободными. Выслушайте же голос свободной России. Она скажет теперь не то слово, которое сказали бы царские дипломаты. У Свободной России есть, что сказать на великом совещании народов, которое должно положить основы долгаго прочнаго мира».

Хотя «циммервальдцы» из Исп. Ком. возмущались тем, что статья знаменитаго писателя появилась в «Известиях» без всяких комментариев, она в основном, которое определяло реальную политику дня в отношении войны, звучала почти в унисон с напечатанным в тот же день обращением к «народам всего мира», принятым Советом. Это было в сущности обращение к «пролетариату», даже с привычным с. д. лозунгом «пролетарии всех стран соединяйтесь». «Наша победа, – гласило воззвание, – есть великая победа всемирной свободы и демократии. Нет больше главнаго устоя мировой реакции и «жандарма Европы»... Русский народ обладает полной политической свободой. Он может ныне сказать свое властное слово во внутреннем самоопределении страны и во внешней ея политике.. И обращаясь ко всем народам, истребляемым и разоряемым в чудовищной войне, мы заявляем, что наступила пора начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран, наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире. И мы обращаемся к нашим, братьям пролетариям австро-германской коалиции и прежде всего к германскому пролетариату. С первых дней войны вас убеждали в том, что, подымая оружие против самодержавной России, вы защищаете культуру Европы от азиатскаго деспотизма. Многие из вас видели в этом оправдание той поддержки, которую вы оказали войне[378]. Ныне не стало и этого оправдания: демократическая Россия не может быть угрозой свободе и цивилизации. Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от всяких реакционных посягательств – как изнутри, так извне... Русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силой. Но мы призываем вас: сбросьте с себя иго вашего самодержавнаго порядка подобно тому, как русский народ стряхнул с себя царское самовластие; откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров, и дружескими объединенными усилиями мы прекратим страшную бойню, позорящую человечество и омрачающую великие дни рождения русской свободы»...

Прочитав советское воззвание 14 марта, Гиппиус записала: «не плохо, несмотря на некоторыя места... Сущность мне близка... Общий тон отнюдь не «долой войну» немедленно, а наоборот «защищать свободу своей земли

до последней капли крови». «Манифест» 14 марта был первым официальным выражением отношения Совета к войне. «Очень хорошо, – замечала Гиппиус в дневнике, – что Совет РД. по поводу войны, наконец, высказался. Очень нехорошо, что молчит Вр. Пр. Ему надо бы тут перескакать Совет, а оно молчит, и дни идут и даже неизвестно, что и когда оно скажет. Непростительная ошибка. Теперь, если и надумают что-нибудь, все будет с опозданием, в хвосте».

Советский документ явился результатом компромисса. Проект «манифеста» первоначально составлен был Горьким, но он не удовлетворил членов Исп. Ком. Взялся его переделать Суханов. «Тут были две Сциллы и две Харибды», – вспоминает он в своих позднейших «Записках»: «надо было, с одной стороны, соблюсти «циммервальд», тщательно избежать всякаго «оборончества», а с другой стороны надо было «подойти к солдату», мыслящему о немце по старому, и надо было парализовать всякую игру на «открытие фронта» Советом, на Вильгельма, который «слопает революцию». Эта противоречивость требований заставила танцовать на лезвие под страхом скувырнуться в ту, либо в другую сторону. И, конечно, это не могло не отразиться роковым образом на содержании манифеста. Во-вторых, Сцилла и Харибда были в самых условиях прохождения манифеста через Исп. Ком.: правые тянули к прямому и откровенному оборончеству, социал-патриотизму, совпадавшему... с солдатско-обывательским настроением. Левые, напротив, как огня, боялись «шовинизма»... Именно всем этим, в огромной степени, объясняется слабость этого важнаго документа, революции»[379].

Обстановка заседания Совета 14-го при обсуждении «манифеста» подчеркнула очень ярко, вопреки намерениям Суханова и других, как раз ту именно «сущность», которую отметил процитированный выше дневник не «советскаго» общественнаго деятеля. Это сделали, прежде всего, «незаконные комментарии» самого председателя Совета. Чхеидзе сказал: «Наше предложение не прекраснодушие, не мечта. Ведь, обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки. И прежде, чем говорить о мире, мы предлагаем немцам подражать нам и свергнуть Вильгельма, ввергшаго народ в войну, точно так же, как мы свергли наше самодержавие. Если немцы не обратят на наш призыв внимания, то мы будем бороться за нашу свободу до последней капли крови. Предложение мы делаем с оружием в руках. Лозунг воззвания – «долой Вильгельма!» Тут же «выборный командир» Измайловскаго полка обратился к собранию с горячей речью: «я – старый солдат.... Сейчас... решается вопрос, быть или не быть России и завоеванной ею свободе... Единодушными усилиями мы

вместе должны создать порядок, чтобы тесными рядами отстоять Россию и русскую свободу». В повышенной атмосфер! собрания потонули инсинуации Стеклова о контр-революционной Ставке, с которыми так неуместно выступил этот деятель перед обсуждением воззвания в народам всего мира на торжественном декларативном заседании. Естественно, что Суханову происшедшия манифестации представлялись «свадебными песнями на похоронах».

Не только Короленко и Гиппиус нашли созвучныя ноты с советским «манифестом» 14 марта – «вдохновенная» речь Родичева через две недели, на съезде партии к. д., вызвавшая, по отзыву отчета «Рус. Вед.», энтузиазм в собрании, в сущности говорила о той же борьбе «за свободу всех пародов» и определяла цель войны для России, как защиту ея свободы и самостоятельности. Кадетский бард говорил только о «любви к отечеству», не упомянув даже о выполнении тех исконных «национальных задач», которыми министр ин. д. революционнаго правительства определял свою политику. Константинополь и проливы на съезде проскользнули лишь в повторных репликах во время прений[380].

Таким образом общий язык мог быть найден. Станкевич уверяет, что в Исп. Ком. «со слов делегации, сносящейся с Правительством, была полная уверенность, что Правительство не только не возражает, но даже солидарно с манифестом»... Перед Таврическим дворцом проходили вновь манифестирующия толпы – проходили оне под окнами квартиры Мережковских, и писательница записывала: «Надписи на флагах... «война до победнаго», «товарищи, делайте снаряды», «берегите завоеванную свободу». Продефилировали и «первый революционный Павловский полк», и волынцы, и семеновды, и литовцы. Гремела марсельеза и раскатывалось могучее «ура». «К полкам выходили и приветствовали их – и думские и советские люди. Из праваго крыла на-лицо был неотлучно Родзянко. Он имел неизменный успех» – вспоминает Суханов. «Было красиво, пышно, торжественно. Был подъем, было видно, как по новому бьется сердце», – должен признать мемуарист, как и то, что «внутренние» лозунги («земля и воля», «8-час. раб. день»), проходили среди «внешних». Внешними были: «война до победнаго конца», «солдаты в окопы, рабочие к станкам», «товарищи, готовьте снаряды»[381]. Из Таврическаго дворца некоторые полки шли в Ген. Штаб, где говорил Корнилов, и где повторялись приблизительно те же сцены. С криками «ура», Корнилова носили на руках.

Дело не ограничивалось резолюциями и плакатами: «рабочие к станкам». Солдатския письма с фронтов предъявляют требование работать

усиленно на оборону, не считаясь с "восьмичасовым рабочим днем» – теперь «не время» праздновать; представители фронтовых организаций, прибывающие в столицу, начинают ходить «по заводам в боевом вооружении» и контролировать. В ближайшия две недели в Петербурге создалось очень острое положение: «отношения между солдатами и рабочими достигли крайняго напряжения», – так характеризует обстановку Суханов. «С часа на час можно было ожидать эксцессов... Разсвирепевший воин-мужик мог... пустить в ход винтовку против... внутренняго врага», по выражению мемуариста. «Минутами чувствовалось, что должна разразиться гроза», – говорит другой современник, принадлежавший к большевицкой фаланге, провинциал, попавший в эти дни в Петербург, (председатель нижегородскаго Совета, Штерн). По мнению этого делегата Совещания Советов, собравшагося в конце месяца, между фронтовыми делегатами к представителями рабочих столь велико было «недоверие», что казалась невозможной «никакая совместная работа». Столичныя настроения или вернее настроения фронтовыя передавались в провинцию, где также можно зарегистрировать столкновения солдат и рабочих.

Слишком было бы упрощено объяснить создавшееся напряжение только агитацией злокозненной «буржуазии», пытавшейся «вбить клин между армией и городом». Безспорно эта агитация была и принимала подчас организованныя формы, вызывая столь же страстное противодействие со стороны революционной демократии. Описанное возбуждение совпало со «стоходовской панамой», как назвал в дневнике ген. Селивачев прорыв немцев «червищенскаго плацдарма» на берегу Стохода (21 марта). Русская военная неудача – первая после переворота – произвела сильное впечатление и была непосредственно связана с событиями внутри страны – «первым предостережением» назвала ее «Речь»[382]. Эту неудачу постарались использовать в целях агитационных, хотя, по существу, стоходовский прорыв и районе 3 армии на Юго-Западном фронте, как определенно устанавливал тактически анализ хода боя, сделанный Алексеевым в циркулярной телеграмме главнокомандующим фронтами 25 марта, в значительной степени объяснялся ошибками командования (ген. Леш был отстранен), и войска оказали наступающему врагу мужественное сопротивление («бой продолжался целый день», при чем войска понесли потери в 12–15 тысяч). Итог искусственнаго взвинчивания настроения получился не в пользу здороваго естественнаго роста патриотизма, ибо агитационная кампания «обуздания» рабочих превращалась при содействии уличной печати в

«гнусную клевету» на рабочий класс, как выразился Церетелли в Совещании Советов. Демократически «День» давал тогда мудрый совет: «Не дергайте действительность за фалды, не взнуздывайте ни армию, ни рабочий класс уколами отравленных перьев»... Мудрые советы в дни революционнаго возбуждения редко выслушиваются.

Не имеем ли мы права сделать, как будто бы, довольно обоснованное предположение, что, если бы осуществились опасения ген. Алексеева, и немцы начали наступление, волна намечавшагося патриотическаго возбуждения поднялась бы на еще большую высоту и потопила бы все бациллы циммервальдской заразы. Щепкин па съезде к. д., конечно, преувеличивал, когда говорил, что «народ требует, чтобы каждый из нас, способный носить оружие, шел бы в армию»[383]. Но из искры могло разгореться пламя. Немцы пошли, однако, по другому пути – Стоход был явлением единичным[384]. Революционная армия сохраняла свою упругость сопротивления, и все слухи, что немцы «с востока убрали все, без чего мало-мальски можно было там обойтись», не соответствовали действительности. К моменту революции Ставка определяла количество неприятельских дивизий на русском фронте в 127; в конце апреля число дивизий почти не изменилось – 128. Немцы сделали ставку на разложение армии и наступлением, по признанию Людендорфа, боялись задержать разложение России. В наступивших революционных буднях «циммервальдский блок», колебавшийся в своей компромиссной политике и шедший под влиянием жизни на уступки, не только получил мощную опору, но и руководство в лице путешественника из «пломибированнаго» вагона (см. «Золотой Ключ»). Это уже история последующаго. В период, определяемый хронологическими датами нашего изложения, дилемма, поставленная Лениным в «апрельских тезисах», еще не могла возникнуть. Характерно, что большевицкий официоз «Правда» 28-го марта писал, что лозунгом партии является не дезорганизация армии, не безсодержательное «долой войну», а давление на Вр. Пр. с целью заставить его открыто перед всей мировой демократией выступить с попыткой склонить все воюющия страны к немедленным переговорам» о способах прекращения войны[385].

Могла ли общественная эмоция, искусственно несколько взвинченная, направить патриотизм масс в сторону внутренней перелицовки войны – сделать ея сущность «совсем другой»? Могла ли война, «затеянная царем», и полученная «революцией» в наследие от стараго режима, превратиться в войну «революционную», т. е., в соответствии с заветами XVШ века, на солдатских штыках нести в другия страны идеи освобождения? Как будто бы, в мартовские дни такая мысль

никого не вдохновляла – такие мотивы, пожалуй, зазвучали позднее в некоторых речах Керенскаго[386]. Но эта мысль высказывается в исторической работе одного из главных деятелей революции, правда, в марте находившагося еще в эмиграции и непосредственных ощущений от начала революции не имевшаго. По мнению Чернова, «изменить лик войны» можно было бы «попытаться», если бы поперек дороги этой попытки не стоял тот факт, что к моменту революции «военная энергия армии была уже как бы пулею на излете, безсильно отскакивающей от груди неприятеля». Тот же автор истории «рождения революционной России» очень отчетливо показал всю рискованность историческаго метода «маскараднаго офранцуживания русской революции»: там война родилась из революции, и в силу этого первая же война новой Франции против наступающей монархической коалиции приняла «естественно и спонтанейно характер революционных войн». Использовать патриотизм в таких целях в России без сильнаго толчка извне было невозможно: едва ли ошибалось петербургское охранное отделение, когда и записке конца 16 г., характеризуя основное настроение масс, писало: «все ждут не дождутся, когда кончится эта проклятая война». Может быть, именно поэтому так трудно было отыскать «правду» в подлинном настроении солдат, когда дело касалось наступления: «правды не сыщешь», – записал Селивачев 19 го марта.

4. Фатальная недоговоренность

Военное командование думало о наступлении не в смысле, конечно, изменения характера войны[387] и даже не в смысле отвлечения армии от внутренних вопросов, а в смысле выполнения принятых Россией на себя обязательств перед союзниками. По первому впечатлению от революции Алексеев, как было уже указано, решительно отказался от немедленнаго выполнения дореволюционных обязательств и переносил возможный срок для «решительных операций» на июнь-июль, считая необходимым до этого времени держаться «строго оборонительнаго плана действий» (ответное письмо Гучкову 12-го марта). 18-го марта начальник французской военной миссии Жанен переслал Алексееву телеграмму ген. Нивеля о невозможности изменить план, выработанный совместным совещанием в Шантильи – союзники настаивали на том, чтобы, «не взирая на важныя внутренния события», обязательства были выполнены, и чтобы русская армия оказала «возможно полное содействие англо-французским армиям». К этому времени стали поступать ответы со стороны фронтовых главнокомандующих – они заставили Алексеева изменить свою точку зрения. 30 марта он телеграфировал военному министру: «...Только ген. Рузский, указывая на то, что внутренния события отозвались на армиях вверреннаго ему фронта «весьма болезненно», ссылаясь на разстройство продовольственных, вещевых и артиллерийских запасов, на ненадежность укомплектований, приходит к определенному заключению о необходимости отказаться в ближайшие месяцы от выполнения наступательных операций и сосредоточить все усилия на подготовке к упорной обороне. Совершенно иначе отнеслись к этому острому большой важности вопросу главнокомандующие Западным и Юго-Западным фронтами. Оба высказали, что решительныя действия наступающим летом неизбежны. Если не откроем их мы, то это сделает противник тогда, когда это будет выгодно и удобно ему. Отказ от содействия нашим союзникам, поставя их в трудное положение, не избавит нас от необходимости втянуться в упорные, длительные бои, но тогда, когда в свою очередь, мы не будем в состоянии разсчитывать на помощь наших союзников, в случае, их частичной или общей неудачи. Как бы ни были мы бедны в настоящее время средствами, все-же выгоднее наступать, даже без полной уверенности в успех, чем перейти к опасной обороне и обречь себя на необходимость подчиниться решениям противника. Разстройство армии и ея снабжения окажет свое вредное влияние, нисколько не в меньшей мере

при обороне, чем при активной операций»[388]. Алексеев присоединился к мнению Брусилова, что при слабой устойчивости войск оборона труднее, и что надо «начать весеннюю кампанию наступлением»[389]. Свое письмо в Ставку Брусилов заканчивал таким характерным абзацем: ..."Несомненно, 1917 год – последний год войны и совершенно невероятно, чтобы война продолжалась и в 1918 г.; таким образом, обращаясь в этом году к пассивному образу действий, мы закончили бы войну безславно... Такой образ действий возстановит против нынешняго Врем. Правит. не только всех наших союзников, но и всю Россию, и может ввергнуть нас в анархию и возбудить негодование всех против своего высшаго командования, и всякая дисциплина исчезнет, а демобилизация будет представлять собой еще более трудное дело, чем это предполагается теперь».

Сведений о том, как реагировало Правительство на доклад Ставки, в опубликованных материалах нет[390]. Оно целиком находилось под гипнозом настроений центра – смелости дерзания у него не было. Возможное единство настроений еще раз было нарушено тем же министром ин. д. в упомянутом интервью с журналистами, 22-го марта. Гиппиус записала 25-го: «Правительство о войне (о целях войны) – молчит. А Милюков на днях всем корреспондентам заявил опять *прежним голосом* (курсив автора), что России нужны проливы и Константинополь. «Правдисты», естественно, взбесились. Я и секунды не останавливаюсь на том, нужны ли эти чертовы проливы нам или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову – во сто раз непростимее его фатальная *безтактность* . Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента на свою же голову!.. Керенский должен был официально заявить, что это личное мнение Милюкова, а не пр-ва». То же заявил и Некрасов... Хорошая дорога к «укреплению пр-ва, к поднятию престижа власти...»[391].

Трудно предположить, что со стороны Милюкова проявилась только «фатальная безтактность», скорее надо здесь, как и в фатальной речи 2-го, видеть надуманный политический маневр, плохо разсчитанный, без учета настроений и того резонанса, который может дать выпущенный пробный шар для оправдания внешней политики революционнаго министра ин. д. Советская демократия, действительно, взволновалась и не только «правдисты»[392]. «Циммервальдский блок», т. е. «левые» Исп. Ком. потребовали от Совета организации широкой кампании в пользу мира – «мобилизовать, под лозунгом мира, пролетариат и гарнизон столицы», так как «сложившаяся конъюнктура угрожает революции величайшей опасностью, увлекая ее в войну без конца». «Правые» решительно

возражали, считая опасным для фронта «борьбу за мир внутри революционной России». Начались долгия, бурныя прения. Протоколов заседаний Исп. Ком. (вернее лишь «черновых» набросков) за эти дни мы не имеем – приходится полагаться на тенденциозную временами память Суханова. Значительное большинство высказалось за компромиссное предложение Церетелли (впервые присутствовавшаго на заседании), через Контактную Комиссию потребовать от Правительства «официальнаго заявления» об отказе от завоеваний.

Представители социалистических партий в Совете, – пишет Милюков в своей «Истории», – требовали от Правительства немедленнаго публичнаго заявления о целях войны, в соответствии с формулой: «мир без анексий и контрибуций». Тщетно П. Н. Милюков убеждал их, что самая основа их разсчета – возможность, сговориться с социалистами всех стран на почве циммервальдской формулы, – не существует, ибо подавляющее большинство социалистов обеих воюющих сторон стали на точку зрения национальную и с нея не сойдут. Отчасти незнакомство с европейскими отношениями, отчасти вера в творческую силу русской революции[393], наконец, и прямая зависимость от большевицкой (?) идеологии, не позволили социалистам согласиться с П. Н. Милюковым в этом коренном вопросе интернациональнаго миросозерцания[394]. Но не поддержали его и его товарищи – не-социалисты... П. Н. Милюков, уступая большинству, согласился на опубликование заявления о целях войны, но не в виде дипломатической ноты, а в виде воззвания к гражданам и при том в таких выражениях, которыя не исключали возможности его прежняго понимания задач внешней политики и не требовали от него никакой перемены в курсе этой политики. «Заявление Врем. Правит. о целях войны» было, действительно, опубликовано 28 марта и вставлено в обращение к гражданам с указанием, что «государство в опасности», и что «нужно напрячь все силы для его спасения»: такая форма была придана документу А. Ф. Керенским. Основное место выражено следующим образом: «предоставляя воле народа (т. е. Учр. Собр.) в тесном единении с союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ея окончанием, Вр. Пр. считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России – не господство над другими народами, не отнятие у них их националнаго достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочнаго мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов, как не ставит своей целью ничьего порабощения и унижения. Во имя высших начал

справедливости им сняты оковы, лежавшия на польском народе, и русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной, подорванной в житейских своих силах. Эти начала будут положены в основание внешней политики Вр. Пр., неизменно проводящаго волю народную и ограждающаго права нашей родины при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников».

Поистине изумительное пояснение дает дальше Милюков: «Естественно» представители Совета не удовлетворились «двусмысленными и уклончивыми» выражениями правительственнаго акта. Тогда Некрасов – это было уже на следующий день – указал им, что для них выгоднее истолковать уклончивыя выражения акта в своем смысле, как уступку Правительства, и на этом основании поддержать «заявление». Эта тактика и была принята социалистической печатью. П. Н. Милюков заранее выговорил себе право, в случае, если заключенный компромисс будет толковаться односторонне, толковать его в своем смысле и раскрывать неопределенныя выражения в направлении прежней своей политики, «согласной с политикой союзников и с национальными интересами России»...

Подобно тому, как в знаменательную ночь, с 1-го на 2-ое, соглашавшиеся предпочли форму умолчания, как начало примиряющее, так и теперь формально предпочли «уклончивыя выражения», которыя каждая из договаривающихся сторон будет толковать в «своем смысле». Милюков в «Истории», однако, забыл добавить, что под влиянием критики советских представителей в правительственный документ были введены такия, напр., уточнения, как отказ от «насильственнаго захвата чужих территорий», чем в корне изменялась «прежняя министерская программа[395]», и что дало повод «Русским Ведомостям» заметить, что в правительственной декларации 28-го нет и намека «на «империализм». По существу в правительственном акте ничего уклончиваго не было, уклончивость была только во взаимных обязательствах и во введении в некоторый обман союзнических дипломатов, так как документ, странным образом, предназначался только для внутренняго употребления. В эти дни, конечно, это стояло на первом плане. Однако, гутаперчивая политика неизбежно должна была привести к острому конфликту, что и произошло через месяц и завершилось запоздалым уходом лидера «цензовой общественности» из состава революционнаго правительства. Межсоюзническая дипломатия вовсе не была склонна, считаться с «домашними затруднениями» России и разсматривать декларацию 28-го марта, как документ, не предназначенный для «экспорта». Кон. Набоков

доносил в Петербург (4 апреля), что в Лондоне правительственное заявление разсматривают, как отказ России от «права на Константинополь и иныя территориальныя приобретения», выговоренный предшествующими соглашениями. Набоков настаивал на необходимости официально «разъяснить», что принцип «мира без анексий» принимается революционной Россией «не безусловно», а постольку, поскольку он не противоречит «жизненным интересам» страны. Милюков, считавший только свою позицию в международных вопросах реалистической, а все остальные разговоры о войне «младенческими бреднями», как откровенно выразился он после своего ухода из правительства на казачьем съезде 9-го июля, поспешил истолковать в «своем смысле» мартовскую декларацию в той «разъяснительной» ноте 18-го апреля, которая и положила начало правительственнаго кризиса, ибо она была сделана наперекор явно выраженным пожеланиям со стороны демократии.

* * *

На другой день после опубликования правительственной декларации собралось «всероссийское» Совещание представителей Советов. На очереди в порядке дня первым был поставлен злободневный вопрос об отношении к войне. Докладчиком выступил Церетелли, приветствовавший решение «ответственнаго представительства буржуазии» – Временнаго Правительства – «торжественно возвестить во имя «единения сил» о разрыве своей внешней политики с господствовавшей до переворота «империалистической», «узко-классовой» точкой зрения. Это заявление есть «огромная победа всей демократии». Поворотный момент внешней политики, по представлению докладчика, является «поворотным моментом не только для одной России» – это «факел, брошенный в Европу», и те «идеалы, которые в настоящее время там еле морцали», «засветятся так же ярко, как засветились и озарили они всю нашу внутреннюю политику». Заявление Правительства не дало еще полнаго удовлетворения того, что желает демократия. Необходимо, чтобы Врем. Прав. вступило в переговоры с союзными правительствами для выработки общей платформы на основании отказа от анексий и контрибуций.

Вероятно, оратор искренно верил в свою «утопию». В сложившейся коньюнктуре важна была не декларативная формулировка будущих международных отношений, а определение той реалистической позиции, которую «революционный народ» должен занять в отношении войны, шедшей на его собственной территории. «Революционный народ

России, – говорилось в проекте резолюции Исп. Ком., прочитанной Церетелли, – будет продолжать свои усилия для приближения мира на

началах братства и равенства свободных народов. Официальный отказ всех правительств от завоевательных программ – могучее средство для прекращения войны на таких условиях. Пока эти условия не осуществлены, пока продолжается война, российская демократия признает, что крушение армии, ослабление ея устойчивости, крепости и способности к активным операциям были бы величайшим ударом для дела свободы и для жизненных интересов страны. В целях самой энергичной защиты революционной России от всяких посягательств на нее извне, в видах самаго решительнаго отпора всем попыткам помешать дальнейшим успехам революции, Совещание Советов Р. и С. Д. призывает демократию России мобилизовать все живыя силы страны во всех отраслях народной жизни для укрепления фронта и тыла. Этого повелительно требует переживаемый Россией момент, это необходимо для успеха великой революции».

Официальной декларации Исп. Ком. большевицкая фракция противопоставила свою, придав ей отвлеченную формулировку: «Есть один способ создать тот мир, к которому стремится вся вселенная», – говорит от имени большевиков Каменев: «этот способ – превратить русскую национальную революцию в пролог возстания народов всех воюющих стран против молоха империализма, против молоха войны... Слишком много благородных слов прикрывало разбойную политику, восторжествовавшую и приведшую к войне... Не благородных слов, не прикрытия для империалистической войны, а правды, голой правды о том, что такое эта война, требуют все народы, и мы одни здесь – победившая революция – можем сказать и должны сказать... что это не народная война, что это война не народами затеяна, на эту войну обрекли нас империалистические классы всех стран. Собравшись сюда, как полновластные(?) представители народов России, вы должны сказать: «Мы не только зовем всех угнетенных, всех порабощенных, все жертвы мирового империализма к возстанию против рабства, против империалистических классов, но мы от имени русскаго революционнаго народа говорим: ни одной лишней капли крови за интересы своей или чужой буржуазии пролиться мы не дадим»... «Месяц прошел с тех пор, как революционный пролетариат и революционная армия в Петрограде поставили здесь Временное Правительство, и месяц нужен был на то, чтобы это Правительство, вышедшее из революции, осмелилось сказать дипломатично и осторожно, что оно не считает задачей русскаго свободнаго народа, закабалять чужия земли»... «Мы должны сказать: революционная Россия требует, чтобы Врем. Правит, формулировало волю

ея к миру и надеется, что только возстание угнетенных народов других стран поддержит русскую революцию и создаст тот мир, который хотя бы в малой степени возвратит нам те великия затраты народной крови, которыя выпил уже из мира вампир милитаризма»[396].

В развернувшихся прениях голоса представителей армии (напомним, что на Совещании были представлены 6 армий и 40 отдельных воинских частей) прозвучали довольно однотонно. Вовсе не представлял исключения солдат Новицкий, выступивший от имени Особой армии и предложивший, как крикнули ему с места, «кадетскую резолюцию». Отмечая доверие к Правительству, созданному революцией, Новицкий говорил о некоторой неясности обсуждаемой резолюции: ..."Я хочу мира, душа жаждет мира, но не позорнаго мира... Мы тогда только можем спокойно вернуться с поля сражения, когда мир будет подписан не позорный («пока все немцы не признают, что надо заключить мир именно на правах равенства, братства и свободы»), и вот я призываю от имени Особой армии стать всем на работу и дать помощь армии, чтобы она могла выйти из этой войны с победой». Не странно ли, – говорил представитель 12-ой армии с. д. меньшевик Ромм, – что «вопрос о немедленном заключении мира поднимается только со стороны тыла, и ни один солдат с фронта, который в тяжелых условиях 33 месяца воюет, ни один из них не говорил о немедленном заключении мира». Ромм удовлетворялся объединяющей «всех» резолюцией Церетелли и хотел бы только внести поправку, в том смысле, что «под обороной страны подразумевается не только сидение в окопах, но, если того потребуют обстоятельства, – «наступление». И другие представители фронта настаивали на том, что в резолюции надо не столько подчеркивать «защиту», сколько сделать ударение на «борьбе». Резолюция бердичевскаго гарнизона призывала не «чуждаться исторических задач нашей родины» и стать «дружно на защиту свободной родной земли и ея историческаго права». Прочитавший резолюцию с. р. Усов, позднее, при обсуждении отношения к Правительству, от себя мотивировал так: «Моя личная точка, зрения такова: я прежде всего отношусь к Врем. Правит, не только с точки зрения революции и ея достижений, но и с точки зрения обороны страны. «Отечество в опасности». Это не фраза, это крик, может быть, больной души и отчаяния. Я нахожусь близко к действующей армии, и пока я ехал сюда, то видел дезертиров на крышах и подножках – это была общая картина... Половина дезертиров, направлявшихся в Петроград, это – те, которые потеряли дисциплину... Нужно создать правительство, которое пользовалось бы доверием всех классов населения... Нужно правительство,

которое будет авторитетно и обезпечит защиту страны, иначе через 2–3 месяца страна сметет достижения революции... Меня больше всего возмущает то, что здесь слишком мало говорится об обороне страны и слишком много об узкопартийных интересах»...

Собранием, подавляющим большинством голосов, была принята поправка Ромма и в резолюцию Церетелли были введены слова о «способности» армии к «активным операциям»[397]. Компромиссная, в сущности, резолюция Совещания была, конечно, далека от того пафоса, который нужен был армии и который один *только* мог подвинуть ее на подвиг.

Какая-то струна лопнула в эти дни. Кто из настройщиков перетянул ее? Вовсе не надо принадлежать к числу «левых пошляков», для которых «Дарданеллы служили мишенью» (утверждение Ганфмана в юбилейном сборнике в честь Милюкова), для того, чтобы признать, что царьградския мечтания, как бы воскрешавшия не ко времени традиции ушедшаго и возбуждавшия подозрения, сыграли значительную роль в этом деле. Дарданельская химера, действительно, стала жупелом, который широко использовала демагогия[398]. Революционное правительство, таким образом, не сумело воспользоваться тем активам, который, казалось, давался ему в руки, и который кн. Львов, в письме к Алексееву 11-го марта выразил словами: «подъем покроет недоимки, вызванныя пароксизмом революции». Какая трагедия для армии! Как раз в эти же дни французский посол отметил в дневнике ухудшение положения в смысле войны. Ею мало кто интересуется – все внимание сосредоточено на внутренних вопросах. Такое впечатление можно было вынести не только в салонах, которые посещал Палеолог. Не показательно ли, что в первом вскоре последовавшем публичном выступлении лидера народных социалистов Мякотина войне в докладе было отведено последнее место. Страна жила не войной, а революцией. Взгляд современников обращался «внутрь», как это наблюдали члены Думы при посещении деревни, где война, но их впечатлению, отходила «на задний план».

III. Демократизация армии

1. Политика в армии

Можно было бы согласиться с утверждением некоторых мемуаристов, что «сколько нибудь успешное ведение войны было просто несовместимо с теми задачами, которыя революция поставила внутри страны, и с теми условиями, в которых эти задачи приходилось осуществлять»[399] – согласиться только с одной оговоркой, что задачи ставила «стихия», а условия во многом определяли люди. От этих «условий» зависела дальнейшая судьба революции. Втуне было требовать, чтобы солдаты не занимались «политиканством», как выражался 4 марта в приказе главнокомандующий армиями Западнаго фронта Эверт, – требовать, чтобы они не тратили «зря» время и нервы на «безцельное обсуждение» того, «что происходит в тылу и во внутреннем управлении России». «Войска должны смотреть вперед – писал Эверт – в глаза врагу, а не оглядываться назад на то, что делается в тылу, внутри России... О порядке в тылу предстоит заботиться тем, на кого эти заботы возложены доверием народным, с верою в то, что они выполнят свой долг перед родиной так же честно, как и мы должны исполнить до конца свой». Теоретически возможно было отстаивать «единственно правильный принцип – невмешательство армии в политику», как это на первых порах сделал Алексеев (письмо Гучкову 7 марта), или как это делали «Русския Ведомости», ссылаясь на «азбучную истину» конституционных государств (11 марта). Но такие лозунги тогда были вне жизни[400] и, следовательно, неосуществимы, ибо революция не была «дворцовым переворотом», которому наступает конец, раз цель его достигнута. Был, конечно, совершенно прав выступавший от фронтовой группы на Госуд. Совещании в Москве Кучин, говоривший «так наивно представлять себе, что армия, которая силою вещей, ходом всех событий приняла активную роль в развитии этих событий, чтобы эта армия могла не жить политической жизнью». Военное командование в своих разсуждениях с профессиональной точки зрения было логично, но не совсем последовательно было Правительство, которое в приказе военнаго министра от 9 марта говорило армии и флоту – бдите! «опасность не миновала, и враг еще может бороться... В переходные дни он возлагает надежду на вашу неподготовленность и слабость. Ответьте ему единением». Военному министру вторили воззвания Временнаго Комитета Гос. Думы – «Мы окружены страшной опасностью возстановления стараго строя». Срок, когда надо перестать бояться «контр-революции», каждый

определял слишком субъективно, равно как и то, в чем олицетворялась эта контр-революция в стране.

События всколыхнули армию сверху до низа. В крестьянской в своем большинстве армии земельный вопрос делается центром внимания. Стрелки в корпусе Селивачева «далеко не все сочувствуют введенным новшествам» – записывает автор дневника 13 марта: «больше всего хлопочут они – будет ли им прирезана земля за счет помещиков, уделов и монастырей – вот их главнейшее желание». Член Гос. Думы Демидов, посетивший фронт, передавал в «Письмах из армии» («Рус. Вед.»), как аудитория «замирала» при упоминании о земле. Неужели можно было каким либо революционным приказом заставить ее быть вне «социальной политики»? Может быть, Н. Н. Щепкин был нрав, когда утверждал на съезде к.-д., что никакого (это слишком, конечно, сильно) сочувствия на фронте не встречает попытка разрешить сейчас социальные вопросы. Сознание, что немедленное решение земельнаго вопроса может сорвать фронт, было и потому так естественно, что во многих солдатских письмах того времени, идущих с фронта, сдерживаются порывы односельчан к дележу земли. Но у стоящей в бездействии в окопах армии неудержимое всетаки стремление к тылу. Припомним: «все помыслы солдат обращены в тыл» – писал Рузскому 29 марта Драгомиров, командовавший наиболее близкой к центру 5-ой армией.

«Коллектив» в жизни армии становится органической потребностью революционнаго времени и не только в силу естественнаго стремления к взаимному политическому общению. «Коллектив – как отметил И. П. Демидов в одном из своих ранних «писем» – является тем горнилом, где сплачивалась различная психология в одну». Только через этот коллектив могла притушиться роковая, ослабленная во время войны совместной оконной жизнью, рознь между офицером и солдатом – все стояли «перед лицом смерти»[401]. Демократизации армии требовала не только революционная психология, но и вся конкретная обстановка того времени.

2. Революционная чистка

Многие деятели эпохи находились под влиянием все того же призрака XVIII века – французской армии эпохи революции. Вопрос «жизни или смерти» армии в их представлении лежал в плоскости «двухэтажнаго» построения новаго военнаго организма. Распад армии могло удержать лишь «пересоздание всей системы управления и командования армии». Основная причина всех бед коренилась в существовании корпуса Генеральнаго Штаба. Долой генштабистов! – дорога строевому офицерству. Так характеризует «рецепт эсеровской партии» в дни революции большевицкий исследователь состояния армии в этот период Рабинович, пользуясь специальным сборником, который был выпущен в сентябре 17 г. и излагал военную программу партии. Основная причина неудачи 17 г. лежит таким образом в том, что на командных постах остались 800 старших офицеров, пропитанных «кастовым духом». Вождь партии поддержал эту позицию и в своей исторической работе. «Армия может существовать только, как монолит» – разсуждает Чернов. «Старый режим создавал эту монолитность сверху, новому приходилось создавать ее снизу. Старый режим заставлял строевое офицерство и солдат равняться в умонастроении своем по командному составу; революция неизбежно переменила роли: командный состав должен был равняться по армейской демократии и очистить место новому командному составу, ею выделенному». «Смелое и широкое черпание» из среды рядового офицерства «для продвижения вверх, выбор из него подлинных вождей революционной армии. Таков был бы рецепт настоящей революционной власти. С этим лозунгом когда то «переорганизовали королевскую армию вожди великой французской революции. Но правительство из людей цензовой демократии... не могло пойти этим путем». "Его рецептура была компромисс»... Но tertium non datur – догматически провозглашает автор. «Все «третье» было лишь пустым топтанием на одном месте, тщетной попыткой примирить непримиримое. На такой попытке и вышли в тираж люди новой власти». Чернов вспоминает, что французская революция разрубила гордиев узел очень просто – «святой гильотиной». Пережила кризис – «отсутствие способных командовать» и «все же не погибла от него, но воскресла»; «равным образом впоследствии не только не погибла, но и победила... красная армия большевиков со своими новоиспеченными «краскомами» и со старыми военспецами, низведенными почти до роли экспертов при большевицких политкомах. Ибо и в армиях французской

революции и в красной армии большевиков было преодолено то, с чем существование армии совершенно несовместимо: разлагающий ее дуализм и стихийная реакция на него в виде революционнаго самоуправства».

Мы привели эти большия выдержки не потому, что утопическия построения, в них данныя, заслуживали бы особливаго внимания. Гораздо существенней то, что оне изображают символ веры тех, кто судьбою были вознесены в дни революции на командные политические посты – от них зависело в значительной степени правильное разрешение вопросов, выдвигаемых жизнью. На революционную утопию в свое время ответил ген. Алексеев – «немцев не обманешь». Гинденбург не стал бы ждать того времени, когда неспособные «командовать» научатся военному делу. Ответил Алексеев и другое – ссылки на революционныя войны XVIII столетия уже потому неубедительны, что несравнимы техническия средства и приемы борьбы. Столь же неубедительны будут и эксперименты эпохи гражданской войны, от которых поспешили отказаться творцы русскаго междоусобия, как только прочно захватали власть. Только отвлеченная мысль, витающая в области предвзятых схем, могла строить проект реорганизации армии в дни мировой войны по «рецепту эсеровской партии»[402]. Надо сказать, что в солдатских «мозгах», в той некультурной серой массе, которая волновалась, повидимому, не возникала такая мысль. Вот бытовая сцена, зарегистрированная дневником ген. Селивачева. 15 марта в 14-м Финл. стрелковом полку произошли волнения из-за нежелания двух рот итти на работы. Начальник дивизии решил сам переговорить с упорствующими. В *дневник* он записал: ..."поздоровался с ними, поздравил с принятием присяги и... предложил разсказать мне, как они понимают присягу. Вышел унт. оф., который весьма разумно доложил, что раньше они не знали, за что дерутся, так как дрались за немцев и предателей родины, теперь же им ясно, что они дерутся за счастье свободной России, и что долг каждаго – добиться победы. Я обратился к ротам и спросил, согласны ли они с объяснением унт. оф., все ответили, что согласны. Тогда я сам разъяснил им, что такое долг, повелевающий им драться при всех условиях, и они обещали мне работать безропотно. Затем я спросил их, слыхали ли они, что некоторые мутят слухами о выборе себе нач-ков. Так вот, чтобы объяснить им, в чем дело, я предлагаю вместо себя выбрать нач-ка дивизии, на что даю им 1/4 часа. Сам отъехал в сторону переговорить с офицерами. Стали что-то говорить между собою. Через 15 минут, спросив, готово ли, подъехал к ним и спросил, кого-же они выбрали себе нач-ком. Все в один голос ответили: «Вас, только вас». Я ответил: «Спасибо вам, но за что же вы

меня выбрали – ведь я и ругал нередко крепко и строг был». Тогда они ответили, что я всегда с ними, что они могут говорить со мной, что я все знаю, и что скажу, то так и надо делать, что они верят мне. Тогда я разобрал им по очереди все эти свои достоинства и доказал, что для этого надо учиться, много работать и жить с ними, а посему им и трудно будет выбрать себе нач-ка... Люди успокоились, я поблагодарил за работу и любовь ко мне и уехал»... Единственный пример, как ни характерен и ни красочен он был для революционной обстановки по своей наивной простоте, ничего не говорит, но всетаки он приоткрывает краешек занавеси, отделяющей исследователя от быта и психологии современников. Впрочем, не трудно было бы привести и другия аналогичныя иллюстрации, почерпнутая нз мемуарной литературы.

В условиях времени не риторическое tertium non datur, а «компромисс» был единственным путем разрешения болезненных вопросов, связанных с реорганизацией армии. Но компромисс, договоренный с высшим командованием, компромисс планомерный, а не в виде какой то внешней уступки бунтующей стихии. Отсутствие договоренности и продуманности, как всегда, было величайшим злом. Первый военный министр революционнаго правительства сознавал необходимость произвести известныя перемены в высшем командовании – не в том катастрофическом масштабе и не по тому, конечно, идеологическому рецепту, о которых говорили социалистические экспериментаторы. Неоперившийся еще Гучков пытается убедить уже 6-III Алексеева в необходимости такого мероприятия. Указав Алексееву, что он единственный кандидат на пост верховнаго главнокомандующаго, Гучков продолжал по юзу: «Вы пользуетесь доверием Правительства и популярностью в армии и народе. И то и другое вы можете в один миг удесятерить, приняв ряд решений. которыя будут встречены с полным одобрением и горячим сочувствием страны и армии... Но эти решения должны быть приняты *безотлагательно* ». К таким решениям и относилась «мера устранения заведомо неспособных генералов». Лучше сделать это «добровольно, чем под принуждением». На возражение Алексеева, что он, как нач. Штаба, таких мер принимать не может, ибо ему этого не предоставлено по закону, и что подобныя меры встретятся с недостатком подходящих людей, а «заменить одного слабаго таким же слабым – пользы мало». Гучков пояснил, что Правительству надо только знать «внутреннее решение» генерала, и что он, Гучков, не согласен относительно «затруднительности найти даровитых генералов для замены ряда бездарностей». «Такия новыя назначения, – повторял министр, –

произведенныя *с одною маха* , вызовут величайший энтузиазм, как в армии, так и в стране, и завоюют вам и новому правительству громадное доверие». Несочувствие Алексеева массовой генеральной чистке командования «с одного маха» и служило, очевидно, одной из причин колебаний, которыя были у Правительства при назначении его верховным главнокомандующим[403]. Алексеев был назначен только 2 апреля.

Военный министр начал чистку за свой страх и риск. Вопрос этот сразу возник на первом заседании Особой Комиссии под председательством ген. Поливанова, созданной военным министром для преобразования армейскаго и флотскаго быта. И поднят он был, по словам Половцова, Энгедьгардтом, заявившим, что «никакая реформа невозможна, пока не будут сменены некоторые начальники». Очевидно, под влиянием этих речей, Гучков и поспешил поставить перед Алексеевым дилемму о массовом увольнении генералов. Быть может, и речи были инспирированы самим военным министром, ибо презумпция этой операции, получившей в военной среде траги-шутливое наименование «избиение младенцев», установлена была в общественной думской среде еще до революции – в дни военных неудач в начале войны. В речи на съезде делегатов фронта, накануне своего ухода из Правительства, Гучков вспоминал, что он «еще задолго до войны» указывал на неизбежную неудачу, если не будет изменен командный состав, подобранный по принципу «протекционизма и угодничества». «Когда произошла катастрофа на Карпатах, я снова сделал попытку убедить власть... но вместо этого меня взяли под подозрение». На августовском совещании (15 г.) прогрессивнаго блока, где изыскивались «способы победы», представитель правой части блока член Гос. Сов. Гурко говорил о необходимости «колоссальной перетряски» в командном составе – «нужно влить новые принципы» (запись Милюкова). О чистке офицерскаго состава говорил и Шингарев в Гос. Думе –надо дать «и лучших учителей, и лучших командиров, и лучших вождей». Наконец, записка председателя Гос. Думы 16 г. представляла собой сплошное обвинение высшаго командования... Таким образом «революционная» чистка имела свои далекие корни – революционные круги, даже в крайнем течении, ограничивали тогда свои требования устранением «безнадежно неисправимых» и «злостных реакционеров» («Правда»).

Гучков пошел по проторенному пути 1905 г. Как утверждает Деникин, дежурному генералу при Ставке Кондзеровскому военным министром поручено было составить список старших начальников с краткой аттестационной отметкой по имевшимся материалам. Так

создался тот проскрипционный список, который в Петербурге среди военных получил хлесткое название – «мерзавки». Половцов, принадлежавший к числу «младотурок»[404], близко стоявших к военному министру, описал «систему мерзавки»: выписаны были фамилии корпусных командиров и начальников дивизий с шестью графами; первыя пять заполнялись оценками, которыя давались различными гучковскими собеседниками, пользовавшимися доверием, а в последней графе делался общий вывод по большинству голосов: «достоен выдвижения», «может остаться», «подлежит изгнанию». Деникин разсказывает, что, когда он посетил военнаго министра 23 марта, тот предложил сделать соответствующия отметки против фамилий известных ему генералов. «А позднее – добавляет мемуарист – после объезда Гучковым фронта, я видел эти списки, превратившимися в широкия простыни с 10–12 графами». При такой системе оценки генеральской благонадежности – и политической и военной, терялся, конечно, какой-либо объективный критерий. Хорошо, когда «политическия обвинения» совпадали с отрицательными «боевыми качествами». Но могло быть и другое.

Совершенно очевидно, что Алексеев никакого активнаго участия в этой чистке не принимал, хотя официальное Телегр. Аг. сообщало 21 марта, что вр. исп. долж. верх. главнок. даны широкия полномочия «для омоложения и освежения высшаго командования в армии». Позднее в июне в письме к ген. Скугаревскому сам Алексеев так оценивал пресловутую «мерзавку»: «рука великаго «реформатора» армии Гучкова вымела из наших рядов в наиболее острую и критическую минуту около 120 генералов (Деникин и Врангель эту цифру доводят до 150) на основании более, чем сомнительных, аттестаций анонимных «талантливых полковников и подполковников». «Реформатор» мечтал освежить командный состав и вызвать «небывалый подъем духа в армии». Последняго не случилось, к несчастью, а вреда сделано не мало». В известном письме к Родзянко 25 июля, перечисляя необходимый меры для возстановления дисциплины. Алексеев добавлял: «не менять, как капризная и богатая женщина бросает перчатки, начальников, гоните слабых, не оказавшихся на высоте своего назначения в бою, но не гоните по тайным, мутным аттестациям, как сделал это Гучков. Он подломил состав начальников, мечтая вызвать в армии взрыв энтузиазма массовым изгнанием».

В конце концов, достигла ли эта чистка своей цели? Позднейший отзыв Алексеева, находившагося в то время в довольно резкой оппозиции к Правительству, может быть заподозрен в своем безпристрастии. В общем,

по мнению Половцова, картина по проскрипционному списку получилась «довольно правильная». Но кто сможет это подтвердить без предварительнаго разбора каждаго отдельнаго случая? Вот пример. Оговариваюсь, что у меня нет данных для суждения о военных дарованиях ген. Литвинова, командовавшаго 1-ой армией. Внешния обстоятельства, как будто говорили за него. Армия его спокойно встретила переворот, что часто во многом зависело от командующаго. Поверхностный мемуарист Половцов объяснил – это потому, что армия Литвинова в «таких болотах, что до них революция не дошла, а вот у «беднаго Драгомирова» в Двинске «плохо». Картина представляется иной, если обратиться к коллективному заявлению офицеров 1-ой армии в петроградский Совет (опубликовано было в газетах 25 марта), в котором, между прочим, говорилось: «Мы присягнули Врем. Правительству... Братья – рабочие и солдаты – петроградскаго Совета... Просим, не мешайте нам исполнять свой долг и помогайте нам снарядами... Не создавайте двоевластия»... Очевидно, в Пинския болота революция докатилась и была, как будто бы, правильно воспринята. А вот ген. Литвинов при свидании с военным министром в Пскове 11-го «брюзжал, фрондировал и производил крайне невыгодное впечатление» по характеристики Болдырева. Литвинов предложил Болдыреву пост нач. штаба армии. Болдырев воздержался от «окончательнаго ответа, предчувствуя отчисление самого Литвинова». Он не ошибся – оно было опубликовано в газетах уже 14-го.

Сам Гучков и указанной речи 29 апреля оценил итоги «чистки» весьма положительно: ..."Я сознавал, – говорил он, – что в данном случае милосердия быть не может, и я был безжалостен по отношению к тем, которых я считал не подходящими. Конечно, я мог ошибаться. Ошибок, может быть, были даже десятки, но я советовался с людьми знающими и принимал решения лишь тогда, когда чувствовал, что они совпадают с общим настроением». Гучков был уверен, что провозглашение лозунга: «дорога талантам», не считаясь с иерархией, «вселило в души всех радостное чувство, заставило людей работать с порывом вдохновения»... Деникин признает, что Гучков был прав в том отношении, что армия страдала и «протекционизмом и угодничеством», и что «командный состав не всегда был на высоте своего положения», отмечает и Врангель, что среди уволенных было «много людей недостойных и малоспособных», «сплошь и рядом державшихся лишь от того, что имели где-то руку». Однако, в данном случае легко впасть в гиперболу, что и случилось, напр., с Черновым, как историком революции. Он уверяет уже, что «нет ни одного серьезнаго военнаго писателя, который не рисовал бы состояние

русскаго командnаго состава, иначе, как в виде каких-то авгиевых конюшен, для очистки которых нужны были не гучковския, а геркулесовския силы». С предосторожностью автор не назвал военных писателей, из трудов которых он позаимствовал свои слишком категорические выводы. В другом месте он ссылается на в. кн. Ник. Мих., на Верховскаго и Головина. Надо признать, что отметки вел. князя-историка в дневнике вообще поразительно скоропалительны и тенденциозны. Верховский в «Россия на Голгофе» слишком приспособляется к своей революционной позиции, а Головин чрезмерно субъективен в личных характеристиках. Работа Чернова выпущена в 31-м году; через несколько лет у того же Головина он мог бы найти несколько другую оценку: «Три года тяжелой войны способствовали подбору в русской армии к 1917 г. вполне удовлетворительнаго командnаго состава». (Вероятно, командный состав русской армии был приблизительно такой, как везде во всем мире, не исключая и стран с демократическим политическим строем).[405].

Необходимость перемены в командовании ощущалась очень остро с перваго дня революции. На необходимость эту указывали в своих отчетах, как мы видели, все посланцы думскаго Комитета на фронт. То была, действительно, очередная задача. «Чистка являлась необходимой и по мотивам принципиальным и по практическим соображениям» – признает Деникин. Но дело было в методах, примененных военным министром (отчасти, вероятно, в силу личных свойств: Гучков склонен был к закулисным приемам действия) и в том масштабе, в каком осуществлялась «чистка». С чувством какой-то гордости или непонятнаго самодовольства Гучков подчеркнул в апрельской речи, что «в течение короткаго времени в командном составе армии было произведено столько перемен, каких не было, кажется, никогда ни в одной армии»[406]. Чистка «с одного маха» могла иметь политическое показательное значение лишь по тому психологическому впечатлению, которое она произведет на массу. В целях стратегических демонстраций сама по себе она была, конечно, не нужна – здесь проще без осложнений могла бы достигнуть большаго непосредственно Ставка соответствующими переменами в командном составе. В имеющихся публикациях нет достаточнаго конкретнаго материала для определения того, как реагировало строевое офицерство на гучковскую «мерзавку», открывавшую путь «талантам», минуя иерархическую лестницу. Для рядовой солдатской массы, вероятно, важнее всего были взаимоотношения с непосредственным начальством, и поэтому большого значения не могли иметь те отдельныя письменныя и

устныя заявления, которыя доходили до военнаго министра и Исп. Комитета и требовали устранения представителей высшаго командования[407]. Таким образом *условия* , при которых было осуществлено революционное *задание* , в конечном результате могли иметь только отрицательное влияние[408]. Они нарушили атмосферу единения между Правительством и верховным военным командованием, столь необходимаго в эпоху реформирования «армейскаго и флотскаго быта».

3. Поливановская Комиссия

h11 Приказ № 114.

Нет, кажется, мемуариста из числа видных военных, который не помянул бы дурным словом «недоброй памяти» (слова Алексеева на Гос. Сов.) Поливанонскую Комиссию и ея деятельность. Она содействовала разложению армии своим потворством демагогии людей, которые или не понимали «психологию армии» или сознательно стремились к ея уничтожению. Она шла на поводу советских демагогов. Она «холопски» ухаживала за солдатами, по выражению дневника Куропаткина. Однако, в оценку ею разработанных мероприятий по «демократизации армии», осуществление которых началось в министерство Гучкова, привносится слишком много из позднейших переживаний и многое из того, что было, решительно забывается. Касаясь *мартовскаго* периода революции, приходится внести много поправок к утверждениям мемуаристов и историков – о «пресловутой комиссии» Поливанова и о «нелепых реформах» Гучкова (Керенский в «Деле Корнилова»). Надо прежде всего отказаться от тенденции, к которой излишне склонен Деникин, всех сторонников демократизации армии относить к числу демагогов и оппортунистов[409]. Возражая на посмертныя воспоминания Гучкова, Деникин особенно определенно высказался: в армии были «люди долга и приспешники революции» – сам Гучков дал повод для такого высказывания, характеризуя генералов, пытавшихся итти с правительством, «революционными карьеристами».

Психология отношения к революционным событиям более сложна, чем это хотят изобразить пуристы мысли. Она не может быть разложена в отношении военных по элементарному масштабу монархических симпатий Шульгина: на «лучших'", которые гибнут, и «худших», которые приспособляются. Можно преклониться перед людьми, гибнущими за свои идеи, хотя бы и чуждыя эпохе; можно с уважением отнестись к цельности натуры гр. Келлера, не приявшаго революции и ушедшаго в отставку; можно проникнуться величайшей симпатией к прямолинейности людей, не способных итти на компромиссы – к таким, несомненно, принадлежал один из наиболее грозных, ярких и последовательных обличителей «демагогов» и «оппортунистов» ген. Деникин. Но сочувственная персональная оценка далеко не равнозначуща признанию объективнаго факта целесообразности поведения тех, которые во имя «долга» безнадежно оставались на старом берегу. Ген. Деникин лично к числу таковых, конечно, не относится. «Да, революции отменить

нельзя было» – пишет он в своих «Очерках». «Я скажу более: то многочисленное русское офицерство, с которым я был единомышлен, и не хотело отмены революции. Оно желало, просто требовало одного: прекратить, революциовизирование армии сверху. Другого совета никто из нас дать не мог».

Здесь некоторая невольная игра словами, ибо «революция» неизбежно требовала и «революционизирования армии» – именно «сверху». Без этого темный, некультурный народ стал бы, несомненно, добычей демагогии, но демагогии уже правой. Тот, кто хотел избежать кровавой реставрации, тот, кто считал происшедший переворот исторической необходимостью, должен был «революционизировать» народ. И каждый приказ высшаго начальства, говоривший в те дни о свободе, о задачах и целях новаго политическаго строя, фактически революционизировал армию. Ген. Деникин, как и вся либеральная (или вернее консервативно–либеральная) общественность, под революцией понимал лишь политический переворот. В действительности, как не раз уже подчеркивалось выше, происходило нечто более глубокое, захватившее все стороны социальнаго и культурнаго быта народа. С этим нельзя было не считаться, и это должно было определять линию поведения всякаго сознательнаго русскаго гражданина, способнаго свои социальныя или иныя привилегии принести в жертву интересам России и народа. Чувство ответственности – ея, к сожалению, было, действительно, слишком мало – должно было заставить и революционную идеологию в точном смысле слова приспособляться к реальным национальным и государственным интересам. Имеются пределы осуществимаго для каждаго отрезка времени. Они определяются потребностями и сознанием народа. Когда искусственное «революционизирование сверху» не считается с этим сознанием, оно становится своего рода общественным преступлением.

Приведенныя сентенции, быть может, несколько элементарны: оне имеет целью вновь и вновь отметить, что в реальной жизни всегда метод стоит на первом плане. Все дело в том, как люди инакомыслившие приспособлялись к революции. Люди всегда останутся людьми, со всеми своими достоинствами и недостатками – во всех профессиях, сословиях и классах: офицерские кадры не представляли вовсе собой какую-то «обособленную социально-психическую группу». Ген. Рузский, как мы видели, явился на парад в Пскове 5 марта с императорскими вензелями на погонах, и один выделялся среди всей толпы – его сопровождали овацией; полк. Цабель из императорской свиты по собственной инициативе спорол вензеля и оказался одиноким даже среди своих собственных солдат на

аналогичном параде в Ставке. «Общей трусостью, малодушием и раболепием перед новыми властелинами многие перестарались», – утверждает Врангель, разсказывающий, припомним, как он в Петербурге «постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями Наследника Цесаревича на погонах... и за все время не имел ни одного столкновения». Возможно, что и «перестарались». Но не всегда это только «малодушие» и даже не инстинкт, заставлявший индивидуума сливаться с массовым настроением и, быть может, нацеплять «красный бант». Среди возбужденной толпы эмоции приходилось подчинять доводам разума для того, чтобы избежать эксцессов – всегда вредных, всегда опасных. Врангель разсказывает, как он 17 марта в день полкового праздника Амурскаго казачьяго полка, когда на параде вместо привычных боевых сотенных значков увидел красные флаги и был встречеи марсельезой вместо полкового марша, демонстративно реагировал на «маскарад», заявив, что не желает сидеть под «красной юбкой»[410] и пить традиционную чарку во славу Амурскаго войска. «Недовольство» в полку не привело в данном случае к осложнениям – это всетаки было среди казаков, более консервативно настроенных. Сколько раз игнорирование со стороны командиаго состава на фронте «красной тряпки», так или иначе сделавшейся символом революции, приводило к серьезным столкновениям и ставило перед начальством опасныя испытания сохранения дисциплины в частях. Может быть, ген. Шольц, упоминавшийся в записи Селивачева, вынужден был несколько демонстративно устраивать манифестации сочувствия перевороту для того, чтобы доказать, что он «не немец». «С этим обстоятельством (т. е. с подозрительным отношением к внутреннему «немцу») приходилось сильно считаться в виду настроения солдат» – должен признать строгий Деникин, разсказывая, как Алексеев и он вынуждены были отказаться от полученнаго задания, так как у единственнаго подходящаго кандидата для выполнения ответственнаго поручения фамилия была немецкая. Приспособление очень часто являлось тем «тяжелым долгом», тем «крестом, который каждый должен (был) взять на себя и нести его безропотно». Генерал, внесший только что приведенныя слова в дневник от 13 марта (большой противник «демократизации» армии, скорбевший о том, что «хам»[411] идет в армию), с горестью должен был через 5 месяцев записать: «до чего исподлились, до чего исхамились мы, старшие. начальники, при новом революционном режиме». Компромисса с совестью властно требовала жизнь – в этом было и оправдание его.

* * *

С такими оговорками и подойдем к краткому обзору тех мероприятий по реформе военнаго быта, которыя были осуществлены в марте. Окончательный итог деятельности того «рокового учреждения», печать котораго, по мнению Деникина, – лежит решительно на всех мероприятиях, погубивших армию[412], т. е. Особой Комиссии под председательством Поливанова, может быть подведен только при разсмотрении всех последующих явлений в жизни армии, связанных с общим ходом революции.

5 марта был опубликован приказ (№ 114) по военному ведомству, включавший в себя четыре пункта:

1) Отменялось наименование «нижний чин» и заменялось названием '"солдат»;

2) Отменялось титулование и заменялось формой обращения: г-н генерал и т. д.;

3) Предписывалось всем солдатам, как на службе, так и вне ея, говорить «вы»;

4) Отменялись все ограничения, установленныя для воинских чинов и воспрещавшия курение на улицах и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду внутри трамваев, участие в различных союзах и обществах, образуемых с политическими целями.

Содержание приказа военнаго министра было выработано в первом же заседании Поливановской комиссии, официально сконструировавшейся лишь на другой день (Половцов утверждает, что и самый текст, написанный Пальчинским, был принят Комиссией). Комиссия «демагогов» состояла не только из «младотурок» («талантливых полковников и подполковников» – Якубовича, Туманова, Туган-Барановскаго и близких им Белабина, Лебедева, Андогскаго и др.), но и заслуженных генералов – Поливанова, Мышлаевскаго, ак. Стеценко, Аверьянова, Архангельскаго, Михневича (последний присутствовал, во всяком случае, в заседании 4-го), более молодых генералов – Аносова, Каменскаго, Потапова, Рубец-Масальскаго, членов военной комиссии Врем. Комитета Савича и Энгельгардта, инж. Пальчинскаго, кап. I ранга Капниста (из «кружка» Рейнгартена). В Комиссии был поднят, но не разрешен еще вопрос об отдании чести и взаимном приветствии чинов армии.

Приказ № 114, в действительности довольно «скромный» по своему внутреннему содержанию, через Ставку был для отзыва сообщен командующим армиями. Это было сделано по инициативе самой Ставки, при чем предлагалось командующим запросить мнение начальников

отдельных частей (вплоть до командиров полков) и направить ответы непосредственно в министерство, «дабы военный министр, а с ним и Правительство услышали голос всего офицерскаго состава армии». Шляпников, имевший возможность пользоваться недоступным нам архивным материалом, приводит некоторые из этих отзывов. Главком Севернаго фронта высказался сам очень определенно: приказ «возражений не вызывает. Считаю невозможным теперь внесение в него каких-либо изменений в сторону отнятия или ограничения уже *предоставленных* прав, так как это может вызвать нежелательный последствия и потерю налаживающагося доверия. По вопросу об отдании чести присоединяюсь ко второму решению Комиссии ген. Поливанова, т. е. полагаю желательным сохранить взаимное, приветствие вне службы между всеми военнослужащими в военной форме». Брусилов полагал, что в вопросе об отдании чести возможно отменить «становку во фронт», но безусловно необходимо сохранить прикладывание руки к козырьку, как общий порядок отдания чести во всех случаях, как взаимное приветствие военнослужащих. Признавал главком Юго-Зап. фронта «безусловно вредным» участие нижних чинов в союзах «с политическою целью» – «вмешательство армии в политику, помимо разлагающаго влияния на необходимую ей дисциплину... всегда будет одной из угроз твердости государственной власти». Командиры отдельных частей в общем ответили, как и главнокомандующие. Любопытно, что сводка мнений командназго состава Особой армии (т. е. гвардейской преимущественно), переданная военному министру 21-го, признавала желательной отмену всех бытовых ограничений, производимую приказом № 114. Возражение касалось лишь политической жизни армии, при чем командный состав двух корпусов высказался положительно и в этом отношении, при условии недопустимости собраний на фронте в пределах расположения частей. Однако все делали одно изъятие: «исключительность переживаемаго момента требует, в виде изъятия из правил участия армии в выборах в Учр. Собрание и в определении через своих представителей образа правления, но на этом и должна закончиться политическая жизнь армии». Довольно характерен по своей мотивировке отзыв ген. Крейнс, начальника сводной пограничной пехотной дивизии, находившаго, что отмена ограничений связанных с политической жизнью армии, «невыгодна даже для демократической республики». «При полной демократической республике, – писал Крейнс, – нельзя запрещать даже реакционных политических кружков, желающих возвращения самодержавия, иначе полной свободы не будет, а изменится форма, а не суть. Нельзя тогда

запрещать и пропаганду пацифистов, ...а их у нас немало. Если же запретить крайния течения, т. е. пропаганду пацифистов, автократическаго правления и анархизма, то для наблюдения за выполнением сего, необходимо опять, хотя бы в иной форме, ввести Охранное Отделение жандармерии, столь ненавистной всем – тогда опять будет изменение формы, а не сущности в нашем строе. Если полная политическая свобода, то ею пользоваться должны все граждане страны, а армия, где граждане находятся временно, должна быть вне политики, она обязана принять ту форму правления и поддерживать ее в крайности силою оружия, которую установил народ, будь то конституционно-монархическое правление или республиканско-демократическое – безразлично». «Неужели все забыли или не знают психологию массы, – как легко ее повести в какую угодно сторону под впечатлением минуты, конечно, талантливому вождю, военному или народному – безразлично. Солдаты сознают и хорошо сознают, к чему направлены все эти льготы. Они знают, что этим хотят привлечь их великую силу для борьбы с опасностью реакции, к которой они не пожелают вернуться без этого»...

Сама Ставка, не дожидаясь ответов из армии, немедленно же реагировала на приказ военнаго министра. 7-го была послана официальная телеграмма за подписью Лукомскаго, от имени нач. Штаба верховнаго главнокомандующаго. Ставка присоединялась относительно отдания чести к установлению взаимнаго приветствия при условии, что первым приветствовать должен обязательно младший[413]. В Ставке также считали «совершенно недопустимым» участие солдат в политической жизни. «В настоящее время, – говорила телеграмма Ставки, – армия признала государственный переворот за совершившийся факт, признала новое правительство, и надо, чтобы она оставалась спокойной, пока не будет налажено новое государственное строение, и *ея мысли* (курсив мой) не были заняты политическими вопросами. Мы, все начальники, с своей стороны приложим все силы к тому, чтобы армия свято выполнила свой долг перед родиной в борьбе с врагом, но необходимо не забывать, что в противном случае, голос армии может быть грозен, и в какую сторону выльется движение в армии – предвидеть трудно. Во всяком случае, втягивание армии в политику приведет к тому, что будет невозможно продолжать войну»...

Разделял ли лично Алексеев такой нежизненный в обстоятельствах момента военный ригоризм в отношении «политики», который проявился в официальной телеграмме Ставки от имени нач. Штаба? В дневнике полк. Пронина говорится, что Алексеев «непосредственно» послал военному

министру тот отзыв, который в действительности являлся официальным ответом Ставки – поэтому и отправлен был за подписью Лукомскаго. И хотя телеграмма говорила подчас уже известными нам словами Алексеева (была ссылка, напр., на французскую революцию и пр.), тем не менее приходится заключить, что личное мнение Алексеева целиком не совпадало с официально выраженным ригоризмом. По крайней мере через четыре дня в разговоре с председателем Совета Министров Алексеев говорил: «В боевых линиях, в громадном большинстве частей совершенно спокойно, настроение, хорошее... Далеко не в таком положении находятся войсковыя части и запасные полки войскового тыла: бедность в офицерском составе, энергичная агитация делают свое дело... Веду переговоры с главнокомандующими об организации особых комитетов с участием в их составе наиболее надежных и умеренных представителей Совета Р. Д., работников Земгора и офицеров. Желательно, чтобы эти комитеты объехали войсковыя части, установили связь между войсками и Советом Депутатов и были готовы, при возникновении где-либо брожения командировать своих членов для разъяснения и бесед с солдатами. Лично у меня такая организация сложилась.... Как только получу все ответы, пойду к вам с представлением в надежде, что вы поддержите эту мысль. Равным образом я просил бы назначить комиссара Врем. Правительства для пребывания в Ставке и для установления нравственной и деловой связи между Штабом и Правительством». Интересно отметить, как этот призыв Алексеева к главнокомандующим фронтов преломился в воспоминании современника, сделавшагося вскоре ближайшим помощником Алексеева. «В половине марта – пишет, Деникин – я был вызван на совещание к командующему 4-й армией, ген. Рагозе... Нам прочли длинную телеграмму ген. Алексеева, полную безпросветнаго пессимизма о начинающейся дезорганизации правительственнаго аппарата и развале армии; демагогическая деятельность Совета Р. и С. Д., тяготевшая над волей и совестью Врем. Правит., полное безсилие последняго; вмешательство обоих органов в управление, армией. В качестве противодействующаго средства против развала армии, намечалась... посылка государственно-мыслящих делегатов из состава Думы и Совета Р. и С. Д. на фронт для убеждения... На всех телеграмма произвела одинаковое впечатление: Ставка выпустила из своих рук управление армией».

Как в действительности представляли себе дело подлинные противники «политики» в армии, видно из рапорта старших офицеров 52-й пех. дивизии, поданнаго 9 марта за подписью 17 начальников командующему 8-ой армией, т. е. ген. Каледину. Для них революции

вообще нет, есть только высочайший манифест 3-го марта, по которому верховная власть передана Временному Правительству. Их рапорт – протест против единоличных действий военнаго министра из штатских, которому чужды потребности моральных свойств армии и который под давлением Совета реформирует армию в «духе соц.-дем. партии», цель которой уничтожить армию и, следовательно, возможность самостоятельнаго существования русскаго народа. Приказ Гучкова – это «раскрепощение нижних чинов», что должно породить «чувство озлобления и ненависти» к офицерскому составу. Рапорт полагал «безотлагательными», между прочим, следующия мероприятия: внутренний уклад армии оставить неприкосновенным, не допуская в ней политики, агитации политических партий... (перед лицом смерти в окопах и в поле бок о бок друг с другом офицеры и солдаты давно друзья и братья, и не понимающия этого лица, стоящия во главе управления, но далекия от действительной жизни армии, вносят своими приказами и воззваниями нежелательную и пагубную рознь в военную семью); подтвердить от лица Правительства смертную казнь по возвращении после заключения мира всем тем, кто отдается; добровольно в плен; дезертиров карать за первый побег физическим наказанием, за второй – смертной казнью; усиление наказаний для нарушителей дисциплины... Самое удивительное то, что рапорт требовал «возстановления порядка в стране без всякаго кровопролития».

Рапорт, очевидно, был переслан в Ставку, и его составителям был преподан политический урок в виде письма ген. кварт. Лукомскаго 20 марта на имя ген. Каледина. «Вполне присоединяясь к принципиальной точке зрения и мнению, выраженному старшими офицерами 32-ой пех. дивизии», – начиналось письмо, – «должен сообщить, что, повидимому, они не совсем правильно рисуют себе обстановку, при каких условиях возникло и принуждено в настоящее время работать Врем. Правительство». Затем Лукомский, дав краткое и ясное изложение политических причин, приведших к перевороту, и условий, при которых возникло правительство, продолжал: «И в настоящее время встать в явную оппозицию и принять какия-либо репштельныя меры против Совета Р. и С. Д. было бы крайним абсурдом со стороны Врем. Прав, и последнему необходимо *согласовать свои распоряжен* и *я с требованиями момента* . Безспорно, что мероприятия Врем. Прав., касающияся взаимоотношений между офицерами и солдатами, так резко нарушающия вековой уклад внутренней жизни армии, не могут безболезненно не отразиться на последней. Задача переживаемаго момента настоятельно требует, чтобы

этот болезненный процесс армии прошел постепенно, без сильных потрясений и в соответствии с новым государственным строем. Чрезвычайно полезно в деле правильнаго понимания и объяснения событий текущаго момента государственной жизни организовать *особые комитеты* из выборных офицеров и солдат, в коих офицеры, входя в нужный контакт с солдатской массой в лице ея доверенных представителей, не стесняемых в эти моменты совместнаго обсуждения дисциплиною, могли бы нравственно на них воздействовать и в полной мере проявить силу своего моральнаго, умственнаго и чисто военнаго авторитета. Выдвигать же, в настоящий переходный момент, в виду предстоящих операций и неспокойнаго положения тыла, какие либо лозунги, идущие вразрез с политикой Врем. Прав., было бы актом политического безумия, свидетельствующаго лишь о том, что обстановка, ныне создавшаяся в стране, не ясна. Всякия резкия меры и требования в настоящее время могут погубить все и создать лишь кошмарное кровавое междоусобие и, как следствие, подчинение Германии.... Когда угар пройдет, то, естественно, можно будет принять ряд мер для укрепления в армии дисциплины, но пока надо напрягать все силы к тому, чтобы армия перенесла тяжелую болезнь и окончательно не развалилась. Временное Правительство и, в частности, военный министр, отлично понимают положение и, делая уступки в изменениях уклада внутренней жизни армии, делают лишь то, *чего избежать теперь нельзя* ".

«Рапорт» начальников 32 пех. див., конечно, не был одиноким. В материалах, напечатанных Шляпниковым, имеется еще обращение офицеров 3-го сиб. горно-артил. дивизиона, примыкавшее к лозунгу: «армии вне политики». «Первый приказ министра» – утверждало это обращение – «роет пропасть между солдатами и офицерами, которой не было, ибо вопрос о взаимоотношениях строго регламентировался уставом». Теперь «в сознании полуграмотнаго, а подчас и совсем неграмотнаго солдата полный сумбур». «Мы, офицеры, с самаго начала великих событий для России, сумели сплотить вокруг себя солдат, но уже сейчас наша работа сведена к нулю. «Вы» или «ты», это – первое яблоко раздора, которое брошено в нашу тесную и дружную военную семью, этим самым нашему единению с солдатами положен конец. Солдаты поняли это, как ограничение власти офицера, – офицера, который в бою имеет право жизни и смерти. Его авторитет подорван... Не станем скрывать, что не одни германские и австрийские офицеры идут с револьверами сзади атакующих цепей, приканчивая слабых духом – каждый наш ротный, и батальонный, и полковой командир имеет на своей совести не одну

жизнь... Мы, близко стоящие к бою, считаем это явление нормальным... Судите же сами, какой пустяк «ты» или «вы» по сравнению с ужасом войны»... «Ваш второй приказ нарушает давнишнюю традицию корпуса офицеров русской армии. До сих пор в своей среде мы не имели офицеров-евреев. Нация, заклеймившая в эту войну себя на наших глазах клеймом позора !.. Если вы не видели, как каждый еврей старался сдаться в плен и передать противнику наши военныя тайны, то мы знаем достаточное количество таких примеров... Эти меры – второе яблоко раздора, брошенное вали в нашу среду». «Вы» и «евреи» единственно конкретный материал, на котором останавливается «обращение», повторяющее слова, некогда направленныя Милюковым в адрес стараго правительства: «Что это – глупость пли измена?» Авторы «обращения» отвечают, что это «недостаточное знание русской армии» и ставят своей задачей открыть министру «глаза на суть дела».

Тему о безграмотных поднимает и «памятная записка» ген. лейт. Циховича (XII армия), помеченная 12 марта. Она проникнута другим настроением. Автор, повидимому, был искренним сторонником происшедшей перемены, покончившей с «кошмаром распутинских и протопоповских вакханалий», подавшей надежду, что «теперь все силы страны будут обращены на борьбу с внешним врагом». Мало того, он сумел сохранить в своей части «дух и дисциплину» (отзыв Куропаткина). «Уверенно скажу, – писал Цихович, – что армии, равной нашей, не было в мире... Армия наша была и есть несравненной... Введение в армию политики на глазах наших её разъедает... Политика поглотила теперь все... Роковая ошибка та, что началась спешная ломка армии, сильной до того, – ломка исключительно в угоду политике и на основании теорий, пригодных, может быть, для Швейцарии, но вредных для такого государства, как наше, и при сложной политической обстановке, его окружающей... То, что нам прививают, было бы хорошо, если бы армия состояла сплошь из интеллигентов, окончивших университет. Но ведь у нас 75% крестьян, и почти половина в роте неграмотные. Все новыя реформы непонятны и даже такая невинная, как переход с отеческаго «ты» на чуждое нашему крестьянству иностранное «вы», вызывает улыбки и взаимную неловкость». Мотив этот в решении вопроса о переходе на обращение на «вы» повторяется очень часто. Врангель излагал его Милюкову при посещении Петербурга, когда военный министр был в отсутствии: «русский простолюдин сызмальства привык к обращению на «ты» и в таком обращении не видит для себя обиды». Всегда однако забывали при этом прибавить, что в деревенском быту и барин именовался

на «ты».

Влияние Алексеева на ответ, посланный 32 пех. дивизии, очевидно. Позиция, обрисованная в этом документе, находится в явном противоречии с официальным заключением, которое 7-го Ставка послала в военное министерство но поводу приказа № 114. Противоречие можно объяснить тем, что корректный и щепетильный Алексеев, занимая формально пост лич. нач. штаба при руководящем направлении в. кн. Ник. Ник.[414], не считал себя в праве в официальном документе, отправленном в центр, проводить личный взгляд и в ответе пытался дать объективную сводку главенствовавших в армии или в Ставке мнений.

Рапорт старших офицеров 32 пех. дивизии требовал от военнаго министра проведения законов о реформе армии только с одобрения Военнаго Совета и санкции Гос. Думы. Последнее требование являлось последствием той путаницы в умах, которую породила (см. ниже) неясная конструкция Врем. Правительства; первое же требование было выполнено. Военный Совет к Петербурге из старших генералов – «якобы хранитель опыта и традиций армии», по выражению Деникина – в заседании 10 марта, выразил «полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которыя Врем. Пр. принимает в отношении реформы наших вооруженных сил, соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусскаго милитаризма»...

h11 Приказ № 2.

Итак, в военной среде Гучкова упрекали за то, что он действует под влиянием Совета, а в протоколах Исп. Ком. 6 марта записано: «военный министр всячески уклоняется от прямых сношений с Исп. Ком. и, повидимому, не склонен подчиняться решениям Совета». Было постановлено «отправить к военному министру делегацию»... для переговоров об издании приказа № 2 и настаивать на необходимости выборнаго начала офицерскаго состава и создания третейскаго суда, который регулировал бы «отношения между офицерами и солдатами». (О результатах переговоров делегация должна доложить Исп. Ком. для окончательнаго решения вопроса о приказе № 2).

Жизнь, действительно, била ключем в Совете, хотя деятельность его комиссий и носила довольно анархический характер. Не успел Исп. Ком. принять «разъясняющий» приказ № 2 и отправить делегацию к военному министру, как прибыла упоминавшаяся уже депутация от Рузскаго, под влиянием которой Исп. Ком. решил задержать выпуск «приказа № 2», но было уже поздно – приказ депешей по радио-телеграфу с царскосельской станцией был сообщен на фронт «для точнаго исполнения», хотя формально он относился только к Петербургу. Текст этого документа, весьма мало напоминающий по своей форме «приказ», гласил:

1. Приказ № 1 Совета Р. и С. Д. предложил всем.. воинским частям избрать соответственные... комитеты, но приказ не устанавливал, чтобы эти комитеты избирали офицеров... Комитеты эти должны быть избраны для того, чтобы солдаты Петроградскаго гарнизона... могли через представителей комитетов, участвовать в общеполитической жизни страны и в частности заявлять в Совет Р. и С. Д. о своих взглядах на необходимость принятия тех или иных мероприятий. Комитеты должны также ведать общественныя нужды каждой части. Вопрос же о том, в каких пределах интересы военной организации могут быть совмещены с правом солдат выбирать себе начальников, передан на разсмотрение в разработку специальной комиссии. Все произведенные до настоящаго времени выборы офицеров, утвержденные и поступившие на утверждение военнаго начальства, должны остаться в силе...

2. До того времени, когда вопрос о выборных начальниках будет разрешен вполне точно, Совет признает за комитетами... право возражать против назначения того или иного офицера. Возражения эти должны быть направлены в Исп. Ком. С. Р. Д., откуда они будут представляться в

военную комиссию, где наряду с другими общественными организациями участвуют и представители Совета Р. и С. Д., как учреждения, руководящаго всеми политическими выступлениями петроградских солдат. Этому своему выборному органу солдаты обязаны подчиняться в своей общественной и политической жизни. Что же касается до военных властей, то солдаты обязаны подчиняться всем их распоряжениям, относящимся до военной службы...

4. Для того, чтобы устранить опасность вооруженной контр-революции, Совет Р. и С. Д. выставил требование о неразоружении Петроградскаго гарнизона, завоевавшаго России ея политическую свободу, а Врем. Прав, приняло на себя обязательство не допускать такого разоружения, о чем и объявило в своей правительственной декларации. В согласии с этой декларацией... комитеты обязаны наблюдать за тем, чтобы оружие петроградских солдат от них не отбиралось, что и было указано в приказе № 1.

5. Подтверждая требования, изложенныя в §§ 1–7 приказа № 1, Исп. Ком. отмечает, что некоторыя из них уже приводятся в исполнение Врем. Правительством.

«Приказ № 2» вместо того, чтобы разъяснить, всем своим контекстом запутывал еще больше. Разъяснение о том, что «приказ № 1» не предлагал производить выборов команднаго состава, действительно, «надоумил», как предполагает один из исследователей вопроса (Рабинович), в некоторых местах этот выбор произвести... Вечером 6-го к военному министру явилась советская делегация – контактная комиссия, как называет ее Гучков в воспоминаниях, приписывая себе инициативу ея вызова. На основании разсказа ген. Потапова, который цитирует Деникин, не указывая происхождения документа, «заседание было очень бурным. Требование делегации Гучков признал для себя невозмозкным и несколько раз выходил, заявляя о сложении с себя звания министра». «С его уходом, – сообщает Потапов, – я принимал председательствование, вырабатывалось соглашение, снова приглашался Гучков, и заседание закончилось воззванием, которое было подписано от Совдепа Скобелевым, от Комитета Гос. Думы мною и от правительства Гучковым... Воззвание аннулировало приказы № 1 и № 2, но военный министр дал обещание проведения в армии более реальных, чем он предполагал, реформ по введению новых правил взаимоотношений команднаго состава и солдат». Сам Гучков изображает отмеченныя перипетии в виде прелюдии к «приказу № 2». Здесь сказалась не только забывчивость, но и стилизация воспоминаний в определенном направлении. «Чтобы парализовать

распространение приказа № 1, – пишет Гучков, – мне пришлось созвать контактную Комиссию при военно-морском министерстве, чтобы попытаться ее убедить во вреде приказа для боеспособности армии. Я, конечно, мог отменить приказ властью министра, но такая отмена не имела бы никаких практических последствий... Открывая созванное мною совещание, я старался убедить присутствовавших членов Совета Р. и С. Д. в необходимости отмены приказа № 1». В изображении Гучкова заседание вовсе не носило такого бурнаго характера, как в повествовании Потапова. «По тем замечаниям, какия делали члены комиссии, я видел, что они почти убедились моими выводами и готовы стать на мою точку зрения. Тогда я вышел в соседнюю комнату и просил их обсудить мои возражения, затем сообщить мне, к какому решению они пришли». Ген. Потапов потом сообщил Гучкову, что «большинство определенно склонялось к отмене приказа в какой-либо форме, которая не была конфузна для Совета р. и с. д., но Стеклов-Нахамкес был непреклонен» (Гучков, понятно, объясняет это связью с «немецким штабом»). Компромиссное решение не удовлетворило министра, но, с другой стороны, министр понимал, что, если он откажется от предложеннаго соглашения, «изложение будет еще хуже». «Я вызвал к себе тов. мин. ген. Поливанова – продолжает Гучков – и предложил ему срочно образовать под его председательством Комиссию из членов Ген. Штаба(?) для разсмотрения предложений Совета р. и с. деп. Я надеялся этим выиграть время и как-нибудь частным образом повлиять на руководителей Совета. Комиссия ген. Поливанова разсмотрела вопрос и единогласно постановила, что нужно согласиться с предлагаемым компромиссом, как на меньшее зло. *После* этого Совет издал приказ № 2»... Хронологическая неточность сама по себе выдает Гучкова. История издания «приказа № 2» достаточно запутана и другими мемуаристами. Наиболее правдивую версию дал Шляпников, но и его версия требует некоторых поправок. Инициатором «приказа № 2» был сам Исп. Ком. В этом нет никаких сомнений, так как в протоколе заседания Исп. Ком. 3-го значится: «в виду возникших недоразумений, в связи с приказом № 1 по петроградскому гарнизону, поручено военной комиссии *разъяснить* этот приказ». Решение это, очевидно, было принято под влиянием протестов, раздавшихся в образовавшейся «солдатской секции» Совета, имевшей на первых порах свой исполнительный комитет, и в частном совещании членов Исп. Ком. с группой офицеров. Так надо понимать упоминание Станкевича, что «военные» разъяснили вред «приказа № 1». Объединенная военная комиссия, функционировавшая под председательством Потапова – этот «штаб революции» продолжал формально состоять при Врем.

Комитете – и разработала проект «приказа № 2» (текст приказа написан рукою все того же Соколова). Он подвергся обсуждению в первом неофициальном заседании не оформившейся еще Поливановской комиссии, т. е. накануне того дня, когда советская делегация с представителем Военной Комиссии имела беседу с военным министром. Приказ помечен был 5-м марта, но в Исп. Ком. он поступил лишь 6-го. Трудно представить себе, что содержание его не дошло своевременно до Гучкова. Приказ передавался по радио Военной Комиссией, которая упрощенно называла себя Комиссией Врем. Правительства: Потапов присутствовал на заседании 6-го у Гучкова в качестве представителя этой Комиссии (Гучков в воспоминаниях говорит: «я пригласил также участвовать в *моем* совещании... Потапова, который, как было известно, был близок к социалистическим кругам и мог, следовательно, больше меня импонировать членам комиссии»). В официальном отчете о деятельности Военной Комиссии среди выполненных работ упомянуто «распространение приказа № 2»...

Точный текст того воззвания, которое было принято на заседании у Гучкова и которое названо в протоколе Исп. Ком. от 7-го «приказом № 3», гласил: «Исп. Ком. сообщает войскам фронта о решительной победе над старым режимом. Мы уверены, что войска фронта с нами и не позволят осуществиться попыткам вернуть старый режим. Мы же, представители петроградских рабочих и солдат, обещаем стоять здесь на страже свободы. Ея укреплению может помешать внутренняя вражда среди армии, рознь между офицерством и солдатами, и на всех гражданах лежит сейчас обязанность содействовать налаживанию отношений между солдатами и офицерами, признавшими новый строй России. И мы обращаемся к офицерам с призывом – проявить в своих служебных и неслужебных отношениях уважение к личности солдата-гражданина. В разсчете на то, что офицеры услышат наш призыв, приглашаем солдат в строю и при несении военной службы *строго выполнять воинския обязанности* . Вместе с тем Комитет сообщает армиям фронта, что приказы 1 и 2 относятся только к войскам петроградскаго округа, как и сказано в заголовке этих приказов. Что же касается армии фронта, то военный министр обещял немедленно выработать в соглашении с Исп. Ком. Совета Р. и С. Д. новыя правила относительно солдат и командnаго состава». Подписи Гучкова под этим документом не стояло, но было сказано, что «воззвание составлено по соглашению с военным министром». К «приказу № 3» и должны быть отнесены слова Гучкова в воспоминаниях: «Я своей подписи под этим приказом не поставил, но согласие на него дал после

одобрения его Комиссией Генеральная Штаба»[415].

h11 Декларация прав солдата.

В осуществление достигнутаго соглашения Поливановской комиссии и надлежало разработать законодательныя нормы, в которых должна была вылиться реформа военнаго министерства. Кодификация требовала продуманности. Но дело было не только в неизбежной «бюрократической» волоките, сам Гучков, говоривший на фронтовых совещаниях, что он «большой сторонник демократизации армии», признается, что им давалась инструкция затягивать – "не торопиться» для того, чтобы «выиграть время» (но свидетельству Куропаткина, пом. воен. министра ген. Новицкий возмущался деятеяьностью Поливановской комиссии, которая «работает на разложение армии»).

Медлительность военнаго министерства мало соответствовала настроениям и темпу работ революционнаго Совета. Уже 9-го не только был разработан проект «общих прав солдата», получивший впоследствии более пышное неофициальное наименование «декларации», но и принят общим собранием солдатской секции Совета и опубликован 15 марта в «Известиях». Между Поливановской комиссией и советской комиссией существовал постоянный контакт, и нет ничего удивительнаго в том, что «декларация» была выработана при непосредственном участии как бы представителя военнаго министра полк. Якубовича. По существу она принципиально ничего новаго не устанавливала по сравнению с приказом № 114 – только более выпукло формулировала «права» и более демонстративно подчеркивала отменяемое, как уничтожение телесных наказаний, сохранение института денщиков только в действующей армии на добровольном начале. Она отвечала и на вопрос, оставшийся открытым в приказе № 114, и разрешала его в смысле отмены «всякаго отдания чести». Самый скользкий вопрос о выборности командnаго состава не был затронут – солдатская секция по выражению Суханова, *о выборном начальстве «забыла* ». У авторов приказа № 114 не было логических оснований отвергать «декларацию». Вопрос мог итти только о иной формулировки и переработке некоторых пунктов, как, напр., вопрос об отдании «чести». Совершенно поэтому естественно, что Поливановская комиссия санкционировала «декларацию» к удивленно военнаго министра, как он разсказывает в позднейших воспоминаниях – одобрила в тому же «единогласно, без поправок». Это не так – «поправки» были. Так, напр., в том же вопросе об «отдаче чести» было прибавлено, что «устанавливается взаимное добровольное приветствие». Были и более

существенныя поправки: к пункту, что «солдат не может быть подвергнут наказанию или взысканию без суда», было добавлено: «в боевой обстановке начальник имеет право под своей личной ответственностью принимать меры, до применения вооруженной силы включительно, против не исполняющих его приказаний подчиненных».

Для психолога солдата в революционную эпоху те пункты, которые особливо отмечали составители «декларации», были вопросами больными в силу характера дисциплины старой армии. Возьмем вопрос об «отдаче чести». Достаточно привести одну только бытовую иллюстрацию. Ген. Верцинский, командовавший гвардейской стрелковой дивизией, разсказывает на оснований данных, имевшихся в штабе 8-й армии, во главе которой в начале войны стоял Брусилов, что последний «приводил встреченных им во время своих прогулок солдат и приказывал их пороть за неотдание ему чести». Какая разница с Алексеевым, который, по словам в. кн. Ан. Вл., «конфузился», когда ему становились во фронт! Однако, факты свидетельствуют, что этот вопрос отнюдь все же не захватывал «революционной психологии» солдатской массы и что он, вероятно, в бытовом порядке разрешился бы сам собой. Суханов пытается утверждать, что в середине марта в Петеребурге, кроме юнкеров, давно никто не отдавал чести. Это крайне преувеличено относительно Петербурга, как мы могли удостовериться при характеристик настроений первых мартовских дней. 25 апреля приехавший из Туркестана Куропаткин записал: «На улицах честь отдают лучше и чаще, чем две недели назад». Так было и в других местах. Тот же Верцинский, проезжая Киев но дороге на Кавказ в середине марта, отмечает отдание чести встречным офицерам «почти всеми». Еще резче, конечно, ставился вопрос о телесных наказаниях, не говоря уже о том непредусмотренном законом бытовом явлении, которое в общежитии образно именовалось «мордобитием». И здесь приведем одну только иллюстрацию. Головин разсказывает о приказе все того же Брусилова – главнокомандующаго Юго-Западнаго фронта – о порке 50 ударами розог исех нижних чипов маршевых рот, которые приходили в части с недостатком выданнаго им вещевого довольствия. Наконец, о деньщиках – этот институт еще в 10 г. в Думе казацким депутатом был назван «рабским»... «Забитый солдат, в котором при старом режиме не видели человека», как чрезмерно преувеличенно сказал на московском Госуд. Совещании человек весьма умеренных политических взглядов проф. Озеров, не мог не реагировать остро на свою прежнюю приниженность после революционнаго переворота.

Задержка в распубликовании новых проектированных правил

приводила лишь к инцидентам – на них, со слов Рузскаго, указывали, напр., в своем отчете члены Врем. Комитета, посетившие Северный фронт. В войсках известен уже был проект Поливановской комиссии, и местное военное начальство, стоя на формальной точке зрения, требовало во имя поддержания дисциплины обязательное выполнение старых правил и грозило преданном военно-полевому суду (приказ Радко-Дмитриева). Ставка подтверждала это требование. В конце концов Рузскому пришлось «приостановить объявление распоряжения Ставки» по армиям Севернаго фронта.

Военный министр отказался утвердить «декларацию прав солдата» (Гучков ошибочно относит в воспоминаниях к «концу апреля» документ, якобы полученный им от Совета с предложением разослать его в приказе по армии;. «Декларация» была опубликована 9-го мая при новом военном министре. Таким образом, между принятием Советом проекта и официальным распубликованием прошло ровно *два месяца* . «Декларация» в армии была известна. Она соответствовала тому всеобщему напряженному ожиданию, что дисциплина будет организована на «новых началах», о котором говорили в своих отчетах думские депутаты на основании непосредственных бесед с солдатами. Мало того, по нескладице тогдашней постановление Совета 9 марта могло быта принято, как новый «приказ» от Совета типа приказов № 1 и № 2. Нет сомнения, что советские дирижеры разсматривали постановление 9 марта, как утверждение принципов, установленных солдатской секцией, а самый текст лишь, как проект будущаго приказа. В черновых записях протоколов Исп. Ком. указания на обсуждение проекта в самом Исп. Ком. мы не встречаем – в протоколе 10 марта говорится только о требовании «левых» настаивать на «реализации обещания пересмотреть порядки в действующей армии». Но в публикации 15 марта был один термин, вносивший путаницу: сказано было, что отменяются статьи устава, противоречащия положениям «настоящаго приказа», т. е. приказа предполагаемаго. В этой преждевременной публикации нельзя видеть закулисной махинации «большевиков», как это делает Милюков в «России на переломе». Большевики к «декларации», выработанной в солдатской секции Совета, относились отрицательно и видели в ней проявление реакционных веяний.

4. Комитеты

Совет обсудил не только «права солдат», но и согласно устанавливаемым им положениям, что «солдаты имеют право внутренней организации», солдатская секция, под руководством с.-р. прап. Утгофа, разработала и «положение о войсковых комитетах» (районных и полковых), учреждаемых для решения различных вопросов, касающихся «внутренняго быта» войсковых частей. Проект отвергал выборное начало команднаго состава и оговаривал, что вопрос «боевой подготовки и боевых сторон» деятельности части обсуждению в комитете не подлежит. Проект «положения» был опубликован в «Известиях» 24 марта. Обсуждала все эти вопросы и «комиссия о реформах» ген. Поливанова. Уже на третьем своем заседании 9 марта она поручила Ген. Штабу разработать положение о ротных комитетах, признавая желательным согласовать министерский проект с предложениями солдатской секции Совета и военной комиссии Временнаго Комитета Гос. Думы.

Пока же на фронте происходили «самочинныя» действия и самопроизвольно зарождались организации, существование которых местным военным властям приходилось неизбежно санкционировать. Так сложилось «армейское самоуправление» в XII армии – сложилось «самостоятельно, почти без всякаго влияния со стороны Петрограда», как отмечала «памятная записка» Совета офиц. деп. названной армии, поданная Временному Правительству[416], и получило свою собственную организационную форму применительно к лестным условиям: из полковых комитетов – солдатских и офицерских, а иногда и смешанных – выделялись комитеты дивизионные и корпусные, завершая пирамиду Совета солдатских и офицерских депутатов при штабе армии[417]. «Памятная записка» подчеркивала, что армейская организация, существование которой можно начать с 9 марта, возникла «при полном сочувствии командующаго армией» (Радко-Дмитриева), сдерживавшаго «несочувствие» к самоуправлению армейскому «низшаго команднаго состава». По мнению составителей «памятной записки» протекшия две недели позволяют положительно оценить полученные результаты: «Боевая служба несется образцово»... «Неорганизованныя выступления и случаи самосуда над нелюбимыми начальниками прекратились совершенно. Исчезли жалобы на недостаточное довольствие... И даже дезертирство, такое доступное и легкое в виду отсутствия надзора в тылу, не повысилось, а наоборот значительно сократилось. Конечно, такая картина, могущая

показаться слишком идиллической, наблюдается только в частях, где начальство шло навстречу новому порядку... В других частях, где самоуправление не встречало сочувствия начальства, до сих пор чувствуется неуверенность, напряжение, разобщенность между солдатами и офицерами и, как следствие, ослабление единства и боевой силы части. Очень многие войсковые начальники, препятствующие введению новаго порядка, вовсе не являются принципиальными противниками самоуправления в армии, но... протестуют против введения самоуправления только потому, что оно не подтверждено приказом по военному ведомству и представляется им преступлением, самовольством. В виду этого необходимо скорейшее проведение приказа по военному ведомству обязательных и общих для всей армии форм воинскаго самоуправления». Инициаторы шли дальше и предлагали военному министру сконструировать Всероссийский Общеармейский Совет военных депутатов, как орган постояннаго представительства действующей армии, который создал бы живую связь между правительством и армией и дал бы правительству «возможность в своих действиях опереться на 8 мил. штыков и действовать твердо и уверенно, не считаясь ни с какой оппозицией, откуда бы она ни шла». Все тыловые советы – «случайные советы» – подлежали, по этому плану, роспуску и замене правильным представительством.

Тактика Радко-Дмитриева[418] не была единичной на фронте. Деникин упоминает о ген. Цурикове, командовавшем VI армией на Румынском фронте, который с первых же дней согласился на введение комитетов и послал даже телеграмму командирам корпусов соседней армии с доказательством пользы нововведения. Также Деникин упоминает, что главнокомандующий Кавказским фронтом «еще до узаконения военных организаций приказал, чтобы «распоряжения, касающияся устройства и быта; армии, проходили через Совет солдатских депутатов». В военное министерство с разных сторон шло немало донесений о пользе, которую приносили делу «самозванные» комитеты – они «вносили успокоение, постепенно связывая офицеров с солдатами». (См., напр., телеграммы с Зап. фронта). Мы видели, сколь значительны должны быть поправки к утверждению Деникина («Об исправлениях истории»), что Гучков услышал из армии по вопросу об ея демократизации «вопль осуждения». Этого не было.

При таких условиях верховной власти не оставалось ничего другого, как пытаться легализировать комитеты – «прибрать их к рукам». «Так мы и поступили», – заключает Гучков в воспоминаниях. 28-го в Ставке

состоялось совещание, на котором победила компромиссная позиция, и 30-го Алексеевым, не принадлежавшим к числу людей, для которых недоступна чужая аргумеутация[419], было издано «временное положение об организации чинов действующей армии и флота». В основу этого «положения» лег проект, разработанный под руководством Колчака для Черноморскаго флота и сообщенный, очевидно, в Ставке – Верховским.

Может ли возникнуть хоть какое-нибудь сомнение, что авторитет Правительства и верховнаго командования безконечно выиграл бы, если бы инициатива и новая организация армии всецело находились в их руках? Они достигли бы большаго, если бы «временное положение» 30-го, замененное через две недели статутом Поливановской комиссии[420], было бы издано 9 марта, когда все еще было в брожении и когда еще не пришлось бы закреплять сущее, как стало это неизбежно позднее. Дезорганизующее влияние безспорно оказало то обстоятельство, что в связи с изменениями «положений» приходилось переизбирать войсковые комитеты – в некоторых местах «до четырех раз» в течение одного месяца (жалоба, которую записал в свой путевой дневник ген. Масленников при посещении Особой армии 18 апреля). Почти столь же неизбежно было и то пагубное явление, которое родилось из факта образования комитетов явочным порядком – они в сущности, нередко продолжали действовать уже в порядке «обычнаго права́' и придавали новой «наиболее свободной в мире» армии подчас характер уродливаго своеобразия: протоколы Исп. Ком. зафиксировали такую достаточно яркую бытовую черту – представитель тылового лужскаго комитета докладывал 11 марта: «хороший гарнизон. Во главе комитета капитан, с ним вместе заседают представители населения, далее женщины»... Едва ли нормальным можно признать тот факт, что в 80 сиб. полку первым председателем солдатскаго комитета был священник.

* * *

Каких результатов могла бы достигнуть на первых порах инициатива военной власти, показывает деятельность «инициатора захвата солдатскаго движения в руки команднаго состава», адм. Колчака в Черноморском флоте. Наиболее серьезные большевицкие историки должны признать, что Колчаку «действительно удалось добиться огромных успехов – в течение почта двух месяцев, на севастопольских судах, в гарнизонах и среди рабочих царили... идеи победоносной войны. Севастопольская военная организация создает проект устава, основной мыслью котораго является усиление мощи флота и армии»... Колчак считал необходимыми комитеты, которые вносили «порядок и

спокойствие», и он мог на митингах открыто заявлять, что «приказ № 1» для него не обязателен – его выслушивали спокойно.

Адм. Колчак принадлежал, несомненно. к числу крупных индивидуальностей[421]. Можно думать, что инициатива Ставки была бы поддержана не за страх, а за совесть большинством команднаго состава и по внутреннему убеждению и по выработанной традиции дисциплины – этому чувству чести военный среды. Так ярко последнее выразил ген. Селивачев записью в дневник но поводу «запроса» военнаго министра об отношении к приказу № 114: «не знаю, как ответят мои командиры полков... Я же лично дам такой ответ: «для меня, как человека военнаго, всякий приказ военнаго министра непреложен к исполнению; обсуждать затронутые вопросы я считаю возможным лишь до тех пор, пока они не вылились в форму приказа. Тем более вопросы внутренней жизни войск, которые должны основываться на принципах, а не на разнообразной обстановке, повелевающей в бою; как начальник, я не мог бы доверять своему подчиненному, позволяющему себе критиковать отданный мною приказ»...[422]. Показательным примером может служить и ген. Марков, дневник котораго цитирует Деникин. Первые дни в X армии на Зап. фронте – время колебаний и сомнений. «Все ходят с одной лишь думой – что-то будет? Минувшее все порицали, а настоящаго не ожидали. Россия лежит над пропастью, и вопрос еще очень большой – хватит ли сил достигнуть противоположнаго берега» (запись 6 марта). «Все то же. Руки опускаются работать. История идет логически последовательно. Многое подлое ушло, но и всплыло много накипи». Прочитав какое то «постановление» в «Известиях» за «немедленное окончание войны», экспансивный автор дневника запишет: «погубят армию эти депутаты и Советы, а вместе с ней и Россию» (9-го). Проходит несколько дней и Марков уходит с головой в "советы» и «комитеты». 30 марта он вносит в дневник: «Спокойное, плодотворное заседание армейскаго съезда до глубокой ночи». И позлее: «Я верю, что все будет хорошо, но боюсь – какой ценой»... В записях современников из числа военных часто раздаются жалобы па непригодность кадровых офицеров для выпавшей им роли политических воспитателей солдат, что препятствует развитию инициативы командования. Но не боги горшки обжигают, и эта «удручающая» политическая «незрелость» все же, как свидетельствуют многочисленные примеры, очень скоро приспособилась к революционной обстановке.

Ген. Деникин, склонный с некоторым излишеством применять статистический метод, определил, что 65% начальников армии не оказали

достаточно сильнаго протеста против «демократизации» (т. е. «разложения» армии). Подобное утверждение по существу является лучшим ответом на обвинение в «демагогии». На эти 65% возлагает ответственность и Гучков в воспоминаниях, написанных в эмиграции уже тогда, когда вынужденная обстоятельствами демократическая тога 17-го года, мало соответствовавшая самым основам политическаго миросозерцания перваго военнаго министра революционнаго правительства, была сброшена. Всех своих ближайших помощников по проведению реформы он обвинял в демагогии – они потакали революции по соображениям карьеры[423]. Свидетельство самооправдывающагося мемуариста, вспоминающаго былые дни в ином настроении, чем они им переживались, не может быть убедительным в силу своей тенденциозности.

IV. В преддверии кризиса

Было бы наивно предположить, что военное командование при самых благоприятных условиях могло бы своей энергичной инициативой устранить то основное роковое противоречие, которое вытекало из самой дилеммы, вставшей перед обществом и народом: революция и война. Так, может быть, могли думать немногие энтузиасты, разделявшие почти мистические взгляды адм. Колчака на благотворное влияние войны на человеческий организм и готовые повторять за ним, что революция открывала в этом отношении новыя перспективы[424]. Жизнь была прозаичней, и всей совокупностью условий, которыя были очерчены выше, властно намечался как будто бы один путь, определенный в дневнике писательницы, не раз цитированной (Гиппиус), словами: «надо действовать обеими руками (одной – за мир, другой – за утверждение защитной силы)».

Еще определеннее было мнение В. Д. Набокова, принадлежавшаго к числу тех, которые полагали, что одной из причин революции было утомление от войны и нежелание ее продолжать... Но только мнение это сложилось уже в процессе революции и сильно отражало в себе слишком субъективное восприятие действительности. В сознании Набокова вырисовывался единственно разумный выход – сепаратный мир[425]. «Душа армии», конечно, улетела с фронта, как выразился позже заменивший Радко-Дмитриева ген. Парский. «Вернуть эту душу» не в силах были революционныя организации, ибо оне не могли «империалистическую» войну превратить в войну «революционную» и обречены были на противоречивое балансирование в пределах формулы «революционнаго оборончества», сделавшейся официальным знаменем советской демократии. Эта формула, стремившаяся сочетать старые взгляды Циммервальда с новыми патриотическими заданиями, которыя ставила революция, не могла устранить причин распада армии.

Для продолжения войны нужен был пафос, то есть активное действие, – защитная сила была формулой пассивной, которая могла получить действенное значение лишь при некоторых определенных внешних условиях. Раз их не было, формула теряла свою политическую обостренность. Многие из находившихся непосредственно на фронте сознавали рождавшуюся опасность. Так ген. Селивачев, знакомясь с планом проектировавшагося прорыва с участка 6 арм. корпуса, записал 11 марта: «Предстоящая операция, говоря откровенно, крайне пугает меня:

подъема в войсках нет, совершившийся переворот притянул к себе мысли армии, которая безусловно ждала, что с новым правительством будет окончена война, и каждый, вернувшись домой, займется своим делом. А тут опять бои... Какия бы громкия фразы ни говорили от «Совета Р. и С. Д.», уставший от войны и ея ужасных лишений солдат не подымется духом больше, нежели он подымался при царе, а со стороны офицеров едва ли что можно ожидать крепкаго: старые – оскорблены, а молодые – неопытны»... Вероятно, внутренне сознавали то же и руководящее круги революционной демократии. И не только соображения отвлеченныя, идеологическия, но и психологическия настроения – реалистическия, толкали демократию на путь поисков всеобщаго мира через Стокгольмския совещания и путем пацифистских деклараций.

Другая точка зрения совпадала с официальной позицией правительств зап.-европейской демократии и гласила, что «мир может быть достигнут только путем победы». Через 25 лет, когда мир переживает вновь катастрофу, кто скажет определенно, на чьей стороне было больше утопии, и какой путь тогда для культуры и человечества был более целесообразен?[426].

Массе, естественно, чужда была отвлеченная постановка вопроса. Отсюда возникала та драма в душе «простого человека», о которой говорил в августовском московском совещании с. р. Вржосек, выступавший от имени петроградскаго Совета офицерских депутатов: «с одной стороны, мы говорим: боритесь до полнаго конца, вы должны победить во имя свободной родины, а с другой стороны, мы нашему пролетариату, нашей армии, стране, наиболее бедной духовными и материальными силами, задаем такую колоссальную задачу, которую не может взять на себя ни один пролетариат мира. И если вы, с одной стороны, говорите: «боритесь», с другой стороны, указываете на Стокгольм и говорите: «ждите оттуда мира», разве вы не понимаете, какую драму создаете вы в душе человека, как вы разрываете ее на две части. Мы – теоретики, мы – люди народной мысли, конечно, сумеем примирить противоречия и в этих изгибах не потеряться. Но неужели вы думаете, что широкия народный массы не ждут детски просто вестей мира, как совершенно определеннаго указания оттуда. И разве вы думаете, что так легко стоять перед смертью?... Нечеловеческим ужасом наполняется душа – так разве можно в то же самое время его смущать мыслью о мире и говорить: ты должен думать одновременно и о борьбе, и о мире»[427].

Вот почва, на которой развивалась в армии бацилла, порожденная

эксхатологией фанатичнаго вождя большевиков. В силу своего собственнаго внутренняго противоречия революционная демократия не сумела, как не сумело этого по другим причинам и Временное Правительство, оказать должное противодействие разлагающей, упрощенной по своей прямолинейности, пропаганде последователей ленинской политики[428].

Вовсе не надо принадлежать по своим политическим взглядам к числу «реакционеров», как полагает в своих воспоминаниях Керенский, для того, чтобы признать полную правоту Алексеева, писавшаго 16 апреля Гучкову: «положение в армии с каждым днем ухудшается... армия идет к постепенному разложению». Верховный главнокомандующий лишь удивлялся безответственности людей, писавших и говоривших о «прекрасном» настроении армии. Количество мрачных суждений о состоянии армии возрастает. Известный нам прапорщик-интеллигент из Особой армии, бывший скорее в первый недели после революции оптимистом, употребляет уже слова: «армия погибает» (5 мая). И все же положение было вовсе не так безнадежно, как оно казалось пессимистам. Спасал, вероятно, тот «здравый смысл русскаго народа́', о котором в первые дни революции кн. Львов говорил Алексееву. Надо было не надеяться на «чудо» (так Набоков определяет апрельския настроения военнаго министра), а только ближе присмотреться к жизни.

Большевицкие историки впоследствии должны были признать, что процесс разложения армии «шел гораздо медленнее, чем можно было ожидать», и что этому замедленно содействовали органы армейскаго самоуправления. Трудно во многом не согласиться с тем, что говорил на московском совещании «представитель армейских и фронтовых комитетов» Кучин, хотя отдельныя места его речи, не без основания, вызывали довольно шумные протесты части собрания. Вот что он говорил о роли, которую сыграло в армии новое «самоуправление». «Что сделали комитеты? – спрашивают здесь. Здесь указывают на целый ряд явлений разложения. Указывают, что моральнаго подъема нет, что дисциплина пала и т. д. и т. д., и что в этом виноваты комитеты. Нет, мы утверждаем, что если бы в первые дни революции в армии не были созданы эти организации солдатской массы[429], эти организации, объединившия солдат и офицеров, то мы не знаем, что было бы в армии, которая в страшно трудной обстановки освободилась под выстрелами врагов от рокового гнета... Что сделали комитеты с перваго дня революции? Они произвели огромную работу организации массы... (я дальше местами делаю некоторую перестановку в последовательности несколько необработанной

и разбросанной речи). Мы знаем, если вы видели солдата в первые дни революции, ...с какой стихийной потребностью он шел и чувствовал, что ему нужно говорить, нужно организовываться. У него ничего не было. Ему нужно было давать то, чего он не знал. Это давали комитеты... Кто же первый... стал на защиту необходимости нормальных отношений солдат с офицерами? Комитеты. Я утверждаю это про XII армию, представителем которой я являюсь... Революция... не игрушка. Если она была мучительной в армии, если целый ряд конфликтов был в армии, то это потому, что это – революция... огромная масса освободилась от рокового гнета... Она со многих случаях проявила незаконно, может быть, позорно свой гнев... Но что, если бы не было комитетов?... Если сейчас в отдельных армиях мы переживаем период отсутствия антагонизма между солдатами и офицерами... в этом по существу закономерном и стихийном процессе главное место занимает работа армейских комитетов... Затем возникал целый ряд чрезвычайно важных вопросов... Мы знаем, что не было ни одного комитета из ответственных представителей солдатских и офицерских масс, который... не принял бы участия в борьбе с разлагающим братанием. Если сейчас нет братания в армии, то эту роль, несомненно, сыграли армейские комитеты»...

Речь фронтового представителя социалистической демократии была произнесена в момент, отдаленный от мартовских переживаний уже целой полосой революции, которую в отношений армии он сам охарактеризовал «периодом разложения и дезорганизации». Этот «второй период» жизни армии оратор пытался односторонне представить неизбежным «стихийным процессом революции» – «это вина всего, что произошло, это вина не людей и организации, это беда российской революции, которая произошла в момент мировой войны и задыхалась в этой ужасной войне». Первый период революции – говорил Кучин – прошел, как сознательная деятельность некоторых элементов солдатской массы, за которыми слепо и радостно шла солдатская масса, выходившая на сцену сознательной жизни. Во второй период... прошел мучительный процесс в глубинах народной жизни». «Солдатская масса обрадовалась революции, как скорому приходу мира». «Стихийную потребность мира» армейские комитеты пытались влить в «русло международной борьбы за мир» и «энергичной обороны страны». «Не всегда удавались эту идею воплотить в сознании широких масс», которыя разочаровались в революции, не давшей «всего, что оне хотели» и которыя начали «самостоятельно переваривать всю ту огромную массу вопросов, которые в их мозг, в их жизнь выкинула революция». Естественно, оне не могли справиться с такой задачей – на

этой почве рождались дезорганизаторския настроения, которыя, как в определенном кристалле, собирались вокруг «большевизма». «Не большевизм самостоятельно родил то ужасное, что было в армии, не большевизм безответственный, но большевизм жандармский, потому что жандармы и городовые вступали в армию под лозунгом большевизма и были тем ферментом, который разлагал те настроения, которыя создались в армии».

В данном случае Кучин следовал роковому usúy, установившемуся в значительном большинстве революционной демократии под влиянием роста, как казалось, реставрационных настроений после польских дней, реабилитировать идейный большевизм и дезорганизаторскую работу объяснить происками «контр-революционеров», которые действуют «под флагом большевизма» (см. «Золотой ключ»). Это было тактически ошибочно и неправильно по существу. Объективное установление факта о зловредной роли, которую сыграли отправляемые на фронт жандармы, несомненно правильно[430].

Несколько отвлеченное построение, представителя фронтовой демократии, социологически, вероятно, правильное (поправка должна быть сделана, может быть, в сторону примата пропаганды «безответственных» элементов) противопоставлялось той системе оздоровления армии, которая, по его выражению, сводилась к репрессивным «мерам железа и крови» и которой аплодировало на Гос. Совещании так называемое «правое» крыло. Кучин, болея «ужасами в армии», указывая, что «эту тоскующую, ищущую безплодно пути к своему возрождению массу темных людей, нельзя представлять себе взбунтовавшимися рабами, которых «покорностью можно заставить жить так, как надо»[431]. Спор этот вводит нас непосредственно во «второй период» жизни армии, лишь началом своим захватывающий эпоху перваго Временнаго Правительства. В сущности основное положение фронтового делегата, говорившаго от имени революционной демократии, косвенно подтвердил в своей речи и первый верховный главнокомандующий революционнаго времени. В своем слове, полном заостренной горечи за пережитое и страданием за судьбы армии, Алексеев объективно не мог оценить того недавняго прошлаго, которое тогда было еще жгучим настоящим и, не добром помянув выборные коллективы, все же подлинный вождь армии признал, что в недрах своего здороваго организма армия могла переварить «ядовитую пилюлю» в виде «приказа № 1», но ее разрушала не встречавшая должнаго противодействия пораженческая (употребим для простоты и отчетливости термин из языка

дореволюционнаго – его употребили Каледин и Маклаков в своих речах на Гос. Сов.) агитация – «с этим труднее было бороться».

В апреле, повторяем, еще рано было говорить о «чуде», которое одно только могло спасти армию. Вслушаемся в отчеты уполномоченных Врем. Комитета, посетивших фронт в апреле. Мы не ммеем официальнаго отчета депутатов Мансырева и Филоненко, командированных 5 апреля на Юго-Западный фронт и вернувшихся 21-го. Но Мансыров в воспоминаниях разсказал о своих впечатлениях. Воспоминания Мансырева, правда, очень далеки о воспроизведения былой действительности с точностью, доступной мемуаристу, но едва ли он сильно погрешил против общаго впечатления вынесеннаго из поездки: «Юго-Западный фронт производил впечатление хорошее». Такое же заключение, по его словам, вынесли и два других думца – Шаховской и Кузьмин, которые одновременно были на фронте. «Мы посетили – вспоминает Мапсырев – свыше 25 полков, не считая отдельных небольших отрядов, а также разных митингов, составлявшихся по пути из солдат и местных жителей... Настроение патриотическое, полное готовности к наступлению, недурная дисциплина и даже отсутствие резкаго антагонизма между солдатами и офицерами; бывали кое какия недоразумения, но мы их сравнительно легко ликвидировали» – депутат ездил с советскими делегатами («несколько хуже» было настроение в VIII Калединской армии).

Об апрельских настроениях в Особой армии мы имеем опубликованныя выдержки из официальнаго отчета членов Думы Масленникова и Шмакова о поездке на фронт в середине месяца. Резюме их доклада довольно пессимистично: «сравнивая дух армии в настоящее время и в первые дни революции при посещении Севернаго фронта, к сожалению, приходится констатировать, что та пропаганда, которую вела Германия у нас в тылу через своих вольных и невольных провокаторов и шпионов, а также пропаганда на фронте под видом перемирия и братания сделали свое губительное дело... Успех нежелательной пропаганды в некоторых частях лежит в том, что он бьет по самому больному месту. Все устали воевать – большевицкая пропаганда проповедует скорейшее прекращение активных военных действий (оборонительная война и мирный конгресс)... Вот почему так крепко. укоренилось неправильное понимание мира без анексий, как отказ от всякой наступательной войны... Огромная масса солдат рада верить в то, что немцы пойдут на все требования, выставленныя русской демократией. Немцы, отлично учтя это настроение, всячески стараются его поддержать и развивать, прекратив обстрел наших позиций и проповедуя свое миролюбие организованным и

планомерно проводимым братанием. Зараза, идущая из тыла, одинаковая с пропагандой немцев, убеждает менее сознательную часть солдат в возможности их мыслей и чаяний».

Подводя итоги, депутаты проявили склонность обобщить наблюдения, ими сделанныя в отдельных случаях. Это определенно вытекает из отчета, представленнаго в виде поденных записей от 11 до 19 апреля. Проследим их вкратце. 11-го депутаты в Луцке, где пребывал штаб Особой армии. Ген. Балуев с «большой похвалой» отозвался о деятельности комитета армии, председателем котораго по избранию состоял инициатор и организатор съезда армии полк. Малыхин. При нем продуктивно работает «согласительная комиссия», ведающая разбором конфликтов, которые возникают на почве отношений между солдатами и офицерами. (Депутаты приводят пример, как солдатами был смещен командир полна и выбран другой – комиссия «быстро» добилась подчинения новому командиру, назначенному Валуевым). Описывают депутаты посещение Полоцкаго полка. Кричат «ура», качают и несут до экипажей... В речах «верное понимание смысла девиза «без анексий и контрибуций», отсутствуют речи большевицкаго направления». То же в Тобольском полку, который в образцовом порядке в церемониальном марше под звуки марсельезы проходит перед депутатами. По заявлению командира, девиз полка: «война до победнаго конца без анексий и контрибуций»... 13-го заканчивается объезд 5-го корпуса – впечатление «благоприятное». «Всюду налажена деятельность комитетов, не вызывающая столкновений с начальством... В смысле боеспособности солдат... несомненно в наступление пойдут. Объясняется это интенсивной борьбой комитетов с пропагандой большевиков. Отношение к Думе и Временному Правительству (подчеркивается иногда необходимость единения последняго с Советом С. и Р. Д.) крайне благожелательное. Отношение к депутатам восторженное... Замечание депутата (Масленникова), что Совет не должен стремиться к законодательной власти и тем более управлению страной, в виду опасности двоевластия. – не вызывает протеста, наоборот одобряется. Солдаты всюду выставляют своим девизом демократическую республику». 15-го депутаты посещают Временец – штаб XI армии ген. Гутора. Здесь на армейском съезде депутаты впервые услышали речь большевицкую – председатель съезда прап. 11 финл. полка, бывший секретарь «левых фракций Гос. Думы» заявил, что армия будет «драться до конца» («мы будем голы, босы, но будем драться за свободу пролетариата») только в случае выяснения истинных намерений наших союзников, дабы России была дана гарантия, что борьба идет не за

капиталистическия цели союзников». Ответ Масленникова «все же удовлетворил» съезд, на заседаниях котораго чувствовалась «деятельная пропаганда большевиков». Под крики «ура» депутатов «выносят на руках». 16-го посещение штаба 2 гвард. корпуса – депутатам устраивается «восторженный прием в Волынском, Кегсгольмском и Петроградском полках»... 17-го солдаты гвардии 1 и 4 стрелковых полков требовали удаления «всех баронов, фонов и прочих шпионов», а также офицеров, которым было выражено недоверие запасным батальоном в Царском Селе[432]. В заседании корпусного комитета поднимался вопрос о созыве Учр. Собрания. Рабочий солдат (большевицкаго направления) настаивал на скорейшем его созыве; большинство же (крестьяне) просили ходатайствовать об отложении созыва «до окончания войны» в виду невозможности провести посредством «правильной агитации» «элементы, которые представляли бы действительный голос крестьянства. Депутаты отмечали «крайне благожелательное настроение всего собрания». 19-го посещение Гренадерскаго полка – того самаго, в котором действовал прославившийся потом поручик большевик Дзевалтовский. Вновь крики «ура», «овации». Но среди речей солдат отмечают фразы: «штык против немцев, приклад против внутренняго врага». Были произнесены две «крайния речи» – угроза удалить «вон» правительство, если оно не пойдет об руку с Советом, и требование заключения бывш. императора и Петропавловскую крепость.. Однако, возражение Масленникова встречает «полное сочувствие» собрания. Вновь «овации и ура». При посещении гвардейских сапер в Несвеже впервые за всю поездку был очень остро затронут вопрос о мире» одним из членов президиума комитета, утвержденным штабом «редактором латышской газеты», который указывал на «мирную конференцию, как на скорейший способ ликвидировать войну». В речах не было «ни одного слова, враждебнаго к Германии», тем не менее в конце собрания крики «ура» и т. д. В связи с обнаружившимся «крайним направлением» солдат в штабе I корпуса, депутаты отмечают разсказы «очевидцев», как пехота препятствовала артиллерии прекращать «братания», возникавшия по инициативе «германцев» и принимавшия в некоторых частях корпуса «прямо уродливыя формы» на Пасху[433].

Вот главнейшее, как думается, что можно извлечь из записей, сделанных уполномоченными Врем. Комитета (отчет напечатан, к сожалению, с купюрами). Какое можно сделать заключение о настроениях на других фронтах? Показательным явлением был многолюдный армейский съезд, собравшийся в Минске и заседавший с 7 по 17 апреля.

Это был съезд «военных и рабочих депутатов армии и тыла Западнаго фронта» (присутствовало около 1200 делегатов). Первый армейский съезд, приветствовали думские депутаты Родзянко и Родичев. От Исп. Ком. прибыла делегация, в состав которой входили Чхеидзе и Церетелли. Суханов в воспоминаниях бьет в литавры по поводу успеха советской делегации – съезд имел «огромное значение для завоевания армии Советом»: съездом всецело овладели советские люди, советския настроения и лозунги, вся вообще советская атмосфера. Резолюции съезда повторяли без всяких поправок и дополнений резолюции всероссийскаго советскаго «Совещания». «Минский фронтовый съезд знаменовал собой радикальный перелом всей революционной конъюнктуры и завершение советской победы над армией». Мемуарист post factum придал минскому съезду совершенно не то значение, которое он имел.

Съезд проходил в конечных чертах в атмосфере взаимнаго доверия. «Демосфены от плутократии», как выражается мемуарист, появились в Минске вовсе не для того, чтобы противопоставить какую то особую политику «думско-правительственных сфер» политике революционной демократии после правительственной декларации по внешней политике. Формально позиции обоих политических центров не расходились. «Именитые столичные делегаты от Совета держали себя также с тактом. Чхеидзе говорил о необходимости единения фронта и тыла для того, чтобы свобода стала, действительно, «величайшим праздником». Защите свободы посвятил свою речь Церетелли, указывавший, что сепаратный мир был бы гибелью для России. Скобелев высказывал уверенность, что армия не допустит удушливых газов с распада и установит единение солдат и офицеров и т. д. Их выступления были «сплошным триумфом», но также «восторженно рукоплескала» аудитория и «революционно-патриотическим» фразам думских делегатов. При открытии съезда выступили представители французской и английской военных миссий. С энтузиазмом воспринята была и речь новаго главнокомандующаго ген. Гурко, этого подлинного военнаго вождя и хорошаго оратора, по характеристике иностраннаго наблюдателя проф. Легра[434]. Такое одинаковое отношение ко всем ораторам возбуждает даже возмущение со стороны Легра: «c'est éecoeurant» записывает он в дневник. В действительности это свидетельствует лишь о настроении аудитории[435]. Никаких общих политических резолюций, кроме резолюции всероссийскаго Совещания Советов, никем не было предложено – естественно, что оне и были приняты без поправок и дополнений.

Но важно, что резолюция о войне, хотя председателем съезда был

избран большевик Позерн, глава местнаго совета, заявивший себя, однако, перед открытием отезда соц. демократом, стоящим на платформе советскаго «Совещания», была принята 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся. «Пораженцы» всех мастей должны были стушеваться перед настроением делегатов, в большом количестве прибывших из «окопов». Ленинские выученики, появившиеся на авансцене, не торжествовали и в секционных заседаниях съезда, где обсуждались деловые вопросы: так в секции но организации армии, разрабатывавшей проект обновления коммандпаго состава, подавляющим большинством было отвергнуто выборное начало. Съезд объявил дезертирство из армии «позором и изменой делу революции» и требовал добровольнаго немедленнаго возвращения в свои части покинувших фронт. В состав фронтового комитета на съезде было выбранно 27 офицеров, 35 солдат, 10 рабочих и 3 врача. В состав этого комитета съезд включил свящ. Еладинцова, который приветствовал съезд от имени «горсточки революционнаго духовенства». Перед закрытием съезда ген. Гурко выступил с речью, предостерегавшей от междуокопных переговоров с немцами, которые скрывали таким путем свои продвижения на фронте. «Война – говорил главнокомандующий – кончится не отказом от анексий и контрибуций, а тогда, когда одна воля будет подавлена другой. Мы должны сломить волю врага, и тогда провозглашённыя идеи самоопределения будут проведены в жизнь. Разрушив германский милитаризм, мы скажем: «не смейте держать столько войск, быть постоянной угрозой миру»...

Приблизительно в это время английский посол посетил председателя кабинета министров, котораго он застал в «очень оптимистическом настроении». Бьюкенен на основании данных, доставленных английскими (военными) атташе, которые вернулись с фронта, обращал внимание Правительства на состояние армии и настаивал на запрещении социалистическим агитаторам посещать фронт. Львов совершенно не разделял пессимизма посла. Львов – записывает последний – успокоил меня, сказав, что на фронте есть только два слабых пункта: Двинск и Рига (т. е. Северный фронт). Армия, как целое, крепка, и все попытки агитаторов уничтожить дисциплину не будут иметь успеха: «Правительство может разсчитывать на поддержку армии и даже петроградский гарнизон, не говоря уже о войсках на фронте, которыя предложили уничтожить Совет рабочих» (Бьюкенен был «весьма озабочен», что Правительство «безсильно освободиться от контроля Исп. Ком.»). «Правительство – прибавил Львов – не может принять подобных

предложений, не подвергая себя нападкам в том, что оно замышляет контр-революцию».

Что же это был только самообман, присущий идиллистически настроенному премьеру, или выражение официальнаго оптимизма, вынужденнаго вмешательством иностраннаго посла? Допустим и то, и другое, и всетаки открывшиеся возможности вовсе не были проблематичны, ибо действительность не была так безнадежна, как она впоследствии рисовалась некоторым мемуаристам. В апреле армия сохраняла свою силу, и недаром министр ин. дел. связанный с проф. Легра старыми дружественными личными отношениями, говорил ему 17 апреля, что серьезнее наступление задерживается только вопросом о продовольствии армии, затрудненным дезорганизацией транспорта, а Ставка на запрос великобританскаго ген. штаба от имени союзников о сроках наступления довольно категорически сообщила, что наступление назначено на середину мая[436].

* * *

Если мы вернемся к мартовским дням, то должны будем признать, что перспективы возможностей открывались еще большия. Этими возможностями не сумели воспользоваться. Слова приведеннаго выше согласительнаго воззвания («приказа № 3») довольно наглядно передают нам нервную обстановку еще не улегшагося возбуждения первых революционных дней – дней «светлых, но еще тревожных», по характеристике одновременно изданнаго приказа по Преображенскому полку («светлыми, ясными» назвал их даже Алексеев – быть может, больше по тактическим соображениям – на Государ. Совещании в Москве). Закрепить «свободу», в которой нет еще полной уверенности, провозглашением urbi et orbi новаго правительственнаго принципа, именовавшагося «завоеваниями революции»; увлечь колеблющияся и сомневающияся души красивыми лозунгами-декларациями, дать внешнюю коллективную форму выражения накопленному индивидуальному энтузиазму – вот могучи стимул момента, заглушавший подчас все партийныя или иныя соображения.

Революционная фразеология всегда, конечно, на грани демагогии, ибо она забывает «миллионы моментов будущаго», которые предстоит пережить (слова ген. Алексеева на Гос. Соц.). Но каждый отдельный момент запечатлевается волнующими сценами искренняго пафоса. Прислушаемся к голосу современника – он достаточно знаменателен. В газете «Речь» – в той газете, позицию которой через короткий промежуток времени дневник Гиппиус будет определять словами «круглый враг всего,

что касается революции» – разсказывалось о повышенном настроении, царившем 13 марта на первом объединенном заседании представителей образовавшагося Совета офицерских депутатов петроградскаго гарнизона и Исполнительнаго Комитета, на котором обсуждался проект «декларации» прав солдата (присутствовали и иностранные офицеры). Это была торжественная манифестация единения солдат и офицеров. В «общем энтузиазме, поцелуях и слезах» принимается резолюция, призывающая в основу «прочнаго братскаго единения» положить чувство «взаимнаго уважения... чести и общее стремление стоять на страже свободы». Мрачно настроенный Деникин, чуждый «иллюзиям», во всех этих манифестациях усмотрит (по крайней мере в воспоминаниях) лишь «лживый пафос» (генерал попал в Петербург уже тогда, когда очередные будни стали стирать флер первых дней). Скептики скажут (с известной правдивостью), что действительность была далека от таких идиллий и дадут примеры разительнаго противоречия. И тем не менее забыть об этих (пусть даже поверхностных) настроениях – значит нарушить историческую перспективу. Нельзя усмотреть только «ложный пафос» в грандиозной и торжественной манифестации, которую явили собой похороны «жертв революции» на Марсовом поле 23 марта[437], или в аналогичных, сантиментальных сценах на фронте (уполномоченные Врем. Ком. отмечали «братание» офицеров и солдат 23-го в Двинске, когда, присутствовавшие плакали); не только «ложный пафос», заставлял рыдать «буржуазную» и «пролетарскую» толпу, собравшуюся на концерт-митинг 25 марта в Мариинском театре, который был организован в пользу «жертв революции» комитетом Волынскаго полка и на котором присутствовали члены иностраннаго дипломатическаго корпуса и активно участвовали представители Правительства и Совета (выступали Керенский и Чхеидзе). Палеолог вспоминает, что, когда Фигнер развертывала перед аудиторией скорбный мартиролог погибших за дело свободы и похоронный марш в оркестровом исполнении придавал политической речи патетический характер религиозных поминок, *большинство* присутствовавших плакало[438]. Только славянская душа (âme slave) способна, по мнению француза-реалиста, так реагировать на слово. Но это было и это захватило всех. Керенский обменивался в Кронштадте поцелуем с Рошалем (!!)..., «слезы» и «объятия» отмечает Бубликов на первом заседании съезда промышленников, собравшегося в Москве 19-го и «единодушно» приветствовавшаго «свержение презренной царской власти» (выражение Рябушинскаго на Гос. Сов. в Москве). «Всенародным торжеством – вспоминает Гольденвейзер – был «Праздник революции», организованный

в Киеве 16 марта: это было внешнее выражение того подъема, тех приподнятых радостных настроений, того «почти» полнаго единства мыслей и чувств, с которыми переживал Киев «медовый месяц» революции.

Подобнее настроение не могло не отражаться и на отношении к войне. Даже самые «непримиримые противники войны» – большевики, еще не шли дальше лозунга «войны без победителей и побежденных». Карикатурой на действительность являются утверждения, подобныя тем, какия можно найти в исторических изысканиях военнаго историка Головина, не усомнившагося написать без всяких оговорок про «начало революции», что «крайния социалистическия партии с большевиками во главе» в целях «углубления революции» толкали солдатския массы к бунту и убийству офицеров, не останавливаясь перед полным разрушением самого организма армии». Дезорганизаторская работа большевиков, не могших по своей численности оказывать большого влияния на решения Исп. Ком., была в сущности далека в то время от такой проповеди. Оберучев разсказывает, как неистовый и истерический будущий главковерх Крыленко, занимавшийся в эмиграции перефразировкой ленинских призывов против войны, на фронтовом съезде в Киеве в апреле высказался за наступление. Позиция «защиты революционнаго отечества», которой держалось без колебаний большинство Исп. Ком., и которая может быть выражена позднейшим заявлением Церетелли на московском Гос. Совещании: «сторонники сепаратнаго мира придут, только перешагнув через труп революции», не могла вести к сознательному разрушению армии. Целью реформ, разрабатывавшихся солдатской секцией Совета, являлось укрепление – может быть эфемерное – военнаго организма...

По мнению ген. Врангеля, в «решительныя минуты» после переворота не было сделано со стороны старших военных руководителей «никакой попытки овладеть сверху психологией армии»... Мы видели, что это было не совсем так. Но, повидимому, Врангель разделял в то время позицию Деникина, первое впечатление котораго при получении циркулярной телеграммы Алексеева было, как мы знаем, формулировано словами: «Ставка выпустила из своих рук управление армией». Ставка упустила момент не в смысле захвата армейскаго революционнаго движения в свои руки. Нет! «Грозный окрик верховнаго командования, поддержанный сохранившей в первыя две недели дисциплину и повиновение армией, быть может, мог поставить на место переоценивший свое значение Совет, не допустить «демократизации» армии и оказать соответствующее

давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контр-революции, ни военной диктатуры» – пишет автор «Очерков русской смуты», передавая не то вывод современника, не то заключение историка. «Лояльность команднаго состава и *полное* отсутствие с его стороны активнаго противодействия разрушительной политике Петрограда – по словам Деникина – превзошли все ожидания революционной демократии»...

Сам Деникин совершенно не склонен был итти на уступки – по собственным словам, он, в качестве главнокомандующаго фронтом, подчеркнуто с самаго начала держался системы полнаго игнорирования комитетов. Период разработки новых реформ застал Деникина на посту нач. штаба верх, главнокомандующего, *что не могло не оказывать несомненнаго влияния на позицию Ставки* . Ссылаясь на знание «солдатской психологии», Деникин говорит, что строевые начальники не желали придавать армейским реформам (признавая целесообразность некоторых из них – устранение «некоторых отживших» форм) характер «завоеваний революции»: надо было действовать «исподволь, осторожно». Рецепт довольно утопичный в обстановке революционнаго действия. Какими силами можно было удержать армию в пределах стараго дисциплинарнаго устава? Здесь между «генералитетом», принявшим переворот, и «революционной демократией», активно участвовавшей в перевороте, лежала непроходимая пропасть, отчетливо определенная в речи Кучина на Гос. Совещании и в декларации, прочитанной Чхеидзе от имени революционной демократии: «солдаты будут уходить от революции и в ней разочаровываться»...[439].

Алексеев, как много раз мы могли усмотреть, отнюдь не держался такой непримиримой позиции. В марте у него не было того раздраженнаго чувства разочарования, которое так отчетливо проявилось в позднейших письмах и записях дневника. Верховный главнокомандующий умел тактично сглаживать шероховатости Ставки, куда «хлынули», по выражению Деникина, смещаемые, увольняемые и недовольные генералы.

«Лойяльная борьба», напоминающая весьма отвлеченныя директивы командиров 32 пех. див. о водворении порядка во время революции «без кровопролития», привела бы не только к преждевременному конфликту с Правительством, но роковым образом превратила бы Ставку, действительно, в центр контр-революции. Не трудно допустить возможность появления на фронте решительнаго генерала, не поддавшагося «иллюзиям» и с тенденцией «водворить порядок». Экспансивный Крымов, участник «дворцоваго переворота»,

подготовлявшагося до революции Гучковым и др., встретив в 20-х числах марта вызваннаго в Петербург Деникина, говорил ему: «Я предлагал им (правительству) в два дня расчистить Петроград одной дивизией – конечно, *не без кровопролития* ... Ни за что! Гучков не согласен. Львов за голову хватается: «помилуйте, это вызвало бы такия потрясения! Будет хуже». На днях уезжаю к своему корпусу: не стоит терять связи с войсками, только на них и надежда». Надо думать, что подобный разговор Крымова с некоторыми членами Правительства имел место – иначе не мог бы записать нечто совсем аналогичное Бьюкенен со слов кн. Львова. Врангель на основании беседы с Крымовым после его возвращения в 3-й конный корпус, начальником котораго он был назначен вместо гр. Келлера, придает несколько иной характер крымовским планам. «Ген. Крымов, повидавши Гучкова, Родзянко, Терещенко и других своих политических друзей, вернулся значительно подбодренным» – пишет Врангель[440]: «По его словам, Врем. Пр., несмотря на кажущуюся слабость, было достаточно сильно, чтобы взять движение в свои руки. Необходимость этого яко-бы в полной мере учитывалась членами Врем. Правительства». Крымов заявлял, что «надо делать ставку на казаков»... Если не Крымов, мог быть и другой – по сговору или без ведома правительства. В некоторых военных кругах мысль о «расчистке» революционнаго Петербурга была популярна. Например, в записях Куропаткина, относящихся к началу мая, попадается имя командующаго VI армией ген. Горбатовскаго, который предлагал средство для борьбы с развалом армии «невероятное»: «сформировать корпус или полкорпуса из офицеров и силою уничтожить петроградский Совет С. и Р. Д.»[441]. Врангель утверждает, ссылаясь, между прочим, на заявления «всех полков» Уссурийской дивизии, которой он командовал, что «ряд войсковых частей обращался с заявлениями к председателю Правительства, в коих указывалось на готовность поддержать новую власть и бороться со всеми попытками внести анархию в страну». Но Правительство «не решалось опереться на предлагаемую ему самими войсками помощь». Гучков при поездках на фронт «неизменно громко заявлял», принимая депутации от разнаго рода частей, что Правительство «ни в какой помощи не нуждается, что никакого двоевластия нет, что работа Правительства и Совета Р. и С. Д. происходит в полном единении». Дневники Болдырева, Селивачева, Легра вносят существенную поправку: в неофициальных, полуинтимных беседах, на которых рождаются конспиративные затеи, военный министр говорил нечто другое. На Госуд. Совещании и Милюков вспоминал «длинную вереницу депутации от

армии, тогда еще не разложившейся, проходивших перед нами в Мариинском дворце и тревожно спрашивавших нас, Временное Правительство перваго состава: «Правда-ли, что в Петрограде двоевластие, правда ли, что вам мешают самочинныя организации? Скажите нам, и мы вас освободим от них». Я помню и наши смущенные ответы: «Нет, нет, это преувеличено... Были, правда, попытки, по теперь все приходит в равновесие, в порядок»...

Бездействие Правительства толкнуло ген. Врангеля на прямой путь конспирации – создания в центре тайной военной организации. В дни апрельскаго правительственнаго кризиса не только были намечены зачатки этой организации (образован был «небольшой штаб», куда бар. Врангель привлек своих однополчан гр. Палена и гр. Шувалова, раздобывши «кое какия средства»), но, если поверить словам мемуариста, «прочно» налажена была связь со «всеми военными училищами и некоторыми воинскими частями», «отлично» была поставлена разведка – был уже «разработан подробный план занятия главнейших центров города и захвата всех тех лиц, которыя могли бы оказаться опасными»... Надо было отыскать имя. «Ни в составе Правительства, ни среди окружающих его общественных деятелей» не было человека, способнаго «твердой и непреклонной решимостью» положить «предел дальнейшему развалу страны». «Его надо было искать в армии среди немногих популярных вождей. К голосу такого вождя, опирающагося на армию, не могла не прислушаться страна, и достаточно решительно заявленное требование, опирающееся на штыки, было бы выполнено. Считаясь с условиями времени, имя такого вождя должно было быть достаточно «демократичным». Таких имен Врангель знал «только два» – ген. Лечицкаго и ген. Корнилова. С упомянутыми генералами начались переговоры...

К чему могла, бы привести гражданская междоусобица, которой так старалось в первые решающие дни революции избегнуть верховное командование? Гадальныя карты о судьбах России каждый будет раскладывать по своему разуму и предвидению. Позорный конец войны? Сепаратный мир? Преждевременный развал России? Реставрация при содействии немцев? «Не каждому дано видеть, что можно» – резонерствовал Маклаков на Государственном Совещании. «Политическая программа момента диктуется не волею партий, а волею истории» – говорил он, полагая, что эту «волю» познает «своим инстинктом» «глубинная темная масса народа». – «Россия за революцию себя не продаст». Сколько иллюзий семнадцатаго года разбила жизнь, ...истории

имеет право установить лишь факт, что все те предначертания, которыя рождались в среде военнаго командования, были чужды психологии момента и в силу этого неосуществимы. «Покуда верят и хотят этой революции, покуда революционная власть исполняет свой долг, защищает Россию и ведет Россию, до тех пор смешны какие бы то ни было заговоры» – констатировал Маклаков на Государственном Совещании. То, что могло быть еще сомнительным в августе, было безспорной истиной для марта и апреля. Непродуманныя политическия авантюры (план ген. Врангеля оказался в точном смысле слова пуфом, встретив весьма небольшие отклики в «правых» кругах) творили лишь злое дело для России. «Достаточная скрытность» никогда не является гарантией и особенно в той среде, которой не свойственны конспиративные замыслы. Таинственные слухи ползли, сеяли разлад, создавали напряженную общественную атмосферу и расширяли плацдарм, на котором могли возрастать плоды демагогии крайняго сектора революционной демократии.

Глава девятая. Революционное правительство

I. Концентрация власти

1. Идея преемственности

В. Д. Набоков в воспоминаниях уделяет серьезное внимание разсмотрению тех «преюдициальных вопросов», выражаясь ученой терминологией мемуариста, которые безпокоили юристов при поисках правильной внешней формы для выражения акта 3-го марта. Можно ли было в действительности считать Мих. Ал. с формальной стороны в момент подписания отречения императором? В случае, решения вопроса в положительном смысле, отречение мимолетнаго кандидата на российский престол могло бы вызвать сомнение «относительно прав других членов императорской фамилии» и санкционировало бы беззаконие с точки зрения существовавших Основных Законов, которое совершил имп. Николай II, отрекшийся в пользу брата. Легисты из этого лабиринта «юридических тонкостей» вышли (или думали выйти), выработав эластичную формулу, гласившую, что «Михаил отказывается от принятая верховной власти». К этому, по мнению Набокова, собственно и должно было свестись «юридически ценное содержание акта». Но «по условиям момента казалось необходимым... воспользоваться этим актом для того, чтобы в глазах той части населения, для которой он мог иметь серьезное нравственное значение – торжественно подкрепить *полноту* власти Врем. Правит, и преемственную связь его с Гос. Думой»[442]. В первой декларации Врем. Правит. – подчеркивает Набоков – «оно говорило о себе, как о кабинете», и образование этого кабинета, разсматривалось, как «более прочное устройство исполнительной власти». Очевидно, при составлении этой декларации было еще неясно, какия очертания примет временный государственный строй[443].

Акт, подписанный В. Кн. Михаилом, таким образом, являлся «единственным актом, определявшим объем власти революционнаго временнаго правительства и устанавливавшим за ним «в полном объеме и законодательную власть». Трудна была задача, которая в дни революции юридически разрешалась на Миллионной. Юридическое сознание Маклакова и через 10 лет не могло примириться со «странным и преступным» манифестом 3-го марта, котораго Вел. Князь не имел права подписывать даже в том случае, если бы он был монархом, ибо манифест вопреки существующей конституции, без согласия Думы, объявлял трон вакантным до созыва Учред. Собрания, устанавливал систему выборов этого Учред. Собр. и передавал до его созыва Временному Правительству абсолютную власть, которой не имел сам подписавший акт. Отвлеченная

мысль, парящая в теоретических высотах юридической конструкции и далекая от жизненной конкретной обстановки, приобретает у Маклакова кажущияся реальныя очертания только потому, что он уже в качестве историка-теоретика, как мы видели, в сущности отрицал наличность происшедшей в стране в февральские дни *революции* . Новое правительство, – по его мнению – имело все шансы (личный престиж, административный аппарат, армию, авторитет преемственности от старой власти), опираясь на поддержку массы, не сочувствующей безпорядкам, одержать верх в конфликте с возстанием. «Преступным актом» 3-го марта все было скомпрометировано – манифест явился сигналом (?) возстания во всей России[444]. Большинство населения – «спокойное и мирное», перестало, что-либо понимать, когда увидало, что представители Думы, которым оно доверяло, идут рука в руку с революционерами. Неужели такая картина хоть сколько-нибудь отвечает тому, что происходило в действительности» В феврале-марте произошло нечто социально гораздо более сложное, чем бунт, – это социально более сложное мы и называем «революцией».

Всякая юридическая формула не будет мертворожденной доктриной в том лишь случае, если она соответствует реальным условиям момента и осознана людьми, выражающими психологию этого момента. Милюков в своем историческом повествовании должен был признать, что в «сознании современников этого перваго момента новая власть, созданная революцией, вела свое преемство не от актов 2 и 3 марта, а от событий 27 февраля. В этом была ея сила, чувствовавшаяся тогда – и ея слабость, обнаружившаяся впоследствии». По мнению историка, все последующия «ошибки революции» неизбежно вытекали («должны были развиться» – говорит Милюков) из положения «дефективности в самом источнике, созданном актом 3 марта[445], когда представители «Думы третьяго июня» в сущности решили вопрос о монархии. Нельзя отрицать величайших затруднений, которыя возникли и тяжело отзывались на ходе революции, но причины их лежали не в отсутствии монархии в переходное время, а в том, что ни идеологи «цензовой общественности», ни, формально представленное ими временное правительство не сумели занять определенной позиции. Здесь, действительно сказалась «дефективность» происхождения революционной власти. Она родилась из революции – сказал Милюков на митинге 2-го марта в Екатерининском зале Таврическаго дворца. Безспорно это так, но вышла она из горнила революции в формах, несоответственных с самого зарождения своего этой революции, что и делало ее «внутренне неустойчивой». Как разсказывают,

самоарестовавшийся в первые дни в министерстве пут. сообщ. Кривошеин, узнав о составе Временнаго Правительства, воскликнул: «Это правительство имеет один... очень серьезный недостаток. Оно слишком правое... Месяца два тому назад оно удовлетворило бы всех. Оно спасло бы положение. Теперь же оно слишком умеренно. Это его слабость. А сейчас нужна сила... И этим, господа, вы губите не только ваше детище – революцию, но и наше общее отечество Россию» (Ломоносов). Участие представителя советских кругов, Керенскаго, в правительстве в качестве «единственнаго представителя демократии» и как бы контроля власти в смысле ея демократичности[446], давая некоторую иллюзию классоваго сотрудничества и авторитет революционности, вместе с тем еще резче подчеркивало несоответствие, которое отмечал испытанный деятель стараго режима, представитель либеральнаго направления в бюрократии. Только недоразумением можно объяснить утверждение Маклакова, что революция привела к власти «умеренных». В жизни фактически было совсем другое. Такое несоответствие неизбежно должно было порождать острый конфликт между реальной действительностью и идеологической фикцией.

Никак нельзя сказать, что правительство попыталось отчетливо провести в жизнь формулу, выработанную государствоведами 3-го марта и предоставлявшую ему «всю полноту власти». Очевидно, эта формула была не ясна в первые дни и самим политическим руководителям. Получилось довольно путанное положение, совершенно затемнявшее ясную, как будто бы, формулу. Юридическая концепция преемственности власти от старых источников мало подходила к революционной психологии, с которой с каждым днем приходилось все больше и больше считаться. Наследие от «стараго режима» отнюдь не могло придать моральной силы и авторитета новому правительству. И мы видим, *как об этой преемственности внешне стараются забыть* . Яркую иллюстрацию дает история текста перваго воззвания Правительства к стране, которое в дополнение к декларации, сопровождавшей создание власти, должно было разъяснить народу смысл происшедших исторических событий. Поручение составить проект было дано Некрасову, который пригласил к выполнению его «государствоведов» Набокова и Лазаревскаго. Проект был выработан при участии еще члена Думы Добровольскаго, доложен 5 марта Правительству, встретил «некоторыя частныя возражения», как потом узнал Набоков, и передан был для «переделки» Кокошкину. Последний представил текст, «заново» переделанный Винавером, и в таком виде воззвание было санкционировано Правительством и опубликовано 6 марта. Так как

воззвание печаталось опять в типографии мин. пут. сообщ., то неожиданно у Ломоносова оказался и первоначальный проект, который, по его словам, был передан ему для напечатания Некрасовым. Мы имеем возможность таким образом сравнить два текста. Напечатанное нельзя назвать «целиком написанным» Винавером – это лишь переделка набоковскаго текста. Воззвание вышло компактнее и более ярким: «Совершилось великое! Могучим порывом русскаго народа низвергнут старый порядок. Родилась новая свободная Россия... Единодушный революционный порыв народа и решимость Гос. Думы создали Временное Правительство, которое и считает своим священным и ответственным долгом осуществить чаяния народныя и вывести страну на светлый путь свободнаго гражданскаго устроения... Учредительное Собрате издаст... основные законы, обезпечивающие стране незыблимыя основы права, равенства и свободы» и т. д. Что же было устранено? – вся историческая часть[447] и следовательно отпал разсказ о том, как отрекся Царь, как передал он «наследие» брату, и как «отказался восприять власть» Великий Князь.

Нельзя не усмотреть здесь устранения, сделаннаго сознательно в определенных политических видах. Это так ясно уже из того, что тогдашний политический вождь «цензовой общественности», в корне изменивший в эмиграции свои политические взгляды и в силу этого давший в позднейшей своей книге «Россия на переломе» иную концепцию революции, мог написать через 10 лет, наперекор тексту, помещенному в «Истории»: «Уходившая в историю власть в лице отказавшагося в. кн. Мих. Ал. пробовала (?!) дать правительству санкцию преемственности, но в глазах революции этот титул был настолько спорен и так слабо формулирован самим (?!) в. кн. Мих. Ал., что на него никогда впоследствии не ссылались»[448].

Совершенно естественно, что в Петербурге скрывали о назначении кн. Львова указом отрекшагося Царя, которое было сделано по инициативе думских уполномоченных согласно предварительному плану. Шульгин вспоминает, что, когда он «при удобном случае попробовал об этом напомнить на Миллионной (вернее всего на вечернем заседании в Таврическом дворце), ему сказали, что надо «тщательно скрывать», чтобы не подорвать положения премьера... Но указ был опубликован на фронте 4-го. О нем, конечно, узнали в Петербурге, как и о назначении в. кн. Ник. Ник. Это вызвало волнение, и «Известия» 6 марта писали: «Указ Николая II превратил кн. Львова из министра революции в министра, назначеннаго царем, хотя и бывшим»... и «демократия должна требовать от Врем. Правительства, чтобы оно прямо и недвусмысленно заявило, что, признает

указ Николая II о назначении кн. Львова недействительным. Если правительство откажется выполнить ото требование, оно тем самым признается в своих монархических симпатиях и обнаружит, что недостойно звания Временнаго Правительства возставшаго народа. Революция не нуждается в одобрении бывшаго монарха».

* * *

Умалчивая о преемственности своей от акта 3 марта, Правительство тем самым уничтожало то «юридическое значение», которое государствоведы находили в содержании этого акта. Преемственная связь правительства с конституцией низвергнутаго революцией полнтическаго строя, выраженная по замыслу легистов в формуле «по почину Гос. Думы возникшему», была сама по себе весьма относительна. Во имя логики юридическая мысль делала некоторый подлог, который совершала и политическая мысль во имя тактики. Еще 1 марта в воззвании Трудовой группы массы призывались «итти па штурм последней твердыни власти, самоотверженно подчиняясь временному правительству, организованному Гос. Думой». Под временным правительством здесь подразумевался Временный Комитет Гос. Думы. Но при чем в сущности была Гос. Дума, как таковая? Временный Комитет был избран частным совещанием членов Думы и сделался «фактором революции». Далее произошло соглашение Временнаго Комитета с Исп. Ком. столь же самочинно собравшагося Совета Р. Д. т. е. соглашение «двух революционных сил». По этому соглашению Временный Комитет назначил министров – в сущности с молчаливаго одобрения Исп. Комитета. Тут и происходит подлог, когда Врем. Комитет заменяется термином даже не частнаго совещания Думы, которое больше не собиралось в дни переворота, а старым законодательным учреждением, именовавшимся «Государственной Думой». Сурогат учреждения становится синонимом самого учреждения. И такое словоупотребление делается общим местом – и в официальных актах (начиная с перваго «манифеста» Временнаго Правительства), и в официальных воззваниях, и в агитационной литературе.

До манифеста 3-яго марта московская печать (петербургская не выходила) рисует организацию власти приблизительно так, как охарактеризовал положение Родзянко в разговоре с Рузским: « *Верховная* власть временно перешла к народному представительству в виде Государственной Думы» – писало «Утро России». Эта «третьеиюньская Дума», пройдя через закаляющее горнило испытаний военных лет с их мрачными переживаниями и ужаснувшими всех разоблачениями... предстоит перед страной совсем в ином образе, чем пять лет назад. Сейчас

эта Дума с честью выполнила свой долг перед народом, с патриотической решительностью вырывая верховную власть из недостойных рук, и стала естественно организующим центром, вокруг котораго сплачивается отныне новая, свободная Россия... И, как организующий страну центр, мы признаем Гос. Думу, мы приветствуем ее, мы ей повинуемся». «Государственная Дума – вот наш национальный вождь в великой борьбе, всколыхнувшей всю страну» – говорило «Русское Слове». И только «Рус. Вед.» выражались более осторожно: «Думский Комитет есть зародыш и первая временная форма исполнительной власти, признающей спою ответственность перед страной и пользующейся ея доверием». Московская печать была всецело во власти зарождавшейся легенды о том, что Гос. Дума «революционно воспротивилась роспуску».

В связи с организацией новой исполнительной власти (уже не Думскаго Комитета, а Временнаго Правительства) воззвание партии народной свободы от 3 марта обращалось к гражданам: «Дайте созданному Гос. Думой правительству сделать великое дело освобождения России». В письме 3 марта к новому премьеру, в. кн. Ник. Ник., высказываясь «категорически против соглашения с Советом Р. Д. по вопросу о созыве Учр. Собрания», писал: «Я ни одной минуты не сомневаюсь, что Временное Правительство, сильное авторитетом Гос. Думы и общественным доверием, объединит вокруг себя всех патриотически мыслящих русских людей». После акта отречения Мих. Ал. верховный главнокомандующий, обращаясь к населению Кавказа, говорил о Гос. Думе, представляющей из себя «весь русский народ» к назначившей временное правительство до тех пор, пока «народ русский, благословляемый Богом, скажет на Всенародном Учред. Собрании, какой строй государственнаго правления он считает наилучшим для России». В «Вестнике Врем. Правит.» 8 марта опубликованы были воззвания к «братьям офицерам и солдатам» и жителям деревни от имени Государственной Думы, подписанный ея председателем... В специальном воззвании Родзянко к «офицерам, матросам и рабочим» судостроительных заводов в Николаеве, подписанном в виде исключения «председателем Врем. Комитета», подчеркивалось, что новое правительство избрано «из членов Госуд. Думы, известных своей преданностью народной свободе»[449]. Эта терминология перешла и в позднейшия изыскания: Маклаков, напр., прямо говорит о назначении Царем кн. Львова, избраннаго Думой; Милюков в «Истории» и равно Керенский в своих историко-мемуарных повествованиях очень часто употребляют термин «Государственная Дума» вместо «Временнаго Комитета».

Отмеченная тенденция не может быть случайной – слишком определенно проходит она в первые дни после стабилизации положения. Она имеет целью несколько затушевать в общественном сознании активную роль, которую пришлось играть петроградскому Совету в организации временной государственной власти. Надо думать, что Цент. Ком. партии к. д. сознательно не упомянул в своем воззвании 3 марта об участии Совета, равно как и в официальной осведомительной радио-телеграмме, составленной Милюковым и отправленной в тот же день правительством за границу, функции Совета (одной из «наиболее влиятельных» левых политических организаций) сводились к «политическому благоразумию», а все организующее действие приписывалось Временному Комитету Гос. Думы, солдатскими демонстрациями в пользу которой началась революция 27 февраля. Это не была «каррикатура на революцию», как утверждают левые мемуаристы, но это была стилизация революции (сделанная в мягких тонах) под вкус руководителей тогдашней «цензовой общественности»[450]. «Манифест» 6 марта совсем умалчивал о Совете, говоря только о решимости Гос. Думы и революционных порывах народа.

Безспорно авторитет Гос. Думы чрезвычайно вырос в сознании масс в первое время революции. Дума, по признанию Керенскаго, явилась как-бы «символом народа и государства в первые мартовские дни»... Правительство не отделялось от Думы – свидетельствовал впоследствии отчет уполномоченной Врем. Комитетом Комиссии, которая была послана на фронт и в провинцию. Их престиж «везде» стоял «очень высоко» – даже такие большевицкие деятели, как Крыленко, признавали, что на фронте нельзя было «резко» ставить вопрос о том, что правительство не может защищать интересы народа. Но обыватель не слишком разбирался в терминологии, и поэтому не приходится обманываться – это был авторитет не стараго законодательнаго учреждения, символизировавшаго народное представительство, о котором говорила радио-телеграмма за границу, а учреждения, явившагося истоком Временнаго Комитета, на котором почила благодать революции[451]... Сама по себе Государственная Дума, исчезнувшая в часы переворота (brusquement – по выражению Керенскаго), была уже фикцией, которую едва ли возможно было воплотить в конкретном образе. Родзянко говорит, что он настаивал на том, что акты отречения Николая II и Михаила должны «состояться в публичном заседании Гос. Думы». Дума таким образом «явилась бы носительницей Верховной власти и органом, перед которым Временное Правительство было бы ответственным... Но этому проекту решительно

воспротивились»... Надо было признать, что действовавшая до переворота конституция осталась в силе и после манифеста 3 марта, по «юристы кадетской партии резко возражали, считая невозможным подвести под такое толкование юридический фундамент».

Идею созыва Думы разделял и Гучков. Он считал, что Временное Правительство оказалось висящим в воздухе. Наверху – пустота, внизу – бездна. Единственным выходом из положения какого-то «захватчика власти – самозванца» мог явиться созыв законодательных учреждений, имевших, как никак, «санкцию народнаго избрания». Гучков допускал некоторую перелицовку в их составе, примерно в духе той, которая производилась тогда в земских и городских самоуправлениях. «В беседах со своими коллегами по Врем. Правительству – разсказывает Гучков в воспоминаниях – я несколько раз поднимал вопрос о созыве Думы, но не нашел среди них ни одного сочувствующаго этой идее... А. И. Шингарев, объясняя свое отрицательное отношение к моему предложению возстановить права Гос. Думы, сказал мне: «Вы предлагаете созвать Думу, потому что недостаточно знаете ея состав. Если бы надо было отслужить молебен или панихиду, то для этого ее можно было бы созвать, но на законодательную работу она не способна». Разговор с Шингаревым, передаваемый Гучковым, подтверждает указание на то, что юридическая концепция, установленная толкованием акта 3-го марта со стороны государствоведов, не была ясна и лидерам партий. Ими руководила политическая целесообразность, т. е., юридически нечто весьма расплывчатое. Родзянко считал, что отрицательное отношение к идее созыва Гос. Думы вытекало из стремлений деятелей кадетской партии, желавших «пользоваться во всей полноте своей властью». Такое же приблизительно толкование дает и Гучков, не нашедший сочувствия своей идее и вне Временнаго Правительства: «даже среди членов Комитета Гос. Думы я нашел только двух членов, готовых поддержать мою идею»[452].

«Кадетские юристы» стояли на почве концепции, установленной их толкованием акта 3 марта и иллюстрирующей существовавшую до отречения «конституцию». Политическая логика была на их стороне. Вопрос о взаимоотношениях Временнаго Правительства и Временнаго Комитета Гос. Думы возник в первом же заседании Правительства 4 марта, когда кн. Львов предложил «точно определить объем власти, которым должно пользоваться Вр. Пр. до установления Учред. Собр. формы правления». Из сохранившагося наброска протокола этого заседания видно, что министрами было высказано мнение, что «вся полнота власти должна считаться переданной не Государственой Думе, а Временному

Правительству». Отсюда возникал вопрос о «дальнейшем существовании Комитета Гос. Думы и казалась сомнительной возможность возстановления занятий Гос. Думы[453]. Временный Комитет, выполнивший легшия на него функции, формально подлежал ликвидации. В «Рус. Вед.» можно было прочитать сообщение, что участники совещания членов Гос. Думы 5-го также склонялись к тому, что «Члены Думы не должны настаивать на сохранении Временнаго Комитета». Между тем устранение этой фикции отнюдь не было в интересах «цензовой общественности», ибо устранение Временнаго Комитета означало и устранение авторитета не существовавшаго уже государственно-правового учреждения – «Думы». Популярность слов «Государственная Дума» в первыя недели революции являлась столь сильным притягивающим магнитом, что почти естественно представитель Временнаго Правительства и в то же время «советский» деятель, прибыв в Ставку, приветствовал Алексеева именно от Государственной Думы: «Позвольте мне – сказал Керенский – в знак братскаго приветствия армии поцеловать вас, как верховнаго ея представителя и передать родной армии привет от Государственной Думы». Член Думы Янушкевич в своем отчете Временному Комитету о поездке на Северный фронт в первых числах марта разсказывал, какой по истине «царский прием» был ему оказан: повсюду толпы народа встречали его с музыкой, «носили на руках», перед ним «склонялись знамена». И очень скоро те же члены частнаго совещания Гос. Думы выносят постановление (14 марта) о том, что до созыва Учред. Собрания Государственная Дума является «выразительницей мнения страны». Не совсем прав Родзянко в своем утверждении, что Правительство не пошло рука об руку с народным представительством – об этом бывший председатель IV Думы говорил в московском государственном совещании, называя «третьеиюньскую» Думу «всенародным представительством»[454]. На практике Правительство всемерно покровительствовало Временному Комитету – его агитационной деятельности па фронте и в провинции. Для этой агитации были предоставлены все возможности[455]. И надо признать, что, если «ломка» стараго строя все же прошла благополучно, если «взбаламученное море» народных страстей к концу третьяго месяца революции не затопило страну, то в этом не малая заслуга принадлежит созданному 10 марта «отделу сношений Временнаго Комитета с провинцией». Как свидетельствует его отчет, члены Думы разных партий, объезжая провинции в сопровождении делегатов Совета, несли вглубь России идею единства политическаго фронта – все они тогда были охвачены революционным пылом неофитов и никаких реакционных

заданий себе не ставили... Через посредство Временнаго Комитета из членов Думы назначались особые уполномоченные – комиссары правительства.

Бытовое значение Временнаго Комитета лежало в иной плоскости, нежели его государственно-правовое положение. В первое время это разграничение не только не было проведено отчетливо, но скорее затемнено – быть может, из нежелания разрубать гордиев узел, который представляла собой проблема формальнаго упразднения Государственной Думы. Состояние балансирования приводило к вредной сумятице в умах. Вот показательный разговор Рузскаго с Родзянко, последовавший 18 марта... «В различных газетах – говорил Рузский – упоминается о Временном Правительстве, сочетаемом с Советом Министров. В «Утре России» от 16 марта даже прямо сказано дословно: опубликовано постановление Верховнаго Правительства именовать впредь до установления постояннаго правительства Совет министров – Временным Правительством. У граждан тоже заметно шатание в понимании того, что следует считать Временным Правительством. По моему представлению вопрос является ясным, что правительство составляет Временный Комитет из состава членов Думы, являющихся избранниками народа, а Совет Министров с министром-президентом кн. Львовым во главе есть исполнительный орган»... «Под понятием Временное Правительство – авторитетно разъясняет Родзянко – надо понимать Совет Министров, который и есть исполнительный орган и которому Временный Комитет Г. Д. делегировал от имени народнаго представительства полноту власти. Временный Комитет Г. Д. является *органом высшаго контроля* над действиями исполнительной власти и в случае удаления от власти кого-либо из господ министров – заменяет таковых»... Сославшись на акт отречения Мих. Ал., подтверждающий его толкование, Родзянко прибавлял: «таким образом никакой неустойчивости нет. Временное Правительство носит в"себе исполнительную и отчасти законодательную власть по соглашению с Временным Комитетом Г. Д.». «Во всяком случае должен Вам сказать – возражает Рузский – что неустойчивость существует, и мне приходилось говорить с лицами вполне солидными и уравновешенными, которыя категорически высказывались, что по их пониманию высшим нынешним правительством является Комитет Гос. Думы. *С этим вопросом связана также присяга.* Мне кажется, что следовало бы каким-либо актом разъяснить, чтобы не было поводов для каких-либо кривотолков». – «Я переговорю о ваших сомнениях с кн. Львовым, но на-днях выйдет в печати журнал о наших заседаниях перед

образованием Временнаго Правительства или Совета Министров, и тогда все разъяснится. Я прошу вас, однако, *придерживаться выше-изложеннаго мною толкования* о распределении власти»...

Сомнения, связанныя с присягой, были не только на Северном фронте. Деникин вспоминает, что к нему от частей корпуса (в Румынии) стало поступать «множество» недоуменных вопросов, среди них был и вопрос: «Кто же у нас представляет верховную власть –Временный Комитет, создавший Временное Правительство, или это последнее?». Деникин «запросил», но «не получил ответа». «Само Временное Правительство, повидимому, не отдавало себе яснаго отчета о существе своей власти» – замечает будущий начальник Штаба Верховнаго Главнокомандующаго революционнаго правительства. Аналогичныя сомнения возникали во всех кругах. Вот донские шахтеры, представитель которых специально прибыл в Петербург для разъяснения недоуменных вопросов и ставил их в заседании Исп. Ком. 19 марта. Эти вопросы обращены и к Совету и к Комитету Гос. Думы, который донецкие шахтеры склонны разсматривать, как высшую государственную власть: Совет запрашивался об отношении его к «временному правительству», о директивах «проведения в жизнь классовых интересов», о лозунге – «долой войну»; Комитет Г.Д. просили разъяснить: «какую форму правления предполагает Комитет», как будут связаны «местныя выборныя организации самоуправления с центральной властью», «оборонительная или наступательная война». Наконец, шахтеры интересовались «мнением всех» о времени созыва «Учр. Собрания» и вопросом, «как действовать против отдельных групп, самостоятельно выступающих по вопросам, которые имеют общегосударственное значение». Что ответил шахтерам Исп. Ком., мы не знаем. Но мы знаем, что все вопросы, касающиеся структуры власти, по существу оставались без ответа, хотя уже в первые дни при Правительстве была во главе с Кокошкиным особая «государственно-правовая комиссия» для разсмотрения юридических вопросов, связанных с изменением политическаго строя... Выхода из заколдованнаго круга недоумений и противоречий не было указано или не было найдено. Ген. Радко-Дмитриев в приказе по армии Западнаго фронта на месте по собственному разумению разъяснил «недоуменные» вопросы: отменять существующие законы может лишь «законно установленная власть, олицетворяемая Исп. Ком. Гос. Думы и новопоставленным правительством» («Изв.», 10 марта). В армии среди командnаго состава, как указывают даже официальные рапорты, на первых порах, очевидно, прочно укоренилось представление, что после переворота высшим

законодательным учреждением остается Государственная Дума, перед которой ответственно новое министерство, составленное из членов Думы[456].

II. Двоевластие

Правительство «упорно», по выражению Родзянко, не хотело созывать Государственную Думу в виде антитезы Советам. Эта «антитеза» поставлена была с перваго дня революции: в глазах одних в виде двух враждебных сил, в глазах других – в виде сил параллельных. Соглашение, достигнутое в Петербурге, приветствовалось в самых широких кругах. Так Комитет Общ. Организаций в Москве, представлявший общественность в точном смысле слова, т. е., класс буржуазии, интеллигенцию и профессии физическаго труда, 3 марта приветствовал «Правительство Гос. Думы» и «Совет» за постановление об Учредит. Собрании. В сознании демократической общественности укрепилось представление (которое пытались вытравить идеологи «цензовой общественности»), что Временное Правительство в своем происхождении связано с волеизъявлением двух организаций, представлявших интересы противоположных слоев населения – и капиталистических, и трудовых. Это представление целиком не укладывалось в формулу, которая позднее в дни перваго правительственнаго кризиса включена в апрельскую (26-го) декларацию Временнаго Комитета Гос. Думы: Временное Правительство было *создано* Гос. Думой при *содействии* Петроградскаго Совета.

В низах, вопреки всякой социалистической талмудистике, наиболее была популярна формула, гласившая, что «новое народное правительство, во главе с кн. Львовым, избрано было Исполн. Ком. Гос. Думы и Исп. Ком. Совета Р. и С. Д.» – так определил итог революционнаго действия выборный командир зап. бат. лейб-гвардии Преображенскаго полка в обращении к своим, солдатам 3 марта. Поэтому, когда Временному Комитету приходилось обращаться с воззваниями к рабочим, он должен был указывать, что Временное Правительство избрано «по соглашению с Советом»[457].

«Государственная Дума» и Совет – руководили революционной борьбой, закончившейся низвержением стараго режима. Государственная Дума не могла, конечно, служить как бы юридической антитезой для Советов, ибо учреждения эти были разнаго порядка... Автор «Рождения революционной России», принадлежавший к составу «советской демократии» в общем, думается, довольно верно в своем историческом труде определил происхождение и роль советов в мартовские дни. Это «просто был центр революционнаго кипения», «временный эрзац профессиональной и политической организации рабочаго класса»,

«наскоро сколоченные леса вокруг постройки, которые убираются прочь, как только кончается постройка» (Метафору свою автор в сущности заимствовал из речи Церетелли в августовском Госуд. Совещании). «Система советов, как формальный остов государства – русская переделка анархо-синдикализма», была мыслью чужеродною, которая при «зарождении советов совершенно отсутствовала».

Близко подходил к толкованию Чернова (или, конечно, вернее обратно) и докладчик по организационному вопросу на первом всероссийском совещании советов меньшевик Богданов: «совершенно естественно – говорил он, – что ничего не имея, мы, (т. е. элементы демократические) в процессе революции, в первые дни революции, 27 февраля попытались устроить первую организацию– стихийно возникший Совет Р. и С. Д. Будь у нас сильная организация, мы, быть может, имели бы политическия партии, профессиональные союзы и т. д. То обстоятельство, что у нас их нет, заставило революционную демократию в процессе революции, в горниле революции создать такие революционные органы, и это обстоятельство – отсутствие организации – очевидно, увлекло наиболее действенные революционные элементы демократии на путь создания Советов. (Добавим, что в «увлечении» этой организационной идеей сказалось в значительной степени механическое воспроизведение рабочей традиции 1905–6 гг.).

Как же характеризовал роль советов докладчик? «Это прежде всего органы *не классовые* , органы не классовой политики и классовой борьбы в определенном смысле этого слова – это органы революционной борьбы, это – органы демократические, это – органы, созданные специально с целью отстаивания и защиты дела революции и подталкивания и углубления этого дела». Богданов указывал, что «революционная демократия» состоит не только из рабочих, не только из солдат и крестьян – «к той же демократа относятся и другие элементы демократии, не представленные в этих трех группах, следовательно, формула, что советы являются органами революционной демократии, должна расшириться в процессе работы путем привлечения других общественных и демократических элементов»[458]. Вместе с тем докладчик отмечал, что в данный момент перед всеми революционными силами («революцию сделали не только демократические элементы, – утверждал Богданов, – революцию сделали в достаточной степени и элементы цензовые») стоит одна задача, и потому нельзя отделять революционную демократию от остальных революционных сил России.

Какой же вывод можно сделать из оценки «страннаго», по выражению

дневника Гиппиус, факта существования «рядом с Временным Правительством двухтысячной толпы властнаго и буйнаго перманентнаго митинга», именуемаго Советом Р. и С. Д. (численность его к концу марта дошла почти до 3 тыс.)? Только тот, что «никакого замечательнаго своеобразия нашей революции», создавшей принципиальное «двоевластие» в сущности не было. Пусть на практике было даже «двое безвластие», как иронически охарактеризовал положение Троцкий в петроградском совете 21 мая при обсуждении дилеммы «отложения» Кронштадта от России. Речь идет о «конституционном механизме», о принципиальном захвате государственных функций в целях построения «новаго государства», теоретиком котораго явился Ленин. Для него было почти естественно выхватить из жизни одно явление и представить его в виде предпосылки к своим позаимствованным из чужого арсенала схемам[459]. Своеобразие русской революции заключалось в том, что рядом с «правительством буржуазии» с самых первых дней имелось «еще слабое, зачаточное, но всетаки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство» (статья о двоевластии в «Правде» 9 апреля).

* * *

История советов в процессе революции пошла не совсем по тому пути, который ей предсказывал организационный доклад на Совещании Советов еще до приезда вождя большевизма в Россию. «Левые интеллигенты», «всунувшиеся» в революционную атмосферу «митинга-совета» и, по записи Гиппиус, могшие только «смягчить», но не «вести», в действительности планомерно, систематически и демагогически прививали (нельзя забывать, что Совет на 2/3 своего состава был солдатский) политически еще аморфной толпе[460]идеологию классовой борьбы под флагом советов за политический приоритет, за переустройство общественнаго уклада на новых социальных началах в духе традиционной программы «рабочей партии». Логичность богдановскаго построения грубо была нарушена тем, что на знамени Исп. Ком. в Петербурге в день празднования «1 мая» был начерчен только лозунг: «Пролетарии всех стран соединяйтесь» (решение было принято 18 голосами против 14).

То, что намечалось и выявлялось позднее в сознании современников, переносилось в первоначальный период революции – его Милюков в «России на переломе» назвал «переходным» и отрицал в нем наличие тех признаков, которыми определяется двоевластие: «в первое время этого двоевластия еще не было». То же утверждал Милюков-политик и в 17 году на партийном собрании в Москве 8 апреля. В унисон с ним звучал тогда голос его антагониста во Врем. Правительстве Керенскаго. Последний

говорил 12 апреля делегатам армии, что между правительством и Советом полное единение в задачах и целях и имеется лишь некоторое расхождение в тактических вопросах[461]. Даже антипод «революционной демократии» подлинный представитель «цензовой общественности» Гучков, и тот, объезжая в середине марта, в качестве военнаго министра, фронт, принимая депутации от разнаго рода воинских частей, «неизменно громко заявлял – как утверждает ген. Врангель – что правительство ни в какой помощи не нуждается, что никакого двоевластия нет, что работа Правительства и Совета Р. и С. Д. происходит в полном единении»[462].

Можно, конечно, предположить, что подобныя заявления современников во вне следует отнести в большей степени к вынужденной обстоятельствами тактике. Ведь тот же Гучков почти одновременно писал Алексееву (9 марта), характеризуя «действительное положение дел»: «Временное Правительство не располагает никакой реальной властью и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет Р. и С. Д., который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железныя дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что *Врем. Правительство существует, лишь пока это допускает Совет Р. и С. Д.* ». Письмо это часто цитируется, хотя гипербола, в нем заключающаяся, выступает со слишком большой очевидностью, если принять во внимание дату письма. Можно было бы допустить большую или меньшую объективность такой оценки со стороны раздраженнаго пессимизма военнаго министра, вынужденнаго выйти из состава правительства в конце апреля. Но через шесть дней после акта 3 марта, в момент, когда военное ведомство приступило к радикальной чистке командnаго состава и реформе армии?! Накануне Гучков, в качестве политическаго деятеля, на торжественном заседании центральных торгово-промышленных организаций, где чествовали министров из промышленной среды, славословил до известной степени революцию и говорил о прочности позиции правительства – «никакие заговорщики мира не смогут нас сбить с нея»... «Мы можем, – утверждал оратор, – не оглядываясь направо и налево, начать опять ту нормальную работу во всех областях нашей народной жизни, без которой этот переворот не имеет смысла». Гучков был слишком большой «политик», и трудно учесть, в какой момент он был искренен, – вероятно, никогда, в полной мере. Его органическая враждебность не только к «революционной стихии», но и к «революционной демократии», очевидна. Но ведь именно внешния выявления представителей революционнаго правительства, а не их внутренния переживания определяли психологию момента и, что еще

важнее, повседневную тактику правительства. Формула, данная впоследствии Гучковым на Государ. Совещании в Москве, – «власть принадлежала безответственным людям, а вся ответственность – людям безвластным» – не может быть признана верно передающей действительность.

* * *

Бытовое двоевластие, которое Ленин принял за базу и за жизненный аргумент в пользу своего построения, конечно, создалось с перваго дня. Мы уже видели отчасти, как «стихийным ходом событий» расширялись функции петроградскаго Совета и рождалось его вмешательство в сферу государственнаго управления. В первые дни – дни революционнаго хаоса – это было почти естественно и, быть может, неизбежно. Хаос несколько затянулся и, вероятно, ни министр юстиции, ни члены Исп. Ком. не могли бы объяснить, почему комендант (?!). Таврическаго дворца 20 апреля производил обыски и конфисковал бумаги на квартире известных деятелей Союза Русскаго Народа-Дубровина и Полубояриновой. Столь же вероятно, что никто в Исп. Ком. не помышлял о двоевластии, когда в этом учреждении принимались меры, ограничивавшия свободу печати, которая была объявлена в правительственных декларациях в соответствии с требованиями демократии. Очевидно, в силу фактическаго влияния Совета на типографских рабочих Исп. Ком. была введена разрешительная система для газет – разрешение выходить означало наряд на типографию (всеобщая забастовка революционных дней формально еще не окончилась). Газеты появились 5 марта – среди вышедших было и «Новое Время», не имея на выход требуемой предварительной революционной санкции. Исп. Ком. реагировал на этот факт закрытием газеты «впредь до особаго распоряжения». Газетам же «черносотенным», как «Земщина», «Голос Руси», «Колокол», «Русское Знамя», выход вообще был воспрещен. Можно допустить, что такая временная мера, диктуемая страхом перед контр-революцией в неспокойное еще время, была даже тактически целесообразна, но она тем не менее вызвала всеобщее порицание и литературных кругах. В газетах появилось негодующее открытое письмо Совету заслуженнаго писателя, близкаго к трудовой группе, Водовозова. Пешехонов вспоминает, как поднял он «скандал» в Исп. Ком. за попытку возстановить «разрешительный порядок» для периодических изданий, отмененный царской властью после 1905 г. Ему отвечали: «ничего не поделаешь... Низы требуют»... Но оказалось, что в самом Исп. Ком. имелись по этому поводу разногласия – склонность «тащить и не пущать» (выражение Суханова) проявили самостоятельно тамошние «левые» без

всякаго давления со стороны; «низов»[463]. Уже 10 марта под напором происходивших протестов «пятно на демократии» было уничтожено – Исп. Ком. постановил, что «все издания могут впредь выходить без предварительной санкции». Самое интересное в этом скоропротекшем эпизоде то, что никто из протестантов даже не задался в то время вопросом: какое право имел Исп. Ком. принимать ограничительный меры против печати? Еще меньше, повидимому, творившимся беззаконием озабочено было Правительство, – никаких следов, указывающих на его вмешательство, найти нельзя[464].

* * *

Такое бытовое двоевластие, т. е., частичный захват правительственных функций местными, самочинно создавшимися в революционные дни организациями, прокатилось волной по всей России. Среди этих организаций Советы, как таковые, далеко не занимали первенствующаго места – как явствует из протокола Исп. Ком. 15 марта, Советы (доклад бюро о созыве съезда) к этому времени возникли только в 42 городах (как быстро росло число советов, показывает тот факт, что на Совещании, которое собралось в конце месяца, представлены были уже 138 советов. Главенствующей формой были объединенные «Комитеты общественных организаций», выявившиеся в провинции в весьма разнообразных комбинациях[465]. В этих комитетах имели своих представителей и советы в качестве самостоятельных организаций (подчас раздельных – рабочих и солдатских). Там, где в редких случаях советы являлись главенствующей организацией, они далеко не носили узко классового характера – в некоторых провинциальных советах на первых порах были даже кадетския фракции, а, например, в Харькове во главе Совета, главенствовавшаго в первые дни, стоял официальный член партии к. д., избранный в Совет врачебными организациями; в Ставрополе он носил «всесословный характер и включал мещанских депутатов»; в Москве в Совет первоначально входили представители инженеров, врачей, адвокатов и студенческих организаций. Важно отметить, что «последовательные социалисты», к числу которых относили себя большевики, повсюду в. советах составляли незначительный фракции и не могли иметь руководящаго влияния[466]. Сказать, как это делает Троцкий в своей истории революции, что жизнь в губерниях и уездах сосредоточилась вокруг советов, значит дать очень неточную фотографическую картину того, что было. Признание петроградскаго совета в мартовские дни (запись в дневнике ген. Куропаткина 12 марта) «вторым правительством» на наш взгляд является глубоко ошибочным.

Лишь публицистическим приемом является утверждение «Рус. Вед.» 9 авг. (Белоруссов), что «в первые четыре месяца Советы были хозяевами России». Детальная летопись русской революции первых дней могла бы зарегистрировать множество фактов проявления анархии на местах. Объективно оценивая, однако, эту революционную стихию – в атмосфере ея и рождалось «двоевластие – скорей приходится действительно удивляться той легкости, с которой страна «переступила порог между самодержавием и республикой» («Хроника»). Недаром те же «Русския Ведомости» в предкорниловские дни, когда велась в «цензовых» кругах острая кампания против советов, признавали, что советы вносят «органическую спайку в анархическое движение».

Причины развития местнаго «правотворчества» лежали, конечно, не только в «стихийном ходе событий», однако было бы несколько упрощено по трафарету искать эти причины я «систематической бездеятельности» министерства в. д., объясняемой идеалистическими настроениями его руководителя. Может быть, лично кн. Львову и свойственно было, как говорит его биограф, преувеличивать силу «гения русскаго народа» и «великой мудрости народа» и отдавать им предпочтение перед «надуманными интеллигентскими решениями»; может быть, тезис – народ свободно и по-своему устроит судьбу России – и органически сплетается с мировоззрением этого славяпофильствующаго земскаго и общественнаго деятеля, но не будем всетаки придавать слишком большое уже значение декларативным заявлениям и довольно безответственным разговорам с газетными сотрудниками, которые обычно цитируются в исторических трудах для характеристики настроений премьера. Прославленныя слова кн. Львова: «мы можем почитать себя счастливыми людьми: поколение наше попало в наисчастливейший период русской истории» (он ими закончил свою речь на объединенном заседании «четырех дум» 27 апреля), были уже запоздалым отзвуком все того же почти всеобщаго мартовскаго пафоса[467]. Пожалуй нарочитая «восторженность» премьера была уже анахронична, но она свидетельствовала о не покидавшем кн. Львова оптимизме даже в дни перваго правительственнаго кризиса.

Красивая фразеология нередко прикрывала весьма прозаическую действительность. Так скорее приходится толковать слова кн. Львова в газетном интервью 19 марта, принятыя Милюковым историком за «директивы» новым представителям администрации, приезжавшим в Петербург и «неизменно» получавшим в министерстве указания, которыя находились в соответствии с публичными заявлениями руководителя ведомства. Кн. Львов представителям печати сказал: «Временное

Правительство сместило старых губернаторов и назначать новых не будет. На местах... выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением». Роль правительственных комиссаров Львов определил, как выполнение функций «посредствующаго звена» между местными общественными комитетами и центральной властью. Здесь никакой «маниловщины» не было[468]. Надо помнить, что речь шла о тех временных правительственных комиссарах, которые в лице председателей земских управ согласно распоряжению центра 5 марта заменили устраненную или самоупразднившуюся губернскую администрацию. Свое телеграфное распоряжение министр внутренних дел сделал не по собственной инициативе, как изображает в воспоминаниях Керенский. а согласно постановлению Совета Министров 4 марта. Набоков считает эту «непродуманную и легкомысленную импровизацию» одним из «самых неудачных» правительственных актов и, вспоминая споры относительно обновления администрации на съезде земских и городских деятелей, полагает, что в обстановке 17 г. «изъятию» могли подлежать лишь «единицы». Предположение о возможности сохранения в революционном катаклизме высшей административной и полицейской власти на своих местах столь противоестественно (искусственное сравнение с 1905 г. малоподходяще), что делает критику просто совершенно отвлеченной. (Не забудем, что предреволюционная думская агитация шла под лозунгом – «освобождение народа от полиции» – речь Милюкова 15 февраля).

Другим политическим деятелям первая административная мера Правительства казалась «в общем удачным шагом» (Мякотин). Конечно, если бы Временное Правительство, будто бы заранее выбранное, предварительно наметило и ответственных комиссаров из популярных общественных деятелей на местах, эффект назначения из центра получился бы иной. Представители стараго земства не всегда подходили к настроениям эпохи и назначение их на пост губернских революционных комиссаров вызвало трения на местах[469]. В докладе Временному Комитету Гос. Думы его отдела «сношений с провинцией» говорилось даже, что назначение комиссарами председателей губернских и уездных управ вызвало «общее недовольство». Правительство пошло «навстречу желаниям населения» и предложило вместо неприемлемых для него «назначенных комиссаров» представлять своих кандидатов. Вот те условия, при которых в центре появилось газетное интервью кн. Львова.

Можно ли сказать вслед за Набоковым, что правительство считалось «не с действительным интересом, а с требованиями революционной фразы, революционной демагогии и предполагаемых настроений масс»?

Здесь как раз правительство проявило целесообразную гибкость и не дало переродиться местному «правотворчеству» в уродливыя формы анархии. Еще вопрос: не привели ли бы последовательныя попытки административной опеки, т. е., назначения правительственных комиссаров «поверх» создавшихся в дни переворота общественных организаций к большей дезорганизации, чем это было в марте.

III. Социальная политика

1. Роковая презумпция

Местное «правотворчество» касалось не только сферы управления – оно распространялось на все области жизни. Правительство как-то всегда и везде опаздывало. Это и питало бытовое двоевластие. В чем же был секрет? Правительство запаздывало отчасти из-за присущаго ему догматическаго академизма. Люди, составлявшие первую генерацию временнаго правительства стремились дать стране наилучшие законы, не всегда считаясь с реальной потребностью революционнаго момента[470].

В области законодательных предположений и разработки проектов деятельность Правительства была широка и плодотворна – с удовлетворением вспоминает Набоков. В позднейшей правительственной декларации 26 апреля перечислялось то, что сделано «призванное к жизни великим народным движением правительство за два месяца своего пребывания у власти, согласно обязательству, скрепленному «присягой» для осуществления «требования народной воли» (подразумевалось «соглашение» 2 марта): ..."наряду с напряженной деятельностью, посвященной текущим и неотложным нуждам государственной жизни, обороне страны от внешняго врага, ослаблению продовольственнаго кризиса, улучшению транспорта, изысканию необходимых для государства финансовых средств – оно уже осуществило ряд реформ, перестраивающих государственную жизнь России на началах свободы, права. Провозглашена амнистия. Отменена смертная казнь. Установлено национальное и вероисповедное равенство. Узаконена свобода собраний и союзов. *Начата* коренная реорганизация местнаго управления и самоуправления на самых широких демократических началах... Из необходимых для этой цели законоположений изданы уже постановления о выборах в Городския Думы и о милиции. Выработаны и *будут* изданы в самом непродолжительном времени постановления о волостном земстве, о реформе губернскаго и уезднаго земства, о местных правительственных органах, местном суде и об административной юстиции. *Установлен план* работы по составлению Положения о выборах в Учр. Собрание... В отношении устройства армии... осуществляются демократическия реформы, далеко опережающия все, что сделано в этом направлении в наиболее свободных странах мира... Для подготовки к Учр. Собранию *проекта справедливаго и согласнаго с интересами народа решения великаго земельнаго вопроса образован Главный Земельный Комитет. ..* Отношение Правительства к национальным вопросам нашло себе ясное и

определенное выражение в актах, идущих навстречу автономии Финляндии, в признании за Польшей прав на объединение и государственную независимость... Призванное к жизни великим народным движением, Временное Правительство признает себя исполнителем и охранителем народной воли. В основу государственнаго управления оно полагало не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти. Оно ищет опоры не в физической, а в моральной силе. С тех пор, как Врем. Правительство стоит у власти, оно ни разу не отступило от этих начал. Ни одной капли народной крови не пролито по его вине, ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственной преграды».

К сожалению, проза жизни требовала другого – не творческих предположений, а творческаго осуществления. Второго марта, когда определялись «требования народной воли», во имя сочетания двух сил, совершивших революцию, были отброшены все социально-экономическия программы, которыя неизбежно и властно должны были выдвинуться на другой же день. Новое правительство оказалось без социальной программы – без того минимума, который надлежало осуществить и переходное время, до Учредительнаго Собрания. Без такого удовлетворения вожделенных мечтаний масс никакая власть ни при каких условиях не могла бы «канализировать» (выражение Милюкова) революционную стихию, ибо ее нельзя было успокоить и удовлетворить только словесным пафосом о политических и гражданских свободах. Когда впоследствии б. лидер «цензовой общественности» на июньском съезде партии к. д. говорил, что задача партии «защитить завоевания революции, но не углублять ее», его слова не могли звучать в унисон с тогдашним восприятием масс, но и в дни мартовскаго «общенароднаго порыва» они были бы чужды.

Мешало не классовое сознание буржуазнаго правительства, на котором революционные демагоги строили свою агитацию. Неверно, что Временное Правительство представляло «интересы капитала и крупнаго землевладения», несмотря на присутствие в нем «нескольких либеральных людей», как утверждал представитель читинскаго Совета Пумпянский на мартовском Совещании Советов. И не только он, но и все единомыслившие с ним. Полк. Пронин вспоминает, как в. кн. Сергей Мих. узнав о составе временнаго правительства, заметил несколько поверхностно: «все богатые люди». «Князь – богач» – повторил о кн. Львове Троцкий. Нет, миллионы Терещенко и Коновалова рефлекторно не окрашивали политики «благовернаго правительственнаго синклита» (под

таким титлом в церквах поминалась «революционная» власть). Неудачный термин – «цензовая общественность» не покрывал собою Временное Правительство. Последнее далеко не представляло собою «гармоническое целое», но, как целое, оно пыталось не сходить с позиций арбитра между классовыми стремлениями – лидер «революционной демократии» Церетелли с полной искренностью мог говорить, что правительство не вело «классовой политики»[471].

Правительство было в тисках той презумпции, в атмосфере которой оно возникло. От этого гипноза оно не могло окончательно отрешиться, несмотря на грозные симптомы иногда клокочущей и бурлящей стихии. В сознании в гораздо большей степени отпечатлелся тот общий облик февральских дней, который побудил «Речь» назвать русскую революцию «восьмым чудом света» и внушил некоторую иллюзию политикам, что страна на первых порах может удовлетвориться своего рода расширенной программой прогрессивнаго блока: «в стране нет и признаков волнений и событий, возбуждающих опасения» – говорил Родзянко на частном совещании членов Гос. Думы 5 марта. В критические часы впоследствии в интимных беседах – как записывают современники – члены Правительства признавались, что они «вовсе не ожидали, что революция так далеко зайдет». «Она опередила их планы и скомкала их» – записывает ген. Куропаткин беседу с кн. Львовым 25 апреля: «стали щепками, носящимися по произволу революционной волны». Действительность была не так уж далека от безвыходнаго положения, характеристику котораго давали последния слова премьера. Жизнь довольно властно предъявляла свои требования, и Правительство оказывалось вынужденным итти на уступки – творить не свою программу, а следовать за стихией. Оно попадало между молотом и наковальней – между требованиями подлинной уже «цензовой общественности», маложертвенной и довольно эгоистично и с напором отстаивавшей свои имущественные интересы, и требованиями революционной демократии, защищавшей реальные, а подчас и эфемерные интересы трудовых классов – эфемерные потому, что революция, как впоследствии выразился один из лидеров «революционной демократии», «инерцией собственнаго движения была увлечена за пределы реальных возможностей» (Чернов). Эту «инерцию собственнаго движения» проще назвать демагогией, ибо все безоговорочныя ссылки па «железную логику развития революции», которую на подобие «лавины, пришедшей в движение, никакия силы человеческия не могут остановить» (Троцкий), являются попытками или запоздалаго самооправдания или безответственнаго политиканства. Достаточно ярко выразил закон

«инерции» на мартовском Совещании Совета уфимский делегат большевик Эльцин, не оторвавшийся еще тогда от общаго социалистическаго русла и возражавший «дорогому нам всем» меньшевику Церетелли; этот враг «государственнаго анархизма» линию поведения революционной демократии определял так: «она должна заключаться в том, чтобы выше и выше поднимать революционную волну, чтобы не дать ей возможности снизиться, ибо... если эта волна снизится, то... останется отмель, и на этой отмели останемся мы... а Временное Правительство будет в русле реки, и тогда нам не сдобровать».

Мы не знаем, сумело ли бы правительство иного состава – правительство, рожденное на почве большей или меньшей договоренности о войне и социальной программе минимум, которую надлежало осуществить в «переходное время» – до Учр. Собрания[472], преодолеть многообразную стихийную «лавину»; оно встретило бы к тому же большее противодействие со стороны тех классов, которые в общем поддерживали политику власти «цензовой общественности». Вокруг такого неизбежно коалиционнаго правительства могло бы создаться, если не однородная правительственная партия, то объединение партийных группировок, связанное как-бы круговой порукой – оно давало бы правительству большую базу, чем легко улетучивающияся настроения «медового месяца». Такое правительство могло бы действовать смелее и решительнее, и ему легче было бы противостоять демагогии. Если договор был немыслим в момент, когда нужно было немедленно действовать, то ход революции неизбежно предоставлялся игре случайностей. Временному Правительству перваго состава побороть стихию органически было не под силу. Уже 2-го Гиппиус записала свои «сомнения насчет будущаго» – ея сомнения аналогичны тем, которыя высказывал Кривошеин: «революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенскаго». ..."Я абсолютно не представляю себе, во что превратится его (Милюкова) ум в атмосфере революции. Как он будет шагать на этой горящей, ему ненавистной почве... Тут нужен громадный такт; откуда – если он в несвойственной ему среде будет вертеться?» Психология, отмеченная беллетристом-наблюдателем, в гораздо большей степени влияла на неустойчивую политику власти, нежели отсутствие того волевого импульса, которое так часто находят в действиях Временнаго Правительства[473]. Решительнее других выразил это мнение вышедший из состава Правительства и мечтавший о крутых контр-мерах для борьбы с революцией Гучков; он определял характер правительства словом «слякоть». (Запись Куропаткина 14-го мая);

некоторое исключение Гучков делал для Милюкова... Суть же была не в «интеллигентском прекраснодушии», а в том, что правительство усваивало декларативный «язык революции», т. е., в некоторой степени дух времени, но не ея сущность. Отсюда рождалось впечатление, что Правительство является лишь «пленником революции», как выразился один из ораторов большевицкой конференции в конце марта.

2. Восьмичасовой рабочий день

Конечно, неверно утверждение Керенскаго в третьей его книге, предназначенной для иностранцев (L'Experience), что социальному творчеству Временнаго Правительства была положена преграда той клятвой, которую члены Правительства вынуждены были дать – не осуществлять никаких реформ, касающихся основных государственных вопросов: такой клятвы члены Правительства не давали, и во всяком случае она не воспрепятствовала почти в первые дни декларативно провозгласить, по тактическим соображениям, независимость Польши[474]. Следует признать, что огромной препоной для социальных экспериментов являлась война с ея напряженными экономическими требованиями. Сама по себе война психологически могла содействовать восприятию тех социально-экономических заданий, которыя ставили социалистическия партии. Весь мир, в той или иной степени, переходил к планомерному государственному вмешательству в народное хозяйство. Далее до революционное «царское» правительство в России вынуждено было робко вступить на путь регулирования и контроля производства. Но революция, символизировавшая собою хирургическую операцию над общественным организмом, грозила зарезать ту курицу, которая несла во время войны, по выражению Шингарева, «золотая яйца». В этой несовместимости революции с войной и крылась причина подлинной трагедии России – трагедии, из которой без потрясений, при растущем экономическом кризисе, найти выход было чрезвычайно трудно.

Иллюстрацией к сказанному представляется история вопроса о восьмичасовом рабочем дне, стихийно выдвинувшагося в Петербурге в первые же дни и отнюдь не по инициативе Совета – скорее даже «вопреки директивам» центра. Вопрос возник в связи с вынесенной по докладу Чхеидзе 1170 голосами против 30 резолюцией Совета 5-го марта по поводу прекращения политической стачки. Указывая, что «первый решительный натиск возставшаго народа на старый порядок увенчался успехом и в достаточной степени обезпечил позицию рабочаго класса в его революционной борьбе». Совет признал «возможным ныне же приступить к возобновлению работ в петроградском районе с тем, чтобы по первому сигналу вновь прекратить начатая работы». Возобновление работ – мотивировал Совет – «представляется желательным в виду того, что продолжение забастовок грозит в сильнейшей степени разстроить уже подорванныя старым режимом продовольственныя силы страны». «В

целях закрепления завоеванных позиций и достижения дальнейших завоеваний» Совет «одновременно с возобновлением работ» призывал к «немедленному созданию и укреплению рабочих организаций всех видов, как опорных пунктов для дальнейшей революционной борьбы до полной ликвидации стараго режима и за классовые идеалы пролетариата». Вместе с тем Совет объявлял, что он приступает к «разработке программы экономических требований, которыя будут предъявлены предпринимателям (и правительству) от имени рабочаго класса». В последующем обращении к рабочим, в связи с происходившими «недоразумениями и конфликтами», Совет 9 марта отмечал, что «за небольшими исключениями рабочий класс столицы проявил поразительную дисциплину, вернувшись к станкам с такой же солидарностью, с какой он оставил их несколько дней тому назад, чтобы подать сигнал к великой революции»[475]. Это «небольшое исключение», под влиянием пропаганды большевиков, заявило о своем не подчинении директивам Совета, потому что, как говорилось, напр., в резолюции рабочих завода «Динамо», «революционная волна не захватила всей России» и «старая власть еще не рухнула» – при таких условиях о «ликвидации забастовок не может быть и речи». Однородных по внешней форме резолюций требованием «немедленнаго ареста Николая и его приспешников» мы коснемся в другом контексте[476]. В них, кроме призывов к «прекращению кровавой бойни», «классам неимущим ненужной» и т. д., заключалось и требование установления 8-часового рабочаго дня. Таков был боевой лозунг, выставленный большевиками; он искони органически вошел в сознание рабочей среды и потому легко был воспринят и на тех собраниях, на которых в «лойяльных» резолюциях о возобновлении работ как бы высказывалось доверие Временному Правительству: «только 8-часовой рабочий день может дать пролетариату, – говорилось в одной из них, принятой в Москве – возможность на широкое активное участие в политической и профессиональной борьбе. Только полное раскрепощение рабочаго класса от тяжелой изнурительной работы может дать возможность рабочему классу стоять на страже интересов своего народа и принять участие в созыве Учредительнаго Собрания... Полагая, что лозунг о 8-часовом рабочем дне является также *политическим* лозунгом, а потому осуществление рабочаго дня не может быть отложено на будущее, необходимо немедленно провести в жизнь 8-часовой рабочий день для всех наемных работников»[477].

Красной нитью в огромном большинстве резолюций о введении 8-часового раб. дня (по крайней мере в Москве) проходит мысль о

необходимости введения его в обще-государственном масштабе: «Временное Правительство особым декретом впредь до утверждения закона о нормировке рабочаго дня должно установить 8-часовой рабочий день на всю Россию».

Жизнь, однако, опережала академическия решения, и на заводах после возстановления работ происходило «непрерывное недоразумение» – явочный порядок введения ограничительнаго рабочаго времени, смена администрации и т. д. В воззвании 9 марта петроградский Совет, высказываясь против «разрозненных выступлений отдельных фабрик», осуждая «абсолютно недопустимые эксцессы» (порча материалов, поломка машин и насилия над личностью), которые «способны лишь причинить величайший вред рабочему делу, особенно в переживаемый тревожный момент», еще раз подчеркнул, что он разрабатывает «перечень общих экономических требований, которыя будут предъявлены фабрикантам и правительству от имени рабочаго класса». В то же время Совет предостерегал предпринимателей против «недозволительных» в отношении к «борцам за освобождение родины» попыток явнаго и тайнаго локаута и грозил, что «принужден будет с величайшей энергией вступить в борьбу с этими злоупотреблениями предпринимателей, особенно постыдными в переживаемые нами дни»... в случае закрытия фабрик Совету «придется поставить перед рабочим классом, перед городским общественным управлением и перед Временным Правительством вопрос о муниципализации подобных предприятий или о передаче их в управление рабочих коллективов».

Под влиянием этого низового «террора» петербургское общество фабрикантов и заводчиков само, при посредничестве министра торговли и промышленности Коновалова, обратилось в Совет для улажения возникшаго конфликта с рабочими, и 10-го было достигнуто соглашение, устанавливающее впредь до издания закона о нормировке рабочаго дня 8-часового «действительнаго труда» (сверхурочныя работы по особому соглашению), учреждения совета старост (фабрично заводскаго комитета) и примирительных камер. В Москве соглашение не удалось в силу непримиримой позиции, занятой местным Обществом фабрикантов и заводчиков, хотя в ряде районов предприниматели (крупные) давали свое согласие на введете 8-часового рабочаго дня. В результате нормирование продолжительности дня труда стало производиться «самовольно» по отдельным предприятиям, и московскому Совету задним числом пришлось 18 марта санкционировать своим авторитетом то. что было достигнуто «явочным порядком»[478]. Совет постановил: «признать

необходимым введение 8-часового рабочаго дня по всей стране; обратиться к Временному Правительству с требованием о немедленном издании соответствующаго декрета и призвать все Советы Р. Д. поддержать это требование. В Москве же, не дожидаясь издания такого декрета, ввести 8-часовой рабочий день, допуская сверхурочныя работы только в отраслях промышленности, работающей на оборону, производящей предметы первой необходимости и по добыче топлива».

Соответствующая волна прокатилась по всей России, причем борьба за 8-часовой рабочий день принимала либо петербургскую, либо московскую форму, т. е., заключалось или соглашение с организациями фабрикантов и заводчиков или нормировка труда вводилась рабочими явочным «революционным» порядком и санкционировалась односторонним актом местнаго Совета. Это бытовое двоевластие было, однако, довольно чуждо мысли самочинаго законодательства; можно сказать, что господствовала формулировка, данная на одном из Московских рабочих собраний: «Мы вводим 8-часовой рабочий день с 17 марта и требуем от Совета Р. Д. вынести резолюцию о его введении, а от Временнаго Правительства *поставить свой штемпель* ".

Как же реагировала власть, которой предлагалось поставить авторитетный «штемпель» законодательной санкции к тому, что в жизни достигалось «революционным» путем? Она в сущности бездействовала. 6 марта Правительство одобрило специальное обращение министра торговли и промышленности Коновалова. Революционный министр говорил о труде, который является «основой производительной силы страны» и от «успехов котораго зависит благополучие. родины». «Искренне» стремясь «к возможно полному удовлетворенно трудящихся», министр считал «неотложной задачей правильную постановку и надлежащее развитие рабочаго вопроса». «Свободная самостоятельность и организация трудящихся» (т. е., профессиональные союзы) – констатирует обращение – «является одним из главнейших условий экономическая) возрождения России». Это были все общия слова, т. е., революционная риторика... 10-го Исполнительный Комитет Совета, узнав от своего уполномоченнаго Гвоздева, что петербургские фабриканты и заводчики согласны ввести 8-часовой рабочий день, постановил: «предложить Временному Правительству издать указ о 8-час. раб. дне по всей России до Учредительнаго Собрания». Правительство немедленно реагировало, и в журнале заседания того же 10 марта значится: «предоставить министру торговли и промышленности войти в обсуждение вопроса о возможности и условиях введения сокращеннаго рабочаго времени в различных

местностях России по отдельным группам предприятий и представит, предположения свои на разсмотрение Временнаго Правительства». На этом все дело и остановилось – само Правительство дальше подготовки мер к введению 8-часового рабочаго дня в предприятиях военнаго и морского ведомства не пошло. Как будто трудно последовать за воспоминаниями Керенскаго и признать, что Коновалов в согласии с фабрикантами 11 марта «ввел уже 8-часовой рабочий день на фабриках и заводах Петрограда». Очень сомнительно, чтобы в министерств торговли и промышленности «в порядке спешности» действительно разрабатывался «законопроект о 8-часовом рабочем дне», как, отвечал Исполнительный Комитет на многочисленные и настойчивые запросы из провинции, указывая, что о вступлении закона в силу будет «своевременно объявлено».

Собравшееся в конце марта «Совещание Советов» не могло пройти мимо развертывавшейся борьбы за сокращение рабочаго дня. «Основной вопрос революции», поставленный на очередь в огромной полосе России, во всяком случае, в крупных центрах, не получил еще «законодательнаго установления» – указывал докладчик. И Совещание в резолюции о введении 8-часового рабочаго дня предлагало правительству издать соответствующий декрет с оговоркой о необходимости допущения сверхурочных работ в тех отраслях промышленности, который работают на нужды обороны и связаны с продовольствием страны. Совещание правильно учитывало, что 8-часовой рабочий день не является только вопросом экономической выгоды рабочаго класса, но крайне ослабляет реалистичность своей позиции, выдвигая наряду с соображениями о необходимости участия рабочаго класса с переходом России к демократическому строю в общеполитической и культурной жизни страны, но и довольно априорныя заботы об «ослаблении кризиса в будущем», о необходимости «позаботиться о смягчении ужасов грядущей безработицы и об облегчении приискания заработка тем, которые вернутся после окончания войны из армии». Совещание поручило Исполнительному Комитету петроградскаго Совета вступить с Временным Правительством в переговоры о порядке введения 8-часового рабочаго дня[479].

В законодательном порядке дело мало подвинулось вперед[480]. В итоге получилась анархия на местах, где при отсутствии указаний из центра, почти неизбежно пышным цветом расцветало «революционное правотворчество», т. е., то, что выше было названо бытовым двоевластием. Показательным примером подобнаго местнаго законодательства

служит «обязательное постановление» о восьмичасовом рабочем дне и примирительных камерах, изданное Борисовским (Минской губ.) Исполнительным Комитетом за подписью и. д. уезднаго правительственнаго комиссара прап. Вульфиуса на исходе второго месяца революции – 26 апреля. Принципиальное решение о введении 8-час. рабочаго дня в Борисове было принято еще 28 марта; 18 апреля положение о нормировке труда было осуществлено «явочным порядком»; 26 апреля с единогласнаго одобрения «примирительной камеры[481] издано было особое «обязательное постановление» для «закрепления позиций рабочаго пролетариата». Очевидно, не без влияния правительственнаго воззвания к рабочим, обслуживающим учреждения фронта[482], борисовские законодатели к общему положению о 8-час. рабочем дне вводили новеллу, по которой «впредь до окончания войны» всем предприятиям, «непосредственно и косвенно» работающим на оборону, предоставляется устанавливать «обязательные для рабочих и служащих сверхурочные рабочие часы», оплачиваемые полуторной платой, при чем в виду Борисовской близости к фронту, все «заводы, фабрики и торгово-промышленныя предприятия» признавались работающими на оборону; на всех предприятиях учреждались заводские комитеты; на примирительную камеру возлагалась обязанность выработать «минимум заработной платы»... Наконец, Исполнительный Комитет объявлял, что приостановка предприятия, чрезвычайно вредная для обороны, повлечет за собой «секвестрацию его».

Все это «законодательное» творчество шло вне правительственнаго контроля. Нерешительность или медлительность Правительства сильно снижали его революционный авторитет в рабочей массе тем более, что реальная борьба за 8-часовой рабочий день сопровождалась в «буржуазной» печати довольно шумной противоположной кампанией. В ней приняли участие и марксистские экономисты, с добросовестностью догматиков доказывающие. нецелесообразность и утопичность осуществления рабочаго лозунга в момент хозяйственнаго кризиса[483]. Усвоить эту догматичность довольно трудно, ибо было слишком очевидно, что в взбудораженной атмосфере революция естественно приводит к пониженности труда; 8 часов «действительной» работы, как выражалось петербургское соглашение 10–11 марта, для народнаго хозяйства имело несравненно большее значение, чем сохранение фиктивных норм[484].

* * *

Политический такт для противодействия демагогии всякаго рода экстремистов требовал декларативнаго объявления рабочаго лозунга.

Промышленники не могли не понимать этой элементарной истины. В собрании материалов «Рабочее движение в 1917 г.» имеется показательный документ, воспроизводящий апрельское обращение Омскаго биржевого комитета, как «официальнаго представителя интересов торговли и промышленности в Омском районе», к владельцам местных промышленных предприятий. Омский комитет обращался к предпринимателям с «убедительной просьбой» принять выработанныя Советом условия введения 8-часового рабочаго дня. «Принятие этих условий – говорило обращение – властно диктуется государственной необходимостью и правильно понятыми интересами промышленности». Биржевой комитет, считая приостановку работ на оборону «преступной», выражал надежду, что промышленники «пожертвуют частью своих интересов и не явятся виновниками обострения классовой борьбы в данный исключительной важности исторический момент». И когда центральныя организации промышленников с некоторым напором оказывали воздействие на Правительство в смысле законодательнаго непринятия гибельной по своим последствиям той «временной уступки», на которую они должны были пойти, то в их формальной аргументации (докладная записка в марте горнопромышленников Урала), действительно, трудно не усмотреть стремления, при неопределенности экономических перспектив лишь выиграть время, пока не выяснится, в какую сторону склонится «стрелка революционной судьбы». Такое впечатление производит, например, запоздалое (в мае) постановление московскаго биржевого комитета. В нем говорилось: «Вопрос о 8-часовом рабочем дне не может быть разсматриваем, как вопрос о взаимном соглашении между предпринимателями и рабочими, так как он имеет значение общегосударственное... почему он не может быть даже предметом временнаго законодательства, а должен быть решен волею всего народа в правильно образованных законодательных учреждениях... всякое разрешение этого вопроса в ином порядке было бы посягательством на права народнаго представительства». Поэтому промышленники «не признают для себя возможным разрешать его в данный момент, как бы благожелательно ни было их отношение к интересам рабочих». В итоге в мае, когда уже существовало новое «коалиционное» правительство, лишь начали «выяснять» трудный вопрос о 8 час. рабочем дне, как писал в «Русском Слове» известный финансист проф. Бернацкий.

Для промышленников вопрос о продолжительности рабочаго дня главным образом являлся проблемой экономической, связанной с повышением заработной платы. За «восьмичасовой кампанией»

последовала и столь же стихийно возникшая борьба за повышение тарифных ставок, не поспевавших за падением денежных ценностей и дороговизной жизни – борьба, осложненная органически связанной с переживаемым хозяйственным кризисом проблемой организации производства, как единственнаго выхода из кризиса. Эта экономическая и социальная борьба хронологически уже выходит за пределы описания мартовских дней, когда лишь намечались признаки будущей революционной конфигурации. Так. московская областная конференция Советов 25–27 марта единогласным решением приняла постановление добиваться немедленнаго проведения в законодательном порядке (а до того фактическое осуществление в «местных рамках и в организованных формах») «всей экономической минимальной программы социалистических партий»: 8-часовой рабочий день, минимум заработной платы, участие представителей рабочих на равных правах с предпринимателями во всех учреждениях, руководящих распределением сырого материала. В жизни «фактическое осуществление» социалистических постулатов (в теории представлявшееся в виде «твердых шагов организованной демократии», а на практике, по характеристике «Известий» – «необузданной перестройкой») приводило к довольно уродливым формам «рабочаго контроля», требований подчас заработной платы, обезпечивающей «свободную и достойную жизнь'», но не соответствующей экономической конъюнктуре.

Демагогия, вольная и невольная[485], конечно, и здесь сыграла свою зловредную роль, парализуя трезвую оценку рабочей тактики, которую давала, например, общая резолюция по рабочему вопросу, принятая на Совещании Советов. В ней на тяжеловатом официальном языке говорилось: «...в обстановке войны и революции пролетариат... должен особенно строго взвешивать фактическое соотношение материалов и общественных сил труда и капитала, определяемое, главным образом, состоянием промышленности и степенью организованности рабочаго класса, памятуя, что теперь больше, чем когда либо, экономическая борьба приобретает характер борьбы политической, при которой важную роль играет отношение к требованиям пролетариата остальных классов населения, заинтересованных в укреплении новаго строя». Демагогические призывы находили отзвук в массе в силу не только примитивной психологии "неимущих». «Легенда» относительно астрономической прибыли промышленности, работавшей на оборону страны, крепко укоренилась в общественном сознании – об этой «сверхприбыли» не раз с ораторской трибуны старой Государственной

Думы говорили депутаты даже не левых фракций, а правых и умеренных, входивших в прогрессивный блок[486]. Допустим, что довоенное процветание промышленности и ея искусственная взвинченность в первый период войны были уже в безвозвратном прошлом, что эти прибыли истощились в дни изнурительной и затяжной мировой катастрофы, и что промышленность – как доказывают некоторые экономисты – вошла в революционную полосу разстроенной и ослабленной – побороть укоренившуюся психологию нельзя было отвлеченным, научным анализом, тем более, что сведения о «колоссальных военных барышах» отдельных промышленных и банковских предприятий продолжали появляться на столбцах периодической печати и на устах авторитетных деятелей революции, не вызывая опровержений. Даже такой спокойный и по существу умеренный орган печати, как московския «Русския Ведомости», несколько позже в связи с августовским торгово-промышленным съездом, негодовал на то, что съезд «совершенно закрыл глаза на вакханалию наживы». В годы войны неслыханные барыши (50–71%) 15–16 гг. – признавала газета – «внесли заразу в народныя массы». «Чудовищность» требований повышения заработной платы в революционное время все же была относительна, как ни далека была жизнь от тезы, что «смысл русской революции» заключался в том, что «пролетариат выступил на защиту русскаго народнаго хозяйства, разрушеннаго войной». (Покровский). Когда мемуаристы говорят о требованиях прибавок в 200–300% и более (утверждения эти безоговорочно переходят па страницы общих исторических изысканий), они обычно не добавляют, что эти прибавки разсчитывались по довоенной шкале: поправка на систематическое падение ценности рубля во время революции сводит эту «чудовищность» к прозаической конкретности – данныя статистики, как будто объективно устанавливают, что рост заработной платы и общем продолжал отставать от цен на продукты питания[487]. Ненормальность положения, когда заработную плату приходилось выплачивать в счет основного капитала предприятия, как неоднократно указывали представители промышленников в совещаниях, созываемых впоследствии министерством торговли и промышленности, приводила к требованиям повышения государством цены на фабрикаты, производимые на оборону: уступки промышленников рабочим – говорил Некрасов на Московском Государственном Совещании – фактически перекладывались на государство. Последнее обращалось к главному своему ресурсу – выпуску бумажных денег.

Выход из заколдованнаго круга мог быть найден только в

определенной экономической политике, которой не было у Временнаго Правительства, загипнотизированнаго концепцией рисовавшагося в отдалении вершителя судеб – Учредительнаго Собрания... Только противопоставив такую определенную программу для переходнаго времени, можно было свести на землю социалистическия «утопии».

3. Земля – народу

В параллель к постановке вопроса о нормировке трудового дня можно привести иллюстрацию из области недостаточно отчетливой земельной политики Временнаго Правительства, расширявшей рамки местнаго революционнаго правотворчества и свидетельствовавшей, что у Правительства не было конкретнаго плана аграрных мероприятий временнаго характера для переходнаго периода. В этой области положение Правительства «цензовой общественности», конечно, было особенно трудно, так как надлежало примирить не только диаметрально противоположные интересы, но и в корень расходящиеся принципы[488]. При отсутствии единаго общественнаго мнения не могло быть и той самопроизвольно рождающейся директивы, которую впоследствии Временное Правительство в декларации, подводившей итоги его двухмесячной деятельности, называло «волею народа».

В марте деревня не подавала еще громко своего голоса. Молчала ли деревня потому, что оставшиеся в ней «старики, больные и женщины» встретили спокойно (таково было мнение, например, кирсановскаго съезда земельных собственников) революцию, – обезлюдение деревни Чернов считает основным мотивом молчания деревни; молчала ли потому, что просто «еще снег не сошел с земли» (мнение составителей социалистической «Хроники»); молчала ли потому, что плохо была осведомлена о перевороте и относилась к нему в первый момент недоверчиво (уполномоченные Временнаго Комитета в своих донесениях отмечали случаи – и не в каких-нибудь глухих углах обширной страны – когда в деревне, продолжавшей жить с представителями старой власти, урядниками и становыми, не знали о происшедших событиях еще в конце марта и боялись, что все может «повернуться на старое»; донесения думских уполномоченных подтверждают многочисленныя изданныя крестьянския воспоминания). Газетныя корреспонденции того времени отметят нам даже такие удивительные факты в центре России, как распространенное среди мужиков Дмитровскаго уезда Московской губ. убеждение, что приказ «убрать урядников» и дать народу «свободу» пришел не иначе, как от «царя-батюшки». («Вл. Народа»). – Так или иначе, анархия и двоевластие на местах не могли грозить большими осложнениями, и Правительство могло укрыться на первых порах за формулу ожидания Учредительнаго Собрания.

Спокойствие в деревне нарушила волна дезертиров, пришедших с

фронта и подчас – отмечает отчет Временнаго Комитета – сыгравших роль первых осведомителей о происшедшем перевороте. Военный министр в обращении к «дезертирам» 7 апреля объяснял эту утечку с фронта «распространением... в армии преступных воззваний о предстоящем теперь же переделе земли, при чем участниками его явятся будто бы лишь те, кто будет находиться к этому времени внутри страны». Создавалась недвусмысленная опасность, что молва о земле может сорвать фронт, и министр земледелия спешил опровергнуть циркулирующие слухи «о предстоящей в ближайшее время крупной земельной реформе вплоть до конфискации частно-владельческих земель». По существу Правительство ничего не говорило – его воззвание по «первейшему» по своему значению земельному вопросу 17 марта справедливо может быть отнесено к разряду скорее нравоучительных произведений на тему о том, что «насилие и грабеж самое дурное и опасное средство в области экономических отношений». «Заветная мечта многих поколений всего земледельческаго населения страны» не может быть проведена в жизнь путем каких-либо захватов. Принятие закона о земле народными представителями невозможно без «серьезной подготовительной работы», выполнить которую Правительство «признает своим неотложным долгом».

Впрочем, были приняты две решительныя меры: 12 марта были переданы в казну земли Кабинета отрекшагося Императора и 16-го конфискованы удельныя имущества. Оба правмтельственныя постановления, если и признать, что тактически они были необходимы, нарушали логику, выраженную формулой: ждать Учредительнаго Собрания. Вероятно, в рилу этого Правительство через посредство вел. кн. Николая Михайловича прибегло к своеобразной мере получения письменных отказов членов императорской фамилии от наследственных прав на российский престол и согласия их на «отдачу» удельных земель[489].

Подводя итог наблюдений думских уполномоченных при объезде после переворота, 28 губерний Европейской России, трехмесячный отчет отдела сношений с провинцией Временнаго Комитета говорил: «для крестьян новый строй – это земля». «Это то, чем дышит огромная часть населения России» – существует «твердое убеждение», что земля должна перейти народу. Совершенно естественно, что уполномоченные Временнаго Комитета наблюдали «отсутствие у крестьян представления» о запутанности и трудности разрешения земельнаго вопроса. Мысль о сложности статистическаго «учета земельных запасов, распределения земельной собственности, выяснения условий и видов землепользования»

и т. д., как это перечисляло правительственное воззвание, была в большинстве случаев чужда крестьянскому сознанию, увлеченному притягательной силой соседней, непосредственно примыкавшей, «обетованной» помещичьей земли; представление о земле не выходило за пределы своей волости. «Крестьянин – констатирует цитируемый отчет – питается во многих местах не реальностью, а лозунгами. Он предвкушает золотой век осуществления их. Он часто далек от мысли, что все эти лозунги окажутся мыльными пузырями по той простой причине, что земли нет, что в большинстве средних губерний не только нельзя думать о трудовой норме, но и о лишних 2 десятинах». В отдельных случаях, быть может, некоторым уполномоченным в беседах удавалось убедить крестьян не принимать «на веру» ходячую молву и развеять тот «обман», в котором они находились, показав наглядно статистическими вычислениями, что при разделе всей помещичьей земли на деле крестьянам придется по 1/8 десятины–напр., в Орловской губ... Но ведь уполномоченные интеллигенты из Петербурга, да еще облеченные званием членов Гос. Думы, которые могли заманчивыя перепективы в смысле земельных чаяний свести к реальной действительности, были случайными и редкими гостями в деревне[490]. В большинстве случаев проповедником являлся какой-нибудь солдат из столицы или партийный агитатор, не слишком сведующий и не слишком сркупулезный в своей демагогической пропаганде – в дни революции не было недостатка и в людях, одетых в интеллигентский мундир и готовых выдавать «дутые векселя».

Одним обещанием «собрать материал» для Учредительнаго Собрания, представление о котором в деревне было неясно[491], нельзя было предотвратить анархическия выступления в деревне и избегнуть самостоятельнаго «правотворчества» в сфере земельных отношений. Надо было отдать себе отчет в реальном положении и в неизбежности исхода будущей аграрной реформы в сторону интересов «трудового крестьянства». Бороться с «дутыми векселями» можно было лишь ясным и определенным заявлением, в каком именно направлении будет происходить подготовительная работа перед Учредительным Собранием, и одновременным принятием в законодательном порядке тех переходных мер, которыя подсказывала жизнь и которыя гарантировали бы в сознании массы неприкосновенность земельнаго фонда до Учредительнаго Собрания. Пешехонов («осторожный поссибилист», по выражению Чернова) тогда же пытался выступить с предупреждением, что Учредительному Собранию придется «лишь оформить и санкционировать то, что будет совершено и достигнуто в процессе революционнаго

строительства: отложить последнее немыслимо. Весь вопрос в том, пойдет ли он дальше анархическим путем или в организованных формах». При анархии получится не тот строй, к которому стремятся все демократическия партии. Но и «такой строй придется санкционировать, пересилить революцию Учредительное Собрание, конечно, будет не в силах». Не имея еще собственнаго органа повседневной печати, Пешехонов выступал в с.-р. «Деле Народа» (23 марта). Планомерное «революционное строительство» Пешехонов видел в организации сети земельных комитетов, задачей которых являлась бы подготовка общей реформы и разработка предварительных, неотложных временных мер. Мысль Пешехонова была освоена революционной демократией[492] и нашла конкретное себе воплощение в правительственном мероприятии, но только через месяц и без той определенности, которую вкладывал инициатор земельных комитетов. 21 апреля Правительство опубликовало положение о Главном и местных Земельных комитетах. На Главный комитет возлагалась задача составления общаго проекта на основании собранных данных и соображений, которыя будут представлены местными комитетами. На местные комитеты (волостные, уездные, губернские), помимо собирания сведений и составления «соображений и заключений», возлагалось приведение в исполнение постановлений центральной власти; издание местных обязательных постановлений, простановка действий частных лиц, направленных к обезценению земельных имуществ и возбуждение перед Главным Земельным комитетом вопросов об изъятия таких имуществ и о наиболее целесообразном использовании их. В воззвании, сопровождавшем опубликование закона, делался некоторый шаг вперед и говорилось, что Учредительное Собрание «найдет *справедливое решение* земельнаго вопроса и установит *новый* земельный строй». Население вновь призывалось к воздержанию от самовольных действий в области земельных отношений и «спокойно, в сознании своей ответственности за будущее нашей родины готовиться к приходу истиннаго устроителя земли русской – народнаго Учредительнаго Собрания». И только в декларации Главнаго Земельнаго Комитета 20 мая, т. е. при новом уже коалиционном правительстве, впервые было дано некоторое указание, в каком направлении предполагается справедливое решение земельнаго вопроса – в основу будущей земельной реформы должна быть положена мысль, что все земли сельско-хозяйственнаго назначения переходят в пользование трудового земледельческаго населения[493].

На путь известной активности побудила Правительство вступить сама

жизнь – проявление в стране с большей интенсивностью в апреле аграрнаго движения. Точной статистики этого движения у нас, конечно, никогда не будет... Ведомость Главнаго Управления по делам милиции за апрель отмечает 204 случая земельных правонарушений против 17 за март[494]. Статистика эта не дает полной картины уже потому, что систематическия сведения о «самоуправных действиях» на местах стали собираться лишь после циркулярной телеграммы 11 апреля министерства внутренних дел губернским и областным комиссарам. Насколько она преуменьшает действительность, можно судить по отдельному случаю... Так в делах Главнаго Земельнаго Комитета, имеется сводка сведений (к 1 августа) о движении среди крестьян, составленная Орловской губернской земской управой на основании анкет министерства земледелия: для марта и ней отмечено 40 случаев проявления «движения среди крестьян», для апреля 128... Волна апрельских волнений вызвала безпокойство Временнаго Комитета Государственной Думы, обратившагося к, министру земледелия Шингареву с запросом о мероприятиях для предупреждена «аграрных безпорядков». Ответ Шингарева в конце апреля напечатан у Шляпникова. Министр земледелия отмечал, что происшедшия аграрныя волнения в некоторых местностях явились «естественным результатом переворота», когда органы новой власти не могли дать «надлежащаго отпора» стремлениям «безответственных лиц и групп населения к осуществлению своих чаяний путем захватов и насилий». «Явления этого порядка... должны были получить в сфере земельных отношений тем большее развитие, что основанием, им служит та действительно наблюдаемая и часто острая земельная нужда крестьянскаго населения... Можно было ожидать, что аграрные безпорядки... получат весьма широкое распространение и примут острую форму... Действительность не оправдала этих опасений, в полной мере», так как по имеющимся у министра сведениям «аграрныя волнения не приняли столь широких размеров»... «Аграрные безпорядки имеют место в отдельных местностях – повидимому, в тех, где создалось недружелюбное отношение между землевладельцами и крестьянами ими особенно сильно ощущалась земельная нужда, сравнительно в незначительном числе случаев охватывали целые волости или уезды[495]. При этом крестьяне по большей части прибегали не к безвозмездному отобранию владельческих земель, а к принудительной сдаче им в аренду по назначенной волостным комитетом «справедливой» цене, правда весьма пониженной по сравнению с существующей». Шингарев писал, что министерство, учитывая «все серьезныя последствия» аграрных волнений в частности для

«обезпечения армии и населения продовольствием. прибегло ко всем нмеющимся в его распоряжении средствам для предупреждения дальиейшаго развития аграрнаго движения». Такими средствами являлись меры двоякаго рода:

1) Прекращения безпорядков...

2) Издание в законодательном порядке таких постановлений, которыя..., с одной стороны, дали бы какой-нибудь путь удовлетворения земельной нужды крестьянскаго населения, а с другой, направляли бы по законному руслу возникавшие у него споры с землевладельцами на почве земельных правоотношений до разрешения земельнаго вопроса в Учредительном Собрании.

В отношении мер перваго рода необходимо, однако, принять во внимание, что, не имея в своем распоряжении таких органов власти, какие могли бы прекратить безпорядки путем применения физической силы, находящейся в ведении министерства внутренних дел...[496], да и по существу *не признавая возможным* , в условиях переживаемаго времени, пользоваться таковой, ведомство могло прибегнуть только к нравственному воздействию на население... Такого рода обращение привело в некоторых случаях к положительным результатам»... «Что же касается мероприятий второго рода – продолжал ответ Шингарева – то утвержденныя Временным Правительством постановления:

а) от 11 апреля о засеве полей и охране посевов,

б) от 21 апреля об учреждении земельных комитетов...

Закон 11 апреля устанавливает предоставление всех пустующих земель в распоряжение местных продовольственных комитетов с назначением последними справедливой арендной платы в пользу владельцев за занятие их земель и принятие за счет государства убытков, понесенных частными владельцами от насильственного захвата их земель, возлагая вместе с тем на виновных гражданскую и уголовную ответственность». В заключение министр выражал свое «глубокое убеждение», что при более тесном взаимодействии между центральным правительством, местными властями и общественными организациями, «дальнейшему распространению безпорядков на почве земельных отношений будет положен предел».

Оптимистическое заключение министра земледелия было преждевременно, ибо такие паллиативы не могли успокоить деревню, которую, помимо реальных требований жизни, возбуждали идеологи «социальнаго радикализма»[497]. Но на первых порах правительственныя мероприятия содействовали значительному ослаблению земельных

правонарушений[498]: данныя милиции снижают цифру апрельских выступлений с 204 на 81; в том же соответствии во взятом примере Орловской губ. в мае случаи движения с 128 снижаются на 39[499].

Отчет Врем. Комитета, отмечая. что за все три первые месяца не было случая применения силы со стороны правительства, указывал, что земельныя примирительный камеры пришлись крестьянам «по душе» и имели успех. Депутаты, объезжавшие провинцию. нарисовали довольно яркую картину настроений деревни, ея растерянность и отчасти безпомощность, которыя приводили не так уже редко к попыткам самостоятельно решить на месте земельный вопрос. «В разъяснении и точном указании выхода из того или другого положения нужда большая, чем во всякой охране», – подводит итог отчет. Не обобщая фактов, отметим черты, подчеркнутыя в отчете. Часто, например, владельцы и управляющие крупных имений убегали, оставляя хозяйство на произвол судьбы. Крестьяне и сама исполнительная власть затруднялись, как наступить в таком случае: помещики спешили рубить лес, распродать живой и мертвый инвентарь. Деревенские делегаты «приходят в город за разъяснением, заходят в комитеты, к комиссару, в Советы Р.С.Д., в партию с.-р. и везде получают различныя указания»; посылают депутатов в столицу, где на них обрушиваются «вся шумиха, весь водоворот партийных споров и разговоров». И отчет рисует бытовую сцену, как односельчане сажают в холодную вернувшагося депутата, который проездил общественныя деньги и ничего не узнал: «все забыл, что слышал; так много слышал, что... ничего не запомнил». Нередки случаи, когда советския декларации принимаются за «закон»[500]. Большинство уполномоченных, как утверждает отчет, вынесли «крайне мрачный» взгляд на волостные комитеты – они не имели ни «авторитета», ни «гражданской ответственности» и легко превращались в «игрушку в руках политическаго агитатора», причем выразители крайних мнений, соответствовавших «чаяниям изголодавшагося по земле народа», вызывали наибольшее доверие. Другие наблюдатели отмечали и иную сторону в скептицизме населения к волостному земству– «хорошие» крестьяне не шли на выборныя должности, не доверяя еще новым порядкам; на выборах проявился большой абсентеизм. И в то же время эти пессимистически настроенные наблюдатели должны были отметить и явление, противоречившее их заключениям – с возникновением комитетов «всякие эксцессы» в деревне прекратились. И на месте эксцессов «все более растут приемы мирнаго выживания и устранения от земли всех крупных и мелких собственников» не исключая отрубников, «повсеместную вражду» к

которым отмечает отчет Временнаго Комитета; устанавливается высокая, заведомо непосильная такса на рабочия руки, особая приплата за пользование трудом пленных, просто запрещается работа у частных владельцев – «не дадим им рабочих, они тогда все, как тараканы, подохнут». Так деревня подчас осуществляла на месте правительственный циркуляр 11-го апреля о засеве пустующих полей...

Это отстояло очень далеко от той «пугачевщины», о которой, как о чем то неизбежном при революции, в последние годы стараго порядка так много говорили в самых разнообразных общественных кругах. Если этого не произошло в первый период революции, не обязана ли Россия такому исходу все же в значительной степени деятельности весьма несовершенных организаций на местах?

Не только исконная тяга к помещичьей земле, не только максималистическая агитация пропагандистов «чернаго передела», но и реальныя жизненныя потребности, отмеченныя Шингаревым, приводили к местному правотворчеству, которое уже существенно расходилось с лозунгом пассивнаго ожидания Учредительнаго Собрания. Уездный раненбургский комиссар, председательствовавший в уездном исполнительном комитете, в более позднем своем уже польском докладе министру земледелия по поводу «шумихи» вокруг уезда, выступавшаго «первым» в аграрном вопросе, объяснял так причины, побудившия Исполнительный Комитет принять решительныя меры к использованию помещичьей земли для того, чтобы «не осталось не запаханнаго поля, неубраннаго хлеба».

«Когда в начале марта – писал он – поступили на утверждение приговоры о черном переделе земли и об уничтожении арендных договоров, комитет решил взять на себя урегулирование этого вопроса. На заседание были приглашены землевладельцы. Под ужасом впечатления о гибели почти 2 мил. пудов зерна (в предыдущем году – утверждало донесение – помещичий хлеб погиб в большинстве экономий – у одних хлеб остался в поле в рядах, у других сгнил в скирдах), под впечатлением пустующих полей и валяющагося на дворах исхудалаго скота, который поднимали за хвост, и который стал гибнуть во многих экономиях, комитет, после двухдневнаго заседания 25–26 марта вынес суровое постановление: всю землю и весь живой и мертвый инвентарь передать в руки крестьян, а остальное хозяйство, где это необходимо, передать в заведывание доверенных лиц». «Такое постановление – писал комиссар – я нашел неприемлемым для себя и сложил полномочия председателя комитета. Это заставило комитет пойти на компромисс: 81 марта, вопрос

подвергся новому обсуждению». Постановлено было исключить всех мелких землевладельцев, в крупных экономиях ведение хозяйства оставить за владельцами, обезпечив им не менее, чем 30 дес. в поле, и допустить исключение для «правильных хозяйств». Постановлено было обезпечить «хозяйственно надежныя» экономии рабочими руками, оставить в силе все арендные договоры. «За редким исключением – констатировал комиссар Сухарев – комитету удавалось справиться со своей задачей[501].

Раненбургский уезд был особливо неблагополучен в смысле «крестьянскаго движения». Следовательно постановления уезднаго комитета носили специфический характер. Более показательны поэтому постановления общегубернскаго (рязанскаго) съезда «представителей губернскаго, уездных, городских, волостных комитетов, земств и городов, крестьянскаго союза, объединений кооперативов, Советов Р. и С. Д.», собравшагося во второй половине апреля. Эти постановления весьма отчетливо определили направление, в котором на местах решался «земельный вопрос», и служили знаменующим перстом для политики центральнаго правительства в области временных мер. Исходя из положения, что «земля должна принадлежать всему трудящемуся народу», и что разрешение основного вопроса о земле будет на созываемом *в ближайшем будущем* Учредительном Собрании, съезд «во имя спасения родины от разгрома внешним врагом и защиты молодой свободы от внутренней анархии» постановил:

1. Признать правильное и полное использование в 1917 году всех земельных угодий, независимо от того, кому они принадлежат, вопросом государственной необходимости.

2. Временное, впредь до разрешения земельнаго вопроса на Учредительном Собрании, использование путем реквизиции всех пахотных и луговых угодий (в особом «наказе» съезд пояснил, что под «всеми земельными угодиями» разумеются земли всех видов: монастырския, церковныя, удельныя, частновладельческия и крестьянския), с предоставлением всех земель, не могущих быть, по заключению местных комитетов, обработанными, обсемененными и убранными силами самих владельцев, в распоряжение местных («волостных и городских под контролем уездных) исполнительных комитетов.

3. Использование в реквизиционном порядке всех указанных земель и лугов на основании принудительной аренды с платой, проектируемой местными исп. комитетами[502]. На местные исполнительные комитеты

возлагалась обязанность принять все меры к обработке земли, убора урожая и сдачи всего излишка хлеба «на условиях, объявленных в законе о государственной хлебной монополии». Вместе с тем съезд признал, «необходимым, чтобы Временным Правительством было издано особое распоряжение о немедленной приостановке покупок, продажи, залога и дарения земель и лесов[503]. Решение съезда было сообщено в Петербург через особую делегацию.

В дни Временнаго Правительства перваго состава лишь намечалась еще та общая платформа, которая могла быть выставлена от имени организованнаго крестьянства на первом собравшемся в Петербурге 4 мая Съезде Советов Крестьянских Депутатов, и которая нашла отклик по всей России. Апрель и отчасти уже март были периодом организационным: На Совещании Советов такая платформа, объединившая разныя течения революционной демократии и противопоставленная неопределенной правительственной декларации, была, однако, уже выработана. Резолюция, принятая 3 апреля, говорила о необходимости «перестроить коренным образом» земельныя отношения: «только... передача земли трудящимся сделает земледельца действительно свободным». Признавая, что окончательное разрешение земельнаго вопроса принадлежит Учредительному Собранию, революционная демократия, представленная на Совещании, заявила, что поддержит «самым решительным образом в Учредительном Собрании безвозмездное отчуждение всех частно-владельческих земель для передачи их трудящемуся народу, за исключением владений, не превышающих максимальных норм, каковыя будут установлены для каждой области местными демократическими комитетами». В «переходное время» Совещание считало необходимым распространить конфискацию государственной властью удельных и кабинетских земель, теперь же на церковныя и монастырския земли и издание Временным Правительством декрета о прекращении впредь до разрешения Учредительным Собранием земельнаго вопроса всякаго рода земельных сделок.. Совещание сказало и относительно создания на местах «до образования органов демократическаго самоуправления» комитетов для урегулирования заработной платы и для устранения недоразумений между частными владельцами и крестьянами. Совещание предусмотрело и закон 11 апреля о сдаче местными комитетами пустующих частновладельческих земель в аренду или обработку их наемным трудом «с помощью владельческаго инвентаря» и с оплатой «по установленным комитетами ценам». На местные комитеты Совещание возлагало «обязанность бороться со всякими попытками самочиннаго разрешения на

местах земельнаго вопроса», считая, что «всякое потрясение хозяйственной жизни в настоящее время в области земледелия может иметь для государства непоправимое бедствие. усиливая ту продовольственную разруху, которую сейчас переживает страна».

Реалистическая платформа, выработанная Совещанием, была далека от аграрнаго максимализма[504]. Ахиллесовой пятой для правительства оказалось требование о прекращении земельных сделок, против чего возражал класс земельных собственников[505]. Между тем, если бы сознание большинства, по крайней мере, земельных собственников с самаго начала освоило неизбежность в обстановке 17 г. радикальной аграрной реформы в духе, намеченном совещанием[506], если бы Правительство с самаго начала пошло хотя бы в декларативной форме по этому пути и повторило бы заключительную формулу резолюции Совещания – «народ в Учредительном Собрании решит земельный вопрос в интересах трудящихся масс»; если бы, не предрешая даже вопроса в декларативной форме, Правительство указало в *первом* своем воззвании к крестьянам, что разработка вопроса будет вестись в соответствующем направлении – в интересах сельскаго трудового населения[507], как рекомендовала Шингареву телеграмма Совета Московскаго Сельскохозяйственнаго Общества 16 марта, отправленная под влиянием полученных сведений о начавшихся безпорядках – кто знает, может быть, судьба русской революции «сложилась бы иначе...»[508].

Настроенія крестьянскія в первые месяцы революціи были, как мы видим, скорее міролюбивыми и соглашательскими, «случаи эксцесов» в деревне тонут в общем сознаніи «ответственности, желанія действовать организовано и закономерно» – доносил в центр саратовскій губернскій комиссар, быть может, и склонный к некоторому преувеличенному, официальному оптимизму. Внесем здесь ту поправку, которую делает Чернов, приводящій несколько примеров «идиллических оазисов'» из апрельских №№ с.-р. газеты «Земля и Воля» о соглашеніях на местах между крестьянами и землевладельцами о земле до Учредительнаго Собранія. (Так в Елецком уезде крестьяне обязывались обрабатывать и помещичьи земли, пользуясь инвентарем владельца исполу – помещик получал 1/4–1/2 урожая)[509]. «Общим правилом были настроенія далеко не соглашательскія» в обоих лагерях – утверждает в историческом обзоре бывшій министр земледелія перваго коалиціоннаго правительства. Эта поправка хронологически все же должна быть отнесена не к тому времени, о котором мы говорим; тогда и будущій «селянский министр» («мужицкий министр», как приветствовали его с мест на Государственном Совещании),

не мало склонный к демагогическому разнуздыванию стихии, не был активным действующим лицом и на арене еще только появился Ленин со своей прямолинейной проповедью брать силою всю «землю», «не дожидаясь Учредительнаго Собрания» (его открытое письмо делегатам майскаго крестьянскаго съезда – этим простым положением он заменил апрельский тезис о «конфискации» помещичьей земли). Та определенность в правительственной декларации, о которой мы говорим, могла усилить соглашательския настроения в деревне и содействовать миролюбивому разрешению до Учредительнаго Собрания практических вопросов, которые ставила жизнь. Во всяком случае она могла быть противопоставлена безответственной демагогии[510]. Вплоть до октябрьскаго переворота крестьянская мысль в вопросе о земле целиком не освоила упрощенную схему: грабь награбленное, как, быть может, далеко не везде (особенно на первых порах) освоила и «паньску затию», ждать *разрешения* земельнаго вопроса до созыва Учредительнаго Собрания.

* * *

Закончив краткое обозрение аграрной политики Временнаго Правительства перваго призыва, мы с большой сознательностью можем отнестись к суждениям, высказанным по этому поводу главою последующаго состава правительства – и, конечно, в издании, которое предназначалось для иностраннаго демократическаго общественнаго мнения. Переворачивая вверх дном «соглашение» 2 марта, Керенский в своей последней книге «L'Experience Kerenski» удивительным образом доказывает, что именно представители Совета, исходя из своей социологической концепции о «буржуазном этапе революции», колебались внести в программу будущаго правительства социальныя, аграрныя и рабочия реформы. В дальнейшем мемуарист доходит до такого искажения действительности, что уверяет, что уже первое революционное правительство, несмотря на свое «капиталистическое» происхождение (это и придает русской революции тип классически русский), выступило с *инициативой* радикальной земельной реформы в полном соответствии с русской революционной традицией[511].

Оказывается, что проект Ленина, о котором он мечтал в Швейцарии, правительством «цензовой общественности» был принят к выполнению задолго до того, как большевики разнуздали («спустили с цепи») свою «аграрную революцию». Первое правительство демократической революции предоставило самим крестьянам выработать новый земельный порядок – только мненіе земельных комитетов имело значение: все земли

подлежали национализации и пользоваться ими наперед могли лишь те, кто их обрабатывал... Может быть, в дни, когда во главе коалиционнаго правительства стоял Керенский, действительность и стала только до известной степени приближаться к тому, что говорит Керенский-мемуарист. Его товарищ по партии, активный деятель Совета Крестьянских Депутатов Быховский утверждал в заседании 7 июля: «не пройдет одной недели, как станут законом все постановлены Всероссийскаго Совета Крестьянских Депутатов».

В дни существования Временнаго Правительства перваго состава подобныя утверждения можно было встретить лишь в правых кругах земельных собственников, обвинявших Правительство в том, что оно стоит «на вытяжку» перед комитетом.

IV. Советская позиция

Мы видели, как в жизни создавалось «двоевластие». Можно ли это бытовое явление принимать за идеологический фермент для создания «советской власти?» Очень относительно, ибо анархия на местах, приводившая даже к созданию каких-то автономных городских и уездных «республик» (термин отчета Врем. Комитета), свидетельствовала больше о хаосе, который должен был понемногу исчезать по мере того, как утрясалась взбаломученная переворотом народная психология. В сущности он и исчезал. Керенский с полным правом мог говорить, что максимум безвластия дало правительство перваго состава – правительство «цензовой общественности». Налаживался разрушенный переворотом административный аппарат, начинало нормально функционировать демократическое общественное самоуправление. И неизбежно процесс превращения «контролирующих» советов в органы «управляющие» должен был ослабеть. Неоспоримо, авторитет Советов, принимавших столь активное участие в разрешении экономических конфликтов (местами они выполняли роль не существовавших профессиональных союзов) и в борьбе с продовольственной разрухой, значительно вырос в глазах населения. И все же этот авторитет в большей степени был авторитетом не правительственным, а революционным, когда советская резолюция в центре принималась на местах, как директива для «фактическаго осуществления» – не случайно, например, совет в м. Б. Токмак Таврической губ. 2 апреля запросил столичный центр (в данном случае Москву): «вводится ли 8-часовой рабочий день *революционным* путем, прибегая даже к забастовкам?»

Всякая гипербола в истории стоит на грани фантастики. Безконечно преувеличено мемуарное восприятие Суханова, утверждающаго про Петербург, что советский «аппарат управления» стал непроизвольно, автоматически, против воли Совета вытеснять официальную государственную машину, работавшую все более и более холостым ходом «...приходилось брать на себя отдельныя функции «управления», создавая и поддерживая в то же время фикцию, что это «управляет» Мариинский дворец». Для характеристики «мартовских будней» ограничимся лишь приведением оговорки, сделанной самим мемуаристом: «пока дело далеко еще не дошло до таких пределов, пока от государственных «ограниченных» дел можно было еще категорически отказываться». Так было в столичном центре, где бился пульс революции. Знаменательно, что

сам Ленин в период творения своих апрельских «тезисов» приходил к выводу, что именно опыт на местах должен явиться «образцом» «для подталкивания центра». Материалы, собранные Юговым («Советы в первый период революций») дают целый асортимент иллюстраций к этому '"опыту на местах». Если отбросить все вышесделанныя пояснения и оговорки, можно, пожалуй, придти к выводу, что «двоевластие» так или иначе проходило «сверху до низу» (итог Троцкаго в истории февральской революции), но нельзя заключить, что в апреле эпоха «фактическаго двоевластия» стала сменяться эпохой «фактической полноты власти» советов (Суханов). Тот же метавшийся в поисках себе политическаго «пристанища» в первые дни революции между меньшевиками и большевиками «около партийный» Суханов утверждает, что лозунг «вся власть советам» в глазах большевиков «совершенно не имел того смысла, какой в него вкладывал Ленин», т. е., значения «государственно-правовой системы» – замены «парламентской республики», «республикой Советов»: это было «просто очередным политическим требованием организации правительства на подотчетных Совету элементах».

На первых порах при общей неясности конструкции временной революционной власти в представлениях и в центре и на местах получалась довольно большая путаница. Если с фронта со стороны командnаго состава запрашивали разъяснения центра о взаимоотношении Правительства с Временным Комитетом, то со стороны солдатских масс спрашивали такого же разъяснения в отношении к советам. «Большое недоумение – говорил в заседании Исполнительнаго Комитета 14 марта представитель совета из Пскова – вызывает неясность, кто составляет правительство – Временное Правительство иди Совет Р. С. Д., или оба вместе». «Солдаты не знают кого слушать» – заявлял в заседании 15-го представитель одной «маршевой роты»...

Любопытно, как на Совещании Советов один из делегатов 12-й армии Скачков, соц.-демократ из числа противников большевиков, явно принадлежавший к среде интеллигентной, сторонник создания коалиционнаго правительства и всемерной поддержки центральнаго революционнаго правительства во имя интересов войны, весьма своеобразно разъяснял форму государственнаго управления, которая была создана революцией. По его мнению и тех, очевидно, кого он представлял, революция создала «неписанную конституцию» с однопалатной системой и исполнительным органом ея – министерством: «палата депутатов – это вот собрание всех Советов Р. и С. Д., это есть единственная наша палата, которую выбрала революция. Единственное отношение со стороны этой

палаты к Временному Правительству может быть такое, что Временное Правительство является ответственным министерством этой палаты депутатов. Вот таким образом у нас, на местах, в армии, в большинстве случаев и считали, что правительство выражает волю Совета Депутатов, но здесь доклад Стеклова внес в наши умы огромную смуту: мы видим, что тов. Стеклов доказывает, что правительство вовсе не выражает воли Совета Депутатов, не исполняет ее, хочет устранить ее.

И вот теперь мы уже поставлены в совершенно безвыходное положение. Когда мы вернемся назад, вам, в окопах, придется разбираться в каждом постановлении правительства, положена лн на него марка Совета Депутатов или не положена, с его разрешения или не с его разрешения. Вы понимаете, в такой обстановке разрешить этот вопрос является совершенно невозможным, и мне кажется, что единственно, что мы можем предложить Совету Р. Д. это приложить все усилия к тому, чтобы воля Временнаго Правительства не расходилась с волею Совета Депутатов... Нам не важно, из каких слоев выбрано само правительство, не важно, кто его лица. Нам важно то, что оно должно выражать волю революционнаго движения, а если оно не будет выражать, то оно не должно существовать».

Выступление Скачкова стояло в прямой связи с обсуждением одного из центральных вопросов Совещания – об отношении революционной демократии к правительству. Официальным докладчиком от Исполнительнаго Комитета выступил Стеклов, который должен был обосновать предлагаемую Совещанием не слишком определенную резолюцию о политической целесообразности поддержки Временнаго Правительства, «представляющаго интересы либеральной и демократической буржуазии» – «постолько, посколько оно, в согласии с Советом, будет неуклонно идти в направлении к упрочению завоеваний революции и борьбы с «контр-революционными силами». «Очень странный доклад» (это признает и Суханов), сделал этот достаточно безпринципный в житейских отношениях демагог, тогда еще не числившийся в рядах крайних, но стоявший в своем революционном радикализме почти всегда на грани поддержки большевизма. Доклад был интересен по фактам, пожалуй даже объективен в той своей исторической части, которую приходилось уже выше цитировать – в «наивном и откровенном признании» (по выражению Милюкова), почему Демократия не захватила власти в первые дни революции. В последующем, отвергая измышления «черносотенной и либеральной буржуазии», которая, стремясь посеять раздор, инспирует, и клевещет («сплетничает») о

двоевластии (формально его нет, а если оно и существует, то как выражение стремлений двух политических сил), Стеклов выступил с обвинительным актом против таившихся в недрах правительства контр-революционных потенций... Докладчик «улавливал нежелательные оттенки» в некоторых министерских речах, намекая на таинственный «организующий центр», отказываясь «пока» его назвать и видел, наконец, угрозу революции в «ложной гуманности» буржуазнаго правительства: это правительство не издало, например, «декрета, объявляющаго вне закона всех генералов – врагов русскаго народа, которые дерзнут поднять (все в будущем времени) святотатственную руку на русский народ и завоевания его революции». Это правительство, «без ведома и согласия Совета», оставляло на свободе (правда, временно) «под личным наблюдением министра юстиции» стараго генерала Иванова[512]... Недоволен был Стеклов и отношением к династии, введшей в России «крепостное право» и пр. и пр.

Одним словом, официальный доклад от имени Исп. Комитета представлял собой, как выразился с.-р. Гендельман, оговорившийся тут же, что он «отнюдь» не собирается «защищать правительство», «не деловой» анализ, а «какой-то фельетон», которым Стеклов «увеселял» собравшихся. Было немного «забавно», но и «скучно» слушать стекловския ламентации и «разоблачения происков и козней контр-революции – спереди, сзади, с боков, с высоты» и его соратнику по выработке соглашения 2 марта, Суханову. Хотя увеселяющия места доклада Стеклова и срывали аплодисменты (иногда далее бурные, как отмечает стенографический отчет – аплодисменты срывали и те, кто осмеивал увеселительный тон демагога и порицал Исполнительный Комитет, который выпустил такого страннаго докладчика), они привели в смущение лидеров Исполнительнаго Комитета, предварительно заслушавшаго тезисы доклада «весьма наскоро». В самом деле вместо того, чтобы защищать предлагаемую резолюцию, Стеклов, с азартом опровергая ее, неожиданно заключил: «надеюсь, примете резолюцию, которую я имею честь предложить вам от имени Исполнительнаго Комитета», а у слушателей по словам Гендельмана, создавалось определенное впечатление: «Временное Правительство нужно арестовать и посадить туда, где сидят Протопопов и Щегловитов». В зале воцарилось «полное недоумение». Явилась мысль выставить содокладчика. Наметилась кандидатура Суханова – очевидно, считался желательным оратор из числа тех, кто вел переговоры 2 марта, и побаивались неожиданностей, к которым был склонен «роковой человек», третий ночной партнер Соколов... Из этого ничего не вышло, ибо тезисы

будущаго меньшевика-интернационалиста без комическаго элемента, одобренные «в общем» предварительно лидером большевицкой фракции Каменевым, были забракованы идеологическим вдохновителем позиции Исполнительнаго Комитета, каким сделался вернувшийся из ссылки бывший депутат Думы Церетелли. Его позицию Суханов охарактеризовал словами, будто бы ему сказанными Церетелли по поводу проектировавшагося содоклада: «вы, конечно, должны говорить о необходимости соглашения с буржуазией. Другой позиции и другого пути для революции быть не может. Ведь вся сила у нас. Правительство уйдет по мановению нашей руки. Но тогда погибель для революции».

Спасать положение и выправлять линию взялся сам Церетелли, выступавший, однако, в середине прений и после выявления позиции «крайне левых», т. е., фракции большевиков. Официальным представителем последних был Каменев, выражавший центральную, до некоторой степени компромиссную позицию в своей партии. Тактически она не совпадала с «апрельскими тезисами» вскоре прибывшаго в «запломбированном вагоне» Ленина[513]. «Никакой поддержки Временному Правительству», – открыто провозгласил Ленин. Прямолинейность вождя у Каменева была завуалирована. «Мы не хотим сейчас свержения этого Временнаго Правительства» – заявлял Каменев, но, «если не берем инициативы какой либо революционной борьбы», то «есть другой фактор, который определяет положение». «Мы дышим атмосферой контр-революции», организуемой «за спиной» правительства и начавшей свои атаки против демократии (правительство попустительствует этим контр-революционным попыткам). Совет является «зачатком революционной власти самого народа», и резолюция Совещания должна говорить не о поддержке Временнаго Правительства, а в предвидении неизбежных столкновений призывать представителей всей демократии сплотиться вокруг организующагося центра революции, которому *неизбежно* выпадет на долю взять на себя отражение царизма и «буржуазной контр-революции».

«Истерическая» (по характеристике одного из ораторов) в политическом отношении резолюция большевиков вызвала в собрании недоумение: чего хочет течение, представленное в Совещании Каменевым и подменившее вопрос об отношении к Временному Правительству вопросом об отношении к Совету? «Не поддерживать – значит свалить, а этого Каменев не хочет». (Провинциальный большевик из Екатеринбурга Сосновский выразился еще определеннее: «может ли сейчас идти вопрос о том, чтобы свергнуть настоящее правительство? Я полагаю, двух мнений

здесь нет и не было – об этом никто не поднимает речи и не поднимет»). Если бы резолюция, предложенная Каменевым, голосовалась, очевидно, она собрала бы еще меньше голосов, нежели баллотировавшаяся перед тем резолюция о войне: за резолюцию большевиков высказалось тогда 57 членов собрания, против 325 за резолюцию Исполнительнаго Комитета при 20 воздержавшихся (с.-д. интернационалистов). Вместе с большевиками голосовали и будущие «левые соц. революционеры», которых Шляпников исчисляет цифрой 20[514].

Развернувшияся прения дали широкий спектор разногласий. На них имеет смысл остановиться, так как из стенографическаго отчета выносишь несколько иное впечатление, чем то, которое получаешь при ознакомлении с картиной, набросанной мемуаристами. Всероссийское Совещание – это «финал демократическаго фронта» по мнению Суханова; в действительности же значительная часть представителей провинциальных советов и армейских частей горячо отстаивала «демократический фронт». Во имя единства была выдвинута идея коалиционной власти. В центре ее отстаивал один только представитель «трудовой группы» Брамсон. Отмечая значение «организующих центров в лице Советов» (без них «Бог весть, в какой, может быть, анархии была бы наша страна»), Брамсон призывал «главных деятелей социалистических партий», сойти с «пути критики» и найти «достаточно мужества» принять и на себя «ответственность» в переходное время в управлении страной, «не затуманивать» создавшагося положения страхом перед мнимыми «мрачными тенями контр-революции», а предложить «реальный план активных определенных действий»... для того, чтобы вывести страну на «новый путь радостнаго, светлаго и спокойнаго существования».

«Зоркий, бдительный страж народной революционной воли» в среде «противодействующих сил» будет лучшим средством разрушить «гнездо контр-революции», если таковое имеется. Другими словами Брамсон предлагал расширить базу демократическаго представительства, имея в виду привлечение в его состав социалистических деятелей, помимо Керенскаго.

Идея расширения состава правительства встретила большое сочувствие в собрании – о нем говорило немало представителей с мест, но по разному мотивируя такую необходимость. Делегат Венцковский (кого он представлял не указано), как будто, правильно определил происхождение «двоевластия». «Ясно было заранее», что каждая сила, участвовавшая в перевороте, будет по своему толковать его последствия. «Двоевластие» произошло от того, что в правительство вошли лица, в

сущности не желавшия революции. Надо, чтобы в правительстве был не один только «заложник демократии». Когда создастся коалиционное правительство, которое будет выражать и волю пролетариата, и волю революционнаго крестьянства, и волю революционной армии, и волю всей демократии, тогда его представители «менее всего» будут «нуждаться в соглядатайстве». Трудовик Адамов-Френкель, говоривший от имени Псковскаго совета, сделавшагося центром всего Севернаго фронта, указывая на опасность конфликта, когда действующая армия будет поставлена в положение частью идти за Врем. Правительством, а частью за Советами, призывал оказать на Врем. Правительство и на Петроградский Совет давление, пока «не поздно», в целях достигнуть вхождения в правительство представителей «влиятельнейших социалистических партий». Титов (с.-р. из Уфы) был уверен, что резолюция, предложенная от имени Исполнит. Комитета, не будет принята, ибо «докладчик сделал слишком много для того, чтобы большинство нашего собрания высказалось против этой резолюции». По мнению уфимскаго делегата, большинство будет удовлетворено резолюцией о вхождении в минуту исключительной важности и ответственности вождей Исп. Комитета в состав Врем. Правительства, при чем им гарантирована «безусловная поддержка», «безусловное повиновение». «Это предложение – говорил делегат – является мнением, думаю, большинства солдат». Оно не встретит противодействия со стороны Правительства, заявившаго в лице Керенскаго, что Правительство «ничего не имеет против того, чтобы в любой момент представители Исп. Комитета вошли в его состав (такого заявления Керенский, передавая Совещанию от имени Правительства «низкий поклон всей демократии: рабочим, солдатам и крестьянам» – не делал). Исполнительный Комитет «держится той точки зрения, что лишь тогда он может принять власть в свои руки, когда Временное Правительство окончательно дискредитирует себя в глазах всей России, т. е., пока гром, не грянет, мужик не перекрестится... Но мы не должны допустить, чтобы над нашей родиной, разразился громовой удар». Представитель екатеринославскаго гарнизона Каменский огласил резолюцию, вынесенную 55 тысячами солдат гарнизона: «Совет С. Д., в полном согласии с деятельностью общественных, рабочих и крестьянских организаций, поддерживает Временное Правительство вооруженной силой, укрепляет все занятыя им до настоящаго времени позиции, а также все его начинания на благо родины, крестьян и рабочих». «Я удивляюсь – говорил делегат, – когда говорят о сдвиге Временнаго Правительства вправо так, как в речи

вчерашняго докладчика. Я прямого указания на этот сдвиг не видел»... Екатеринославские солдаты заявляли, что «пока война, будем поддерживать это Временное Правительство», «не скрывая желания усилить состав этого правительства за счет левых элементов». Другой представитель екатеринославскаго гарнизона «вполне присоединился» к мнению Брамсона. Представитель бердичевскаго гарнизона с.-р. Усов, разсматривавший вопрос о правительстве «не только с точки зрения революции и ея достижений, но и с точки зрения обороны страны», говорил о вреде двоевластия и необходимости авторитетнаго правительства, которое обезпечило бы «защиту страны, иначе через 2–3 месяца страх сметет достижения революции»; «опасность революции не в Почаевской лавре, а в разгроме». Министерство, сформированное «почти целиком из представителей крупной и либеральной буржуазии», не может пользоваться «доверием всей страны». Представитель 10-й армии Котляров, не касаясь коалиции, сказал, что он уполномочен заявить, что армия «искренне верит» первому Правительству свободной России и будет всеми имеющимися в распоряжении армии средствами поддерживать Правительство во всех его начинаниях в деле укрепления добытой «великой свободы и проведения демократических реформ» – будет поддерживать «до тех пор, пока оно будет итти в интересах русской демократии и, если оно отступит на шаг, тогда мы от присяги откажемся и станем на сторопу Совета. Р. С. Д. и будем признавать его правительство». Раздался на совещании и голос солдата действующей армии, внушительно прозвучавший о полном доверии существовавшему правительству без каких-либо оговорок: «Особая, почти миллионная армия велела мне передать – заявил делегат Новицкий, – что она верит Временному Правительству, ибо это Временное Правительство создалось самой этой революцией, нам дала этих людей революция; это –лучшие сыны родины». Новицкий сделал свое оглашение в связи с обсуждением резолюции о войне и не выступил при обсуждении вопроса об отношении к правительству. Не выступил по общему вопросу и .с.-р. Жидков, представитель ташкентскаго совета, но мы имеем «наказ», который был дан 22 марта делегатам, посылаемым на Совещание. Советский исследователь, его приводящей (Югов), считает постановление ташкентскаго совета, выразительное в своих «кадетских формулировках», даже типичным для того времени. Ташкентские советы Сол. и Раб. Депутатов призывали всех, к «организованной спокойной работе совместно с Временным Правительством», объявляли о своей «полной поддержке Временнаго Правительства во всех его мероприятиях,

направленных к осуществлению объявленной им программы»: «всякая попытка свержения его или препятствия ему в его работах встретит наше крайнее сопротивление». Относительно «военно-рабочих организаций» в наказе говорилось: «это– учреждения совещательныя и контролирующая, главная задача пока: поддержка Временнаго Правительства в объявленной им платформе и *крайнее* сопротивление к захвату власти у Временнаго Правительства, как справа, так и слева».

Ряд ораторов выступал против коалиции, также по разному мотивируя свое отрицательное отношение к вхождению социалистов в правительство. Вот видный московский с.-р. Гендельман, видевший лишь «количественную» разницу между предложением коалиционистов и большевиков. «Опасность контр-революции – утверждал московский делегат – в том будет, если мы возьмем на себя те задачи, с которыми мы не справимся». Соц.-революционеры считают вопреки представлениям большевиков, что происходящая революция не может быть доведены до «революции социальной» и следовательно придется «работать в рамках буржуазных классов». При таких условиях нельзя давать советскаго «авторитета» тем мерам, который носят «буржуазный характер» и тем укрепляют позицию Временнаго Правительства. Председатель московскаго Совета меньшевик Хинчук также говорил о ненужности «коалиционнаго министерства», «согласительных мнений» и «совместных работ»: дело в силе революционной демократии; чем сильнее будет организованное давление, тем скорее Временное Правительство будет осуществлять предъявляемыя ему требования. По иному ставил вопрос читинский с.-р. Пумпянский: «Принять сейчас коалиционное министерство – это значит понизить гребень революционной волны... Это значит провести Учредительное Собрание не в атмосфере революционной... какая чрезвычайно важна для демократии». «Ложью» называл Пумпянский вопрос о двоевластии, поднятый буржуазной печатью: «Где пример, чтобы Совет Рабочих издал какой-нибудь положительный приказ?» «Быть может, Совет Р. Д. допустил некоторую маленькую безтактность – это возможно, но это не принцип, а техника дела». Некий Теплов (представительство не указано) был против «ширмы», которой явится коалиционное правительство. Он и против доверия правительству, составленному из политиков «высокаго уровня», которые пошли «на такой политический шаг» во избежание «с самаго начала разрыва, с революционной демократией»: «они согласились на все, но это не значит навсегда». Революционная демократия должна установить «строгий контроль» над деятельностью Правительства и

заявить, что поддержит те шаги, которые будут делаться в направлении закрепления революционных завоеваний, ибо «мы не верим в то, что Гучков и Шульгин, если они поехали в начале переворота для переговоров с Романовыми, то это не значит еще, что они не поедут к отпрыскам Романовых и вообще к той буржуазии, которая безусловно заинтересована в возстановлении, если не абсолютной царской монархии, то во всяком случае конституционнаго строя».

Оригинальную аргументацию против коалиции, во имя «политическаго реализма» развил одесский делегат меньшевик Сухов. Это была единственная серьезная речь против коалиции – достаточно догматическая, но без тех трафаретных и шаблонных «словесных заклинаний». которых было слишком много в ораторских выступлениях квалифицированных представителей «революционной демократии». Для него вхождение социалистов во Временное Правительство было таким же «политическим максимализмом», как и желание «передать» Советам Р. и С. Д. всю власть. «Политический авантюризм», он считал «смертным грехом» перед русской революцией. Сухов отмечал, что революция «первая ступень», только «начало пробуждения общественнаго сознания» и «поэтому при поверхностном взгляде на вещи кажется, что есть только одна сила на сцене–пролетариат, да рядом с ним армия», которая до сих пор ощущает «неясное, неопределенное стремление к светлому будущему, но никак не больше...» «Сейчас многия силы еще не мобилизованы... но оне проснутся, и тогда соотношение сил может измениться не в нашу пользу... Если мы увлечемся нашей властью сейчас, нашим могуществом, то... от Временнаго Правительства мы можем, быть может, требовать любой закон, надавив на него, как следует... Но... изменится обстановка, и то, чего мы добились, пойдет обратно. Это будет дезорганизацией масс, люди потеряют веру в дело, а те классы, жизненные интересы которых мы нарушили, не учитывая правильно историческую обстановку, они пойдут против нас, и в этом... может крыться зерно контр-революции. Надо обладать большим политическим тактом, можно оказывать давление, но надо точно соображать, действительно ли мы стремимся к тому, что достижимо не только в условиях временно создавшихся, но и в условиях, которыя будут немедленно, в послереволюционное время», «надо помнить, что мы не вся Россия» – «мы только социалистический – да и не всегда социалистический авангард революционной демократии»... «Если мы – демократия, если действительно хотим делать общенародное дело, то узурпировать власть, таким образом, как есть искушение это сделать, мы не имеем права». Вхождение социалистов в министерство, оратор считал

огромной ошибкой. Они должны были бы своими социалистическими руками делать несоциалистическое буржуазное дело, и это было бы «гибелью доверия демократии и социалистических партий к своим вождям. К ним предъявляли бы требования невыполнимыя»... «Посмотрите на положение Керенскаго... разве он не горит все время, разве ему заодно со всеми не выражается недоверие? Один человек пошел туда и ему плохо приходится там, плохо под нашим давлением». «Буржуазное дело» должны выполнять «люди из буржуазии» и насколько Совет будет «осуществлять жизненныя требования демократии», он получит поддержку страны и «давление» на правительство будет действительным. Не надо только «афишировать этого давления, не надо опьяняться властью, позволять себе таких сцен, как вчера: слыша вчера вызов Врем. Правит., я почувствовал: вот люди, опьяненные властью, которые, неожиданно получив в руки власть, начинают пускаться на эксцессы»[515].

На собрании была высказана несколькими представителями с мест точка зрения, принципиально, может быть, и далекая от коалиционной идеи сотрудничества и отстаивавшая скорее создание однородной демократической власти, но фактически проводившая коалиционный принцип, посколько он считался необходимым в создавшейся конъюнктуре «активнаго сочувствия» и «содействия» со стороны «либеральной буржуазии». Так, делегат одного из провинциальных советов Попов говорил о необходимости существования «сильной и свободной от всякаго влияния» (власти) правительства, Временное Правительство это «душа новой России», это ея глаза, это – центр, около котораго должна группироваться вся русская демократия», а чтобы это было так, туда должна войти «настоящая демократия», а не те, которые «покраснели за 30 дней». « Двоевластие призрачно – утверждает Зверев. Дело не в контроле над правительством; само правительство должно быть «единым полновластным органом», исполняющим волю революционной демократии. К числу сторонников такой сильной власти принадлежал, конечно, и упомянутый выше Скачков, который обосновал концепцию о «неписанной конституции», созданной революцией.

В этой гамме многообразных мнений Церетелли стремился не всегда удачно вывести «среднюю» линию. Советский лидер исходил из положения, что жизнь еще не изменила того исходнаго пункта, который заставил в дни переворота Совет пойти на соглашение с «буржуазией» и признать Временное Правительство «носителем власти революционной России́». При существующем соотношении сил, Совет по мнению Церетелли мог бы теперь «даже захватить власть», но «разум революции»

заставлял исходить из соображения о том, что «можно удержать и закрепить, а не на мгновение только завладеть». Он не делал ответственным Правительство за ту кампанию против Совета, которая диктовалась «узкой своекорыстной политикой некоторых кругов буржуазии»[516].

Акты Правительства свидетельствуют, что оно идет на встречу общедемократическим стремлениям. и говорить о том, что «в настоящий момент уже назрела та пора, когда мы должны Временное Правительство разсматривать, как кучку, выражающую своекорыстные интересы отдельной части буржуазии»... значит не видеть того, что совершается. Правительство творит «общенародное дело» и «как у пролетариата оказалось достаточно сознания для того, чтобы ценить единение общенародных сил», так же есть это сознание до настоящаго времени в тех «кругах буржуазии. которые представлены Временным Правительством и которые играют доминирующую роль». «Я не утверждаю – заканчивал Церетелли, вступая на рискованный путь предположений, – что это положение сохранится. Быть может, тем кругам буржуазии, которые толкают Временное Правительство на безответственные шаги, на гражданскую войну... удастся достигнуть своего; быть может, общественное мнение, на которое опирается Временное Правительство, изменится, сдвинет их нынешнюю политику на иныя рельсы, вот... тогда и настанет момент, когда Советы Р. и С. Д. вступят в конфликт с Временным Правительством – тогда за нашей спиной будет весь народ, и Временному Правительству останется уйти, и будет создан новый орган общенародной власти».

Будущий «благородный рыцарь» (слова Потресова) коалиции не обмолвился о ней ни словом и не отозвался на призывы, шедшие из собрания. Он обосноваовал лишь правильность позиции, запятой Исполнительным Комитетом, логичность которой была дискредитирована выпадами против Временнаго Правительства официальным докладчиком. «Стеклов и Каменев, Каменев и Стеклов – констатировал представитель 12-й армии Кучин – по существу постановки ими вопроса о взаимоотношениях Совета Р. и С. Д. и Временнаго Правительства, представляют из себя одну совершенно определенную, ничем друг от друга не отличающуюся политическую линию» Кучин настаивал на том, чтобы резолюция Совещания дала бы «ясный и определенный ответ» на вопрос о взаимоотношении между Временным Правительством и Советом: надлежит признать с одной стороны, что Временное Правительство «является законной, признанной властью..., которой мы сами поручили

власть»; с другой, что «Совет Р. и С. Д. или иной орган, который в дальнейшем будет представлять революционную демократию», активно «будет поддерживать Временное Правительство, как законный орган, осуществляющий программу в духе требований демократии».

Начались закулисные переговоры лидеров фракций. В гущу их мы проникнуто не можем. «Средняя» линия во имя призрачнаго уже единства революционнаго фронта стремилась нивеллировать разногласия и под одно знамя поставить несоединимое[517].

В результате получился компромисс, не отвечавший действительному взаимоотношению сил и вовсе не соответствовавший настроению большинства собрания. То, что в первоначальном тексте резолюции заключалось «в скрытом виде», как выразился докладчик, тем же Стекловым, в заключительном слове, в новой формулировке было уже отчетливо развернуто. Такой компромисс удовлетворил большевиков, ибо даже внешняя словесная формулировка пункта о «контроле» и «сплочении» вокруг советов целиком была заимствована из большевицкой резолюции – они сняли отдельную резолюцию и заявили, что будут голосовать за положения Исполнительнаго Комитета. Совещание признавало, что программа Временнаго Правительства «содержит основныя политическия требования русской демократии», и что «до сих пор Временное Правительство в общем и целом (отвратительное выражение революционнаго жаргона) идет по пути выполнения принятых на себя обязательств». Совещание признавало необходимость постояннаго политическаго контроля и воздействия демократии («умалчивая о формах этого воздействия) и призывало демократию, «не принимая на себя ответственность за всю деятельность правительства в целом, оказывать поддержку Временному Правительству, поскольку оно будет неуклонно игти в направлении к упрочению и расширенно завоеваний революции и поскольку свою внешнюю политику оно строит на почве отказа от захватных стремлений». Совещание призывало «всю революционную демократию России сплотиться вокруг Советов, как созданных революцией центров организации сил демократии, способных в союзе с другими прогрессивными силами отразить попытки царистской и буржуазной контр-революции и упрочить и расширить завоевания революции». Вместе с тем революционная демократия должна была «быть готовой дать решительный отпор всякой попытке Правительства уйти из под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых им на себя обязательств».

По предложению фракций соц.-рев. было прибавлено, что воздействие

революционной демократии должно распространяться и на правительственные органы на местах (это взято также из текста большевиков). Не внесли своей отдельной резолюции и меньшевики, считая, что после соглашения Исполнительнаго Комитета с революционными социалистическими партиями в новой формулировке резолюции находится «ясный и притом положительный ответ» на «один из кардинальных вопросов теперешняго момента». «Мы считаем необходимым, – говорил Дан от имени «меньшевицкой части» рос. соц.-дем. партии – чтобы в резолюции было сказано, что для дела революции в нынешней ея стадии этот состав правительства играет положительную роль, – свергать его не надо, а надо признать, как существующий факт». Не совсем то было сказано в компромиссной редакции, а главное устранено было находившееся в проекте резолюции, принятом на совещании меньшевицких делегатов, положение, что правительство, созданное революцией, приняло на себя государственную власть *до созыва Учред. Собрания* , т. е. то единственное, что придавало правительству, которое многих не удовлетворяло, известную устойчивость. И другое пожелание меньшевиков, формулированное Даном, не нашло себе яснаго отражения в резолюции (не отчетливо оно было выражено и в меньшевицком проекте). «Мы хотели иметь – говорил Дан – ясный ответ... о так называемом и частию злостно называемом двоевластии... Всякий не может не понимать, что в хаосе колоссальнаго революционнаго переворота, были исключительные моменты и, может быть, еще будут, когда вся компетенция, вся власть смешивается, когда надо непосредственно творить переворот, революционное дело. Мы хотим, чтобы было сказано ясно, что в обычном, нормальном течении своем – это клевета, будто Совет Р. и С. Д. хочет принять участие в осуществлении государственной власти. Мы хотим, чтобы было сказано ясно, что власть – это Временное Правительство, а революционная демократия в лице Совета... осуществляет свое влияние на ход политической жизни и деятельность правительства путем непрерывнаго организованнаго давления на него и контроля над ним»... Стоит отметить, что «рабочая группа» кооперативная съезда, собравшагося в Москве одновременно с Совещанием, специально постановила требовать от съезда опровержения «лживых слухов, распускаемых из темных источников в целях раздора, о стремлены советов к захвату власти».

Резолюция Исполнительнаго Комитета была принята единогласно (правда, не без некоторых протестов с мест) – так силен еще был гипноз единаго революционнаго фронта. Вопрос о коалиции не был поставлен,

хотя президиум и заявил при баллотировке резолюции, что он будет поставлен, как «особый вопрос» вслед за принятием резолюции. Очевидно, петербургские комбинаторы «единаго революционнаго фронта» боялись, что их непрочная храмина разсыплется, так как идея коалиционнаго правительства, как мы видим, могла встретить значительный отклик в собрании[518]: ведь почти несомненно, что при практической постановке вопроса логически должны были за положительное решение высказаться все те, кто был недоволен «цензовым» правительством, настаивая на сильной, независимой и авторитетной революционной власти и переходное время до Учредительнаго Собрания. Через месяц, с некоторым уже опозданием, вопреки всякой догматике «социалистов в футляре» жизнь разрешила положительно вопрос о коалиционной власти, но разрешила его в ненормальных условиях процесса правительственнаго кризиса.

V. Контактная комиссия

1. Орган революционнаго «давления»

Какой же вывод можно сделать о политических результатах, которые дал первый в сущности всероссийский съезд Советов, лишь по формальному основанию названный «совещанием»? Можно ли согласиться с итогом, подведенным автором первой по времени истории революции? «Революционная демократия – писал Милюков – за один месяц не успела почувствовать почву под ногами, и худой мир для нея был предпочтительнее доброй ссоры»... Познакомившийся с прениями на Совещании по вопросу о конструкции власти в нашем изложении, сознательно детализированном[519], едва ли присоединится к такому выводу. Можно ли без весьма основательных оговорок, утверждать, как то делали авторы социалистической «Хроники февральской революции», что Совещание, в всероссийском масштабе поставив вопрос о государственной власти и формально решив его в пользу Временнаго Правительства, «по существу *предопределило* исход февральской революции», указав на Советы, как на единственных носителей власти? Да, лидеры «революционной демократии» уравнивали, сами того не сознавая, путь грядущему Ленину, как выразился о последующем Плеханов, но это само по себе вовсе еще не определяло тогда неизбежный исход: совершенно очевидно, что без ухищренной «дипломатии» Церетелли и его единомышленников на Совещании не была бы принята «каучуковая», в основе противоречивая и двусмысленная резолюция – единогласие было лишь ничего не говорящим признанием формальнаго единства[520]. Также формально (и. быть может, единогласно) резолюция Совещания прошла и по местным организациям – иногда с таким опозданием, что декларирование анулированной уже в изменившемся ходе политических событий принципиальной позиции теряло реальный смысл.

По существу Совещание не сказало ничего новаго по сравнению с тем, что было – его резолюция, в конце концов, трафаретно повторяла положение, выдвигавшееся па рабочих митингах в первые дни революции: поддерживать правительство, пока оно «не изменит стремлениям народа», олицетворяемым Советом Р. Д. Эта резолюция не указывала форм, в которых должен осуществляться бдительный революционный «контроль» над правительством[521]; и, отрицая двоевластие, фактически санкционировала прежнюю анархию, когда давление общественнаго мнения переходило в форму, которая в нормальное время называлась бы административным эксцессом... Центральная организация, каковой в

бытовом порядке сделался петроградский Исполнительный Комитет, до некоторой степени пыталась регулировать эти эксцессы и указать провинции в ответ на запросы конкретную тактику и пределы общественнаго контроля. Шляпников приводит не опубликованную и не обсужденную «инструкцию» Исполнительнаго Комитета, но фактически разосланную в провинцию через иногородний отдел. «Инструкция» устанавливала, что Временное Правительство «должно считаться для всей России единственно законным правительством», распоряжения котораго, «если они не опротестованы Петроградским Исп. Комитетом, должны исполняться». Поставленные правительством «органы власти – посланные им комиссары, должны быть признаны законными властями, если они по своим личным качествам или политическому прошлому не кажутся опасными или вредными для дела свободы». Совет по отношению к Правительству является лишь «органом революционнаго контроля». «Этот контроль осуществляется так, что в случае, если Совет находит действия местных комиссаров опасными для дела революции, он телеграфирует об этом Правительству и Петроградскому Исполнительному Комитету». В отношений рабочих и фабрикантов, следует «всячески избегать неорганизованной экономической борьбы и частных выступлений». Если «соглашение» не достигнуто, следует «доводить об этом до сведения Петроградскаго Совета». При возникновении недоразумений в деревне следует разъяснить крестьянам, что «всякое самоуправство» является недопустимым и вредит делу революции и т. д. Провинциальные советы – говорится в заключение – «должны по возможности согласовать свою деятельность с другими общественными организациями на местах... и с правительственными; учреждениями... Во всех вопросах, касающихся общегородских дел, как продовольствие, милиция, общественная безопасность, борьба с представителями старой власти, выборы во временное самоуправление и т. д. провинциальные советы должны действовать с другими организациями и комиссарами, а *никоим образом не брать на себя одних правительственных функций* ".

Политическая педагогика не очень шла к лицу Исполнительнаго Комитета, ибо самим центром постоянно нарушались основы той тактики, которую рекомендовала «инструкция» провинциальным организациям. Например, в заседании 19 марта утверждена была инструкция военным комиссарам, которых решено было назначить « *по соглашению* с Временным Правительством», при военном министре, при Ставке, при командующих отдельными фронтами и при флотах. Назначались комиссары «в целях установления прочной и постоянной связи между

войсками и их органами и Советами Р. и С. Д. для быстраго и планомернаго разрешения возникающих в области внутренней и политической жизни армии вопросов и незамедлительной передачи директив, равно, как и в целях предупреждения каких-либо ошибочных шагов со стороны руководящих ныне жизнью армии органов». Однако, в тот же день выяснилась необходимость «послать в Або завтра, в 12 ч. ночи, одного из членов с.-д. фракции Государственной Думы для урегулирования положения дел», и Исполнительный Комитет выносит постановление «послать в Гельсингфорс и Ревель военных комиссаров, которые были бы назначены по соглашению с офицерско-солдатской организацией». Отмеченный казус свидетельствует, что не всегда злая воля нарушала прерогативы Правительства. При негибкости правительственных органов самочинныя действия вызывались не терпящими отлагательства жизненными обстоятельствами, на которыя приходилось реагировать советским учреждениям – особенно на первых порах. Но еще в большей степени препятствовали успеху «педагогических уроков» Исполнительнаго Комитета в центре самочинныя действия отдельных его членов, с которыми центр во имя ложно понимаемаго демократизма боролся очень слабо. Суханов разсказывает, например, как с.-р. Александров на бланках Исполнительнаго Комитета давал разрешения запахивать помещичью землю...

«Организованное давление» или «бдительный контроль» в центре осуществлялся при посредстве особой «контактной комиссии», созванной еще постановлением Исполнительнаго Комитета 8 марта. Руководителей революционнаго центра не могло удовлетворить «непрерывное наблюдение за деятельностью Правительства вошедшаго в его состав, вопреки воле этих руководителей, «заложника демократа». Сам Керенский склонен был преувеличивать свою роль. На совещании Советов он говорил: «Я вас уверяю, что все, что можно было сделать, чтобы провести волю пославших меня там, я сделал и уверяю вас и ручаюсь, что я сделал это удачно, и что торжество демократических принципов обезпечено в России, и оно будет незыблемой основой всего будущаго строя...» Крайне преувеличивал, по крайней мере по газетному отчету «Русской Воли», и председатель Вольно-Экономическаго Общества Чайковский в приветствии 7 апреля посетившаго заседание министра: «Если до сих пор не произошло разрыва, если Временное Правительство не сложило своих полномочий, то потому, что в Правительстве Керенский, улаживавший конфликты». Такую миротворческую роль Керенскаго уследить довольно трудно.

Правительство с перваго момента своего существования не пыталось уклоняться от «воздействия» со стороны Совета. В некоторых случаях оно (или отдельные его министры) действовало слитком поспешно и даже предупреждая события. Распоряжение министра юстиции в соответствии с постановлением Исп. Комитета 4 марта о «временных судах, вводившее специальное представительство рабочих, без надобности дискредитировало тот мировой суд, который сам Керенский в дни пребывания в Москве назвал единственным из судов, остававшимся «верным заветам совести»... Нашумевшая телеграмма Керенскаго и Некрасова о демократизации железных дорог, вызвавшая удивление даже у Ломоносова, имела самыя роковыя последствия.

Как видно из перваго же протокола заседания Правительства 4 марта, тогда же было признано необходимым считаться с мнением Совета и было постановлено во избежание «двоевластия» знакомиться с этими мнениями в частном порядке до официальных заседаний. В первые дни «организованное давление» Совета и заключалось в посылке особых делегаций для переговоров с отдельными министрами по вопросам возбуждавшим прения – так 6-го была послана делегация к военному министру, который, как значится в протоколе Исполнительнаго Комитета, «всячески уклоняется от прямых сношений с Исполнительным Комитетом, и, повидимому, не склонен подчиняться решениям Совета». По словам Шляпникова, «под давлением снизу» (надо понимать представителей большевицкой партии) через три дня после «соглашения» 2 марта Исполнительный Комитет вынужден был снова обсудить вопрос о своем отношении к Временному Правительству. Обсуждение – утверждает коммунистический историк – «продолжалось 2 дня». Протоколы не отмечают этих споров. Только в протоколе 8 марта значится, что «после оживленнаго обмена мнений» было признано необходимым во имя исполнения решения Совета и намеченной им линии общей политики принять «неотложныя меры в целях осведомления Совета о намерениях и действиях Правительства, осведомления последняго о требованиях революционнаго народа, воздействия на Правительство для удовлетворения этих требований и непрерывнаго контроля над их осуществлением». Избрана была делегация в составе Скобелева, Стеклова, Суханова, Филипповскаго и Чхеидзе для соответствующих предварительных переговоров с Правительством. 11 марта Чхеидзе докладывал Исполнительному Комитету о результатах переговоров: «Наши представители указали Временному Правительству на то, что оно не выполняет данных обещаний об оповещении Исполнительнаго

Комитета о всех важных мероприятиях Правительства, Временное Правительство отрицает этот факт, считая, что оно всегда считается с Исполнительным Комитетом, но вина заключается в отсутствии такого эластичнаго органа, при помощи котораго можно было бы своевременно... извещать. Вообще не Временное Правительство игнорирует Исполнительный Комитет, а наоборот, Исполнительный Комитет часто действует не в контакте с Временным Правительством... Вопрос зашел о контроле деятельности Правительства и о том, как его следует понимать; представитель Исполнительнаго Комитета объяснил, что важно всегда быть и курсе всех мероприятий Правительства, Временное Правительство выразило на это полную готовность и высказалось за оформление такого органа Исполн. Ком, который *мог бы своевременно быть введен в члены Врем. Правительства* "[522].

Так возникла «Контактная Комиссия» в качестве постояннаго учреждения, долженствовавшаго служить «техническим орудием» для организованнаго давления революционной демократии на Временное Правительство. В состав ея вошли лица, избранныя 8-го – впоследствии к ним присоединился Церетелли, никаких официальных записей работ этой комиссии, собиравшейся помимо экстренных надобностей регулярно чуть ли не три раза в неделю, не имеется, и никто из участников Комиссии подробно ея интенсивной деятельности не охарактеризовал. Трудно при таких условиях получить отчетливое представление об истинном лике этого единственнаго в своем роде института. Милюков современник и непосредственный участник действия, в своей «Истории» в самых общих чертах говорит, что значительная часть пожеланий Контактной Комиссии удовлетворялась, о чем демонстративно и хвастливо заявлялось в Совете. Некоторыя «требования» встречали, однако, категорически отказ (например, требование об ассигновке 10 миллионов на нужды демократических организаций). На съезде (т. е. Совещании) И. Г. Церетелли признал, что в Контактной Комиссии «не было случая, чтобы в важных вопросах Временное Правительство не шло на соглашение». Придется, действительно, признать, что Временное Правительство проявляло в прямой ущерб делу слишком большую уступчивость. Во избежание повторения мы коснемся наиболее важных уступок и инцидентов, связанных с «требованиями» советских делегатов, в дальнейшем уже предметном изложении – это был вопрос о судьбе Царя и о ноте Правительства по внешней политике. Почти все остальное относилось к повседневной политике, без надобности заострявшейся большевизанствующими членами Контактной Комиссии.

Милюков говорит, что «'Контактная Комиссия действовала *вначале* очень сдержано и робко при встречах с Правительством». Из наблюдений управляющаго делами Правительства выносишь противоположное впечатление. Набоков отмечает, что главным действующим лицом среди советских представителей являлся выступающий с безграничным апломбом и с беззастенчивостью, отождествлявший себя с трудовыми массами. Ни говорливый Скобелев, ни сдержанный Чхеидзе такими качествами не отличались. Филипповский и Суханов, по словам Набокова, почти никогда не говорили. Немудрено, что при личных свойствах Стеклова, неутомимаго в поисках контр-революции и главной мишенью для нападок избравшаго военные верхи, совместныя заседания протекали даже по признанию Суханова в «тягостной и напряженной атмосфере». Сам мемуарист, как он утверждает, не был в состоянии заразиться ни «воодушевлением» своего соратника, ни его «полицейским умонастроением» и просто «умирал со скуки», выслушивая стекловские выпады[523].

Керенский – вспоминает Набоков – садился в сторонке и хранил молчание, только «злобно и презрительно» поглядывая. Он, по словам Набокова, совершенно не выносил Стеклова и с наибольшим раздражением реагировал после заседания на демагогическия выходки блюстителя интересов демократии, попрекая кн. Львова в излишней к нему деликатности. Позже – это было уже в апреле – Стеклову пришлось несколько «стушеваться» под влиянием разоблачений, появившихся в печати[524].

При таких условиях «контактныя» заседания не достигали своей цели и были почти «безплодными». Члены Комиссии не делали правильных отчетов в Исполнительн. Комитете и, как разсказывает Суханов, обычно обменивались даже между собою мнениями уже в автомобиле, который их вез на заседание. Поэтому так легко Стеклов и мог свои личныя суждения выдавать за постановления центра. (Набоков говорит, что подчас другие члены Комиссии тут же должны были его опровергать). Нельзя сказать, что Правительство игнорировало Совет.

Если вначале Правительство отряжало 2–3 своих членов для заслушивания жалоб и пожеланий, выражаемых от имени Совета, то потом обычно, по словам Суханова, присутствовал или полностью весь кабинет министров, или огромное большинство его членов. Фатально пожелания «революционной демократии» слишком часто сводились к нудным и мелочным претензиям стекловскаго пошиба. Не было бы удивительно, если бы в такой тягостной обстановке у членов Временнаго Правительства

могла появиться мысль об уходе. По утверждению Суханова, Керенский постоянно грозил тем, что «они уйдут». Мемуарист не верил этим «басням». Пожалуй, он был прав. Такой реальной угрозы в действительности не было. Оптимизм, даже излишний, не покидал революционное правительство перваго состава.

Формула: «они уйдут» имела в сущности то же педагогическое значение, что и выдвинутое Шульгиным после военной неудачи 20 марта на Сходе (она произвела сильное впечатление на общественное мнение) в целях пропаганды и заостренное его бойкий публицистическим пером положение о «двоевластии»: «пока будет двоевластие – писал он в «Киевлянине» – ждать толку нельзя. Совет Р. и С. Д. или должен сделать новый переворот и свергнуть Временное Правительство и стать на его место или же должен предоставить Правительству быть правительством». Неожиданно у Набокова можно найти указание на то, что заседания Контактной Комиссии были подчас живительным элексиром для членов кабинета. Он вспоминает, как члены Правительства на общих заседаниях, при обсуждении специальных вопросов, «полудремали» и оживлялись лишь в закрытых заседаниях Правительства и... в Контактной Комиссии, т. е., тогда, когда ставились острые политические вопросы.

Мемуаристы «леваго сектора» всегда усиленно подчеркивают давление, которое оказывали на Совет массы в области экономической. Контактная Комиссия была «орудием давления» на Правительство. Между тем в опубликованных материалах пока нельзя найти намека на то, что в «контактных» заседаниях поднимались насущные вопросы социально-экономическаго характера[525]. Поэтому надлежит сделать очень существенную оговорку в позднейшем 16 мая, в дни уже новаго коалиционнаго правительства, утверждении Экономическаго Отдела Исполнительнаго Комитета, что Временное Правительство «перваго состава уклонялось не только от... выполнения, и от... *постановки* тех народно-хозяйственных задач, которыя были формулированы делегатами Совещания провинциальных Советов». Беда Правительства, как было указано, заключалась в отсутствии у него программы и следовательно инициативы... Вся трудность положения лежала в разрешении дилеммы переходнаго времени, требовавшей не только «постановки», но в той или иной мере и «выполнения»... Пожелания (не в формулировке органов советской демократии) почти всегда находили отклик у Правительства – эту связанность между давлением со стороны и инициативой государственной власти проследить нетрудно: например, 3 апреля на Совещании Советов было принято скороспелое постановление о

«сверхприбыли», а 6-го уже сообщалось в газетах, что Правительство приняло по предложению министра торговли и промышленности об ограничении прибыли во время войны и поручило ему, совместно с министров финансов, разработать главный основания этого ограничения. Только ненормальными условиями, в которых протекали «контактныя» заседания, можно объяснить то, что экономическая мера типа внутренняго «займа свободы», опубликованная 27 марта, была принята без предварительнаго осведомления Исполнительнаго Комитета (на совещании членов Государственной Думы Терещенко сделал соответствующее сообщение) – здесь соглашение было в прямых интересах самого Правительства. (Воззвание о займе было опубликовано за подписью Временнаго Правительства и Временнаго Комитета Г. Д.). Нетрудно было предвидеть агитацию большевиков против «военных кредитов"– «займа неволи», как назвал Зиновьев «заем свободы», но, быть может, и протест тех «циммервальдцев», которые во имя обороны страны поддерживали Правительство. В апреле все эти трудности выпукло выдвинулись в жизни.

2. Конфликтные вопросы

Совещание Советов должно было несколько стабилизировать положение и придать «давлению» со стороны революционной демократии на Правительство более парламентский характер. С другой стороны, Правительство, освояя постепенно административный аппарат власти, разстроенный в дни революционных пертурбаций, почувствовало под собою некоторую базу. Ни то, ни другое не удовлетворяло «левых», пытавшихся на другой день после Совещания форсировать назревающий «момент разрыва». 5 апреля эти «левые» в Исполнительном Комитете требовали изменения «всей системы отношения к Правительству», ибо «политика Правительства ясно показала, что момент, когда мы его должны были поддерживать, проходит... Правительство, укрепляясь все более и более, нас игнорирует, наступает момент, когда нам придется отказать ему в поддержке». Судя по протоколу, застрельщиком выступал не столько Стеклов, бывший докладчиком, сколько Суханов, на котораго вся деятельность Контактной Комиссии производила «тягостное впечатление»: «функции делегации», по его мнению, свелись лишь к регистрации сделаннаго Правительством. Опубликованный протокол заседания Исп. Ком. нельзя признать очень вразумительным[526], но он дает все же возможность установить, какие вопросы считались тогда «конфликтными», т. е., вопросы, по которым Правительство не дало ответов, удовлетворивших Комиссию в целом[527].

Среди этих «конфликтных» вопросов первым стоял тот «10-миллионный фонд», который выдвинул в своем тексте Милюков, и который никакого, в сущности, принципиальнаго значения не имел, так как отказ в ассигновке официально мотивирован был «недостатком средств». Отказ волновал Исполнительный Комитет, и там сознавали, что это «простая отговорка» – не дали денег «как противникам». Так формулировал в заседании 5-го меньшевик Богданов – сторонник того, чтобы «добиваться 10-миллионнаго фонда», но высказавшийся, однако, против того, чтобы «на этом вопросе принимать бой». Требовать 10 миллионов от Правительства постановили еще 15 марта (и даже раньше – протокол 15 марта говорит: «подтвердить прежнее решение» и приступить к «немедленной выработке текста требования»). Упорство, проявленное Правительством, не совсем понятно, так как форму субсидии можно было приспособить к бытовым условиям времени и устранить внешнее узаконение «двоевластия», котораго стремились избежать. Между тем по

положению, которое заняли Советы в первое время, они безспорно выполняли и функции общегосударственнаго значения – например, в области продовольствия (в распоряжение советской продовольственной комиссии Главным Интендантством было передано несколько складов). Продолжавшееся бытовое двоевластие на местах вызывало не только требования от центра ассигновок из «государственных средств», но и угрозы воспользоваться средствами местнаго казначейства, в случае неоткрытая кредита в кратчайшее время, как то иркутский исполком телеграфировал 25 апреля Чхеидзе. Едва ли приходится сомневаться, что эти угрозы, в случае отказа, приводились в исполнение. Не будет преувеличением сказать, что в провинции советы повсюду пользовались правительственными ассигновками. Когда в начале октября в Правительстве был поднят вопрос о назначении ревизии общественных и демократических организаций (в том числе советов) в выданных им государственных ассигнованиях, «Известия» писали, что петроградский Совет – «никогда никаких сумм из казны не получал». И это представляется очень сомнительным, посколько речь идет о первом времени. Попытка проследить ручьи, по которым притекали косвенно или в полузамаскированном виде ассигновки из Государственнаго Казначейства, отвлекла бы изложение слишком уже в сторону[528]. Без риска отойти от действительности, можно утверждать, что Совет не мог бы выполнять своих многообразных функций, вплоть до сношений с внешним миром, если бы жил только на доброхотныя пожертвования, притекавшия в Совет, конечно, не в таких размерах, как во Временный Комитет: вместо миллионов здесь были десятки тысяч – на 13 марта их было примерно 123 тыс. по официальному докладу заведовавшаго советскими финансами Брамсона. Система советских доходов в виде самообложения рабочих, раскладки по ротам, отчислений от митингов и «общественных кинематографов» была разработана лишь в конце мая[529]. В итоге отказом в «10-миллионном фонде» – отказом, демонстративное значение котораго анулировалось официальной мотивировкой – Правительство лишалось возможности регулировать анархию на местах, что неизбежно было бы при официальной ассигновке, подлежащей общегосударственному контролю.

Вторым «конфликтным» вопросом явился вопрос о присяге в армии. Он имел уже свою длительную историю. Формула присяги была установлена Правительством 7 марта, Она гласила для лиц «христианскаго вероисповедания»: «Клянусь честью солдата и гражданина и обещаюсь перед Богом и своею совестью быть верным... Российскому Государству,

как своему отечеству... Обязуюсь повиноваться Временному Правительству... впредь до установления образа правления волей народа при посредстве Учредительнаго Собрания... В заключение данной мною клятвы, осеняю себя крестным знаменем и ниже подписываюсь...» Эта формула присяги и вызвала протест Исполнительнаго Комитета, обсуждавшийся в Совете 12 марта. «Крупным недочетом» опубликованнаго текста было признано, с одной стороны, умолчание о «защите революции» и «свободы», а с другой, нарушение «свободы вероисповедания»... Правительству было предложено переработать неприемлемую форму присяги, а до выработки ея к «присяге не приводить, а где это сделано, считать присягу недействительной». В собрании председателем было подчеркнуто, однако, что отклонение присяги не означает призыв к неповиновению Правительству – напротив, «необходимо согласованно действовать для упрочения новаго строя». 16-го в Исполнительном Комитете было доложено, что Правительство «признало ошибочным изданный приказ о присяге без ведома Исполнительнаго Комитета» и согласилось до Учредительнаго Собрания не приводить к присяге те части войск, которыя не присягали. Решение более, чем странное – ведь исправить текст присяги в духе, желательном для Совета, было бы вполне возможно. Если сообщение, сделанное в Исполнительном Комитете, соответствовало действительности, то вопрос по отношению к Правительству казался бы исчерпанным. И тем не менее он вновь выплыл в апреле в силу того, что «соглашение» было нарушено на фронте и в Петербурге – как говорилось в Исполнительном Комитете, командующим войсками ген. Корниловым. («Генерал старой закваски, который хочет закончить революцию» – так характеризовали Корнилова в более раннем мартовском заседании). На указание Контактной Комиссии о нарушении «Соглашения» Правительство ответило, как указывал Стеклов в докладе, что «оно об этом слышит в первый раз». Стеклов делал знаменательную оговорку, он допускал, что «к присяге приводятся полки *по их собственному желанию* ». В этой оговорке и лежит ключ к неожиданной уступчивости, проявленной Исполнительным Комитетом в лице Стеклова: «Мы указали – докладывал представитель Контактной Комиссии – на тяжелое положение революционных войск, не принявших присяги, и предложили, чтобы все были приведены к присяге *по старой формуле* , но чтобы Правительство выпустило специальное разъяснение в духе нашей поправки к тексту». «Определеннаго ответа – заключил докладчик – мы не получили». В невыгодном положении оказался Совет, и Богданов резюмировал 5-го прения указанием, что Совет «потерпел

поражение» и нужно «найти почетный выход». Мемуаристы субъективны, и Шляпников говорит, что конфликт на почве присяги принял для Правительства «скандальный характер'. Вывод историка, минуя оценку целесообразности разыгравшагося конфликта и поведения обеих сторон, пожалуй, должен будет присоединиться к замечанию в дневнике ген. Болдырева касательно отмены присяги: «новая охапка горящей пакли», брошенной в армию и приводившей на местах к столкновению присягавших с неприсягавшими.

Третьим «конфликтным» вопросом являлся «проезд группы эмигрантов через Германию», т. е., прославленный «пломбированный вагон», в котором прибыл в Россию Ленин, и связанный с ним проект обмена приехавших революционеров на группу немецких военнопленных. Правительство не считало себя связанным «обязательствами, данными без его ведома и согласия» и заявило, что «ни о каком обмене речи быть не может». Здесь позиция «интернационалистов» была довольно безнадежна[530], ибо в среде самого Исполнительнаго Комитета весьма многие отрицательно относились к той «несомненно недопустимой, по меньшей мере, политической ошибке», которую совершили «Ленин и его группа», не «читаясь «с интересами русской революции» (слова Богданова). При таких условиях Контактная Комиссия должна была потерпеть «поражение» в конфликтном вопросе[531]. Нельзя не согласиться с мнением, выраженным Богдановым на заседании 5 апреля, что демократия сама делала многое, чтобы «ослабить себя» и «терпела поражения на тех вопросах, на которых давать бой ей было «невыгодно».

Перечисленными вопросами исчерпывался обвинительный акт против Правительства посколько он нашел себе отражение в протоколе 5 апреля. Ни в протоколах Исполнительнаго Комитета, ни в воспоминаниях о работах Контактной Комиссии нет материала для суждения о вопросе, который должен был явиться предметом обмена мнениями и разногласий между членами Правительства и представителями Совета, – вопроса, вызвавшаго несколько взволнованных страниц в воспоминаниях Набокова и агитационные нападки в последнюю декаду существования Временнаго Правительства перваго состава со стороны некоторых тогдашних органов социалистической печати. Как надлежало решить вопрос о судьбе членов ликвидируемых революцией старых правительственных учреждений? Мы не располагаем данными для характеристики мер, принятых Правительством в этом отношении. Очевидно, вопрос разрешался просто в том бытовом порядке, при котором чины Охранных Отделений и аналогичных институтов департамента полиции не могли естественно

думать о получении от государства пенсий за прежнюю верную службу. Общий вопрос мог быть разрешен, конечно, только законодательством о социальном страховании старости. Но не в этой плоскости поставлен вопрос в воспоминаниях Набокова и не в этой плоскости правительственныя распоряжения вызывали «негодование» в «советских кругах», отражавшееся и в прессе и на митингах. Дело шло о сановниках – о тех «высших чиновниках», которые добровольно или вынуждено ушли в отставку и о членах бездействующаго Государственнаго Совета. В первый революционный месяц этот вопрос сам по себе не вызывал никакого отклика ни в прессе, ни в Совете. Он случайно поднялся в Исполнительном Комитете 19 марта в связи с появлением делегации от кронштадтскаго Совета, протестовавшей против уплаты жалования арестованным в Кронштадте офицерам. Совету приходилось играть активную роль в умиротворении буйных кронштадтцев и в силу этого, может быть, Исполнительный Комитет тактически даже вынужден был вынести постановление о задержке уплаты жалованья арестованным впредь то окончания следствия, и выяснения их виновности. Акт бытового двоевластия получил, однако, расширенное толкование и о состоявшемся решении, «имеющем распространительный характер, как в отношении чиновников всех ведомств, так и членов бывшей династии Романовых» постановлено было «сообщить председателю Совета министров» (формулировка, взята из записи протокола). Как реагировало Правительство? Надо думать, что оно согласилось с такой постановкой, ибо вскоре министром юстиции было отдано аналогичное распоряжение в отношении всех лиц, следственное производство о которых шло в Чрезвычайной Следственной Комиссии. А все остальные? Временное Правительство не внесло здесь никакой ясности и определенности и выбрало наихудший путь сепаратных решений, вызывавших протест и дававших пищу для всякаго рода демагогических выпадов: производится де растрата народных денег на многотысячныя пенсии бывшим царским слугам. Не имея в своем распоряжении протоколов заседаний Врем. Правит., трудно проверить правильность утверждений Суханова о постановлении Правительства 12 апреля выдать пенсии «бывшим министрам» в размере 7 тыс. руб.. что и привело в негодование советские круги. Повидимому, речь шла об указанных выше отдельных постановлениях, о которых упоминает Набоков: «в самом начале (вероятно, в апреле) Временное Правительство в двух случаях назначило пенсии в размере 7–10 тыс. (кажется, дело шло о Коковцеве и Танееве)». Ни тот, ни другой не принадлежали, к числу тех материально

необезпеченных людей, которых революция жестоко вернула в «первобытное бытие» и судьба которых волновала с моральной стороны Набокова. Почему в число избранных попал отец знаменитой Вырубовой, имя которой в этот момент было крайне одиозно? Политическая безтактность часто бывает чревата последствиями. Особо в деле о «сановниках» стоял вопрос о членах Государственнаго Совета «по назначению», обреченных на «совершенную праздность после переворота», хотя формально Государственный Совет, как учреждение, не был упразднен. По словам Поливанова, это почтенное учреждение и среди бюрократии принято было называть «Ново-Девичьим монастырем». «Наиболее добросовестные и тактичные члены Государственнаго Совета – вспоминает Набоков – почувствовали неловкость своего положения и нравственную невозможность получать крупное содержание, не делая ничего, и возбудили вопрос об уместности подачи в отставку». По поводу того, что члены Государственнаго Совета продолжают получать содержание, и «завопили» на митингах и в печати. «Весь этот шум – утверждает управляющий делами Правительства – произвел на Правительство «большое впечатление». «И тогда, наконец, пришлось поставить во всем объеме вопрос о членах Государственнаго Совета... Правительство потратило целых два заседания на обсуждение его – и не могло придти ни к какому определенному решению. Так вопрос и остался «неразрешенным». Правительство не вышло из свойственной ему, столь характерной неопределенности потому, что «шум», поднятый вокруг этого вопроса (о том, что «посыпались протестующия резолюции рабочих и солдатских собраний», говорят составители Хроники февральской революции)- не был так велик, как изображают мемуаристы, – иначе его резонансы не могли бы не отразиться в общей печати и в дошедших до нас отрывочных протоколах Исполнительнаго Комитета...[532].

«Бум», поднятый «левыми» в Исполнительное Комитете. потерпел фиаско. Их целью было добиться превращения Контактной Комиссий из органа «соглашения» в орган, диктующий Правительству свою волю. В их представлении Совет должен был играть роль не «задерживающаго центра, а индикатора массоваго настроения. Поэтому большевики, заседавшие в Исполнительном Комитете (Красиков, Стучка), требовали «гласности в переговорах с Правительством» – устранения всяких «тайн и дипломатии», обязательства для Контактной Комиссии вести протоколы, подписываемые обеими сторонами, и предложения Правительству делать в «письменной форме». «Правые» (Дан, Церетелли. Брамсон) энергично возражали, указывая, что подобное решение уничтожает самый смысл

существования Контактной Комиссии – выгода непосредственных личных отношений в том, что они дают возможность Исполнительному Комитету «ориентироваться в течениях Правительства». В воспоминаниях Суханов издевается над элементарной аргументацией противников оформления функций Контактной Комиссии, превращавших советских делегатов – посредников между «классовыми противниками», в каких-то «пронырливых репортеров». Почему этот вопрос имел, однако, по признанию мемуариста «огромную важность» для революции? Потому, что «левые» желали покончить с «теорией бережения Правительства», которую далеко не последовательно пыталось проводить в жизнь образовавшееся большинство в Исполнительном Комитете под руководством Церетелли. Напор «левых» смутил «мамелюков», как начинает именовать с этого момента Суханов советское «болото», шедшее довольно послушно за своим признанным «вождем». В Исполнительном Комитете возникли «сомнения» в рациональности прежней тактики и у сторонников этого большинства: протокол 5 апреля несколько неожиданно отмечает предложение Чхеидзе «никаких непосредственных сношений с Правительством не иметь, сноситься с Правительством только письменно и требовать от Правительства письменных же ответов». Предложение «левых» -собрало 17 голосов против 21, высказавшихся за сохранение status quo и принявших поправку Брамсона о необходимости самой Контрольной Комиссии вести «подробныя записи переговоров, скрепленныя подписями всех участников делегации».

Исполнительному Комитету не пришлось возвращаться к вопросам, поставленным в заседании 5 апреля. Он занялся своей собственной внутренней реорганизацией. Из Исполнительнаго Комитета выделено было бюро, к которому переходили функции Контрольной Комиссии, формально упраздненной уже 13 апреля. Через неделю разыгрались события, приведшия к первому правительственному кризису и к замене правительства «цензоваго» правительством «коалиционным». Взаимоотношение двух «классовых противников» внешне изменилось. Оппозиция в Совете в представлении Суханова сделалась «незаметной» и «окончательно безсильной». Это уже будущее по отношению к тому времени, о котором мы говорим.

Подноготная, вскрывающаяся при обозрении деятельности Контр. Комиссии, свидетельствует о симптомах, мало благоприятных для установления доверия во взаимных отношениях между властью и демократией, посколько последняя выявляла свой общественный лик через советы. Очевидно, искусственный оптимизм не очень вдумчиваго члена

Правительства Вл. Львова, заявившаго московским журналистам, что между Правительством и Советом «установлен тесный контакт, и слухи о трениях распространяют злонамеренныя лица», не отвечал действительности. Может быть, Правительство и несколько злоупотребляло декоративной тактикой, внушаемой отчасти еще не исчезнувшими отзвуками приподнятых революционных настроений – тактикой, которую японский посол в Петербурге виконт Цунда в секретном послании министру иностранных дел в Токио в середине марта определял словами: «если у людей сложилось поверхностное мнение, что все благополучно, то это происходит от того, что Временное Правительство... скрывает от общества правду». Эта тактика определяла собой официальное знамя, которое реяло над общественной жизнью в мартовские и отчасти еще в апрельские дни. Слишком чуткая подчас к температуре общественных настроений «Русская Воля» писала по поводу правительственной декларации о войне 28 марта: «Союз Совета с Временным Правительством, это – союз жизни; союз в реальном творчестве – творчестве новых идей в истории». Впоследствии реальныя очертания, в которых протекала тогдашняя действительность, значительно искажались. Так Милюков уверял читателей своей «Истории», что упоминавшееся выше воззвание Правительства 26 апреля, написанное Кокошкиным, было в «первоначальном тексте» «суровым обвинительным актом против Совета Р. Д.». но «после троекратной переделки», вместо «открытаго обвинения Совета в парализовании Правительства и в содействии распаду страны», основная мысль была «очень сильно затушевана» под влиянием «товарищей Керенскаго» по партии. В окончательном виде «обвинительный акт» гласил: «Говоря об осуществленных и осуществляемых им задачах, Временное Правительство не может скрыть от населения тех затруднений и препятствий, которыя оно встречает в своей деятельности... К сожалению и великой опасности для свободы рост новых социальных связей, скрепляющих страну, отстает от процесса распада, вызваннаго крушением стараго государственнаго строя...[533]. Стихийныя стремления осуществлять желания и домогательства отдельных групп и слоев населения явочным и захватным путем, по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения грозят разрушить внутреннюю гражданскую спайку и дисциплину, и создают благоприятную почву, с одной стороны, для насильственных актов, сеющих среди пострадавших озлобление и вражду к новому строго, с другой стороны, для развития частных стремлений и интересов в ущерб общих и к уклонению от исполнения гражданскаго

долга». Управляющий делами правительства Набоков в воспоминаниях называет утверждения историка «преувеличенным отзывом» и свидетельствует, что строки, введеныя в воззвание редакцией «Дело Народа» (?!), «довольно туманно и отвлеченно» излагавшия причины происходившей неурядицы, не могли изменить «основного тона воззвания». «Строгий государственник считает воззвание «одним из слабейших» документов эпохи: «его идеология – ставящая во главу угла добровольное подчинение граждан ими же избранной власти – очень сродни идеологии анархизма». Набоков слишком серьезно принимал внешнюю словесную форму и сущность. Для нас важно, что документ («духовное завещание» Правительства перваго состава) характеризует неизжитую психологию момента и показывает, что два полюса революции окончательно еще не скристализировались. Единение во имя достижения задач, поставленных революцией, оставалось в общественном сознании первенствующей директивой. Большевики и их попутчики из среды народнических максималистов и идеологов « последовательнаго марксистскаго интернационализма», выразительницей позиции. которых сделалась появившаяся в середине апреля горьковская «Новая Жизнь», пока стояли на отлете революции. Стихийныя силы, проявления которых пытались вызвать в стране ленинские выученики и их приспешники. только еще «глухо клокотали», по выражению Троцкаго, в глубине недр революции. Недаром «Новая Жизнь», стремившаяся к доведению революции «до конца», в первом же номере говорила о преждевременности «власти советов», которая вызовет в этот момент «отчаянное сопротивление». Российский гражданин в громадном большинстве в то время абсолютно не верил в тезу, что «вся наша свобода пойдет прахом», если революция не произойдет в международном европейском масштабе.

VI. В поисках базы

1. Внесоветская общественность

Достаточно знаменательно, что среди всех политических группировок того времени лишь одна небольшая партия народных социалистов открыто и решительно выступила на своей первой конференции в Москве 23 марта с осуждением попыток, знаменующих установление «двоевластия» и подрывающих авторитет Временнаго Правительства. Не отрицая общественнаго контроля над революционным правительством, партия говорила о необходимости в период разрушения старых и создания новых форм полнтическаго и социальнаго общежития... единой и сильной власти, обладающей действительной, а не призрачной полнотой власти[534]. Дело было не в той проходящей «анархии» на местах, характеризовавшей собою первоначальный, эмбриональный этап революции, а в наличии тенденции культивировать обособленность конкурирующих с властью демократических классовых политических группировок, механически возникших на революционной поверхности по традиции из 1905 года, т. е. «своеобразие» бытовое превращать в своеобразие теоретическое. Не надо было быть ни историком, ни обладать прозорливым предвидением для того, чтобы учесть опасность, которая крылась в замене нормальных политических отношений идеологических групп, преследующих пусть даже узко партийныя цели, сурогатами внутренне аморфных советских организаций. Здесь открывалось широкое поле демагогии, на которой базировался неестественный в наступательном процессе шумный внешний эффект социалистических партий и который выдвигал на авансцену «социалистическую улицу»... Впоследствии лидером этих партий было сказано не мало не то горьких, не то обличительных слов по адресу народных масс, не доросших по своему культурному развитию до восприятия новых идей организованной демократии. Красная митинговая фраза Керенскаго о «взбунтовавшихся рабах» превращалась почти в социологическую формулу[535].

Подобныя жалобы на своего рода разрыв интеллигенции с народом выносили, однако, лишь обвинительный приговор роковой, непредусмотрительной и пагубной тактике, производившей неизбежно взамен зрелаго плода недоносок.

После переворота страну охватила неутолимая жажда просвещения. Из глухих деревенских углов несутся крики: книг, книг, – отмечали наблюдатели из числа уполномоченных Временнаго Комитета. Вначале этих книг было мало, и «Россия вернулась к апостольским временам»: по

деревням ходили люди и проповедывали «новыя начала». Потом этого книжнаго «просвещения», пожалуй, стало слишком уже много. Пропагандисты очень скоро нарядились в узкие партийные мундиры. Каждый «начетчик» до известной степени фанатик. Скороспелое «политическое просвещение» стояло на грани политическаго развращения масс, посколько просветители руководились заветом протопопа Аввакума: «разевай рот шире, само царство небесное валится» (так некогда охарактеризовывалась пропаганда Троцкаго в одном из перлюстрованных политической полицией писем). Приходится ли удивляться, что «сознательность» пасовала перед «стихией» и «социализм сознательнаго пролетариата» затеривался в мире «охлоса». Это творила «жизнь», но история не может снять ответственность и с тех, кто создал внешния формы, в которых выражалась эта жизнь. Последующая история революции зарегистрирует безконечно длинную вереницу фактов, показывающих, что стихию из «недр революции» вызывали часто, очень часто, и те, кто по своей идеологии, казалось, были далеки от большевицких концепций радикальнаго переустройства мира единым революционным взмахом. Они становились невольными и безсознательными попутчиками тех, кто разрушал демократический революционный фронт. Известный «правый» с.-р. Брушвит, вероятно, совершенно не отдавал себе отчета в том, что он бросает зажженную спичку в пороховую бочку, взрыв которой может уничтожить не только коалиционное правительство, не только Учред. Собрание, но и демократию в России, когда в состоянии ораторскаго самозабвения неосторожно на майском крестьянском съезде в Самарской губ. бросил в массу демагогические призывы от имени армии: «Мы не выпустим ружей из рук даже и после войны – не выпустим до тех пор, пока знамя «Земля и Воля» не будет знаменем государства. Во время Учр. Собр. мы будем держать ружья на-караул, но помните, что после этой команды есть другая – «на изготовку»...

Партия народных социалистов, представлявшая собой в значительной степени интеллигентскую группировку, в целом этого греха в революционные дни не восприяла на себя[536], ибо ея основной практический лозунг органически был связан с девизом, начерченном на ея политическом знамени: «все для народа, все через народ» – то было утверждение не только народовластия, но и до известной степени проповедь осуществления в жизни постулатов, освоенных народным сознанием и клавшим преграду «революционному правотворчеству» массовой стихии. Идеологи «народнаго социализма» никогда не

обольщались «безсознательным социализмом», сделавшимся столь модным лозунгом в мартовские дни, что даже демонстрация дворников в Москве в мае происходила под знаменем: «да здравствует социализм». «Социалистов» стало слишком много. Народным массам главенствующия социалистическия партии внушали тлетворную мысль, что подлинная демократия заключена в бытовых соединениях социальных категорий, представленных рабочими и крестьянами. Количественный принцип совершенно устранял естественное разделение. Роковым образом исчезала категория трудовой интеллигенции, имевшаяся в программе теоретических построений социалистов-революционеров[537]. Реальныя отношения, созданныя характером революционнаго переворота, заставили революционных идеологов ввести третью категорию «демократии» – солдат, при всеобщей воинской повинности, не говоря уже об условиях войны, никакой особой социальной группы не представлявших. Социальная логика при этом нарушалась. Ленин был более последователен, когда в своих начальных построениях, игнорируя «солдатских депутатов», выдвигал лозунг – «рабочих, крестьянских и батрацких» советов. Посколько. советы могли разсматриваться, как революционные клубы sui generis, постолько лишь в схеме революционнаго строительства могли быть законно признанными советы солдатских депутатов, которые в первый момент решительно первенствовали в предводительствуемых революционной демократией организациях и накладывали на них свой не классовой и тем самым скорее политический отпечаток.

Для характеристики просоветской позиции революционной демократии символистичным является выступление «заложника демократии» в правительстве на Всероссийском Совещании Советов, когда он вырвался из правительственных тенет, чтобы «хоть немного подышать воздухом той среды», из которой вышел. Передавая «низкий поклон *всей демократии* от имени Правительства» Совещанию, Керенский разъяснял (дважды) и формулу «всей демократии» – «рабочим, солдатам и крестьянам», незаметно демагогически триединая формула становилась в устах социалистических деятелей адекватной понятию демократии, и они, действительно, сами, быть может, и «помимо собственнаго сознания», по выражению Плеханова, уравнивали дорогу, ведшую к ленинским воротам. Не отдавая себе отчета впоследствии лидер меньшевиков Церетелли (его называли «мозгом революции») будет квалифицировать первый официальный съезд советов (в июне) «полномочным парламентом революционной демократии», а лидер соц.-рев. Чернов пойдет дальше и

назовет съезд советской демократии «нашим учредительным собранием».

Народные социалисты были чужды этому своего рода «советскому психозу» и не потому, что представители радикальной интеллигенции, вошедшие в партию, как пытается утверждать автор «рождения революционной России», принадлежали к группе «промежуточной между буржуазной и социалистической» – идеологически последовательные социалисты (правда, не по формуле Интернационала), обосновывавшие свою догму не на стихийной борьбе классов и выдвигавшие интересы человеческой личности на первый план, вожди партии видели в советском принципе нарушение демократических заветов, угрожающее народовластию и органу его выражающему, т. е. Учредительному Собранию. И не только грядущему Учр. Собранию, но и стоявшему в ближайшей очереди демократическому общественному самоуправлению (своим параллелизмом). Поэтому, не игнорируя советы, как революционныя организации, стихийно созданныя жизнью, партия оставалась к ним хладной и относилась с осторожностью: когда сконструировали окончательно Петербургский Исп. Комитет, в нем не оказалось представителей народных социалистов – Станкевич (тогда трудовик) отмечает, что Мякотин и Пешехонов, т. е. признанные вожди партии, «старательно подчеркивали свою чужеродность». Это ставило партию как бы вне советской общественности. Вероятно, такую позицию надо признать тактической ошибкой, ибо партия лишалась возможности своей интелектуальной силой оказывать непосредственное влияние. Но более серьезной тактической ошибкой являлся отказ возглавить инициативу возрождения в середине марта стараго крестьянскаго союза – наследия того же 1905 года. Отказ мотивировался нежеланием дробить революционныя силы. Произошло как раз обратное тому, что разсказывает в своих воспоминаниях Суханов о «попытке» захватить Крестьянский Союз группой радикальной интеллигенции, руководившей Союзом в 1905 г. и не желавшей теперь контакта с Советом Крестьян. Деп.. Крестьянский Союз должен был возникнуть, как постоянная организация, а не по типу временных соединений для «политико-революционной борьбы» в схеме советской организации. Он всетаки возник, попал в руки людей более или менее случайных и неопределенных по своей общественной позиции, и не получил широкаго распространения. Между тем при более авторитетном руководительстве он мог не только иметь умеряющее значение в противовес крестьянским советам, попавшим в орбиту партии с.-р.[538], но и сыграть самостоятельную, значительную роль при выборах в Учр. Собрание.

Мы вкратце остановились на народных социалистах, потому что в дни мартовской общественности только эта группа могла выступить, как организованная единица. Впоследствии вне советской общественности оказалась плехановская группа (сам Плеханов был избрав железнодорожниками в Совет, но представители группы «Единство» не были допущены), равно как вне ея были, в сущности, так называемые соц.-дем. «оборонцы», руководителем которых следует признать одного из наиболее выдающихся идеологов и марксистских публицистов Потресова. К этим общественным подразделениям социалистическаго характера надо отнести и «трудовиков», выступавших после революции в качестве самостоятельной единицы. Назвать «трудовиков» партией в точном смысле слова нельзя было, ибо эта группа – скорее своеобразный политический блок, рожденный в бытовых условиях думской работы – в сущности не имела еще своей цельной и разработанной идеологической программы и тактики, – ея думский лидер Керенский официально числился в рядах соц.-революционеров. Народнический оттенок трудовой группы естественно толкал ее на соединение с народными социалистами. Это соединение и произошло в конце июня не без прений, ибо у этих политических группировок было в первое время разное политическое восприятие революции. Трудовики оказались более радикальны в программных требованиях[539] и более эластичны в тактике, приноравливая ее в основных линиях к фронту «советской демократии», в делах которой центр принимал живое участие, составляя ея «правое» крыло: в петроградский Исп. Ком. входили Чайковский, Брамсон и Станкевич.

Все указанныя группировки могли создать единый общественный фронт, к которому должны были присоединиться выделившиеся, в конце концов, в самостоятельную группу «воленародцы» из партии соц.-революционеров. Медленно происходившая в процессе революции диференцировка партийных группировок ко благу страны была бы ускорена, если бы революционное правительство с перваго дня родилось в коалиционной тоге. Все попытки сохранения единаго революционнаго фронта, – соединить разнородные элементы в единой партии с.-р. и – перекинуть мостик к двуединой уже социал-демократии – имели пагубный результат уже потому, что делали безплодной идейную и практическую борьбу с большевизмом, порождая сумятицу в уме неиспытаннаго в партийных тонкостях «простолюдина»[540]. Что было общаго между будущим левым с.-р. Мстиславским и Бунаковым-Фондаминским, объединившимся в одном партийном органе? Что было общаго между Черновым, как две капли воды, похожим на Ленина,

наряженнаго в «селянский» костюм, и Авксентьевым, вошедшим в одно коалиционное правительство? Только то, что некогда и Потресов с Лениным сидели за одним партийным столом, объединяло этих общественных антиподов. Ясное расчленение противоестественных политических соединений и способствовало бы выявлению того подлиннаго «колективнаго ума», который по слову культурнейшаго апостола анархизма Кропоткина необходим в революции, – когда-то в своей «Анархии» он писал: «вся история нам говорит, что никогда еще люди, выброшенные революционной волной в правительство, не были на высоте положения». При настроениях мартовских дней, сказавшихся даже на эволюции большевицкой «Правды», существование договорившагося социалистическаго блока привлекало бы к себе людей, и это не дало бы возможности родиться противоестественному явлению, когда партия соц.-рев., по злому, современному замечанию Потресова, разбухла в первые месяцы революции до размеров грандиознаго[541]. Соглашение с демократическими элементами партии к. д. могло бы дать прочную основу для тактическаго блока и с цензовыми элементами, или по другой терминологии с буржуазией, без активнаго участия которой в революционном процессе при неизбежном экономическом кризисе в стране, которая переживала политически и социальный катаклизм во время войны, социалисты могли дать, как выразился позжз в заседании Московскаго совета меньшевик Исув, «лишь уравнительный голод». Вопреки здоровому политическому разсчету жизнь пошла не по этому пути и превратила в дни существования перваго революционнаго правительства одну партию народной свободы в партию как бы «правительственную».

2. «Правительственная партия»

Съездом «правительственной партии» и назвали некоторыя газеты (напр., «Бирж. Вед.») собравшейся в канун марта в Петербурге съезд партии народной свободы. По существу это было не совсем так уже потому, что, по признанно Набокова, самым влиятельным лицом в Правительстве был Керенский, котораго поддерживало большинство министров. Наблюдавший Правительство в «контактных» заседаниях Суханов говорит, что «левая семерка» – в составе обоих Львовых, Керенскаго, Некрасова, Терещенко, Коновалова и Годнева[542] почти всегда была и «оппозиции» к Милюкову, котораго демократически «День» называл позже «злым гением» революции. Следовательно, трудно назвать первый период революции «милюковским», как это часто делается в литературе, и видеть в лидере к.-д. «фактическая главу» Врем. Правительства перваго состава. Посколько с первым периодом связан пафос революции, он ярче выражался в личности Керенскаго[543]. Но во вне Временное Правительство представлялось правительством «цензовым». Так как правая общественность исчезла с поверхности общественной жизни, то партия к.-д. тем самым становилась выразительницей буржуазных настроений, противопоставляемых советской демократии. Это была одна из аномалий на заре обновленной жизни страны, исказившая демократически облик заслуженной партии русской интеллигенции. В «страшной и красивой грозе, в которой пришел новый строй» (слова Милюкова на съезде) «надклассовая» партия с компромиссными традициями прогрессивнаго блока не могла уже выполнять функции «арбитра» – этого тогда не хотел понять общепризнанный глава партии[544].

Партия к.-д. была противопоставлена демократии, хотя первый ея съезд после революционнаго переворота пытался перебросить мост к советским элементам. Он осторожно подошел к вопросу о двоевластии. «Велика заслуга петроградскаго Совета Р. и С. Д. в революционные дни, – говорил докладчик по тактическим вопросам Винавер, – но, к сожалению, он вышел за пределы своих функции. Создалась опасность многовластия, опасность чрезвычайно грозная». – Совет не должен издавать распоряжений, имеющих характер правительственных актов. Но член Правительства Некрасов тут же опасения Винавера сводил на нет, говоря о «так называемом двоевластии» и представляя это «двоевластие» естественным выводом «революционной психологии». – не для того же

свергнут один самодержец, чтобы создать таких 12[545]. Советам на съезде было произнесено много комплиментов. Так сам Милюков признавал, что, «если бы не было товарищей слева, никакия наши предвидения не помогли бы свергнуть самодержавие». Поэтому резолюция съезда лишь иносказательно и туманно намекала на двоевластие. Она говорила: «Приостановление нормальной функции народнаго представительства не требует организации на иных началах общественнаго мнения, осведомляющаго Правительство и выражающаго отношение общества к мероприятиям и общему направлению деятельности Врем. Правительства, Однако, организации, существующия и могущия для этой цели возникнуть, должны оставаться в пределах указанных целей и не претендовать на функции власти исполнительной, вводя население в соблазн многовластия, вреднаго, как для внешней обороны, так и для укрепления новаго строя...»[546].

Комплименты «истинным представителям революции» были, конечно, в значительной степени тактическими приемами, так как съезд переходил на республиканские рельсы[547]. Решение это было принято Цент. Ком. партии уже 11-го марта, – съезд должен был провозгласить ту самую «демократическую парламентскую республику», к которой так отрицательно относился Милюков. Дух времени требовал такого решения. «Бурю рукоплесканий» вызывали на обывательских митингах слова: «пусть партия к.-д. похоронит § 19 своей программы в той же могиле, где похоронено самодержавие». И партия спешила с этими похоронами. Если старый Петрункевич, не присутствовавший на съезде и присоединивший заочно свой голос за демократическую республику писал: «монархия морально покончила самоубийством и не нам оживлять ее», то официальный докладчик на съезде Кокошкин обосновал новое положение аргументами другого свойства и несколько странными для государствоведа: население не нуждается больше в монархическом символе – «но время войны оказалось, что нельзя быть за царя и отечество, так как монархия стала против отечества»[548]. Кн. Евг. Трубецкой говорил о «единой национальной воле», диктующей новую форму правления. Резолюция о республике была принята *единогласно* – к ней не только присоединился Милюков, но и «глубоко» радовался государственно мудрому решению о форме правления, становясь в резкое противоречие с пророческой «проникновенной речью» на Миллионной 3 марта, обрекавшей Россию без монархии «на гибель и разложение». Так быстро шло приспособление к окружающей политической атмосфере. Можно призвать, что в нормальных политических условиях форма правления сама

по себе еще не служит мерилом демократизма и в партийных программах подчас является вопросом не столько принципиальным, сколько тактическим. Съезд к.-д. стоял перед неизбежным распадом партии, если бы принял монархическую ориентацию... Мы имели уже случай убедиться, что настроения в партии далеко не соответствовали позиции, которую пытался занять Милюков в первые дни революции[549]. Еще раз эти настроения подчеркнул Кизеветтер, приветствуя 9-го апреля приехавшаго в Москву после съезда Милюкова. Он отмечал значительную роль, сыгранную лидером партии в перевороте, но роль именно революционную, которая определялась думской речью 1-го ноября 1916 г. о германофильской партии Царицы. И... тем не менее единогласие в признании республики выражением «единой национальной воли» останавливает на себе внимание. Конечно, требовалось известное гражданское мужество для того, чтобы пойти против течения и открыто заявить в революционное время о своем монархизме, который естественно воспринимался лишь в формах легитимных. Между тем публичное исповедание убеждений, шедших в разрез с настроением улицы, могло содействовать оздоровлению политической атмосферы и смягчать революционную нетерпимость к инакомыслящим. Формальное декларирование «прав человека-гражданина» далеко еще не означает осуществление подлинной политической свободы. Русская революция не представляла исключения. Россия была лишь на пороге того «храма свободы», о котором говорила ветеран русской революции Брешко-Брешковская в приветствии, обращенном к Совещанию Советов. Гражданскаго мужества политические деятели, убежденные в целесообразности конституционной монархии, не проявили[550]. В демократических кругах республиканское единодушие «цензовой общественности» склонны были считать внешним флером, навеянным моментом, который и нововременцев превращал в «республиканцев». Милюкову много раз приходилось опровергать «вздор», заключавшийся в утверждении, что партия к.-д. оставалась по существу конституционно-монархической: «мы совершенные и верные республиканцы. С конституционной монархией покончила революция», – категорически, заявлял лидер партии[551].

На седьмом съезде партии к. д. можно отметить и еще некоторыя черты, характеризующия тенденцию перебросить мост к революционной демократии. Винавер в докладе по тактическим вопросам считал основной задачей партии в данный момент отпор «контр-революционным силам», которыя могут во имя стараго посягать на новый строй... Его содокладчик

Шаховской предлагал дать директору Ц. К. «искать соглашение налево», «наших соседей справа, мы можем на первых порах оставить», т. е., ликвидировать прогрессивный блок. Некрасов попытался дать директиву Ц. К. и в области социальной. Только путем социальных реформ – говорил он – можно «обойтись... без социальной революции»: «меньше всего можно говорить – сначала политика, а затем социальные вопросы. Старый режим путем этого лозунга привел нас к революции». «Вдохновенныя слова» Некрасова, по отзыву «Рус. Вед.», были встречены шумным одобрением. Но они не превратились в директиву и не сделались постулатом текущей политики, хотя в первом своем воззвании после переворота, 3 марта, партия широковещательно говорила, что «новая власть первейшей заботой своей сделает обезпечение рабочих и крестьян». Дело на съезде ограничилось академическим разсуждением на тему о лозунгах в духе английскаго фабианскаго эволюционнаго социализма и столь же теоретическими разсуждениями в печати будущаго «социалистоведа» Изгоева на тему о близости социалистических идей партии. Аграрный вопрос был отнесен на следующий партийный съезд. Партия народной свободы не спешила с разрешением социальных вопросов: в резолюции Ц.К. 11 марта, в которой провозглашался республиканский принцип, говорилось, что аграрный вопрос подлежит разрешению *после войны* . Лидеры партии настойчиво затем проводили в своих публичных выступлениях мысль о недопустимости социальных реформ до Учред. Собрания. Революционная романтика, проявившаяся в настроениях съезда, настолько не встречала уже сочувствия, что автор первой истории революции впоследствии даже не упомянул в своем тексте о съезде, протоколы котораго дают, однако, яркий документ для характеристики эпохи, когда еще светило «солнце мартовской революции».

3. Мираж IV Думы

То, что могло быть, не относится к ведению описательной истории. Социалистическия наблюдения ведут нас уже в область «философии истории». Неписанная конституция, установленная жизнью, заменила юридическую концепцию, данную актом отречения 3 марта, фактически иной конструкцией власти. Самодержавие «12-ти» контролировалось Советом посредством контактной комиссии. «Цензовая общественность – «единственно организованная» в дни формирования Временнаго Правительства – через короткий промежуток оказалась хуже организованной, нежели демократия социалистическая. Предположения докладчика по организационному вопросу на Совещании Советов Богданова совершенно не оправдались. Ему казалось, что «цензовые элементы... в стадии революции группируются и оседают» на местах в исполнительных комитетах общественных организаций. В действительности общественные комитеты умирали естественной смертью по мере того, как диференцировались элементы, в них входившие – эти объединенные комитеты никогда не были представительством «цензовой общественности». Если бы «цензовая общественность» в марте сорганизовалась в нечто подобное тому, что представлял собой впоследствии московский совет общественных деятелей, его представители могли бы войти в «контактную комиссию» на тех же условиях, что и представители советские.

Временный Комитет Гос. Думы, посколько он находился вне этой организованной общественности, не мог служить противовесом «давлению» и "контролю» над правительством со стороны советской демократии. Милюков говорит, что члены Времен. Комитета «обыкновенно» участвовали во всех важнейших совещаниях Правительства с делегатами Совета для того, чтобы уравновесить «давление» и «контроль» Совета над Правительством. О том же упоминает Суханов. Оба историка-мемуариста обобщили факты. Совместныя заседания никаких следов не оставили – повидимому комбинированное совещание было созвано два раза в апреле в связи с осложнениями, возникшими вокруг «займа свободы» и ноты Правительства по внешней политике[552]. От нас пока ускользает повседневная практика в отношениях между Правительством и Временным Комитетом, ибо протоколов заседаний последняго не имеем (кроме отдельных эпизодичных выписок). Из протеста Родзянко, посланнаго кн. Львову 17 марта по поводу

телеграфнаго распоряжения министра земледелия Шингарева о реквизиции хлеба у землевладельцев, посевная площадь которых превышала 50 десятин[553], явствует, что между Правительством и Временным Комитетом существовало определенное соглашение, по которому Временный Комитет должен был осведомляться о важнейших решениях Правительства. Родзянко, настаивая па немедленной отмене распоряжения министра земледелия и на передаче вопроса «на разрешение местных компетентных учреждений, который могли бы разрешить его не на основании теоретических соображений», в заключение выражал сожаление, что «указанныя меры были приняты Врем. Правит. *без предуведомления* о них Временнаго Комитета *вопреки состоявшагося соглашения* и надеялся, что Врем. Правит, «впредь не откажется придерживаться порядка, установленнаго по взаимному соглашению его с Врем. Ком. Гос. Думы».

Это соглашение было уже прошлым, которое при осложнившихся отношениях политических групп не отвечало уже ни потребностям момента, ни психологии главных действующих лиц. Поэтому «Государственная Дума» и оказалась «не подходящим средством для того, чтобы разделить контроль над Правительством» (слова Милюкова в «Истории»). В дни правительственнаго кризиса мысль невольно обратилась к фактическому первоисточнику власти, т. е., к первичному соглашению Временнаго Комитета и Совета. Другого формальнаго выхода просто не было. Политическая роль Врем. Комитета в эти дни была и его лебединой песней, посколько значение этого учреждения, рожденнаго революцией, определялось мартовским «соглашением». Набоков разсказывает, что в позднейшей беседе с Милюковым (он относит ее к апрелю 18 г.) ему пришлось коснуться вопроса – была ли «возможность предотвратить катастрофу, если бы Временное Правительство оперлось на Государ. Думу» и не допустило политической роли Совета. По мнению мемуариста, эта возможность была «чисто теоретическая». Милюков держался иной точки зрения и считал, что момент был упущен. Таким образом задним числом Милюков присоединялся к неосуществившимся проектам Родзянко и Гучкова.

Впоследствии сам Милюков охарактеризовал достаточно определенно всю иллюзорность такого плана, назвав в эмигрантской полемике с Гурко Государственную Думу после революции «пустым местом».

Нетрудно установить момент, с котораго лидер партии народной свободы в 17 г. изменил свой взгляд на роль, которую может сыграть Государственная Дума в революционное время – это был день, когда

Милюков, покинув ряды Врем. Правительства, впервые, по словам Бубликова, появился на частном совещании членов Думы и стал определять свое отношение к коалиционному правительству уже в соответствии со «знаменитой формулой» Совета: «постолько-посколько»[554]. Это был день, когда Милюков, по мнению Палеолога, впервые заколебался в своем оптимизме относительно исхода революции.

Можно отметить в дальнейшем усиливающуюся в среде «цензовой общественности» тенденцию гальванизировать «политический труп», как выразился депутат Бубликов в одном из ранних «весенних» газетных интервью. 2 июня Родзянко обратится ко всем членам Думы с письмом, в котором просил их «выезжать из Петрограда только в исключительных случаях, а отсутствующих – принять меры к возвращению в Петроград». «Политическия события текущаго времени – писал Родзянко – требуют, чтобы гг. члены Гос. Думы были наготове и на месте, так как, когда и в какой момент их присутствие может оказаться совершенно необходимым, установить невозможно. Эти обстоятельства могут наступить внезапно...» В июльские дни после краха той генеральной репетиции октябрьскаго переворота, которую пытались устроить большевики, в частном совещании Думы заговорили и более определенно. Открыто высказался за созыв Думы которая должна превратиться в организующий центр, депутат Масленников: «Стыдно Гос. Думе сидеть где-то на задворках. Пора Гос. Думе, которая возглавила революцию нести и ответственность за нее...» Депутат просил председателя «вызвать всех членов Гос. Думы не на частное и подпольное заседание, а на настоящее заседание Гос. Думы», и потребовать, чтобы сюда явилось все правительство в полном составе и доложило бы о состоянии страны. Тогда Гос. Дума укажет этому правительству, что делать. и как это правительство пополнить и заместить»[555]. «Да здравствует Государственная Дума. единственный орган, способный спасти Россию» – провозглашал Пуришкевич. Чтобы избежать «черных дней» контр-революции, когда остервенелый народ взбунтуется против того, кто обманул его ожидания, нужно, чтобы «Гос. Дума, к которой неслись все народныя чаяния и любовь народа, заговорила громко... и властно». Милюков, выражавший в большей степени настроение цензоваго нежели демократическаго крыла партии к.д., тактически был более осторожен. Признавая «юридическое положение», установленное актом 81-аго марта, «недостаточно ясным». он считал, что Дума была права, «сохраняя себя про запас», и не осложняла положения «выходом» на первый план, пока правительство было «сильно, общепризнано и имело всенародную поддержку». Но «я должен сказать,

что я представляю себе момент, когда Гос. Дума может сыграть роль и в лице ея временнаго комитета и в лице, может быть, самой себя, как учреждения. Это в том случае. когда власть временнаго правительства не только лишится всенароднаго признания, котораго оно, по моему «мнению, уже лишилось сейчас, но и потеряет всякий авторитет...» В заключение Родзянко, принципиально соглашаясь с мотивами Масленникова, полагал, что поднимать этот вопрос в настоящее время еще не следует: «Я принадлежу к тем из вас, которые уже давно разделяют точку зрения члена Думы Масленникова, но я согласен с Милюковым, что еще не настал тот исключительный момент, когда Гос. Дума, как таковая, должна быть созвана».

Именно эта тенденция возстановить Думу, как государственно-правовое учреждение, а вовсе не то, что Временный Комитет делал доклады на частных совещаниях членов Гос. Думы, вызывала «раздражение» революционной демократии[556]. Уже июньское циркулярное письмо Родзянко вызвало резолюцию собравшагося в начале июня съезда Советов против попытки группы бывших членов Гос. Думы выступить от имени Гос. Думы и, «используя положение, занятое ею в первые дни революции», «стать центром для собирания сил, действующих против революции и демократии». Резолюция устанавливала, что «революция, разрушив основы стараго режима», упразднила Гос. Думу и Гос. Совет, как органы законной власти и лишила их лично состояния звания, дарованнаго им старым порядком и полагала, что «в дальнейшем отпуск средств на содержание и функционирование Гос. Думы и Гос. Совета, как законодательных учреждений, должен быть Врем. Правит, прекращен», и что «все выступления бывших членов Гос. Думы и Гос. Совета являются выступлениями частных групп граждан свободной России, никакими полномочиями не облеченных». На съезде вопрос о Думе был поставлен по инициативе большевиков, требовавших «немедленнаго и окончательнаго упразднения Гос. Думы и Гос. Совета». Безспорно, большевики – и не всегда только большевики – были склонны раздувать в демагогических целях «контр-революционную» опасность, но в данном случае созыв в дни революции старой Думы в ея целом, Думы по закону 3 июля 1907 г., «безстыжему по пренебрежению к интересам народа» – так характеризовал его в докладе на съезде Советов председатель Чр. Сл. Комиссии Муравьев[557] – действительно становился в глазах демократии символом той контр-революции, борьбу с которой ставил основной своей задачей мартовский съезд партии к. д. И не только мартовский: на следующем съезде партии в мае, когда докладчиком о

текущем политическом моменте выступал сам Милюков, отмечались «течения контр-революционныя», пытающияся «под влиянием испуга вернуть революцию назад»[558]. Сказалась ли здесь только «мания», только сознательное злоупотребление «призраком», который в разной степени захватывал круги социалистические и «цензовые», посколько последние были связаны с революцией? Реальныя опасения революционной демократии в отношении к Гос. Думе по всяком случае не были только «призраком»: Гучков впоследствии разсказал (в посмертных воспоминаниях), как он пытался сорганизовать «кадры для похода на Москву и Петербург» под флагом Думы, а Деникин сообщает, что Пуришкевич носился с идеей переезда Гос. Думы на донскую территорию для организации противодействия Временному Правительству.

4. В ожидании Учредительнаго Собрания

Мы заглянули уже в будущее. При таком ретроспективном обозрении прошлаго, вышедшаго из-под пера современников событий, никогда не надо забывать, что описанное, поскольку речь идет о мартовских буднях, принадлежит к другой уже странице в истории революции. Тогда в сущности вопрос шел о коротком промежутке времени до созыва Учредительнаго Собрания, в период котораго надо было осуществить полумеры, удовлетворившия бы жажду народнаго нетерпения и противодействовавшия бы социальной демагогии. Когда наступал срок обязательства, принятаго Временным Правительством и «закрепленнаго присягой»? Его никто вполне не пытался установить. В каком то сравнительно отдаленном времени рисовался этот созыв председателю Временнаго Комитета в момент его переговоров с генералами на фронте в ночь на 2-ое марта. Французский посол утверждает, что на высказанное им сомнение о возможности созыва У. С. во время войны, Милюков в беседе с ним доверительно сказал, что он старается не принимать никаких обязательств относительно точной даты выборов. Набоков – тот самый Набоков, под руководством котораго был выработан наисовершеннейший избирательный закон – считал, как мы видим, подлинной трагедией созыв Учр. Собрания во время войны (какой это символ для Врем. Правит.!). Так было за правительственными кулисами. Открыто общественная мысль усвояла другое – мысль о созыве Учр. Собр. в самое ближайшее время. 4 марта в Москве происходит собрание деятелей земскаго и городского союзов, на котором обсуждается воззвание к населению. Видные кадеты Кизеветтер, Котляревский, Тесленко с горячностью возражают на «оборонческие» взгляды представителей «демократии» и доказывают, что вопрос о войне нельзя откладывать до Учр. Собрания, которое соберется через «1–2 месяца» (!). Подготовка к созыву Учр. Собр. начнется – уверял Керенский и Москве 7 марта – в «ближайшие дни». 13 марта представители Совета настаивали перед Правительством на скорейшем созыве Учр. Собрания. Правительство в ответ заявило, что срок созыва «должен быть возможно более близкий». «война ни в каком случае не может помешать созыву Учр. Собрания», – «разгар военных действий» может лишь «задержать открытие заседания У. С.». «Во всяком случае предельным сроком У. С, по предположению Врем. Прав, является середина лета». Представители Совета находили, что этот срок представляется «слишком отдаленным». Созыв У. С. откладывался, и

наблюдательный французский журналист Annet, имевший постоянные частные разговоры с ответственными политическими деятелями, спешил информировать общественное мнение во Франции, что загадочное Учредительное Собрание отложено ad calendos greqos. В действительности лишь постановление об образовании Особаго Совещания по выработке закона о выборах в У. С., было вынесено Вр. Правительством к концу марта (25-го). «Вещь совершенно неосуществимая» созвать У. С. через 2–3 месяца – компетентно разъяснял Кокошкин на съезде к. д. Так можно было решать «с жара», «не отдавая себе отчета» объяснял, в свою очередь, докладчик по Учр. Собранию в Совещании Советов Станкевич. Ближайший срок – это сентябрь. Милюков в «Истории» поясняет, что созыв У. С. «не мог состояться до введения на местах новых демократических органов самоуправления»[559].

С другой стороны, «хотя Правительство обязалось также привлечь к выборам и армию, но у перваго состава Врем. Пр. – продолжает Милюков – сложилось убеждение, что это можно лишь в момент затишья военных операций, т. е. не раньше поздней осени». Все сознавали, что произвести выборы в Учр. Собр. без участия армии, фактически невозможно. «Где вы найдете такую силу, которая решилась бы устранить от участия в выборах в У. С. ту стихию, которая нам создала и обезпечивает самый созыв этого Собрания», говорил докладчик в Совещании Советов. Вместе с тем производить выборы в «боевой обстановке», когда невозможна предвыборная кампания (дневник ген. Селивачева 10 марта) казалось ненормальным, и с фронта действительно поступали депутатам, объезжавшим действующую армию отдельныя ходатайства об отложении выборов даже «до окончания войны» в виду невозможности агитации. Однако, и созыв юридическаго «Особаго Совещания» затормозился. Милюков объясняет задержку тем, что Совет вначале не отвечал на предложение определить численность представителей в Совещании от демократических организации, потом оспаривали эту численность. Дальше пошли проволочки с посылкой делегатов, и вместо 25–30 апреля, как предполагала юридическая комиссия при Правительстве, работа Совещания так и «не началась» при Временном Правительстве перваго состава. Правительственная декларация новаго коалиционнаго кабинета подчеркивала, что все усилия Правительства направлены на скорейший созыв У. С. Но лишь 25 мая было «опубликовано положение» об Особом Совещании и началась работа Совещания. «Сентябрь», таким образом, отдалялся на ноябрь. В Киеве в Комитете общ. организаций Керенский мотивировал эту отсрочку другими соображениями, чем те, которыя

выдвигали представители «цензовой общественности», – невозможностью предвыборной кампании в разгар сельско-хозяйственных работ.

Так или иначе совершена была величайшая, роковая и непоправимая тактическая ошибка революции – совершена была и bona fide по догматике государствоведов и mala fide по близоруким соображениям оттянуть решительный момент в надежде на изменение условий, при которых соберется решающее законодательное учреждение. – Давление, которое в этом отношении на Врем. Правительство оказывали социально-экономическия привилегированныя группы, не подлежит сомнению. В июльские дни после большевицкаго выступления требование отсрочки У. С. становится общим местом почти всей тогдашней правой общественности, определенно высказывавшейся в этом отношении в частных совещаниях членов Гос. Думы. Совет Союза казачьих войск ходатайствовал перед Керенским об отсрочке выборов на срок «не ранее января» в виду «непрекращающегося на местах большевицкаго и анархическаго движения», которое делает «совершенно невозможной правильную работу по подготовке выборов»... Милюков считает (в «Истории») «политическим грехом» перваго коалиционнаго правительства назначение выборов в У. С. в явно невозможный срок «в угоду левым социалистам»... Убеждение, что «отложение созыва У. С. понизит то настроение, которое теперь имеется», разделяли и в демократических кругах. Эту тезу, между прочим, развил в Совещании Советов делегат Вологды Серов: Настроения «огромный фактор» и поэтому затягивать созыв У. С. нельзя. Депутат из губернии с развитой сетью кооперативных организаций вместе с тем с некоторым пессимизмом оценивал революционныя настроения современной деревни, откуда война изъяла наиболее сознательный элемент. Серов видел главную опасность со стороны деревенской женщины, которая в «большей части до сих пор еще плачет, что нет на престоле Николая Романова: оне говорят, что хорошо, чтобы царь, хоть плохенький. но царь». Серов делал отсюда лишь вывод, что «огромная работа» по строительству «новой деревни» не терпит отлагательства.

Никто, конечно, не мог предвидеть возможности разгона Учред. Собрания теми, кто требование скорейшаго его созыва превращали в свою агитационную платформу. Но не так трудно было предугадать роль, которую в выборах должны были сыграть «истинные представители революционнаго народа» в Советах. Для докладчика в Совещании Советов трудовика Станкевича одна сторона вопроса решалась «просто»: «Советы Р. и С. Д. – говорил он – не могут на время выборов отказаться от роли

наблюдения и контроля и обезпечения правильности выборов»[560]. Эта формальная задача представлялась докладчику столь важной, что он боялся усложнить ее другими задачами. Он ставил «под сомнение» возможность для Советов, как выразителей «мнения российской демократии», выступить на выборах в У. С. со «своей платформой, платформой блока(?) социалистических партий». Самостоятельное выступление «трудно примирило с функцией контроля», нуждается в «соглашении» с партиями, что и «сложно и щекотливо». – Докладчик от имени Исп. Ком. предлагал вопрос не решать, а оставить его «открытым, не связывая свободы местных организаций»... Какой то злой иронией отзывается тот факт, что решение руководителей советскаго центра, отнюдь не склонных удовлетвориться только ролью технических инструкторов в «избирательной кампании в Учр. Собрание, – решение в облике двуликаго Януса – должен был обосновывать представитель трудовой группы. Вмешательство Советов в избирательную кампанию. наряду с политическими партиями, искажало лишь «волю народа», ибо фикции выдавались за действительность.

Скорейший созыв Учредительнаго Собрания был в интересах всей страны. Подобную мысль в июльские дни в противность петербургским настроениям высказали в Москве «Русския Ведомости», «Учредительное Собрание – писала газета – последняя ставка для тех, кто не хочет гражданской войны»... «Если есть мирный выход, то он в Учредительном Собрании». Старый, либерально-демократический орган, очень близкий партии к. д. по персональному составу своих руководителей в это время, но никогда не терявший характера «независимаго органа свободной русской общественной мысли» (Розенберг). предпочитал выборы «несовершенные» отсрочке «избирательной кампании». Мне кажется этот вывод совершенно непреложным и в дни перваго революционнаго Правительства. Быть может, глубоко прав заместивший Палеолога на посту французскаго посла в Петербурге Нуланс, написавший в своих воспоминаниях, что Россия избегла бы октябрьскаго переворота, если бы не было отложено Учредительное Собрание. Страна не могла жить месяцами в революционной лихорадке только в ожидании. Каждый день ставил и новыя испытания «самодержавию» Временнаго Правительства. Жизнь превращала в идеологический мираж требования не предвосхищать решений Учред. Собрания, как «выразителя народной воли». Такия требования формулировал Ц. К. партии народной свободы 6 мая в дни, последовавшие за апрельским правительственным кризисом. Отвлеченность «требований» настолько была очевидна, что тот же Ц. К.

партии в своем заявлении делал оговорку, сводящую почти на нет принципиальную позицию, когда речь шла о директивах членам, вступающим в коалиционное министерство: «впредь до созыва» Уч. Собр., партия считала возможным «содействовать проведению в жизнь всех неотложных мероприятий» с целью «установления разумной и целесообразной экономической и финансовой политики, подготовки к земельной реформе, направленной к передаче земли трудовому земледельческому населению» и т. д. «Неотложныя мероприятия», «разумная и целесообразная экономическая политика» допускали широкое и субъективное толкование.

На восьмом съезде партии к. д., который происходил в мае, т. е. тогда, когда Милюков покинул ряды Правительства и был лично в оппозиции кабинету, создавшемуся на коалиционной основе, он говорил, что Временное Правительство перваго состава, «созданное Думой и освященное силами революции, пользовалось непререкаемым авторитетом». Временное Правительство слишком преувеличивало свою популярность – скажет Родзянко в воспоминаниях; оно видимые признаки единодушия приняло за реальность и это было «зловещей иллюзией» – подведут итоги первые историки революции. Одно мы можем сказать, революционное правительство на горе стране не сумело в значительной степени по собственной вине воспользоваться той исключительной популярностью, которую ему дали настроения «мартовских дней». – Историк не сможет согласиться с записью в дневнике ген. Куропаткина под 18 марта о том, что «авторитет Временнаго Правительства» был «чрезвычайно мал».

В «Истории революции», написанной Милюковым в обстановке, казалось бы, недавних переживаний 17-го года, Временное Правительство представляется каким то комитетом по созыву Учредительнаго Собрания: «все его очередныя меры были чисто формальныя и подготовительныя. Оно просто готовило условия для свободнаго выражения народной воли в Учр. Собр., не предрешая по существу, как выразится эта воля относительно всех очередных вопросов государственнаго строительства – политических, социальных, национальных и экономических». Едва ли это соответствовало действительности, и приходится усомниться в том, что руководящее ядро в Правительстве сознательно шло на политическое самоубийство[561].

Использованная Литература

Авдеев. Первые дни февральской революции. Прол. Рев. 13.

Авдеев. Революция 1917 г. Хроника событий. 1923.

Алданов. Третье марта. Юбилейный сб. в честь Милюкова. Париж. 1929.

Александр Михайлович (в. кн.). Книга воспоминаний. Париж 1933 г.

Алексеев Н. Рождение приказа номер первый. «Возрождение» № 2554, 1932 г.

Алексеев (ген.). Из дневника Рус. Ист. Арх., т. I.

Андрей Владимирович (в. кн.). Дневник. Красный Архив XXVI.

Андреев. Из офицерских писем с фронта в 1917 г. Кр. Арх. L-LI. ,

Анэ. La Révolution Russe. Paris 1919.

Арбатов. Екатерннослав, 1917–22. Арх. Рус. Рев. XIII.

Блок. Последние дни императорской власти. 1921 г. (переп. в А. Р. Р. IV).

Болдырев. Из дневника, 1917 г. Кр. Арх. XXШ.

Борьба за октябрь на Артемщине. Харьков 1929.

Боткина-Мельник. Воспоминания о царской семье. Белград 1921.

Бош. Год борьбы – 1925 г.

Брамсон. К истории трудовой партии. Пет. 1917.

Бубликов. Русская революция. Нью-Іорк 1918.

Булгаков. Революция на автомобилях. «На Чужой Стороне», № 6.

Буржуазия накануне революции. Ред. Граве, 1927.

Бьюкенен. Моя миссия в России. Берлин 1924.

Васильев. Mes souvenirs. «Monde Slave». 1927.

Верешак. Революция на Кавказе. «Воля Россіи».

Верховное Командование в первые дни революции. Кр. Арх. V.

Верховский. Россия на Голгофе. Петр. 1918.

Верховский. На переломе жизни. «Былое» № 27.

Верцинский. Год революции. Талин 1929.

Вильчковский. Пребывание Государя Императора в Пскове по разсказу ген. Рузскаго. Русская Летопись кн. 3.

Винберг. Крестный путь. Мюнхен 1922.

Витте. Воспоминания. Берлин 1922.

Вишняк. Два пути. Париж 1931.

Вишняк, Lenin. Paris 1933.

Воейков. С Царем и без Царя. Гельсингфорс 1936.

Волконский. Мои воспоминания. Мюнхен 1923.

Воронович. Записки председателя Совета солд. депутатов. (Архив Гражданской войны, вып. II). Берлин.

Врангель. Записки. Ч. I. «Белое Дело», кн. V.

Врангель Н. От крепостного права до большевиков. Берлин, 1924.

Гайстер. Всеподданейший отчет Саратовскаго губ. Столыпина. Кр. Ар. XVII.

Галкин. Октябрьская рев. в Ростовском у. Ростов.

Генкина. Февральский переворот. Очерк истории окт. рев. под ред. Покровскаго II – 1927.

Головин. Русская контр-революция. Париж 1937.

Головин. Внешния усилия России в мировой войне. Париж 1939.

Гольденвейзер. Киевския воспоминания. Арх. Р. Рев. VI.

Горелов. На реках вавилонских. Берлин 1921.

Государственное Совещание. Архив Окт. Рев. 1930.

Горев. Предисловие к книге ген. Мартынова «Февральская Революция».

Градовский. Шлиссельбургская каторга. «Былое» № 27–28.

Гурко I. Царь и Царица. Париж 1922.

Гурко B. Erinnerungen an Krieg und Revolution. Berlin 1920.

Гучков. Воспоминания. «Последния Новости».

Данилов (ген.). Мои воспоминания об имп. Николае II и в. кн. Михаиле Алекндровиче. А. Р. Рев. XIX.

Данилов И. Воспоминания о подневольной службе у большевиков. А. Р.Рев. XIV. .

Демидов. Царское Село 1 марта 17 г. «Посл. Нов.», 12 марта 1927.

Деникин. Очерки русской смуты.

Деникин. Об исправлениях истории. «Посл. Нов.», № 5712.

Дитерихс. Убийство царской семьи. Владивосток 1922.

Дробина. Приказ № 2. Кр. Арх. XXXVII.

Дубенский. Как произошел переворот в России. «Рус. Лет.», кн. 3.

Жеваков. Воспоминания. Мюнхен 1923.

Жильяр. Имп. Николай II и его семья. Вена 1931.

Заславсшй и Канторович. Хроника февр. револ. 1924.

Зворикин. , .

Зензинов. Из жизни революционера, Париж 1929.

Иванов (ген.). Письмо Гучкову. Кр. Арх. XXIV.

Иванов. Увольнение Н. Н. Романова от должности верховнаго главнокомандующаго. Кр. Арх. X.

Иностранные дипломаты о революции. Кр. Арх. XXIV.
Ичас. 27 и 28 февраля 1917.г. «Посл. Нов.» 12 марта 1927 г.
Канторович. Фон Линде. «Былое» 24.
Карабчевский. Революция в России. Берлин 1921.
Катенев. Занятие департамента полиции. «Гол. М. (На Ч. С.)» № 6.
Каюров. Шесть дней Февральской революции. Прол. Рев. 13.
Кельсон. Мелодия Февральской революции. «Былое» № 29.
Керенский. Издалека. Париж 1922.
Керенский. La Révolution Russe. Paris 1928.
Керенский. La Verité sur le massacre des Romanoff. Paris 1936.
Керенский. L'Expérience Kerensky. Paris 1936.
Керенский. Февраль и октябрь. «Соврем. Записки».
Керсновский. Исторія русской армии. Белград 1938.
Кипченко и Чекотилло. Отчет комиссаров XI армии. «Белый Архив» кн. 1.
Кирпичников. Воспоминания о л.-гв. Волынском полке. «Былое» 1917, кн. 5–6.
Клейнмихель. Из потонувшаго Міра. Берлин 1923.
Коковцев. Из моего прошлаго. Париж 1933.
Колчак. Допрос. 1925 г.
Кондратьев. Воспоминания о подпольной работе. «Красн. Лет.» № 9.
Короленко. Отечество в опасности. (15 марта –1917 г.).
Короленко. Письмо к Протопопову. «Былое» № 20.
Краснов. Памяти Имп. Русской Армии. «Русская Летопись» кн. 5.
Крестьянское движение т. 1917 г. (1917 г. в документах). 1927.
Курлов. Гибель императорской России. Берлин 1923.
Куропаткин. Из дневника (1917 г.). Кр. Арх. XX.
Легра. Memoires de Russia Paris 1921.
Лелевич. Февральская революция в белогвардейском освещении. Прол. Рев. 13.
Ленин. Сочинения, т. XIV (первое издание).
Лозинский. Прол. Рев., № 69.
Ломоносов. Воспоминания о мартовской революции.
Лукаш. Преображенцы. Петр. 1917 г.
Лукомский. Воспоминания, т I. Берлин 1922.
Людендорф. Воспоминания.
Львов Вл. Воспоминания (напечатанныя страницы).
Маклаков. Отрывки ненапечатанных воспоминаний.
Маклаков. Préface aux Interrogat. par le Com. Ext. de 1917.

Максаков и Трунов. Хроника гражданской войны в Сибири. М. 1926.
Максимов. Воспоминания анархиста. Лет. Революции. Берлин.
Мансырев. Мои воспоминания о Гос. Думе. «Ист. и Совр.» № 3.
Маркович. La Révolution Russe par une francaise, Paris 1918.
Маргулиес. Год инервенции.Берлин 1923.
Марков С.Покинутая царская семья. Вена 1928.
Мартынов. Царская армия в февральском перевороте. 1927 г.
Мартынов. Аграрное движение в 1917 г. по документам Гл. Зем. Комитета. Кр Арх. XIV.
Массарик. Мірова революция. Прага 1926 г.
Махно.
Мельницкий. Воспоминания матроса. «Прол. Рев.» 10.
Милюков. История второй русской революции.
Милюков. Россия на переломе, т. I.
Милюков. Первый день. «Посл. Нов.» 1927 г. 12 марта.
Милюков. Последние советы Царицы. «Посл. Нов.», 23 февр. 1924 г.
Милюков. Гурко и новейшая нстория. «Посл. Нов.» 1924 г.
Милюков. Роковые годы. «Русския Записки» XIX.
Милюков. Дневники. Кр. Арх. 51, 57.
Милюков. Суд над кадетским либерализмом. «Совр. Зап.», XLI.
Мельгунов. Золотой ключ к большевицкой революции.
Мельгунов. На путях к дворцовому перевороту.
Мельгунов. В годы гражданской войны.
Мельгунов. Трагедия адм. Колчака.
Мельгунов. Методы и выводы ген. Головина.
Мельгунов. Как большевики захватили власть.
Мельгунов. Гражданская война в освещении Милюкова.
Мордвинов. Отрывки нз воспоминаний. «Рус. Лет.», № 5.
Мстиславский. Гибель царизма. 1927.
Мстиславский. Пять дней. Берлин 1922.
Мякотин. Великий переворот. М. 1917.
Набоков. Временное Правительство. Арх. Рус. Рев. I.
Набоков. Испытания дипломата.
Наратов. «Кр. Лет.» 23.
Нарышкина. Дневник за 1917 г. «Посл. Нов.» 1936.
Никитин. Роковые годы. Париж 1937.
Николай II. Дневник. Кр Арх. XX.
Николай Мих. (в. кн.). Дневники. Кр. Арх. 49.
Нокс.

Нольде. L'Ancien Régime et la Révolution Russe. Paris 1928.

Нуланс. Mon ambassade en Russie soviétique, 1917-.19. Paris 1933.

Оамер. В дни революции в Царскосельском дворце. «Сегодня» 16 июля 33 г.

Оберучев. В дни революции. Нью-Iорк 1919.

Обзор положения России за три месяца революции. (Отчет Врем. Комитета) Кр. Ар. XV.

Октябрь в деревне.

Отчет Оверменской Комиссии Сената. Соед. Шт. 1927.

Отчет о перлюстрации деп. полиции за 1908 г. Кр. Арх. XXVII.

Падение царскаго режима. Стенографический отчет допросов Чр. Сл. Ком. I-VII, 1926 г.

Палеолог. La Russie des Tzars.

Палей. Souvenirs de Russie 1916–19. Paris 1923.

Переписка Н. А. и А. Ф. Романовых Предисловие Покровскаго. М. 1925 г.

Переписка великих князей (Николая II и вел. князя) 1925 г.

Перетц. В цитадели русской революции. Петр. 1917.

Петрищев. 20 лет февральской революции. «Нов. Рус. Слово» март 37 г

Письма солдат, Кр. Арх. 64.

Плеханов. Год на родине. Париж 1921.

Покровский. Очерки революционнаго движения 1924.

Поливанов. Из дневников и воспоминаний. 1924 г.

Полнер. Жизненный путь кн. Львова. Париж 1932.

Половцов. Дни затмения. Париж.

Пронин. Последние дни Царской Ставки. Белград 1932

Протоколы Исп. Комитета Петр. Совета Р. и С. Д. 1925

Протопопов. Из дневника. Кр. Арх. X.

Пташкина. Дневник. Париж 1922.

Путятина. Les derniers jours du Gr. Duk Mich. Al. Revue de deux Mondes. 1923.

Пещехонов. Первая неделя. «На Чужой Стороне», № 1.

Пэрс. Предисловие к книге Керенскаго «La Verite».

Рабинович. Борьба за армию в 1917 г. 1930.

Рабинович. Тактика высшаго командования в февральской революции (письма Лукомскаго). Кр. Арх. 35.

Рабочее движение в 1917 г. (Арх. Окт. Рев.) 1926.

Разложение армии в 1917 г. 1925.

Раскольников. Кронштадт и Питер в 1917 г. 1925 г.
Рафес. Два года революции на Украине. 1920.
Революционная пропаганда в армии 1916–1917 г. Кр. Арх. XVII.
Рейнгартен. Дневник 1917 г. Кр. Арх. XVI
Родзянко. Государственная Дума и февральская революция. А. Р. Рев. VI.
Родзянко. Письмо кн. Львову 18 марта. Кр. Арх. II.
Романовы в первые дни революции. Кр. Арх. XXIV.
Романовы и союзники. Кр. Арх. XVI.
Романовы Н. и А. Переписка. 1927.
Рубинштейн. Внешняя политика, Кереновщина. «Очерки окт. рев.» под ред. Покровскаго, т II.
Руднев. При вечерних огнях. Харбин 1928.
Рысс. Русский опыт. Париж 1921.
Савич. Отречение от престола имп. Николая П. «Рус. Лет.» 3.
Садиков. Предисловие к воспоминаниям Родзянко. Арх. Р. Рев. XIII.
Сборник в честь Милюкова.
Селиванов. Дневник. Кр. Арх. IX.
Сергей Михайлович (в. кн.). Письма. Кр. Арх. 57.
Сидоров. Влияние империал. войны на экономику России. Очерки к истории октябр. революции.
Скобелев. 25 февраля – 3 марта. «Веч. Москва»
Смидович. Выход из подполья в Москве. Пр. Рев. 13.
Смирнов. Autour.
Совещание Советов. (Арх. Окт. рев.).
Соколов. Убийство царской семьи. Берлин 1925.
Сорокин. Гвардейский экипаж в февральские дни 17 г. «Кат. и Ссылка», № 81.
Ставка и мин. ин. д. Кр. Арх. XXX.
Станкевич. Воспоминания. Берлин 1920.
Сторожев. Февральская Революция 1917 г. «Науч. Изв.» 1922 г.
Струве. Размышления о русской революции.
Суханов. Записки о революции. I и II. Берлин 1922.
Сухомлинов. Воспоминания. Берлин 1924.
Телеграммы Ставки. С примечаниями Рузскаго. «Рус. Лет.» кн. 3.
Тихменев. Из воспоминаний о последних днях пребывания имп. Николая II в Ставке. Ницца 1925.
Троцкий. История русской революции. Берлин, 1931.
Тхоржевский. О Гучкове. «Возрождение».

Уфимское Совещание. Рус. Ист. Арх. Прага 1929.
Учредительное Собрание (стеногр. отчет), 1917 г. в документах. 1930.
Февральская революция 17 г. (Докумнты Ставки). Кр. Арх. XXI-XXII.
Февральская революция и европейские социалисты. Кр. Арх. XVI.
Февральская революция в Петрограде (донесения в военную Комиссию Врем. Ком.). Кр. Арх. XII-XIII.
Февральская революция 1917 г. Частное Совещание Гос. Думы. «Воля России», 1921, № 153.
Февральская революция и Охранное Отделение. «Былое».
Хинчук. Из воспоминаний о февр. революции. Прол. Рев. 13.
Чебышев. Близкая даль.
Чернов. Рождение революционной России. Париж 1934
Шамбрэн.
Шессэн.« La Révolution Russe (au pays de la Démence Rouge)» .Paris.
Шестаков. Совет Крест. Депутатов.
Шидловский. Воспоминания. Берлин 1923.
Шкловский. Сантиментальное путешествие. Берлин 1923.
Шляпников. Канун 1917 г.
Шляпников. Семнадцатый год. 1923–27 г.
Шляпников. Февральская революция и евр. социалисты. Кр. Арх. XV
Шляпников. Февральские дни в Петрограде. Прол. Рев. 13
Шредер. От самоуправления к Советам. «Изв. Инст. Из. России». Прага.
Штребель. Германская революция. Берлин 1921.
Штерн. В огне гражданской войны. Париж 1922
Шульгин. Дни. Белград 1925
Щеголев. Последний рейс Николая II. 1928.
Югов. Советы в первый период революции. (Очерки по истории окт. революции. Под ред. Покровскаго) т. II. 1927.
Якоби. Le Tzar Nikaolay II et la Révolution. Paris 1931.
Яхонтов. Тяжелые дни. Арх. Рус. Рев. XVIII.
Энгельгардт. Революционные дни. «Общее Дело» 1921 г.
Z. Последние советы. «Посл. Нов.». 30 апреля 1924.

Примечания

[1] - Изложенные ниже факты с достаточной очевидностью свидетельствуют, что революции всегда происходят не так, как оне представляются схоластическим умам. Поэтому и не жизненны современныя измышления всякаго рода «молекулярных теорий» революционных процессов.

[2] - Дополнением к ним может послужить очерк Шляпникова, посвященный «Революции 17 г.», и Генкиной в коллективной работе по «Истории октябрьской революции» (1927 г.).

[3] - Так выразился Милюков в своей истории революции. Между тем, посколько самочинно возникший Временный Комитет выражал мнение «цензовой общественности», постолько и «самозванный» Совет мог считаться выразителем настроений демократии (социалистической и рабочей массы). Термин «цензовая общественность», конечно, далеко не покрывал собой те многочисленные элементы, демократические по своему составу, которые примыкали к «надклассовой» партии народной свободы.

[4] - Между тем сам Шульгин высокаго мнения о своих заданиях – в книге «1920 г.», он, между прочим, пишет: о русской революции «будет написано столько же лжи, сколько о французской, и поэтому в высшей степени важно для нашего будущаго правдиво изобразить то, что... происходило перед нашими глазами».

[5] - Надо иметь в виду, что Шляпников в эти дни работал в значительной степени на периферии и был поглощен текущей работой (непосредственным участием в «боевом» действии и мало интересовался вопросом, что из «этого выйдет»). Последовательный «революционизм» мешал ему, уже в качестве мемуариста, признать инициативу, исходившую от советских кругов.

[6] - Надо признать, что появление на исторической авансцене представителей политической эмиграции – «людей знания», которых на мартовском съезде к.-д. приветствовал фактический вождь тогдашней «цензовой общественности», – ничего положительнаго революции не дало: слишком оторвались они от реальной русской жизни.

[7] - Вопрос о техническом правительственном аппарате не так уже неразрешим на практике. В 18 г. немцы разрешили его просто, создав при социалистическом кабинете «управляющих делами» – Fachminister.

[8] - Таково же было ощущение и в Москве. Первый председатель

Совета Хинчук в своих воспоминаниях попытку посеять панику приписывает «храбрым» интеллигентным «вождям» из Комитета Общ. Организаций и полученным сведениям о наступлении Эверта с Зап. фронта, и противопоставляет растерянность «общественников» уверенности рабочих, опиравшихся на то, что «воинския части группами, полным составом» отдавали себя в распоряжение Совета. Старый большевик, Смидович сделал по этому поводу примечание: «Ничего подобнаго не было. Еще около недели в нашем распоряжении были только тысячи полторы сброда (большинство без винтовок) да пара пушек без снарядов, кажется, без замков».

[9] - Легенду эту породило неверное сообщение, полученное председателем Думы Родзянко и сообщенное им ген. Рузскому на Северном фронте.

[10] - Для характеристики искренности мемуариста, которому 27-го «и пойти было некуда» (столь неожиданна для него была наростающая февральская волна), можно привести такую выдержку из записи Гиппиус 1марта: «По разсказам Бори (т. е. Андрея Белаго), видевшаго вчера и Масловскаго и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против «коммунны» и боятся стихии и крайности».

[11] - Слова Ленина на апрельской конференции 17 г. У Ленина издалека составилось весьма своеобразное представление о ходе революции, оно совершенно не соответствовало истинному положению дел. Он писал в своих «письмах издалека», напечатанных в «Правде»: «Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, «разыграна» точно после десятка главных и второстепенных репетиций: «актеры» знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь до всякаго сколько-нибудь значительнаго оттенка политических настроений и приемов действия».

[12] - См. мои книги «На путях к дворцовому перевороту» и «Золотой немецкий ключ к большевицкой революции».

[13] - Солдаты запасных частей, взятые от сохи или станка, преимущественно ратники второго разряда, «запертые в казармах ... плохо содержимые, скучающие и озлобленные», как характеризует их быт ген. Мартынов, представляли «чрезвычайно благоприятную почву для всякой антиправительственной пропаганды» Они должны были содействовать «успеху революции». Агент Охр. Отд. Крестьянинов доносит начальству о «контакте», существующем между рабочими и солдатами, у которых все «давно организовано» (правда это были только случайно подслушанные

трамвайные разговоры). Скопление в городах этих запасных было чрезвычайное – так в Петербурге численность гарнизона доходила до 160 тыс. чел. (явление, обычное и для других городов – напр., в Омске гарнизон состоял из 70 тыс. при 50 тыс. взрослаго населения). «Непростительная ошибка», скажет английский посол в своих воспоминаниях. Но, конечно, к числу легенд следует отнести утверждение, что это сознательно было проведено теми, кто готовил «дворцовый переворот» (больш. историк Покровский).

[14] - «Центральный большевицкий штаб ... поражает безпомощностью и отсутствием инициативы».– констатирует Троцкий.

[15] - В «Истории» Милюкова имеется явное недоразумение, когда воззванию Исп. Ком. 28-го. призывавшему население объединиться около Совета, приписывается мысль создания самостоятельной советской власти. Такая мысль была высказана в № 2 московских «Известий» (3 марта) – официальном органе местнаго Совета, редактируемом большевиком Степановым-Скворцовым. В статье московский Совет призывался к созданию временнаго революционнаго правительства – не для того проливалась на улицах кровь, чтобы заменить царское правительство правительством Милюкова-Родзянко для захвата Константинополя и т. д. Статья прозвучала одиноко и никаких последствий не имела. Большевицкие историки должны признать, что подобные лозунги в те дни «успеха не имели» и остались «висеть в воздухе».

[16] - Пешехонов, котораго «влекло туда, в народ, в его гущу», и который испытывал почти отвращение («становилось тошно») от мысли, что ему придется работать в «литературной комиссии», куда он, наряду со Стекловым. Сухановым и Соколовым, был избран накануне, предпочел, к сожалению, отойти от центра и взять на себя комиссарство на Петербургской стороне.

[17] - Плеханов имел в виду Милюкова и Родзянко. Оппонируя Церетели, Милюков говорил: «Неверно, что своей победой революция обязана неорганизованной стихии. Она обязана этой победой Гос. Думе, объединившей весь народ и давшей санкции перевороту». Родзянко указывал, что «страна примкнула к Гос. Думе, возглавившей ... движение и, тем самым принявшей на себя и ответственность за исход государственнаго переворота».

[18] - «Ведь это была Дума 3 июня, – писал, напр., Милюков, в день десятилетия революции, – Дума с искусственно подобранным правым крылом, а в своем большинстве «прогрессивнаго блока» лояльная Дума,

«оппозиция Его Величеству»– явно для возглавления революции она не годилась».

[19] - Сама Гиппиус полагала: «Боюсь, что дело гораздо проще. Так как ... никакой картины организованнаго выступления не наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик. Без достоинства бунтовали–без достоинства покоримся».

[20] - Частное Совещание было намечено заранее и ни в какой связи, вопреки утверждений Шульгина. Керенскаго и др., с указом о роспуске, полученным Родзянко накануне под вечер не стояло.

[21] - Насколько легенда прочно укоренилась в сознании современников видно из телеграфнаго ответа редакции «Рус. Вед.» на запрос лондонской газеты «Daily Chronicle», который гласил, что Дума отказалась подчиниться указу о роспуске.

[22] - В воспоминаниях Шидловскаго предложение Некрасова охарактеризовано словами «военная диктатура», по Мансыреву это было (предложение президиуму Думы ехать немедленно к председателю Совета Министров и просить о наделении Маниковскаго или Поливанова (эти кандидатуры были выдвинуты по отчету «Воля России» октябристом Савичем) «диктаторскими полномочиями для подавления бунта».

[23] - По словам того же мемуариста, Шингарев был в негодовании: «подобныя вещи могут делать лишь немцы, наши враги».

[24] - Бюро прогрессивнаго блока было дополнено депутатами леваго сектора и вышедшими ранее из блока «прогрессистами». В Комитет вошли Родзянко, Милюков, Некрасов, Дмитрюков, Шидловский, Шульгин, Львов Вл., Караулов, Ржевский, Коновалов, Керенский и Чхеидзе.

[25] - Это воспоминания Кирпичникова, сколько протокол опроса, сделаннаго в полковом комитете.

[26] - В иных работах Преображенский полк появляется в Таврическом уже 26-го, при чем солдаты заявляют, что царь низложен и они себя во власть Думы (Зворыкин). Русские лапсусы породили ошибки и у иностранных обозревателей, которые представляют возставшие полки в порядке (как «на параде») вступающими на революционную стезю, напр. Измайловский полк в изображении Chessin.

[27] - В с.-д. журнале «Мысль» позже в 19 г. появилась статья Кричевскаго в которой на основании каких-то документов излагался план, выработанный еще раньше, в предшествующие дни уличных волнений в штабе Преображенскаго Полка, о выступлении в понедельник утром (т. е.

27-го) с целью с оружием в руках добиваться осуществления министерства доверия. Полк отдавал себя в распоряжение Гос. Думы, предполагались арест правительства и отречение Императора. Солдаты соответственно были информированы, и план 27-го начал осуществляться, но выступление оказалось уже запоздалым, так как народ стихийным порывом предупредил осуществление заговора.

[28] - Он добавлял: «прочел статью в англ. журнале «New Statements»; там прямо говорится о бывших попытках заключить сепаратный мир, а про Протопопова что он «организовал бунт».

[29] - Интересно как определил дневник «лозунги» происшедших безпорядков: «война до победы», «долой Императрицу», «дайте хлеба».

[30] - Некрологическое преувеличение роли, сыгранной 27-го Линде, не имеет значения. Этот молодой философ-математик, целиком отдавшийся порывам «историческаго мгновения», трагически погиб в качестве военнаго комиссара на фронте под ударами разнузданной солдатчины в дни подготовки июньскаго наступления.

[31] - Как далеко это от той уличной толпы, которую изобразил 27-го перед Думой в своем «селянском» увлечении Чернов – толпа, от которой пахло «дегтем, овчиной и трудовым потом».

[32] - Не только Станкевича, но и Пешехонова поразили «тишина и безлюдие», которыя он нашел в Таврическом дворце, куда он пришел в 9 1/2 час. вечера, идя уже по пустым улицам города с далекой Петербургской стороны. Шел Пешехонов я о Литейному мимо пылающаго еще здания Судебных Установлений и встречал только «отдельных прохожих».

[33] - Милюков изображает его объединенным заседанием Временнаго Комитета и Временнаго Правительства, при чем добавляет, что Вр. Пр. охотно пошло на обсуждение условий, выдвинутых Советом. Надо ли говорить, что в момент когда происходило заседание, Врем. Прав, еще не было сконструировано хотя и были уже намечены лица, которыя должны были в него войти.

[34] - Воспоминания Керенскаго. действительно, показывают, что он плохо вникал в то, о чем говорилось, поэтому так легко на страницах его повествований появляются необоснованныя утверждения, в роде того, что, напр., программа соглашения «демократии» и «цензовиков» предварительно была выработана думским Комитетом.

[35] - На совещании присутствовал и председатель Совета Чхеидзе, входивший в состав думскаго Комитета, но роль его в часы ночного бдения

на 2-е марта совершенно неясна.

[36] - Напр., в биографии кн. Львова, написанной Полнером.

[37] - Этот человек вообще спешил с инициативой – по записи Гиппиус ему приписывается и редакция согласительных пунктов, написанных будто бы его собственной рукой.

[38] - Еще днем Суханов совместно со Стекловым составил воззвание к солдатам против самосудов и насилий над офицерами. Оно не было напечатано в «Известиях», так как наборщики, отказались набирать его, найдя, что оно стоит в некотором «противоречии» с одновременно набиравшимся «приказом № 1». Так, по крайней мере, говорит Суханов.

[39] - Сцену увода Керенским Соколова (а не всех делегатов) для частной беседы, отмечает в воспоминаниях и Вл. Львов, ставя это внушение в связь с «приказом № 1», к составлению котораго Соколов был причастен (см. ниже). Возможно, что это было по линии масонства, связывавшей обоих деятелей леваго крыла тогдашней предреволюционной общественности. (См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту»).

[40] - «Праздничное, радостное возбуждение» Пешехонов у себя на Петербургской стороне отметил раньше – 27-го.

[41] - Любопытно, что Булгаков, оказавшись в писательской среде Мережковскаго, нашел, что он «в первый раз сталкивался за эти дни с таким мрачным взглядом на судьбу революционной России». Дневник Гиппиус, если он точно в своих записях передает тогдашния настроения своего автора, отнюдь не дает достаточнаго материала для безнадежнаго пессимизма. Возможно, что «детски сияющий», по выражению писательницы, толстовец несколько переоценил законный скепсис язвительнаго Антона Крайняго по поводу «кислых известий о наростающей стихийности и вражде Советов и думцев»... Гиппиус признается, что навел на них ужаснейший мрак» пришедший «в полном отчаянии и безнадежности» в 11 час. веч. из Думы никто иной, как будущий левый с.-р. Иванов-Разумник: он с «полным ужасом и отвращением» смотрел на Совет. Позже Иванов-Разумник, в страничке воспоминаний, напечатанной в партийном органе «Знамя», заявлял, что это он попал в «штаб-квартиру будущей духовной контр-революции».

[42] - Характерно, что воспоминания о своего рода пасхальных настроениях проходят во множестве мемуарных откликов: в Киеве все поздравляли друг друга, как «в светлый Христов день» (Оберучев).

[43] - Эти статьи и составляют как бы подневную запись мемуариста, принадлежавшаго к буржуазной среде и освещавшаго события с известной

тенденцией.

[44] - Эту сантиментальную сцену нельзя не сопоставить с последующей трактовкой тогдашняго «душевнаго состояния» лидера цензовой общественности, данной Алдановым в историческом этюде «Третье марта», который был напечатан в юбилейном сборнике в честь Милюкова, Писатель говорит (как будто бы со слов самого Милюкова) о «ужасных подозрениях» Милюкова, которыя в «глубине души» шевелились – вел ли он политические переговоры с представителями «революционной демократии или перед ним были «германские агенты» (!).

[45] - Однако, по словам того же мемуариста, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Гос. Думы казаку Караулову. Он задумал «арестовать всех» и объявить себя диктатором. Но, когда, он повел такия речи в одном наиболее «надежном полку», он увидел, что, если он не перестанет, то ему самому не сдобровать.

[46] - В свое время это организующее значение отметил Милюков, относившийся с резким отрицанием к захватническим тенденциям руководителей Совета.

[47] - Яркий пример того, как позднейшие биографы неточно передают настроения своих героев в смутные дни революции. В упомянутой юбилейной памятке Алданов пишет о Милюкове: «Со своим обычным видом «смотреть бодро» он говорил солдатам об открывающейся перед Россией новой светлой жизни, и видение близкой гибели Российскаго государства складывалось в нем все яснее».

[48] - Это не было и специфической чертой интеллигенции. В одном из последующих документов революции (доклад депутатов в Врем. Комитете о поездках в провинцию) зарегистрирован яркий бытовой облик деревенскаго оратора, приехавшаго из центра односельчанина: «говорит, говорит – уморится; сядет, закроет глаза и сидит, пока не отойдет немного, отошел – начинает, пока опять из сил не выбьется».

[49] - В такое полуобморочное состояние Керенский в эти дни необычайнаго нервнаго напряжения впадал довольно часто, и это, как говорят все, производило на толпу сильное гипнотизирующее впечатление.

[50] - Термин, появившийся значительно позже.

[51] - В разсказе о Петропавловской крепости, в котором Ш. повествует о своих личных подвигах, он также безнадежно спутал, приписывая себе то, чего не было. Опускаем этот эпизод, непосредственнаго отношения к

теме не имеющий.

[52] - В телеграмме Родзянко просил свидания. «Телеграмма эта, – утверждает Ломоносов, – была передана под личным моим наблюдением в Царский поезд под расписку Воейкова, но ответа не последовало».

[53] - Ломоносов передает красочную сцену, как он, приставив револьвер «к животу» инж. Устругова, будущаго тов. мин. революционнаго правительства, побуждал последняго осуществить план перерыва движения.

[54] - Ломоносов пишет, что он воспроизводит запись 17-го г., но в момент опубликования воспоминаний он был уже «большевиком», хотя и в «генеральских погонах» и, следовательно, в тексте охотнее «подчеркнул бы самодеятельность пролетариата.

[55] - «Значение этой причины необходимо для дальнейшей нашей беседы». – отметил Рузский, указывая, что он был «глубоко опечален», узнав, что предположенная встреча Царя с председателем Думы, о чём он узнал непосредственно от Царя, не состоится – встреча, предвещавшая «возможность соглашения и быстраго умиротворения родины».

[56] - Эти железнодорожники, стоявшие на страже революции, могли олицетворяться в добровольном помощнике Бубликова, б. счетоводе службы сборов Сев.-Зап. ж. д., большевике по партийной принадлежности, Рулевском, находившимся в непосредственных связях с советскими кругами.

[57] - Характерно, что Бьюкенен, связанный довольно тесно с левым сектором думскаго комитета, сообщая 1 марта в Лондон Бальфуру, что Дума посылает в Бологое делегатов, которые должны предъявить Императору требование отречься от престола в пользу сына, тем не менее делает оговорку: «если Император останется на престоле».

[58] - Основываясь на выше процитированных словах из воспоминаний Шульгина, Щеголев желает безуспешно доказать, что Родзянко пытался проникнуть к Царю «по собственному почину, без совещания со своими коллегами по Исп. Ком. Гос. Думы», и что должен был «раскрыть свои карты, когда, по распоряжению Исп. Ком. Сов. Р. Д. ему, всемогущему Родзянко, не дали поезда».

[59] - Очевидно, прис. пов. Иванов.

[60] - Кир. Влад. в ответ жаловался, что «Миша, несмотря на мои настойчивыя просьбы работать ясно и единомышленно с нашим семейством, прячется и только сообщается секретно с Родзянко».

[61] - Так и понял Рузский, передавая в Ставку Алексееву свой разговор: «династический вопрос поставлен ребром, и войну можно продолжать до победоноснаго конца при исполнении предъявляемых вновь требований относительно отречения от престола».

[62] - Термин «левый», конечно, можно применять лишь относительно, ибо к этому сектору принадлежат такие люди, как Гучков и Шульгин, не говоря уже о прославленном Вл. Львове, такую ядовитую характеристику котораго дал Шидловский: «Человек неуравновешенный до ненормальности. Ему во всякую минуту могла придти любая мысль, утром – левая, вечером – черносотенная, и он всецело ей отдавался до следующей смены мысли». Родзянко был вне этого «леваго» сектора, но, конечно, права была в тогдашней записи Гиппиус: имя Родзянко «ровно столько же не пользуется доверием демократии, сколько имена Милюкова и Гучкова».

[63] - «Что ... говорят о Государе?» – спросил ген. Дубенский какого-то полковника, прибывшаго в Псков 2 марта с первым поездом из Петрограда после революционных дней. «Да о Государе почти ничего не говорят», – ответил полковник.

[64] - Намек на убийство Распутина.

[65] - Палеолог разсказывает, что 28-го в 5 час. дня его посетил человек, высоко стоящий на иерархической лестнице бюрократии, некто К. (Коковцев?), заявивший, что он прибыл к нему по поручению Родзянко для того, чтобы узнать мнение посла по поводу проекта думскаго комитета о монархии.

[66] - В эту ночь при. объезде города Гучковым в его автомобиле был убит кн. Вяземский, давний единомышленник Гучкова и соучастник в подготовке последняго дворцоваго переворота. Вяземский погиб от одной из тех случайных «шальных пуль», которых было много в те дни в Петербурге. Эту версию без всяких каких-либо оговорок передавал мне лично и сам Гучков.

[67] - В это целиком уверовал, напр., Чернов, в качестве историка революции.

[68] - Свидетели, бывшие в Пскове, утверждают, что документ, привезенный думскими делегатами, был написан рукою Шульгина. Не очень можно доверять мемуаристу с такой ослабленной памятью в отношении собственных действий.

[69] - Распространившаяся в Думе молва и вызвала, вероятно те недоброжелательно-скептические разговоры, которые услышал Набоков 2

марта в Таврическом дворце.

[70] - Повседневность записей в «дневнике» Палеолога должна приниматься весьма относительно. Ясно, что многия записи делались задним числом: так не мог Палеолог в полночь 1-го марта получить сообщение о «секретном» заседании представителей «либеральных партий», на котором в отсутствие социалистических депутатов во Врем. Ком. решался по предложению Гучкова вопрос о будущей форме правления и было принято решение о немедленной поездке в Псков, чтобы добиться от Царя добровольнаго отречения.

[71] - «В то время, – пояснял очень обще в Комиссии Гучков – были получены сведения, что какие-то эшелоны двигаются к Петрограду. Это могло быть связано с именем Иванова, но меня это не особенно смущало, потому что я знал состояние и настроение армии и был убежден, что какая-нибудь карательная экспедиция могла, конечно, привести к 'некоторому кровопролитию, но к возстанавлению старой власти она уже не могла привести».

[72] - Чхеидзе вообще не принимал почти никакого участия в работах Врем. Ком., но вовсе не отказывался от звания члена Комитета, как утверждал Гучков.

[73] - Привожу, конечно, перевод.

[74] - Далее Керенский говорит, что делегаты выехали около 4 час. дня.

[75] - «Не возражали ли вы против принятия формы республиканскаго правления сразу» – настаивал Соколов. – «Да там и речи об этом не было... По этому вопросу выказываться не приходилось. Со стороны Исп. Ком. это предъявлено не было. Я помню, я возражал по некоторым вопросам, касающимся армии и смертной казни».

[76] - Из этих слов Гучкова вытекает, что возражение Керенскаго в смысле нарушения «полномочий» относилось только к воцарению в. кн. Михаила.

[77] - Нам предстоит впредь не раз цитировать указанную запись в дневнике Андрея Вл. Этот дневник выделяется среди других добросовестностью и точностью в изложении фактов, нам известных.

[78] - Автор разсказывает, как грабителя переодевались солдатами для того, чтобы иметь свободу действия. Образныя иллюстрации подобных «обысков» по квартирам можно найти в воспоминаниях Кельсона и др. Не следует, однако, преувеличивать роль этих «полчищ» уголовных. Характерна, напр., московская статистка, не отметившая увеличения

преступности за март по сравнению с отчетами прошлаго времени («Р. В.»). И уголовный мир подвергся в известной степени облагораживающему мартовскому психозу. Чего стоит, напр., одно сообщение о революционной идиллии в Одессе, как начальник разбойнической шайки Котовский, приговоренный к каторге, отпускается из тюрьмы «под честное слово» для председательствования на «митинге уголовных». (Впрочем, возможно, что газетное сообщение и приукрасило действительность, и Котовский не то «разбойник», не то «анархист», прославившийся в большевицкия времена, был просто освобожден толпой из разгромленной тюрьмы – газеты передавали, что из 2.200 бежавших арестантов 1.600 вернулась). Но и через полгода уездный комиссар из Раненбурга доносил правительству, что в «знаменитой Братовке» (Нарышкинской вол.), «известной своими ворами», в дни революции краж не было, потому что на сходе «дана была клятва: кражи прекратить ».

[79] - Агрессивность толпы можно было бы прекрасно охарактеризовать разсказом небезизвестнаго Авалова-Бермонта, появившагося в столице на другой день революции, в самый разгар уличных столкновений, если бы все повествование мемуариста не вызывало сомнений – он даже дату революции плохо запомнил: для него «роковым днем» является 26 февраля. Бермонт уложил из месте перваго же солдата, который пытался его обезоружить, взял извозчика и встав на пролетке с револьвером в руках, без больших затруднений выскользнул из окружавшей толпы. Храбрый мемуарист негодует на тех типовых героев, с которыми он встретился в Петербурге, и которые носили офицерское звания, но забыли о воинском долге.

[80] - Общее число несколько больше – 1.656, но, по словам Мартынова, сюда были включены заболевания, который на счет революции поставлены быть не могут (малокровие и пр.!!). В газетах эти заболевания более правдоподобно были отнесены к числу «нервных потрясений».

[81] - Среди «181» имена многих остались «неизвестными».

[82] - Но совершенная, конечно, ерунда, что для устройства «похорон жертв революции собрали из больниц тела китайцев, умерших от тифа. Об этих покойниках-«революционерах» говорит Мельник-Боткина, повторяя злостную пародию некоторых современников.

[83] - Провинция нам может дать много примеров того, что можно назвать революционной идиллией. Напр., в Екатеринославе помощник полицеймейстера полк. Белоконь шел во главе манифестации 3 марта; в Бахмуте полиция охраняла порядок в аналогичной манифестации; в

Харькове губернатор объявил 4-го, что всякое выступление против новаго правительства будет «всемерно преследоваться и караться по всей строгости закона»; курьезно, что о «привлечении к ответственности» врагов новаго строя говорил никто иной, как местный начальник жандармскаго управления.

[84] - Драма в Луге 1 марта (в этот день Луга, пережила то, что Петербург пережил 28-го) может явиться довольно доказательной иллюстрацией. Вот как она изображена в воспоминаниях Вороновича. Я вынужден отбросить все характерныя детали, объясняющая обстановку, в которой произошел арест Менгдена группою солдат разрозненных частей, преимущественно артиллеристов новобранцев, при попустительстве кавалергардов, среди которых «наш старик» пользовался значительными симпатиями. Мотив ареста был тот, что нужно арестовать офицеров «из немцев» по подозрению в шпионаже. Подлежали аресту по приготовленной «записочке»: фон Зейдлиц, бар. Розенберг, Собир, Эгерштром и гр. Клейнмихель. Первые трое, оказавшиеся в управлении, были, взяты на поруки кавалеристами и оставлены на свободе. Полк. Эгершгром и ротм. Клейнмнхель были приведены на гауптвахту, где был заключен ген. Менгден, как не признающий новаго революционнаго правительства. Воронович подчеркивает, что Эгерштрома и Клейнмихеля «ненавидели все солдаты пункта» (Клейнмихель накануне приказал «всыпать сто розог» за неотдание чести). Вызывающее поведение арестованных, т. е. угрозы со стороны их в ответ на «глумление» солдат, вызвали самосуд, жертвой котораго сделался и Менгден... «Убийство Менгдена – говорит Воронович – произвело на солдат удручающее впечатление. Я слышал, как многие предлагали немедленно разыскать убийцу старика и расправиться с ним». Что касается Штакельберга, то здесь была и некоторая специфичность в обстановке. По разсказу кн. Путятиной, жившей в соседнем доме, старик генерал со своим деньщиком оказали вооруженное сопротивление «в течение нескольких часов» толпе солдат, пытавшейся проникнуть в дом.

[85] - «Страх» и «неуверенность» отмечает и упомянутая выше протокольная запись опроса в Волынском полку. «Стадо баранов» скажет про перепуганных запасных старик Врангель.

[86] - Трудно определенно решить этот вопрос, хотя во всей литературе, начиная с советской «хроники» революционных событий, приказ этот цитируется, но среди опубликованных официальных документов (два воззвания временнаго Комитета, помеченныя 27-м) его нет. Нельзя

забывать, что типографская техника в первую ночь еще так плохо была налажена, что одно из первых советских обращений, предлагавшее населению приютить и накормить возставших солдат, распространялось по городу в литографированном виде.

[87] - В воспоминаниях (с обычной неточностью) можно найти отклик закулисной борьбы, происходившей в собрании. В Исп. Ком. «явились возбужденные офицеры» – разсказывает Суханов – которые жаловались «на злостное искажение их позиции, так как из Временнаго Комитета, куда доставлена была резолюция, она пошла в печать уже без Учредительнаго Собрания». «Я прочел резолюцию (т. е. «проект) – вспоминает Шульгин – и кратко объяснил, что говорить об Учр. Собрании не нужно». Делегаты обещали «вычеркнуть и провести это в собрании». Однако, резолюция с Учр. Собр. была проведена единогласно. Родзянко, относя резолюцию на 3-ье марта, говорит, что собрание («в числе около ста тысяч человек» так и напечатано в гессеновском «Архиве») вынесло «самыя резкия резолюции до требования ареста имп. Николая II» – «многочисленная депутация явилась ко мне(тогда во Врем. Ком. с целью поддержать резолюции и с трудом удалось успокоить взволнованную до невозможности публику». Резолюция была напечатана с упоминанием об Учредительном Собрании и, вероятно, она оказалась не без влияния на то «новое течение», которое к вечеру перваго марта стало намечаться в руководящих кругах «цензовой общественности».

[88] - По словам солдата-большевика Сорокина, принадлежавшаго к составу Гвардейскаго Экипажа, «революционная осанка» в. кн. Кирилла шла будто бы так далеко, что он сам, взяв винтовку, отстреливался от «городовых» – воображаемых и невидимых врагов.

[89] - Подлиннаго текста энгельгардтовскаго приказа я не мог найти. Даже дата его остается сомнительной, ибо многие из упоминающих о нем относят его к 28-му, не к первому, что, пожалуй более соответствует обстановке.

[90] - Весьма большое, конечно, »преувеличение допустили составители «Хроники февральской революции» в утверждении, что «к 4 часам 27 февраля весь город за исключением Адмиралтейства, Зимняго дворца и Петропавловской крепости находился во власти возставших».

[91] - Военныя училища, которыя старое правительство не считало возможным привлекать к подавлению уличных безпорядков, были в февральские дни на положении «нейтральных» (Мстиславский). Правильно было бы сказать о положении колебательном: один из

документов военной комиссии, помеченный 6 ч.50 м. утра перваго марта, гласит, напр., что павловское училище «располагалось, может быть, даже выступить против».

[92] - При отсутствии материала приходится воздерживаться от слишком категорических толкований, к которым склонны комментаторы большевицких изданий, и связать диктаторския тенденции Караулова (если только верить указаниям Шульгина) с попытками использовать Преображенский полк.

[93] - Стеклов, очевидно, имел в виду упомянутое объявление Энгельгардта.

[94] - Человек иного лагеря, сын члена Гос. Думы Алексеев, тогда еще студент Петербургскаго университета, в статье «Рождение приказа номер первый» (с подзаголовком «из дневника»), напечатанной в 32 г. на столбцах эм. газеты «Возрождение», развил противоположный взгляд на происхождение этого документа. Он утверждал, что сам присутствовал 28-го в Таврическом дворце, когда «рабочие и солдатня, представители революционнаго Петербурга и германскаго ген. штаба создавали «приказ № 1». Алексеев видел отпечатанный на машинке оригинал текста с карандашными и чернильными поправками разными почерками, «заготовленный не в помещении Думы » принесенный Кливинским. В его присутствии оригинал текста по использовании почему-то был инициаторами передан депутату Караулову, с которым представители революционной демократии не были в добрых отношениях. Глаза Алексеева вообще в то время видели слишком много, а рука его это многое занесла в «дневник». Явившись утром или в ранние дневные часы в Думу, он застал «необычайное зрелище» превращения Таврическаго дворца в «цитадель» – спешно свозилось продовольствие, заготовляли ручныя гранаты. Вокруг в углах и на балконах говорились речи, «ежеминутно» приводились арестованные и т. д. На этой неудержимой фантастике слишком богатой (памяти очевидца останавливаться, конечно, не стоит. Отмечаем ее, как последнее (хронологически) выражение другой версии происхождения «приказа № 1», сделавшейся также общим местом в мемуарах, вышедших из среды представителей «цензовой общественности» 17 г. Там царит на основании «внутренняго убеждения» вера в германское происхождение приказа, осуществленного через посредничество особой «подпольной организации» (Гучков, Родзянко, Шидловский и др. – даже отчасти Милюков). У таких «историков» революции, как Якобий, «приказ № 1», являющий собой выполнение

обязательств перед германским ген. штабом, целиком и проредактароваи последним.

[95] - В записи 17 г. Энгельгардт говорит о выборных солдатах, пришедших «приблизительно от 20 различных частей».

[96] - В записи 17 г. значится: «приказ, проектированный ими, много меньше затрагивал основы военной (дисциплины, чем приказ № 1, и касался лишь выборов младших офицеров и установления некотораго наблюдения солдат за хозяйством в частях войск».

[97] - В записи 17 г. Энгельгардт свидетельствовал, что вопрос был обсужден в заседании Врем. Комитета.

[98] - В записи 17 г. говорится, что предложено было принять участие в разработке Энгельгардту, как председателю военной комиссии Кстати сказать, что он уже им не был. Функции председателя принял, Гучков, назначив своим помощником ген. Потапова.

[99] - Мы видим, как далек Керенский от действительности, когда утверждает, что «приказ № 1 был опубликован в ответ (?) на распоряжение Энгелъгардта.

[100] - Не менее резко выразился на совещании членов Гос. Думы 18 июля крайне поправевший за дни революции депутат Масленников – он говорил о «проходимцах», заседавших в Исп. Ком. С. и Р. Д. и проявивших изданием «приказа № 1» не то «подлость», не то «безумие»..

[101] - Косвенное подтверждение можно найти в воспоминаниях Гучкова, который отнес разработку «приказа» на ночь, когда он возвращался из Пскова.

[102] - Побасенка от том, что «приказ № 1» явился актом «временнаго правительства», настолько прочно укоренилась в сознании некоторых кругов, что ее через много лет повторил в воспоминаниях в. кн. Александр Мих., а придворный историограф ген. Дубенский так определенно знал, что Алексеев «полтора часа» уговаривал Гучкова не опубликовывать этого «приказа». Военную среду донельзя раздражали заявления представителей революционной демократии. что они в свое время вынуждены были обстоятельствами издать приказ № 1.

[103] - Сам Иванов выехал позже, и его вагон был прицеплен к эшелону в Орше. Этот факт, как мы увидим, он позже и пытался при допросе в Чр. След. Комиссии использовать, как доказательство того, что никакой карательной экспедиции не было.

[104] - По разсказу Ломоносова Иванов требовал пропустить до Ц. С. с

отдельным паровозом только один его вагон. Думский (комиссар Бубликов запросил Врем. Ком. и получил будто бы приказ: «пропустить». Несуразность этого разсказа столь очевидна (Иванов прибыл в Царское со всем своим отрядом), что ген. Мартынов вольно или невольно сделал подмену и говорит, что по инструкции Вр. Ком. Иванову был дан экстренный поезд. (Отсюда вывод: Врем. Ком. видел в Иванове «не столько врага, сколько союзника»).

[105] - Бородинский полк шел тремя эшелонами и специальным эшелоном батареи. К моменту, когда разыгрались события, в Луге находились два первые эшелона.

[106] - Несколько неясно лишь о пулеметной команде полка, о которой упоминал Иванов, как ушедшей вместе с «моряками» в Петербург. Отсюда пошел слух, что полк «побратался» (Мстиславский) с возставшими.

[107] - О свидании его с имп. Александрой Федоровной в другом месте.

[108] - Письмо к Гучкову было опубликовано еще в революционные дни в «Русском Инвалиде».. Между прочим, Иванов писал, что его вагон был просто «прицеплен» к поезду с Георгиевским батальоном. Вероятно, это и послужило основой для ломоносовской легенды, приподнесенной автором в виде разсказа о том, как под вывеской таинственной поездки георгиевских кавалеров на выставку трофеев в Ц. С. пытались сокрыть истинную цель посылки экспедиции ген. Иванова.

[109] - Блок пишет, что Доманевский был командирован ген. Занкевичем для «исполнения должности начальника штаба» в отряде Иванова. Сам Иванов об этом в показании не упоминает и говорит, что были (присланы «два человека... сообщить и ориентировать». (В показаниях Иванов говорит о встрече с Тилле, но в письме Гучкову называет и Доманевскаго).

[110] - Ген. Занкевич, командовавший 28-го правительственвыми войсками на Дворцовой пл., 2-го по приказанию Родзянко запрашивал управление ген. кварт, в Ставке о положении на фронте.

[111] - В воззвании этого не было, но очевидно так была информирована Ставка. По крайней мере и ген. Болдырев в свой псковский дневник записал нечто аналогичное.

[112] - «Прихвастнул я» – замечает мемуарист, осведомленный через ген. Потапова, что для встречи на «6-й версте» имеется 4 пушки и шесть тысяч солдат.

[113] - Шульгин утверждает, что на одной из станций они были даже

соединены прямым проводом с находившимся в Гатчине Ивановым и имели довольно длительную беседу с ним: «старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать». Иванов жаловался на то, что отрезан от Петербурга, жаловался на разложение георгиевцев и пр. Из-за спешки дело ограничилось лишь информационными разговорами. Сообщение Шульгина доверия не возбуждает.

[114] - Ивановым был арестован лишь начальник станции не то Вырицы, не то Царскаго Села. В служебной записке Тихменева упоминается начальник царскосельской станции, котораго Иванов увез с собой в Вырицу «по неизвестной причине».

[115] - По утверждению Шидловскаго, «журнал Комитета» был составлен __ «один общий для периода 27 февраля – 10 марта», так что он действительно писался post factum, «и старания разделить все это время на отдельныя заседания оказались не осуществимыми». Не подразумевается ли под таким протоколом то обозрение, которое редактировал Милюков?

[116] - Интересно, что и во Временном Комитете выставлены были подобные же аргументы в пользу кандидатуры Керенскаго. Так утверждает б. московский прокурор Чебышев, ссылаясь на Максакова: «Керенский был назначен в ведомство, где он мог «меньше принести государству вреда».

[117] - Я должен исправить не совсем понятную теперь для меня ошибку в тексте моей книги «На путях к дворцовому перевороту». Там сказано, что кандидатура Керенскаго выдвинулась тогда, когда предварительный список, оглашенный Милюковым в залах Таврическаго дворца, вызвал бурный протест. Тогда члены Врем. Комитета пожертвовали Маклаковым и уговорили Керенскаго принять назначение. Колебались между этими двумя именами. Но как раз в первоначальном наброске состава Временнаго Правительства, помеченном 1 марта, значится первой фамилия Керенскаго – она зачеркнута, и вставлено Маклаков».

[118] - Этот вопрос подробно разобран в моей книге «Судьба имп. Николая II после отречения».

[119] - «Я лично – добавляет мемуарист – подписал единственный, подсунутый мне ордер об аресте за всю революцию. Моей случайной жертвой был человек, во всяком случае, достойный своей участи более, чем сотни и тысячи. Это был Крашенинников – сенатор и председатель петербургской Судебной Палаты – возможный (?) глава царистской реакции, вдохновитель серьезных монархических заговоров».

[120] - 8-го марта совершенно неожиданно инициатором одного из

арестов является представлявшей тогда в Исп. Ком. трудовиков Н. В, Чайковский: по его предложению постановлено было арестовать протопр. военнаго ведомства Шавельскаго. Мотивы решения в протоколе не указаны. Шавельский был арестован и находился под арестом в течение двух суток.

[121] - Находившиеся в Думе репортеры говорили Керенскому, что он в данный момент всемогущ в России (франц. текст воспоминаний).

[122] - В воспоминаниях Керенскаго студент не играет никакой роли. Это он, Керенский, пришедший тогда уже, когда Родзянко приглашал Щегловитова в свой кабинет, оборвал чрезмерную любезность Родзянко словами: «Щегловитов здесь не ваш гость, и я отказываюсь его освободить». В воспоминаниях Родзянко никакого Керенскаго не было, когда группа преображенцев привела к нему арестованнаго Щегловитова. Пораженный произволом Родзянко приказал освободить Щ., но солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и самым «вызывающим образом» показали председателю свои винтовки, после чего Щ. был уведен «нензвестно куда». По словам Керенскаго, он немедленно после захвата председателя Гос. Совета направился в министерский павильон и пытался убедить Щегловитова, во имя искупления своего прошлаго, оказать родине услугу, (протелефонировав в Царское Село о безполезности сопротивления и посоветовав отдаться на милость народа. Щегловитов с твердостью от этого отказался.

[123] - Для того, чтобы избежать упреков за то, что он Думу превращает в полицейскую кордегардию, Керенский нарочно избрал «министерский павильон», находившейся как-бы вне Думы к соединенный с ней крытой галлереей.

[124] - Были аресты, произведенные и по инициативе самого Врем. Комитета – так «по приказу правительства» (т. е. Вр. Ком.), был арестован финл. ген.-губ. Зейн и его помощник Боровитинов.

[125] - Впрочем, условия, в которыя поставлена была графиня, находившаяся с 11 марта уже под домашним арестом, были довольно таки своеобразны в революционной обстановке. Как утверждает комендант Таврическаго дворца, Перетц, у нея была собственная комбинированная охрана, ею оплачиваемая: 8 человек «домашней охраны» и 15 солдат гвардейскаго экипажа. Гвардейцы получали двойную плату –по 2 руб. в .день.

[126] - Упоминавшийся уже французский журналист Анэ, со слов одного присутствовавших членов Совета, говорит, что в Екатерининском

зале с Сухомлиновым произошел такой инцидент. Какой-то солдат бросился на него со штыком на перевес. Не сплошавший Сухомлинов погрозил солдату пальцем – и солдат отступил. Пусть это будет только ходячим анекдотом – он характеризует обстановку.

[127] - Жевахов все же был арестован. Когда его привезли в Таврический дворец, «толпа ревела» и забрасывала камнями камион. Но конвой покинул арестованнаго, и Жевахову пришлось итти самоарестовываться и самому отыскивать путь в «министерский павильон».

[128] - По утверждениям Керенскаго, это была в ночь на 3-е марта; по словам самих заключенных, в ночь на 2-ое. Последнюю дату сообщает и Зензинов, принимавший непосредственное участие в ночной операции.

[129] - В первые два дня обстановка была, как свидетельствуют воспоминания того-же Жевахова, несколько иной, несмотря на то, что арестованные были окружены «озверевшей» толпой, желавшей «растерзать» бывших министров. Сохраним стиль б. тов. обер-прокурора Св. Синода: «Подле арестованных суетились жидки, семинаристы, выпущенные на свободу политические преступники. Каждый из них старался быть отменно и изысканно вежливым, внимательным и предупредительным. Обращаясь к арестованным, они говорили: «когда мы сидели в тюрьме, то вы надевали на нас кандалы, а вот мы угощаем вас папиросами; и тут же появлялся огромный поднос с табаком и папиросами. Откуда-то явились и сестры милосердия или же переодетыя курсистки с уголовным прошлым, я не знаю»... Сестры разносили чай, одна из них «открыто возмущалась чинимым насильем, была посредницей в переписке заключенных с родными»... Жевахов говорит, что появившийся в павильоне с «целой свитой» Керенский произнес речь на тему, что они арестованы только потому, что он хотел сохранить им жизнь, так как при народном гневе против слуг прежняго режима каждый из них рисковал сделаться «жертвой народной расправы».

[130] - Ошибка – старший Хвостов не был арестован, а младший Алексей был арестован позже в процессе разсмотрения его дела в Чр. Сл. Комиссии.

[131] - Как будто это подтверждает более правильное определение часа, даннаго Курловым.

[132] - Керенский перечисляет Сухомлинова среди тех 8 министров, которых он предупредил в ночь на; 3-е марта, но в списке Керенскаго не оказалось Макарова и других, которых, в общем, по воспоминаниям Зензинова, было 12 человек.

[133] - Эпидемия арестов в большей или меньшей степени прошла по всей России. (В минимальных размерах ее можно отметить для Москвы). Со всех концов из провинции повезли арестованных в центр. Значительное число их в первое время попадало в Думу, здесь они регистрировались, распределялись и освобождались особой думской комиссией по «принятию задержанных военных и высших гражданских чинов», получившей, в общежитии наименование «комиссия по разгрузке» Таврическаго дворца. Комиссия действовала в течение всего марта. Через месяц в кордегардии Тав. дворца, отошедшаго в ведение Совета, так как правительство перешло в Мариинский дворец, осталось 16 чел. (Р. В.). Однако, ответственныя лица среди арестованных – «опасные для новаго режима» – зачислялись за министром юстиции, от котораго и зависела их дальнейшая судьба.

[134] - И не только в северной столице, пережившей боевые дни. Старый революционер, полк. Оберучев, прошедший во время эмиграции жизненную школу «свободных стран» – Швейцарии и Соед. Штатов, в киевских воспоминаниях говорит о том «вкусе» к предварительным арестам «в порядке целесообразности», который развился среди лиц, возглавлявших общественный организации. Толпа шла дальше и, подобно революционерам «Петербургской стороны», требовала подчас арестов «инакомыслящих».

[135] - Накипь эту сгустило не только появление на авансцене освобожденнаго толпой из-под тюремных замков уголовнаго элемента, но и участие в событиях дня добровольцев «стараго режима». Прис. пов. Кнатц (Катенев), сделавщийся особым комиссаром «по охране архива, разгромленнаго толпой департамента полиции, разсказывает о своеобразной картине, представившейся ему при посещении особняка мин. вн. д. Громили департамент какие-то «верноподданные» революционеры открывшие несгораемые шкапы, заглянувшие в департаментския бумаги, но оставившие совершенно не тронутыми все царские портреты. К этим добровольцам стараго политическаго сыска могли присоединяться, конечно, и немецкие агенты. Надо ли говорить, что усиленно распространявшиеся тогда слухи, что революция освободила более 300 немецких шпионов из Петропавловской крепости – сплошная фантазия любителей сенсаций, легко попадавших в дневники и письма иностранных наблюдателей смутной эпохи (напр., гр. Шамбрэн – секретарь французской миссии).

[136] - Обыватель чувствовал себя на подмостках героической пьесы –

скажет Троцкий.

[137] - Русский человек, в представлены Оберучева, не мог сразу «выттряхнуть» из себя «жандармское нутро», которое было впитано им, благодаря «жизни при полицейском строе старой России». История последних десятилетий с особой отчетливостью показала, однако, что дрожжи, на которых поднимается революционное насилие, отнюдь не вырабатываются только в лаборатории традиции стараго городка.

[138] - Обратим внимание –Милюков не счел нужным в этот момент упомянуть о Госуд. Думе.

[139] - Пет. Тел. Аг. в ночь на 3-ье марта была разослана соответствующая циркулярная телеграмма.

[140] - «Что такое революция», задавало вопрос «Новое Время» 12 марта и отвечало: «Революция не разрушение, а созидание, не смерть, а возстание к истинной жизни. И да будет еще и еще благословенна великая русская революция».

[141] - В воспоминаниях Шляпникова отмечается, что в большевицких кругах после советскаго пленума проявилась тенденция немедленной агитации за вооруженное выступление против временнаго правительства, но у последняго «тогда оружия было куда больше, чем у нас». – «Соотношение сил не позволяло ставить вопрос в плоскость борьбы с оружием в руках».

[142] - Таким образом Кишкин целиком примыкал к позиции, к которой склонялись в Петербурге представители революционной демократии, отстаивавшие первоначально непредрешенчество формы правления. Характерно, что Кишкин еще 1-го марта с большим волнением, (он даже расплакался) на первом собрании Комитета общ. орг. говорил против сохранения монархии.

[143] - Настроения «буржуазных» кругов вовсе не были так единодушны. Примером может служить Н. Новгород, где телеграмма правительству с противомонархической резолюцией была принята 3 марта 44 голосами против 30. Впоследствии на Государственном Совещании Рябушинский вспоминал, с каким «единодушием» московские промышленники приветствовали «свержение презренной царской власти». В Симбирске торгово-промышленный союз высказался единогласно за республику.

[144] - В постановлении Совета имелось еще требование включения в программу временнаго правительства пункта о предоставлении всем национальностям права национальнаго и культурнаго самоопределения.

Постановление это не отразилось на тексте согласительной программы.

[145] - Причины мы не знаем. Годнев занял весьма своеобразную позицию в революционном правительстве. Позднее в Совещании членов Думы 18 июля он заявил, напр., что согласился занять пост государственнаго контролера -при условии, что не будет входить в состав Совета Министров (?!).

[146] - Ниже мы наглядно увидим, какую путаницу вызвала двойственная терминология «временнаго правительства» в умах современников.

[147] - Это посильно сделано на страницах первой части моей работы, посвященной «Легенде о сепаратном мире».

[148] - «На этой почве несомненно, разовьются события, сдержать которыя можно временно ценою пролития крови мирных граждан, но которыя при повторении сдержать будет невозможно».

[149] - В напечатанном Сторожевым тексте нет той заключительной фразы, которую приводит в воспоминаниях Родзянко (он передает эту телеграмму, хотя и берет в кавычках, очень сокращенно): «Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на Венценосца».

[150] - Дворцовый комендант Воейков в своих воспоминаниях говорит, что Царь не ответил на первую телеграмму Родзянко по формальным причинам, – потому что она была от имени уже распущенной Думы. Придуманное мемуаристом объяснение фактически неверно, так как телеграмма Родзянко была (получена в Ставке значительно раньше сообщения Голицына об отсрочке заседаний Думы. А главное Дума вовсе не была распущена, следовательно, председатель ея не терял своего звания.

[151] - Я тогда же записал со слов ближайших сотрудников «Русских Ведомостей» в дневник эту поразившую меня характеристику.

[152] - Копия эта входит в серию документов, опубликованных Вильчковским

[153] - Военный министр отозвался в Чрезвычайной Следственной Комиссии полным незнанием по поводу телеграммы и утверждал, что он о ней «в первый раз» слышит.

[154] - Исследователю, и в особенности эмигранту, пока приходится итти ощупью и (пользоваться разрозненными публикациями документов: в сводке Блока, у Сторожева, в «Красном Архиве» и т. д. В документах Ставки, опубликованных в «Красном Архиве», и по другой копии в воспоминаниях Лукомскаго, личная телеграмма Николая II отсутствует,

хотя по утверждению Воейкова, она прошла через военно-походную канцелярию.

[155] - Некоторое сомнение возбуждает телеграмма Рузскаго. На подлиннике ея имеется паметка: 2 час. 28-го. А на копии, имеющейся в том же деле: «Представлено Его Вел. 27». Зная педантичность Алексеева, трудно предположить ошибку в датировании. Царь в 1 час ночи переехал уже в свой поезд, отправлявшийся на заре из Могилева. Можно предположить, что пометка на оригинале относится к моменту, когда оригинал был доставлен начальнику штаба. Телеграмма была адресована непосредственно Царю.

[156] - Вернее, телеграмма была направлена в адрес главнокомандующаго Северным фронтом, как ближайшим к столице.

[157] - Телеграмма Беляева стояла в резком противоречии с тем, что сам Беляев телеграфировал перед тем, в 1 ч. 20 м., Алексееву. Там было сказано: «Начавшияся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Сейчас не удалось еще подавить бунт, но твердо уверен в скором наступлении спокойствия, для достижения коего принимаются безпощадныя меры. Власти сохраняют полное спокойствие». Эта телеграмма, действительно, разительно противоречила существовавшей обстановке.

[158] - Прямая ссылка Алексеева в разговоре с Даниловым на телеграмму военнаго министра за № 107, в силу которой Император повелел назначить Иванова главнокомандующим Петербургскаго военнаго округа, упраздняет другия существующия версии. Так Блок утверждал, что Иванов был назначен под влиянием позднейшей телеграммы председателя Совета министров Голицына, настаивавшей на командировании в столицу пользующегося популярностью в войсках боевого генерала, что, в свою очередь, отчасти могло подтверждать версию, которую устанавливал придворный историограф ген. Дубенский. По его словам (в записях, цитируемых Блоком), он и лейб-хирург Федоров (инициатива принадлежала Дубенскому) уговорили Иванова принять на себя миссию водворения порядка в столице. Иванов был посажен во время обеда рядом с Царем и внушил последнему мысль о посылке его в Петербург. Обед происходил в Ставке в 7 1/2 ч. веч.; Иванов в Чрезвычайной Следственной Комиссии совершенно определенно заявил, что перед обедом Алексеев объявил ему о его назначении, а сам Николай II жене телеграфировал в 7 час: «Выезжаю завтра 2.30. Конная гвардия получила приказание

немедленно выступить из Новгорода) в город (т.е. Петербург). Бог даст, безпорядки в войсках скоро будут прекращены».

[159] - Днём Царю представлена была ночная телеграмма Голицына, говорившая о перерыве занятий законодательных палат.

[160] - «Великий Князь» – это Михаил Александрович, который, однако, говорил из Петербурга с Алексеевым значительно позже момента получения в Ставке телеграммы Голицына. Лукомский этот разговор отнес к 12 час. дня, а был он в 10 1/2 вечера.

[161] - Автор поясняет: «Действительно, у ген. Алексеева температура была более 39 градусов».

[162] - В воспоминаниях помощ. ген.-кварт, полк. Пронина, изданных после воспоминаний Лукомскаго, как бы подтверждается разсказ последняго. Достаточно осведомленный, как будто, автор говорит: «В течение второй половины дня ген. Алексеев... несколько раз был с докладом у Государя и упрашивал его.. .последовать советам кн. Голицына и Родзянко и дать ответственное министерство... Вечером ген. А. вновь был у Государя и просил его даровать ответственное министерство. «На коленях умолял Его Величество, – сказал он, грустно качая головой, возвратившись из дворца: – не согласен». Надо иметь в виду, что свой «дневник» автор цитирует в кавычках только с записей 1-со марта.

[163] - Обращаю внимание на подчеркнутыя слова.

[164] - «Завтра при утреннем докладе, – заканчивал Алексеев, – еще раз доложу Е. И. В. желательность теперь же принять некоторыя меры, так как вполне сознаю, что в таких положениях упущенное время бывает невознаградимо».

[165] - Результатом этого совещания о продовольствии и была правительственная декларация в Гос. Думе 25-го и собрание в тот же день в Городской Думе с представителями от общественных и рабочих организаций. (См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту»).

[166] - «Несмотря на все убеждения в том, что ему надлежит выйти в отставку, чтобы облегчить Государю Императору разрешение назревающаго и все возрастающаго конфликта, – добавляет мемуарист, – кн. Голицын оставался неумолимым в своем решении, объяснив, что в минуту опасности он своей должности не оставит, считая это позорным бегством, и этим только еще больше усложнил и запутал создавшееся положение». Это, как мы уже знаем, совершенно не соответствовало действительности, так как совещание было после посылки Голицыным телеграммы в Ставку. Может быть, слова Родзянко надо считать отзвуком

предварительной беседы, которую вел Родзянко с Голицыным 26-го...

[167] - До некоторой степени в план был посвящен Шульгин, с которым предварительно Маклаков советовался. Шульгин, по обыкновению не помнит, что в воскресенье 26-го обсуждалось в бюро прогрессивнаго блока, но помнит, что предложил «не отделываться общей формулой» и наметить конкретно людей, доверием общества облеченных», – на случай, если правительство согласится пойти на путь соглашения с Думой, но список не составили, потому что нашли, что это «еще... невозможно».

[168] - Хронологическое совпадение показаний Беляева и отчасти Голицына с записью Палеолога позволяет допустить, что решение о телеграмме, действительно, было принято в ночном совещании министров 26-го. Выбитые событиями 27-го из колеи министры запоздали с отправкой телеграммы, или на них повлияли правые.

[169] - К сожалению непосредственные «записи-дневники» ген. Дубенскаго мы знаем лишь по отрывочным использованиям их Блока, или по выдержкам, прочтенным в Чрезвычайной Следственной Комиссии при допросе Дубенскаго. Другой «свитский», полк. Мордвинов, в воспоминаниях. правильно отмечая, что в телеграмме Голицыну Царь не соглашался на перемену в составе правительства, говорит, что Николай II несколько «раздраженно» и «нетерпеливо» реагировал на соответствующия обращения к нему.

[170] - По словам Пронина. в офицерской среде Ставки дворцовый комендант высказывался против реформ: «Знаем мы их, дай им палец, а они захотят отнять и всю руку: ещё посмотрим».

[171] - См. напр., дневник члена Гос. Совета гр. А. А. Бобринскаго.

[172] - Государевы дети уже были больны. А. Ф, писала мужу 26-го: «Бэби – это одна сплошная сыпь. – покрыло его, как леопарда. У Ольги большия плоския пятна. Аня (Вырубова) тоже покрыта сыпью. У всех болят глаза и горло».

[173] - Очевидно, речь идет о совещании правых членов Гос. Совета. По словам Протопопова, в заседание Совета министров прибыли Трепов, Ширинский-Шахматов, Маклаков с предложением ввести особое положение. Предложение было отвергнуто, – утверждал Протопопов: он ошибался... В воспоминаниях кн. Шаховского разсказывается о проекте сбросить ночью бомбы на Таврический дворец и уничтожить «революционное гнездо», «не оставить камня на камне». Предполагалось использовать летчиков Царскаго Села. «К сожалению, – пишет Шаховской, – Беляев не решался сделать это боясь громаднаго числа

жертв»...

[174] - В опубликованной переписке Ник. Ал. и Ал. Фед. нет телеграмм последней. «Местонахождение их редакции неизвестно – сообщается в предисловии. Таким образом неизвестен оригинал, которым пользовался Блок среди материалов Чрезвычайной Следственной Комиссии.

[175] - В опубликованной переписке нет никаких откликов, а между тем Ник. Ал. не оставлял без немедленнаго ответа ни одной телеграммы жены. Революционным анекдотом, подхваченным Троцким и др., является разсказ о том, как телеграммы Царя, которыя следовали одна за другой, возвращялись с карандашной пометкой: местонахождение адресата неизвестно. Об этом говорит и Вырубова, – от ея несколько истеричнаго повествования, быть может, и пошел «революционный» анекдот.

[176] - Иванов арестовал человек 30–40, отпущенных им по прибытии в Ц. Село.

[177] - Надо думать, что телеграмма Хабалова была послана «вслед на вокзал Царю», как это было сделано с «вериноподданической» депешей выборных членов Гос. Совета, полученной около 2 час. ночи.

[178] - Память Иванова не отличалась отчетливостью. Так в показаниях он говорит, что до беседы с Царем задал по телеграфу Хабалову десять вопросов о состоянии Петербурга. Блок, имевший в своем распоряжении те «три жёлтенькие листочка», на которых собственной рукой Иванова были записаны «пункты», утверждает, что переговоры по прямому проводу происходили в 8 час. утра 28-го, т. е. после выезда Царя из Могилева. Вероятно, Иванов запросил подробностей в связи с полученной Алексеевым телеграммой о том, что положение «до чрезвычайности трудно». Ответ Хабалова был принят в Ставке в 11 час. 30 мин. Главнокомандующий военным округом на вопросы Иванова ответил пессимистически: «В моем распоряжении в здании главнаго адмиралтейства четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен, две батареи, прочия войска перешли на сторону революционеров или остаются на соглашении с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров; все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются; весь город во власти революционеров, телеграф не действует, связи с частями города нет; министры арестованы революционерами» и т. д. Только относительно продовольствия Хабалов указал, что на 25-ое в городе запаса муки было 5 1/2 мил. пудов. Положение в Петербурге было признано безнадежным уже в 21 ч. 30 м., когда Беляев телеграфировал Алексееву, что войска по

требованию морского министра выведены из адмиралтейства, чтобы не подвергать разгрому здание. Перевод войск в другое место считали безцельным в виду «неполной их надежности». Часть была разведена по казармам.

[179] - Блок указывает, что Иванов считал впоследствии свои полномочия отпавшими, так как Алексеев их не подтвердил. В действительности Алексеев телеграфировал военному министру вышеприведенное «высочайшее повеление, отданное словесно через ген.-ад. Иванова около трех часов», и просил Беляева «изыскать все способы вручить это повеление председателю Совета Министров».

[180] - Дубенский, конечно, скажет (в воспоминаниях), что Иванов ему разсказывал после перваго разговора с Царем, что он из уст Царя услышал:, что дается «ответственное министерство» и что об этом послана телеграмма в Петербург.

[181] - Современники мемуаристы, которых в той или иной степени можно отнести к числу адептов «стараго режима» (Шульгин, Дубенский и др.), выражают удивление, что в февральские дни никто в столице не вспомнил про юнкерския училища – они могли послужить опорой для зашиты поставленнаго под угрозу государствеинаго порядка. В Ставке удивлялись, – вспоминает Дубенский, – что ген. Хабалов не воспользовался такими твердыми частями, как петроградския юнкерския училища, в которых в это время сосредоточивалось несколько тысяч юнкеров. «Если бы кто-нибудь понял значение военных училищ... эта минута могла спасти все», – разсуждает Шульгин. Надо ли говорить, что по отношению «к юнкерской молодежи в дни войны еще более применимо положение, которое Рузский выдвигал в письме Гурко 19 февраля и повторил в телеграмме Царю 27 февраля: современная армия однородна с тылом и отражает его настроения. По свидетельству ген. Гурко было решено вообще не прибегать к помощи юнкеров при усмирении безпорядков. Думается, что главную роль здесь играли не только соображения «политической благонадежности». Только революция превратила учащуюся молодежь в гражданских борцов. Такая психология органически была чужда дореволюционному времени.

[182] - Подобная угроза уже заключалась в объявлении Хабалова 25-го о досрочном призыве рабочей молодежи, если к 28-му не закончится стачка.

[183] - Петербургския газеты 26-го не вышли. О характере описываемаго собрания приходится судить по отчету Охраннаго Отделения министру вн. д. Отчет напечатан в работе Шляпникова.

[184] - Из этого явствует, что легкомысленный Протопопов, высказывавший 26-го уверенность, что рабочие встанут на работу, не так уже был далек от правильной оценки реальнаго положения или возможной действительности... Секретарю французскаго посольства тогда казалось, что достаточно Царю въехать верхом в столицу в сопровождении митрополита, чтобы прекратить волнения.

[185] - Однако и в отношении 27-го надлежит сделать оговорку – утром никаких «уличных боев» (Шляпников) не происходило, – быть может лишь к вечеру Петербург мог несколько напоминать «осажденный город», когда повсеместно стрельба начала сливаться, по выражению рабочаго Кондратьева в «общий гул», а по неосмотрительно употребленным Родзянко словам «на улицах... началась форменная резня».

[186] - Белецкий в Чрезв. Следств. Ком. объяснял это выделение недоверием к Рузскому который тяготел к Гос. Думе и был будто связан с Гучковым.

[187] - Шкловский, служивший в броневой части, говорит, что за 3–4 дня до революции было отдано распоряжение привести моторы на блиндированных автомобилях в состояние бездействия и сосредоточить последние в Михайловском манеже.

[188] - Из царской переписки, однако, легко выясняется, что гвардейский экипаж пользовался исключительным доверием верховной власти: матросы всегда были «сердцу их ближе».

[189] - Бывший саратовский губернатор Стремеухов, прославившийся своей борьбой с иером. Иллиодором, идет еще дальше и видит (причины февральских «голодных» безпорядков в сознательной задержке какими-то «таинственными силами» хлеба на станциях железных дорог Это была как бы провокация наоборот, которую отмечали ранния донесения департамента полиции.

[190] - См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту».

[191] - По утверждению «придворнаго скорохода» Оамера матросы прибыли в Ц. С. уже в декабре.

[192] - Естественно, «сказка» эта о пулеметах на крышах церквей попала и в добросовестныя иностранныя обозрения событий революционных дней (Chessin).

[193] - Легенда о том, как революционные железнодорожники преградили путь литерным поездам на ст. Дно, как было указано, имеет еще меньшую базу под собою. Повидимому, и эта легенда родилась в

Ставке. По крайней мере, ее повторяет вел. князь Александр Мих., ссылаясь на разсказы своего брата Сергея, находившагося в Ставке.

[194] - Перед тем Ник. Ал. получил успокоительную телеграмму из Царскаго, на которую в Лихославле ответил: ...«Рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома»....

[195] - Я лично был проездом случайным очевидцем фактов, разсказанных буфетчиком со ст. Любань инж. Ломоносову.

[196] - Царь твердо был уверен в надежности армии.

[197] - Столыпин говорил, что Царь в разговорах с ним часто ссылался на многострадальнаго Іова, в день котораго он родился – записал Палеолог со слов Сазонова. Неудачливость мужа в связи с днем Іова отмечала и А. Ф. Малодушия и трусости не было в характере Царя – Верховский разсказывает, какое сильное впечатление на него в молодости произвела выдержка Николая II в момент инцидента, происшедшаго на водосвятии на Неве 6 января 1905 г., когда одно орудие из Петропавловской крепости произвело выстрел картечью, разорвавшейся непосредственно за царской трибуной. Николай II спокойно ожидал все 101 выстрел.

[198] - Быть может, именно к этому моменту следует отнести характерную деталь. Прождав более получаса, Рузский пошел в купэ Воейкова и застал его спокойно развешивающим на стенах какия то фотографии – Воейков «забыл» доложить Царю». (В передаче Вильчковскаго сцена относится к моменту, предшествовавшему докладу)

[199] - Каждый из них относит слова Рузскаго к различным моментам.

[200] - В область мемуарных переживаний, очевидно, надо отнести утверждение помощника Лукомскаго, полк. Пронина; «Будь Император в Ставке, события приняли бы, более, чем вероятно, другой оборот».

[201] - Керенский совершенно ошибочно приписывает Родзянко посылку утром 2-го марта специальной телеграммы от имени Думы с требованием отречения.

[202] - Волнение Савича отмечает и Данилов. Другой мемуарист, очень пристрастный в своих отметках, несколько по иному изображает настроение ген. Савича в этот решающий день – правда, через несколько часов после сцены, о которой идет речь. В посмертных воспоминаниях Гучкова говорится: «В вагоне, в котором происходила беседа об отречении Государя, кроме Рузскаго, Шульгина и меня, находился ген. Савич. б. командир корпуса жандармов. Помню, как меня тогда возмутило его веселое настроение. У нас было глубокое ощущение трагизма этого

момента, а у него: «Ах, слава Богу, кончилось все это..,» Этот жандарм, ликующий во время отречения его монарха, является символической фигурой». В Пскове, естественно, появилось чувство облегчения в момент, когда, по выражению самого Гучкова в показаниях, «тяжелая операция, которая назревала и должна быта совершиться, наконец, закончилась».

[203] - Из писем А, Ф. хорошо известно, насколько она враждебно относилась к этому политическому деятелю. В дневнике ген. Поливанова за 12 г. вод 18 февраля имеется такая анекдотическая отметка: «Военный министр передал мне, что Государь сегодня опять говорил с неудовольствием о Гучкове и спрашивал военнаго министра, передал ли он ему, что Государь называет его «подлецом». Сухомлинов ответил. что такого случая еще не представилось». Палеолог называет в дневнике Гучкова «личным врагом Их Величеств».

[204] - По воспоминаниям Дубенскаго в разговоре с Федоровым Царь упомянул, что он останется около сына, будет заниматься его воспитанием, устраняясь от всякой политической деятельности, но что ему было бы очень тяжело оставить родину. На слова Федорова, что ему «никогда не разрешат жить в России, как бывшему императору», Ник. Ал. сказал: «Я это сознаю, но неужели могут думать, что я буду принимать когда-либо участие в какой-либо политической деятельности, после того, как оставлю трон».

[205] - По собственноручной записи Федорова, которой пользовался ген. Мартынов, вопрос о гемофилии наследника Царем был поставлен так: «Григорий Ефимович все время говорил, что А. Ник. к 13 годам будет совершенно здоров. Я и Государыня привыкли верить Гр. Еф., потому что все, что он предсказывал, всегда сбывалось». На это Федоров и ответил: «Если верить в чудо, то можно надеяться... Современная медицина таких примеров не знает»,

[206] - В записи Ан. Вл. все время говорится только об одной телеграмме. Телеграмму Алексееву Царь с самаго начала оставил у себя (по записи Вильчковскаго). По существу, конечно, это второстепенный вопрос – важны перипетии. связанныя с этим фактом.

[207] - Все, конечно, помнили, как Шульгин в 1906 г. от имени «одного миллиона» волынских жителей представлял Царю демонстративныя петиции «за самодержавие».

[208] - Очевидно, «истины» касались не лично одного Воейкова, а всей придворной камарильи. Последняя впоследствии мстила Рузскому усиленным распространением молвы о псковской «западне», сделавшей

невозможным проезд Николая II в Ставку. Винберг уже не стесняется в квалификации сознательнаго предательства стараго генерала. В «правдивых» воспоминаниях Боткиной, где наворочена куча путаницы, «западня» переносится на ст. Дно. Это здесь Рузский вместе с думскими депутатами заставил Царя отречься под угрозой ухудшения положения его семьи в Царском Селе.

[209] - Шульгин говорит, что Царь спросил: «А. Ник. Вл.?» Кто-то сказал, что ген. Рузский просил доложить, что немного опоздает. – «Тогда мы начнем без него». Колоритная деталь, если принять во внимание все происшедшее. Но очень уж много у Шульгина произвольных построений.

[210] - Сторожевым она была напечатана, как анонимная записка. Ген. Мартынов засвидетельствовал, что, по словам б. нач. опер. отдела Ставки Базилевскаго, это – копия протокола, хранившагося в делах его отделения, т. е., запись Нарышкина.

[211] - «Дать... те советы, которые мы находим нужным» – в изложении речи, данном. Гучковым в показаниях Чр. Сл. Ком. 2 августа.

[212] - В показаниях Чр. Сл. Ком. Гучков, конечно, пропустил все эти выпады против «комитета рабочей партии». Вероятно, Гучков свою аргументацию представлял в более причесанном виде, нежели записывал генерал-референт.

[213] - Возможно, что здесь политика причесал уже генерал, составлявший протокол. Гучков, по его словам, говорил резче: «всякая борьба с этим движением безнадежна... ни одна воинская часть не возьмет на себя выполнение этой задачи»... всякая часть, «как только она соприкоснется с петроградским гарнизоном и подышет тем общим воздухом, которым дышит Петроград... перейдет неминуемо на сторону движения»... «Поэтому – добавлял Гучков – всякая борьба для вас безполезна». Сообщая о присоединении конвоя Е. В. к новой власти, Гучков сказал: «Видите, вы ни на что разсчитывать не можете». В последующих репликах своих в Чр. Сл. Ком. Гучков утверждал, что его поддержал Рузский, сказав, что «никаких воинских частей» он не мог бы послать в Петербург.

[214] - В изложении Гучкова сказано: «кому-нибудь из великих князей, напр., Мих. Ал.».

[215] - В своем разсказе Савич подтверждал, что Рузский телеграмму передал Царю при Гучкове.

[216] - Шульгин: после взволнованнаго слова Гучкова, голос Царя звучал «спокойно, просто и точно». Только акцент был немного чужой

–«гвардейский».

[217] - Шульгин говорит, что Рузский знал о перемене уже тогда, когда к нему приходил Мордвинов (т. е., Нарышкин) за телеграммами. Оговариваясь, что «события этого дня» (т. е., до момента приезда делегатов) «должно быть» разсказаны ему Рузским, Шульгин заключал: «во всяком случае эти события можно считать «точно установленными, как я изложил». Однако, на деле Шульгин не все точно воспринял. И в данном случае версия, изложенная Ан. Вл., представляется более правдоподобной, т. е. Рузский не знал до последняго момента о происшедшей перемене в решении Царя.

[218] - Указание, что Царь уже взял перо для подписи манифеста, во всяком случае надо отнести к числу мемуарных вольностей.

[219] - Запись фактическаго перерыва не отмечает. А. Шульгин говорит, вопреки утверждениям Рузскаго и Данилова: «кажется, я просил четверть часа – посоветоваться с Гучковым... Но это почему то не вышло».

[220] - Судя по дневнику Болдырева, сомнения Данилова заключались не только в нарушении закона о престолонаследии, но и в морганатическом браке вел. кн. Михаила. На «совещании в вагоне» возник «серьезный вопрос о супружестве новаго государя» – записал Болдырев.

[221] - Впоследствии Шульгин, пытался так изобразить ход своей мысли: «пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время. Некоторое время будет править Михаил, а «потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Ал. Ник.». «Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий» – пишет Шульгин. Это было просто разсуждение post factum самооправдывающагося носителя идеи легитимизма.

[222] - Лукомский говорит, что к, составлению проекта он и Базили приступили, вооружившись сводом законов, после телеграммы Рузскаго а том, что Государь просит составить проект манифеста (т. е., около 3 час. дня).

[223] - На генерала Селивачева на фронте манифест произвел совсем иное впечатление. 3 марта он записал в дневник: «По слогу манифеста совершенно ясно, что он продиктован Государю от перваго до последняго слова». Данныя, нами приведенныя, по существу не оставляют места для сомнений. Разрешить вопрос уже безоговорочно могло бы только недоступное нам ознакомление с оригиналом.

[224] - Шульгин – показывал 2 авг. Гучков – «сделал два-три замечания, нашел нужным внести некоторыя второстепенныя поправки». Шульгин

предложил: «принеся всенародную присягу». Царь написал: «ненарушимую», что стилистически было гораздо правильнее – отмечает Шульгин.

[225] - В соответствии с заявлениями депутатов.

[226] - «Мы не возражали, быть может, даже подтвердили» – указывал Гучков.

[227] - Этим придавалась юридическая легальность назначениям, которую в то время хотели иметь делегаты: «Повелеваем быть Председателем Совета Министров» и т. д. Это дало повод Троцкому в «Истории русской революции» говорить о «подделке историческаго акта», так как «дневное решение» было «фактически взято обратно в разсчете на более благоприятный оборот колеса».

[228] - Характерно для обстановки, что ни Гучков не заметил имевшагося в царском поезде проекта отречения, ни Рузский проекта, привезеннаго депутатами. Но показания Рузскаго мы знаем все же в интерпретации посредника, который записывал утверждение генерала, что он «решительно никаких документов» в руках делегатов не видел. Гучков же сам свидетельствовал в Комиссии.

[229] - В позднейших воспоминаниях Гучков говорит, что у Царя был заготовлен текст манифеста.

[230] - В воспоминаниях Родзянко со слов «одного из членов Думы», командированаго на фронт и записавшаго разсказ Рузскаго, передает, что Царь по окончании тяжелой для него сцены отречения будто бы оказал: «Единственно, кто честно и безпристрастно предупреждал меня и смело говорил мне правду, был Родзянко». Слова эти к мемуаристу попали все же через третьи руки... Шульгин утверждает, что у него вырвалось: «Ах, В. В. ...Если бы Вы это сделали раньше»... (очевидно, согласие на ответственное министерство). «Вы думаете – обошлось бы» – сказал «просто» отрекшийся Император.

[231] - Базили в то еще время, через месяц приблизительно, подробно разсказывал французскому послу об отречении, и указывал на то, что Царь свой отказ за наследника объяснил в беседе невозможностью разстаться с сыном.

[232] - Телеграмма была напечатана в свое время в работе Блока. Полк. Никитин говорит на основании «категорическаго заявления» кн. Брасовой, что телеграмма Великому Князю не была передана.

[233] - Ген. Эверт запросил предварительно мнения командующих

отдельными армиями и сообщил их в Ставку.

[234] - Государственная жизнь, конечно, разрешается не в кассационных судебных установлениях. Не могу себе представить, какое это могло иметь значение. Фактически утверждения мемуариста не соответствуют действительности. Но законники в Чрезв. След. Комиссии Временнаго Правительства интересовались указанным вопросом, путая два акта 2-го марта (дневныя телеграммы и манифест с отречением). Гучков засвидетельствовал, что «акт отречения был безымянный, т. е. копия, которую Гучков получил на руки, была без обращения. Когда акт зашифровали, его предполагали послать по адресу Председателя Думы и главнокомандующаго фронтом.

[235] - По существу дело было совсем не так.

[236] - В действительности на другой день.

[237] - Утром третьяго Пав. Ал. не мог сообщить об отречении Михаила.

[238] - В одном из своих более ранних публичных выступлений (лекция в Белграде в 22 году) Шульгин говорил (по крайней мере по газетному отчету), что у него скользнула «иезуитская» мысль при согласии на отречение в пользу Михаила: «если фактическия события пойдут так, что не сможет удержаться династия, то и тут положение Михаила будет легче, чем ребенка Алексея» («Руль.»).

[239] - Он показывает, однако, насколько прав чл. Думы Шидловский в утверждении, что проект об отречении в Петербурге не был даже серьезно обсужден.

[240] - Письмо через жену кап. Головкина Николай II получил 6-го, как видно из отметки в его дневнике.

[241] - Раньше Чернова легенду повторил в сов. России ген. Мартынов, автор, несомненно, лучшей работы по истории февральских дней, по крайней мере в смысле подбора материалов, но повторил ее только, как характеристику точки зрения Милюкова, без каких-либо добавлений от себя. Как связываются в сознании всех этих исследователей две столь противоположныя легенды, как легенда деникинская и легенда милюковская, довольно трудно себе уяснить: они воспроизводят обе.

[242] - То же утверждал Керенский и в предшествующей своей книге «L'Experience»

[243] - Отмечаем это в противовес «уличным» суждениям о том, как «конвой Е.В.» во время продовольственных стеснений «обжирался жареными гусями и поросятами». Таких суждений набрался толстовец

Булгаков, бродя в Петербурге перваго марта.

[244] - Отметим, как реагировала на все эти факты в своем дневнике Гиппиус, приходившаяся двоюродной сестрой Степанова. Она записала 2-го марта: «Демидов и Вася ... ездили в Царское от Дум. Ком. – назначить «коменданта» для охраны царской семьи. Поговорили с тамошним комендантом и как-то неожиданно глупо вернулись «вообще». Упоминавшаяся франц. журналистка Маркович проще отметила, что Царица у себя во дворце охранялась «двумя депутатами».

[245] - Пародию уже дал в своей изумительной по тенденциозности книге ген. Дитерихс, ярко живописавший расправы озверевшей многочисленной толпы черни в Царском Селе 28 февраля.

[246] - Среди документов «военной комиссии» можно найти сообщение, помеченное 4 ч. дня 28-го, что «собств. Е. И. В. жел. (д.) полк не присоединился, им охраняется царская ветка», это было в то время, когда револ. войска, по утверждению Керенскаго, заняли Царскосельский дворец.

[247] - Кстати, в Павловске до полудня 1 марта порядок не был нарушен.

[248] - На воспоминания Керенскаго, лично не бывшаго в эти дни в Ц. С, вероятно, оказало влияние свидетельство той же Вырубовой, утверждавшей, что из царскаго окружения «спаслись все, кто мог». Однако, она делала оговорку, что «вся так называемая половина Ея Величества, все до одного человека, начиная с камердинера и кончая низшими служащими, все остались».

[249] - У мемуаристов разнаго ранга «удивительным образом» можно встретить выражение сожаления или злорадства по поводу того, что в России не нашлось верных ландскнехтов, погибших защищая монархию, на подобие швейцарцев Людовика XVI. Условия осады Тюльерийскаго дворца весьма мало походили на условия пребывания царской семьи в Александровском дворце. Параллель здесь не уместна.

[250] - Князь Палей утверждает, что корреспондент пришел к ним под видом «офицера», и что Великий Князь отказался с ним беседовать – это не помешало появлению длиннейшаго интервью. Откуда корреспондент мог узнать факты, о которых говорится в интервью и которые соответствовали действительности? В. Кн. написал опровержение, которое с большими изменениями воспроизвело «Новое Время».

[251] - Характерно, что А. Ф. уловила лишь первый абзац «манифеста» в то время, как его сущность была как раз противоположной.

[252] - О нем упоминает кн. Палей, разсказывая, как составлялся в 4 часа дня перваго марта кн. Путятиным, причисленным к Мин. Двора, Бирюковым и Ивановым – «Манифест».

[253] - Это утверждает снова кн. Палей. Ей разсказывали, что ф. Гроттен на коленях просил А. Ф. дать свою подпись.

[254] - «Носи Его (т. е. Распутина) крест, если даже неудобно, ради моего спокойствия». – добавляла А. Ф. почти обычную свою просьбу.

[255] - В воспоминаниях Палей сообщает, что в. кн. Павел был осведомлен ранним утром 3-го об отречении «верным» человеком, присланным ген. Рессином, командиром Своднаго полка в Ц. Селе, и уже в 4 ч. 30 м. утра читал сам Манифест.

[256] - Разговоры об этом «плане» должны быть, сопоставлены с пресловутыми сплетнями о сепаратном мире, который будто бы подготовлялся накануне революции в некоторых правых политических кругах. Эта легенда разсмотрена о первой части моей работы.

[257] - Насколько в великокняжеской семье неясно представляли себе и впоследствии ход событий, показывают воспоминания Палей, разсказывающей, что ген. Иванов достиг Колпина, где был арестован мятежными войсками.

[258] - Так могло быть, если свидание в. кн. Павла с Императрицей происходило вечером. Кн. Палей говорит про 11 час. утра. В это время сам Родзянко знал подробности лишь по «слухам», как видно из его разговора со Ставкой.

[259] - Легенда о «трюке» при желании может быть расширена. Судя по откликам русской печати революционнаго времени, некоторыя английския газеты в назначении в. кн. Н. Н. верховным главнокомандующим усмотрели «макиавеллистический прием», хитро придуманный Царем в разсчете «вызвать смуту».

[260] - Половцов несколько по иному разсказал эту историю, вызвавшую в прошлом некоторую полемику на страницах бурцевскаго эмирантскаго «Общаго Дела».

[261] - Львов, повидимому, был молчаливым свидетелем.

[262] - Датирование разговоров в публикации «Кр. Арх.» расходится с датами в копиях, напечатанных в эмигрантских изданиях. В первом случае разговор с Алексеевым помечен 6 ч. 46 м., а с Рузским в 8 ч. 45 м.; во втором разговор с Рузским помечен 5 час. (у Вильчковскаго) и 6 ч. у Лукомскаго. Копия разговора с Алексеевым вообще отсутствует в

зарубежных публикациях. Не имея возможности документально разъяснить разноречия, считаю более логическим эмигрантское датирование; в конце разговора с Псковом имеется замечание Рузскаго: ...«не забудьте сообщить в Ставку, ибо дальнейшие переговоры должны вестись в Ставке, а мне надо сообщать только о ходе и положении дел». 8 ч. 46 мин. вообще время слишком позднее, принимая во внимание растерянность, которую вызвала в Петербурге ночная телеграмма Гучкова. По записи ген. Болдырева тоже выходит, что Родзянко прежде говорил с Алексеевым, но запись Болдырева явно сделана позже, ибо в ней попадаются такия слова «как это потом и оказалось».

[263] - Объективная оценка этой характеристики была сделана выше.

[264] - В разговоре с Алексеевым Родзянко говорил, что «соглашения» достигнуть не удалось, « установлено только «перемирие».

[265] - В разговоре с Алексеевым упоминались: Верховный Комитет и Совет министров.

[266] - Алексееву Родзянко говорил более решительно о «колоссальном подъеме патриотических чувств», о «небывалом подъеме энергии», об «абсолютном спокойствии в стране», которые обезпечивают «самую блестящую победу».

[267] - Ср. показания Гучкова в Чр. Сл. Ком.;

[268] - Эти знаменательныя «обмолвки» Родзянко будут разобраны ниже.

[269] - Как фактически отразилась задержка с опубликованием манифеста в войсках, будет разсмотрено ниже.

[270] - В телеграмме, посланной в 9 ч. 11 мин. веч. кн. Львову, Ник. Ник. высказывал опасения, что «отречение в пользу в. кн. Мих. Ал., как императора... неизбежно усилит смуту в умах народа. Опасение это усугубляется неясной редакцией манифеста и отсутствием указания в нем, кто является наследником престола» .. По поводу сведений о «якобы готовящемся соглашении между Правительством и Советом Р. Д. по вопросу о созыве через полгода Учр. Собрания», Ник. Ник., как «отвечающий перед родиной за успех наших армий», «категорически» высказывался, что заключение подобнаго соглашения было бы величайшей ошибкой, грозящей гибелью России».

[271] - Алексеев приводил в пример Ревель, где при ознакомлении с текстом манифеста образовалось «хорошее приподнятое настроение».

[272] - В некрологе Милюкова, напечатанном в «Новом Журнале»:

Керенский говорит, что на ночном совещании первым о невозможности воцарения в. кн. Михаила высказался Родзянко.

[273] - Мстиславский, повторяя ходячую версию, говорит об аресте Гучкова его «чуть не поставили под разстрел» и пр.

[274] - Эти речи мемуарист, конечно, сотворил в духе будущих большевицких трафаретов – о миллионах сахарозаводчика Терещенко, «князей и графов» из Врем. Прав. и т. д. Терминология выдает мемуариста – ни один из ораторов-рабочих не мог 3-го говорить о «революционной демократии» (позднейшее словоупотребление, едва ли не введенное Церетели).

[275] - По разсказу Родзянко делегаты были освобождены дежурной ротой. Об этой роте, явившейся с пулеметом, упоминает и Шульгин. Шляпников утверждает, что потребовалось вмешательство Совета, и Гучков был освобожден только после переговоров с Исп. Ком. По свидетельству еще одного современника (Б. Н. Б.). выступавшаго на столбцах эмигрантскаго бурцевскаго «Общаго Дела», «вмешательство Совета» выявилось в том, что был арестован комендант станции полк. Т., который со взводом петраградскаго полка высвободил Гучкова.

[276] - Кн. Путятина, воспоминания которой точностью не отличаются, утверждала, что Родзянко на Миллионную прибыл за час до остальных и убеждал Мих. Ал. принять власть. Вероятно, автор спутал с тем, что было накануне, когда, по ея словам, Родзянко несколько раз посетил Великаго Князя и говорил ему о регентстве. Вечером 2-го в тех же целях квартиру Путятиной посетил и вел. кн. Ник. Мих.

[277] - По словам Милюкова, после Родзянко говорил Керенский. Шульгин утверждает, что Керенский выступил после перерыва. В речи Керенский возражал Милюкову. Так как я могу слова Керенскаго изложить только по Шульгину или дать их из третьих уже рук – в описании в. кн. Андрея, то откладываю их на время после перерыва. Возможно, что Керенский выступил два раза. Шульгин с Гучковым опоздали к началу беседы.

[278] - На другой день Палеолог, действительно, обратил внимание на то, что Милюков постарел «на десять лет».

[279] - Очерк Алданова носит в себе черты слишком определеннаго юбилейнаго преувеличения. Между прочим, он заключает: «Обращаясь к документам (!) того времени, историк признает, что такого яснаго истинно вещаго предвидения надвигающейся на Россию катастрофы не имел в первый час революции ни один другой политический деятель».

Последующее изложение, стилизирующее факты, устраняет эту иллюзию «предвидения» в отношении Милюкова. «Вещих предсказаний» о «гибели России» было много, даже слишком много – и особенно перед революцией. Все это больше словесная мишура, которую навевали летучия переживания в данный, иногда короткий отрывок времени.

[280] - В изложении Шульгина Керенский сказал Мих . Ал., что он принадлежит к партии которая запрещает соприкасаться с лицами императорской крови (!). Еще более образно представил это Андр. Владимировичу Караулов. Керенский заявил, что «поступился всеми своими партийными принципами ради блага отечества и лично явился сюда», за что его «могли бы партийные товарищи растерзать»...

[281] - По отзыву Караулова Керенский «наиболее ярко характеризовал момент». Он сказал, что «вчера еще бы согласился на конституционную монархию, но сегодня, после того, что пулеметы с церквей разстреливали народ, негодование слишком сильное, и Миша (это запись Ан. Вл.), беря корону, становится под удар народнаго негодования, из под котораго вышел Ники. Успокоить умы теперь нельзя, и Миша может погибнуть, с ним и они все». Эта передача, очевидно, может установить только смысл речи оратора, а не подлинныя его слова, равно как и термины «вчера» и «сегодня» должны быть понимаемы относительно.

[282] - По воспоминаниям Керенскаго («Новый Журнал»), Шульгин «просто промолчал».

[283] - В изложении Милюкова, Мих. Ал. все время молчал. В процитированных строках воспоминаний Родзянко говорится о вопросах, поставленных Мих. Ал. – вероятно, это было уже тогда, когда они остались наедине. По словам Керенскаго, Вел. Кн. все время проявлял активный интерес, много раз вмешивался, переспрашивал и просил повторить.

[284] - Милюков говорит, что отдельная беседа была только с Родзянко, но и Караулов разсказывал Андр. Влад. о беседе с Родзянко и Львовым.

[285] - Информатор Палеолога передавал ему, что Керенский попросил Мих. Ал. только не советоваться с женой, на что М. А. ответил: «Успокойтесь, А. Ф., моей жены сейчас нет здесь. Она осталась в Гатчине». Сам Палеолог занес в дневник, что Вел. Кн. не там легко уступил бы, если бы «честолюбивая и ловкая» кн. Брасова была в Петербурге.

[286] - Впрочем, нельзя быть уверенным в том, что определенная точка зрения Набокова не установилась под влиянием позднейших размышлений

над протекшими событиями. По крайней мере ген. Куропаткин при свидании с Набоковым 1 мая (17 г.) записал в дневник: «Набоков не очень спокойно относится к происходящему. Говорит, что совсем не то они ожидали. Что надо было, чтобы Михаил нашел в себе мужество принять престол. Тогда разрухи и безначалия не было бы. Теперь нет власти».

[287] - Проф. Платонов, преподававший Мих. Ал. историю, дал в 1903 г. члену Гос. Сов., руководившему известным «Имп. Рус. Ист. Общ.» Поворцову, такую, расходящуюся с традиционным представлением, характеристику Великаго Князя: «имеет чрезвычайно сильную волю и без торопливости, с неуклонной твердостью достигает раз намеченной цели. К сожалению, умственно ленив».

[288] - Впрочем, и Караулов, отмечавший большое «волнение», которое испытывали члены Совещания, разсказывал Андр. Влад., что они «все время посматривали в окно, не идет ли толпа, ибо боялись, что их могут всех прикончить».

[289] - Ниже будет особо разсмотрено отношение фронта к февральскому перевороту.

[290] - Ген. Краснов разсказывает, что 5-го и 6-го в 4 кав. корпусе он объявил под «громкое ура» на параде о воцарении Михаила Александровича и награждал именем новаго императора георгиевскими крестами.

[291] - См. мою книгу «Судьба имп. Николая II после отречения».

[292] - «А ргиоги, – пишет он, – можно привести очень сильные доводы в пользу благоприятных последствий положительнаго решения принятия Михаилом престола, несмотря на порочность с точки зрения юридической с самаго начала этого акта». «Прежде всего оно сохранило бы преемственность аппарата власти... сохранены были бы основы государственнаго устройства России, и имелись на лицо все данныя для того, чтобы обезпечить монархии характер конституционный... Устранён был бы роковой вопрос о созыве Учр. Собрания во время войны. Могло бы быть создано не Временное Правительство, формально облеченное диктаторской властью, фактически вынужденное завоевать... эту власть, а настоящее конституционное правительство на твердых основах закона... Избегнуто бы было то великое потрясение всенародной психики, которое вызвано было крушением престола».

[293] - В тексте воспоминаний самого Керенскаго сказано, что он заявил Мих. Ал., что берет обязательство защищать Вел. Князя от всех. «Мы пожали друг другу руку. И с этого момента мы остались в добрых

отношениях. Правда, мы встретились только раз в ночь отъезда Царя в Тобольск, но... я имел несколько раз случай оказать услугу в. князю, облегчая ему немного жизнь в новой обстановке, в которой он находился». Как характерен этот абзац для Керенскаго-мемуарнста! В иностранных изданиях своих воспоминаний он не упомянул, что Мих. Ал. в августе был арестован по личному распоряжению тогдашняго главы правительства.

294 - Бедный Шульгин, имевший, вероятно, несколько потрепанный вид после псковских перипетий, не избег обвинений в демагогической приспособляемости ко вкусам толпы. Так кн. Брасова говорила Маргулиесу, что монархист Шульгин «нарочно не брился» и «надел самый грязный пиджак», «когда ехал к Царю, чтобы резче подчеркнуть свое издевательство над ним».

295 - Затруднения, которыя испытывала военная власть на фронте при быстротечном ходе событий и при условиях, что верховный главнокомандующий находился на Кавказе, Ставка в Могилеве, правительство в Петербурге, можно иллюстрировать примером, по существу, может быть, и второстепенным. Первый приказ верховнаго главнокомандующаго, помеченный 3-м мартом, совпал с опубликованием «манифеста» Михаила. В них имелось резко бросающееся в глаза противоречие. Ник. Ник. говорил, обращаясь к солдатам: «...что касается вас, чудо-богатыри, сверхдоблестные витязи земли русской, то я знаю, как много вы готовы отдать за благо России и престола»... В манифесте 3 марта выдвигалось Учредительное Собрание. В Пскове обратили внимание на такое «серьезное» противоречие. Рузский хотел вычеркнуть слово «престол», но его штаб запротестовал (сообщ. Болдырева). Данилов настаивал на замедлении выпуска приказа и вступил в переговоры со Ставкой, указывая, что «войскам трудно будет разобраться в таком сличении времени отдачи приказа верховнаго главнокомандующаго и манифеста в. кн. Мих. Ал., ибо оба документа помечены третьим марта. Получается безусловное впечатление несогласованности очень тяжелое в таких государственной важности и деликатных для совести каждого вопросах». Ставка в лице Лукомскаго считала «недопустимым» задержку приказа верховнаго. Нач. штаба, как видно из слов Лукомскаго, не считал возможным какия-либо дальнейшия задержки, «пока не получится все черное по белому», ибо «проволочка» привела уже к тому, что «балтийский флот окончательно взбунтовался». Мы увидим, что этот формальный вопрос послужил прелюдией довольно больших осложнений тогда, когда приказ в. кн. Ник. Ник. дошел до Совета Р. Д.

[296] - Энгельгардт уже считал себя почти военным министром, – так разсказывает Половцов, встретивший его в Главном Штабе после разговора со Ставкой: «Гучков не будет больше военным министром – завтра я буду военным министром».

[297] - Бубликов – его воспоминания вышли раньше воспоминаний Ломоносова – совершенно также, со слов своих помощников, изображает вечерние споры 3-го о форме опубликования актов отречения. приписывая только кн. Львову проект традиционной внешней формулировки манифестов.

[298] - Действительное положение было таково. Когда командующий Балтийским флотом утром 2-го получил из Ревеля телеграмму коменданта крепости вице-адм. Герасимова, гласившую, что «положение грозит чрезвычайными осложнениями, если не будет мною объявлено категорически, на какой стороне стою я с гарнизоном», он ответил: «Благоволите объявить всем частям, что Исп. Ком. Гос. Думы требует от войск полнаго подчинения своему начальству, а от рабочих возстановления усиленной работы, и что я действую в полном согласии с этим Комитетом, который занят устроением тыла, а от армии и флота требует только поддержания строгой дисциплины и полной боевой готовности для войны до победы. Если положение потребует, во что бы то ни стало, категорическаго ответа, то объявите, что я присоединяюсь к Временному Правительству и приказываю вам и старшему на рейде сделать то же». Вечером Непенин телеграфировал Рузскому о необходимости принять решение, «формулированное председателем Думы». Сообщение о манифесте в Ревеле было объявлено «и получило широкую огласку». «Безпорядки временно прекратились» – доносил Непенин в 8 час. утра 3-го. В три часа дня, однако, положение в Ревеле вновь приняло угрожающий характер» – сообщал Непенин. «Прибытие членов Думы не внесло достаточнаго успокоения... Является желательным прибытие деп. Керенскаго , который пользуется особым авторитетом среди рабочих... В Гельсингфорсе сегодня были безпорядки, прекращенные лично мною и нач. морской обороны в.-ад. Максимовым». Затем последовала телеграмма от 7 ч. 30 м. веч., на которую ссылался Алексеев. На другой день в 11 ч. утра Непенин телеграфировал Алексееву: «Собрал депутатов от команд и путем уговоров и благодаря юзо-телеграммам мин. юст. Керенскаго удалось прекратить кровопролитие и безпорядок... Через депутатов передал командам, пролившим кровь офицерскую, что я, с своей стороны, крови не пролью, но оставить их в

командах не могу – виновных же пусть разберет Временное Правительство», а в 4 часа пришло «ошеломившее» всех в Ставке известие: «в воротах Свеаборгскаго порта ад. Непенин убит выстрелом из толпы ».

[299] - См. мою книгу «На путях к дворцовому перевороту».

[300] - Версия о «генералах-изменниках», доведенная до полнаго абсурда в работе Якобия «Le Tzar Nicolas II et la Révolution» (издана была и по русски, при чем вызвала горячий протест Деникина в «Посл. Нов.»), просто не заслуживает разсмотрения по существу в историческом повествовании. Не всегда разобравшись в фактах, автор, так специфически их препарировал, что дошел до фантастической концепции, по которой смерть Царя во имя торжества революции явилась чуть-ли не результатом соглашения лидеров думской оппозиции и генералов.

[301] - Не служит ли это лишним доказательством того, что вопрос об отречении во Врем. Комитете тогда не был еще поставлен ребром?

[302] - Первое сообщение о Вел. Князе, как о «верховном главнокомандующем», появилось в № 3 «Вестника» – уже после того, как об этом сообщили советския «Известия».

[303] - В телеграмме городского головы Тифлиса Хатисова, посланной Львову вечером 4-го с отчетом о состоявшемся у Вел. Кн. приеме, говорится несколько по-иному: «Я заявил – сообщал Хатисов – что широкия массы населения Тифлиса приветствуют назначенние Е. В. верховным главнокомандующим, но вместе с тем вызывает много толкований то обстоятельство, что приказ об этом издан Государем, а не Врем. Прав., в то время, когда Государь отрекся от престола. Верх. Главноком. на это сказал, что назначение последовало до отречения Государя от престола, и что вслед за этим Врем. Прав, санкционировало это назначение, о чем председатель Совета министров уже уведомил Вел. Кн. и вошел с ним в непрерывныя сношения ».

[304] - На Правительство сказывали давление военные и дипломатические представителя союзников. Бьюкенен передает, что он всячески отстаивал Н. Н. в разговорах с Милюковым.

[305] - Условия посылки этого письма изложены в моей книге «Судьба имп. Николая II после отречения».

[306] - Депутаты, побывавшие на фронте, вынесли и иное впечатление. Солдаты говорили им: «Довольно с нас Романовых. Нам не нужно Великаго Князя. Пусть будет, кто угодно».

[307] - Дубенскому «очевидцы присяги» передавали, что Н. Н. был

настроен «очень нервно» и что «его рука, подписывая присяжный лист, тряслась».

[308] - Ген. Врангель, со слов адъютанта в. кн. Н. Н. гр. Менгдена, с которым он встретился на ст. Бахмач в момент проезда Н. Н. из Тифлиса в Могилев, изображает делю так, что Н. Н. был уже предупрежден о решении Врем. Правит. и ехал в Могилев с принятым решением отказаться от главнаго командования.

[309] - Насколько помнит Суханов, в Исп. Ком. вопрос об отставке в. кн. Н. Н. специально не подвергался разсмотрению. 6-го обсуждался лишь вопрос об отмене его приказа по армии.

[310] - В письме, помеченном 9 марта, Львов писал, что «народное мнение резко и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых какой-либо государственной должности», поэтому «Вр. Пр. не считает себя в праве оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым может привести к самым серьезным последствиям». и просит В. Кн. «во имя блага родины» пойти навстречу этим требованиям и сложить с себя ещё до приезда в Ставку звание верх. главнокомандующаго».

[311] - «Рад вновь доказать мою любовь к родине, в чем Россия до сих пор не сомневалась» – отвечал Н. Н.. указывая, что он не мог сдать верховное командование до приезда в Ставку, так как письмо Правительства получил 11-го марта, а приехал в Ставку 10-го в 4 часа дня.

[312] - Выражением «контр-революционности» Ставки могло служить то обстоятельство, что в Могилеве по примеру Петербурга не сшибали царских «орлов» (кстати, они сохранились вплоть до захвата Ставки в ноябре большевицкими бандами). Не у всех, конечно, было мужество противостоять этой революционной мишуре. Ген. Половцев разсказывает, как он при выезде с новым военным министром на фронт, прежде всего самолично занялся вывинчиванием в вагоне царских портретов, которые железнодорожники забыли снять.

[313] - Нашумевшаго письма ген. Гурко, направлениям Царю в первых числах марта, мы коснемся в другой комбинации фактов. Этому письму бывшаго одно время незадолго перед революцией заместителя Алексеева искусственно придали иной характер, чем оно имело в действительности и увидели в нем выражение реставрационных вожделений генералитета.

[314] - Кн. Путятина – та самая, в квартире которой происходила драматическая сцена с отреченьем в. кн. Михаила, – со слов своего рода знаменитого Пеликана (одесскаго гор. головы и виднаго члена Союза

Русскаго Народа – за ним была замужем сестра Путятиной), разсказывает о существовании плана, согласно которому кавалерийский корпус гр. Келлера должен был занять Одессу, чтобы поддержать монархическое движение в Подоле и на Волыни. Вероятно, это отклик тех позднейших разговоров, которых нам придется коснуться. По выражению ген. Половцова 3-й корпус в начале революции невероятно «скандалил» и, следовательно, не был силою, на которую мог опереться реставрационный план, если бы он и существовал в реальности.

315 - Ген. Селивачев в дневнике эту армию определил, как «сплошь состоящую из третьяго сословия – извозчиков, печников и т. п. Родзянко, ссылаясь на характеристику одного из военных корреспондентов, указывает, что командный состав перед революцией был проникнут «штатским духом и более близок к интеллигенции и ея понятиям».

316 - Как раз этот «факт, смахивающий на анекдот», и вызывает сомнение. Этот красочный гусар заимствован из статьи полк. Параделова «Комсостав, его рост и значение в армии» в с.-р. сборнике «Народ и армия», изданном в 18 г. Параделов – автор, весьма мало заслуживающий доверие в смысле точности сообщаемых фактов и способный к прямым измышлениям.

317 - Депутаты указывали, что не только солдаты, но и офицеры «плохо представляют себе, что такое временное правительство, и что такое Учред. Собрание».

318 - Куропаткин в дневнике разсказывает, как в Нарве был арестован адм. Коломейцев, собственноручно снимавший красные банты с матросов, желая, чтобы на параде 5 марта; все были одеты по форме. Борьба с «красными бантами» продолжалась еще долго, вызывая осложнения в армии, и высшему начальству приходилось разъяснять, что во время революции нельзя «придираться» к красным бантам: «зачем лезть на рожон и раздражать толпу» (резолюция пом. воен. мин. Новицкаго 11 апреля по поводу столкновений на румынском фронте). Эти атрибуты настолько вошли к сознание, что ими стали украшать даже иконы.

319 - К числу «неправильных толкований событий» относилось объяснение акта отречения «доброй волей» Императора.

320 - «Относительно того, что надо кончать войну, что они устали, мы слышали только в одном полку. Это вновь сформированный полк, и, пока он еще не войдет в общую колею, нет сплоченности и спаянности».

321 - К династии, по наблюдениям французскаго наблюдателя Легра, на Зап. Фронте большинство солдат равнодушно.

[322] - Керенский говорит, что представители Думы, т. е., Временнаго Комитета, на фронте не имели успеха. Для марта это, очевидно, было не так.

[323] - Как попал этот «дневник» в архив «Октябрьской революции» неизвестно. Комментатор называет автора его «умным и разсчетливым классовым врагом».

[324] - В ряде мест на фронте о перевороте узнали из немецких «плакатов». Так было 3 марта в дивизии ген. Селивачева. Там немцы бросали особыя бомбы с прокламациями. Были места, где подчас неделю и больше к окопах жили еще только слухами.

[325] - Автор приводит, как пример недоверия, отказ приносить присягу – подозревают, что она подложная, вследствие того, что не было подписи Гучкова (в другом месте требовали подписи Родзянко). Смущало имевшееся в тексте слово «государство», где обязательно должен быть «государь», а «государь» непременно самодержец. Один из батальонов грозил захватить пулеметы и разстрелять те части, которыя будут присягать. (На Северном фронте возбуждало опасение требование подписи под присягой).

[326] - Полевой интендантский склад перевозится из Несвежа в Блудов– движение замечают немцы, открывшие артил. огонь: солдаты уверяют, что генералы хотят уморить их голодом и нарочно устраивают склад на обстреливаемом германцами месте. «Они (солдаты) повсюду выставляют свои караулы, непомерно большие – у винтовок, у пулеметов, у складов, Они всюду подозревают измену и черносотенство. Их успокоить ничем нельзя».

[327] - См. в моей книге «Судьба имп. Николая II после отречения» главу «Муравьевская комиссия», а также книгу «На путях к дворцовому перевороту».

[328] - В батальоне. гле был автор, уже говорили, что «надо убить офицеров с немецкими фамилиями».

[329] - Этот вывод отнюдь не служит подтверждением правильности тенденциознаго обобщения противоположнаго свойства, с которым мы встретимся при описании событий в Балтийском флоте.

[330] - См. «На путях к дворцовому перевороту».

[331] - Первая бригада вообще «за все тремя переворота оставалась совсем почти спокойной». Кое-что было лишь на «Петропавловске», когда два матроса приставив дуло револьвера ко лбу командующаго Бахарева,

грубо требовали оружие офицеров, которое он от них взял и спрятал в свою каюту. Между сторонами произошел такой разговор: «Не отдам. – Тогда возьмем сами. – Ну так стреляйте. – Мы не хотим вашей крови проливать... – Я не отдам, потому что мне же доверила команда. – ...Тогда, конечно... извините».

[332] - «Манифест» этот и по стилю и по контексту явно немецкаго происхождения. Он распространялся наряду с другими аналогичными прокламациями и в других местах.

[333] - Советская делегация, по сообщению «Известий», обвиняла в политической спекуляции со спиртом жандармскаго генерала Фрайберга.

[334] - Алексеев на этом донесении сделал пометку: «Оптимистично. Розовые очки»...

[335] - По внешности возстание началось более стройно, чем в других местах. К флотскому экипажу сразу присоединился крепостной артиллерийский полк, «выступивший со всеми офицерами». Так утверждал Раскольников: командир полка нес знамя, оркестр играл марсельезу..

[336] - По сообщению жандармских властей, на, каждом корабле существовали с.-д. ячейки (большевицкия), из которых и был создан «главный комитет». В конце 15 г. этот коллектив был ликвидирован, вернее, по жандармскому выражению «был парализован, но отнюдь не пресечен», почему нач. Крепост. жанд. управл. возбуждал перед комендантом крепости вопрос о высылке на передовыя позиции или в отдаленный военный округ неблагонадежных матросов.

[337] - В «Правде» (центр, орган большевиков) говорилось: «весь командный состав войск был частью перебит, частью арестован. Немногие офицеры, выпущенные на свободу, были лишены оружия и погон».

[338] - В петербургской газете «День» в № от 13 апреля можно найти одобрение по поводу появившихся в московском «Утре России» разоблачений, которыя нарушили «уговор» – не говорить о Кронштадте. Определенно грешила по соображениям тактическим советская комиссия, утверждавшая в своем докладе, что «погибли люди, игравшие двойную роль и те, чья беспощадная, безсмысленная жестокость вызвала к себе гнев возставшим народа». Следственная комиссия решительно не подтвердила этого обобщения.

[339] - Тактика умалчивания привела к тому, что молва расцветила события ужасами до размеров не бывших, что и отразилось в дневниках и воспоминаниях современников. Так ген. Селивачев, со слов депутата

Думы, записывает 28 марта, что в Кронштадте перерезали до 1000 человек (редакция «Кр. Арх.» сочла нужным сделать, пожалуй, даже странную оговорку: «явно преувеличенная (?) цифра»). Кн. Палей (ея волнение понятно, ибо в Гельсингфорсе был ея сын) также будет вспоминать с излишней реальностью те сцены ужаса (она читала о них в тогдашних газетах), которыя творились опьяненной «от крови и вина» солдатской толпой, а большевик матрос Степан (фамилии разобрать не мог), эпически будет описывать, как он и его товарищи убивали «офицеров второго Балтийскаго экипажа» – «много офицеров» убили. Не уменьшая картины «ужасов», все же надо сказать, что случаев обливания керосином и сжигания офицеров, конечно, не было. Это фантазия мемуаристов, передающих чужие разсказы (напр., Мельник-Боткина).

[340] - Так сделал Невский в комментариях к записке, напечатанной в «Красном Архиве».

[341] - Недовольство на фронте этой петербургской, революционной новеллой, очевидно, было значительно – оно нашло себе отражение даже в протоколах Исп. Ком.

[342] - Небезынтересно сопоставить с этим запись 9 марта в дневнике Селивачева, бывшаго на другом фронте (это большого значения не имеет) ... «поинтересовался у командиров полков, как отнеслись нижние чины к отречению Государя. На это все ответили, что отнеслись очень спокойно, а некоторые прямо заявили: «Да мы, ведь, давно знали и ожидали». Только некоторых смущает вопрос – «а что же будет с наследником».

[343] - Из воспоминаний командира 9 Финл. Стрелк. полка Данилова (человека откровенно монархических взглядов) можно принести некоторый корректив. Данилов пишет: «Весть об отречении Императора была встречена офицерством мрачно, а солдатами недоверчиво, и мне... приходилось ходить по окопам и... разъяснять слова манифеста, указывая на волю Царя, которой следует подчиниться тем более, что в манифесте указывалось, что отречение принято для большаго и скорейшаго успеха победы над врагом. Как ни тревожно встретили мы манифест, но тем не менее, привыкшие к повиновению, безпрекословно ему подчинились». Данилов, между прочим, отмечает, что в его полку за все время революции до октябрьскаго переворота не было эксцессов против команднаго состава.

[344] - 3 марта к Рузскому поступил какой-то письменный запрос от имени Исп. Ком. за подписью Бонч-Бруевича (к сожалению, его нет в опубликованных материалах), в ответ на который главнок. Северным фронтом телеграфировал: «...Я и подчиненные мне армии и воинские

чины вполне приняли ныне новое существующее правительство до решения Учр. Соб. об образе правления. Прошу содействия, чтобы уполномоченные и другия лица Комитета, прибывающие в пределы Севернаго фронта, предварительно обращения к рабочим и войскам, обращались ко мне. дабы можно было бы установить полную связь между действиями центральной и местной власти». Заканчивал Рузский словами: «желателен ваш приезд сюда».

345 - Естественно, делегация для воздействия на членов Исп. Ком. несколько муссировала критическое положение на фронте.

346 - Рузский уже 4-го сообщал о нем Алексееву и отмечал соответствие его 7 п. правительственной декларации, опубликованной 3-го. Рузский указывал на опасность формулировки «предоставления солдатам всех общественных прав без соответственных определений деталей». Необходимо «беззамедлительное разъяснение и точное установление особым приказом взаимоотношения офицеров и нижних чинов». Алексеев тотчас же телеграфировал Гучкову, что необходимо, если «не полное уничтожение пункта седьмого программы (соглашение 2 марта), то совершенная переработка редакции ея с точным разграничением прав и обязанностей солдат».

347 - Приказ № 2 (о сущности его скажем ниже) не мог быть задержан, так как он был уже передан по радио.

348 - И, однако, в заседании правительства, на которое был вызван так спешно Гучков, что Алексееву пришлось прервать свой доклад, когда впервые остро был поставлен вопрос об армии, обсуждались такие «спешные» для момента вопросы, как вопрос о прекращении дела об убийстве Распутина, об отмене ограничений при приеме евреев в высшия учебныя заведения и т. д.

349 - Секретный характер письма объясняется, вероятно, и тем, что в нем дается пессимистическая картина невозможности своевременно выполнить боевыя задания, возлагаемыя войной на тыл.

350 - Ушедший с исторической сцены Император назвал в одном из писем жене Петербург лишь «географической точкой». Он не дооценивал политическаго значения столицы, Гучков и вместе с ним другие – преувеличивали это значение.

351 - Болдырев разсказывает, что распространился слух, что Гучков будет убит по постановлению «террористической» партии, но, «конечно, никакого покушения не было». На всякий случай «по городу предусмотрительно был установлен конный наряд».

[352] - Припомним, что Врангель дал противоположную характеристику позиции военнаго министра.

[353] - В моих заметках того времени, со слов одного из присутствовавших уже при отъезде министров, записана такая жанровая сценка: ...Поезд усиливает свой ход, колеса стучат – все сильнее и сильнее. С вагонной площадки министр ин. д. говорит прощальную речь. За грохотом не слышно на перроне ни его слов, ни его охрипшаго от речей голоса. Сменяются ряды публики, а министр с площадки говорит, говорит...

[354] - Станкевич центр тяжести из области проявления «народной души», не принимавшей войны, переносит в область объективных материальных данных. Он утверждает, что после речи ген. Корнилова и Исп. Ком. «все заколебались в возможности продолжения войны»: разстройство транспорта, тиф и цынга, свирепствующие на фронте в силу чрезвычайнаго недостатка продуктов и т. д. Хотя повествование Корнилова относилось к дореволюционному времени, «ясно» было, что дело должно было и этом отношении «лишь ухудшиться». Вывод мемуариста, на преувеличенно-сгущенном фоне фактов, едва ли может быть признан обоснованным.

[355] - Мемуарист вспоминает письмо, полученное им с фронта от гр. Игнатьева. Корреспондент писал, что надо отдать себе отчет в том, что война кончилась, потому что армия «стихийно не хочет воевать»: Умные люди должны придумать способ ликвидации войны безболезненно, иначе произойдет катастрофа». Набоков показал письмо военному министру. Тот ответил, что он получает такия письма массами и приходится «надеяться на чудо».

[356] - Любопытно, что наиболее яркий случай отказа «итти на позиции» в 5-ой армии, считавшейся командным составом наименее «благополучной» со стороны эксцессов (арест офицеров), связан с такой бытовой деталью: полк считал несправедливым итти в окопы и пасхальную ночь, так как он стоял на позиции в эту ночь в предшествующем году.

[357] - Иллюстрацию дают воспоминания Пуанкарэ. Историк германской революции Штребель, принадлежавший к числу «левых» социалистов, так охарактеризовал в своей работе «развал германской армии»: он «начался не с июльских дней 1918 года; он медленно, но неуклонно подготовлялся на протяжении нескольких лет. Безконечная длительность войны, позиционная война и походная жизнь подточили

боевую силу и поколебали дух армии».

[358] - Чернов спорит с Деникиным, Керенский с Милюковым. Последний «в виду опубликования большевиками новых архивных документов» вынужден был после длительной полемики внести «оговорку» в свое изложение, отрицавшее революционную концепцию Керенскаго. («Еще факты». «Посл. Нов.» 17 ноября 27 г.). Соответсвующая поправка сделана в «России на переломе» – в труде, в котором Милюков стал «приближаться к традиционной «революционной» концепции.

[359] - Обобщение в каждом отдельном случае требует критическаго анализа и следующей за ним оговорки. Наглядную иллюстрацию можно найти в утверждениях, раздававшихся на декабрьском совещании в Ставке. Брусилов, подтверждая замечания Рузскаго, приводил в качестве примера 7 Сиб. корпус, прибывший на юго-западный фронт из рижскаго района «совершенно распропагандированным, люди отказывались итти в атаку; были случаи возмущения, одного ротнаго командира подняли па штыки, пришлось принять кругыя меры, разстрелять несколько человек, переменить начальствующих лиц, и теперь корпус приводится в порядок». А вот полк. Никитин в качестве офицера при нач. штаба 7 армии, где корпус приводился в порядок, имевщий возможность «специально» и «близко» наблюдать 7 Сиб. корпус в действии, дает совершенно иную характеристику поведения «ненадежнаго» корпуса перед революцией в условиях позиционной борьбы, тяжелее которых «трудно придумать»: под Бржезанами «полк не дрогнул» – «дух героя командира (ген. Ступина), дух стараго русскаго солдата был с ними»...

[360] - См. мою книгу «Как большевики захватили власть».

[361] - Не трудно найти и источник легенды – это записка членов Особаго Совещания, исчислившая потерю «людского запаса» в 2 милл. – военнообязанных, оставшихся в занятых неприятелем областях, уклонившихся, эмигрантов и пр.

[362] - Для двухмиллионнаго исчисления дезертиров во время революции он применил такую своеобразную статистику. Взяв общую цифру 15 милл. призванных к 1 ноября 17 г. и исключив соответствующия цифры убыли (убитых, раненых, пленных) и наличный состав действующей армии и запасных ея частей, он получил недохваток с 1 1/2 милл. человек. Это и есть, по его мнению, дезертиры; прибавив сюда официальную цифру дезертиров в 365 т. к 100 т. укрывшихся в разных революционных военных комитетах, он получил цифру в 2 миллиона!!! И нет дела военному историку до несовершенства официальной военной

статистики, сделавшейся еще более случайной в бурные годы революции, игнорирует он и факт, устанавливаемый всеми правительственными войсковыми комиссарами, что в дни наступления «дезертиры» из числа членов исполнительных комитетов, в подавляющем большинстве случаев оказывались в первых рядах активно сражавшихся. Насколько произвольна военная статистика, руководящаяся головинским принципом исчисления, видно из расчислений другого военнаго историка Керсановскаго, который весь «недохваток» для дореволюционнаго времени относит в рубрику убитых. Соответствующий материал дается в моей книге «Легенда о сепаратном мире».

[363] - Оно может быть отмечено и на том рижском плацдарме, который представлял распропагандированное «гнездо» на Северном фронте. В памятной записке, поданной военному министру в 20-х числах марта от имени 379 офицеров XII армии и подписанной в первую голову командиром латышскаго полка Вацетисом (известным впоследствии большевицким командармом), требовалось удаление с командных должностей всего «немецкаго элемента балтийскаго происхождения».

[364] - То же утверждение прошло красной нитью в речи Брусилова при приеме в Киеве членов Гос. Думы.

[365] - Напр., в дневнике Селивачева имеется запись: «несомненную карьеру делает Брусилов: хитрый старик, видя окружающее, первый стал заигрывать с народом». Приспособляемость к общественному мнению Селивачев увидит даже в том, что в свое время Брусилов, единственный из главнокомандующих, дал «идеальную аттестацию» земским организациям на фронте, когда хотели их уничтожить по причине их «яко бы безполезности», а на самом деле считая их «революционными».

[366] - Относительную ценность этих резолюций, как нельзя лучше, характеризуют строки из воспоминаний известнаго московскаго большевицкаго деятеля Смидовича, который разсказывает, как т. Кастеловская (старая большевичка) желала в партийном органе печатать резолюции «не так, как оне принимались».

[367] - См. «Российская контр-революция». Методы и выводы ген. Головина.

[368] - Припомним, что ген. Янушкевич в 15 г. эту формулу развивал в официальном обращении к Совету министров; в дни революции она фигурирует в устах известнаго издателя Сытина, в дневнике Гиппиус и т. д.

[369] - Эта строки пишутся в решающий для России момент. Каковы бы

ни были ближайшия последствия германскаго продвижения вглубь страны, характер, который приобретает война на обширной территории российской равнины в 1941–42 г.г., как бы подтверждает закон «евразийской» самобытности.

[370] - Не показательно ли в этом отношении свидетельство Махно, что в деревнях, прилегавших к району знаменитаго Гуляй Поля, будущей резиденции анархическаго «батьки», в первые четыре месяца революции вообще большевиков не было.

[371] - Керенский в «Experience» говорит, что революция отчасти родилась, как протест против перспектив сепапаратнаго мира. Он лишь повторил слова Церетелли в Гос. Совещании 17 г. «все знают, что, если бы не было русской великой революции, мы в настоящий момент имели бы сепаратный мир».

[372] - В противоречие с последующей схемой 17 г. Милюков 3 марта 16 г. говорил в Гос. Думе: «революция в России непременно приведет нас к поражению». Шингарев на VI кадетском съезде в феврале 16 г., по утверждению сыскных информаторов, утверждал, что взрыв народнаго отчаяния похоронит победу над Германией. Как мы видели, по свидетельству современников, так и воспринял Шингарев революцию 27 февраля.

[373] - От имени союзников на правах старейшины дипломатическаго корпуса правительство приветствовал английский посол, выразивший надежду, что Правительство сделает «все возможное, чтобы довести войну до победнаго конца, оставаясь на страже порядка и национальнаго единства и стремясь к возобновлению нормальной работы на заводах в к обучению войск и поддержке дисциплины в армии».

[374] - От имени союзников на правах старейшины дипломатическаго корпуса правительство приветствовал английский посол, выразивший надежду, что Правительство сделает «все возможное, чтобы довести войну до победнаго конца, оставаясь на страже порядка и национальнаго единства и стремясь к возобновлению нормальной работы на заводах в к обучению войск и поддержке дисциплины в армии».

[375] - Аргументация Милюкова решительно ничем не отличалась от (аргументации «жестокой -текст испорчен прим. boomzoomer) исторической необходимости», которую давали немецкия адепты «социал-империализма». Различие было лишь в субъектах, в сторону которых должны были направляться мировыя события (см. кн. ген. Штредель «Германская революция»). Станюкович выкопал в писаниях Милюкова в

начале войны даже такой пассаж: историк и политик (см. книгу «Легенда о сепаратном мире»), полагал, что вся Восточная Пруссия должна быть превращена в новую остзейскую губернию.

376 - Ей мы посвятили достаточно внимание. (См. книгу «Легенда о сепаратном мире). В предреволюционное время вопрос о проливах продолжал занимать внимание морских общественных кругов, как видно из дневника Рейнгартена. Ему посвящена «беседа вторая» по текущим вопросам – 4 февраля. Но формулируется «византийская мечта» только, как экономическая проблема: «Владение проливами представляет для нас не цель империалистических стремлений, а характер необходимости»... «Требуя проливы, мы должны дать обязательство дальше не итти»... «Мы должны требовать минимум территории при проливах. Этот минимум определился из стратегических соображений»...

377 - Так в массах до революции воспринималась даже пораженческая проповедь. См. воспоминания анархиста Максимова.

378 - Ген. Селивачев записал в дневник 4 марта: «Все министерство из числа октябристов, левых и трудовиков – это явная гарантия за то, что ни о каком сепаратном мире в Германии и мечтать не будут... Не это ли начало конца Германии?».

379 - Социал-демократическая печать немецкая (печать большинства) определяла позицию приблизительно так: ...«Пока Московия не связана по рукам и по ногам, и не повержена в прах, не должна быть закончена война, призванная освободить Европу от Азии, исключить Россию из европейской политики» (Rheinische Zeitung).

380 - Как видно из воспоминаний Станкевича, представителя «трудовой группы» в Исп. Ком., «правые» считали рискованным выступление Совета со словом «мир». «Дойдет ли оно до народов мира и какое произведет там впечатление – неизвестно. Но ясно, что до нашего фронта оно дойдет немедленно и поставит перед армией слишком обязательно и практически представление о мире, что может только ослабить и так небольшие остатки боеспособности фронта»... «После дискуссии в Комитете и после принятия оговорок о готовности русской демократии бороться дальше за справедливый мир», трудовики голосовали за воззвание.

381 - Любопытно, как видный деятель партии, иэвестный государствовед Кокошкин, фактически входивший в состав правительства, мотивировал в соответствии с упомянутым интервью Милюкова необходимость для России приобретения проливов: они давно

принадлежат не Турции, а Германии. И проливы будут или германскими, или русскими. Провидцем Кокошкин оказался плохим.

[382] - Можно было наблюдать и столь неподходящую для революции надпись на знамени одной казачьей части: «выкупаем в германской крови наших лошадей». «Известиям» не нравился популярный среди солдат лозунг: «война до победы», и они предлагали заменить его словами «война за свободу».

[383] - На кадетском съезде Щепкин связал «стоходовскую панаму» с обращением Совета к демократии всего мира – немцы в ответ пустили волну газа, от которой погибла масса народа (по сведениям Алексеева стравленных газами насчитывалось около 800 человек).

[384] - Подмеченное наблюдательным общественным деятелем «требование» народа в большей степени относилось к тем представителям боевого патриотизма, которые прочно окопались в революционном тылу и из своего места произносили патетическия и обличительныя речи. Их слова на тему: «хоть рубашку с нас снимите, но Россию спасите», определенно звучали фальшиво.

[385] - Из телеграммы Ставки о Стоходе явствует, что эта операция была задумана еще до начала русской революции. Алексеев говорил: «в течение последних пяти недель по сведениям, получаемым, как от пленных, так, и путем воздушной разведки, совершенно определенно намечалось стремление противника произвести атаку против нашего плацдарма на левом берегу Стохода... Представлялось вполне определенным, что противник попытается произвести наступление с наступлением оттепели».

[386] - За статью в «Правде» о «манифесте 14 марта Суханов упрекал Каменева в «оборончестве». 25-го марта, по поводу агитации в Кронштадте «побросать оружие, заклепать пушки, испортить поставленныя мины», «Правда» поместила особое воззвание к гарнизону, приглашавшее не верить подобнаго рода провокационным призывам.

[387] - Мы говорим, конечно, не о ленинской концепции превращения мировой войны во всемирную гражданскую бойню под пролетарским стягом.

[388] - Любопытно, что победоносную Францию эпохи «великой революции» – «сильную духом и верой в светлое будущее родины», вспомнил в приказе 5 марта командующий 10-й армией ген. Горбатовский, отставленный новой властью.

[389] - Интересно, принимая во внимание последующую судьбу в дни

революции ген. Гурко, отметить, что новый главнокомандующий Западным фронтом, в своей телеграмме военному министру 24-го марта, выражал твердую уверенность, (что народ, который сумел добиться политической свободы, «должен суметь завоевать себе и политическую свободу внешнюю»... «Армия вполне проникнута сознанием тесной связи того и другого; нужно, чтобы и весь народ в тылу и его руководители прониклись тем же, и тогда победа обезпечена, но ее нужно вырвать у врага, а не надеяться, что она сама к нам придет вследствие неумелых и нерешительных действий противника».

390 - Изменившееся настроение настолько затемнило память Алексеева, что в своем последующем дневнике по поводу июньскаго наступления он записал: «в начале апреля высшие начальники высказали мнение, что о наступательных операциях немыслимо думать».

391 - Проф. Легра в свой апрельский дневник записал объяснение Милюкова, что серьезному наступлению препятствует лишь продовольственное дело. которое было неосуществимо в тогдашних условиях.

392 - Выступление Милюкова было сугубо «безтактно», ибо как раз в этот момент остро стоял вопрос о «займе свободы». Интервью в газетах появилось в день похорон жертв революции.

393 - Происходившая в эти дни в Москве конференция народных социалистов, которые были как бы вне советской общественности и ея «интернациональнаго миросозерцания», «оборонческие» взгляды которых сомнению не подлежали, очень определенно высказалась против каких либо «завоеваний». Формула эта была популярна, – она повторялась и в обращении к Совету Пироговскаго Съезда 8-го апреля и Учительскаго Съезда 10-го.

394 - Керенский в Совещании Советов уверенно говорил, что изменение целей войны в России вызовет изменение этих целей у всех держав – это «несомненно», это «ясно, как день».

395 - «Революционная демократия» несомненно возлагала большия надежды на свой проект созыва в Стокгольме, в конце июня, международной социалистической конференции, главной задачей которой представлялась, выработка «путей и средств» для «борьбы за мир». По отношению ко времени, о котором у нас идет речь, это было – будущее, ибо постановление Исп. Ком., относительно обращения к социалистическим партиям и центральным профессиональным организациям «всего мира» по поводу созыва такой конференции, было

сделано лишь 20-го мая. Была ли это только «утопия»? Отметим, что представитель русскаго дипломатическаго ведомства в Лондоне, К. Д. Набоков, был уверен, что осуществление этого проекта привело бы к компромиссному миру. Идея созыва стокгольмской конференции отнюдь не принадлежала большевикам, как предполагает, напр., проф. Перс (очевидно, и Милюков). Перс, бывший в то время в России и прикомандированный к английской военной миссии, утверждает, что он сам слышал агитацию большевиков на фронте за заключение мира в Стокгольме. Очевидно, английский историк не слишком глубоко проник в отношения социалистических партий: – подлинные большевики являлись, определенными противниками стокгольмской затеи.

396 - В составлении самого документа Милюков непосредственнаго участия не принял. Составлен был проект заявления теми членами Правительства, которые были в оппозиции к внешней политике министра ин. дел. Это была все та же оппозиционная «семерка».

397 - Резолюция, предложенная Каменевым, была выработана на большевицкой конференции, собравшейся накануне Совещания. Конференция не нашла отклика в тогдашней столичной печати. Шляпников приводит сведения из отчета, составленнаго Милютиным, который принадлежал к «левой» группе, и напечатаннаго в провинциальном (саратовском) партийном органе «Социал-Демократ». Вопрос о войне вызвал на конференции «горячия прения». «Одна часть конференции твердо стояла на почве решений, принятых в Циммервальде и Кинтале; другая часть не менее решительно стала на ту позицию, которую до сих пор горячо отстаивали на Западе Гэд и Самба, а у нас Маслов, Потресов, иначе говоря «оборонцы». «Правое» крыло считало неприемлемой резолюцию. предложенную бюро, в силу лозунга о «превращении империалистической войны в гражданскую» и отсутствия пункта о недопустимости «дезорганизации армии». Принята была компромиссная резолюция в целях «единства большевицких сил» (50 голосов против. 14).

398 - Резолюция собрала 325 голосов при 20 воздержавшихся и 57 за резолюцию большевиков, которая, отвергая «дезорганизацию армии», считала необходимым сохранить ея мощь, как оплот против «контр-революции». С большевиками голосовали с. р. и с. д. «интернационалисты». Таким образом, количество чисто большевицких голосов на собрании оказалось ничтожным. Группа большевиков от 13 городов голосовала за резолюцию Исп. Комитета.

[399] - Вопрос о проливах был не только «руководящей нитью» в дипломатической политике министерства ин. д., как о том заявил на майском партийном съезде ушедший из правительства Милюков. Намечавшуюся еще осенью 16 г. десантную операцию (см. «Легенду о сепаратном мире») сторонники ея в первые два месяца революции довольно интенсивно пытались форсировать. В дни посещения Ставки членами Правительства, министр ин. д. был подробно осведомлен о предположениях, касающихся «босфорской операции» помощи, нач. воен.-морск. отдела при Штабе верх. главноком. кап. I ранга Бубновым и представителем мин. ин. д. Базили, (босфорскую операцию, по словам Колчака, готовили к моменту, когда в Черном море наступит «совершенно спокойное положение»). Намечавшийся план, до известной степени, разрушался намерением военнаго министра приостановить подготовительныя работы по оборудованию транспортных средств в Черном море для дессанта и использовать в виду кризиса железнодорожных перевозок освободившиеся транспорты для грузовых перевозок минеральнаго топлива для фронта. Базили в письме 23-го марта Милюкову жаловался на эту «весьма прискорбную» меру с точки зрения «осуществления наших целей на проливы», так как для выполнения десантной операции остался «весьма ограниченный срок: от 1 июля до 1 августа», и «по поступающим сведениям, обстановка для удара по Константинополю рисуется в благоприятном свете». (Предполагалось, не останавливая работ по оборудованию 90 десантных транспортов, для усиления грузовых перевозок использовать румынския речныя пловучия средства, стоявшия на Дунае «без всякаго дела». Но Румыния отказывала в этом. От мин. ин. д. требовалось воздействие «дипломатическим путем»). Письмо Базили совпало с нашумевшим интервью Милюкова. Но и после правительственной декларации 28-го марта, положившей veto на завоевательные планы, разговоры и даже конкретныя меры к подготовке «босфорской операции» не прекращались. Деникин, занявший 5-го апреля пост начальника штаба в Ставке, говорит, что в апреле Милюков, «вдохновленный молодыми пылкими моряками» (в действительности дело было, как мы только что видели, не совсем так), вел «многократно переговоры с ген. Алексеевым, убеждая его предпринять эту операцию, которая, по его мнению, могла увенчаться успехом и поставить протестующую против анексий революционную демократию перед совершившимся фактом. Ставка отнеслась совершенно отрицательно к этой затее, так не соответствовавшей состояние наших войск (Алексеев, как мы знаем, и раньше был противником «босфорской операции»).

Просьбы министра становились, однако, так настойчивы, что ген. Алексеев счел себя вынужденным дать ему показательный урок: предположена была экспедиция в небольших размерах к малоазиатском берегу Турции». Сформирование отряда было возложено на румынский фронт. «Прошло некоторое время и сконфуженный штаб фронта ответил, что сформировать отряд не удалось, так как войска... не желают итти в дессант»... (Следовательно солдаты инстинктивно чувствовали безсмысленность «показательнаго урока»). Насколько назойливо вкоренилась в некоторых кругах мысль о «проливах», показывает следующее письмо Базили из Ставки, помеченное 11 апреля:
...«Приходится все более серьезно считаться, – информировал Базилн Милюкова, – с тем, что нам, быть может, не удастся по обстоятельствам внутренним, так и в особенности по причинам техническим до конца войны фактически завладеть проливами... Последний срок принятия решения – середина мая месяца или в самом крайнем случае, начало июня месяца («Сведения эти сообщаю вам на основании слов ген. Деникина», – добавлял Базили). ...Если же мы не завладеем проливами в течение предстоящих месяцев, то есть все основания предполагать, что война кончится без того, чтобы мы их приобрели. Все это невольно приводит меня к мысли, не следует ли – отнюдь не отказываясь от намерения осуществить босфорскую операцию и наоборот, продолжая всячески настаивать на ея необходимости – все же иметь в виду и иное решение вопроса о проливах... Единственным же, как мне кажется, сколько-нибудь приемлемым для нас способом решить вопрос о проливах для завладения ими, должно быть признано соглашение с Турцией на условиях оставления за ней суверенности над Константинополем и его районам, но с предоставлением нам необходимых фактических гарантий – «военнаго контроля» в отношении проливов, т. е. «всемерно стремиться к достижению сепаратнаго мира с Турцией»..., чтобы «до мирной, конференции создать совершившийся факт». Подобное решение, по мнению Базили, «неизмеримо выгоднее «нейтрализации» проливов, к которой имеют такую неосновательную склонность наши крайне (?) левые круги. (Такую мысль, между прочим, высказал в марте в беседе с великобританским военным агентом ген. Ноксом Керенский и Терещенко в разговоре с Бьюкененом).

[400] - Таково было мнение В. Д. Набокова, принадлежавшаго к числу тех, которые полагали, что одной из причин революции было утомление от войны и нежелание ее продолжать.

[401] - Эту истину для всякой эпохи, выходившей из пределов обыденной государственной жизни (такой эпохой была, конечно, «великая европейская война»), понял даже престарелый бард неограниченной монархии Горемыкин, заявивший в 15 г. в Совете министров: «Политика в условиях настоящей. войны неотделима от военных дел. Сами военные говорят, что воюет не регулярная армия, а вооруженный народ».

[402] - Тема о «друзьях-братьях» в окопах, которая популяризировалась в войсковых обращениях первых дней революции, может быть, и звучала известной фальшью в силу чрезмерной своей сентиментальности, но и большевики, склонные утверждать, что повиновение на фронте до революции держалось только «палкой», должны признать, что окопное сидение нивеллировало солдат и офицеров.

[403] - Это не помешало Струве в позднейших «размышлениях о революции» сказать, что «русская революция подстроена и задумана Германией».

[404] - У Правительства, очевидно, было три кандидата: Алексеев, Брусилов и Рузский. Против Алексеева прежде всего возражала «революционная» или «советская» демократия, и сам Алексеев впоследствии в дневнике правильно определил причины этой оппозиции – его приказ 3 марта и неуступчивость, им проявленная. На первом же заседании Контактной Комиссии поднялся вопрос о кандидате, который заменит «отрешеннаго» от должности в. кн. Ник. Ник. Представители Совета стали возражать даже против «временнаго» замещения этого поста Алексеевым. «Разумеется, это было неудовлетворительно – пишет в воспоминаниях Суханов – и мы категорически возражали. Но по этому серьезному вопросу мы не имели никаких директив и ограничились безплодными препирательствами, главным образом, со Львовым, доказывавшим, что Алексеева решительно некем заменить». По утверждению Половцова, кандидатам левых тогда был Брусилов – эту кандидатуру поддерживал Керенский. Против Алексеева возстали и правые, – Родзяико обратился к Львову 18-го с особым письмом по поводу сообщеннаго ему известия, что Правительство склонно поставить во главе действующей армии Алексеева. «Это назначение не приведет к благополучному окончание войны» – писал Родзянко: «Я сильно сомневаюсь, чтобы ген. Алексеев сосредоточил в себе сумму достаточнаго таланта, и способности, и силы воли, чтобы широко охватить то политическое настроение, которое теперь захватило Россию и армию. Вспомните, что ген. Алексеев являлся постоянным противником

мероприятий, которыя ему неоднократно предлагались из тыла, как неотложныя, дайте себе отчет в том, что ген. Алексеев всегда считал, что армия должна командовать над тылом, что армия должна командовать над волею народа, и что армия должна как бы возглавить собой и правительство и все его мероприятия; вспомните обвинение ген. Алексеева, направленное против народнаго представительства, в котором он определенно указывал, что одним из главнейших виновников надвигающейся катастрофы является сам русский народ в лице своих народных представителей. Не забудьте, что ген. Алексеев настаивал определенно на немедленном введении военной диктатуры». Родзянко доказывал, что имя Алексеева «мало известно» и «непопулярно», так как с этим именем связана сдача «всех крепостей, Варшавы и Царства Польскаго». Из обзора, представленнаго Алексеевым об отношении фронта к перевороту, Родзянко было «совершенно ясно, что только Юга-Западный фронт оказался на высоте положения. Там, очевидно, царит дисциплина, чувствуется голова широкаго полета мысли и яснаго понимания дела, которая руководит всем этим движением. Я имею в виду ген. Брусилова, и я делаю из наблюдений моих при своих поездках по фронту тот вывод, что единственный генерал, совмещающий в себе, как блестящия стратегическия дарования, так и широкое поннмание политических задач России и способный быстро оценить создавшееся положение, это именно ген. Брусилов». «Другим лицом широкаго государственнаго ума» Родзянко считал Поливанова. Письмо Родзянко не носило личнаго характера по своему существу и подкреплялось выпиской из протокола заседания Врем. Комитета, отстаивавшаго кандидатуру Брусилова и признававшаго, что «в интересах успешнаго ведения войны представляется мерою неотложною освобождение ген. Алексеева от обязанностей Верх. Главнокомандующаго»... Кандидатура Рузскаго отпадала, потому что военный министр, по словам ген. Половцова, сопровождавшаго военнаго министра во время поездки его на фронт, «кипел негодованием на пассивность Рузскаго» – дело было не в пассивности, а в том оппозиционном настроении («определенная враждебность», по характеристике Половцова), которое встретил Гучков при посещении Пскова. Деникин колебания относительно Алексеева объясняет тем, что «сильный Гучков» боялся «уступчивости Алексеева» (и потому после назначения Алексеева поспешил назначить без сношения с последним ему в помощники «боевого генерала», т. е. Деникина). В действительности и здесь причиной была не «мягкость характера», а твердость и неодобрительное отношение Алексеева к первым

реформаторским шагам Поливановской комиссии (близкий Гучкову Пальчинский, по словам Половцова, открыто высказывался в комиссии, что Алексеев «не подходит в главнокомандующие»). Можно придти к заключению, что Алексеева настойчиво поддержал глава Правительства, наиболее связанный с генералом своими прежними сношениями. Чашу весов перетянула в сторону Алексеева именно его большая популярность в стране и та роль, которую Алексеев играл в выработке и руководстве военными действиями после кризиса 15 г.

405 - Термин, применявшийся еще перед войной к некоторым молодым офицерам Ген. Штаба, проповедывавшим необходимость, реформы армии и примкнувшим к окружению Гучкова.

406 - Отрицательная оценка команднаго состава создалась под влиянием все той же повышенной общественной психологии периода военных неудач, несколько переоценивавшей таланты немецких стратегов. Мысль эту высказывал в начале еще войны представитель мин. ин. д. в Ставке Кудашев. Он писал своему шефу: «Я убежден, что наши генералы – прекрасно знают дело... но творческой искры у них нет. Они годятся в члены «гофкригс-герихта», осмеяннаго Суворовым, но не в Суворовы, а с такими противниками, как немцы, один только Суворов может победить». (17 дек. 14 г.). Почти через год Кудашев вновь возвращается к этой теме с более отрицательным отношением к русским полководцам: «Война за целый год не выдвинула ни одного Суворова. А так как большинство генералов берется из офицеров ген. штаба, то приходится вывести заключение, что Академия, их порождающая, не на высоте своего призвания. Этот вывод подтверждается наблюдением над некоторыми офицерами ген. штаба, у которых преувеличенное самомнение и ничем не оправдываемая самоуверенность прикрывают редкое умственное убожество и полную безличность». Кудашев, очевидно, не склонялся к «эсеровскому рецепту» революционнаго времени. Но этот рецепт устранения генштабистов был очень по душе имп. Ал. Фед. Она не раз убеждала мужа в своих интимных письмах (напр. июль 16 г.): «выгони генералов и выдвинь каких-нибудь молодых энергичных людей. Во время войны нужны способные, а не по чину». «Многие из наших генералов – писала она в другом, письме – глупые идиоты, которые даже после двух лет войны не могут научиться первой и наипростейшей азбуке военнаго искусства». Царица была убеждена, что «простые офицеры, не хуже офицеров Ген. Штаба, могут разбираться» в сложных стратегических вопросах, Историку, пожалуй, и не совсем уместно итти по стопам

довольно импульсивной и даже истерической женщины. Чрезмерныя обобщения всегда рискованы. Достаточно назвать имена хотя бы некоторых из тех военных вождей, кто фигурировал на командных постах в дни революции и гражданской войны для того, чтобы показать несуразность парадоксального утверждения об «авгиевых конюшнях». Кто назовет бездарностью – Алексеева, Рузскаго, Брусилова, Корнилова, Колчака, Непенина, Каледина, Деникина, Юденича, Врангеля и др.? А ведь их выдвинул на командные посты еще «старый режим».

[407] - Чернов спешит сделать поправку: гучковския меры выглядят детской игрушкой сравнительно с тем, что было проделано над своей армией великой французской революцией. Подсчитано, что только до июля 1793 г. в ней было отставлено 593 генерала.

[408] - Врангель, считает, что гучковская «чистка» была «глубоко ошибочна», потому что заменила устраняемых людей «чуждыми» тем частям, которыми те командовали, что должно было отразиться на «боеспособности» армии. Между тем, в острых случаях, когда смена была необходима в силу взаимоотношений между военачальниками и подчиненными, простое территориальное перемещение, которое легко могла устроить Ставка, способно было внести успокоение.

[409] - Деникин более осторожно говорят: «Думаю, цель эта (улучшение команднаго состава) достигнута не была. «Новые люди» были подчас людьми «случая, а не знания и энергии».

[410] - В «Очерках русской смуты» имеется даже сравнительная таблица, правда, не именная, где командующие армиями и их начальники штаба распределены по группам: поощряющие демократизацию, не боровшиеся против нея и боровшиеся. Автор пытается – едва ли основательна – сделать вывод о последующем антибольшевизме лиц, занесенных в произвольныя статистическия таблицы общественной морали.

[411] - Для флагов был использован «подручный материал» и на флаги одной из сотен, очевидно, пошли юбки из краснаго ситца с крапинками.

[412] - Слово взято и кавычки самим Селивачевым, отнюдь не придававшим этому слову смысл социальный.

[413] - «С невероятным цинизмом, граничащим с изменой Родине – писал в 21 году с неостывшей запальчивостью уже историк-мемуарист – это учреждение, в состав котораго входило много генералов и офицеров, назначенных военным министром, шаг за шагом, день за днем проводило тлетворныя идеи и разрушало разумные устои воинскаго строя».

[414] - Вопрос об «отдании чести» был выдвинут на первый план во всех армейских отзывах потому, что именно по этому вопросу (и в сущности только по поводу него) запрашивал министр «срочное заключение» нач. штаба. Вопрос остался неразрешенным в Поливановской Комиссии. «Предложено было три решения» – телеграфировал Гучков: «1. Совершенно умолчать об отдании чести, что и сделано в выпущенном приказе. 2. Сохранить вне службы взаимное приветствие, как символ принадлежности к одной семье... Решение этого вопросам таким образом, несомненно, вызвало бы протест Совега Р. Д., усмотревшаго бы в этом стеснение свободы вне службы. 3. Полное согласие с Советом Р. Д. и принятие их резолюции», т. е. регламентация согласно «приказу № 1» – отмена обязательнаго отдания чести «вне службы». Считая, что в этом вопросе необходима «солидарность» с высшими представителями действующей армии, Гучков сообщал, что окончательное решение отложено до получения срочнаго заключения ген. Алексеева.

[415] - Запрос Гучкова был переслан немедленно Великому Князю.

[416] - Вместо Чхеидзе от Совета подписал Скобелев, так как первый, по словам Станкевича, не возражая против решения, отказался дать подпись, мотивировав будто бы так свой отказ: «Мы все время говорили против войны, как же я могу теперь призывать солдат к продолжению войны» (?!).

[417] - Делегаты были направлены к военному министру общим собранием представителей всех частей армии 21–22 марта (присутствовало 379 чел.).

[418] - Отметим заодно, что «Совет военных делегатов киевскаго военнаго округа» с самаго начала состоял из офицеров и солдат.

[419] - Половцов, сопровождавший Гучкова в его поездке по фронту, так охарактеризовал «самоуправление» в XII армии: «Радко... устроил себе парламент, заседающий в театре. Это совещание вполне благонадежно, а Радко с ним хорошо справляется». Через несколько месяцев Алексеев в дневнике даст совершенно иную характеристику, опираясь на данныя, изложенныя на знаменитом совещании 16 июля в Ставке в заявлении ген. Клембовскаго, заменившаго при Брусилове ген. Драгомирова в качестве главнокомандующаго Северным фронтом: «В XII армии развал достиг крайней степени. Братание идет во всю и остановить его нет возможности... Вредным элементом стали латыши, геройски дравшиеся в декабре и январе месяцах. Произошел нравственный перелом: 2/3 Латвии в руках немцев... Естественно, нужно скорее ждать свободы от немцев... Командующий XII армией не сумел поставить себя в отношении

армейских комитетов и упустил из своих рук управление армией. Правит армией фактически не Радко-Дмитриев, а председатель советскаго комитета солдат Ромм. Комитеты творят, что хотят. Комитеты латышских бригад состоят сплошь из большевиков». История эволюции армии в последующие месяцы выходит за пределы данной работы. Здесь нужны очень существенныя поправки. Состояние XII армии в дни октябрьскаго переворота целиком не подтверждает пессимистическую оценку Алексеева. (См. мою книгу «Как большевики захватили власть»). Во всяком случае последующее далеко не было логическим развитием того, что закладывалось в эпоху мартовскаго реформирования армии. Но для марта подлинное настроение армин очень ярко выразилось в выступлении Ромма на Совещании Советов. (См. ниже).

[420] - Две крайния позиции, диаметрально противоположныя, были представлены «демагогом» Верховским и человеком «долга» Деникиным.

[421] - «Положение» Поливановской комиссии, стоявшее ближе к советскому проекту, было опубликовано после утверждения его Гучковым 10 апреля.

[422] - В дневнике Верховскаго («Россия на Голгофе»), 3 марта ему давалась такая характеристика: «Мы все здесь очень любим нашего адмирала. Эго настоящий солдат, смелый и решительный, горячий, неутомимый боец, любимый своими командами».

[423] - И эту запись сделал человек, перед тем записавший свой спор с подчиненным («большим приверженцем новаго правительства») и доказывавший, что Гучков действует под напором Совета, распоряжения котораго будут приняты военным министром «для введения в армию, хотя и пройдут через комиссию ген. Поливанова».

[424] - Гучков сослался на авторитет Корнилова, который будто бы сказал ему при оставлении поста командующаго войсками петербургскаго округа, что в разложении армии виновен, главным образом, командный состав, потакавший солдатской анархии. И что было не столько проявления слабости, сколько революционнаго карьеризма. Ссылка на Корнилова вызвала большое негодование Деникина, хотя по существу вопроса подобный взгляд вполне соответствовал точке зрения, изложенной Деникиным в «Очерках Русской Смуты». Во всяком случае в марте Корнилова также надлежало отнести в сонм «демагогов». Он по собственной инициативе посетил Исп. Ком. и заявил о своем желании действовать в полном контакте с Советом, не возразил против прикомандирования к Штабу советскаго представителя и даже на «левых»

произвел «выгодное впечатление» (Шляпников). Лишь 16-го кем то сделано было в Испол. Ком. запротоколированное сообщение, что с Корниловым надо быть «осторожным» – он генерал «старой закваски, который хочет закончить революцию».

[425] - См. характеристику Колчака в III-м т. «Трагедия адм. Колчака», где использован его неопубликованный дневник.

[426] - Мемуарист вспоминает письмо, полученное им с фронта от гр. Игнатьева. Корреспондент писал, что надо отдать себе отчет в том, что война кончилась, потому что армия «стихийно не хочет воевать»: «Умные люди должны придумать способ ликвидации войны безболезненно, иначе произойдет катастрофа». Набоков показал письмо военному министру. Тот ответил, что он получает такия письма массами, и приходится «надеяться на чудо». Набоков высказал свое убеждение Милюкову, который «решительно» не согласился, однако, с этим и считал, что «без войны скорей бы все разсыпалось».

[427] - Эти строки писались во вторую мировую войну.

[428] - См. «Золотой ключ».

[429] - Суханов говорит, что в заседании Контактной Комиссии, собравшейся еще в середине апреля в силу болезни военнаго министра на его квартире, Гучков пытался убедить советских представителей о невозможности «говорить вслух о мире», ибо при слове «мир» в армии наступает «паралич», и она разлагается.

[430] - Кучин слишком решительно отрицал влияние «приказа № 1» – «он никакого значения не играл в армии». «Я утверждаю, – говорил представитель фронтовой группы, – что Кавказской армии он не был известен в тот момент, когда начали создаваться там комитеты... Комитеты явились стихийным процессом в тот момент когда старый порядок в армии рушился, и не было ничего новаго. Комитеты явились проявлением инстинкта самосохранения массы, мудраго инстинкта сознания представителей масс, которые знали, что им придется в чрезвычайно трудных условиях создавать новый быт армии..., так как перед ними была масса, только что вырвавшаяся из состояния рабства».

[431] - Лозунг «полицию на фронт» был популярен в революционное время, и как-то никто на первых порах не задумывался о последствиях его осуществления. Так первый армейский фронтовой съезд в Минске вынес специальное о том постановление. Результаты сказались очень скоро. Революционный командующий войсками Киевскаго округа Оберучев утверждает, что «каждое сообщение об отказе под влиянием

большевицкой пропаганды заканчивалось обыкновенно так: «председателем полкового совета был бывший жандарм» и т. д. В позднейшем отчете комиссара XI армии на юго-запад. фронте Кириенко также отмечалось пагубное влияние пополнения частей, стоявших на фронте, городовыми и жандармами, присылаемыми из тыла: многие из них стали «большевиками» и вносили деморализацию в боеспособных частях (как пример, отчет приводит Московский полк 2 дивизии гвардейскаго корпуса, где таких «бывших» оказалось около 150 человек). Думские депутаты в свою очередь зарегистрировали случаи, когда части выносили недоверие офицерам под руководством бывших агентов Охранных отделений.

[432] - «Мы знаем, кто жил близко к солдатской массе, – говорил оратор, – что глухое и темное брожение шло в широких, глубинах и недрах армии дореволюционнаго периода... Из теплушек, из трамвайных вагонов, из темных землянок часто раздавались слова, указывающия на озлобленное настроение... Мы знаем, как в последнее время до революции увеличивались репрессии вместе с ростом разложения армии... Мы слышали; во время сражений далекие выстрелы тогда. Эта были выстрелы разстрелов. И мы знаем, как часто применялись плети и розги, но многие не знают, какую бурю негодования вызывали оне в солдатской массе, которая... тайно переживала чувство озлобления»... Это чувство озлобления было принесено солдатами в первые же дни революционнаго периода...

[433] - Депутаты объясняли это требование «заметным желанием солдат сохранить добрыя отношения с запасным батальоном, в который, в целях отдыха, все стрелки стремятся попасть». В документе, воспроизводящем отчет депутатов, дано такое еще пояснение: «В числе офицеров, коим выражено недоверие в зап. бат., находятся два георгиевских кавалера (ныне командиров полков)... Нужно заметить, что председатель зап. бат., вынесшаго недоверие. был впоследствии арестован, как чин Охр. Отд. В аресте вышеназванных офицеров, в первые дни революции бывших популярными среди солдат, сыграли немалую роль прикомандированные к зап. бат. офицеры, сводившие личные счеты на почве оскорбленнаго самолюбия» (выборное начало и пр.).

[434] - Из официальной сводки сведений о братаниях на фронте с 1 марта по 1 мая можно вообще заключить, что в апреле, не говоря уже о марте, явление это на всех фронтах было довольно случайное и сравнительно редкое, едва ли выходившее значительно за пределы,

наблюдавшиеся до революции оно легко прекращалось пулеметным или артиллерийским огнем. Только 16 апреля в «Правде» появилась статья Ленина, призывавшая содействовать «братанию». Он писал: ...«войну невозможно кончить ни простым втыканием штыков в землю, ни вообще односторонним отказом одной из воюющих стран. Практическое немедленное средство для того, чтобы ускорить войну, есть и может быть только одно (кроме победы рабочей революции над капиталистами), именно: братанье солдат на фронте – немедленная, энергичнейшая, всесторонняя, безусловная помощь с нашей стороны братанью солдат обеих воюющих групп на фронте. Такое братанье уже началось. «Давайте помогать ему» (статья Ленина была «ответом на отрицательную резолюцию Совета Солд. Деп. по поводу пропаганды большевиков).

435 - Какое впечатление производил Гурко показывает довольно необычный факт, о котором разсказывает Легра, как непосредственный очевидец: после одного из горячих призывов, обращенных главнокомандующим к толпе, выступивший из рядов солдат-«большевик» поцеловал Гурко руку.

436 - Легра разсказывает, что с Родичевым случился неприятный для оратора инцидент – у него выскочила вставная челюсть и упала на пол. Легко представить себе, как разсмешил бы подобный случай французскую аудиторию пишет Легра, – здесь, наоборот, это не вызвало даже улыбки, и Легра должен признать, что это достаточно характеризует психологию слушателей.

437 - В момент же развала Черноморскаго флота(май), когда нужно было произвести рискованную операцию, Колчак вызвал охотников: число последних – показывал он в дни сибирскаго допроса – значительно превысило нужное количества.

438 - Русский современник мог бы повторить метафору Мишле о парижском празднике Федерации 14 июля 1760 г. – Это был день «всеобщаго братства, когда Бог явил свой лик. Бог согласия и мира, а не Бог насилия».

439 - Суханов говорил, что это был восторг «буржуазной» толпы, которая жила «новым подъемом» и дышала «радостью великодушной революции». Это, конечно, неверно.

440 - В. Маклаков отсюда делал в своей речи вывод, что демократия отстаивает «институты комитетов и комиссаров», которые были «естественным явлением дней революции», когда «заполнили пустоту», только потому, что это «проводники революционной политики». Между

тем «политический путь» и «дисциплина» в революционное время в сознании демократии были неразрывно связаны. Маклакову, склонному к отрешению от жизни и отвлеченным построениям, дилемма казалась легко разрешимой простым механическим устранением переживших свое время «суррогатов командного состава».

[441] - Крымов перед своей поездкой в Петербург был крайне разстроен газетными сведениями о деятельности военнаго министра и послал в Петербург предварительно Врангеля с предостерегающим письмом о той опасности, которая грозит России, если армия будет втянута в политику. Крымов был так взволнован, что при чтении Врангелем письма «разрыдался». В изображении Половцова, Крымов приехал в столицу в боевом настроении: «сразу на меня набрасывается со свойственным ему ругательным настроением – «как тебе не стыдно, вы все тут мямли, нюни распустили; первая солдатская депутация, которая ко мне придет, я ее нагайкой, встречу».

[442] - В одном из опубликованных «солдатских писем» упоминается об откровенных разговорах на эту тему офицеров с солдатами 241 пех. полка: «у нас в тылу есть две азиатския дивизии и нам нужно присоединиться к ним и ехать в Петроград и уничтожить всю эту сволочь».

[443] - Жизненной иллюстрацией к положению Набокова может служить письмо на имя кн. Львова известнаго Маркова II, заявлявшаго, что он признает и подчиняется «всем законным действиям» возглавляемаго Львовым правительства. Свое решение думский лидер «Союза Русскаго Народа» мотивировал так: «печальный акт самоупразднения верховной в Государстве Российском власти состоялся после законнаго назначения вас председателем Совета министров. Таким образом возглавляемое вами правительство является единственной законной властью в государстве».

[444] - Набоков, со слов бар. Нольде (?) сообщает, что 2-го в среде революционнаго правительства поднимался вопрос об издании законов и принятии финансовых мер в порядке старой ст. 87. Факт был бы очень показателен, если бы не приходилось его сопровождать очень существенной оговоркой. Набоков забыл, что в его руках был черновик перваго заседания правительства. Из этого «никуда не годнаго», по признанию Набокова, протокола (см. ниже), однако, определенно вытекает: было признано, что основные законы после переворота не действительны, и что необходимо установить новыя нормы законодательства. А главное, первое заседание правительства не могло быть 2-го. Оно происходило 4-го.

[445] - Маклаков отнюдь не оригинален – у него есть предшественник в лице Гакебуша (Горелова), развивавшаго еще в 21-м году в «Записках беженца» такое своеобразное представление о февральских днях.

[446] - Непонятно, почему внимание политика-юриста сосредоточивается исключительно на акте 3 марта. Логичнее было бы всю дефективность отнести к акту 2 марта. В практической своей деятельности в 17 г. Маклаков не держался такой точки зрения. В Особом Совещании по выработке положения о выборах в У. С. Маклаков при обсуждении вопроса об избирательном праве представителей династии Романовых (он высказывался положительно в виду добровольнаго отречения) развивал теорию «легальнаго» происхождения власти Временнаго Правительства из актов отречения. Так, по крайней мере, сообщал газетный отчет «Новой Жизни».

[447] - Конференция петербургских соц.-рев. 2-го. приветствуя вступление Керенскаго в правительство в качестве «защитника интересов народа и свободы», мотивировала свою резолюцию «необходимостью контроля над деятельностью Временнаго Правительства со стороны трудящихся масс». Московская конференция той-же партии 3-го призывала «трудовой народ» оказывать «организованное давление на Временное Правительство, дабы оно твердо и последовательно осуществляло все политическия свободы и созвало, согласно своему обещанию, Учред. Собрание».

[448] - Для характеристики психологии современника и психологии мемуариста интересно сравнить тон воспоминаний Набокова с тоном воззвания, описывавшего расправы и кровавыя казни ничтожнаго, стараго правительства, окруженнаго безответственной силой темных проходимцев, распутных и преступных, что легло «позором на имя русскаго императора» и отвратило от него «всех честных сынов родины».

[449] - Официально не ссылались, но не официально это подчеркивалось в первые дни при сношениях с иностранными послами, как видно из отметок Палеолога, 4 марта после свидания с министром ин. д. (ср. выше телеграмму Бьюкенена) французский посол поинтересовался официальным «титулом» новаго правительства. Он еще окончательно не зафиксирован – ответил Милюков в записи дневника Палеолога: пока называемся «временным правительством», но под этим названием сосредотачивается вся полнота власти и неответственность перед Думой... Следовательно, источником власти является революция – спросил Палеолог. «Нет, – ответил Милюков. – Мы ее унаследовали от в. кн.

Михаила, который передал ее нам актом отречения». Как неожиданный курьез можно зарегистрировать, что на акт 3 марта в 18-ом году в Уфе при организации власти ссылались представители партии с-р. От имени Комитета членов Учр. Собр. Вольский обосновал переход власти формулой юридической преемственности: Вел. Кн. в акте отречения поручил Врем. Правит, созыв Учред. Собрания... «Ясно, что и той власти, которая должна создаться теперь, должна предшествовать государственная преемственность. Разрыв преемственности будет актом, который ослабит самую силу государственной власти».

[450] - Перелистывая газеты того времени, можно попасть на такой, напр., малограмотный курьез: огромное объявление одной из кинематографических фирм о пожертвовании 3000 руб. в пользу Совета Р. и С. Д. при Гос. Думе!

[451] - Официальная радио-телеграмма была составлена наспех и весьма небрежно. Так она начиналась словами: «28 февраля вечером председатель Гос. Думы получил высочайший указ об отсрочке заседаний до апреля. В тот же день утром»... 28-ое – это явная описка, но остается «в тот же день утром». Удивительно, что во всех почти последующих изданиях телеграмма перепечатывается в своем первоначальном виде без оговорок.

[452] - Так, очевидно, следует понимать, напр., постановления о поддержке Думы, которыя выносились на волостных сходах Клинскаго у., Московской губ. в первой половине марта.

[453] - Среди них был Бубликов, как видно из воспоминаний последняго – он был сторонник созыва демократизированной Гос. Думы. Милюков на страницах своей «Истории» добавляет, что «сама Дума (?), за исключением председателя и немногих членов, не вела свои полномочия от избрания 1912 г., а только от своей роли во время революции». Что касается «самой Думы», то о ней не приходится говорить, ибо ея не было, но в отношении «частных совещаний» некоторых членов Думы утверждение историка правильно лишь для характеристики положения первых дней. Дальше позиция, как мы увидим, существенно видоизменилась, включая и позицию самого Милюкова.

[454] - История этого документа, опубликованнаго Сторожевым, такова. Черновик «Журнала Совета Министров 2-го» был найден в портфеле б. мин. ин. д. (т. е. Милюкова) с пометкой «В. Н.» (конечно, Набокова, приглашеннаго на пост управляющаго делами правительства и с 5-го марта присутствовавшаго уже на заседаниях): «Мне представлен предлагаемый первый журнал заседания Вр. Пр., составленный секретарем

Гос. Думы. Он, по моему, никуда не годится, но так как я не присутствовал, то могу его исправить только, если мне указана будет канва и сущность мнений». В воспоминаниях Набоков разсказывает, что с Милюковым было условлено, что он возьмет эту запись и возстановит по памяти ход и решения перваго «чрезвычайно важнаго» заседания Врем. Прав., в котором оно устанавливало основныя начала своей власти и своей политики. За два месяца своего пребывания к составе Врем. Прав, работы этой Милюков не выполнил – указывает Набоков: «Так и осталась запись неиспользованной – кажется, он и не вернул ея. Этим объясняется, что журналы (печатные) заседаний Врем. Прав, начинаются с № 2». Сторожев почему-то называет этот черновик «апокрифическим». Апокрифична лишь дата, указывающая, вероятно, на то, что это не протокол в точном смысле слова, а позднейшая запись, воспроизведенная по памяти временно заведующим канцелярией Врем. Прав. Глинкой. В связи с обсуждением роли Гос. Думы на заседании «Совета Министров» 4-го и говорили о неприменимости, ст. 87.

[455] - Раньше, на частном совещании членов Думы 18 июня, то же самое говорил Родичев: «правительство нас игнорировало».

[456] - Не знаю, была ли какая-нибудь официальная ассигновка со стороны Правительства. Это вероятно, ибо в ведение «Государственной Думы», т. е., Временнаго Комитета были переданы, напр., организации «Красного Креста». Временный Комитет получал достаточныя пожертвования для своей деятельности от «буржуазии» (напр., в марте один Совет Сиб. Ком. Банка предоставил в распоряжение председателя Гос. Думы миллион рублей, такую же сумму отпустил к «Московский Банк» –может быть, в газетных сведениях была неточность, и дело шло об асигновках «советом банковских съездов»). Но привиллегированное положение Времен. Комитета заключалось уже в том, что в его распоряжении была государственная типография, что впоследствии вызывало горячия нападки со стороны «революционной демократии». Напр., в «Деле Народа» (1 сентября) Зензинов негодовал на то, что «на государственный счет» печатаются «в сотнях тысяч экземпляров стенографические отчеты частных совещаний» членов Гос. Думы с «подробными черносотенными и погромными речами Масленникова и Пуришкевича, где Николай Романов именуется «законным претендентом на русский престол»...

[457] - См., напр., рапорт командиров 32 дивизии 9 марта командующему 8 армией (этот рапорт, напечатанный в приложении к

работе Шляпникова, мы подробно изложили в отделе «Трагедия фронта») и письмо офицеров Особой Армии, помещенное в «Красном Архиве».

[458] - «Заложник демократии» в Правительстве, представитель Совета при посещении Москвы 7 марта предпочел употребить более широкую и неопределенную формулу: «по почину народа и Гос. Думы», употребленную в винаверском тексте «манифеста» 6 марта.

[459] - Впоследствии в общей декларации от демократии, прочитанной Чхеидзе в Гос. Совещании в Москве, также говорилось, что советы с самаго начала ставили себе целью объединить все живыя силы страны.

[460] - Лишь иностранец мог связать «советскую систему» с традиционным «русским миром» и «общиной», как это сделал, например, в своих показаниях перед «Овермэнской комиссией» Сената Соед. Шт. (1919 г.) большевизанствующий бывший в России в дни революции представитель американской краснокрестной организации Робинс. Более удивительно, что такую параллель провел серьезный политический деятель и знающий Россию проф. Масарик. И еще более удивительно, что к ней присоединился русский военный историк Головин, не представляющий себе в сущности иностранное (синдикалистическое) происхождение большевицкой концепции. Можно найти при желании нечто от «Руссо» в советской системе, как это сделал Бенеш, преемник Масарика на президентском посту (статья в «Воле Россия», ном. 18, 1924), но очень уже трудно будет установить преемственность между мыслями, которыя внушал Распутин имп. А. Ф. о непосредственной связи власти и народа и теорией, осуществленной «в первые дни революции», – эту преемственность нашел известный английский журналист Вильтон.

[461] - Совет на первых порах был несомненно «правее» Исполн. Комитета и, по признанию Станкевича, от него «всего можно было добиться, если только упорно настаивать».

[462] - В качестве историка-мемуариста Керенский усиленно подчеркивает, что ни одно действие Совета не носило характера правительственнаго акта, исходящаго от центральной власти. Внешность, конечно, имела второстепенное значение.

[463] - Врангель приводит это в доказательство того, что правительство не сумело опереться на предлагаемую ему самими войсками помощь для борьбы с притязаниями Советов. Такое предложение поступило, по словам генерала, например, от всех полков Уссурийской дивизии. Мемуарист здесь явно сделал большую хронологическую ошибку. О проектах ген. Врангеля сказано в другом месте.

[464] - Из протокола Исп. Ком. мы узнаем, например, что в тяжелом артиллерийском полку, расквартированном в Царском Селе, солдаты «возмущались о неразрешении свободы печати». Дело о «Новом Времени» имело небезинтересный в бытовом отношении эпилог, характерный для настроения «низов», Некий солдат Дмитриев, осуждавший в трамвае запрещение выхода «Нов. Времени», предстал 14 марта перед судом по обвинению в порицании Совета. По чьей инициативе возникло это курьезное дело, к сожалению, «День», из котораго мы заимствуем сведения, не сообщил. Судил Дмитриева новый временный суд, введенный министром юстиции: мировой судья и делегированные от Совета «солдат и рабочий». Эта «импровизация» Керенскаго, в корень противоречащая лестным словам, произнесенным им в Москве о мировом суде, была, конечно, «подсказана настроением времени». Суд оправдал Дмитриева, признав, что свободному гражданину принадлежит право и свободной критики.

[465] - Позже, в эмиграции, отвечая Водовозову на повторные его упреки за то, что Временное Правительство с первых же дней, своего существования допустило нарушение принципа свободы печати, Керенский в «Днях» (29 дек. 23 г.) прикрыл это забвение громкой фразой: «в порядке неотложных дел мы должны были в первую очередь спасать не мертвые газетные листы, а недописанныя еще страницы живых человеческих жизней».

[466] - В Киеве он был создан, например, представительством от городского и земскаго союза, национальных организаций и политических партий.

[467] - По словам Шляпникова, на первое собрание 9 марта фракции большевиков в петроградском совете явилось 40 человек, среди которых видны были 2–3 солдатских шинели. В Киеве, по признанию Бош, большевики в совете Р. Д. должны были выступать с осторожностью, чтобы не вызвать скандала; при выборах в совет солдатских депутатов они не принимали никакого участия за отсутствием связи с войсковыми частями.

[468] - Тогда Львов (7 марта) говорил представителям печати: мы все безконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великаго момента, что мы можем творить новую жизнь народа – не для народа, а вместе с народом... Какое великое счастье жить в эти великие дни».

[469] - Ближайшие помощники Львова, которые фактически направляли политику мин. вн. дел (Щепкин, Леонтьев), были очень далеки от

идеологии своего шефа.

[470] - Конечно, лишь хлесткой «революционной» фразой являлось гиперболическое заявление Церетелли в заседании Петроградскаго Совета о том, что большинство первых правительственных комиссаров должно быть отнесено к числу «черносотенцев».

[471] - Пешехонов разсказывает, что, встречая в первые дни революции Шингарева, он «каждый раз его неуклонно спрашивал, когда же будет опубликован закон о местном самоуправлении». Шингарев так же неизменно отвечал: «разрабатывается». Характерно, что сам Шингарев до революции в совещании прогрессивнаго блока настаивал на спешном проведении волостной реформы в целях предупреждения анархии. Потребность этого закона для деревни была первостепенной не только для поддержки общественнаго порядка, но и в интересах правильнаго снабжения армии. Чернов не без основания указывает, что правительство могло бы в спешном порядка издать временный закон, позаимствовав его из пухлаго портфеля неосуществившихся законодательных предположений Гос. Думы – это ввело бы местное «правотворчество» в известныя рамки. Лишь 19 марта Правительство постановило считать должность земских начальников «подлежащей упразднению» и «срочно разработать проект о преобразовании органов местнаго самоуправления». Вместе с тем предложено было правительственным комиссарам до завершения срочной работы по устройству волостных земств» (оно не «завершилось» и через два месяца) образовать под своим наблюдением временные «волостные комитеты». Формально ненавистный населению институт земских начальников, фактически ликвидированный переворотом, был упразднен лишь 30 июня. Так повсюду опаздывало Временное Правительство!

[472] - Тактически скорее ошибкой надо признать введение в состав правительства в революционное время лиц с громкими именами, обладателей крупных миллионных состояний – возможный престиж во вне парализовался вредом внутренней пропаганды.

[473] - Вопрос об отношении к войне оставляем пока в стороне.

[474] - Припоминаются разсуждения в дореволюционной записи члена Государственнаго Совета Римскаго-Корсакова о «бездарности слабости русскаго либерализма».

[475] - По другому, чем Керенский, толковал «клятву» членов Правительства первый после революции съезд партии к.-д.: «Уважая волю народную, Правительство должно предоставить Учредительному

Собранию разрешение всех тех вопросов, относительно которых, как не обладающих характером неотложности, не принято им на себя непосредственных обязательств в объявленной им программе».

[476] - Постановление о возобновлении работ в Москве было принято таким же подавляющим большинством: в Совете «за» голосовало 2000 человек, «против» – 60–70.

[477] - См. мою книгу «Судьба имп. Николая II после отречения».

[478] - В другой московской резолюции подчеркивалось, что 8-часовой рабочий день не стоит ни в каком противоречии с национальной обороной страны.

[479] - Отметим, что среди квалифицированных рабочих (напр., типографии Сытина) были и решительныя возражения против введения нормировки труда явочным порядком.

[480] - Не совсем поэтому понятно, как член Исп. Ком., не только участник, но и докладчик в Совещании Советов, мог в своих воспоминаниях пойти еще дальше, чем Керенский, в установлении версии, будто при Временном Правительстве перваго состава «во всей стране был введен, даже по инициативе самих промышленников, 8-часовой рабочий день».

[481] - 23 апреля Правительство издало положение о «рабочих комитетах» в промышленных заведениях, введенных впервые в Петербурге по «соглашению» между Советом и Обществом фабрикантов. Через 1 1/2 месяца Правительство, таким образом пыталось нормировать то, что фактически было уже осуществлено.

[482] - Примирительныя камеры из 4 членов Совещания фабрикантов 4 членов Совета из 3 членов по избранию уезднаго Исп. Ком. и по одному представителю, от Союза служащих и Союза торговцев. Любопытно, что среди представителей Союза (очевидно в виду близости фронта) числился полковник.

[483] - 8 апреля. Указывая, что рабочие, «выставляя лозунгом переход на 8-час. раб. день», в то же время сами приложили все усилия, чтобы работа велась без перерыва, работая сверхурочно... и что «напряженная работа на фронте в сто раз важнее работы в тылу..., Правительство гарантировало, что добавочная работа будет оплачиваться особо.

[484] - Парламентский вождь меньшевиков (Церетели) на съезде Советов в июне высказался против осуществления 8-час. раб. дня в ненормальных условиях жизни страны.

[485] - В литературе «буржуазной» слишком часто проявляется склонность преувеличить это падение трудоспособности в революционное время. Забывают отметить фактор, которому министр торговли и промышленности второго коалиционнаго кабинета Прокоповича на Государственном Совещании придавал первенствующее значение – изношенность производственнаго аппарата.

[486] - К невольной демагогии относились безответственныя суждения, которыя в дни революции бросались легко в толпу. Вероятно, Церетели был убежден, что говорит в соответствии с действительностью, когда утверждал при рукоплескании собрания в Совещании Советов, аргументируя принцип безвозмезднаго отчуждения помещичьих земель в пользу трудящагося народа, что половина земли в России принадлежала дворянству, и что в годину испытания страны пустовала огромная площадь землевладельческих земель, чем и объяснялись до революции столичные хвосты «желающих получить хлебные куски по голодным пайкам».

[487] - Например, депутат Стемпковский в речи 21 ноября 16 г., противопоставляя девиденды промышленников затруднениям «аграриев». приводил такия иллюстрации доходности: Тверская мануфактура в 15 г. имела 9,9 мил. при основном капитале в 6 мил.; Коноваловская мануфактура, получавшая до войны 813 т., к 15 г. получила 7 мил. Последняя иллюстрация как раз вызвала официальное опровержение со стороны администрации фирмы, указавшей, что депутат ошибочно принял за доходность не соответственную цифру в отчете. Конечно, слово с кафедры Гос. Думы запечатлевалось ярче, чем напечатанное в газетах пояснение заинтересованной, фирмы, представитель которой сделался первым революционным министром торговли и промышленности.

[488] - По внешности совершенно чудовищным будет позднейшее решение третейскаго суда в конфликте между рабочими и администрацией Ликинской мануфактуры о прибавке к поденной плате, существовавшей в 1913 г., 425% (!!). Третейский суд составлен был из 3 судей от профессиональнаго союза, 3 судей от администрации при суперарбитре, назначенном министерством труда.

[489] - Революция, поставившая перед общественным сознанием во всем объеме исконный земельный вопрос, вызвала интенсивную работу по выработке основ будущей аграрной, реформы. (В Москве была создана специальная «Лига аграрных реформ»). Предстояло свести в одно программный разнобой политических партий. Единства мнения не было и у социалистов, которых объединяло лишь общее признание положения,

что земля должна находиться в пользовании трудящихся на ней. Коренное расхождение о форме осуществления этого общаго положения было не только между марксистскими и народническими группировками, но и в среде самих народников. Поэтому первый всероссийский съезд «трудовой группы» 9 апреля, сознавая, что вопрос об условиях передачи земли народу не был «в достаточной степени освещен», поручил своему Ц. Ком. войти в сношения с социалистическими партиями «для созыва общей народнической конференции по выработке программы но аграрному вопросу». Решение, однако, осталось в области благих пожеланий.

[490] - В письме на имя Керенскаго вел. кн. Николай Михайлович сообщал уже 9-го, что он «легко» получил отказ от Кирилла Владимировича и «туго» от Дмитрия Константиновича... Однако, в приложенном к письму заявлении в. кн. Кирилла об удельных землях ничего не сказано, что же касается престолонаследия, то Кирилл присоединился к тем «мыслям», которыя выражены были в акте в. кн. Михаила.

[491] - Отчет отмечает, что авторитетным разъяснениям приезжих интеллигентов из столицы в деревне верили.

[492] - Это отмечал и отчет Временнаго Комитета и позднейшия воспоминания самих крестьян, собранный в сб. «1917 год в деревне»

[493] - Идея земельных комитетов возникла еще в годы первой Государственной Думы в трудовой фракции.

[494] - В тот же день и Москве состоялось учредительное собрание всероссийскаго союза земельных собственников, ставнвшаго себе целью спасти от гибели земледельческую культуру и сельско-хозяйственную промышленность. На собрании присутствовало 300 землевладельцев, в том числе хуторян и отрубников.

[495] - Анализ этой статистики, см. в моей книге «Как большевики захватили власть».

[496] - Отчет Временнаго Комитета указывал, что земельные эксцессы наблюдались там, где население было недостаточно осведомлено о государственном перевороте.

[497] - Относительно «толстовства» министра вн. дел надо отметить, что львовские циркуляры, отстаивая желательность устройства примирительных комиссий из землевладельцев и земледельцев при волостных и уездных комитетах, очень решительно требовали от представителей власти Временнаго Правительства, губернских комиссаров, ответственных «вместе с местными общественными

комитетами» за сохранение и губернии порядка «всей силой закона» прекращать проявления самоуправства... Это пояснение вызывает необходимость поправок к утверждению, что Вр. Пр., как только вопрос коснулся собственнических интересов, скинуло мантию непротивления злу и предписывало своим агентам на местах устранять аграрные безпорядки вплоть до вызова воинских команд. Такое телеграфное предписание 8 апреля приводит Гучков. Упоминается оно и в «хронике» революционных событий, которая, очевидно, воспроизводит какое то неточное газетное сообщение. Циркуляр Львова, воспроизведенный с подлинника в «Крестьянском движении» помечен 12 апреля, и ни одним словом не упоминает о вызове воинских частей. Недопустимость таких приемов воздействия признавало не только министерство внутр. дел, но и министерство земледелия. Это был общий взгляд правительства, совпадавший с тогдашним общественным мнением. Пешехонов в статье ставил вопрос: «Неужели посылать карательные отряды?» Отчет Временнаго Комитета с удовлетворением отмечал. что за три месяца не было случая применения силы.

[498] - К числу их следует отнести, конечно, не только большевицких ораторов, но очень часто и эсеровских. Штерн передает «типичное», по его словам, выступление на одном из крестьянских съездов Херсонской губернии партийнаго публициста Зака, «безапелляционно» уверявшаго сомневавшихся крестьян о достаточности общероссийскаго Земельнаго Фонда для обезпечения всех безземельных, что земли «на всех хватит, я точно подсчитал».

[499] - Вот иллюстрация: Крестьянский съезд в Одессе (7 апреля – собралось 2000 делегатов) жаловался на наличие огромных участков незасеянной помещичьей земли и на увеличение арендной платы. Начальник округа Эбелов всю пустующую помещичью землю предоставил крестьянам для засева.

[500] - В резком противоречии с этими цифрами стоят данныя, которыя были приведены с.-р. Быховским в августовском докладе в Исп. Ком. Совета Кр. Деп. Доклад опирался на статистику Гл. Зем. Ком.: у Быковскаго был огромный скачек в мае – с 57 на 450. Пример этот, заимствованный из «Изв. Сов. Кр. Деп.», лишь свидетельствует о той осторожности, с которой приходится обращаться с газетными отчетами. (См. мою критику методов Милюкова в книге «Гражданская война в освещении П. Н. Милюкова»).

[501] - Это отмечал упомянутый доклад Быховскаго в Исполнительном

Комитете Совета Крестьянских Депутатов о земельных комитетах.

[502] - Постановления Комитета Правительством б апреля, было отменено.

[503] - Из отчета Временнаго Комитета видно, что вопрос о приостановке земельных сделок возникал почти повсеместно. С такими ходатайствами обращались на местах к уполномоченным комитета и посылались особые делегаты в центр.

[504] - Берем три основных положения из детально разработанной резолюции съезда, приведенной полностью в приложении у Шляпникова.

[505] - Керенский вспоминает, что весьма умеренная «бабушка русской революции Брешко-Брешковская» весной 17 г. предлагала ему взять «сведущих людей» и поделить землю.

[506] - До чего характерны позднейшия разсуждения кн. Сергея Волконскаго – человека, котораго нельзя причислить к лику ретроградов. Для него «последующия прикосновения революции» представляются менее «противными», чем то, что пришлось испытывать «летом 1917 г.», когда помещики, «жили у себя, но не были хозяевами – в своем кармане чужая рука». Мемуарист откровенно говорит, что предпочитает человека, который придет и скажет: «Я беру у тебя этот плуг, потому что он мой», тому, который скажет: «Я предупреждаю вас, что вы этот плуг продать не имеете права, потому что он не ваш».

[507] - Кн. С. Волконский, представлявший на съезде земельных собственников в Москве борисоглебский'«Союз землевладельцев», характеризует этот съезд впечатлениями «какого-то истерическаго крика, безсильнаго порыва против надвигающейся стихии». Автор мемуаров к числу «дельных» и «практически обоснованных» суждений съезда относит голосование по вопросу о «желательности или нежелательности отчуждений помещичьей земли в пользу крестьян» – против поднялось только 5 рук. В 17 г. этот вопрос был уже вне сферы академических разговоров.

[508] - Правительственная декларация 6 мая предоставляла Учредительному Собранию решить вопрос о переходе земли в руки трудящихся.

[509] - Революция могла бы пойти по иному – доказывает ген. Головин, – если бы Правительство с самаго начала сделало бы ставку на «крепкаго» мужика, т. е. путем принудительной экспроприации передало бы помещичью землю в собственность крестьянам. Вне сомнения при таких условиях революционный процесс выразился бы в других формах. Но

такая постановка вопроса слишком априорна в исторической работе. В критике утопичности социальной программы, выдвигаемой военным историком в качестве запоздалой директивы революционному правительству перваго состава, в свое время приходилось указывать, что никакое временное правительство не могло бы провести до Учредительнаго Собрания такой аграрной реформы – ему не на кого было бы опереться: ни «буржуазия», ни «революционная демократия» его бы не поддержали. Можно ли было найти осязательную поддержку в самой крестьянской массе для того, чтобы действовать наперекор общественным настроениям? (таким путем могла бы пойти только военная диктатура, для которой в первые революционные месяцы не было почвы). Опора на крестьян очень сомнительна. Для нашего военнаго историка почему-то является непреложной аксиомой положение, что русский крестьянин по существу своему собственник, совершенно чуждый каким либо социалистическим идеям. Не оспаривая теоретической аргументами подобной концепции, мы указывали, что во всяком случае, как свидетельствуют факты, к моменту революции прошлое – то прошлое, которое охарактеризовал во всеподданнейшем отчете за 1904 г. никто иной, как сам Столыпин, еще будучи Саратовским губернатором, словами, что «крестьяне другого порядка, кроме общины, не понимают» – далеко еще не было изжито; другими словами было бы рисковано утверждать, что медленный исторический процесс определенно шел в сознании массы, той полосы России, где не было индивидуальнаго землевладения, по пути замены «передельно уравнительнаго» миросозерцания частно собственническим. Мы приводим в противовес априорным утверждениям данныя сводки, сделанной в августе 17 г. Советом Крест. Депутатов, на основании 242 реальных крестьянских наказов, а не «интеллигентских измышленій» –она вся была проникнута идеей отмены частной собственности на землю; мы приводили и факты, характеризующіе (по матеріалам Главнаго Земельнаго Комитета и Главнаго Управленія по делам милиціи, относительно аграрнаго движенія в революціонные месяцы) непосредственное действіе народной массы, когда крестьяне-общинники, захватывали наряду с инвентарем и земельными угодьями помещиков и принадлежащее столыпинским «отрубникам». При обрисовке первых месяцев для нас, конечно, важнее более раннія свидетельства, к числу которых относится отчет уполномоченных Временнаго Комитета – и он отмечал, что почти на всех ранних крестьянских съездах безоговорочно принимались резолюціи об уничтоженіи частной собственности на землю; равным образом, он

указывая на крайне враждебное отношеніе в деревне к «хуторянам». Отсюда может быть один только вывод: всякая попытка разрешить вопрос о земле вопреки «стихіи» и искусственно форсировать ломку соціально-экономических отношеній, в духе предвзятых предпосылок могла породить явленіе, которое можно назвать поножовщиной в деревне и которое не только до безконечности осложнило бы положеніе временнаго революціоннаго правительства, но и устранило бы возможность более или менее целесообразнаго решенія земельнаго вопроса в Учредительном Собраніи. В иной совсем постановке тезис ген. Головина частично мог бы найти себе подтвержденіе в наблюденіях известнаго публициста и общественнаго деятеля Юга Россіи Штерна (к.-д. по политической своей принадлежности); но последній говорит не о правительственной программе, а о партійной. По мненію Штерна его партия во время революціи не сумела взять на себя защиту интересов мелких собственников: если бы к.-д. оперлись на мелкое крестьянское землевладение, они организовали бы из него активную силу, которая могла бы оказать сопротивление наступлению коммунизма (т. е., создать ту «контр-революционную» силу, о которой говорит военный историк). Но круг наблюдений Штерна был ограничен (он разсказывал о «громадном» успехе партийных ораторов на собрании крестьян-собственников, преимущественно немцев-колонистов, в Одесском уезде). Поэтому, вероятно, он легко и делал несколько обобщающее заключение, что «ничто не указывало, что владение землей рисуется крестьянам непременно на коллективных началах». Россия велика и разнообразна, отсюда вытекала и целесообразность ея районирования в вопросе о формах землепользования

[510] - Оазисов по России было не мало. Можно привести лишнее еще свидетельство, интересное тем, что оно исходит от Коковцева. Он утверждает, что в деревне, в которой он жил, было «совсем тихо и спокойно. Только чувствовалось недоверие».

[511] - Можно привести немало свидетельств в пользу того, что даже вопрос о «выкупе» в ряде мест крестьянами разрешался в пользу вознаграждения владельцев по «добросовестной, безкорыстной оценке» (Ярославск губ.).

[512] - В своей газете «Дни» 5 Марта 33 г. Керенский сделал еще более категорическое, граничащее с абсурдом заявление – по его словам, уничтожение частной собственности на землю Временное Правительство декретировало в марте месяце.

[513] - В «Известиях», т. е. тот же Стеклов писал об освобождении «заведомаго преступника», обвинявшегося «в самом тяжком преступлении против народа».

[514] - См. мою книгу «Золотой немецкий ключ» к большевицкой революции. До приезда Ленина единства среди большевиков не было. Были и свои «левые» и свои «правые», боровшиеся против лозунга превращения «империалистической войны в гражданскую». «Оборончески» настроенные элементы стояли и за поддержку Времен. Правительства. Расхождение определилось совершенно ясно на состоявшейся накануне открытии Совещания Советов партийной конференции, где обсуждался проект вносимой большевиками на это совещание резолюции. Средняя линия проходила через Каменева, он и выбран был докладчиком на Совещании.

[515] - Эта цифра очень показательна, если сравнить число большевицких представителей, официально заседавших в президиуме Совещания – 4 на 6 меньшевиков и 2 эсэров.

[516] - «Внефракционист» соц.-дем. из Гомеля Севрук, от имени большевизанствующей группы Совещания, требовал, чтобы правительство, избранное, по соглашению с Советом, явилось на заседание и дало бы «отчет» представителям революционной России. Баллотировкой предложение это было отвергнуто.

[517] - Имелась в виду интенсивная кампания части петербургской печати против 8 часового рабочаго дня, создавшая довольно напряженную атмосферу в столице и грозившая осложнениями в отношениях между рабочими и солдатами (о ней было сказано в связи с разсмотрением вопросов касающихся войны).

[518] - Не надо забывать, что в это время еще продолжались переговоры относительно объединения двух разошедшихся фракций соц. демократии.

[519] - Вывод, который можно сделать из стенографическаго отчета, не совпадает с впечатлениями мемуариста, смотревшаго на события под углом своего «леваго» миросозерцания – для Суханова выступления «справа» поддерживались на собрании незначительным меньшинством или буржуазными элементами.

[520] - У Милюкова, пользовавшагося, очевидно, современным отчетом какой-нибудь «буржуазной» газеты, прения изложены слишком сумарно и неточно: в тексте историка фигурируют ораторы, которых нет в стенографическом отчете.

[521] - См. ниже относительно обостренных отношений между

«рабочими» делегатами и «солдатами».

[522] - Вероятно, руководители сами не имели отчетливаго представления, потому что практические вопросы разрешались с быстротою курьерскаго поезда, по выражение одного из делегатов. Так, напр., при протесте представителей многотысячнаго бакинскаго пролетариата и многотысячнаго киевскаго гарнизона, отказавшихся участвовать в баллотировке, принималось требование к правительству об «отчуждения» в пользу нации сверхприбыли промышленников: «такой колоссальной важности документ не может быть принят без обсуждения» – заявили протестанты.

[523] - В такой странной многообещающей форме (в чем повинен, быть может, протоколист) очевидно было передано пожелание Правительства иметь «советскаго» министра труда, о чем, по свидетельству Суханова, не раз потом говорил («требовал») Коновалов в Контактной Комиссии.

[524] - По воспоминаниям самого мемуариста можно установить, что, быть может, это было и не совсем так. Никчемная история с ген. Ивановым служит наилучшей иллюстрацией. Арестованный в Киеве (по его словам, арест мотивировался Исполнительным Комитетом необходимостью оградить его от эксцессов), Иванов был переведен в Петербург, где попал в пресловутый министерский павильон». 24-го с него была взята подписка о невыезде и на верность Временному Правительству. Как сообщали газеты, Иванов останется на свободе «под личным наблюдением министра юстиции» (его дело разсматривалось в Гр. Сл. Ком.). «Известия», т. е., Стеклов, негодующе писали, что «освобождение такого опаснаго врага народа, представляется совершенно непонятным», и что такия дела не должны решаться «по домашнему»... Правительство обязано было опубликовать «сообщение по этому делу и на всяком случае довести об этом до сведения Исполнительнаго Комитета». В докладе на Совещании Советов Стеклов говорил, что «под влиянием освобождения Иванова «мы» (очевидно, через Конт. Комиссию) предъявляли Правительству в более настоятельной форме требование осуществить... «обещание» издать декрет объявляющий злоумышляющих генералов «вне закона». «В конце концов – утверждал докладчик – под нашим давлением Правительство поручило министру юстиции этот декрет издать по соглашению с Исп. Комитетом». Но декрет так и не был издан–жаловался Стеклов. В данном случае Суханов, якобы чуждый полицейскому умонастроению Стеклова, был всецело на его стороне не только в силу протеста против «безудержнаго ген.-прокурорскаго произвола министра (не было большаго основания

освобождать Иванова, чем многих и многих сидящих в Петропавловской крепости), но и потому, что надо было считаться с «психологией масс», безконечно реагировавших на освобождение ген. Иванова в силу характера «его преступления» – он мог быть... разстрелян без суда, – утверждали «Известия». «Психология масс», на которую ссылается Суханов, для нас наиболее интересна. «Гуманная выходка Керенскаго переполнила чашу». Министра «от демократии» стали громко требовать к ответу. Предлагали официально вызвать его в Исполнительный Комитет. Это требование уже было известно Керенскому. Но Керенский не желал знать Исполнительный Комитет... Он явился в Таврический дворец, «прошел прямо в белый зал, где происходило заседание солдатской секции, произнес там речь, пожал бурю аплодисментов и уехал». Произнес Керенский, конечно, демагогическую речь – довольно элементарную по газетному отчету. Он объяснил, что раньше не имел возможности посетить представителей той среды, из которой вышел, что он и раньше в Государственной Думе отстаивал солдатский вопрос, что он первый вывел 27-го революционныя войска, что, как представитель интересов демократии, он добился того, что Россия отказалась от всяких завоевательных стремлений, что, как генерал-прокурор, он держит в руках всех врагов отечества, что пришел он не оправдываться и не позволит не доверять себе и тем оскорблять всю русскую демократию, что он просит или исключить его из своей среды или безусловно ему доверять: «если будут сомнения, придите ко мне днем и ночью, и мы с вами сговоримся». Зал дрожит от оваций, раздаются крики: «верим, вся армия с вами». Министра подхватывают на руки и выносят из зала... «Люди, желающие внести раздор...» были посрамлены.

[525] - Был сообщен факт, что Стеклов поспешил у революционнаго правительства легализировать для паспорта свой литературный псевдоним, официально отказавшись от природной фамилии – Нахамкес, о чем безуспешно «всеподданнейше» ходатайствовал перед старым правительством. Моральный облик «весьма выдающейся фигуры» в революции – откровенно циничный – выступил еще с большей яркостью. Против Стеклова в Исполнительном Комитете открыто выступил Церетелли, однако, «левые» настойчиво поддержали кандидатуру своего попутчика, считая, что личная биография этого «кочевника» среди интернациональных групп никакого «общественнаго значения» не имеет. Стеклов не был дезавуирован и остался членом бюро Исполнительнаго Комитета и одним из редакторов официальных «Известий» – он был лишен только тех полномочий, которыя имел в редакции в силу

положения «комиссара» Исполнительнаго Комитета.

[526] - В связи с этим нельзя не отметить, указания Суханова на полное бездействие созданной при Совете «Комиссии законодательных предположений».

[527] - Составители комбинировали «пять рукописных черновых вариантов». Редакция указывает, что от публикации некоторых протоколов она должна была отказаться за невозможностью дешифрировать карандашные наброски.

[528] - Церетелли совсем не разделял «впечатления» Суханова.

[529] - В «Русских Ведомостях» отмечалось, что исполнительныя лица московскаго Совета оплачивались из правительственнаго кредита – и это сообщение никогда и никем не опровергалось.

[530] - В докладе Брамсона на Съезде Советов 23 июня указывалось, что в кассу Совета (пожертвований, всяких взносов, сборов и отчислений) всего поступило 3 1/2 мил., причем половина этих поступлений предназначалась для «военнопленных» или на специальныя цели. Надо иметь в виду, что через Совет проходила не только значительная часть сумм, поступавших в правительство на нужды освобожденных политических заключенных, но и значительныя правительственныя ассигновки на эту же цель.

[531] - Суханов считал, что отказ мин. ин.д. пропустить швейцарца Платена внешне руководившаго операцией. связанной с проездом русских интернационалистов в «пломбированном вагоне», через Германию, являлся «недопустимым прецедентом» и нарушал установленную договором 2 марта политическую свободу (!).

[532] - Вопрос о «пломбированном вагоне», роль (Министерства ин. дел. отношение общественных кругов и масс, сравнительно детально разсмотрены в книге: «Золотой немецкий ключ» к большевицкой революции. Правительственная политика была сплошным клубком противоречий, в силу чего оно и не могло использовать настроения создавшагося в массе.

[533] - В газетах (20 марта) лишь появился довольно произвольный список членов Гос. Совета праваго крыла, которым, по распоряжению мин. юстиции, были приостановлены выдачи содержания. Среди них не все были арестованы и привлечены к разследованию, производимому Чрезв. Следств. Комис. под председательством Муравьева.

[534] - Последняя фраза, по утверждению Милюкова, «заменила

«обвинительный акт», составленный Кокошкиным.

[535] - Это подчеркнул в своем первом публичном выступлении лидер партии Мякотин. На конференции 23 марта раздавались даже голоса за подчинение революционному правительству «без критики», как выразился проф. И. Алексинский.

[536] - «Сильныя слова» Керенскаго (аксаковская метафора раньше до революции была употреблена в Гос. Думе Маклаковым применительно к войне), были сказаны на фронтовом съезде 29 апреля: «неужели русское, свободное государство, есть государство взбунтовавшихся «рабов.... Я жалею, что не умер два месяца назад: я бы умер с великой мечтой, что раз навсегда для России загорелась новая жизнь, что мы умеем без хлыста и палки уважать друг друга и управлять своим государством не так, как управляли прежние деспоты». Что это «слово отчаяния» или разсчитанная поза? При выступлениях Керенскаго в силу импульсивности его характера всегда очень трудно отделить искренний порыв от разсчитаннаго шага. Милюков добавлял: «конечно, в социалистических газетах речь эта не была напечатана». Историк ошибся.

[537] - Непоследовательность, конечно, может быть отмечена и здесь.

[538] - Органический дефект советской организации, которую фактически не исправили отвлеченные тезисы Богданова, вызвал попытку создания «Советов трудовой интеллигенции». Инициатива вышла из кругов «демократических групп» комитета Общ. Орг. Был созван в Москве (в мае) даже съезд подобных организаций, на который прибыло довольно много людей из провинции, представлявших около сотни организаций. На Московском Государ. Совещ. д-р Жбанков оглашал резолюции от имени Советов в Москве Петербурге, Киеве Харькове, Казани др., но тем не менее встреченные довольно враждебно в социалистических кругах, как организации «буржуазныя» и не поддержанные достаточно общей печатью Советы трудовой интеллигенции не получили большого распространения... Только в одной Москве, где приняли участие народные социалисты, Совет занял более или менее видное положение. Деятельность его в Петербурге не нашла себе откликов.

[539] - «Дело Народа» впоследствии с откровенностью признавало Советы Кр. Деп. эс-эровской организацией.

[540] - Напр., в вопросе о национальном самоопределении народностей России «вплоть до отделения», между тем как народные социалисты были строгими федералистами по областному принципу.

[541] - Сами большевики были противниками этого «объединительнаго

угара».

[542] - Московская газета «Власть Народа» фельетонным пером Ангаровой, непосредственно наблюдавшей первый съезд партии с.-р., дала такую, несколько карикатурную характеристику того агломерата, который представляла собою партия: «крайне правая, просто правая, правая, примыкавшая к центру, центр, сбока еще два центра, правый и левый, и такой же пологий скат совсем влево».

[543] - Масонское ядро? См. «На путях к дворцовому перевороту».

[544] - Керенский и был выбран 21-го заместителем председателя правительства по случаю его отсутствия.

[545] - Была сделана в начале апреля малоавторитетная и малоудачная попытка создать особую «республиканско-демократическую» партию, которая могла бы явиться организующим центром для оказавшейся «за бортом», по выражений дневника Гиппиус, «интеллигенции». Партию возглавили члены Думы Барышников, Дмитрюков, прис. пов. Моргулиес, сен. Иванов и др. Ея лозунгом была «федеративная республика».

[546] - За несколько дней до съезда в Москве в «Комитете Общ. Организаций», Некрасов еще определеннее протестовал против «легенды» о «каком-то пленении Правительства»... «И Врем. Правит, и Совет Р. Д. – говорил министр, – свято блюдут свою связь и единение, закрепленныя уже в двух декларациях».

[547] - Насколько затушевывался на съезде вопрос о двоевластии показывает тот характерный факт, что в отчете «Рус. Вед.» – газете почти партийной – о съезде вообще нет изложения доклада Винавера.

[548] - Комплиментами злоупотребляли и приучили тем самым советскую рядовую массу смотреть на себя, как на единственное представительство «революционнаго народа», – как к «истинным представителям революционнаго народа» – обращались 24-го к Совету представители еврейской организации члены Гос. Думы к.-д. Фридман и известный адвокат Грузенберг.

[549] - Кокошкин перефразировал лишь слова Маклакова в Гос. Думе 3 ноября 16 года: «старый режим и интересы России теперь разошлись, и перед министрами стоит вопрос: служить режиму и служить России невозможно, как служить Мамоне и Богу».

[550] - Отсюда ясна поправка, которую надо сделать к словам, например, Пасманика, что Милюков в мартовские дни отказался от монархии «под давлением уличной толпы».

[551] - Позже была сделана попытка, не вышедшая из стадии предварительной, создать «либеральную» (т. е., монархическую) партию, для переговоров о создании которой, как разсказал Тхоржевский в некрологе, посвященном в «Возрождении» Гучкову, последний ездил к Кривошеину. Как свидетельствует сохранившийся документ Родзянки был сделан с этой целью денежный взнос из «экономическаго фонда», созданнаго торгово промышленной и банковской средой, но формально эта монархическая партия должна была защищать «республиканския либеральныя идеи». Так осведомило Пет. Тел. Аг. о заседании Центр. Ком. «Союза 17 октября», на котором Гучков делал соответствующий доклад. В мартовские дни одни старообрядцы в Москве 14 марта решились высказаться за парламентскую монархию, да орган чешских националистов в Киеве – «Славянския Вести» высказал уверенность, что Учр. Собр пожелает иметь царя.

[552] - Этот «вздор» снова превратился в действительность через год, когда именно Милюковым было вновь поднято знамя легитимной монархии. «Вздор» и для 17 года оставался реальностью. Бьюкенен разсказывает, что за завтраком, данным Терещенко в честь приехавшаго в Россию Гендерсона, Маклаков вызвал негодование Керенскаго заявлением, что он «всегда был монархистом». Суть в том, что подобныя заявления не выходили за пределы интимных трапез и бесед. Во вне говорилось иное. Маклаков принадлежал к числу виднейших представителей партии, стоя на ея правом фланге. В том докладе 31 марта в Москве, о котором уже приходилось упоминать (доклад был сделан в партийной среде, но публичный отчет о нем был напечатан в «Рус. Вед.), Маклаков, убежденный конституционалист-монархист, подчеркивал, однако, моральное значение именно республики. Говоря о германской опасности, нависшей над Россией, Маклаков заявлял, что предпочитает в случае, если опасность эта осуществится, видеть «нищую порабощенную Россию... империей, а не республикой!.. Будущия поколения проклянут нас». Отнесем некоторую примитивность в форме выражения мысли докладчика на счет вольной передачи газетнаго репортажа.

[553] - На майском съезде партии к. д. Шаховской выступил с проектом создания при Правительстве постояннаго Государственнаго совещания из представителей Советов и всех четырех Государственных Дум.

[554] - Мера эта была принята в соответствии с решением Продовольственнаго Совещания и разсматривалась, как частичное осуществление государственной хлебной монополии, на которой

настаивал Совет.

555 - Собственныя слова Милюкова на частном совещании членов Думы 4 мая; что здесь не было обмолвки, показывает выступление Некрасова на майском съезде к. д., призывавшаго отказаться от такой позиции партии.

556 - Масленников доказывал, что назначение правительства принадлежит только Думе.

557 - Так в «Истории» представлено Милюковым. Он говорит: «даже такая скромная роль Гос. Думы» вызывала раздражение.

558 - Дело было не только в неудовлетворительности самого «закона». Общим мнением было, что правительство в свое время «аранжировало в широком масштабе выборы» (заявление Милюкова в той же муравьевской комиссии); Дума, искусственно подобранная, представляла собой «картинную декорацию», а не законодательное собрание.

559 - В «Истории» Милюков говорит о «несуществовавшей» тогда к.-р. опасности.

560 - Положение это надо отнести к числу основных демократических требований, настолько прочно вкоренившихся в общественное сознание, что даже в Всер. Цент. Исп. Ком. в последних числах июля был поднят вопрос об отложении выборов в У. Собр. в виду «отсутствия на местах демократических выбранных органов городского, земскаго и волостного самоуправления, которым единственно можно доверить производство избирательной работы» (доклад Брамсона 29 июля). В революционное время демократический постулат становился предразсудком, ибо правительственная избирательная комиссия в большей степени могла бы гарантировать правильность выборов, чем общественныя самоуправления при гипертрофии политики. Выборы в общественныя самоуправления в 17 году дали наглядный урок того, как совершенный закон в ненормальное время может приводить к абсурду – при переполнении городов тыловыми военными запасными частями правило, что военные голосуют на общем основании с проживающими на местах в момент составления списков придало городскому самоуправлению резко политический характер, мало соответствовавший местным интересам.

561 - Еще до Учр. Собр. иллюстрацию будущаго контроля можно было наблюдать в Москве при выборах в новое городское самоуправление. Контроль вылился прежде всего в общественную цензуру. Московский Совет объявил «социалистическими избирательные, списки лишь тех партий, которыя входили в московский Совет. Народно-социалистический

список исключался. Это было непоследовательно, потому что в центре народные социалисты так или иначе непосредственно участвовали в «советской работе». Представитель партий (Пешехонов) входил в коалиционное министерство, которое признавалось до известной степени подотчетным Совету в своей социалистической части; в этот самый момент происходило объединение с трудовиками, входившими в ответственные, центральные органы «советской демократии» – они были представлены и на закончившемся съезде советов. В результате московскаго действия представитель народных социалистов на перманентном митинге на Тверском бульваре у памятника Пушкина был избит любителями кулачной расправы, отстаивавшими чистоту социалистических риз. Это не вызвало протеста в недрах Совета.

Содержание

Мартовские дни 1917 года Сергей Петрович Мельгунов 1
Глава первая. Решающая ночь1 2
I. Среди советской демократии 6
1. Тактическое банкротство 7
2. Неожиданность революции 16
3. Спор о власти 20
II. В рядах цензовой общественности 24
1. Легенда о Государственной Думе 25
2. Впечатления перваго дня 27
3. Переговоры 40
4. Настроения перваго марта 49
Глава вторая. В поисках компромисса 56
I. Не состоявшаяся поездка Родзянко 57
II. «Coup d'Etat» Гучкова 70
Глава третья. Второе марта 84
I. «Приказ № 1» 85
II. Экспедиция генерала Иванова 107
Глава четвертая. Образованіе временнаго правительства 120
I. Кандидатура Керенскаго 121
II.Гуманность и революционная стихия 132
1. Кордегардия Таврическаго дворца 134
2. Петропавловская крепость 143
3. Самочинные аресты 147
III. Рискованный шаг Милюкова 151
IV. Соглашение 158
Глава пятая. Отречение 162
I. В Царской Ставке 163
1. Информация из Петербурга 164
2. «Ответственное Министерство» 172
3. Отъезд Царя 179
II.«Кровавое подавление» революции 183
1. Диктатор 184

2. Диктатор 184
2. Миролюбивая политика 188
3. «Протопоповские пулеметы» 193
III. Игра в «кошку и мышку» 199
IV. Псковская драма 209
1. Воздействие генералитета 210
2. Свитская интрига 222
V. Думские делегаты 227
Глава шестая. Творимыя легенды 236
I. Колебания Царя 237
II. «Последние советы Царицы» 241
Глава седьмая. Михаил II 258
I. Ставка и Петербург 259
II. Отречение Михаила 265
1. Решение Временнаго Комитета 266
2. Возвращение делегатов 268
3. У Великаго Князя 270
4. Решение 277
5. Последний штрих 281
Вел. князь Михаил Александрович в дни переворота 283
Глава восьмая. Трагедия фронта 289
I. Армия и переворот 290
1. «Обманутые» генералы 291
2. Эпопея в. кн. Николая Николаевича 295
3. «Центр контр-революционнаго заговора» 301
4. Настроения в армии 305
Офицеры и солдаты. 306
Эксцессы во флоте. 316
h11 Официальная сводка настроений. 324
5. Правительство и Ставка 327
II. Революция и война 335
1. Симптомы разложения 336
2. Победоносная война 350
3. Вокруг советскаго «манифеста» 354
4. Фатальная недоговоренность 363
III. Демократизация армии 371
1. Политика в армии 372
2. Революционная чистка 374

2. Революционная тактика 374
3. Поливановская Комиссия 382
h11 Приказ № 114. 383
h11 Приказ № 2. 394
h11 Декларация прав солдата. 399
4. Комитеты 402
IV. В преддверии кризиса 407
Глава девятая. Революционное правительство 424
I. Концентрация власти 425
1. Идея преемственности 426
II. Двоевластие 438
III. Социальная политика 447
1. Роковая презумпция 448
2. Восьмичасовой рабочий день 453
3. Земля – народу 463
IV. Советская позиция 476
V. Контактная комиссия 491
1. Орган революционнаго «давления» 492
2. Конфликтные вопросы 500
VI. В поисках базы 509
1. Внесоветская общественность 510
2. «Правительственная партия» 516
3. Мираж IV Думы 520
4. В ожидании Учредительнаго Собрания 525
Использованная Литература 530
Примечания 537